ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

в теперь — как орел с завязанными глазами: сердное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, не- воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не нет, не видит...

дор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и а дорогу. Пусть не удастся, не выйдет, — ничего: е пытка, хуже все равно от этого не будет. Если — ого! Революции таких людей во как надо!

★

ндрова-Гая, как в задний ряд и недавний бой, и все новое — то неведо- теперь в Самару. опасности

Печатается по постановлению
Совета Народных Комиссаров СССР
от 24 марта 1946 года

В. Я. ШИШКОВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ I

ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1948

В. Я. ШИШКОВ

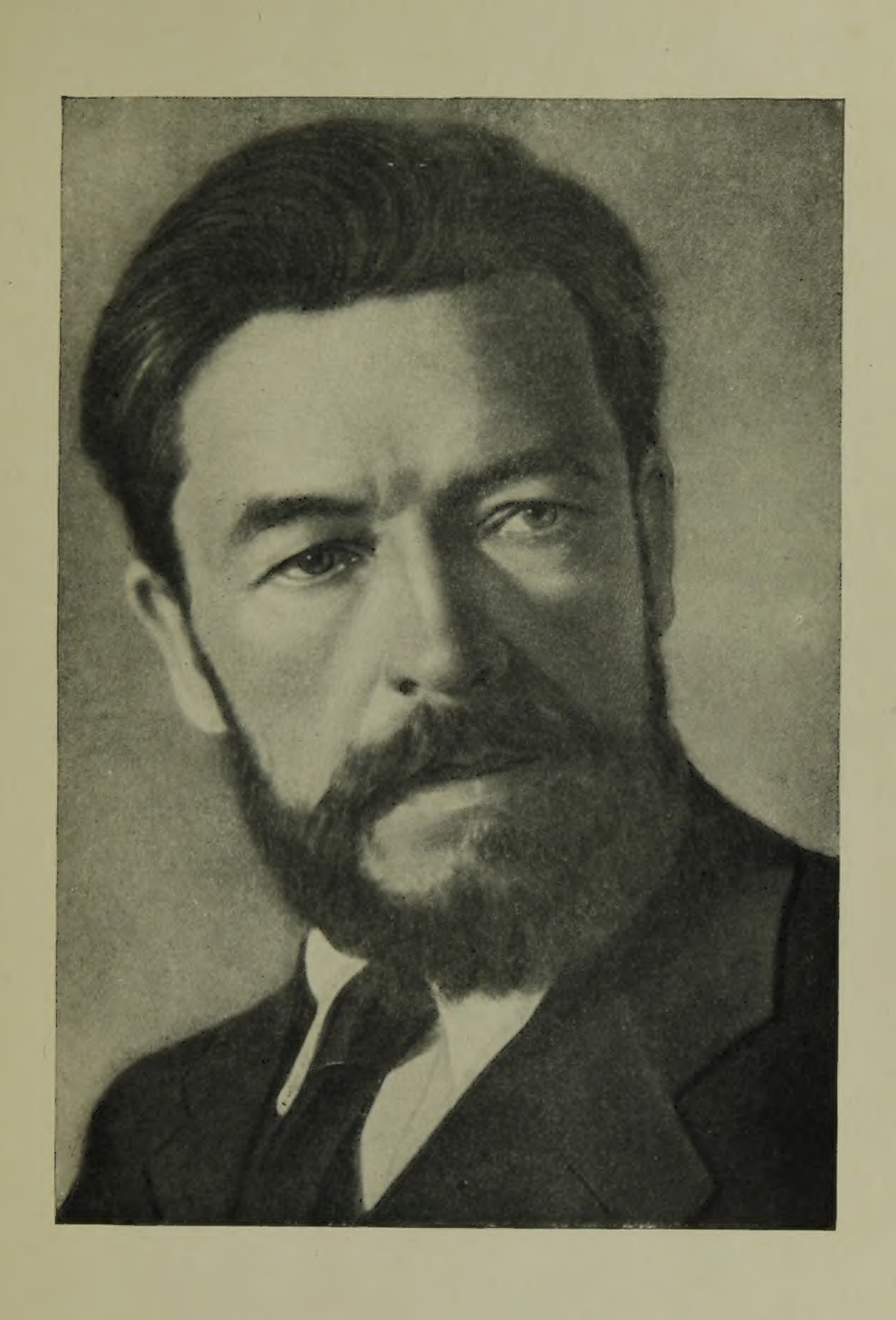
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Вступительный очерк
Вл. Бахметьева



ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1948

Под редакцией
М. В. БАХМЕТЬЕВА



ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

Очерк жизни и творчества

I

Столетие назад, невдалеке от города Бежецка, бывшей Тверской губернии, при станции «Шишкова Дуброва» Рыбинско-Бологовской железной дороги находилось имение помещика Бежецкого уезда, штаб-ротмистра в отставке, Дмитрия Алексеевича Шишкова. По отзывам старожилого населения, это был образованный, прогрессивно для своей среды и своего времени настроенный человек.

Среди крепостных Шишкова, в селе Дуброва, проживал со своей юной дочерью Елизаветой крестьянин Данила Данилов. Елизавета осталась без школьного образования, она не умела ни читать, ни писать, но отличалась природным умом и красотою. Была, кроме того, дочь Данилы незаурядной мастерицей в исполнении народных песен. Хор крепостных девушек играл не последнюю роль в забавах, устраиваемых помещиком для своих гостей, и здесь-то отличалась голосистая, пригожая собою Лизанька.

Увлекшись своею дворовою певицей-красавицей, помещик сблизился с нею, взял ее к себе в дом, и за довольно продолжительную совместную жизнь у них родилось четверо детей. Двое «выжили»: Яков — отец писателя, и Александра — впоследствии бабушка Клавдии Шведовой, жены писателя.

Когда, по настоянию матери, Шишков вступил в законный брак с девушкою из богатой дворянской семьи, Елизавета Даниловна с двумя своими внебрачными детьми переселилась в деревню. Чувство порядочности понудило Дмитрия Алексеевича дать детям свое имя, так что сын Елизаветы — Яков был занесен в метрики Шишковым.

Рос Яков Дмитриевич у своей матери в обстановке крайней нужды, грамоте учился у дьячка. Гордая по натуре, мать его от

подачек барина отказывалась и, едва сын подрос, вынуждена была отправить его в город на заработки. Там он и пробыл пять лет «в мальчиках» у бежецкого гостинодворца Ивана Первухина, а затем уехал в Петербург, где устроился к одному из владельцев магазина в Апраксином дворе — сначала приказчиком, потом доверенным.

Через пятнадцать лет, по приглашению Первухина, Яков Дмитриевич вернулся в Бежецк и застал купца в тяжелом недуге. Переняв от него заботы по лавке с «красным товаром» в Гостином дворе, молодой Шишков женился на младшей купеческой дочери Екатерине Ивановне.

Первенцем этой четы и был будущий писатель Вячеслав Яковлевич Шишков: родился 21 сентября (старого стиля) 1873 года.

Старик Первухин вскоре умер, оставив зятю в приданое за дочерью лавку и двухэтажный дом, в котором, помимо Вячеслава, росли у Шишковых сыновья — Дмитрий и Алексей, дочери — Мария и Екатерина. Были и другие дети, но они в младенческом возрасте умерли.

Старший, Вячеслав, или, как его ласкательно прозвали родные, Вестенька, пользовался в семье общим вниманием и любовью. С особой признательностью и нежностью писатель вспоминает в своих записках бабушку Елизавету Даниловну, у которой он, будучи подростком, проводил каждое лето.

Время в деревне протекало разнообразно, шумно и весело. Осень, когда приходилось возвращаться в Бежецк, мальчик обычно встречал слезами.

«Избушка бабушки,— вспоминает писатель,— маленькая, покривившаяся, вросшая двумя окошками в землю, но... она до сих пор живет в моей памяти, как светлая сказка».

Днем — прогулки, игры, а по вечерам, когда все собирались под кровлею бабушкиной избы, всякие россказни о были и небылицах, которыми потчевали жадного до сказок Вестеньку бабушка и ее престарелый братец Никита Данилович... Несомненно, именно здесь шаловливый и резвый, склонный вместе с тем к мечтательности мальчик впервые приобщился к волшебному роднику народного сказа.

Учиться грамоте Вячеслав начал в частном пансионе одновременно с двоюродной сестрою Расей, которая вместе с бабушкой Елизаветой перебиралась обычно на зиму в город.

В ранние школьные годы не избежал Вячеслав известного влияния и со стороны религиозно настроенной дальней родственницы матери, слепой старухи Федосьи Ивановны. Смолоду Федосья много бродила по святым местам и теперь, найдя приют в доме Шишковых, проводила время в молитвах и бесконечных рассказах о монастырях и святых подвижниках. Наслушавшись старухи, Вячеслав решил однажды стать «святым» или по крайней мере архиереем. Готовясь к этой роли, он совершал церковные обряды, облачался

в ризы из столовой скатерти, украшал голову камилавкой из картона и «служил молебны», причем требовал от сестер и братьев, чтобы они молились, а сам он исполнял обязанности священника, дьякона и хора. Десяти лет от роду Вестенька объявил отцу о своем желании уйти в монастырь спасать душу. Отец, не прибегая обычно к сильным средствам внушения, в этот раз схватился за арапник, и тут мальчику пришлось подумать о «спасении» той части тела, которая оказалась в большей опасности, чем душа. Помощь и защиту от разгневанного родителя Вестенька нашел у матери и бабушки, которые, как всегда, готовы были принять любую стычку с главою дома из-за своего любимца.

Из частного пансиона после года учебы Вячеслав перешел в городское училище, где провел шесть лет. По окончании каждого учебного года он приносил в дом похвальные листы, которые отец обрамлял в рамки и развешивал, один за другим, на стенах своего парадного зальца.

Вместе с новыми знаниями и впечатлениями, полученными в школе среди широкого круга товарищей, менялись потребности и запросы Вестеньки, по-иному удовлетворял он и свою склонность к творчеству в забавах. Теперь мальчик разучивал старинные песни и охотно, как бы отдавая дань перенятой у бабушки страсти к пению, выступал с сольными номерами в училище и на домашних вечерах, перед гостями отца. Вместе с тем по большим праздникам Вестенька декламировал перед взрослыми стихи, а изредка, при участии младших братьев и кое-кого из школьных товарищей, устраивал домашний театр, в репертуар которого входили монологи и сцены собственного его, Вестеньки, изобретения, с обиходным реквизитом вроде вывернутой наизнанку шубы, наклеенной бороды из пакли и т. п.

Ранняя любовь к книге выявилась у Вестеньки довольно своеобразно. Собрав в доме старые книжонки и накупив новые — в изданиях Сытина и Манухина, он завел библиотечку, составил каталог и требовал от всех своих домочадцев и сверстников «подписки» на право чтения, с оплатой от одной до трех копеек за каждую выданную книгу. Одновременно «библиотекарь» выпускал в свет рукописный, с цветными рисунками, журнал, сбор подписной платы с которого, как и плата за выдаваемые для чтения книги, употреблялся главным образом на пополнение библиотеки, и только в небольшом проценте доход издателя и библиотекаря шел на приобретение мороженого да кое-чего из сладостей.

Первым школьным сочинением Вячеслава было описание, по заданию преподавателя словесности А. П. Павлова, деревенского утра. Эта работа ученика пятого класса получила высокую оценку учителя. Еще до того Вячеслав «описал» крестьянские посиделки с песнями и плясками, а вслед за тем им была сочинена «повесть из разбойничьей жизни» под названием «Волчье логово».

Упоминая в автобиографии об этих своих ранних работах, писатель говорит:

«С тех пор, вплоть до самого зрелого возраста, я литературой не занимался, и мне не приходило в голову, что я буду писателем».

Впоследствии, столкнувшись на технико-строительной практике с людьми из народа, Шишков завел себе записную книжку, в которую заносил меткие словечки, песни, поговорки. Однако делал он это, по его собственному определению, совершенно инстинктивно. Чудом объяснял он и свои первые, школьного периода, упражнения в сочинении. «Отец мой,— писал он,— мало образованный, мать тоже, разговоров о литературе, о писателях у нас в доме не могло быть, я не задумывался над тем, как делаются книжки, и вдруг, каким-то необъяснимым чудом, меня потянуло писать».

Как у всех талантливых самородков, тяга к литературным упражнениям дала о себе знать писателю внезапно и без достаточного, казалось, повода. На самом деле, если и было здесь «чудо», то оно имело вполне реальные предпосылки. Достаточно вспомнить о бесконечных, способных захватить любое детское воображение, сказках старух, о живописных рассказах приказчика из жизни удалых разбойников, о деревенских хороводах с песнями — все, что имел Вячеслав-отрок в стенах отчего дома и при своих ежегодных летних поездках к бабушке в деревню. Немало говорит о себе и увлечение Вячеслава-школьника книгою вплоть до его библиотечки с принудительною подпискою для домочадцев.

Чтение художественной литературы было излюбленным занятием подростка с первых же классов городского училища, и он сам отмечает в своей биографии, что на него с детских лет влияли «любимые писатели» — Гоголь, Пушкин, Успенский, Толстой, Короленко. Он много читал, начав с сытинского лубка, еще больше слышал и достаточно для своего возраста видел, чтобы при первом же случае (например, литературное задание в школе учителя словесности) обнаружить тайное желание изложить на бумаге о всем виденном и слышанном так, как это делалось в любимых им книжках.

Несомненно, влияние на пробуждение у юного Вячеслава склонности к сочинительству имели также яркие впечатления, накопленные им в обилии при поездках в поля и леса с отцом — большим любителем природы и страстным охотником.

Техническое училище, в которое поступил Вячеслав, выпускало хорошо подготовленных техников по водным и шоссейным путям. Здесь проходили: математику, геометрию, строительное искусство, топографию, межевой устав, проекционное и топографическое черчение, проектирование гидросооружений, дорог, гражданских зданий и пр. В мастерских училища велись занятия по столярному,



В. Я. Шишков в форме Вышневолоцкого технического строительного училища, 1891 г.

кузнечному и слесарному ремеслам. Дисциплина поддерживалась в школе строгая, на военный образец, причем учащимся вовсе запрещалось курение табака, а прогулки разрешались только до восьми часов вечера. В занятиях проходил почти весь день, начиная с восьми утра, работа в мастерских или в чертежной затягивалась до шести вечера и позже.

Летние каникулы, продолжавшиеся всего месяц, а также годовые праздники Вячеслав проводил в Бежецке, в кругу родных. С его приездом старый дом оживал, наполнялся весельем, голосистым пением.

В шестнадцать лет, высокий, стройный, он выглядел красивым молодым человеком, умевшим позабавить, приласкать и утешить, как никто. Особенно нежен был он с матерью, обещая ей из первых же своих заработков оказывать семье помощь. И в самом деле Вячеслав Яковлевич не покидал забот о родных до последних дней, начав еще на практических строительных работах выделять для них, что мог, из своего скудного заработка. Он часто писал им и навещал Бежецк даже из Сибири, не останавливаясь перед расстоянием.

По окончании технического училища Вячеслав Яковлевич провел 1892 и 1893 годы на обязательной строительной практике в Новгородской и Вологодской губерниях. Начал он с участия в работах по перестройке Березайского бейшлота, что в тридцати километрах от Опеченского посада. Для юного гидротехника эта работа, на трехпролетной каменной плотине, была отличной практикой. Здесь началось и более зрелое знакомство будущего писателя с народом, притом же не только с рабочим людом на строительстве, но и с населением близлежащих деревень. Затем практикант-гидротехник был переведен в Вологду для работ по Вышегорскому округу путей сообщения.

Попав на ремонт плотины «Знаменитой», что подле Кубинского озера Вологодской губернии, юноша занялся «спасением народа»: покупал из своего жалованья обувь для бедняков, раздавал по мелочам деньги особо нуждающимся, выступал «со словом поучения».

«Меня печаловали,— пишет Вячеслав Яковлевич,— деревенская грязь, свара, бедность, взаимная ненависть, пьянство, я решил заняться проповедью. В свободное от работы время, глубокими вечерами и праздниками, я ходил по окрестным деревням, собирал народ в избы и поучал от евангелия. Бабы плакали, слава моя крепла».

Дело у Шишкова-проповедника окончилось тем, что кое-где в деревнях начали обращаться к нему с молитвенным призывом: одни, чтобы он помог в неизлечимом недуге, другие, чтобы он изгнал беса из одержимого. И вот новоявленный спаситель народный «опамятовался»: он не только не знал секрета борьбы с бесами, но и не верил в их существование.

Получив по окончании строительной практики звание техника, молодой Шишков стал собираться на постоянную работу в Сибирь. Сказалась здесь мечта о дальнем неизведанном крае, о могучих его реках и таежных просторах. Вскоре желание молодого человека осуществилось. В конце 1894 года Шишков выехал на службу по округу путей сообщения в Томск.

II

К концу прошлого столетия Сибирь вступила в полосу хозяйственного оживления. Сооружался великий сибирский путь; на реках Обь, Иртыш, Енисей возникали торговые компании пароходства; производились обследования новых трактов по рекам и горным долинам, учреждались там и тут промышленные предприятия, правда, небольшие, полукустарного типа. На очереди стояла проблема развития горных приисков и вообще упорядочения горнозаводского дела. С запада на восток, из-за Урала, в степи Иртыша, Оби и далее, к Забайкалью, пробивались потоки крестьян-переселенцев.

Тем не менее «окраина Российской империи» все еще представляла собою необъятное, необследованное, непочатое царство с тайгою на тысячи верст, с глухими горными хребтами и тундрами, с многоводными реками и озерами. Неслыханные богатства недр — от угля до золота — попрежнему лежали втуне, а если и эксплоатировались местами, то, как и лесные богатства с их пушным зверем, хищнически, набегами, в расчете на легкую, без затрат, прибыль. При этом правящие круги царской России охотно, не считаясь с интересами отечественного торгово-промышленного капитала, раскрывали ворота в Сибирь иностранным предпринимателям — датчанам, немцам и т. д., торговые операции коих велись в духе закабаления российского мелкого купечества, мародерства и презрения к запросам и нуждам старожилого населения.

Крайняя отсталость в экономической и культурной жизни «окраины» обуславливалась прежде всего бесправием ее сравнительно немногочисленного населения, особенно кочевых племен, занимавшихся рыболовством и пушным промыслом. Новое, обнадеживающее, побуждающее к действию, вносили в жизнь и быт старожилого сибирского народа колонии политических ссыльных. Известную положительную роль играли здесь, разумеется, города с их прослойкою рабочего населения и интеллигенции, проникавшей в среду угнетенных «племен» окраины и защищавшей их пред лицом невежественных администраторов края, вскрывавшей в печати жестокие нравы такого рода торгашей, как купцы-скупщики, выведенные Шишковым в его очерках и рассказах («Помолились», «Чуйские были» и др.).

Город Томск, в котором поселился Шишков, недаром слыл в

Сибири и за ее пределами «сибирскими Афинами». Это был административный и хозяйственный центр Западной Сибири, здесь находились университет, политехнический институт, высшие женские курсы, функционировали культурно-просветительные общества, выходила большая ежедневная, всесибирского значения, газета. В городе заметно росло рабочее население. Здесь были — паровая мельница, лесные склады, типографии, спичечная фабрика, мелкие кустарные предприятия, позже — большое паровозное депо.

Первые два года служба Вячеслава Яковлевича в округе путей сообщения была мало интересною, кабинетною. Зато вскоре он подружился с учащеюся молодежью, был введен в передовой студенческий кружок, часто посещал нелегальные сходки и вечеринки с рефератами и жаркими спорами между марксистами и местными народниками, увлекавшимися идеями «свободной Сибири».

По собственному признанию Шишкова, в разноречия и споры, какие велись в ту пору среди молодежи, он не вдавался. Однако политические устремления студенчества, жаждущего «всеобщего народного счастья», были близки ему, трогали и волновали его мысль. Он немало читал, делал из книг выписки, знакомился с рукописными рефератами и, отдавая дань своему вольнолюбию, принимал на себя сборы среди сослуживцев и знакомых на «нужды революции» и «в помощь ссыльным».

Вскоре начинающий техник-путеец захвачен был работою по нивелировке и съемке исследуемой реки Обь, а затем он отдался усиленной подготовке к испытаниям на право самостоятельного производства инженерных работ.

В 1900 году Вячеслав Яковлевич учебные испытания успешно выдержал. С тех пор округ путей сообщения поручал ему ответственные технические работы, позволявшие Шишкову совершать ежегодные путешествия с весны до первого снега и в течение ряда лет побывать на реках — Иртыш, Обь, Бия, Катунь, Енисей, Чулым, Лена, Нижняя Тунгуска, Ангара.

Летом 1902 года Шишков отправился в первую большую самостоятельную поездку на Обь — Енисейский канал, в таежную, населенную остяками местность, а в 1904 и 1905 годах он работал по исследованию водного пути на реках Чарыш и Чулым.

Война с Японией, а затем революционные события, охватившие всю страну, взволновали и Сибирь. Шишков жил тогда в семье томского учителя гимназии П. М. Вяткина, у которого собирались школьные работники, велись беседы на общественные темы. Учитель словесности Вяткин был гуманистом в лучшем смысле слова, любил литературу, горячо сочувствовал революционному движению молодежи. По просьбе Вячеслава Яковлевича он дал осенью пятого года приют его приятелю, наборщику Егору Кононову, участнику подпольного кружка большевиков. Под влиянием этого товарища, сулившего жестокие схватки с царизмом, Вячеслав Яковлевич обзавелся «аршинным медвежачьим»

револьвером. Однако применить оружие на деле ему не довелось, а когда в городе начались полицейские репрессии, обыски и аресты, он вынужден был схоронить в укромном месте усадьбы револьвер, а заодно и свои записи о мрачных днях разгула в октябре 1905 года монархистов-черносотенцев.

«Черные эти дни,— говорил Вячеслав Яковлевич через десять лет, в 1915 году, на одном из литературных вечеров в Томске,— были для меня предметным уроком по истории бесправия народного. Именно тогда я понял, что без упорной и длительной борьбы народу не видать свободы».

Лето 1906 года Шишков провел, выполняя технические поручения, на реке Иртыш. Здесь, по пути к Семипалатинску, ему удалось собрать немало материала из жизни и быта иртышского казачьего войска, киргизов и колонистов-немцев. В 1908 году он отправился в новую командировку по исследованию порогов на реке Енисее, где внимание его поглощено было прежде всего трудом и бытом золотоискателей на некрасовском прииске. Об этой поездке в автобиографии писателя имеется следующая запись:

«Тут меня снова потянуло писать, совершенно неожиданно и неудержимо. Мощная река, грохот ее на порогах, рыбачья деревенька Подпорожная, небывалая гроза с ослепительной молнией, разразившаяся при моем ночном возвращении из поселка Казачинского,— все это подействовало на мое воображение, и я засел за писание. Рассказик получился так себе, и я его выбросил, но это меня не смутило, чесались руки писать еще и попытаться пристроить в печать».

Тяга к перу настойчиво заявляла о себе будущему писателю. Тем более что в его распоряжение непрерывно поступал жизненно яркий материал: каждое путешествие в глубину Сибири сопровождалось обилием впечатлений от встреч с людьми и первобытною природою. Однако первою появившеюся в печати вещью Шишкова была символическая сказочка «Кедр»: о силе и мощи кедра-великана, укрывающего под своею сенью пернатых от хищников.

Газета «Сибирская жизнь» опубликовала на своих страницах произведение за подписью «Вяч. Шишков». Развернув 8 ноября 1908 года газету, Вячеслав Яковлевич радовался, по его признанию, как ребенок. В последующие годы в той же «Сибирской жизни» печатались более серьезные его очерки и этюды, но чувство удовлетворения при виде своей впервые опубликованной работы неповторимо. Значимость события, вызвавшего у тридцатипятилетнего человека юное ликование, заключалась в том прежде всего, что с этого часа он мог более снисходительно относиться к своей неугасимой потребности «писать»: его печатали!

Однако до момента, когда Шишков смог вплотную отдаться литературе, было еще далеко.

В 1909 году, весною, Вячеслав Яковлевич прибыл по командировке округа путей сообщения в далекий Якутск. Здесь его ожи-



1901 г.

дали новые, чрезвычайно яркие впечатления. Путь к Якутску, где предстояли работы в черте города по укреплению берега реки Лены, пролегал через всю Сибирь, Байкал и Забайкалье и занял у Шишкова около месяца. Двадцать лет назад тот же самый путь — к Сахалину — проделал А. П. Чехов, который писал затем Суворину, что он, Чехов, получил от виденного и слышанного в дороге столько наслаждения, что «теперь и помереть не страшно». В том же духе расценивал свою поездку и Вячеслав Яковлевич. Особенно пристально вглядывался он здесь в жизнь каторжан, приисковых рабочих, ссыльнопоселенцев и якутов. И здесь именно писатель немало заполучил в «копилку памяти» материала, легшего потом в основу ряда рассказов и, частью, большого романа «Угрюм-река».

В конце того же 1909 года кружок томских литераторов приступил к выпуску журнала «Молодая Сибирь». Приняв по возвращении из Якутска близкое участие в журнале, вплоть до сбора средств на его издание среди местных состоятельных людей, Вячеслав Яковлевич написал рассказ «Бабушка потерялась». Тема этого второго печатного произведения — бесправная, темная таежная деревня — была близка по духу народническому «Русскому богатству», на отзыв редактора которого Шишков и отослал номер «Молодой Сибири» со своей вещью.

В. Г. Короленко рассказ одобрил и в приветливом письме просил сибиряка прислать что-либо «Русскому богатству». «Однако для литературной работы у меня совершенно не было времени». Это замечание писателя в автобиографии по поводу письма Короленко скорее указывает на отсутствие в ту пору у Вячеслава Яковлевича уверенности в своем литературном призвании, нежели на недостаток времени. Тогда же, в зимние месяцы, удовлетворяя свое неостывающее желание быть полезным «обездоленным людям», он, например, немало отдавал времени занятиям со взрослыми в воскресной школе для неграмотных.

Ввиду того что воскресная школа преподавала не только грамоту, но и азбуку политическую, власти преследовали «воскресников». Был учрежден негласный надзор и за Шишковым, но, при всем своем усердии, «надзиратели» не имели возможности проследить до конца за своим поднадзорным: ежегодно он исчезал из поля их наблюдений, отправляясь в далекие и длительные командировки.

Так было и в 1910 году, когда Шишков заведывал партией по исследованию на Алтае реки Бии — от истоков ее из Телецкого (в переводе на русский — золотого) озера до впадения в Обь. Работать на бурной в своих многочисленных порогах реке было трудно и не безопасно. Но... «игра стоила свечей»: перед писателем проходили незабываемые картины из жизни кержаков-староверов, теленгитов, калмыков (алтай-кижи) с их культом шаманизма, обрядами жертвоприношения подземному богу Эрлику и народными праздниками с участием певцов и сказителей былин.

В мае того же года «Сибирская жизнь» опубликовала путевой очерк Вяч. Шишкова «На Лене», в октябре — заметки «из встреч» под заглавием «Злосчастье», а в декабре набросок «В кают-компании». Кое-что из материала, вывезенного с реки Бии и Телецкого озера, вошло в дорожный этюд «Любителям красот природы».

Очерк из путевых впечатлений «На Лене» заканчивался многозначительными намеками («чтоб не так внятно было царским цензорам»): «Ничего, что месяц скрылся, авось взойдет солнышко... А вдруг да роса очи выест...» И затем: «Когда же проснешься ты, Лена-красавица!» То есть торопись, мол, встряхнуться от вековой спячки, пока, как говорит народная пословица, роса очи не выела.

В наброске «В кают-компании» приводится беседа сибиряков с агентом иностранной фирмы, датчанином. Смысл беседы, имеющей характер аллегории, сводится к гневному вопросу купца-пассажира: «И зачем вы, иностранцы, к нам лезете?! Вот хотя бы вас, датчан, али немцев взять — эвон сколько расплодилось в Сибири... Куда ни плюнь, немец на датчанине сидит и англичанином погоняет... А ведь это мы, сибиряки, крестьяне да купцы, орудуем, сил не щадя, а вы — готовенькое от нас принимаете да — за границу».

Заметки из встреч с переселенцами полны горечи по поводу «злосчастных» поисков крестьянами, бегущими из-за Урала от голода и малоземелья, правды и сытой жизни.

Как в этой небольшой газетной вещи, написанной просто, но искренно и смело для своего времени, так и в напечатанном годом позже на страницах «Сибирской жизни» рассказе «Однажды вечером» уже проступает художник будущих полотен из народной жизни с его выразительным диалогом, сочными эпитетами в описании природы, склонностью к простодушно-комическому там, где улыбка читателя будет сопровождаться скорбным вздохом по поводу бесправия и нищеты «подъяремного народа».

III

Наступила весна 1911 года, когда, отправившись в экспедицию на Лену и Нижнюю Тунгуску, Вячеслав Яковлевич едва не погиб со всем своим рабочим экипажем.

В связи с небывалым в те годы ростом заселения Сибири и развитием земледелия встал вопрос о создании дешевых вывозных путей для избытков сибирского хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. Был подготовлен ряд проектов морского транзита, среди них наиболее смелым по замыслу являлся проект оборудования непрерывной водной магистрали с выходом в Охотское море. Приняв на себя разработку этого проекта, управление томского водного округа организовало экспедицию для обследования на месте и предложило возглавить ее своему лучшему, за-

воевавшему доверие, работнику — В. Я. Шишкову. Задача рекогносцировочных работ заключалась в обследовании водораздела между Леной и протекающей в 25—30 верстах от нее Нижней Тунгуской с целью соединения обеих рек каналом, а также в производстве съемок и промеров для выяснения условий судоходства Нижней Тунгуски на всем протяжении, около трех тысяч верст, до самого впадения в Енисей.

По опыту своих прошлых рабочих поездок Вячеслав Яковлевич учитывал всю трудность и ответственность новой задачи. Тем не менее он без колебания принял на себя руководство экспедицией, зная, что осуществление судоходства по Нижней Тунгуске и соединение ее с Леной имеет громадное государственное значение и сулит всяческие блага хозяйству и культуре Сибири. Его не могла не прельщать идея переустройства обь-енисейского соединительного пути, открывающего сплошной водный тракт в девять тысяч верст — от города Тюмени до Лены и далее по этой реке и судоходному притоку Алдану до пристани Нелькана на Мае, откуда до порта Аян на Охотском море было всего лишь двести с небольшим верст.

Ранней весною разведывательная партия выехала на Лену, в село Чечуйское, что под Киренском, и приступила по трем запроектированным вариантам к изучению водораздела Лены и Нижней Тунгуски. Работа оказалась мучительной, полною лишений и бытовых неудобств. Помимо беспрерывных физических усилий и постоянного напряжения воли, необходимого для успешного руководства в первобытной дикой обстановке десятками рабочих, жизнь отравлялась тучами болотных комаров, способных валить с ног крупных животных. Уже в конце первой недели лица у всех вспухли и походили на бурые окровавленные маски. Крылатые насекомые, проникая в едва зримые глазу дыры палаток, лишали людей сна и отдыха. Начальнику отряда приходилось не только производить необходимые расчеты, промеры и записи, но и следить за изнемогающими рабочими своего отряда, внушать им веру в их дело, поддерживать бодрость духа.

К июню месяцу экспедиция перебралась на Нижнюю Тунгуску, в деревню Подволочную, где, передохнув, занялась пополнением отряда местными жителями, приготовлением запаса сухарей — до полутораста пудов, оборудованием двух годных для жилья и геодезических работ шитиков — больших крытых судел. В этих работах Вячеславу Яковлевичу помогали политические ссыльные.

Наконец шитики с людьми, инструментами и запасами провизии двинулись по Нижней Тунгуске с ее верховьев. Предстояло осилить не менее двух тысяч пятисот верст неизведанного водного пути, среди таежной глуши, болот и скал. При впадении Тунгуски в Енисей экспедицию должен был ожидать казенный пароход. Предполагалось, что к этому пункту отряду удастся прибыть не позже середины сентября, но расчеты не оправдались:

вместо четырех экспедиция провела в пути чуть ли не восемь месяцев и оказалась на краю гибели.

Шитики подвигались людскою тягою, через скалистые пороги, способные превратить в щепы долговечный кедр, среди мрака северных ночей, в тучах едкого дыма от прибрежных пожарищ тайги. При этом — необозримая вокруг глухомань, вой диких обитателей тайги, пронизывающая до кости болотная стужа и все те же легионы летучих кровопийц, въедающихся в кожу, проникающих в рот и уши, слепящих глаза.

В половине августа экспедиция достигла Ербогочева, последнего населенного пункта этого края. Далее, слишком чем на полторы тысячи верст — полное безлюдье и совсем неведомая, широкая, но мелководная, порожистая река. Крестьяне, нанятые в Подволочной, сбежали, ушел и лоцман, заявив в свое оправдание: «Мне краше дома умереть, чем плыть в такую погибель».

«С этого дня,— рассказывает в своих записках Вячеслав Яковлевич,— мы были предоставлены самим себе и очертя голову поплыли вперед. Река то бешено несла нас по неизвестному нам фарватеру,— шитики со всего маху ударялись о подводные камни, с риском проломить дно и затонуть,— то вдруг от берега до берега поток воды преграждался огромной песчаной мелью. Шитики тогда разгружались, груз перетаскивался берегом версты за две, к глубокому плесу, затем все, раздевшись, волокли на себе оба шитика, прогребая ходовую борозду средь камней и гальки. Было холодно, мы коченели, но греться у костра некогда, сразу в весла, в путь. Сильный встречный ветер дул целую неделю, мы не подались вперед и на версту... Когда погода утихла, разбились на два дежурства, плыли день и ночь, работая до кровяных мозолей. В туманных сумерках встретили грохочущий порог, в нем камни лежали, как киты, вода кипела. Нас втянуло туда с бешеной силою, и до сих пор не понимаю, как мы остались целы».

«4 сентября выпал снег, вода у закрайков замерзла, шитики обледенели. А впереди полторы тысячи еще более трудных верст! Назад же вернуться немыслимо. На стремнинах шитики летели быстро, мы в крайнем напряжении следили за беляками, чтоб не разбиться вдребезги о камни. Ночами не спали, плыли среди мрака неизвестно куда. Наконец, измучившись, иззлобившись, мы причалили к берегу и провели ночь в мертвецком сне. К утру шитики вмерзли, и все тихое плесо оказалось покрытым тонким льдом. С проклятьями пробивались версты две через лед до быстрого плеса».

7 сентября, у самого устья р. Илимпеи, измученные исследователи заметили на берегу избу и амбар, а подле людей. С криками «ура» шитики повернули к берегу, но там, приняв их за суда разбойничьей шайки, кинулись прочь, в тайгу. Только после усердных призывов береговые люди вернулись. То был торговый стан ангарского купца. Дней через десять сюда прибыли за товарами



В. Я. Шишков (второй справа) среди рабочих изыскательной партии на р. Нижняя Тунгуска. 1911 г.

тунгусы с караваном оленей. После долгих уговоров тунгусы повели экспедицию через тайгу на юг, к Ангаре. Шли без дорог, прямиком, руководясь необычно острым у кочевников чувством направления. Так экспедиция проделала семисотверстный путь, затратив на это более месяца, подвигаясь тайгою, по глубокому снегу, то при 20—25 градусах мороза по Реомюру, то в пургу. Спали в сугробах, у костров, питались лосиным мясом, олениной, остатками сухарей. Одежда была кое-какая, совсем не приспособленная к жестокой зиме. В селе Кежме, на Ангаре, путешественники обрели, наконец, отдых, теплые избы, сытую пищу, а главное — ни с чем несравнимую радость спасения. В Томск, где Шишкова и его товарищей считали погибшими, экспедиция возвратилась в конце ноября.

«Наш путь с тунгусами,— замечает Вячеслав Яковлевич в записках,— кратко не опишешь; он напитал мою душу незабываемыми впечатлениями».

И в другом месте:

«Условия жизни были каторжные, работа опасная, но экспедиция дала мне житейский опыт и богатейший бытовой материал, и я очень благодарен за нее судьбе».

Как мы знаем, писателю удалось тут по-серьезному освоить быт тунгусов, ссыльных поселенцев, таежных крестьян и бродяг, а также стародавних жителей Сибири, поселившихся в тамошних местах, еще «когда Петр царем служил», и сохранивших в своем бытовом укладе навыки и обычаи XVII—XVIII веков. Свыше восьмидесяти старинных «проголосных» песен и былин записано было здесь Шишковым (издано Иркутским географическим обществом в 1912 году). С дороги, весной и летом, Вячеслав Яковлевич направил газете «Сибирская жизнь» несколько путевых очерков, а по возвращении в Томск он приступил к работе над большим рассказом из жизни тунгусов «Помолились».

В результате большой зарядки от виденного, слышанного и пережитого на героическом пути по Лене и Тунгуске у начинающего писателя зародилась мысль о большом произведении. Впоследствии многое из почерпнутого в этой экспедиции явилось живым материалом для глав историко-бытового романа «Угрюм-река». Что касается итогов самой экспедиции, то, хотя Шишкову и не удалось вполне завершить работу, по данным, которые он собрал, было все же установлено, что Нижняя Тунгуска, при условии оборудования некоторых искусственных сооружений, вполне для судоходства пригодна.

* * *

Последнею работою Вячеслава Яковлевича по обследованию путей сообщения Сибири была экспедиция на Алтай. Ему было поручено произвести подробные технические исследования Чуйского тракта (от города Бийска через горный Алтай до границ

Монголии) с целью коренного переустройства его. Партия техников и рабочих во главе с Шишковым была разделена на два отряда и производила работы в летние рабочие периоды 1912 и 1914 годов. Начальнику партии приходилось все время поддерживать связь между отрядами, передвигаясь с этой целью верхом на коне по горным кручам и бурным водам с опасностью для жизни. Так, в начале осени второго года работы, переправляясь через Катунь у крутой скалы, он едва не утонул.

Величественная красота Алтая с его Чуйскими Альпами, увенчанными вечными снегами, с его стремительною молочно-зеленою Катунью, с его грохочущими водопадами и горными, вознесенными к солнцу озерами, с волшебною степью его, где горы отступают на полсотни верст, а кажутся совсем близкими — до того прозрачен здесь воздух,— захватила Вячеслава Яковлевича. Но не только своею первобытно-мощною природою сулил ему Алтай богатые впечатления. Писателя ожидало здесь необычайное своеобразие жизни и быта старожилого населения: кержаков-староверов, калмыков, теленгитов.

При возвращении летом 1914 года с Алтая, в большом селении Онгудай Вячеслава Яковлевича настигли тревожные и смутные вести о войне. Лишь в Бийске сыскались свежие газеты с информацией с русско-германского фронта. О наблюдаемых им тогда настроениях среди алтайского населения Шишков писал впоследствии: «Перед моими глазами прошла мобилизация по деревням. «Патриотического» подъема, о котором усердно писалось в газетах, не было,— были слезы, проклятия, буйство, погром винных лавок». Позже, уже в Томске, в беседе с друзьями о войне и роли в ней Санкт-Петербурга, он, намекающе, горько посмеиваясь, говорил о тройке Гоголя: «Удала, борза троечка, любую дорожку вынесет, да вот — в кучерах-то у нее безголовые».

Результатом алтайской экспедиции Шишкова, прерванной вследствие военных событий, было то, что по его проектам великий Чуйский тракт подвергся в наше советское время переоборудованию, а живой материал, собранный писателем в этой экспедиции, лег в основу ряда его очерков, привлекших внимание широкого читателя («Чуйские были»). Спустя год после работ на Алтае Вячеслав Яковлевич переселился в Петроград.

IV

Особое место среди сибирских друзей Шишкова занимал Г. Н. Потанин. Известный исследователь Сибири, Центральной Азии и Монголии привлечен был в свое время вместе с знаменитым другом его Н. М. Ядринцевым к царскому суду по делу «Общества независимости Сибири» и отбыл, по приговору этого суда, каторгу в Свеаборгской крепости, а затем ссылку.

Шишков познакомился с Потаниным в конце 1911 года, когда «дедушке Сибири» перевалило шесть лет на восьмой десяток. Невзирая на разницу лет, они привязались друг к другу. Общим у них было — любовь к Сибири и работа. Экспедиции Шишкова в глубину страны Потанин считал продолжением своего труда по исследованию Сибири, что было близко к действительности: один работал как географ и этнограф, другой свои материалы по обследованиям обобщал в технических чертежах и... в беллетристике. Трогало Шишкова и то, что маститый ученый одобрял его фельетоны в «Сибирской жизни» и вообще живо интересовался его литературными занятиями, поощрял их.

«Под влиянием Потанина,— отмечает Вячеслав Яковлевич в своих записках,— я урывками от службы занимался в 1912—1913 годы писательством и пополнением образования».

У Потанина собирался кружок его друзей и почитателей из среды местной профессуры, журналистов, студенчества, поэтов и беллетристов. Заглядывали порою к «дедушке Сибири» также товарищи из круга политических ссыльных. Даже те, что не разделяли так называемых областнических взглядов Потанина, сводившихся по существу к культурной автономии Сибири, преисполнялись искренним уважением к долголетней самоотверженной научной и общественной деятельности Григория Николаевича, к его глубокому уму и талантам. Публицистические того времени статьи Вячеслава Яковлевича в «Сибирской жизни», вроде статьи «Пасынки» или «К вопросу о театральной школе в Сибири», написаны были по непосредственному побуждению сердца, но не без влияния «дедушки Сибири». Доказывая необходимость открытия в Сибири театральной школы, Вячеслав Яковлевич писал: «Ежели не надо в Сибири школы драматического искусства,— есть-де в Москве, то не надо и музыкальной, не надо и художественной,— все это есть в Москве, пожалуйте в Москву, пешком с котомкой или по железной дороге, только ради бога в Москву. «В Москву, в Москву!» будут мечтать сибиряки, как чеховские «сестры», а время будет уходить и силы меркнуть». Еще ближе потанинскому чувству сострадания и возмущения — высказывания Шишкова по поводу появления среди аборигенов Обдорского края очередной эпидемии оспы. Передавая о своих встречах с тунгусами и об ужасах, пережитых этими последними под бичом черной болезни, он взволнованно заканчивает свою статью: «И вот теперь змеей ползет по северу зараза. Там, где она ступит своей пятой, слезы брызнут, раздастся вопль и проклятие. Родина! Мать ли ты?.. Пожалей своих пасынков».

Позже, на ту же тему и с теми же, что в названной статье, фактами Вячеслав Яковлевич написал рассказ «Царская птица».

На вечерах у Г. Н. Потанина читались рефераты на литературные и философские темы, а иногда и художественные произведения. Так, Вячеславом Яковлевичем оглашены были здесь:

«Бабушка потерялась», «Чары весны», «Бродяжня», песни и сказы, собранные им в Иркутской губернии, повесть «Помолились». Трогательные страницы повести — из жизни тунгусов — вызвали общее одобрение, особенно Потанина. Один из сибиряков-беллетристов, бывший тогда на вечере, писал в газете «Жизнь Алтая» (Барнаул): «Слушая эту повесть, я с необычайным удовольствием убедился, что Вяч. Шишков, этот скромный и мало заметный еще писатель, способен нежно и любовно взять читательскую душу и унести ее на далекий-далекий север Сибири, как ни один еще из русских писателей, побывавших в холодном изгнании, и показать не только грустные картины тайги и тундры, но и примитивную полудетскую душу обитателей их развернуть перед вами, как четко и крупно напечатанную книгу».

Этот отзыв, довольно метко определявший лейтмотив ранних произведений Вячеслава Яковлевича, показателен и для взаимоотношений в среде литераторов Сибири. Немногочисленные в те годы сибиряки — поэты и прозаики, раскиданные по разным концам края, отличались исключительною сердечностью друг к другу, товарищескою чуткостью и вдумчивостью во взаимной оценке работ. Каждое крупное произведение, появлявшееся в печати Западной и Восточной Сибири, находило живой отклик собратьев по перу в их письмах, а нередко и на страницах газет.

Бывало, когда двое литераторов, живущих в разных городах и ни разу не встречавшихся, длительное время справляли дружбу, переписываясь, зорко следя за каждым шагом товарища в литературе. Так именно, с переписки, началось знакомство с Вячеславом Яковлевичем и у автора настоящего очерка. Лишь через полтора года, в переломный для литературной жизни Шишкова 1912 год, мы встретились в Томске. Первое, что невольно привлекало тогда в духовном облике Шишкова, было удивительное сочетание спокойного, устойчивого добродушия с деловитой трезвостью в суждениях о людях. Его совсем юная романтика во взглядах на жизнь вполне уживалась с грубоватой суровостью в оценке ее отдельных, чуждых или не совсем ясных ему явлений. Он впадал иногда в коленопреклоненное, если можно так выразиться, состояние при разговоре о деятелях науки и просвещения, весьма почтительно относясь к сибирским культуртрегерам. В то же время с чисто простонародною прямотой, в беспощадно выразительных оборотах речи он мог вышутить, выбранить лицемерие в поведении либерала-профессора, кумира сентиментальных курсисток, или видного гласного городской думы, краснобая на парадных вечерах и «пустомелю» на деле».

В общем у нас сложилось тогда при встречах с Шишковым довольно полное представление о его общественных взглядах. Истоками миросозерцания Вячеслава Яковлевича, несомненно, были идеи и настроения народничества, но не эсеровского толка, а скорее эпохи хождения в народ с известными, обусловленными временем

и обстановкою коррективами. Он, например, не разделял веры в то, что этот «лучший из миров» мог быть усовершенствован только героизмом и страданиями одиночек,— один в поле не воин, победа дается народу. Однако народ, в представлении писателя тех лет, это — аморфная масса простых людей и прежде всего крестьянства. О роли рабочего класса в истории он имел смутные понятия и без особого оживления, хотя и с терпеливою вежливостью слушал наши высказывания по вопросу о судьбе сибирских аборигенов и решающем значении здесь освободительной борьбы пролетариата.

Вячеслав Яковлевич был поклонником искусства сцены, он часто посещал местный театр, ставивший спектакли заезжих артистов, и увлекался симфоническими концертами. Народная песня, как и красочный язык простолюдина, доставляли ему глубокое наслаждение. Вот почему он так ценил классические оперы русских композиторов: ведь в них все от народа и — ничего от наигранной выдумки. Любимыми пластинками в его домашнем граммофоне были «Ноченька», «Солнце красное», «Дубинушка» Шаляпина, отрывки из Бородина, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова.

1912 год Шишков считал началом своей литературной деятельности. В этом году, помимо статей «Пасынки» и др., в «Сибирской жизни» напечатаны его очерки: «Человек из города», «На севере», «На богомолье», «Чары весны», «Бичевочка», а также рассказы «Бисерная рожа» и «Теща». Последняя вещь опубликована в «Жизни Алтая» (Барнаул). Кроме того, во «Всемирной панораме» появился рассказ «Оборотень», а в новом петербургском журнале «Заветы» — первая повесть «Помолились».

В том же году, летом Вячеслав Яковлевич был в Петербурге, где познакомился с рядом литераторов. Из бесед с этими литераторами, обласканный ими, «житель тайги», как отмечает он в автобиографии, вынес крепкую мысль о необходимости переезда из провинции в столицу: «чтоб не заморозить своего дарования».

На обратном пути из Петербурга в Сибирь Шишков побывал у родных в Бежецке и, убедившись в крайней ветхости отчего дома, дал обещание родителям помочь в постройке нового, что и оказалось выполненным в следующем году: старый дом был снесен и на сбережения, скопленные писателем, возведен новый (по Воздвиженской улице, ныне — имени Вячеслава Шишкова).

Матери писателя не довелось справить новоселье. Неожиданная смерть ее, последовавшая в 1913 году в Петербурге, в клинике бр. Елисеевых, тяжело отразилась на сознании Шишкова. Он любил свою мать и глубоко сострадал ее незадачливой жизни. Однако первые успехи в литературе, повелительный голос таланта, требующего настойчивого труда, новая длительная экспедиция — на Алтай, наконец переезд в столицу смягчили горе Вячеслава Яковлевича. Он много писал, его тянуло к более крупному произведению, творческая мысль его уже подсказывала ему по-

вые и новые картины будущей повести («Тайга»), отрывок из первых набросков которой был еще в 1912 году напечатан в «Сибирской жизни» как самостоятельный рассказ под названием «Бродяжня».

Тогда же им были написаны рассказы «Краля» («Заветы» № 2, 1913), «Чуйские были» и «Ванька Хлюст» («Ежемесячный журнал» №№ 2 и 10, 1914), «Суд скорый». Одновременно был опубликован ряд его мелких очерков в «Сибирской жизни», рассказ «Бабушкино горе» в «Минусинском крае» и сатирический этюд «Первый блин» в номере первом за 1914 год томского журнала «Сибирский студент».

К последнему периоду жизни Шишкова в Сибири относятся попытки группы местных писателей выступить на более широкой литературной арене со сборниками своих произведений. Инициаторы этого начинания обратились за помощью к А. М. Горькому, направив в его адрес объемистую посылку из рукописей участников будущих сибирских сборников. Алексей Максимович одобрительно отозвался о доставленном на его суд материале и посулил свое содействие по реализации первого сборника. В результате — годом позже — вышел в свет «Алтайский альманах», а затем сборник «Северные зори». Шишков дал для альманаха очерки «На Бии», а для «Северных зорь» — рассказ «Варин сон».

То было время возрождавшихся надежд всего передового общества страны. Вслед за кровавыми событиями на Лене широкой волной прокатились по городам рабочие стачки и демонстрации студенчества. Заметно поднялось настроение и в колониях ссыльных, более смело звучал голос сибирского революционного подполья, подхваченный местными рабочими кружками и лучшею частью учащейся молодежи. Шишков не принимал прямого участия в работе революционного подполья, но он не был глух там, где к нему обращались за содействием при попытках подполья войти в сношение с местными широкими аудиториями через легальные культурные организации. Эта отзывчивость писателя была вполне понятна. В глубине сознания его продолжала жить немеркнущая тревога за тот мир нищеты, темноты и страданий, которыми Сибирь встречала его на Оби и Лене, в горах Алтая и в далекой Якутии. Но вот разразилась первая мировая война, страна вступила в новую полосу испытаний. Шишков лихорадочно готовится к переезду в Петербург, ему содействует в этом, с одной стороны, растущая связь с литературным миром столицы, с другой, старшие сослуживцы во главе с начальником Томского округа, инженером Н. В. Поповым. Наконец Вячеслав Яковлевич объявил своим друзьям, что покидает Сибирь, и при этом не скрыл своих опасений: ведь здесь, в Сибири, он имел литературное имя, его широко знали и уважали, а в столицу явится он «круглым нулем, и ему придется там начинать с начала». Начинать же на пятом десятке лет не так-то легко.

Известие об «измене» Шишковым второй своей родине глубоко огорчило Г. Н. Потанина: как можно покидать Сибирь, когда

она так нуждалась в честных и талантливых работниках? Это — измена! Прощаясь со стариком, Шишков обещал ему «попрежнему любить Сибирь и работать для нее, в ее интересах».

Переезд В. Я. Шишкова в Петроград состоялся в середине августа 1915 года.

«За свое двадцатилетнее пребывание в Сибири,— писал он впоследствии в автобиографических заметках,— я вплотную столкнулся с ее природой и людьми во всем их любопытном и богатом разнообразии. Я видел всяческую жизнь простых людей. Я жил бок о бок с ними, нередко ел из одного котла и спал под одной палаткой. Перед моими глазами прошли многие сотни людей, прошли неторопливо, не в случайных мимолетных встречах, а в условиях, когда можно читать душу постороннего, как книгу. Каторжники, сахалинцы, бродяги, варнаки, шпана, крепкие, кряжистые сибиряки-крестьяне, новоселы из России, политическая и уголовная ссылка, кержаки, скопцы, инородцы,— во многих из них я пристально вглядывался и образ их сложил в общую копилку памяти».

И еще:

«Около двадцати лучших лет моей жизни я кровно был связан с людьми и природой Сибири, тайгой, степями, величественными реками, горным Алтаем. Здесь родилось и стало крепнуть мое литературное дарование, и до сих пор я люблю возвращаться к сибирским темам».

Как мы знаем, живя в столице, писатель не прекращал экскурсов в толщу народной жизни, но то, что отложилось в его «копилке памяти» за время пребывания в Сибири, осталось неисчерпаемою базою всего его творчества. Это не значит, конечно, что все его произведения связаны с сибирскою тематикой, но без преувеличения можно сказать, что нет такой сколько-нибудь значительной вещи среди них, которая не была бы обязана второй родине писателя творческою установкою в воспроизведении действительности, эмоциональной окраской, самой природою своего языка.

V

«Я всегда думал, что путь писателя — путь очень трудный и ответственный,— писал Вячеслав Яковлевич в автобиографии, опубликованной при первом томе его собрания сочинений в издании «Земля и фабрика».— Памятуя об этом и учитывая свои скромные силы, я с большим колебанием и уже в зрелом возрасте поддался соблазну заковать себя в позлащенные кандалы литературы».

Перебравшись в Петроград, он лишь на третьем году жизни здесь, после Октября 1917 года, отдался полностью писательской деятельности, а до этого не покидал службы в министерстве путей сообщения и работы над проектом переустройства Чуйского тракта.

Столица, несмотря на осложнения и трудности, внесенные в ее быт войною, встретила Вячеслава Яковлевича гостеприимно. Большую роль в установлении дружеской связи писателя-сибиряка со столичным литературным миром играла его жена, популярная своими переводами зарубежных классиков, К. М. Жихарева.

Оба они служили и лишь попутно занимались литературой. Тем не менее еще до конца 1915 года Вячеславу Яковлевичу удалось написать ряд рассказов и очерков, отражающих, в меру цензурных возможностей, общественные интересы военного времени. Не оставлял он и материалов, накопленных в Сибири, продолжая работу над «Тайгою».

Из рассказов этого года на военную тему написаны: «Конный разведчик Бородулин» (журнал «Отечество»), «Инвалиды» («Сибирская жизнь»). На сибирские темы: «Колдовской цветок», «Та сторона», «Веселая штука», «Море зеленое» и «Сибирский дед».

В первый же месяц жизни в Петрограде возобновились знакомства Вячеслава Яковлевича в литературной среде. Еще до этого, при посещении столицы в 1914 году, Шишков побывал у А. М. Горького.

В очерке «Встречи», опубликованном в 1928 году в сборнике статей о М. Горьком, Вячеслав Яковлевич так характеризует свои впечатления от первого свидания с великим писателем:

«Уходил я, переполненный впечатлениями. Голова моя как бы огрузла, и душа насытилась доотказа. Я впервые встретился с таким мудрым рассказчиком. Горький давал не только фрагменты к широкому полотну царской Руси, но всякий раз своими рассказами подтверждал какую-нибудь свою мысль, у него всегда обобщение, всегда за анализом синтез».

Теперь, с переездом в Петроград, писатель-сибиряк бывал у Горького довольно часто. Закончив в начале 1916 года первую большую работу («Тайга»), Шишков передал ее Горькому. 3 апреля Алексей Максимович дал следующий письменный отклик на повесть: «Дорогой Вячеслав Яковлевич, «Тайга» очень понравилась мне, и я поздравляю вас,— это крупная вещь. Несомненно, она будет иметь успех, поставит вас на ноги, внушит вам убеждение в необходимости работать, веру в свои силы».

Сделав несколько замечаний по существу содержания вещи, автор письма советует не слишком увлекаться словом и лирикой, так как «многословие делает рассказ жидким», а лирика местами тем более излишня, что: «Вы прекрасно чувствуете лирику фактов, коя всегда несравненно красивее, а потому и ценнее лирики слов»[1].

Шишков немедля уселся за дополнительную работу над повестью, проделав исправления в местах, указанных Горьким. «Помню,— замечает К. М. Жихарева в своих записках,— какое-то особенно радостное лицо Вячеслава Яковлевича, когда он возвратился

---

[1] «Три неизданных письма М. Горького» опубликованы проф. П. С. Богословским в «Трудах Орехово-Зуевского педагогического института» по кафедре языка и литературы, М., 1936.

от Горького. Успех «Тайги» положил конец его колебаниям, он решил как можно скорее развязаться с Чуйским трактом, бросить службу и заняться исключительно литературой».

Позднею осенью, чтоб покончить с проектом Чуйского тракта, Вячеслав Яковлевич выехал не надолго в Томск, где вновь и в последний раз встретился с Потаниным. «Старик заметно дряхлел, однако душевные силы его были те же»,— отмечал в своих записках Вячеслав Яковлевич. «Поблескивая плохо видевшими голубыми глазами, Григорий Николаевич расспрашивал меня: «Ну, как настроение столицы, как война, каково настроение рабочих, крестьян, солдат, не попахивает ли революцией? А революция-то неизбежна!» Я Потанина больше не видел,— заканчивает писатель о своей последней поездке в Сибирь,— он скончался в 1921 году в клинике при университете. Советская власть относилась к нему очень хорошо, несмотря на то, что при Колчаке он был сбит с толку местными политиканами».

Под «политиканами» Шишков разумел эсеров и кадетов, созвавших в декабре 1917 года конспиративный «Всесибирский чрезвычайный съезд», на котором Потанин был избран главою так называемой Сибирской областной думы. Вскоре, однако, старик сложил свои «полномочия».

При свидании с товарищами-томичами Вячеслав Яковлевич в первую очередь поделился своею радостью относительно судьбы «Тайги». Повесть одобрена Горьким вплоть до заключительной картины пожара, символизирующего неизбежность революции.

При печатании «Тайги» в №№ 7—11 журнала «Летопись» дала о себе знать автору повести военная цензура. Шишков вынужден был вступить с цензором в объяснения. «Толстый генерал,— рассказывает Вячеслав Яковлевич в автобиографии,— встретил меня, к моему изумлению, чуть не с объятиями: «Ах, ах... Я, знаете, просто зачитывался вашей работой: свежесть, знаете, колорит... Но... к чему эти скользкие местечки? Нет, нет, разрешить нельзя! А вот у вас священник... Он, во-первых, пьяница, во-вторых, ведет любовные шашни с купчихой... Это невозможно, это поклеп на религию. Вы, конечно, христианин? А знаете что! Не можете ли вы вместо священника вставить дьячка?» Я ответил, что уже напечатано полповести и что теперь очень трудно попа загримировать дьячком. «Ну, тогда до свиданья»,— сухо сказал генерал». И они расстались.

Повесть, хотя и с купюрами цензуры, была доведена в журнале до конца, вызвав широкий отклик у читателей и в литературной среде. При всем том писатель продолжал служить в управлении шоссейных дорог, а также брать «дополнительные работы», связанные с литературой и театром. Но ни служба, ни прочие занятия «ради хлеба насущного», ни самые лишения бытового порядка не отражались сколько-нибудь приметной помехою на плодотворном труде Вячеслава Яковлевича в области литературы.

В альманахе «Шиповник» за 1917 год были помещены написанные им в 1916 году рассказы «Золотая беда» и «Бобровая шапка»; в № 4 «Ежемесячного журнала» — рассказ «Шквал», в «Солнце России» — «Веселая штука»; в литературно-художественном сборнике «Книга» — рассказ «Стуколка» — о разрушительном влиянии на деревенский быт империалистической войны. К этому ряду произведений относился также рассказ «Солдатка». Написанная вчерне в том же 1916 году повесть «Пурга», героем которой является ссыльнопоселенец, была закончена и опубликована лишь в 1926 году.

В связи с растущей популярностью Шишкова, в котором одни видели «новую силу» в содержательной «этнографической беллетристике», другие — представителя «старой почетной школы идейных бытовиков» («Новая жизнь» № 29 за 1917 год), издательство «Огни» выпустило первую книгу писателя «Сибирский сказ». Посвященный Г. Н. Потанину, сборник этот включал в круг своих «сказов» рассказ «Суд скорый», написанный в 1914 году.

В письмах этого года к друзьям Вячеслав Яковлевич полон жизнерадостности. Крепла вера писателя в себя, в свое дарование.

Меж тем из глубины страны и с фронтов уже шли тревожные предгрозовые вести. В пламени «великого пожара» должна была возникнуть долгожданная «новая земля, где правда живет».

VI

Февральскую революцию Шишков встретил на улицах Петрограда, среди бурных, осененных алыми знаменами людских толп. Его тянуло ближе к народу, смешаться с народом, быть всюду, где вспыхивали огни «новой правды».

«Помню,— рассказывает К. М. Жихарева в своих воспоминаниях,— как мы вдвоем с Вячеславом Яковлевичем бегали (именно — бегали!) по митингам, самопроизвольно зарождавшимся буквально на каждом перекрестке, были в Государственной думе, жались под выстрелами к стенкам зданий и под перилами мостов, без конца волновались и спорили — особенно в конце апреля, когда приезд Ленина внес резкую перемену в народное настроение и послужил началом близкой всесокрушающей грозы... Вначале весь круг наших знакомых и сами мы поддерживали временное правительство, ждали учредительного собрания и считали нужным «воевать и хранить верность союзникам». Перестройка на «долой войну» и другие жгучие лозунги большевиков не всем далась сразу, а некоторым и вовсе не далась. Вячеслав Яковлевич перестраивался, в общем, быстро и безболезненно».

Он продолжал усердно навещать Горького. Был он у Алексея Максимовича и в один из первых бурных дней революции. Город шумел, там и сям слышалась ружейная и пулеметная пальба, голосистый рев машин, пение революционного гимна. Разговор за

столом хлебосольного хозяина, среди десятка гостей, шел о настоящем и завтрашнем дне страны, революции, интеллигенции. Алексей Максимович поделился своими намерениями организовать культурно-просветительное общество «Культура и свобода», с особым издательством при нем. Цель общества — объединить культурные силы столицы и направить их просветительное влияние в недра пролетариата.

«К концу завтрака,— пишет Шишков в своих «Встречах»,— с улицы послышались крики «ура» и музыка. Голоса ликования ясно доносились через двойные рамы четвертого этажа. Мы подбежали к окнам. По улице, по дорожкам Александровского парка валил народ, шли в строю солдаты. «Пройдемте на улицу, это фронтовики»,— сказал Алексей Максимович. Мы оделись и вышли. Колонны оборванных, в истрепанных сапогах солдат двигались по направлению к Каменноостровскому проспекту с винтовками и красными флагами. Их многие тысячи. Перенесшие ужас войны солдаты пришли сюда с позиций на защиту свободы. Они шли молча, закаленные в боях, суровые, неся в себе большую силу. И нам стало ясно,— заканчивает Шишков,— что революция победит в стране и укрепится. Недаром, приветствуя войско, так радостно кричит народ и на лицах у всех бодрая уверенность. Я взглянул на Горького. Он стоял, высоко подняв голову, и почмыкивал носом, подбородок его дрожал. «Алексей Максимович»,— наивозможно ласково сказал я и взял его за руку. Он негромко откликнулся: «Трогает это меня, трогает... Стройно идут, чинно... Спасена революция!»

Свои впечатления и наблюдения этого времени Вячеслав Яковлевич передал в ряде фельетонов на страницах периодической печати, между прочим, в «Новой жизни», выходившей при ближайшем участии Горького. Слал он корреспонденции и «Сибирской жизни». Кое-что из этого материала вошло в отдельную книгу: «Подножие башни». Приветствуя в одном из очерков пролетарский праздник мая в столице, Вячеслав Яковлевич писал: «Встал богатырь во весь свой рост, тряхнул крутыми плечами, цепи звякнули и с лязгом упали к ногам его... И радостно становится сердцу человека: душа оттаивает, просыпается, чтоб бодрствовать до конца дней».

Писатель с надеждою взирает на события и в каждом из них ищет признаков не только разрушения старого деспотического мира, но и «микроба строительства» новой жизни. В том же очерке «Подножие башни» имеются следующие, характерные для миропонимания писателя, строки: «От господина Великого Новгорода через тьму прошедших столетий, по могилам борцов за свободу, мы, ведомые просвещенными сынами человеческими, пришли к подножию башни, которую надлежит создать волею народов. Достойный взять камень и положить его на крепком цементе, в основание,— бери и клади! Нерадивый, не мешай строить!»

В этом слове к «нерадивым» — голос писателя, обращенный в сторону обывателей-нытиков и лицемерных друзей народа. Говоря в автобиографии о своих собственных настроениях в этот переломный год, он пишет: «С большим интересом всматриваясь в небывалые события народной жизни, работал я с особым рвением, будучи настроен бодро и радостно».

Помимо летучих очерков для газет, в том же году им было написано: «Каторжник» (№ 1 «Ежемесячного журнала»), «Веселый бродяга», «Огонь погас», «Соловьиная ночь», «Опись моего происшествия». В сборнике «Северное дело» опубликован рассказ «Та сторона», в «Новой жизни»—«Маевка», а в №№ 9—12 «Летописи»—сказка «Лесной житель». Сказка была одобрена Горьким: «Сказка хорошая,— писал он в марте Шишкову,— и она принята «Парусом». Сказка-быль Шишкова рассказывала о фантастическом приключении крестьянского мальчика в сибирской тайге. Свежестью своих красок, запоминающимися бытовыми деталями, эта вещица представляла интерес не только для детей, но и для взрослых читателей.

Октябрьские события, как и февральскую революцию, Шишков встретил на улицах. Стояла сырая, темная осенняя ночь. «Большой проспект,— вспоминает Жихарева,— забит был черной, как смоль, толпой, в которую врезались такие же черные, как бы выточенные из угля, грузовики с звонко кричащими фигурами... Когда мы переулками пробирались домой, глухо, словно в толстый слой ваты, бухнули новые, непохожие на обычные, выстрелы. И тут же мы узнали, что это поработала «Аврора» и что Керенскому теперь «крышка».

С прозорливостью подлинного сына своего великого народа Шишков оценил решающее для судеб родины значение Октября и новую, советскую, власть принял как власть подлинно народную.

«Что есть советская власть? — рассуждает один из спутников писателя в его поездке в 1918 году к Осташкову.— Мы же и есть советская власть — русский народ» (Из книги очерков «Ржаная Русь»).

Советская власть как власть народная, пролетариат как класс, выражающий лучшие качества народа,— такова основа тех убеждений, которые принял Шишков, писатель и гражданин, после неизбежных, обусловленных влиянием среды, исканий и колебаний.

События продолжали развиваться. «Старая жизнь,— отмечает об этом периоде К. М. Жихарева,— разлаживалась, а новая все больше втягивала нас».

Было ликвидировано французское акционерное общество «Продуголь», где временно работала Жихарева, прекратило свое существование дорожное управление, а значит, освободился, наконец, от службы и Шишков. Теперь он стал работать в литературных комиссиях Наркомпроса, вместе с А. А. Блоком — в одной из них. Некоторое время участвовал он также в репертуарной коллегии при политотделе седьмой армии.

Вместе с тем Вячеслав Яковлевич продолжал помещать в литературно-художественных отделах газет этюды и сцены из текущих наблюдений, в которых не могла не сказаться известная узость миросозерцания писателя, только что вступавшего активно в круг величайших идей народа-борца. Из беллетристических произведений Шишкова, опубликованных в 1918 году, были рассказы: «Лунной ночью» в № 5—6 «Ежемесячного журнала», «Под колоколами» (в отдельном издании «Кладбище») — в «Новой жизни», «Красная рубаха» — в сборнике «Перед рассветом», а также «Кутерьма», «Отцы-пустынники», «Деньги», «Веселый бродяга», «Провокатор». Последняя вещь — начало целого круга юмористических — «шутейных» рассказов.

В 1918 году в издании «Парус» вышла отдельной книгой повесть «Тайга», а к концу года писатель имел в своем портфеле первые наброски к задуманному большому роману «Угрюм-река», который ему удалось закончить лишь через полтора десятка лет.

Показателен для Шишкова того времени не только его неутомимый писательский труд, но и то, что в первые же после Октября годы он вновь обращается к скитаниям, чтобы «собственным оком» заглянуть в лицо новой, взбудораженной, еще не устоявшейся деревни и, сколь возможно, разобраться в глубинных процессах, какими революция оплодотворила народную жизнь.

В течение 1919 года писатель продолжал усердно работать над первыми главами «Угрюм-реки» и окончанием повести «Страшный кам». Одновременно в журнале «Творчество» был опубликован рассказ «Мериканец» (вошел в сборник «Взлеты» — изд. ВЦСПС, 1925 г. — под названием «Крылья»), в «Пламени» — сатирический этюд «Коммуния», в «Северном сиянии» — сказка-быль «Медвежачье царство», рассказ «Зеркальце» и очерк «Северное сияние». К тому же году относится работа над рассказами «Золото», «Падучая», «Крокодил» и над первой пьесой «Старый мир» (мелодрама в четырех действиях).

Опыты в драматической работе Вячеслав Яковлевич не покидает и в следующем 1920 году, при этом материал для пьес и своих юмористических рассказов он собирает главным образом во время поездок по деревням. Был он между прочим в деревне Игумново, на р. Шексне, где выступал с чтением отрывков из своих произведений среди крестьян. Побывал в селении Ретени, Лужского уезда, где крестьяне и школьники играли его пьесу «Грамотей». При постановке было много курьезов, и этот веселый народный спектакль побудил его позже написать рассказ «Спектакль в селе Огрызове».

В дни нападения Юденича и угрозы Петрограду писатель участвует в работах по рытью окопов, выступает с чтением своих веселых рассказов в рабочих клубах и воинских частях. То было тревожное время, когда, как отмечает Жихарева в своих воспоминаниях, у кое-кого из окружающих писателя возникло сомне-

ние, удержат ли большевики власть. «Более всего,— пишет Жихарева,— страшила возможность возвращения «старых хозяев». В уединении кабинета этот страх обострялся, на улице, среди людей, сглаживался и меркнул. Вячеслав Яковлевич стремился часами оставаться за стенами своей квартиры, участвуя в коллективном труде по уборке улиц, посадке в сквере деревьев, сносе ветхих деревянных построек, а также исполняя по ночам дежурства в домкоме».

История бесславных атак Юденича, выброшенного вместе с его корпусом белого офицерства и обманутых простаков-солдат в Эстонию, нашла впоследствии свое отражение в романе Шишкова «Пейпус-озеро».

За кратковременной передышкой после разгрома Колчака и Деникина последовало вторжение в пределы Украины белополяков, поддержанных у рубежей Донбасса Врангелем. Новые отчаянные битвы на фронте, новые лишения в голодающих городах.

«Прежняя жизнь окончательно развалилась, новая еще не окрепла, начался голод и всякие неполадки в быту,— отмечает об этом времени Жихарева.— Наша с Вячеславом Яковлевичем «уютная» квартира причиняла нам теперь массу мучений: центральное отопление замерзло, электричество светило максимум два часа в сутки и то нерегулярно, лифт и телефон не действовали».

Однако писатель не падал духом, он много писал и не покидал мысли о новых и новых встречах с людьми из народа. Именно в ту пору он едва не уехал вместе с Жихаревой в родную Сибирь.

«Мы чуть не уехали в Сибирь с организовавшимся здесь Сибирским книгоиздательством,— писал он 23 августа 1920 года автору настоящего очерка.— Но это дело распалось, и мы остались в столице».

В том же письме к нам Вячеслав Яковлевич сообщал о работе и о своем самочувствии. «Лучше всего жить в Петербурге,— писал он: — Окно в Европу (из которого валит к нам смердящий дым), люди, работа, пульс жизни! Хотя не сходят мозоли с рук и некогда отдохнуть спине, однако я все это не только приемлю, но и благословляю. Живем оба (с К. М. Жихаревой.— *Вл. Б.*) в радости, а если и бывает печаль, то в дождливые дни, когда вороны каркают и мало в запасе крупы и масла. О сладких пирогах скучаем редко — душа жива иным и радуется иному».

Близко знавшим Вячеслава Яковлевича была особенно понятна эта жизнерадостность — несмотря ни на что, невзирая даже на «смердящий дым» из окна Европы и «каркающих» вокруг, среди всполошенной обывательщины, «ворон». Душа писателя была действительно «жива иным»: в стране бушевала невиданная в истории вешняя гроза, народ вступал в новую жизнь, и это глубоко гармонировало с расцветом творческих сил и надежд писателя.

Меж тем еще зимою 1919/20 года здоровье Вячеслава Яковлевича на почве крайних лишений и недоедания заметно пошатну-

лось, и вот он решился обратиться за помощью к Горькому. Выслушав Шишкова, Алексей Максимович обещал немедля похлопотать о переселении его в советское общежитие и при этом пригласил автора «Тайги» принять участие в одном литературном предприятии.

— Вот что,— говорил Горький,— надо толкать народ к хорошему, внушать уважение к дворцам, к вещам, которые достались ему в наследство. Вот нас несколько человек задумали написать серию маленьких пьес.

Вячеслав Яковлевич предложил написать какую-нибудь бытовую вещь и, перебравшись с Колпинской улицы в Советскую гостиницу по Троицкой улице (где отопительная сеть в исправности и круглые сутки электричество), написал двухактную вещицу «Панкратыч». Слушая пьесу, Алексей Максимович много смеялся, пьеса ему понравилась, он окрестил ее новым названием «Мужичок».

Приняв на себя заботу о нуждах писателей, А. М. Горький организовал в особняке на Васильевском острове «Общество помощи литераторам» и получил значительное ассигнование на переиздание избранных произведений, причем организовался редакционный комитет в составе М. Горького, Блока, Муйжеля, Куприна, Шишкова и других. Комитет открыл работу, собираясь еженедельно у Алексея Максимовича. Были закуплены у многих авторов, особенно у крайне нуждающихся, произведения.

К этому времени значительно улучшилось снабжение ученых и писателей столицы. Вячеслав Яковлевич мог теперь уже не заниматься «добывающей промышленностью», как он в шутку именовал свои заботы о питании, и целиком отдаться литературе.

Советская Россия стояла у порога мирной жизни, ликвидации хозяйственной разрухи, восстановления промышленности и сельского хозяйства.

VII

Пять последующих лет в жизни Шишкова, примечательных плодотворностью его писательского труда, широким разнообразием содержания и характера его произведений, увенчаны были договором писателя с московским издательством художественной литературы «Земля и фабрика» на выпуск в свет «Собрания сочинений».

В марте 1925 года Вячеслав Яковлевич передал названному книгоиздательству право на издание до полутораста листов своих произведений, составивших двенадцать книг, при этом большинство их написано было за пятилетие, начиная с 1920 года.

Наряду с вещами, которые вошли в первое собрание работ писателя, с его письменного стола не сходила на сколько-нибудь продолжительное время рукопись крупнейшего его романа «Угрюм-река». Примечательно, что круг произведений, составивших издание «Земли и фабрики», включает в себя все виды художествен-

ной прозы — от больших полотен («Ватага», «Пейпус-озеро» и др.) до очерковых зарисовок.

В 1920—1925 годы, годы увлечения Вячеслава Яковлевича работою над произведениями юмористического жанра, были написаны им пьесы и сцены: «Мужичок», «На птичьем положении», «Единение», «Кормильцы», «Хоровод», «Веселый разговор» (первый набросок).

В цитируемом ранее письме к нам от 23 августа 1920 года Вячеслав Яковлевич сообщал о постановке своих пьес.

«Мелодрама «Старый мир» в четырех действиях, рисующая бесчинства и самодурство царской администрации, ставилась еще до конца 1920 года пять раз в Петроградском Василеостровском театре. Пойдет еще в двух-трех театрах. Да везде, где есть большой театр, будут ставить,— добавляет писатель.— Потому — в пьесе пение, пляски, возня, шум,— это народу нравится».

С еще большей охотой смотрелись в Петрограде и провинции одноактные пьесы вроде «Мужичка».

«Еще написано,—отмечал Вячеслав Яковлевич в письме,— Единение» — одноактная сатира на земских зубров. Еще «На птичьем положении» — о дезертирах, очень смешная (высмеивается трусость) вещичка в одном действии, приобретена политотделом военкомата, пойдет также в театре Пролеткульта. Еще «Кормильцы» — о спекулянтах, написано грубо, реально. Еще «Дурная трава» — о примазавшихся мазуриках — два акта. И еще, последнее еще!— начал писать пьесу из крестьянской жизни, где покажу всю подлинную изнанку войны, что она сделала с деревней. Первое действие написано, а что дальше писать — не знаю, хожу, как последний дурак. Придется поехать недели на две в деревню, поесть масла да яиц, да молока с простоквашей... Очень радостно теперь работать»,— заключал он письмо.

Речь в письме шла о пьесе «Вихрь» (разорение и бытовой развал деревни, потрясенной первой мировой империалистической войной). Отличаясь гражданским пафосом, пьеса в целом настолько мрачна и тяжела, что было вполне понятно замешательство автора в работе над нею. Все же пьеса была закончена и ставилась в начале 1925 года в студии Александринского театра, причем автор остался доволен игрою актеров и «поведением зрителей»

Помимо упомянутых выше пьес и больших прозаических вещей, Вячеславом Яковлевичем в те же годы было написано немало рассказов, преимущественно юмористических, окрещенных автором «шутейными рассказами». Так, в 1921 году были опубликованы: «Царская птица», «Мертвец», «Азор», «Посельга», «Попутчики». Последняя вещь появилась в «Красном милиционере», причем писателю, к его вящшей радости, милиция выдала вместо многомиллионного по тогдашнему времени гонорара отличные новые валенки.

Этот год ознаменовался в жизни Вячеслава Яковлевича траурным событием: умер в Бежецке его отец — Яков Дмитриевич Шишков.

В следующих 1922—1923 годах писатель, помимо ряда рассказов, закончил роман из гражданской войны в Сибири — «Ватага». Летом Шишков побывал в Лужском уезде, где посетил, между прочим, бывшее имение Огаревых «Вечаша». Основная цель поездки была связана с новою работою. В письме к Петрову от 2 сентября, упоминая о своей летней поездке, писатель говорит: «Здесь проходил Юденич, и мне необходимо собрать материал для романа, в дополнение к собранному в прошлом году».

Еще в начале 1924 года, в письме к автору настоящего очерка, Вячеслав Яковлевич упоминает о романе из гражданской войны в Северо-Западной области.

«Пейпус-озеро» движется медленно,— писал он.— Роман надо проверить, как работу школьника первой ступени, написанную каракулями: наверное, масса ошибок против истины, в Эстонии я не был, а в таких случаях собственные глаза и уши надежней всякого воображения. Надо ознакомиться с работами об Эстонии, чтоб не получилось где-нибудь «развесистой клюквы». Надо отыскать людей, бывших там во время Юденича, надо повидаться с юношей, рассказ которого о своих скитаниях положен в основу повествования» [1].

Высокая требовательность, с какою писатель подошел к своей работе, свойственна была ему и ранее не только в отношении к большим вещам, но и к малым, не исключая ранних произведений, построенных в результате непосредственных наблюдений. Сугубая осторожность в работе над одной из выдающихся своих повестей «Пейпус-озеро» вызвана была еще и строгою критикой на только что опубликованный роман «Ватага».

Много позже, в сборнике «Как мы пишем», касаясь критических откликов на «Ватагу», Вячеслав Яковлевич раскрыл свою оценку произведения с идейной и фактической стороны и высказал соображения о самом творческом задании в работе над вещью. О герое романа Зыкове он говорит, что это «бандит, анархист, бывший руководитель партизанского отряда, вначале верный рабоче-крестьянской власти, потом, в силу своей натуры и полного непонимания задач времени, оторвавшийся от нее».

Ссылаясь на некоего очевидца событий, имевших место в городе Кузнецке на Алтае, писатель поясняет: «Я хотел на эту тему написать рассказ, изобразив зверское буйство ватаги. В процессе же работы мне пришла мысль, что «зыковщина» и «пугачевщина» — родные сестры». А отсюда: «Мне захотелось обе эпохи — «пугачевщину» и «зыковщину» — сблизить, сопоставить и дать читателю возможность сделать соответствующие выводы».

Уже по этой ссылке на желание сблизить эпоху Екатерины с нашим временем, не считаясь с законом исторического развития, видно, в какой мере писатель споткнулся здесь. Его дополнитель-

[1] Юноша, о котором упоминается в письме, выведен в «Пейпус-озере» под именем молодого офицера Николая Реброва. — *Вл. Б.*

ные соображения о том, что «во всем романе, при установке на реализм, переходящий иногда в натурализм, дана сказочная пронизь, уводящая «Ватагу» из бытового плана в сферу эпического вымысла», мало что объясняют и еще менее того сглаживают грубую ошибку писателя, решившегося в угоду творческой фантазии отказаться не только от исторической действительности, но и от собственного широкого знания народа своего времени.

Уведенная в область «сказочной пронизи», сдвинутая в своей исторической перспективе к «пугачевщине», да еще к пугачевщине в ложной концепции историков-вульгаризаторов, повесть «Ватага» утеряла свою историческую ценность, тем самым лишив идейно осмысленной правдивости и все то, что автору удалось здесь дать о народной жизни в бурную эпоху гражданской войны.

Признал ли писатель ошибочность, неправдоподобие и односторонность показа партизанского движения в свете зыковщины? Ответ может быть только утвердительный. Достаточно сопоставить галлерею героических образов, поданных в «Емельяне Пугачеве» Шишкова, с персонажами из «Ватаги», чтоб видеть, как далеко ушел писатель в своих взглядах на события XVIII века за время между написанием «Ватаги» и «Емельяна Пугачева». Писатель в корне переоценил историческую сущность великого народного движения XVIII века и начисто развеял все черные наветы о нем прошлого, а тем самым должен был признать и порочность своей попытки «сблизить и сопоставить пугачевщину и зыковщину» в свете характерной будто бы для этих народных восстаний анархии. Впоследствии, уже в начале тридцатых годов, Шишков подверг «Ватагу» коренной переработке, замкнув повесть в рамки реалистического произведения, удалив из нее все, что было от авторского домысла и противостояло исторической правде.

Напечатанная в 1925 году в пятом сборнике «Наши дни», а также отдельно — в издании «Книга», повесть «Пейпус-озеро» отличалась от «Ватаги» прежде всего тем, что содержание ее строго отвечало событиям действительности. Повесть привлекла внимание широких читательских кругов своим патриотическим пафосом, яркостью рассказа о переживаниях «заблудшихся» и вновь обретших себя в любви к родине сынов ее, тоскою и муками обманутых русских солдат.

1924 год в личной жизни писателя оказался нелегким. Он вынужден был разойтись с К. М. Жихаревой. Упомянув в письме к нам о своем личном горе, писатель сообщал, что он намерен отправиться в Псковскую губернию, на пушкинские торжества, устраиваемые по инициативе крестьян, а затем в Москву и на юг — полечиться. Не имея возможности вследствие болезни и нарушенного душевного равновесия отдаться усидчивому творческому труду, он искал целительного отдыха в поездках, одновременно собирал книгу своих очерков революционного времени под общим названием «Улица». «Сюда входят мои газетные фельетоны за

17—18 годы,— пояснял он в письме к нам.— Фельетоны ценны, как полуисторические документы, списанные с натуры и правдивые. Перечитываю их с большим интересом и с радостью, что я сумел в то время быть выше интеллигентской толпы, оставаясь внепартийным».

Однако создать до конца этот сборник писателю не удалось, так как, по собственному его признанию, в очерковом материале оказалось немало «брака»: далеко не все «зарисовки с натуры» отвечали тому, что автор сознавал как результат преодоления им «интеллигентско-обывательской ограниченности» в своих взглядах на текущие события.

Несмотря на вынужденное из-за болезни пребывание в Крыму (Гаспра), Шишков постепенно «восстанавливает свое трудолюбие». В том же 1921 году он закончил и опубликовал: в сборнике «Крестьянский театр» шутку в одном действии «Лукавый», в «Красном вороне» — «Бабы», «Чудо», «Зеленый островок», в «Прожекторе» — «Эшелон», в «Красной ниве» — «Бабка», в «Молодой гвардии» — «Свежий ветер». Кроме того, были написаны рассказы: «Диво-дивное», «Мистер Веретенкин», «Просвещение», «Батрачка» и др. В марте — апреле на страницах «Правды» печатались очерки из Смоленщины — «Смоленские письма».

Подготовительная работа по выпуску собрания сочинений заняла у писателя в 1925 году немало времени: поездки в Москву, сбор по журналам, альманахам и газетам материалов, редактирование и отчасти переработка отдельных произведений. При всем том среди лета Вячеслав Яковлевич побывал в Новгородской губернии, а осенью — в Сухуме, продолжая там свою литературную работу. Результаты ее значительны. В «Красной ниве» опубликованы рассказы: «В деревне Крайней», «Настюха», «Развод», в «Красной панораме» — «Самоследствие», «Нечистая сила», «Бисерная рожа» (новая редакция), в «Смехаче» — «Радио-сатана», «Грех», «Трагический случай», в «Бегемоте» — «Тетка Матрена», «Темный лес» и т. д. Кроме того, были закончены рассказы «Алые сугробы», «Весенний сон», «Отец Макарий» («Приблудный поп»), «Комар», «Лайка» и др. В третьем номере «Нового мира» опубликован очерк «Приволжский край» — из очередных путевых наблюдений писателя.

Предпринимая в течение 1921—1925 годов поездки, походы и вылазки в глубь страны, Шишков обогащал свои наблюдения народной жизни, непрерывно пополнял и освежал живые впечатления от людей и дел их. Он ездил и ходил пешком, «с котомкой за плечами», по Тверской и Ленинградской губерниям, побывал в Смоленщине и в Приволжье. Его интересуют сельские сходы, разговоры на улице, беседы у изб вечернею порою. Он знает, как подойти к крестьянину, чтоб вызвать его разговорчивость, с какого конца начать опрос сельсоветчика, чем смирить ропот потревоженного деревенского туза. Он не избегает общества и «бывших людей», его беседы с деревенским батюшкой,

старухой-помещицей, лавочником напоминают хлопотливые старания пчелы на чертополохе: пусть — чертополох, а ведь и у него можно перехватить материал, который затем падет с пера писателя в добрые соты очерка каплею живого нектара.

«Я первый раз иду по своей земле, по Российской советской республике, первый раз встречаю свободного мужика, русского республиканца... Ему все сразу подай, как в сказке, а история наградит того, кто трудом заслужит».

И вот уже выбивается под солнце молодая поросль — «мужичья молодежь, потрепавшаяся в вихре революции», уже становятся на свои посты «поводыри» деревни — из тех, кого «история наградит»... Около сотни верст прошел писатель деревнями и видел, как лихорадочно готовился народ к новому будущему: ремонтировались общественные постройки, чинились мосты, устанавливались там и сям динамомашины на водяных мельницах, соединялись телефонною нитью волисполкомы, школы, больницы. «Итак,— заключает писатель,— топор опять заработал на новую Россию. Пусть не иступится!»

В очерках «С котомкой» и в более поздних — «Приволжский край» — Вячеслав Яковлевич пытался заглянуть и в то заветное будущее, когда «сотрутся межи» между городом и деревней. «Деревня еще кряхтит, ругает порядки, тем не менее она уже не та, что прежде»,— отмечал он в 1924 году.— «Человек почувствовал, что он человек, и это — главное».

Больше света, больше школ и знаний деревне, чтоб было где развернуться в ней «своей собственной интеллигенции» и чтоб раз и навсегда покончено было с подлыми «шептунами».

«Конечно,— читаем мы в тех же очерках «С котомкой» (издание ЗИФ «Ржаная Русь»),— Волховстрой и Стройсвирь — вещь первостепенной важности. Республика поступает правильно, не жалея на это денег. Так неужели же мы остановимся перед созданием других величественных турбин, чтоб принять всю мощь естественного водопада живых интеллектуальных сил пробуждающейся деревни? Конечно, нет — не остановимся!»

Поездкою в район между Костромой и Буем Вячеслав Яковлевич закончил круг «живых наблюдений» в годы 1920 –1925. Но уже в следующем 1926 году писатель направляется в Псковщину, удовлетворяя свою жажду побывать всюду, где народ готовился к перестройке своей жизни «на новый лад».

Даже А. М. Горький, достаточно в свое время побродивший на Руси, «с завистью» писал Шишкову в декабре 1925 года (из Неаполя): «...Когда я вернусь в Россию? Когда кончу начатый мною югромнейший роман. В России я работать не стану, а буду бегать по ней, как это делаете вы. Вам завидую».

Летом 1926 года, отдавая дань особому своему интересу к произведениям искусства прошлого, Вячеслав Яковлевич ездил в Псков, где знакомился с древними, XVI – XVIII вв., архитектур-

ными памятниками. В начале октября он гостил около двух недель в Бежецке, где читал своим родным отрывки из последних своих произведений, а вторую половину октября и весь ноябрь провел в Кисловодске, принимая лечебные ванны: «пошаливало сердце».

При всем том писатель продолжал работу над очередною частью романа «Угрюм-река» и закончил ряд новых рассказов.

VIII

В конце 1927 года Шишков осуществляет свое давнее желание и «прочно» поселяется в Детском Селе (г. Пушкин), покинув его лишь в 1941 году при наступлении на город немцев.

Сравнительно тихий и красивый, утопающий в зелени, г. Пушкин полюбился писателю так, что он не желал для себя ничего лучшего. В исторических аллеях бывшего Царского Села, доставлявших писателю отдых и «в обилии кислород», он проводил долгие часы. Здесь были задуманы многие главы и отдельные сцены лучших его работ — «Угрюм-река», «Емельян Пугачев». Мил и дорог был писателю Пушкин еще и потому, что здесь началось и расцвело его семейное счастье. После незадачливых попыток в прошлом обрести прочное счастье «об руку с любимой женщиной-другом» он, наконец, достиг цели.

Еще в 1925 году в Ленинград из провинции переехала его двоюродная сестра Р. Я. Шведова с мужем М. И. Шведовым, двумя сыновьями и дочерью Клавдией. М. И. Шведов до революции служил в Новозыбкове Черниговской губернии директором городского банка, после 1917 года он исполнял те же обязанности в советском банке. В столицу Шведовы перебрались в связи с поступлением в институт их сыновей — Леонида и Михаила. Предполагалось, что кончившую в Новозыбкове советскую десятилетку дочь также удастся устроить в высшую школу. Но вследствие болезни отца и крайней нужды, в которую впала семья, Клавдия вынуждена была отказаться от продолжения образования. Пройдя курсы машинописи, она работала машинисткой на деревообделочной фабрике им. Володарского вплоть до того дня, как стала женою Вячеслава Яковлевича.

26 июля 1927 года он и его юная подруга Клавдия Михайловна отправились в Вышний Волочок к брату Алексею Яковлевичу, затем через Москву пароходом до Нижнего и дальше по Каме в Пермь. Об этом путешествии Вячеслав Яковлевич писал в журнале «30 дней» (№ 16, 1927). Рекомендуя писателям «путешествия по родным рекам страны», Вячеслав Яковлевич в начале своей журнальной заметки говорит: «Истоки творчества лежат в общении с трудом и природой. Свои песни первобытный человек подслушал у птиц, у шелеста лесов, у серебристого журчания водных струй».

Побывав в то же лето на Кавказе, Шишковы, вернувшись в Ленинград в начале зимы, снимают квартиру в Детском Селе (г. Пушкин), где позже ими устраивались людные «литературные пятницы» с участием А. Толстого, К. Федина, О. Форш, М. Пришвина, А. Прокофьева и др.

Посещали Вячеслава Яковлевича гости и из других городов, не исключая далекой Сибири: зрелые и начинающие писатели, а также читатели-поклонники, с которыми Шишков имел дружескую переписку. То были инженеры, техники, геологи, агрономы, актеры, художники.

Писатель охотно участвовал в общественной жизни Пушкина, выступал на публичных вечерах, нес обязанности председателя особой при райсовете комиссии по охране мест, связанных с А. С. Пушкиным, и т. д.

Литературные результаты 1927—1928 гг.: рассказы «Алчность», «Письмо с дороги», «Цветки и ягодки», «Холодный душ», «Сочувствующий», «Дикольче», «Научный рыбовод», «Клетчатые брюки», «Жара»,— рассказы из круга шутейных, к которым Шишков возвращался уже не с прежней охотой, сосредоточившись на больших полотнах. Прилежно работая над третьей частью «Угрюм-реки» (в романе 8 частей), писатель опубликовал очерк «Встречи» (воспоминания о Горьком) и приступил к большому рассказу «Преисподняя», который вырос в повесть «Странники».

История этой повести из жизни беспризорных детей такова. В одной из своих статей в печати на литературные темы Вячеслав Яковлевич обратился к читателям с просьбой присылать ему описания «всяких интересных случаев из жизни». В адрес писателя посыпались вскоре отклики — ежедневно по нескольку писем с изложением мелких житейских фактов. Появились и рукописи начинающих, над чтением и разбором которых писатель проводил немало времени. Но вот одно из писем заинтересовало Вячеслава Яковлевича. Это было письмо «беспризорника» из Симферополя с сообщением нескольких живых эпизодов из своей скитальческой жизни. «На ловца и зверь бежит»,— решил Вячеслав Яковлевич и стал готовиться к рассказу о беспризорниках, судьбою которых как раз неослабно и действенно занимались советские учреждения и организации. Как всегда, прежде чем приступить к разработке серьезной темы, писатель исследует предмет: он приобрел необходимую литературу, делает из нее выписки, ищет сведущих людей и, наконец, знакомится с жизнью беспризорных непосредственно. С этой целью он посещает окраины Ленинграда и Москвы, заглядывает в пустоши, в заброшенные баржи и склады, служившие пристанищем юным любителям «вольности».

В 1928 и 1929 годах Вячеслав Яковлевич избирается председателем ленинградского правления Союза писателей, что означало частые, особенно в зимние месяцы, поездки из Детского Села в Ленинград, а также хлопотливые заседания. Перед осенью

1929 года Шишковы побывали в Ростове (Ярославском) и в Ярославле. Здесь писатель посетил текстильную фабрику «Красный Перекоп», где знакомился с производством и рабочим бытом, много беседовал по вечерам с рабочими в их жилищах.

Зимою того же года мы видим писателя в роли лектора на тему о религиозных верованиях кочевников Сибири, в частности, о шаманстве. Эта двухчасовая лекция перед студентами Политико-просветительного института им. Крупской (Ленинград) сопровождалась чтением из повести «Страшный кам» и демонстрацией писателем камлания с натуральным, вывезенным из Сибири бубном кама в руках. Лекция захватила не только слушателей-студентов, но и преподавателей.

Рассказы «Бродячий цирк» и «Товарищ Митрофанов», написанные в 1929 году, являются одними из последних в жанре шутейных. В следующие два года Вячеслав Яковлевич работает главным образом над «Странниками».

Закончив повесть «Странники», писатель сосредоточивает внимание на своей сибирской эпопее «Угрюм-река». Он тщательно знакомится с материалом о расстреле рабочих на Лене, пишет с увлечением большую главу «Прохор у пустынников».

Летом 1930 года (июль — август) Вячеслав Яковлевич с А. Н. Толстым совершает поездку по маршруту Рыбинск, Нижний, Сталинград, Ростов-на-Дону, Краснодар и по Кубани — Темрюк, Азов, Тамань, Керчь, Феодосия, Судак. Между прочим, на этом пути писатели осматривают совхоз «Гигант», совхоз № 2, Сельмашстрой и Сталинградский тракторный завод. Впечатление от поездки огромное: «микроб строительства», о котором писатель говорил еще в 1917—1918 годах, «вырос в гигантостроительство». Письма Шишкова к друзьям об этом пути «по строящейся России» полны радости, веры и гордости за родину: страна в верных и мудрых руках «сильного, как сталь, вождя». Вернувшись домой, писатель принимается за большой очерк о всем виденном и слышанном. В письме на имя Л. Когана из Краснодара он, между прочим, отмечал: «Дивимся на чудеса строительства».

«Чудеса» заново строящейся России неудержимо тянут писателя на Урал. «С увлечением работаю над «Угрюм-рекой», думаю к июню кончить,— писал он нам в начале февраля 1931 года.— А там — на Урал, народ смотреть, строительство, и леса, и горы». Он берет командировку от Гипромеза для осмотра уральского строительства и вместе с К. М. Шишковой, в начале августа 1931 года, пускается в дорогу. «Едем в Пермь, Свердловск, Нижний Тагил, Соликамск,— рассказывает в переданных нам записках К. М. Шишкова.— В Свердловске много раз посещаем Уралмашстрой и другие новостройки, осматриваем также город и музеи. Вячеслав Яковлевич, человек солидного возраста и большого знания жизни, неутомим в поисках новых встреч с людьми. Так, часто, после утомительных поездок на строительство, вечерами мы идем по

грязище (было дождливое время) куда-либо на окраину города, в гости к тому или иному рабочему, с которым Вячеслав Яковлевич познакомился днем и заинтересовался им. Из Свердловска мы едем в Нижний Тагил. Здесь строительство идет полным ходом, гостиниц нет — живем в рабочем бараке, питаемся кое-как. Но это нисколько не охлаждает нас, и Вячеслав Яковлевич все с той же энергией продолжает осмотр строительства. Из Тагила направляемся в Соликамск, осматриваем калийные рудники, спускаемся в шахты».

Из Соликамска Шишковы едут в Усолье, садятся на пароход местных рейсов, спускаются по Каме до Перми, оттуда плывут в Рыбинск. По пути в Ленинград они заезжают в Бежецк: это последнее пребывание писателя на родине, позже бывать ему в Бежецке уже не довелось.

Совершая свое вторичное путешествие по Уралу, писатель не подозревал, разумеется, что, вглядываясь в города и селения, по которым когда-то вихрем пронеслись пугачевцы, он уже собирал в «копилку памяти» материал для своего будущего исторического произведения. Еще тогда, справившись с «Угрюм-рекой», он подумывал о новом широком полотне, причем мысли художника сосредоточивались на Урале и на его историческом прошлом, в свете которого особенно ярко могли быть представлены успехи социалистической эпохи. В письме от 11 февраля 1931 года он писал проф. Богословскому, оказавшему писателю большую помощь консультацией и литературой по истории Урала:

«Мечту об Урале не оставил. Буду писать с самых азов, не с Демидова и Петра Первого, а с мамонтов, пещерных жителей — вкратце конечно, но чтоб было занятно и чтоб весь Урал был со дня создания до наших дней. Главный удар — на наших днях. Если писать сжато, беря от веков «ударные» страницы, то и тогда роман выйдет больше «Угрюм-реки».

Как мы знаем, творческий замысел писателя сосредоточился позже не на Урале, а на привлекавшей его ранее теме из истории аракчеевщины и, почти одновременно, о пугачевском движении, работе над которым писатель в конце концов и отдался.

В новом 1932 году писатель снова склоняется над страницами романа «Угрюм-река», второй том которого должен был итти в набор (издание Ленинградского отделения ГИХЛ). Тогда же автору переданы были отклики на первое издание «Странников». Надо сказать, что произведение это пользовалось особо значительным успехом у читателей. Не осталось оно без внимания и за рубежом среди тех, кто интересовался работой в СССР по «переделке человека». Откликнулся, между прочим, на книгу в свое время Ромэн Роллан, гостивший в советской стране и посетивший одно из исправительных учреждений для бывших беспризорников. «...Это посещение,— писал Ромэн Роллан,— показало мне работу по перестройке людей в СССР. Моя жена как раз в это

время читала мне книгу, которую я нахожу замечательной: «Странники» В. Шишкова о беспризорниках и о детских домах».

Казалось бы, что после отличного приема у читателя писатель мог спокойно передать свою книгу на суд времени. Однако, готовя «Странников» к переизданию, Шишков вновь садится за книгу с пером в руке и, не удовлетворившись этим, обращается к помощи читателей. Так, по его просьбе, институт им. Крупской посвятил вечер разбору книги. Выступавшая с отзывами студенческая молодежь не скупилась на похвалы, но вместе с тем сделан был ряд указаний, в частности, на то, что в повести недостаточно представлено участие комсомола в борьбе с беспризорностью. Писатель оценил советы студенчества и к следующему выпуску книги кое-что в ней переработал и дополнил.

К концу июля 1933 года Вячеслав Яковлевич имел на руках гранки и затем верстку набора второго тома «Угрюм-реки», что связано было с новой лихорадочной работой, заключающей многолетний труд над романом.

В сентябре того же года Вячеслав Яковлевич вместе с А. Н. Толстым побывал за Полярным кругом. Впечатлениями от виденного писатель поделился с проф. П. С. Богословским. «За двадцать дней путешествия многое осмотрели,— писал он.— Зрелище было поразительное: и природа и непомерные увенчанные большим успехом труды людей. Север осваивается, он живет и будет не только жить, но и процветать. Вопреки карканью царских чиновников, за Полярным кругом возможно и земледелие — сами видели и ели землянику садовую, больше грецкого ореха, цветную капусту, огурцы, помидоры, кольраби и проч.».

Был писатель и в Хибиногорске, наблюдал работу в рудниках, видел совхоз, снабжающий не только Хибиногорск с семьюдесятью тысячами его жителей, но и Мурманск. Проехал он по Беломорскому каналу. С жадностью художника, радующегося всякому красочному явлению в жизни страны, Вячеслав Яковлевич стремился все, что глубоко запечатлелось в его сознании, занести на страницы своих произведений. В том же письме к Богословскому читаем: «Впечатлений слишком много, подумываю писать нечто вроде романа про хибиногорскую жизнь».

Тогда же, по приглашению начальника Эпрона Ф. И. Крылова, Вячеслав Яковлевич с группою ленинградских писателей ездил в Кандалакшу на подъем ледокола «Садко». Подъемные работы с участием водолазов увлекли его. Он искренно переживал успехи и неудачи в работах. Рассказывая о них впоследствии, он, как заправский эпроновец, говорил: «Когда мы подымали «Садко»... Наконец ледокол был поднят. «Я до слез был рад увидать поднятое со дна моря «чудище»,— писал он.

Дань Шишкова этому примечательному событию и активным его участникам — большой очерк: «Садко — гость советский». Одновременно им были написаны рассказы: «Пепел», «Дивное море»,

«Бабища Матренища», а в следующем 1934 году — «Полет» и «Вспомнил». Все пять рассказов погибли в г. Пушкине в 1941 году, однако «Полет» был автором восстановлен по памяти и опубликован в 1942 году. Тема рассказа «Вспомнил», неоднократно читанного писателем в различных аудиториях, использована, с его разрешения, А. Н. Толстым в романе «Хмурое утро».

В последующие, вплоть до Отечественной войны, годы писатель все свое время посвятил работе над «Емельяном Пугачевым», и лишь в дни «передышки» от этой работы и общественных обязанностей ему удалось написать (по настоятельной просьбе Ленфильма) сценарий на тему становления советской власти на золотых приисках — «Золото» (1935), рассказ «Чертознай» и утраченную в 1941 году повесть из колхозной жизни «Матрена Николавна» (1933), а также пьесу по тексту «Угрюм-реки» (1935), либретто — для оперы «Угрюм-река» (1938) и оперы «Иван Грозный» (1940). Либретто по роману «Угрюм-река» для молодого талантливого композитора Д. Г. Френкеля писалось не без увлечения, и уже через год, закончив свою работу, композитор смог «проиграть» для писателя основное из своей оперы. Принятая в Ленинградском Малом оперном театре, опера из-за войны и эвакуации театра не была поставлена. Работа над либретто «Иван Грозный», за которую писатель принялся по предложению театра оперы и балета им. Кирова (Ленинград) и композитора В. В. Щербачева, потребовала изучения эпохи Грозного и была окончена в основном лишь в 1941 году. Вскоре, однако, Вячеслав Яковлевич занялся новым вариантом либретто и не сумел довести его до конца благодаря войне, о чем писатель очень сожалел: он успел «вжиться в материал», а «фигуру Ивана Васильевича» считал «любопытнейшей». «Тип,— отмечал он в одном из своих писем от 7 мая 1940 года,— поистине шекспировский».

IX

В августе 1934 года Шишков участвовал в числе делегатов Ленинграда на Первом всесоюзном съезде писателей. Съезд немало волновал его, хотя по крайней своей сдержанности и скромности он скупо выказывал это в беседах с окружающими. Имея что сказать о своей работе по Союзу и, особенно, опираясь на свою долголетнюю литературную практику, он все же не решился записаться в круг ораторов съезда и на замечания товарищей по этому поводу откликался: «Лучше товарища Жданова да Горького не скажешь». Или же просто переводил разговор к очередным выступлениям на съезде, и при этом в каждом из выступлений нащупывал особо ценное с его точки зрения «зерно». Одни из ораторов одобрялись им за сердечность слова, другие за трезвость мысли, третьи поражали его своим ораторским мастерством.

Выступая по поводу съезда в «Литературном Ленинграде» (14 сентября, № 47), Шишков писал:

«На нашем съезде в речах ораторов отчетливо звучали уверенные голоса, что советская литература должна итти под знаком мировой социалистической революции. Этот лозунг надо всячески приветствовать, но нам нужно еще многому учиться. Вместе с глубокой идейной тематикой, которой мы богаты, нам необходимо достигнуть высокого мастерства».

О том, каким он представлял себе в идеале Союз писателей, Вячеслав Яковлевич утверждал в той же своей заметке, что: «Если мы, активно участвуя в текущей жизни, сумеем вырвать из своей души пустое тщеславие, если мы станем искренно помогать друг другу в литературных трудах, то мы этим самым действительно образуем высокоидейный союз советских писателей, представляющий собою не механическое, чрез устав и параграф, соединение людей нашей профессии, а союз мастеров слова, спаянных внутренней силой порыва поднять советскую литературу на высоту эпохи. Только такой союз и может нас двинуть в дальнейший путь к той вершине, которую мы обязаны взять».

По окончании съезда Вячеслав Яковлевич вместе с женою едет на юг. В Пушкине, куда они возвращаются уже к зиме, писатель пережил общее со всем советским народом горе: гибель в Ленинграде С. М. Кирова от гнусной руки предателей революции.

Киров был для Шишкова не только выдающимся деятелем советской власти, но и одним из тех старых революционеров, которых он считал «земляками» по своей «второй родине»: Сергей Миронович работал одно время в сибирском подполье — в Томске.

«Шестого в Москве, на Красной площади, возле мавзолея Ленина, в древней стене Кремля погребен прах Сергея Мироновича Кирова,— писал Шишков на страницах «Литературного Ленинграда» 8 декабря 1934 года.— Я слушал (и почти видел) по радио вождей и рабочих — на траурном митинге, я слышал речи, пронизанные неистребимой ненавистью к классовому врагу и глубокой скорбью по поводу столь тяжелой утраты,— речи, насыщенные высоким пафосом, с призывом к работе на великую страну социализма и клятвенным обещанием сплотиться вокруг Коммунистической партии большевиков».

И далее:

«Итак, конец. Незабвенный Киров навеки скрылся от нас. Но массы расходятся с площади под звуки «Интернационала». Они насыщены живой уверенностью в окончательной победе трудящихся всего мира. Будем же и мы — рабочие, колхозники, интеллигенция — бодры и мужественны, каждый на своем деле. Навсегда сохраним в своем уме и сердце память о выдающемся пролетарском вожде и человеке».

X

Конец 1934 года посвящен был писателем подготовительной работе над задуманным большим произведением. Еще в начале этого года он писал М. В. Аверьянову: «А работаю я над Екатериной, Пугачевым и их сродниками, книг нашел много, но не все еще».

Как пришел Шишков к мысли о романе, посвященном пугачевскому движению? Закончив свой долголетний труд («Угрюм-реку»), он в поисках большой темы, связанной с историей и полноводной народной жизнью, намеревался в 1931 году, как мы уже упоминали, остановиться на прошлом и настоящем Урала. Но еще до того, в мае 1929 года, он писал П. С. Богословскому: «Летом думаю готовиться к работе над романом «Аракчеевщина»...» О том же, двумя месяцами позже, при своем посещении Москвы, он говорил и нам, причем упоминал тогда, между прочим, что введет в роман старца Федора Кузьмича, в котором народная легенда видела Александра Первого. В эпилоге романа он собирался, между прочим, дать «в элегических тонах» Алексеевское кладбище в Томске с часовнею на могиле «благословенного старца Федора Кузьмича». На этом древнем кладбище, как и в домике старца в усадьбе томских купцов Хромовых, писатель не раз бывал в прошлом.

«Еще в 1934 году,— отмечает в своих записках К. М. Шишкова,— Вячеслав Яковлевич возвращался к материалу для романа александровского времени, но затем он переключился на новую тему, глубоко захватившую его: восстание пугачевцев».

«Меня привлекла эпоха восстания Пугачева,— писал Шишков в «Литературном Ленинграде» 26 июля 1934 года,— я почувствовал, что о ней можно написать густо, масляными красками, так сказать, по Репину. Мне пришлось уже работать в таком плане — я имею в виду повесть «Ватага»... Именно «Ватага» была тем психологическим толчком, который определил мой выбор».

Принимаясь за свое произведение о великом народном движении XVIII века, писатель не только в 1934 году, но и в последующее время, уже работая над произведением, собирал и изучал материал, характеризующий историю тяжбы русского народа с крепостниками. При этом писатель последовательно проникал во все стороны государственной, хозяйственной, культурной и бытовой жизни России екатерининского времени.

В поле зрения автора «Емельяна Пугачева», как видно из его писем и записей в тетрадях и памятных книжках, было: «Русская старина» за ряд лет, «Москвитянин», «Осьмнадцатый век» — Бартенева, сборники Русского исторического общества, собрание переписки Екатерины II, работы и мемуары Болотова, Фонвизина, Радищева, Державина, Екатерины II, Е. Дашковой, а также более поздние исследования и сборники документальных данных в изда-

ния нашего времени, в том числе: Н. Дубровин «Пугачев и его сообщники», Я. Грот «Материалы для истории пугачевского движения», Лаппо-Данилевский «Свод законов в царствование Екатерины Второй», сборник документов «Восстание Пугачева», журнал «Красный архив», «Пугачевщина» — изд. Центрархива, труды историков и отдельные выпуски: Соловьева, Пыпина, Фирсова, Покровского, Бильбасова, Семевского, Кизеветтера, Рожкова, Гольцева, Павлова-Сильванского, Брикнера, Шебальского, Дмитриева-Мамонова «Пугачевщина в Сибири», Рычкова «Осада Оренбурга», Латкина «Законодательные комиссии в России в XVIII веке», Энгельгардта «Быт дворян», Мартынова «Пугачевское движение на заводах прикамского края», Нечаева «Как бунтовали фабричные в середине XVIII столетия» и др.

Чтобы осветить весь круг документальных и литературных материалов, которыми пользовался писатель в своей исследовательской работе, нам пришлось бы привести тот библиографический список пособий, который был составлен Шишковым и заключал в себе не одну сотню названий. Помимо прочего, при возникновении в процессе работы вопросов того или иного характера, писатель обращался за консультацией к специалистам-историкам, которые в свою очередь, по мере надобности, прибегали к иностранным источникам. Немало времени автор «Емельяна Пугачева» провел в залах Эрмитажа и Русского музея (Ленинград), знакомясь с ювелирными экспонатами, фарфором и живописью XVIII века.

Архив писателя в Пушкине хранил, помимо ценной литературы по пугачевскому движению — от «Истории пугачевского бунта» А. С. Пушкина до «Русской старины»,— также многочисленные записные книжки с выдержками из источников, фотокопии с подлинников, пространное бумажное полотнище с начертанием схемы событий и лиц пугачевского восстания, «План» и «Хронику пугачевского движения», составленные писателем по обильному фактическому материалу, собранному Н. Дубровиным (СПБ, 1884 г.).

Словом, работая над своим «Емельяном Пугачевым», Шишков овладел солидным ученым аппаратом. Для того чтоб восстановить правдивый образ Пугачева, писателю необходимо было преодолеть завалы всяческих предрассудков и наветов, продиктованных сословной неприязнью и ненавистью к «мужичьему царю». Писатель и сам был недалек от следования предрассудкам прошлого, когда создавал свою «Ватагу» и в образе Зыкова сближал свои представления об этом самостийнике-бандите с представлениями о Емельяне Пугачеве. Только позже, проникши в историческую правду о народном вожде XVIII века, он оценил и полюбил его, подняв народного вождя на высоту, достойную истинного содержания освободительного движения века.

В следующем 1935 году писатель с увлечением продолжал «раскопки золотых россыпей» в древнем наслоении времени. Он

знакомится с обширным историческим материалом и, в меру возможности, систематизирует его, с какою целью заводит картотеку, а также памятные книжки, озаглавливая их: «Пугачев», «Народная трагедия», «Мысли и замыслы автора», «Крестьянские бунты», «Двор Екатерины Второй», «Пугачев, Казань, раскольники», «Стиль и слова» и т. д. Настойчиво ищет он язык романа, стремясь сохранить живую натуру, красочный колорит и звучание языка эпохи, не впадая при этом ни в голое копирование, ни в излишнюю вольность стилизации.

И вот, на вместительной площади рабочего стола в кабинете писателя появляются первые стопки бумаги в переплете (он любил писать в тетрадях, на сброшированной в книгу бумаге) с набросками, этюдами и первыми главами: первыми, нередко, по времени исполнения, а не по ходу событий в романе.

Уже в апреле 1935 года Вячеслав Яковлевич читал отрывки из готовых глав «Емельяна Пугачева» по радио, осенью состоялся ряд радиопередач по произведению, а к концу года отрывки (между прочим, отдельные главы, вошедшие потом в отдельное издание «Проходимец») были опубликованы в ленинградском журнале «Звезда» (№ 9, 11, 12). «Читателям опубликованное нравится,— сообщал Вячеслав Яковлевич 26 декабря 1935 года В. П. Петрову,— и это меня бодрит».

Делясь своими планами на будущее, он месяцем раньше писал И. П. Малютину: «Этим, опубликованным материалом пока закончу выступление в журнале. Теперь пишу придворную жизнь со смерти Елизаветы, показываю Петра III, Екатерину». И еще — В. П. Петрову: «Работаю над Пугачевым, работа трудная, но интересная, закончу года через два-три».

Предположения писателя на скорое сравнительно окончание романа не оправдались. Работа затянулась на десять лет и не была вполне завершена. Произошло так, прежде всего, вследствие обширности эпохального материала, охваченного произведением. Затем — война, жестокая блокада Ленинграда, значительная затрата сил на общественные и литературные занятия писателя-патриота, поездки. Писатель остался верен своей неугасимой до конца дней потребности «лицезреть непосредственно жизнь текущую». Так, например, в том же 1935 году, отложив работу над первым томом «Емельяна Пугачева», он охотно, по первому же приглашению Ф. И. Крылова, едет в Одессу, чтоб познакомиться с подъемными работами Эпрона на юге.

В письме 19 января 1936 года из Пушкина к И. А. Новодворскому Вячеслав Яковлевич жаловался на обилие посторонних «Емельяну Пугачеву» работ и хлопот. «Так что бедный мой Емельян Иваныч пока что спит в могиле и, может быть, радуется, что какой-то бумагомарака не тревожит его расхряснутые топором палача кости».

3 февраля в письме к тому же Новодворскому писатель вы-

ражает благодарность за одобрение романа «Угрюм-река» и продолжает: «Рад, что «Угрюм-река» заставила вас немного поволноваться — это роман страстей, положенных на бумагу в меру моего среднего дарования. «Пугачев», к сожалению, будет, думаю, плоше: ушли годы, не та кровь во мне — охладела и чувствуешь большую узду выучки на своем пере, которая, чорт бы ее драл, сдерживает размах естественного творчества. А это — может быть,— лучше, а может, и хуже, и сам не разберу, одного боюсь, как бы из живого родника не потекла дестиллированная водичка».

Тревога, полускрытая в этих строках шутейною окраскою, вызвана была скорее замедленным темпом работы над «Емельяном Пугачевым, чем ее результатами, ничем не уступающими в действительности творческим усилиям в работе над «Угрюм-рекою». Вскоре в этом должен был убедиться и сам писатель, снова, без помех, отдавшись «Емельяну Пугачеву».

Работал Вячеслав Яковлевич ежедневно, размеренно, настойчиво — не ожидая «вдохновения». То, что принято понимать под вдохновением, не вспыхивало у него от времени до времени, как пламя под ветром, угрожая истощить «запас горючего» на полпути к цели, а скорее походило на ровное и благодаря этому надежное горение: это был труд мастера, любящего свое дело, готового к любой жертве ради него, но никогда не рассчитывающего на счастливую, ничем не подготовленную удачу. «Чем больше мы вложим труда в свою работу,— говорил Вячеслав Яковлевич,— тем больше достигнем успеха».

В июне 1936 года Вячеслав Яковлевич был в Москве, на похоронах своего учителя и «крестного отца» А. М. Горького.

В этот траурный для всей страны день Шишков впервые имел возможность видеть близко, у гроба Горького, великого учителя и друга народа И. В. Сталина и его соратника В. М. Молотова. Потерю того, кто ввел его в заветный мир литературы, Шишков переживал как личное горе. «Но там, в Москве, в час похорон,— рассказывал он позже своим близким,— я чувствовал себя как бы поднятым над смертью и вечностью. Ведь тут, рядом, был человек, который переступил вечность, покорил, смирил ее и — оставался с нами... И оттого, что наше горе было его горем, оно уже не казалось безысходным».

В 1937 году писатель продолжал работу над первою частью первой книги «Емельяна Пугачева». В начале марта он писал Н. А. Новодворскому: «А мы с А. Н. Толстым сидим, работаем, он кончает 1 часть романа о защите Царицына («Хлеб»), я закончил вчерне первую половину «Емельяна Пугачева». Полгода положу на выверку, на консультации с историками-специалистами и тогда можно будет печатать».

В конце года очередные главы первой части романа писатель готовит к опубликованию в «Литературном современнике». Подвергнуть работу «выверке и консультации» в полной мере не

удалось: «навалились» всякие обязанности и хлопоты, общественные выступления и прочее. 29 декабря Вячеслав Яковлевич писал тому же Новодворскому: «Спешно требовался в журнал «Пугачев». Много спешного было к выборам в Верховный совет: и статьи пришлось писать и выступать дважды — раз в клубе писателей, другой раз в Тронном зале Екатерининского нашего дворца, при двух с половиной тысячах народа, при двух рабочих делегациях, приехавших из Франции и Бельгии. Тут ужасно мешали говорить,—добавляет автор письма со своей неизменной улыбкою: — две переводчицы, справа и слева от меня, они все время громко квакали, переводя мои слова, сбивали меня с толку».

Помимо упомянутых обязанностей, носящих эпизодический характер, много сил и времени уходило у писателя на работу в Литфонде, председателем ленинградского отделения которого он в 1937 году был избран: поездки в Ленинград, а порою и в Москву, прием посетителей и прочее. Однако Вячеслав Яковлевич не тяготился этой работою, стараясь оказать по мере возможности помощь своим нуждающимся собратьям по перу.

Было бы вообще ошибочно полагать, что, отдавшись в связи с работою над «Емельяном Пугачевым» далекому прошлому, Шишков перестал интересоваться современностью. События текущей действительности, полнозвучное содержание наших дней попрежнему волновали его, манили его, просились на бумагу. И вот, выкраивая время в работе над «Емельяном Пугачевым» и от своих общественных обязанностей, он усердно и деятельно, не раз переделывая отдельные страницы и целые главы, трудился над повестью из колхозной жизни («Матрена Николавна») — о силе и непреклонности воли советской женщины деревни, о чудесах строительства деревенской жизни на новых, социалистических началах.

1938 год принес писателю большую радость — после четырех лет упорного труда он справился, наконец, в основном с первой книгой «Емельяна Пугачева» и опубликовал ее первую часть в журнале «Литературный современник».

Тогда же Ленинградское государственное издательство организовало конференцию нескольких специалистов-историков во главе с академиком Е. Тарле. При обсуждении произведения писатель поставил несколько, ранее приготовленных им, «запутанных» вопросов, требующих «окончательного разрешения». Конференция признала историческую концепцию работы правильной. «Это заседание историков было для меня большой победой»,— сообщал писатель 1 января 1939 года Новодворскому.

В этом году, продолжая работу над второй книгой и запасаясь пополнением для нее материала, он написал несколько дополнительных глав к первой: «Большое Кунерсдорфское сражение», «Жизнь в Кенигсберге», «Взятие Берлина», о заседании Большой Комиссии, о Салтычихе, путешествие Пугачева с Семибратовым на Каму.



1938 г.

В конце ноября 1939 года по делам Литфонда писатель едет в Москву. Вернувшись, застает Ленинград затемненным: война с финнами. В Пушкине развернуты госпитали, Вячеслав Яковлевич часто посещает раненых воинов, читает им отрывки из «Пугачева» или что-либо «веселенькое». Навещал в Ленинграде он и своих коллег по перу — раненых, в их числе — В. М. Ставского.

В этом году правительство наградило В. Я. Шишкова орденом «Знак Почета».

Новый 1940 год писатель открывает тем, что сдает издательству в набор тщательно обработанную первую книгу «Емельяна Пугачева» и немедля усаживается за вторую, начав книгу с главы о жизни крепостного Петербурга XVIII века. В письме от 1 марта он сообщает Новодворскому, что «Пугачев вступил во вторую книгу, работа идет прекрасно».— «По началу вижу,— добавлял он,— что вторая книга будет удачнее первой». К концу мая в портфеле писателя было около двух листов «Пугачева» и большая часть (4 картины) либретто оперы «Иван Грозный».

XI

Весну 1941 года Шишковы провели в Ялте. Очередной отдых на юге был прерван ими из-за стремительно развивающихся военных событий в Европе. Тревога не покидала Вячеслава Яковлевича, и он поспешил в свой Пушкин.

Весть о разбойном нападении на СССР полчищ Гитлера застала писателя в Пушкине, в час отдыха, на прогулке. Возвратился домой он, по свидетельству близких, крайне расстроенным. Однако вскоре ему удалось «взять себя в руки».

Начались частые воздушные тревоги. Налеты на Пушкин были в это время более сосредоточенными, чем на Ленинград. По сигналу тревоги Вячеслав Яковлевич обычно выходил на террасу и зорко выискивал в небе самолеты. Вскоре по гулу машин он научился отличать родной самолет от вражеского. Только когда бомбежки приняли особо свирепый характер, Шишковы уходили в сад и укрывались там в щели, вырытой стараниями населения всего дома.

Временно работы над «Емельяном Пугачевым» писатель прекратил, принявшись за статьи для газет, попутно за брошюру «Слава русского оружия»,— по материалу Семилетней войны в главах «Емельяна Пугачева». В письме к Новодворскому, помеченном 17 августа 1941 года, Вячеслав Яковлевич кратко сообщал: «Теперь «Пугачева» забросил, пишу на оборонные темы. Вышла книжка в два листа «Партизан Денис Давыдов», пишу такую же о партизанах из крестьян 1812 года».

Меж тем, вслед за днями почти беспрерывных бомбежек, тихий Пушкин начал оглашаться эхом артиллерийского огня. Враг

приближался, разрывы снарядов становились все ближе, вспыхивали там и сям пожары. Наконец, на исходе августа, Шишковы вынуждены были покинуть Пушкин. Говоря об этом позже в письме от 2 июня 1942 года П. С. Богословскому, Вячеслав Яковлевич отмечал: «В Пушкине мы все бросили, все потеряли, я вывез только несколько хороших картин. Жаль, что остался там и погиб весь мой архив (с записными книжками). Квартиру бросили в конце августа, за неделю до прихода немцев». В краткой автобиографии писателя по тому же поводу читаем: «Мое бегство из города Пушкина, где я имел постоянное местожительство, было внезапно: пришлось все бросить: лично-бытовое хозяйство, всю обстановку, библиотеку, даже архив,— было бы постыдно попасть в руки к врагу».

В Ленинграде первое время Шишковы жили в сравнительно сносных бытовых условиях, но с каждым новым днем жизнь становилась все тяжелее: недоедание, холод, отсутствие электричества, бомбежки, артиллерийские обстрелы. Вячеслав Яковлевич исхудал, побледнел, ссутулился. Паровое отопление в писательской надстройке дома вскоре вышло из строя, Шишковы перебрались в темную, похожую своей формой на удлиненный ящик комнату в другой квартире. Здесь они оборудовали железную печку — «буржуйку» на языке 1918—1919 годов. Но доставать топливо было не легко, как и продукты. Трамваи остановились, водопровод замерз, единственный источник воды в дворницкой осаждался очередями больных, слабых, измученных людей. Нехватало даже спичек. Экономя их, Вячеслав Яковлевич каждую раскалывал пополам, не всегда, впрочем, удачно, с большим производственным браком, как шутливо выражался он.

На неоднократные предложения эвакуироваться писатель отвечал отказом. Мысль о том, что враг может занять город, преломлялась в его сознании горькой обидою: нет, не бывать этому! Он не покидал пера, доставляя статьи для фронтовых газет, принимал у себя товарищей и сам предпринимал вылазки из дома, главным образом в часы ожидания К. М. Шишковой из очередного ее «похода» за хлебом. Эти походы за хлебом и обедом, всегда дальние, совершались, почти как правило, под обстрелами и бомбежками. Поджидая свою «кормилицу», Вячеслав Яковлевич, разумеется, нервничал, но обычно встречал Клавдию Михайловну у входа в дом с таким беззаботным видом, словно она возвращалась с очередной прогулки. К доставленному водянистому супу хозяйка подбалтывала некую долю муки, а Вячеслав Яковлевич сдабривал «пойло» зарядом пряных шуток, и оно с жадностью поедалось.

Желая облегчить Клавдии Михайловне житейские заботы, Вячеслав Яковлевич не раз вызывался идти за хлебом лично. Однако первая же его попытка такого рода закончилась печально: он возвратился с суточным пайком хлеба в пятьсот граммов на троих

(какое богатство!), но увы! без хлебных карточек: карточки были утеряны или забыты им на прилавке продавщицы. Погиб недельный паек! К счастью, как раз в эти дни Шишковым доставлена была продуктовая посылка от москвичей-писателей: сухари, консервы, даже шоколад. Потом он весело уверял всех, что готов этак ежедневно терять хлебные карточки.

Продуктовая посылка разошлась вскоре на угощение голодных гостей, но это еще выше подняло цену московского подарка в глазах Вячеслава Яковлевича. В гостях у Шишковых не было в то время недостатка. Заходили друзья, знакомые. Измученные, истощенные, они преодолевали нередко большие расстояния, чтоб повидаться с Вячеславом Яковлевичем. И, кажется, не было случая, когда бы он не оказал в меру своих возможностей ту или иную помощь людям: одного определит в стационар «подкормиться», другому выхлопочет дрова или дополнительный паек, третьему окажет содействие в деле эвакуации, и всех он приласкает, ободрит словом, согреет надеждою. Пройти мимо человеческого страдания и не помочь, не разделить с человеком его горя — было непереносимо ему.

Лишения и страдания среди близких, горе друзей и знакомых, горе огромного, измученного блокадой города не могли не оставить своего следа в психике писателя, но это ничего общего не имело с растерянностью, малодушием. Он сумел сохранить даже чувство юмора, стараясь вызвать улыбку у тех, кто окружал его. Главное, чтоб человек не утерял способности улыбаться. С улыбкой на устах человеку не страшны никакие опасности. Борясь за обнадеживающую улыбку, он написал и свои шутейные рассказы в тяжелые месяцы 1941/42 года: «Печенка», «Дуэль», «Люстра», «Полет», «Воздушный бой».

Не изменил себе писатель и в работоспособности. Он сотрудничает во фронтовой газете «На страже родины», выступает со своим словом по радио, читает у моряков и бойцов Красной Армии. В то же время Вячеслав Яковлевич не расстается и с «Емельяном Пугачевым». Не порывает он и с общественною работою. В его комнатке устраивались, в частности, заседания правления ленинградского отделения Союза писателей.

В жестокие месяцы блокады вышла первая книга «Емельяна Пугачева», причем весь тираж разошелся в осажденном Ленинграде и на его фронте. Писатель получает живые отклики и письма читателей; это подымает его силы, и с новым рвением он принимается за очередные главы своего «исторического повествования». Пишет он то пером, то карандашом на клочках бумаги — в зависимости от обстановки, а в более спокойные часы диктует страницы «Пугачева» Клавдии Михайловне, пишущей на машинке. «Я работаю,— сообщал он в одном из своих писем к нам,— без литературной работы жить тяжко». При особо сильных бомбежках или обстрелах города, спускаясь в бомбоубежище, он

брал с собою «свой клад, свою драгоценность» — пакет из плотной бумаги с единственным рукописным экземпляром «Емельяна Пугачева».

Осажденный Ленинград для Вячеслава Яковлевича не только город страданий, разрушений и смерти: за всем этим он видел жизнь, полную борьбы, героизма и самоотверженности. В незаконченном очерке о городе Ленина в дни блокады он писал: «Жутко завыла сирена, за ней другая, пятая, двадцатая. И слышится человеческому уху: город заплакал. Да, город на всем своем огромном протяжении начинает плакать. Но через мгновенье вы чувствуете, что в этом стонущем завывании сирен, в этом плаче нет уныния, нет безнадежной покорности своей судьбе, нет отчаянья, в нем есть боевой вызов врагу, лютая к нему ненависть». Примечательно, что свою повесть из жизни Ленинграда в годину блокады он озаглавил: «Да здравствует жизнь!»

Вера в то, что враг никогда не переступит порог города-героя, не покидала ни на один час Вячеслава Яковлевича. И эту свою веру, эту бодрость своего вечно молодого духа он внушал, прививал другим. Настроение Шишкова того времени как нельзя лучше можно было бы выразить словами Бориса Годунова из незаконченного писателем либретто «Иван Грозный»: «Мы Русь в обиду не дадим».

Проф. Б. Томашевский, вспоминая в прощальном слове у гроба писателя пережитые, трагические дни блокады, говорил: «Мы все, ленинградцы, помним его строгую фигуру, его выдержку и терпение в эти дни испытаний: общение с ним вселяло бодрость в тех, кто его терял. Неизменно человеческое отношение ко всем, большая внутренняя дисциплинированность и та атмосфера тепла и уюта, которая всегда его окружала,— все это было так нужно, необходимо в это тягостное время».

Сознанием, что он нужен городу, что его пребывание здесь кем-то ценится, кому-то облегчает муки голода, холода, потерь, объясняется в большой мере и отказ писателя покинуть Ленинград. «Ну, к чему это, зачем?— говорил он в ответ на увещания друзей.— Ну, скажите, как я оставлю город, когда тысячи и тысячи в нем остаются, когда... Нет, вы лучше загляните в письма, которые я получаю...»

Ради них, желающих видеть его, говорить с ним, черпать у него силу терпения и веры, он хотел бы оставаться в городе до конца и пережить вместе со всеми полное торжество над врагом. Но тяжелая зимняя осада с ее небывалыми лишениями не могла пройти бесследно для человека под семьдесят лет: силы Вячеслава Яковлевича падали с каждым днем. Наконец, по настоянию ответственных советских товарищей, друзей и близких, писатель согласился покинуть город, и вот 1 апреля 1942 года он, вместе с Клавдией Михайловной и ее престарелой матерью Раисой Яковлевной, выехал автобусом через Ладожское озеро из зоны блокады.

После двенадцатисуточного пути поездом (со станции Лаврово), в сравнительно сносных условиях, Шишковы прибыли в Москву. Здесь им был предоставлен большой номер в гостинице «Москва». Началась новая жизнь, воспринимаемая писателем после бедствий, перенесенных в Ленинграде, как чудо. Его радует все: и вид гордого несокрушимого Кремля, и невозмутимая тишина ночного неба над улицами «белокаменной», и то, наконец, что в этой замечательной гостинице чистота, опрятность, обилие холодной и горячей воды. «Вячеслав Яковлевич ходил сияющий, довольный,— пишет в своих заметках К. М. Шишкова.— Однако, немного отдохнув, он принимается за рассказы, очерки и статьи на военные и тыловые темы, сотрудничает в Информбюро и снова проводит долгие часы над «Емельяном Пугачевым». Поражало меня, как мог Вячеслав Яковлевич после всего, что было у нас еще вчера, в стенах Ленинграда, так продуктивно работать».

За первые же полтора года пребывания в Москве Шишков, помимо ряда статей и очерков, написал четырнадцать рассказов, вышедших затем отдельной книгой в издании «Советский писатель» под общим заглавием «Гордая фамилия». Кроме того, тогда же он закончил, по заказу Госполитиздата, книжку для народа «Русские всегда били прусских» и приготовил для отдельного издания повесть из времени пугачевского движения «Прохиндей». Одновременно он выступал по радио, а также со своими произведениями в красноармейских клубах, офицерских собраниях, в домах отдыха и госпиталях. И до последнего дня своего, уже больной, перенося припадки удушья на почве эмфиземы и «недостаточности сердца», он безотказно исполнял общественные обязанности, работая членом совета содействия Литфонда СССР и председателем ревкомиссии Группового комитета писателей при Гослитиздате и «Советском писателе» (профсоюз работников печати), а также по отдельным заданиям правления Союза советских писателей СССР. Попутно со всем этим немало времени он отдавал чтению и разбору рукописей начинающих авторов и поддерживал большую переписку с друзьями и читателями, в том числе с фронтовиками.

В январе 1943 года президиум Союза советских писателей выдвинул первую книгу «Емельяна Пугачева» на соискание Сталинской премии. Большую радость доставило писателю решение Гослитиздата о переиздании в Ленинграде романа «Угрюм-река», а в Москве — первой книги «Емельяна Пугачева». Прежде всего он отдается работе по подготовке к печати «Емельяна Пугачева» и уже 31 августа 1943 года сообщает в письме Л. Р. Когану: «Сдал в печать первую книгу «Пугачева». И по тому же адресу, в январе 1944 года: «В условиях военного времени, при безбумажьи, издавать такие большущие книги, как «Пугачев» и «Угрюм-река», для меня большая честь».

Высокое чувство удовлетворения за себя, за свой труд, за русскую советскую литературу, в работниках которой, по выражению

писателя, он имел честь состоять, вызвали у Вячеслава Яковлевича первые положительные отзывы в печати о «Емельяне Пугачеве». Критические заметки и статьи с признанием исторического и художественного достоинств произведения обошли многие центральные газеты и журналы, начиная с газеты «Литература и искусство» (15 мая 1943 г.) до журналов «Новый мир» и «Большевик» (за 1944 г.) включительно. В письмах своих за этот промежуток времени и в беседах с близкими людьми писатель часто возвращается к теме о критике и о многочисленных похвальных отзывах читателей, особенно «простых людей с фронта». «Наконец-то и на нашей улице праздник»,— говорил он. После глубокого молчания критики или после «выпадов и каверз» рецензентов в прошлом — полное одобрение,— это граничило в сознании писателя с торжеством победы, тем более радостной, что оно совпадало с волнующими известиями о первых больших успехах на фронтах. «Моя маленькая, личная, писательская радость,— говорил он,— это всего-навсего ручеишко в половодьи народного счастья... Но как замечательно, что к этому всеобщему счастью я иду с неомраченным ничем сознанием выполненного долга».

Медаль «За оборону Ленинграда», врученную ему в начале января 1944 года, он оценил как награду за ту «лепту», которая вложена была им, писателем, в общее народное дело: не с винтовкою и гранатой, а с пером в руках. «Награда почетнейшая, носить ее буду с гордостью»,— писал он по этому поводу Л. Р. Когану.

В июле 1943 года Шишковы переселяются из гостиницы «Москва» в писательский дом по Лаврушинскому переулку. «Мы живем теперь на своей квартире,— сообщает Вячеслав Яковлевич врачу Пилипенко в сентябре 1943 года.— Прописаны! Квартира в Доме писателя по Лаврушинскому, вблизи Третьяковской галлереи. Переулок тихий, ни трамваев, ничего... Великолепная газовая плита о четырех конфорках, все прочее хозяйство в полном порядке. Второй этаж, что для меня очень важно».

Докладывая в том же письме своему врачу (который «помогал в болезнях лучше всех!») о состоянии здоровья, писатель отмечал, что «чувствует себя, в общем, хорошо, ходит без одышки и очень трудоспособен, работает много, больше, чем полагалось бы для его древнего возраста». В октябре Вячеславу Яковлевичу исполнялось семьдесят лет.

«Второе издание первой книги «Пугачева»,— писал он,— выйдет, вероятно, к моему семидесятилетнему юбилею, который будет отмечен Союзом писателей 4 октября. Семьдесят лет... Караул!»

Юбилей Шишкова был отмечен правлением Союза советских писателей несколько позже, так как писатель провел месяц в Архангельском, под Москвой, в доме отдыха для командного состава. Отдыхая здесь, Вячеслав Яковлевич услышал по радио сообщение о награждении его в связи с семидесятилетием со дня рождения:

УКАЗ

Президиума Верховного Совета СССР о награждении писателя Шишкова Вячеслава Яковлевича орденом Ленина.

За выдающиеся заслуги в области литературы, в связи с 70-летием со дня рождения, наградить писателя Шишкова Вячеслава Яковлевича орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

Москва. Кремль, 3 октября 1943 года.

Оправившись от волнения, вызванного этой вестью, Вячеслав Яковлевич свое чувство счастья выразил окружающим его в ту минуту одной фразою: «Сегодня у меня десять лет с плеч».

25 октября под председательством А. Н. Толстого, с участием писателей, работников искусств, представителей военных и общественных организаций состоялось многолюдное собрание, посвященное В. Я. Шишкову. В своих речах ораторы отмечали заслуги юбиляра в литературе и его достоинства как человека, друга, товарища. Оглашены были многочисленные приветственные адреса, письма, телеграммы со всех концов страны и с фронта.

В ответной речи, выразив глубокую благодарность правительству — за высокую награду, друзьям и товарищам — за знаки внимания, Вячеслав Яковлевич с трогательною простотою говорил о себе, о своей долгой жизни, о понимании им писательского призвания:

«Я по своей природе человек очень скромный. Может быть, эта скромность удерживала меня почти до сорокалетнего возраста быть писателем. Я тогда жил в Сибири и на признанных писателей, подвизавшихся в столицах, смотрел снизу вверх, с чувством величайшего уважения. «Куда мне, думал я, немудрому провинциалу, соваться на такую крутизну, еще нос не дорос». Но вот, набравшись жизненного опыта и мужества, я, наконец, дерзнул! Я твердо решил завоевать себе имя и литературные позиции исключительно упорным трудом, не прибегая ни к каким чуждым литературе способам. Я не старался распространяться вширь, я норовил сам себя поднять кверху. Книгу за книгой, написанные мною, подкладывал я себе под ноги и год от году рос вверх... И вот, заметил меня народ, оценило мою скромную работу правительство, и я по-человечески счастлив».

XII

Он был действительно счастлив. Его счастье завоевано было упорным трудом, и потому оно не было случайным, преходящим. Но оно «осенило» его и упрочилось на последней ступени жизни.

«Время совершенно незаметно обтекло меня с трех сторон, с флангов и с тыла,— говорил Вячеслав Яковлевич на том же юбилейном вечере в октябре 1943 года.— Я смотрю на этот маневр времени с изумлением и душевным трепетом. С изумлением потому, что это произошло незаметно, а с душевным трепетом потому, что все-таки произошло. И я продолжаю двигаться по геометрической бесконечной кривой, по гиперболе, за пределы предельного, в вечность. По непреложным законам бытия мне до этих пределов осталось недолго. Но тот срок, который отпустит мне мать-природа, мне хотелось бы использовать не для отдыха на склоне лет, а для упорной работы. Мне хотелось бы оборваться с последней ступени с пером в руке. Ведь впереди для писателя дела непочатый край. Сейчас идет война, сейчас Авель бьет Каина, бог даст война скоро кончится с благополучным исходом для нас. Тогда каких сил потребует от нас наша родина, каких гигантских размахов, чтоб изобразить для истории величие и ужас войны и все то, что будет связано с восстановлением нанесенных войной разрушений».

Из всего, что было на юбилейном вечере, а также из многочисленных адресов и приветствий, присланных с фронта и из тыла, Шишков вынес самое важное и ценное для себя: народ его «заметил, читатель полюбил». «Я понял,— писал он А. В. Пилипенко,— что читатель меня любит, это утешительно. Бодр! Работаю много, к работе тянет, без работы не могу жить».

Но в том же письме скрытою жалобою звучат строки:

«Иногда прихварываю, недавно пролежал в гриппе дней десять. Дышать было тяжеловато. Однако температура не подымалась высоко». И в другом письме — к Л. Р. Когану (ноябрь 1943 года):

«А теперь снова в окопы, за стол: пишу и кашляю, кашляю и пишу. Впрочем, не пишу, а подготовляю к печати в журнале уже написанные главы. Конца «Пугачева» не видать».

К брату Д. Я. Шишкову — 6 января 1944 года:

«Усиленно работаю над второй книгой «Пугачева». Но силы мои не ахти какие, стар стал. И ленинградская блокада дала себя знать как следует, отняла десять лет жизни».

Все это было жестокою правдой: «вечность» чаще и чаще напоминала о себе. Однако писатель продолжал крепко держаться за перо... «за свое счастье на закате дней». Омраченное страданиями родины в первые два года войны, оно разгорается с новою силою при известиях о растущих успехах нашего оружия в борьбе с полчищами гитлеровцев. «Сейчас одиннадцать вечера,— писал он нам 26 августа 1944 года из-под Москвы,— московская пальба (по-

бедного салюта) сотрясает стекла. Только теперь начинает меня охватывать настоящая радость: воочию вижу конец международной человеческой бойне и гибель гитлеризма!» Одно время он даже собирался проехать «поближе к фронту», в боевое расположение резервной танковой группы. Помешало опять-таки недомогание, боязнь расхвораться в пути и затем надолго оторваться от работы над «Емельяном Пугачевым». А работа становилась все ответственней. «Ау, кончается молодость,— писал он в январе 1944 года Новодворскому,— а работаю много. Пугачев добрался до Казани. Я бы кончил книгу в срок, да не хотелось комкать, и нездоровье к тому же. А работа, по существу, чем дальше, тем ответственней».

В последний год жизнь писателя течет спокойно и светло: он любим в семье, пользуется глубоким уважением общества, дружбою — друзей. Летом 1944 года он отдыхает и работает в «зеленой зоне» на даче в городке писателей (Переделкино). Осенью ему предоставляют квартиру в новом доме по улице Горького (дом № 8, кв. 9). Здесь, на вечере «новоселья», друзья находят его как всегда уравновешенным, бодрым, склонным к веселой шутке. Только те, кто имел доступ в творческий мир писателя, не менее для его сознания реальный, чем сама действительность, знали о тревоге и напряженной борьбе, которую вел с разрушительными силами времени автор «Емельяна Пугачева», стремясь завершить свое монументальное произведение. Каждое звено в работе последних своих дней он воспринимал как победу, зная, сколь быстротечна и коварна старость, полная губительных случайностей. Он знал это и потому торопился к финишу своих творческих усилий. Именно так и писал он Л. Р. Когану в декабре 1944 года, за три месяца до развязки: «Молю судьбу, чтоб дала мне окончить «Пугачева», а там уже что́ будет, то и будет, не так уж обидно и страшно».

Речь шла, таким образом, уже не о том только, чтобы «оборваться с последней ступени с пером в руке», но и о том, конкретно, чтобы завершить данный труд, а труд этот, подобно дальнему пути, все возрастал и тяжелел, становился все сложнее и ответственней по мере приближения к своему концу.

Лето в Переделкине, последнее лето в жизни Вячеслава Яковлевича, протекало в общем без острых осложнений в состоянии его здоровья. «И навалилась на меня там (в Переделкине) лень, и навалилась спячка,— писал он в середине июня.— Поешь и спать, погуляешь и — спать, сядешь за «Пугачева» и — спать... Теперь отоспался, работаю много и с удовольствием».

Как бы прозревая близость конца, писатель все свое внимание сосредоточил на работе. Его письма этого времени полны единой заботы — довести до конца «Емельяна Пугачева», прежде чем наступит развязка в его собственной жизни.

«Заканчиваю вторую (и последнюю) книгу «Пугачева»,— писал

он 8 января 1944 года А. В. Пилипенко, — работаю сейчас над взятием Казани».

В конце того же года — Л. Р. Когану:

«Теперь дело идет к развязке. Трагедия самого Пугачева и вообще пугачевщины нарастает. Автор должен напрячь всего себя. Вот тут-то и боюсь, что нехватит душевных силенок, а занять негде».

И наконец, незадолго до смерти:

«Пугачев во второй том не влез — высунулись руки, ноги, голова,— сообщал он Л. Р. Когану 9 февраля 1945 года.— Решил выпустить повествование в трех томах».

В начале марта, уже слегши в постель, писатель в беседах о своей работе с неизменною шутливостью говорил близким, что вторая книга «Пугачева» отпочковалась новою — третьей, но тем не менее отныне торопиться он не станет: «Не буду! Пусть себе еще поживет мой Емельян Иваныч».

И, действительно, вышло так, что Емельян Пугачев пережил писателя: перо выпало из рук Вячеслава Яковлевича раньше того, как, по ходу повествования, выпало оружие из рук «мужицкого царя».

В марте Шишков направлен был в Кремлевскую больницу. Скрытые таежные силы, о которых писал в своих воспоминаниях доктор Пилипенко, редкостная воля к жизни, глубокая духовная дисциплина особо ярко сказались в последние считанные часы писателя. Утром, перед тем как навсегда покинуть новую, так его радовавшую квартиру, он с обычным аппетитом позавтракал, заглянул в свой кабинет, оправил рукопись на столе и без особой сторонней помощи спустился с четвертого этажа к автомашине. В больнице он принял ванну и улегся в отведенной ему палате, беседуя с дежурившей у его постели К. М. Шишковой.

Сознание покинуло Вячеслава Яковлевича всего лишь за час до того, как навеки замерло его сердце. Было около двух пополуночи. Так, в ночь с пятого на шестое марта закончился жизненный путь одного из верных сынов великого советского народа. Он умер, как хотел того, оставив перо у самого порога могилы.

7 марта гроб с телом писателя доставлен был в квартиру Шишковых, а наутро 8 марта в траурный зал дома правления Союза советских писателей. В почетном карауле у гроба, сменяя друг друга, прошли писатели старшего поколения, молодые литераторы, друзья и читатели, учащаяся молодежь, делегаты общественных организаций.

На Новодевичьем кладбище, у могилы В. Я. Шишкова — рядом с могилою А. Н. Толстого,— состоялся траурный митинг. В 16 часов 8 марта 1945 года под звуки гимна Советского Союза гроб с телом покойного был предан земле.

В целях увековечения памяти В. Я. Шишкова Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил:

1. Соорудить в гор. Бежецке, Калининской области, памятник писателю В. Я. Шишкову.

2. Переименовать Кооперативную улицу в г. Бежецке в улицу Вячеслава Шишкова.

3. Установить стипендии имени писателя В. Я. Шишкова: а) в Литературном институте Союза Советских Писателей 2 стипендии по 400 рублей в месяц каждая для студентов; б) в Ленинградском ордена Ленина Государственном университете 2 стипендии по 400 рублей каждая для студентов филологического факультета.

4. Обязать ОГИЗ РСФСР издать избранное собрание сочинений В. Я. Шишкова.

5. Установить мемориальные доски на доме № 8 по улице Горького в г. Москве и на доме № 9 по каналу Грибоедова в г. Ленинграде, где жил писатель.

XIII

Близость Шишкова с первых лет его сознательной жизни к народу обусловила духовный рост писателя, определила идейную направленность и социальный диапазон его творчества, весь запас изобразительных средств художника, все жанровое своеобразие его произведений и самый язык их.

Отсюда и то неоспоримое и решающее для оценки обширного литературного наследства писателя, что ставит его в первые ряды советской литературы: народность его произведений, присутствие в них того начала, которое Некрасов определял, как «присутствие в произведениях литературных народной стихии, успокоительное и целебное подобно самой природе».

Вот почему все лучшие работы Шишкова — от первой повести «Тайга» и до монументального «Емельяна Пугачева» — проникнуты волнующей силою безыскусственной правды и эпической простоты, овеяны здоровым реалистическим оптимизмом и жизнерадостностью. Любовь писателя к жизни, человеку и природе принимают в некоторых его вещах оттенок особого лирического пафоса. Но пафос Шишкова никогда не уводил его в заоблачные, оторванные от земли высоты: он весь был земной, крепко вросший в самые недра жизни, в полнокровный мир человека из народа.

Талант Шишкова тем и примечателен, что в его произведениях, к какому бы жанру то или иное из них ни относилось, мы не найдем ухода от мира реального в своевольное царство беспочвенной и потому обычно анемичной фантазии. Даже там, где писатель переключался в область сказки и аллегории или вводил своих героев в мир потрясенной психики («Пурга», «Страшный

кам», «Угрюм-река»), под пером, приверженным жизненной правде, возникали густые, теплокровные краски, и те сцены, что были рассчитаны на сказочность, наливались живыми соками, приобретали очертания совсем не сказочной яви. Такова символическая сказочка (проба пера!) «Кедр», таковы и более поздние: «Лесной житель» (1917), «Медвежачье царство» (1919).

Считая фантазию художника «родною матерью искусства», писатель различал, однако, абстрактное и бесплодное своеволие фантазии от того «творческого узора вымысла», происхождение которого обуславливалось активным изучением действительности.

«Фантазия,— утверждает он в книге «Как мы пишем» (Ленинград, 1930),— должна итти об руку с художественною памятью, которая из всего виденного и слышанного запечатлевает лишь ценное, нужное, то самое, что необходимо для образного мышления, для воссоздания художественных образов, положений, жестов, слов».

Примером того, чем разрешался у Шишкова опыт построения вещи, автор которой отрывает творческую работу фантазии от «памяти художника», может служить роман «Ватага» (1922/1923). Не повторяя того, что уже сказано нами при разборе этой вещи в главе VII, напомним лишь читателю слово самого писателя из книги «Как мы пишем»: «При установке на реализм, переходящий иногда в натурализм, дана здесь сказочная пронизь, уводящая «Ватагу» из бытового плана в сферу эпического вымысла».

Сославшись на двухплановость своего произведения, писатель попутно отметил критику, «совершенно не понявшую автора, пропустившую мимо ушей и полусказочную структуру романа и его фактическую сторону». Между тем дело было не в том, поняла или нет критика намерения писателя, а в том, прежде всего, что автору «Ватаги» не удалось в процессе творческого исполнения вещи сочетать упомянутые им две линии — реалистическую, фактическую и сказочную, вымышленную, чуждую самой природе его дарования.

Развивая нашу мысль о подлинной природе дарования Шишкова, мы неизбежно придем к высказанному уже ранее положению о народности его произведений, разумея под сим не только их тематику, но и форму, и стилевые приемы, и самую установку в творческой работе писателя.

В большом литературном фонде Шишкова мы не найдем вещи, которая была бы создана в результате отвлеченно задуманного сюжета, вне отталкивания от действительности, от непосредственно пережитого, виденного или слышанного, своевременно записанного в памятную книжку писателя.

Говоря о роли своих записей-памяток, писатель в статье «Как мы пишем» отмечал: «Крупные рассказы, повести, а иногда и романы возникают (у меня) через возбуждение фантазии каким-нибудь слышанным фактом или виденным осколком жизни».

В подтверждение сказанного писатель ссылался на примеры. Так, его повесть «Страшный кам» возникла из рассказов жителей Алтая о казни суеверными крестьянами шамана (кама). Начало повести «Тайга» положено судебною заметкою в сибирской газете о расправе в таежной деревне с бродягами, заподозренными в краже. Рассказы из жизни сибирских малых народностей: «Черный час», «Помолились», «Бисерная рожа» и др. являются художественной зарисовкой лично наблюденных автором фактов при путешествии на Лену, Нижнюю Тунгуску, Енисей. Для больших полотен — «Странники», «Пейпус-озеро», «Угрюм-река» — те же записи, текущие и давние, составили десятки и сотни беглых, с натуры, этюдов.

«Изображая жизнь вообще, я только внешне связываю творчество с бытом,— утверждал Шишков в автобиографии, приложенной к книге «Алые сугробы» (издание «Пролетария»).— Я отлично различаю быт и бытие, и вдумчивый читатель отыщет в моих работах иные задания и цели».

Будучи писателем-реалистом, ведущим свои работы в рамках традиций классической литературы, Шишков охотно воспроизводит бытовые, отстоявшиеся формы народной жизни. Но быт для него — то же, что почва для сеятеля. Бытовой материал никогда не был самодовлеющим в его произведениях. Быт — это основа и, условно выражаясь, контрольное мерило в работе писателя над «правдивым изображением жизни».

Этнографические особенности разноплеменного нашего народа, народный сказ, родной пейзаж — все это в конечном счете было лишь тем добротным полотном, на которое Шишков-художник заносил красочную жизнь человека, в ее движениях и конфликтах, падениях и подъемах. А такие вещи, как «Ванька Хлюст», «Краля», «Пурга», «Черный час», «Кладбище», «Солдатка», имеют явный уклон к школе психологов. Вообще, если принять в поле зрения весь поток произведений Шишкова, включая «Угрюм-реку», нетрудно видеть, что бытовой и психологический планы тесно у него переплетаются.

Итак, говоря словами писателя: не только быт, но и бытие с его социологией и экскурсами в углубленный показ душевной жизни человека. Быт — как сгущенно реальное олицетворение материальной и духовной культуры народа на данном отрезке времени. И бытие — в его исторической динамике, с его многоговорящими диалектическими противоречиями,— «как могучий родник самой жизни», из которого писатель черпал «живую воду философской мысли, оплодотворяющей творческую работу» («Литературный Ленинград», сентябрь, 1934).

То, что писателем понималось под философским осмысливанием действительности, развертываемой в его произведениях, не сопровождается у него, как правило, готовыми умозаключениями в виде тирад и ремарок автора. Всем ценным, что заключено

в работах Шишкова, мы обязаны глубине его жизненного опыта, обширному знанию жизни, силе его эпически спокойного образного мышления. Вот почему, погружаясь в творческий мир Шишкова, читатель следует за развертываемыми писателем событиями, как если бы имел их перед собою в их изначальной естественности, переживая и отдаваясь раздумью, как перед видением жизни. С этой стороны многие страницы Шишкова напоминают по своему исполнению, своею простотой и отсутствием нарочитости, лучшие вещи Лескова.

Любимыми писателями Вячеслава Яковлевича были Лев Толстой, Гоголь, Лесков, Глеб Успенский, Некрасов, Короленко, М. Горький. Среди классиков и популярных писателей Запада он выделял Шекспира и восхищался Сервантесом, его волновал «глубокий сердцевед» Мопассан и «король нравов своего времени» Диккенс. «Дюма-отца я высоко ставлю за сюжетность, за искусство вести интригу»,— отмечал Шишков в своих высказываниях о литературе на страницах «Литературного Ленинграда» (26 июля 1934 г.).

Там же, говоря о себе, Шишков писал: «Сам я предпочитаю такие темы, которые могли бы сразу заинтересовать читателя».

Вещь без захватывающей читателя интриги — внешней действенной или внутренней психологической — он вообще брал под сомнение. Однако, ценя в литературном произведении «интригу с ее узорами и внезапностями», Шишков оставался верен себе, развивая в своих работах интригующую читателя нить приемами, свойственными эпосу, народной фантазии, просторечивому сказу. При этом он не только не чурался, но порою явно придерживался вкусов читателя-массовика, не останавливаясь перед включением повествовательной нити в круг непритязательного, но всегда надежного, крепкого, как факты самой действительности, вымысла.

Своеобразный мир детских впечатлений и наблюдений Шишкова, его среда с ее склонностью к пантеистическому восприятию явлений природы и упрощенному оформлению представлений о героических началах в жизни — вот где надо искать объяснение тому факту, что еще в школьные свои годы Шишков «сочинил» повесть («Волчье логово») из жизни разбойников — удалых разрушителей установившихся понятий о собственности и чести, своеобразных правдоискателей и мстителей за угнетенных. «Кондовая Русь» — Сибирь, в дремучий быт и природу которой окунулся затем Шишков, продолжала питать его сознание теми же крепкими, от стари сохранившимися явлениями, фактами и красками жизни, теми же «разбойничьими» мотивами каторжан и бродяг, золотоискателей и хищников-промышленников. И та же склонность писателя к разбойно-приключенческой интриге дала о себе знать на страницах его сибирских повестей и рассказов о стародавних нравах и характерах. Такова первая повесть «Тайга», та-

ковы рассказы «Каторжник», «Веселый бродяга» и другие. Тот же дух стихийно развивающихся событий, те же внезапные изломы повествования и обязательное участие в нем мстителя с разбойничьей ватагою имеем мы в «Угрюм-реке» и «Ватаге». Многое от романтически народной интриги встречается и в построении исторического повествования «Емельян Пугачев», что́ придало особую прелесть непосредственности всей фабульной инструментовке этого многозначимого произведения.

Словом, интрига в развитии сюжета была обязательной предпосылкою в творческой работе Шишкова. Это не значит, конечно, что интрига, как прием, всегда оказывалась у него полезною и эффективною в создании художественно полноценного произведения. Подчас увлечение интригою уводило писателя в сторону от поставленной себе художником задачи и распыляло внимание читателя в ущерб целостному восприятию. Интрига в таких случаях становилась у Шишкова едва ли не самодовлеющей. Но в общем занимательность сюжета играла в его произведениях положительную роль. Так или иначе работе над планом, включая сюда и развитие интриги, писатель придавал большое значение. Однако строго зафиксированный по плану ход событий в произведении, особенно если оно большого диапазона, довольно часто нарушался. И обычно это происходило на том этапе работы, когда герои вещи осмысливались до конца и как бы приобретали самостоятельную, не зависимую от автора, обусловленную самой их человеческой сущностью, волю к действию[1].

«Тогда,— отмечает Шишков в книге «Как мы пишем»,— автор больше не властен распоряжаться судьбою им же созданных героев: они из ничего, из марионеток превратились теперь в живых людей, наделенных свободной волей созидать, вершить свою судьбу. Тут произвольной выдумке автора, писанному роману — точка. Отсюда начинается натуральная жизнь самих героев».

От «Тайги» к «Угрюм-реке»

Тяга к тому, чтобы закрепить на бумаге свои наблюдения, отдельные факты, подслушанные летучие пословицы и т. д., проявилась у Шишкова еще в юности. Можно сказать, начал он как писатель с записной книжки. Первыми, в более зрелом возрасте, литературными упражнениями его были описания отдельных, попавших в круг его непосредственных наблюдений, случаев из жизни, причем это уже не простые записи самого факта, а факт в обрамлении пейзажа, с кратким раздумьем автора. Постепенно этюды с натуры, носившие характер фотоснимков, усложнялись

---

[1] Когда герои, по образному выражению писателя, обрастали мясом, нервами, когда в них закипала кровь, являлся разум и люди оживали. («Резец», № 7, 1934).

действием, диалогом и лирическими отступлениями, о несложности которых можно судить по первой опубликованной в печати символической сказке «Кедр».

Более серьезными начинаниями в литературных занятиях писателя следует считать его путевые очерки на страницах сибирской прессы.

О характере как этих очерков, так и ранних беллетристических опытов писателя, мы говорили во второй главе нашего очерка. Большинство рассказов того времени отражает близкое знакомство писателя с жизнью малых народов Сибири. Художественные особенности и самую идейную установку материала, легшего в основу ранних вещей писателя, концентрирует первая его повесть «Помолились» (1912). Вся канва повести соткана из этнографических и фольклорных записей, но ведущий интерес автора сосредоточивается на людях из семьи угнетенных народностей, причем красною нитью через всю вещь проходит глубокое чувство сострадания к «малым сим» и возмущения пред миром жестоких условий их существования. Этим же настроением проникнуты и алтайские новеллы, годом позже появившиеся в печати («Чуйские были»), где в форме народного сказа рисуется картина безудержной эксплоатации алтайских «инородцев» со стороны хищников-кулаков. К тому же кругу рассказов примыкают и более поздние вещи: «Суд скорый», «Та сторона», «Страшный кам». Знакомясь с этими правдиво-суровыми зарисовками из прошлого «малых племен», читатель как бы вступает в ту мрачную обстановку, которая так характерна для разноплеменной «тюрьмы народов», и роль бытописателя перерастает здесь в роль художника-обличителя, чающего вместе с лучшими своими современниками того часа, когда под разящими ударами великого русского народа-освободителя падет царство «гнусов» и волны Чуи «запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлые и радостные» («Чуйские были»).

Особое место в произведениях данного периода занимают рассказы «Краля» (1913) и «Ванька Хлюст» (1914). Здесь писатель переключается из общества малых сибирских племен в старорусскую жизнь сибирского крестьянства. Замысел обеих вещей лежит в плоскости психологического и социального освещения быта и человека.

Идейная направленность первой крупной вещи Шишкова «Тайга» (1913—1915) показательна для круга всех повестей и рассказов писателя, посвященных дореволюционной деревне, а персонажи повести, имея в виду доминирующие черты характеров и проч., встречаются и в более поздних вещах, не исключая «Угрюм-реки». По своему общему звучанию, широкой живописи и отдельным моментам жанрового порядка «Тайга» явилась как бы этюдом к «Угрюм-реке», или, по определению самого писателя, тою рекой, которая, попав вместе с попутными потоками («Краля»,

«Золотая беда», «Пурга», «Каторжник») в основное русло, образовала «Угрюм-реку».

Роман охватывает обширный материал, собранный автором в результате непосредственных наблюдений действительности. Оставаясь по своему замыслу «романом страстей»[1], произведение это имеет свое историко-бытовое значение, хотя автор старательно избегал ссылок на исторические факты, точные даты событий и место действия.

«Роман захватывает примерно 1890—1913 годы,— писал Шишков в «Литературном Ленинграде» (№ 13, 1933).— Автору не хотелось пристегивать действия к какому-нибудь определенному месту, чтоб роман не стал областническим. Автор желал изобразить жизнь в широких обобщениях. Кроме вымышленной части Сибири, где протекает сказочная Угрюм-река, показаны Урал, Волга, Нижний-Новгород, Санкт-Петербург. Впрочем, эти радиальные от центра экскурсы даны кратко, в меру необходимости».

«Угрюм-река» — это есть жизнь, так надо и читать»,— замечает писатель в письме к П. С. Богословскому от 8 марта 1926 года.

В письме по тому же адресу, несколькими месяцами позже работая над генеральной частью произведения, писатель указывал, что по своему объему и широте охвата жизни «Угрюм-река» должна явиться основной вещью в его творчестве, и добавлял:

«Дальше роман должен стать на какое-то философское обоснование — задача весьма трудная. Почитываю на сей предмет философов».

Под философским обоснованием писатель разумел необходимость социального осмысливания богатейшего материала романа, с какою целью он знакомится с отдельными классическими произведениями марксистской литературы, причем впервые тут у автора «Угрюм-реки» возникает мысль о завершении событий, представленных в романе, трагедией — однотипною с той, что произошла на Лене в 1912 году.

Достаточно усложнив развитие фабулы романа «художественным вымыслом, дополняющим представление о реальном мире», автор ищет тех стержневых линий, которые позволили бы проступить в нем «сквозь быт и страсти героев» типичным чертам эпохи и острой классовой борьбы. Останавливаясь на замысле своего произведения, он писал в «Литературном Ленинграде» (№ 13, 1933):

«Главная тема романа, так сказать, генеральный центр его, возле которого вихрятся орбиты судеб многочисленных лиц, это капитал со всем его специфическим запахом и отрицательными сторонами. Он растет вглубь, ввысь, во все стороны, развивается,

---

[1] «Это роман страстей, положенных на бумагу в меру моего дарования», — писал Шишков 3 февраля 1936 года Н. А. Новодворскому.

крепнет и, достигнув предела могущества, рушится. Его кажущуюся твердыню подтачивают и валят нарастающее самосознание рабочих, первые шаги их борьбы с капиталом, а также неизбежное стечение всевозможных обстоятельств, вызванных к жизни самими свойствами капитала»[1].

Первые три части «Угрюм-реки» посвящены главным образом истории личных судеб действующих в нем персон, с уклоном в загадочность, таинственность и т. п., что напоминает народную романтику в былях-сказах.

С четвертой части произведение вступает в русло социальных событий, и с этого часа жизнь, упования и страсти героев постепенно врастают в исторический поток событий и принимают общественную значимость.

Круг людей, представленных в романе, широк. Большинство их отличается самобытностью характеров, силою повадок и страсти, волевой устремленностью. Особенно полно и ярко дан промышленник Прохор Громов, начавший свой жизненный путь с преступного стяжательства и окончивший безумием.

«Почти каждое из действующих лиц в романе,— писал Шишков в «Литературном Ленинграде»,— имеет своего антипода. Вечный стяжатель богатств Прохор Громов — с одной стороны и его противоположность, ненавистник золота, варнак Филька Шкворень, с другой. Социалист, «европейски образованный» инженер Протасов и придурковатый ретроград, инженер-американец мистер Кук. Просвещенный схоластик отец Александр и забулдыжный попик Ипат. Тароватый, себе на уме, купец Иннокентий и «недовольный разумом» Илья Сохатых. Безвинно осужденный на каторгу, чистый сердцем Ибрагим Оглы — и живущий на свободе в свое удовольствие мерзавец — преступник пристав Амбрееев. Утопающая в богатстве и роскоши «благочестивая» Нина и великая грешница с вечной трагедией в чистой душе — Анфиса.

Наиболее слабою по своей роли фигурою в романе, если не иметь в виду отдельные эпизодические лица, является инженер Протасов. Задуманный как положительный тип, социал-демократ Протасов в ходе повествования, вернее сказать силою самой классовой обстановки, данной в романе, оказывается оппортунистом. В гостиной «хозяйки» он либерал и вздыхатель по поводу участи страждущих, с рабочими — это типичный меньшевик, преклоняющийся перед завоеваниями отечественных грюндеров и псевдодостижениями западноевропейской «культуры».

Образ Нины, олицетворяющий буржуазный либерализм, удался

---

[1] По поводу пьесы, написанной по тексту «Угрюм-реки», Шишков отмечал в «Литературном Ленинграде» (№ 31, 1935): «Задача пьесы — показать природу капиталистического грюндерства в царской Сибири во всей его непривлекательной наготе. Хищному капиталу противопоставляется еще малосознательный и неорганизованный пролетариат, руководимый ссыльными революционерами».

автору, но своему здесь успеху писатель обязан опять-таки не столько намеренно поставленной цели — плану образа, сколько жизненной правде, с какою авторское перо разоблачало подлинную сущность «благочестия» героини, не теряя при этом полнокровных красок в обрисовке ее темперамента и склонностей. Сохранится в летописи нашей литературы и романтический мститель Ибрагим Оглы — образ, овеянный юношески свежею мечтою автора «Угрюм-реки» о непобедимости высшей правды в человеческом обществе.

Писатель не скупится на краски, разоблачая среду буржуазных хищников, вскрывая смертные пороки царства Громовых. К моменту завершения романа Шишков писал: «Бесправие, насилие, варварство, ограбление трудящихся — все это в романе проклято. Капиталу, всему старому эксплоататорскому строю пропета отходная. Угрюм-река замкнула свой круг, и сквозь мрак, сквозь тьму отжившего строя уже брезжит рассвет, звучат бодрые голоса грядущих битв и побед: там течет «Река Радости» («Литературный Ленинград», № 3, 1933).

Ту же мысль о близких зорях, о Реке Радости, о светлом будущем свободного человечества находим и в заключительной странице романа.

«Вся в негодующей пене, жизнь-река быстрым бегом промчится через пушечный гром мирового безумия и, малое время спустя, обагренная заревом,— чрез пафос народных восстаний, чрез стихию незримой борьбы. И чудится нетерпеливому сердцу, что дальше и дальше, миновав эти сроки истории, освобожденная, вольная, она понесет свои воды в страну вечного мира и правды, в страну, где безраздельно будет царствовать человечество».

Приведенная тирада, вполне уместная как заключительный аккорд в идейном звучании вещи, не характерна для языка и вообще стилевого покроя романа. Как и в других произведениях, до «Емельяна Пугачева» включительно, приемы и выражение художественного мышления автора «Угрюм-реки» далеки отвлеченному, риторическому, особенно — наигранной красивости рассказа с его изысканным, припудренным, отлакированным слогом. Эстетствующему исследователю, превыше всего ставящему форму вещи — безотносительно к ее содержанию, незачем вообще обращаться к работам Шишкова: писатель разочарует его. Зато все, кто ищет животворной простоты и безыскусственности в искусстве, найдут это у Шишкова, и прежде всего в его слове, свидетельствующем о большом знании русского языка.

Язык Шишкова прост, добротен, выразителен, подчас грубоват особою своей сгущенностью, мускулистостью, народностью.

«Народ — вот где источник драгоценных слов»,— указывал писатель в книге «Как мы пишем». Это не значит, однако, что писатель «брал готовое» и не работал над словом. Он обычно не жалел времени, «шлифуя», отделывая слово, «прислушиваясь

к своему перу». Но при этом более всего он опасался «дестиллированной водички» под своим пером. Слово должно быть веско, ясно и точно. В погоне за грацией слова нельзя вылущивать плодоносное зерно его. «Стиль или точнее — слог, манера письма, есть ткань из слов и фраз,— писал Шишков в № 17 «Литературного Ленинграда» за 1934 г.— Слог есть одежда, плотный покров, живая кожа, сросшаяся с мускулами художественного произведения. Слог должен быть слит с содержанием произведения, как кожа с мускулами в живом организме».

Касаясь стиля, в каком написаны были его крупные произведения, писатель отмечал в автобиографии, что после настойчивых исканий он остановился «на простом, по возможности углубленном слоге, освободив его от условной манерности и словесной мишуры, мешающей свободному воспроизведению правды жизни во всей ее естественности».

Если слово с присущей ему потенциальной силою определяет в какой-то мере форму произведения, то эта последняя обуславливается в своем целом данными содержания. А содержание — «это конкретизация в образах той или иной идеи». Но форма, по мысли писателя, подвижна, как сама жизнь: «как живой поток реки, то медленный, то бурный». Отсюда и возможная неровность формы, не как следствие беспомощности художника, а как результат его искусства, как выражение его творческого метода. «Иногда,— отмечает писатель,— в одном и том же произведении я ломаю форму, меняю ритм и пр.». Сближая понятия — форма и стиль, писатель объясняет, что «стиль одного и того же произведения иногда резко ломается, так как в произведении, кроме общей руководящей идеи, могут быть второстепенные, побочные, определяющие перелом стиля».

Останавливаясь на некоторых особенностях языка Шишкова, нельзя не отметить довольно широкое пользование писателем диалектами, старорусскою структурою фразы, занятой из сказа и песен старожилого населения Сибири, а нередко и так называемым литературным гугном.

«Надо крепко помнить, что революция сдвинула говор крестьянина и рабочего с мертвой точки. Правда, язык значительно засорился газетной гугней, тем не менее он приобрел широту диапазона, гибкость, иногда литературность... Мне кажется, что для типизации речи, для колоритности говора все это можно, с крайней, однако, осторожностью вводить в диалог. Ни один писатель этим не пренебрегал. Наоборот, такого рода оборотами дорожили, подчеркивали их. Помните у Глеба Успенского — «выщего кругу-смыслу» и ряд других языковых нелепостей... Знакомая мне председательница одного из колхозов слово «президиум» строила из двух известных ей понятий: «придизаум». Она же говорила: «ты классовую растерял» и т. д. и т. п.» (Сборник «Как мы пишем»).

К этим перелицовкам речи, характерным для народного говора переходного времени, писатель довольно часто прибегал в своих дореволюционных очерках и рассказах, особенно в «шутейных рассказах».

Произведения о нашем времени

«Пишу, что видел и слышал,— предупреждает писатель своего читателя в прологе к очеркам 1922 года о деревне. – Пишу по совести».

По совести — значит не пряча, наряду с показом положительных явлений, теневых сторон действительности, того, что являлось отрыжками вековой мелкособственнической деревни, причудливыми противоречиями в быту крестьянства. Писатель далек от идеализации деревни, он знает ее, как немногие из его собратьев по перу. Знает и любит, и верит в полное ее возрождение. Потому что: «Мы бодры, мы молоды, перед нами широкий путь!»— восклицает он в конце одного из своих дорожных этюдов.

В путевых очерках более позднего периода, когда улеглись бури гражданской войны и в стране развернулось социалистическое строительство, картина деревни резко меняется: первые лучи лампочки Ильича, артельный крестьянский труд, гиганты-совхозы, комсомол и, наконец, колхозы. С рачительностью хозяина писатель нащупывает, выстукивает, шевелит все, что кажется ему ненадежным в дальнем плавании к «берегам обетованным»... Еще бы! Народ «держал экзамен перед историей».

Вот какую оценку очеркам Шишкова дал А. М. Горький:

«За эти годы,— писал он Шишкову из Неаполя,— я читал в разных журналах ваши очерки российской жизни и всегда, с благодарностью вам, думал: как это бодро, надежно и как поэтому хорошо, нужно».

И еще:

«Далеко я от России, но мне кажется, что в ней есть чему порадоваться. Вы утверждаете это».

«Вообще, такие, как ваши очерки современной деревни, замечательно своевременны и хорошо рисуют текущую жизнь».

Очерки Шишкова уже к 1927 году составили книгу под общим заглавием «Ржаная Русь». Но здесь только часть того материала, который вылился из-под пера писателя как отклик на слышанное и виденное им за долгие годы скитаний по стране — от Ладоги до Якутска и от Архангельска до гор Кавказа. Многому ценному в своих произведениях писатель, несомненно, обязан этой непрерывной цепи наблюдений народной жизни. Более того, можно сказать, что нет в его повестях и рассказах страниц, которые не были бы продолжением всех тех же творчески переплавленных и обобщенных «путевых наблюдений».

Действующие лица повестей и рассказов Шишкова, если иметь

в виду все, что написано им до «Емельяна Пугачева», представлены крестьянами, ремесленниками, таежными охотниками, бродягами, кочевыми жителями тайги и тундры, служилыми людьми, низовою, главным образом, сельскою интеллигенцией, а среди всех этих прослоек — крепостные хлеборобы давнего времени и колхозники наших дней, купцы и промышленники, солдаты, офицеры старой армии и красноармейцы, тяглые люди прошлого и трудящиеся великих советских десятилетий. Однако на первом плане в обширной живой галлерее Шишкова — жители деревни, старой и новой. Это подчеркивает и сам писатель, указывая в автобиографии на свою склонность изображать «наиболее понятное» ему крестьянство. Но при этом писатель оговаривается: «Некоторые склонны считать меня крестьянским, мужиковствующим писателем. Это совершенно ложное заключение: я не писатель «с ярлыком», я просто писатель».

В повестях и рассказах «Бобровая шапка», «Крокодил», «Чертознай», «Шквал», «Лайка», «Маевка в снегах», «Смычка», «Цветки и ягодки», «Буря», «Да здравствует жизнь» и др. автор рисует жизнь и быт горожан, среду ремесленников прошлого и рабочих советского времени, сельскую интеллигенцию и красных бойцов в Отечественной войне.

В романе «Пейпус-озеро» перед читателями проходят картины и сцены разгромленной белой армии Юденича, ее разложения и бегства; показано белогвардейское офицерство с его придурковатым генералом, с его циничным дельцом Белявским, жалким в своем духовном умирании штабистом Барановым и т. д. Наряду с этим «русским охвостьем» встают старательно вылепленные в романе фигуры обманутых солдат, а среди них — юный офицер Николай Ребров, тоскующий по родине, презирающий всех, кто окружал его в штабе белой армии, ищущий спасения своего человеческого «я» и гражданской чести в бегстве из стана предателей.

Если сибирская эпопея «Угрюм-река» вводит нас, с одной стороны—в мир крупного промышленника и его среды, с другой—угнетенных рабочих старой России, то в большой своей повести «Странники» писатель развертывает обстановку советского времени в период реконструкции народного хозяйства и «переделки» людей. Образы молодежи, юношей и подростков из семьи «беспризорников» — это уже порождение города, его культуры, его напряженной борьбы за нового человека.

Таким образом, как тематика произведений, так и круг представленных в них общественных групп дают полное основание рассматривать Шишкова-писателя, не замыкая его творческий мир в границах понятия «крестьянствующего».

Однако дело не только, разумеется, в том, какие социальные слои населения привлекают наибольшее внимание писателя, а в том, прежде всего, с каких позиций, под каким углом зрения разрешаются им социальные проблемы, связанные с данной в произведении классовой группой.

Работая, по окончании «Угрюм-реки», над одним из текущих очерков — «Садко, гость советский» и повестью, посвященной колхозной жизни, «Матрена Николавна», Шишков отмечал в «Литературном Ленинграде» (№ 17, 1934), что главная задача в творческом труде советского писателя, это — «уметь выбрать и хорошо подать систему образов, верно характеризующих все величие идей нашей эпохи и развивающегося строительства».

Вот здесь-то и встает само собою вопрос о том, насколько, в какой мере и всюду ли с успехом автору многочисленных больших и малых полотен удавалось «выбрать и хорошо подать систему образов, верно характеризующих величие идей нашей эпохи».

Мы уже указывали на срывы и ошибки писателя в его очерках 1917—1918 гг. («Улица»). Те же явления идейной близорукости и отсталости взглядов на факты и события времени встречаются и в более поздних этюдах и рассказах, особенно в так называемых «шутейных».

Несомненное влияние отвлеченных идей гуманизма, близких по духу взглядам народничества и, в частности, идеалистическим упованиям сибиряка-сепаратиста Потанина; отсутствие активной связи в прошлом с революционной практикой пролетариата, которая в какой-то мере могла восполнить пробелы в теоретической подготовке, наконец — ограниченность общественных представлений среды, в которой на отдельных этапах жизни вращался Шишков и которую он сам впоследствии (в упомянутом ранее письме к нам от 23 августа 1924 года) характеризовал как «интеллигентскую толпу» нытиков и маловеров,— все это тормозило рост и развитие реалистического мировоззрения писателя и, естественно, не могло не сказаться в его пореволюционных работах, местами принижая их до голого эмпиризма и наивного социалогизирования, позволявшего оценивать автора таких, например, «шутейных рассказов», как «Дикольче», не только «мужиковствующим», но и чуть ли не апологетом кулака деревни.

Только имея в поле своего зрения весь поток произведений писателя, так или иначе затрагивающих жизнь и нравы деревни, читатель видит подлинное отношение автора к ее консервативным силам.

Сибирские Колупаевы-Разуваевы из ранних рассказов о жизни малых народностей («Помолились», «Чуйские были», «Страшный кам» и др., купец Бородулин из «Тайги», крестьянин-кулак из «Коммуны», хитрый плут и пройдоха из «Дива-дивного», купцы «Ватаги», деревенский скряга из «Алчности» и т. д., и т. д.) — все эти типы зажиточной и торговой деревенской верхушки поданы в нещадно суровых красках, в недвусмысленном тоне разоблачения. Писатель клеймит не только мироедов села, но и все царство их соратников — от пьяненького духовенства, эксплоатировавшего деревенскую темноту, от урядников и приставов («Тайга», «Краля», «Старый мир», «Приблудный поп» и др.) до подкулачников, снедаемых корыстолюбием («Луковка», «Вихрь», «Мужичок», «На трав-

ку» и т. д.). Далек писатель и от примиренческих тенденций с самою стихией мелкособственнической ограниченности старой деревни, с ее самодурством, изуверством, темнотою («Вихрь», «Крылья», «Страшный кам», «Ванька Хлюст» и многое другое).

Особо показательны для действительного определения общественных взглядов и симпатий Шишкова-писателя такие произведения, как «Свежий ветер» (1924), или «Весенний сон» (1925) и «Чертознай» (1937). Здесь перед нами яркие явления новой пореволюционной жизни с ее животворящим «свежим ветром» в быту, семье и труде. Читая первый из упомянутых рассказов, видишь, что не Петр наносит смертельный удар своему темному, жестокому самодуру-отцу, а вся молодежь России низвергает свое старое рабское прошлое, и не комсомольцы на своем суде, а сам писатель выносит оправдательный приговор Петру, навсегда порвавшему с уродливым бытом родной деревни.

Шутейные рассказы

Особо в работах писателя стоят так называемые шутейные рассказы, составившие к 1927 году три тома в его первом собрании сочинений.

«В моем даровании две стороны,— отмечал Шишков в своей биографии (изд. «Пролетарий»), — суровая, реальная и другая — шутейная. Но в основе почти всякого шутейного рассказа спрятано и между строк сквозит противоположное смеху чувство. Нередко и в серьезных, больших моих работах прорывается юмор,— смешное и трагическое в жизни всегда переплетаются».

Уже при беглом обзоре многотомного наследства Шишкова не трудно убедиться, что чувство комического, присущее его дарованию, дает о себе знать не только в «шутейных рассказах» и в «пьесах-шутках», но и на страницах таких строго повествовательных произведений, как «Тайга», «Ватага», «Угрюм-река». Даже повесть народной трагедии — «Емельян Пугачев» — полна эпизодов и сцен, в которых, как на речных волнах в бурю, играет солнечный отблеск все того же крепкого юмора. При этом читатель, имеет ли он перед собою рассказы-шутки писателя или сталкивается с «веселыми» страницами в серьезных его вещах,— невольно отожествляет их юмор с просторечием народного юмора.

«Посмеяться — дело доброе, оздоровляющее,— писал Шишкову А. М. Горький по поводу его юмористических вещей.— Смех — превосходный возбудитель энергии».

Юмор Шишкова далек издевке, злорадству или холодному резонерству, и это именно имел в виду Горький, говоря о смехе писателя как о возбудителе жизнерадостности и веры в человека.

Не только в рассказах, но и в сценах для театра писатель смеется, более сострадая, чем осуждая, не ставя себе целью де-

монстрировать с глубокомыслием превосходства частные уродливые явления, как нечто закономерно и неодолимо присущее жизни. Смех «с расчетом, по чину», с предвзятым намерением строго осудить, зло высмеять, был отвратен писателю вообще и, по его собственному признанию, просто не удавался ему.

Стремлением к непосредственному займу у жизни ее острот, шуток и смеха объясняется и та жадность, с какою Шишков ловил на ходу явления и факты, потребные его «шутейному» перу. Кажется, не было такой поездки писателя в глубь страны, которая не обогатила бы его материалом для «шутейного» портфеля. Правда, далеко не все в этом шутейном материале отражало явления жизни, которые могли рассчитывать на длительное внимание общества. Отсюда, естественно, многие шутейные этюды писателя имели характер рассказа-поденки, не претендующего на сколько-нибудь длительное испытание временем.

Пьесы-шутки Шишкова («Мужичок», «Единение», «Грамотей», «На птичьем положении», «Лукавый», «Кормильцы» и др.), по методам установки на юмор и отчасти по самому своему выполнению, мало чем отличаются от шутейного рассказа и, подобно ему, благодаря простоте своего юмора весьма доходчивы.

Только «смех от души», ненадуманный смех, обусловленный комическими началами, непосредственно улавливаемыми в быту или в поведении человека, близок автору шутейных пьес и рассказов. Отсюда — непосредственность и внезапность как в самом развитии «шутейной» фабулы, так и в переходах серьезного тона повествования к безудержному юмору. «Иногда мне хочется,— писал Шишков в автобиографии (изд. «Пролетарий»),— чтоб напряженное, подавленное внимание читателя вдруг взорвалось веселым смехом». Причем смех этот строился нередко на том забавно бытовом, что Салтыков-Щедрин обозначал как «наружный комизм» и что у Шишкова приобретало порою характер народного сказа-были. Немало веселых моментов в «шутейных рассказах» подано писателем в результате обработки словесного материала, преследующей комический эффект, включая сюда каламбур, бытовые перелицовки слова, рассчитанные на комическую реакцию, и т. п.

При всем том автору «Шутейных рассказов» нельзя отказать в критическом отношении к гримасам быта и пережиткам прошлого. Но и здесь писатель не изменяет общему духу своего юмора, народного — в его истоках, лишенного едкого сарказма и высокомерной иронии — в сентенциях автора. Писатель и тут смеется, как нередко смеется сама жизнь над собственными недостатками и ошибками: отрицая их, она утверждает себя. Таковы рассказы: «Холодный душ», «Торжество», «Ненормальность», «Комар», «Лайка», «Смычка», «Эшелон», «Дуэль», «Товарищ Митрофанов» и другие.

Объектом юмористики Шишкова в пореволюционных его рассказах является, главным образом, «наследство старого в новом»:

то, что стояло на пути нового быта, наполняло процесс его перестройки отрицательными явлениями, питало предрассудками, поддерживало косность и эгоистические начала в наших нравах, связывало руки и волю трудящихся. Словом, все то, что А. А. Жданов в своем докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» определял, как «пережитки, мешающие советским людям итти вперед». Сосредоточено было внимание писателя также на всякого рода проходимцах и чужеродных советскому обществу элементах, проникавших в общественную жизнь не только деревни («Коммуния», «Настюха» и др.), но и города («Товарищ Митрофанов», «Смерть Тарелкина», «Комар» и др.). Всего же острее реагировал автор «шутейных рассказов» на проявление лодырничества, косности и лени.

В одном из путевых очерков («С котомкой») устами своего спутника писатель говорит: «Врут дураки, что жизнь есть праздник. Нет, жизнь есть работа. А кто не работает, тот и праздновать не смей». Этой мыслью проникнуты многие вещи Шишкова советского периода. Он не щадит и тех, кто прикрывал подчас тунеядство бедняцким своим положением в прошлом. Ему далеко и чуждо всё, что отступает от нормы («жизнь есть работа»), особенно обязательной на пороге нового общества, когда, по выражению писателя, «мы держим экзамен пред историей».

Теме о лодыре, подрывающем основы хозяйства новой деревни (двадцатые годы), посвящен был и рассказ «Дикольче», задуманный как сатира на бездельников и пьяниц («не через таких людей преобразится лик земли»). Рассказ вызвал в момент появления в печати (1927 год) заслуженную отповедь со стороны критики автору, не учитывавшему, что рассказ может быть понят, как противопоставление «лодырю» из бедняцкого слоя деревни исправно и «добросовестно» хозяйствующего середняка с уклоном к кулацким устремлениям.

Здесь опять-таки дали о себе знать писателю еще не изжитые им в ту пору предрассудки, граничащие объективно с внеклассовым подходом автора «Дикольче» к развивавшейся в деревне борьбе с остатками кулачества.

Но, разумеется, не эти ошибочные и слабые в творчестве Шишкова страницы, противоречащие порою самому замыслу произведения в его авторской интерпретации, являются характерными и решающими для оценки обширного литературного наследства, проникнутого животворными началами народности, беззаветной любви к родине, ненавистью к ее врагам.

«Емельян Пугачев»

Как ни примечательны достижения писателя в ряде его больших полотен, вершиною его творческой жизни остается историческое повествование «Емельян Пугачев» (1934—1945).

Приступая к своему произведению о великом народном движении XVIII века, писатель должен был проделать исследовательский труд подлинного историка и не только собрать обширный материал об эпохе по первоисточникам и последующим капитальным работам (смотри XII главу нашего очерка), но и многое в этом материале переоценить с высоты своего времени.

«Моя задача показать эпоху с наших, советских, позиций»,— писал Шишков на страницах «Литературного Ленинграда» (№ 31, 1934) в период подготовительной работы к роману. Ту же мысль он высказал годом позже, подойдя вплотную к плану своего произведения. «Для выработки плана,— отмечал он в том же «Литературном Ленинграде» (№ 31, 1935),— надо сначала изучить весь материал и смотреть на описываемых людей не со стороны, а как бы глазами их современника и одновременно с позиций сегодняшнего дня».

Исследуя с позиций своего времени экономику, взаимоотношения классов, административный механизм, быт и нравы России екатерининского времени, писатель вместе с тем призван был проникнуться живым содержанием отдаленного прошлого и дать правдивую, социологически осмысленную, художественно целостную историю борьбы русского народа с крепостниками на одном из выдающихся ее этапов. В переводе с языка историка на язык художника это означало не только активное освоение богатейшего запаса знаний об эпохе, но и достаточное творческое обобщение обильных и разнообразных ее явлений.

Живописуя Россию второй половины XVIII века, писатель должен был включить каждое звено своего повествования в единую цепь событий, с тем, чтобы в образах, в движении самой жизни, в круге понятий, присущих данному времени («глазами современника»), показать историческую обстановку и состояние общественных сил к моменту восстания пугачевцев, вскрыть причины восстания, осветить его рост и неудачи, мощь и трагическую развязку его.

Разрешить эту задачу, подав достаточно внятно оба лагеря гражданской битвы — всевластного дворянства и его «живой собственности», мог лишь художник, у кого уважение к исторической правде счастливо сочеталось с полноценным знанием своего народа. Только глубоко зная народ свой в его зрелом возрасте, писатель смог воспроизвести его и в эпоху ранней юности, на заре истории, у истоков борьбы за вольность.

Именно так, присоединив к свидетельству исторической науки богатый запас собственных знаний о народной жизни, Шишков сумел развернуть в свете нашего времени огромное полотно, убедительное, как сама явь. И не отдельные персонажи, а толпы людей всех званий, чинов и сословий проходят здесь пред нами: казаки, крестьяне, «инородцы», работные мастера, духовенство и помещики, купцы и ремесленники, военачальники и солдаты, уче-

ные и поэты, царедворцы и вельможи Екатерины. При этом, любая фигура романа,— будет ли это граф Никита Панин или казак Чика-Зарубин, солдат Носов или купец Барышников,— убеждает вас, что вы имеете дело не с беллетризированным явлением истории, а с отражением самой жизни.

Даже великодержавная Северная Семирамида, со всей сложной и запутанной ее психоидеологией, принимает под кистью художника осязаемо вещные, темпераментные очертания. И не потому опять-таки, что Шишков овладел всеми достоверными показаниями истории об этой любопытной монархине, а потому, в первую очередь, что он, писатель, принял ее в поле своего зрения с мудрою простотою, свойственной народу.

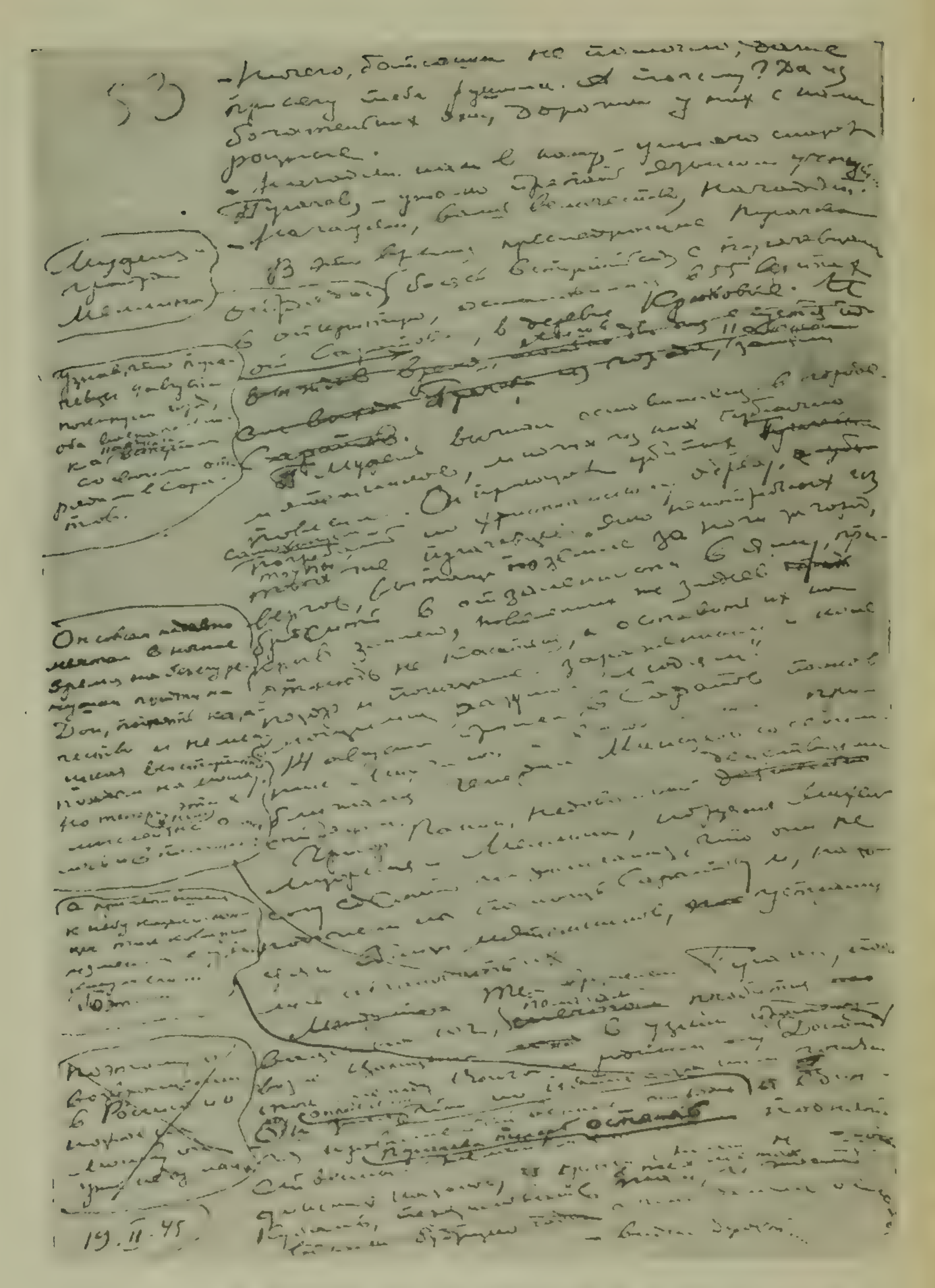
Писатель пристально следит за каждым шагом Екатерины, и ей, даже под маскирующим покровом времени, не удастся посеять здесь относительно себя иллюзий. Она проходит от события к событию тем, чем была в действительности: славолюбивой умницей, отличной актрисой в жизни, крайне, вместе с тем, практичной и не менее эгоистичной там, где демос сколько-нибудь угрожал ее благополучию, ее трону, ее личному миру сластолюбия и тщеславия. Мало что имея общего с вольтеровским идеалом «просвещенных» правителей, она ухитряется ввести в заблуждение многих современников (в том числе и Вольтера) «настолько, что они,— как выразился Энгельс,— воспевали Северную Семирамиду».

Немало уделив внимания Екатерине, писатель далек был от тенденциозности в своем к ней подходе. Он учитывал и положительные черты в ее деятельности (развитие торговли, промыслов, горнозаводского дела, организации войска, попытки просветительного порядка, такие начинания, как Вольное экономическое общество, известный «Наказ», так называемая «Большая Комиссия», мечты о третьем сословии — только мечты и т. д.), но автор «Емельяна Пугачева» ни на один час не забывал при этом, что царица прежде всего — первая рабовладелица среди рабовладельцев тогдашней России.

Уже с первых глав романа читатель убеждается, что перед ним не «дворцовая история» Российского государства, а живая летопись великого русского народа, чей гений и несравненный героизм в битвах с крепостниками представлены характерной для данной исторической ступени фигурой народного вождя и героя — Емельяна Пугачева. И вполне понятно, что свое чувство восхищения и национальной гордости перед замечательными событиями прошлого писатель сосредоточил главным образом на «сирых людях» — от самого Пугачева до казака Чики и бомбардира Носова.

Шишкову не было нужды «выдумывать» своего Пугачева, чтобы облечь летописные данные о нем в плоть и кровь. Писатель «вырастил» героический образ великого бунтаря, опираясь на живое знание народной жизни своей эпохи. И ему, писателю, не

Отрывок из исторического повествования «Емельян Пугачев»



Отрывок из исторического повествования «Емельян Пугачев»

надо было насиловать собственное чувство действительности, изображая «дела давно минувших дней» в поступках и действиях сподвижников Пугачева, потому что писатель знал праправнуков Емельяна Ивановича, «бродил с ними по Руси, ел нередко из одного котла, спал под одной палаткой с ними». При этом, взирая на прошлое «с вершин современности», он «видел и понимал» сподвижников Пугачева, их мир, их побуждения и поступки, неизмеримо шире и глубже, чем они сами понимали себя.

Рисуя сцены «явления народу» Емельяна Пугачева, писатель считал ошибочными версии о «хитром обмане» и проч. Пугачев не скрыл от первых посланцев казачества, при «смотринах» новоявленного царя-батюшки, что он — простого звания казак, и тем не менее посланцы признали его за своего государя. Так сбылись брошенные Пугачеву игуменом Филаретом слова: «Народ похощет — любого своим вождем сотворит». Так понимал это историческое событие и писатель, разумея в признании народом «набеглого царя» не простое «хотение», а историческую необходимость, то или иное разрешение стихийно назревшего социального конфликта. Но Пугачев не был, по убеждению писателя, одним из многих, за кем могли двинуться обездоленные податные массы крестьянства, «замордованное» казачество, угнетенные «в тюрьме народов» малые племена,— Пугачев был достойным «избранником всех сирых и замордованных».

Пугачев не только сознавал, какое бремя поднял он на свои плечи, встав во главе многонациональных масс восставших, но и не щадил ни сил, ни головы своей, чтоб претворить «волю пославших» в слово и дело. Его манифесты о земле и воле — программа полного раскрепощения крестьянства из оков феодализма. И то, как эти манифесты рождались и как проводились в жизнь, составляет один из лучших страниц произведения, где Пугачев растет на глазах читателя. Вчера еще только стихийный бунтарь, сегодня он — искусный военачальник и мудрый законодатель, умеющий использовать в своих наказах к народу и собственный жизненный опыт, и мастерство «работных людей», и знания таких примкнувших к его «толпе» перебежчиков из правительственного лагеря, как сотник Падуров и другие.

Шишков избежал искушения, которому поддались иные из литераторов, мастеривших, по выражению Пушкина, своих героев истории «по самому последнему фасону». Даже в сценах с анализом душевных переживаний Пугачева писатель старался оставаться верным своему правилу: «Характеры и душевные движения действующих лиц должны быть раскрыты не так, как хочет того подчас автор, а в подчинении логике исторической необходимости». Но, понятно, для автора «Емельяна Пугачева» не были приемлемы и те характеристики Пугачева, которые остались нам в наследство от прошлого и были, к сожалению, приняты коекем из историков.

Начисто отметая, например, дискредитирующее народного вождя утверждение М. Н. Покровского, что Пугачев представлял собою «нечто среднее между фантастом и просто ловким проходимцем, каких было не мало в разбойничьих гнездах Поволжья или даже в воровских притонах Москвы»,— Шишков в то же время не был вполне согласен и с В. Г. Короленко[1]. Не веря, как и этот последний, в исключительную жестокость Пугачева, в его разбой ради разбоя, в его склонность к бесшабашному разгулу и т. д., Шишков расходился с Короленко в намечавшемся у того намерении придать «Набеглому царю» черты рыцарские, сугубо романтические. «Ничто человеческое» не чуждо «мужицкому царю» Шишкова. Писатель не закрывает глаз на такие моменты в поведении и в самой натуре своего героя, как, например, склонность «пофантазировать и приврать» перед людьми в рассказах о прошлом, устроить «царскую пирушку не всегда к месту и часу», приволокнуться за молодухами и т. п.

Образ Пугачева, обаятельный в своей оригинальной индивидуальности, воплощает вместе с тем комплекс социальных устремлений своего времени и связывает разнообразные и весьма пестрые факты повествования, придавая им органическую целеустремленность. Здесь надо искать и мотивы, определившие само строение произведения, его композицию и жанровые особенности.

«Итак,— говорил Шишков в своем интервью для «Литературного Ленинграда» (№ 34, 1934),— роман о «темном» Пугачеве и «просвещенной» Екатерине... Между этими двумя полюсами обращаются искры социального электричества».

Противопоставив Пугачеву и пугачевщине их «антипода» в образе Екатерины и «царствующего дворянства», писатель замкнул бурный поток событий в русло этих двух «полюсов», что дало автору «исторического повествования» возможность привести в движение жизнь России XVIII века и закрепить на широком экране события, классы и лица во времени и пространстве — от дворца в Санкт-Петербурге до штаба народного восстания в Яицком городке, от Екатерины до Пугачева, от Семилетней войны до осады Царицына и т. д.

Картины из жизни дворца все время чередуются в романе с полярно-противоположными сценами народной жизни. Показ Екатерины сменяется рассказом о Пугачеве, народ на Дворцовой площади — славным сражением русской армии в Пруссии, «пешее хождение царицы на богомолье» — скитаниями Емельяна по прикамским землям, заседания Большой Комиссии — Советом атаманов «батюшки-царя», генеральное совещание екатерининских вельмож по поводу угрозы со стороны «домашнего врага» — битвами под Саратовом. Так — до самого того дня, когда победы оружия

[1] Имеются в виду материалы для задуманной Короленко повести «Набеглый царь».

народного «царя» над оружием царицы, торжество пугачевских манифестов о вольности над реакционными законодательными актами дворянства сменяются в ходе событий поражением народа и его вождя.

«В романе, или, как я называю, в моем историческом повествовании, мало вымышленных лиц и ситуаций, — писал Шишков в статье «Емельян Пугачев» (1943),— все в нем построено на строго исторической канве, чрезвычайно своеобразной и настолько в общем интересной, что не было необходимости разукрашивать доподлинную историю выдумкой и домыслом».

К вымышленной ситуации в фабульном развитии произведения относятся отдельные эпизоды и главы, подобные, например, главе «Мужицкий царь», или тем сценам — с пушкарем Носовым, офицером Горбатовым, посланцем народа Захаровым,— в которых раскрывается глубокое «внутреннее тяготение» Пугачева сбросить маску «третьего императора» и объявиться народу своим именем. Писатель не располагал достаточными данными, подтверждающими возможность упомянутых сцен, но задача мыслящего художника прежде всего в том и заключается, чтоб не на основе лишь голых фактов, а в результате творческого обобщения таковых, проникновения в самую сущность обстановки и явлений, дать читателю почувствовать и осознать правду историческую.

Что касается «вымышленных лиц», введенных автором в произведение, то среди огромной вереницы персон, играющих здесь сколько-нибудь приметную роль, только немногие являются плодом «выдумки и домысла». Но как в самом факте появления этих немногих, так и при художественном воспроизведении их творческая фантазия писателя подчинена была в полной мере опять-таки логике исторической необходимости.

О тщательности работы автора «Емельяна Пугачева» в воспроизведении исторической обстановки, определений и понятий данного времени свидетельствуют многочисленные заметки, черновики, правки при авторской редактуре, письма наконец. Это — кропотливый, упорный, не считающийся с временем труд историографа, бытографа и фольклориста.

С еще большей строгостью относился писатель к историческим фактам, а все страницы, связанные с «живописанием» бытовых сцен, подвергались сугубой отделке с экскурсами в тексты народных песен и сказов XVIII века.

Изучая язык эпохи, писатель обращался к мемуарам, к эпистолярной литературе, к сборникам фольклора. Народными сказаниями о Пугачеве Шишков пользовался, «как камертоном», настраивая голоса своих казаков, крестьян, заводских людей. Между прочим он пристально изучал язык комедии Фонвизина, Веревкина и других близких эпохе поэтов и мемуаристов. Записи показаний на следственных допросах пугачевцев в свою очередь были подспорьем писателю. Впрочем, его собственное знание народного

разговорного языка, в частности старорусского, было столь значительно, что едва ли автор повести о пугачевцах особенно нуждался в посторонних источниках.

Шишков не закончил свое историческое повествование. Прямого показа «мужицкого царя» в последние вольные дни его жизни, как равно истории предательства и казни народного вождя читатель не найдет на страницах произведения. Еще раз Пугачев появляется здесь на пути к Царицыну, но уже издалека, в свете впечатлений участников «комиссии» капитана Галахова.

Чем ближе подходил писатель к концу своей исторической работы, тем пристальней вглядывался он в материал, определяющий с исторической позиции конец Пугачева: «Читатель должен ясно видеть как причины, породившие пугачевское движение, так и то, почему Пугачев был побежден и сложил на плахе свою голову».

В «памятках» писателя о социологических причинах неудач пугачевского восстания имеются выписки с цитатами из Ленина и Сталина (см. послесловие к VI тому «Избранных сочинений» Шишкова).

Трудно переоценить значение для русской советской литературы того вклада, которым является произведение Шишкова об одном из выдающихся в истории человечества народных движений.

Сила и убедительность «Емельяна Пугачева» прежде всего в том, что события и люди поданы здесь так, что далекое прошлое в жизни нашей родины становится близким и понятным нам до конца и не может не волновать каждого советского патриота. Именно благодаря проникновенно реальному восприятию художником отдаленной исторической действительности, мы в каждой группе населения, что встала когда-то под знамена Пугачева, угадываем родоначальную связь, нащупываем собственные наши силы в их, так сказать, эмбриональном состоянии.

«Лишь бы кончить «Пугачева», а там и на отдых в вечность можно,— писал Шишков П. С. Богословскому в июле 1943 года.— Кончу, и с народом буду в расчете: все, к чему был призван, посильно завершено».

Так расценивал Шишков свой труд над произведением, которое завершало его творческий путь и было после смерти его, в 1946 году, увенчано премией имени И. В. Сталина. Писатель не ошибся, полагая, что, завершив «Емельяна Пугачева», он в меру своих сил «расплатится» с народом за все, что дал ему народ и что́ помогло ему, писателю, достойно развернуть свой самобытный талант.

Вл. Бахметьев

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Посвящается
Ксении Михайловне Жихаревой

ТАЙГА

I

Кедровка— деревня таежная. Все в ней было по-своему, по-таежному. И своя правда была — особая, и свои грехи — особые, и люди в ней были другие. Не было в ней простору: кругом лес, тайга со всех сторон нахлынула, замкнула свет, лишь маленький клочок неба оставила.

Деревня — домов тридцать, а кладбище за поскотиной большое, хватило бы на добрый городок.

Когда Кедровка появилась на божий свет, — никто путем не знал. Только дедка Назар, вот уже второй век коротавший, сидя на печи, говаривал, еле ворочая непослушным языком:

— Еще когда Петр царем служил, наша деревня-то народилась. Дедушка мой Изот Кедров, покойна головушка, с каторги быдто бы бежал да сел тут. Так и пошло, благословясь, от нашего кореню.

Земли в Кедровке было немного: кой-где по увалам и падям, вдоль речки, да там, на той горе, что приподнялась желтой лысиной над тайгою. Впрочем, мужик и не дорожил землей: ему тайга давала все — и белку, и соболя, и медведя, и орех. Но за последнее время стал падать зверовой промысел, вздорожал хлеб — и тогда топор загулял по тайге, глубоко врезаясь в ее недра.

Затрещала тайга, заухала, в спор вступила с человеком: насылала медведей на его жилище, пугала лешими. Но устоял человек, все перенес, а тайгу все-таки покорил. И там, где

к небу вздымались вековые деревья, теперь зелеными коврами легли веселые нивы.

Деревня жила день за днем, год за годом. Проходили десятки лет.

Старики просили тихой смерти, безропотно умирали, крепко надеясь, что вот там, за могилой, начнется что-то хорошее и светлое, то самое, о чем так болело сердце, скучала душа.

Старики любили друг другу жаловаться на сыновей и внуков, что отбились от рук, совсем из отцовской воли ушли, никого знать не хотят — ни бога, ни чорта.

— Мы за богом-то эва как следим, — корили они молодежь, — а вы что?.. Эх, вы, окаянные!..

Но и старики и старухи за богом следили плохо. Да как же: вот какая свара идет между народом, друг другу рады горло перегрызть. А из-за чего спрашивается, — путем никто уяснить не может.

У солдатки Афимьи телка сдохла — рады. Петруха Тетерев с вина сгорел, Акулину оставил саму четвертую — рады. У Якова мальчонка кашей подавился, помер — рады. Жена Обабка, баба беднеющая, тройню родила — рады! И всегда так случалось, что сначала как будто жалость падет на сердце, словно кто свечку зажег и осветил душу, тепло так, приятно, а потом — подошел чорт с черной харей, дунул на эту свечечку и притоптал копытом. Вдруг становилось темно в душе, вдруг начинало ползать в ней что-то холодное и подмывающее, и тогда про жену Обабка говорили, зло пыхтя и ворочая глазами: «Так ей, суке, и надо». Но почему работящая жена пропойцы Обабка — сука, какое она кому зло сделала, — разве не больно, разве не обидно ей? Никто такого вопроса себе не задавал, каждому казалось, что эта тихая обабкина жена действительно всем надоела и всех обидела, действительно виновата, что все, сколько есть в деревне народу, из-за нее, суки, так плохо живут, впроголодь живут, неумытые и темные, до-нельзя забитые нуждой, озверелые люди, всеми забытые и брошенные, как слепые под забор котята.

Так каждый ко всем относился и все — к каждому.

А вот Ивану Безродному прошлой зимой шесть лисиц в кулемки попали, а нонче у Петрухи Зуева рожь хорошая вымахала: у иных градом прибило, у него стена-стеной. Этих ненавидеть стали, «чорт помогает», говорили. Вдовуха Лукерья лавчонку открыла и богатеть начала — гумно спалили: «не смей». Дядя Изот пьянствовать бросил: «Врешь, старик, на небо полез?..» — засмеяли мужика, проходу не давали, пить стал пуще, с вина сгорел.

Кедровцы не любили, чтоб кто-либо выделялся из них: «Лучше других захотел? Нет, стой, осади назад».

Так и жили в равненьи и злобствованьи, в зависти и злорадстве, жили тупой жизнью зверей, без размышления и протеста, без понятия о добре и зле, без дороги, без мудрствований, попросту, — жили, чтоб есть, пить, пьянствовать, рожать детей, гореть с вина, морозить себе, по пьяному делу, руки и ноги, вышибать друг другу зубы, мириться и плакать, голодать и ругаться, рассказывать про попов и духовных скверные побасенки и ходить к ним на исповедь, бояться встретиться с попом и тащить его на полосу, чтоб бог дал дождя.

Мужья били жен молча и стиснув зубы. Били, не находя никакой вины за бабой, а так просто, со злобы, вымещая на ней сердце за свою никчемную жизнь. А потом жалели их, целовались и плакали вместе, но проходил день, проходила неделя — и опять повторялись драки, и опять слышался рев то в одной, то в другой избе. Когда мужики отправлялись в тайгу, на промысел, бабы иной раз заводили шашни с оставшейся молодежью, с кем попало — с прохожим молодым бродягой, с попом-кутилой, с политическим ссыльным. И не всегда ради разврата, а иной раз по озорству, из желания отомстить мужу, сделать ему больно.

Стешка, любясь с пастухом Сидоркой, отлично знает, что кумушки все, с прикрасой, разболтают мужу, наскажут то, чего и не было, — отлично все это знает и нарочно, может, только потому и делает так, что вот взбесится муж, будет тиранить ее, упрекать, изгаляться, а она, вся избитая, выбежит на середину улицы и заорет на весь белый свет: «Уйду, жиган, уйду, пропойца, к Петровану-слесарю, царскому преступнику, уйду!»

Детей рожали без боли и приготовлений, где придется: в лесу и в поле — все равно. Детей у всех было помногу: «Вали, Мавруха, ни-и-чего, хуже не будет».

Жизнь деревни Кедровки — испокон веку так завелось — кололась всегда надвое: то черная полоса, то светлая.

Уродится хлеб, удастся пушной промысел — светло на душе, отрадно. Ходят веселые и довольные, заломив набекрень шапку, разрядившись в сарафан поярче и со скрипами полусапожки. О нужде забыли: ведь вот только что была, еле убралась со двора, еще след не простыл за воротами, но ее не помнят и начинают жить так, как будто заказали ей все пути к возврату. Сладко принимались есть, фамильным чаем обзаводились, одежду справляли, какую надо и какую не надо, — так, для форсу, гармошки двухрядные покупали, а наипаче предавались пьянству. Пили все, не исключая малых ребятенок, едва отвыкших от соски.

Лица у всех становились веселыми, ясными и приветливыми, злоба на душе таяла, обиды предавались забвению,

прежние враги мирились за бутылкой водки, лезли друг к другу целоваться и, плача пьяными слезами, клялись быть «побратимами» до гроба, а в подтверждение слов выползали на улицу и брали в рот землю.

Проходит год, идет другой. Мужики еще с весны начинают примечать, что белки нынче не жди. Это плохо. «Чорт с лешим в карты, знать, играли, и леший проиграл всю белку». Зато хлеба будут хороши, вон какие вымахали, любо!

Но вдруг среди лета внезапно падал страшный гость — ранний иней, за ним другой. И все гибло.

Наступала тогда черная полоса жизни.

Эта полоса была живучая, годом не кончалась: жди два, а то и три года: «С ним, с богом-то, драться не полезешь».

Тогда постепенно, исподволь, как день сменяется вечером, снова наплывало на деревню зло. Со всех сторон, из болот и падей, вместе с туманом, неслышно, по-змеиному заползало оно в избы, туманило всем головы, разъедало сердца и рычащим бешеным псом ложилось у порогов.

По деревне, от двора к двору, натягивались тогда какие-то невидимые дьявольские нити. Кто их плел? Конечно, враг человеческий. В воздухе припахивало недобрым, и все становилось унылым и мрачным. Не услышишь больше светлого смеха: засмеются — зло горохом рассыплется; не услышишь и разухабистой вольной песни: запоют — словно кого хоронят; не звенит ласковый голос девушки: «Ах, ты, Ваньша, карий глазок», — слышится вздох молодой, тронутой горем, груди.

Лица становятся хмурыми, глаза голодными и завидущими, рот жадным, руки неудержными, в сердце нарастает боль. Хочется кого-нибудь укусить, уколоть, выругать, сжить со свету. А иной раз хочется — и откуда прилетит вдруг хотенье такое! — встать посередь улицы и каждому сказать: «Ребятушки, а ну, пойдем, а ну, наляжем — не подастся ли?» Куда пойдем, на что наляжем—кто его знает. «Ребятушки, ворочай все сверху донизу!» Пожалуй, надрывай глотку. Тайга обратно вернет крик да еще и захохочет.

Вот Спирька-солдат из Питера пришел, домой вернулся, — Спиридон Павлыч Иконников. Всем насказал разных небылиц: и какие города бывают, и какие там люди, и какой свет по ночам пускают... Мало ли он рассказывал!

Потом ушел, окаянный, не захотел остаться дома: «Нешто можно здесь жить... Что я — зверь, что ли?» Побахвалился-побахвалился — да ушел-таки... Слоняется где-нибудь, легкой жизни, сукин сын, ищет... Лодырь.

И так и этак ругали солдата Спирьку, что взманил, что указал перстом в небо, туда, где зори плавают, где все не так, все не по-здешнему, но в душе любили часто вспоминать его речи и втихомолку вздыхали.

II

Назимово — большое стародавнее таежное село.

Недалеко от Кедровки, и сотни верст нет, — это не расстояние, — но жизнь там поприглядней. В Назимове и «царские преступники» — политики — жили, и книжка по рукам ходила, и грамоте кой-кто из парней кумекал: школа была.

Там церковь каменная, колокол большущий, как бухнет-бухнет — долго гул идет, есть священник, купцы, да и от проезжей дороги недалеко. А проезжая дорога прямехонько упрется в уездный городишко, семьсот столбленых верст до города.

Однако греха и всяких поганых дел было много и в Назимове.

Торговый человек, Иван Степанович Бородулин, жил в двухэтажном доме с палисадником. Дом его по селу первый. Сам Бородулин мужик в соку, с большой черной бородищей, румяный, волосы в скобку, зубы белые, бабы его любят.

Со всеми ими помаленьку баловался Бородулин и, гордясь этим, говаривал: «До женских я охоч». Пуще же всех нравилась ему солдатка Дарья, с которой он открыто жил.

Но гладкая солдатка Дарья жила в то же время с уголовным поселенцем Феденькой, а жена вора Феденьки, местная крестьянка, жила с купцом Афоней, а жена Афони жила с тремя назимовскими парнями и с «женатиком» Лапшой, жена же Лапши, ловкая баба Секлетинья, путалась с вдовым попом. Поп, не довольствуясь бабой Секлетиньей, своей стряпкой, увлекался семипудовой купчихой Бородулиной, уехавшей в город лечить зоб.

Так оно колесом и шло.

Иван Степанович Бородулин — купец не промах: всю округу в кулаке зажал.

Кедровский староста Пров уж на что мужик самосильный, а тоже в долгу у Бородулина: колдуны шишиг таежных на Кедровку напустили, без малого весь скот у мужиков от поветрия чёзнул — довелось с поклоном к купцу итти.

Долго кряхтел Пров: жалко Анну, единую дочь, в люди отпускать, а надо. Убрались с полем, отправил Анну к Бородулину в работницы: хоть часть долга с плеч — и то дело. Матрена больно горевала, перед разлукой на дочку наглядываясь. Мудрено ли? Анна по деревне первая, да не по деревне: поди, нет ее краше да умнее по всей тайге, во всем русском царстве, — и в кого такая задалась?

Только вот Анну тоска грызет. Так как-то, скучно... нехватка в чем-то... Исподтиха-исподтиха, да как вцепится, словно лукавый пес... Точно не здешняя, не таежная, точно в хру-

стальном ключе родилась, что бежит из тайги да в речку, из речки в море, через весь белый свет, — скучно Анне. Сама не знает отчего, а скучно... От жизни, что ли? Жизнь ли это? Стало быть, жизнь...

— В досюльное время, сказывают, лучше было, а теперь погляди кругом: тошнехонько, — сама с собой печаловалась Анна. — Люди не люди, выползут, мохнатые, потычутся носом, что положено, помытарятся да трухлявыми колодами хлоп в землю. А из тайги опять прут новые... Так и катятся: из тайги да на погост, под крестик. Вот и жизнь.

Особенно грустила Анна осенью, когда собирались к отлету птицы. С болючим горем отрывала от сердца крик:

— Журыньки, возьмите мою душеньку... да унесите...

И не с кем словом золотым перемолвиться, розмыслом раскинуть. С Устином разве? Нет, Устин — старик, о божественном думает: ему тайга мила. С Кешкой? Темная душа, беззвездная. С родителем? — у него сердце мозолистое: работай, ворочай за двоих, а дальше—тпру... Вот с Мошной, однако... Мошна—старуха дошлая: много знает сказок, присказьев, побасок. При трескучей лучине занятно ее послушать: руками куделю прядешь, а душа над тайгой трепыхает...

В разлуке с Кедровкой Анна не живала, а пришла в Назимово — тоска пуще. И быть бы, пожалуй, худу, но встретила Андрея — и все перевернулось.

Как-то Бородулин потрепал ее по круглому плечу.

— Иди-ка, Анка, слетай к Андрею-политику, — знаешь? Чтоб диван пришел обить...

Вернулась Анна в радости.

— Ну? — хлопая на счетах, спросил Иван Степаныч.

— Придет, — и она чуть улыбнулась углами губ.

С того и началось. Впервые повстречала Анна такого человека. Шутка ли: учитель, ребят учил... Да и собой больно пригож... Что-то такое в лице, в глазах есть... этакое... едва оторвалась... Когда пришел Андрей, сама не своя: чуть самовар без воды не поставила, накрывала чай — стакан разбила, а помогала Андрею гвозди заколачивать — руки ходуном.

Андрей не меньше Анны, второй уже год, скучал в тайге. Он тосковал о широких донских степях, где родился и вырос, о деле, которому служил, о тех чумазых малышах, что с плачем бежали через всю станицу, когда увозили его в город усатые жандармы.

— Здорово, Андрей, — как-то заглянула к нему Анна.

Тот поднял голову, откинул свисавший на лоб чуб, прищурил живые, зоркие глаза.

— А-а-а... знакомая... — весело протянул он. — Ну, здравствуй, соколица. С чем пришла?

— Уж ты не обессудь, — и Анна смущенно улыбнулась.— Скучаю я здесь, Андреюшка... Однако домой удеру... напиши писульку родителю, — кажись, десятский едет в Кедровку... Скушно...

Анна облокотилась на верстак и опустила голову.

— Скучно, говоришь? Да, Анна, невесело... Ну, давай напишем...

Он писал, она с любопытством разглядывала его грустное молодое лицо с высоким лбом, большими черными глазами. Брови у него густы, усы — чуть-чуть, в плечах широк, а руки девичьи.

— Ты, видать, из благородных... Ишь какой... пригожий.

С той поры часто урывалась она к Андрею: «Чевой-то потянуло к тебе».

— А грамоте хочешь знать? — как-то спросил он.

Даже руками всплеснула, а глаза сразу налились слезами, как цветы росой:

— Андрей, Андреюшка... голубчик...

День за днем катились. Крепкие морозы пришли. Поиному себя Анна чувствует: не видит Андрея день — скука завладает, а придет к нему — уходить не хочется, так до петухов и сидит.

Достанет Андрей книгу, сядут поближе к печке, да и коротают ночь: зимой в избе холодно, как закрутит буран, в углу снегу набьется, хоть лопатой греби. О людях Андрей читает, о чужестранных царствах, о небе, о солнце.

— Ты почитай о правде.

О правде Андрей читает. Хорошо слушать: вливается в душу светлое, новое; тайга уплывает, и Анна уж над нею, словно на высокой горе. Хорош, должно быть, мир. Андрей по-особому читает, дойдет до места, остановится и много-много говорит, голос ласковый, речь складная, с простого начинает, а сведет на такое, что дух замрет.

— Да как же так, Андрей? Неужто верно? — поднимает Анна крутые брови.

— Верно. Только у вас, у мужиков, глаза завязаны.

Как-то вечером Анна сидела у Андрея. Она шила рубаху, негромко напевала проголосную:

Уж ты гой еси, да ты светёл месяц,
Хоть светло ты светишь,
Да не попрежнему...

Андрей крупными шагами ходил из угла в угол.

Ой, потакаешь ты,
Как ворам, плутам, разбойничкам...

— Анна, — остановился Андрей и взял ее за руку. — Хорошо ты, Анна, поешь. У тебя столько слез в голосе... грусть...

Девушка перегрызла нитку, отложила шитье и сказала:

— Батюшка с матушкой лучше поют. Бывало, выпьют о празднике, сядут друг против дружки, подшибутся, да и... Ну, беспременно заплачешь.

— О чем же? — поглаживая ее голову, спросил Андрей.

— Да и сама не знаю... Тяжело сделается... Быдто кто покличет куда...

— Ну-ну... — сказал Андрей и опустился возле Анны.

Та глядела перед собой, что-то вспоминала, к чему-то прислушивалась.

— Али вот ночью... Не заспится иным разом, — ну, хоть зарежь. А батюшка с матушкой похрапывают. Выйду на речку, да и сяду у воды... Ночи летом светлые, а птицы в черемошнике, почитай, наскрозь поют... Сидишь и думаешь... Эх, думаешь, была бы богатырем, сгребла бы огромадный топорище, да ну тайгу пластать... Вывела бы дороженьку прямехонько на белый свет...

Андрей поднял с полу стамеску, переставил с окна на пол примерзший пузырек с политурой. Анна подбросила в железную печку дров.

— Андреюшка, слушай-ка... Чевой-то сказать хотела. Да, вот чего... Не славно как-то... жизнь-то... Живешь, а словно бы не живешь, а так как-то...

Андрей откинул чуб и зашагал.

— Жизнь... Какая же это жизнь?.. — размахивая руками, говорил он. — Жрут, спят, дерутся, убивают... Дикое нечто, звериное...

— Ох, голубчик... Хуже зверья... Ты побывай-ка у нас в Кедровке... Жуть...

Андрей одернул черную суконную рубаху, подошел к верстаку и стал строгать

— Уж больно плохо: бедность, руготня, убийство...

Анна сидела, склонив над шитьем голову.

— Эн Федот у нас, лавочник, — тихо говорила Анна, — обобрал как-то двух тунгусов, а чтоб концов не видно, дал им спирту гольного бутылки три в дорогу то. Ну, напились в тайге, а мороз был страшительный — замерзли. А наши мужики — чего им, нешто жалко!.. За два ведра Федот всю деревню купил: ни гу-гу.

Свежая стружка под сильной рукой Андрея с визгом отделялась от бруса и желтыми кудряшками ложилась у ног. Пахло смолой.

— А то парни девкам помощь устраивают. Слыхал, поди?

— Да, обычай страшный. Изуверство. Грязь.

Андрей положил фуганок. На его лице отразилась боль. Он полузакрыл глаза и, покачиваясь, слушал Анну.

— Молвить-то стыдобушка, скверность... Чуть не угодила девка — уманят обманом за деревню да всем табуном... Тьфу!.. Срамота одна... Господи Христе... Да нть с парнями-то ребятенки, мотри, лезут да женатики... А то старичишка какой ульнет... Орет девка, бытто жилы тянут... Одну замучили: умом помутилась, да с сопки в речку. А вся и провинка-то, что за безносика взамуж не пошла...

Анна оторвалась от работы и уставилась в стену, словно в столбняке. Андрей, заложив руки назад, крупно шагал из угла в угол и что-то говорил Анне, но та думала свое.

Потрескивало и ворчало в печке пламя, а с улицы доносились крики и руготня: должно быть, зачиналась поножовщина.

— А ты, Андреюшка, долго ли здесь проживешь-то?

— Не знаю... Может быть, всю жизнь, — упавшим голосом сказал Андрей.

Он подошел к низенькому оконцу и, согнувшись, уставился на мутную, в лунном свете, всю засыпанную снегом улицу.

— Проводи-ка... Пойду не то... — вздохнула Анна.

— Сиди...

Он опустился возле и задумался. Анна прижалась к нему, заглядывая в глаза. В них была печаль, ей показалось даже — слезы.

— Душно, Анна, скверно... Что-нибудь делать надо такое... ну, чтоб посветлей было. Жизнь налаживать надо, Анна... — голос его срывался.

— Охо-хо... Легко молвить, а ну-ка, приступись...

— А если ничего не выйдет, убегу... — Андрей быстро сорвался и зашагал по комнате, крепко сомкнув кисти рук. — Убегу, куда глаза глядят... К чорту!.. К дьяволу!..

— Андреюшка, и я с тобой...

— И ты?! — Он поймал ее протянутые руки и, весь загоревшись радостью, поднял ее с лавки.

— Я в согласьи, — шептала Анна, вся дрожа. Потом, словно что вспомнив, удивленно вскинула брови. — Постой, Андрей... А здесь-то как же? Ведь сам же говоришь: темень, скверность... Зачем же убегать? А ты здесь свети. Хошь сколько посветишь, и то добро... Хошь лучиночкой немудрящей...

Андрей улыбнулся:

— Когда встанет солнце, по всей земле светло... без лучинки... сразу. А солнце там, Анна, за тайгой...

— Родной мой... желанный... Ты сам вот и есть солнышко-то.

Проводив Анну, Андрей до утра не спал. Он вынул карту и долго ее рассматривал. Да, конечно, можно... К весне он с Анной доберется до Лены... Следы запутать просто: будто муж с женой на золотые прииски пробираются. А по Лене пароходом... Ну, убегут... а что же дальше? Нет, одному надо... одному...

— Мечта... — роняет Андрей, и его губы складываются в ядовитую усмешку. — Мечта! — швыряет он карту на пол и ходит взад-вперед до изнеможения.

В Андрее с каждым днем росло нечто новое: то его манила тайга своим загадочным шумом, простая жизнь вместе с Анной и упорная борьба с таежной тьмой; то воля вставала перед ним, и сердце рвалось ей навстречу. Воля... красивое это слово... Что ж? Вить гнездо в тайге или подняться вместе с лебедями и лететь за моря?

Но вот как-то в праздник утром пришла к нему Анна, бледная, растерянная. Не поздоровавшись, опустилась на скамью. Андрей возился над чучелом летяги-белки.

— Что с тобой?

Та не ответила, только вздохнула.

— Не Бородулин ли обидел?

Анна сидела потупившись.

— Да ты что? — шагнул к ней Андрей и взял ее дрожавшие холодные руки.

— Андреюшка... соколик... затяжелела... — прошептала Анна, закрывая лицо.

— Ну вот... так-так... — тянул Андрей, сбираясь с мыслями и чувствуя, как перевернулось его сердце. — Вот и отлично... хорошо... Очень хорошо... Ну...

Анна ушла радостная. Не шла, а бежала. Ярко светило солнце. Снег слепил глаза. Была капель.

Андрей готовил товарищу длинное письмо:

«Дружище. Теперь все ясно: я остаюсь в тайге. Надолго ли — покажет жизнь, но кажется — надолго... Буду посильно разгонять таежную жуть... Ты улыбаешься? Мелко, скажешь? Ну, что ж... Такова планида, как говорит здесь один купец-хват... Но вот в чем дело. Помнишь, я как-то писал тебе о своей подруге. Я с первого же знакомства привязался к ней, и чем дальше, тем крепче... И она для меня здесь, в тайге, — все. А сегодня она мне сказала...»

У Андрея шумело в голове, строчки прыгали. Он обмакнул перо и перечел написанное.

— Нет, не так... не то... К чему? Надо по-другому, — и разорвал письмо.

Пришла весна. Тайга закурила, заколыхала свои кадильницы, загудела обрадованным шумом и, простирая руки, глянула ввысь, навстречу солнцу, зелеными глазами.

Андрей любит уйти весной в тайгу на неделю, на две, чтобы упиться вволю весенним хвойным запахом после долгого восьмимесячного сиденья в четырех стенах.

По ночам, когда не было Анны, он выходил на улицу и, весь насторожившись, вслушивался в гусиный внятный говор:

— Га-га... Гагага... Га-га... Гагага...

Высоко, меж тайгой и тихим звездным небом, стая за стаей, вольной лавиной мчались на север гуси.

Андрей чуял, как все в нем закипает буйной радостью. Он жадно шарил глазами по небу, но, кроме мерцавших из голубого мрака звезд, ничего не видел.

— Надо итти...

И вскоре, в весенний вечер, Андрей горячо обнял Анну:

— Я в тайгу уйду, Анночка... теперь хорошо там.

— Чего тебе тайга?

— Тебе не понять, Анночка... Я люблю тайгу... Я скоро вернусь.

Утро настало. Взял Андрей с собой припасы, вскинул на плечо ружье, простился и бодро зашагал вдоль села.

— Не заблудись смотри... Прощай... Проща-а-ай!..

III

Лишь загудит весной тайга, бродяги надевают заплатанную торбу, берут жестяной котелок, суют за голенище отточенный нож и выползают на божий свет из черных бань, брошенных избушек, зимовьев, обросшие волосом, шершавые и почерневшие от копоти за долгую северную зиму. Выпрямляют согнутые спины, щурятся на солнце, ищут в синеве небес белый лебединый бисер, прислушиваются к хлопотливому крику плывущих с юга птиц и, покорные зову тайги, рассыпаются по ее звериным тропам.

Солнце еще не закатилось, но скоро спрячется за хребтом: вот дрожат последние лучи его на макушках дерев. Еще немного — скользнут мимо, в сереющий вечерний простор, и растают. Тихо внизу, а там, над тайгой, ветерок погуливает, шелестит хвоей, вздорит.

— Тюля, кроши чай-то, — октавой сказал плечистый лысый старик, по прозвищу Лехман.

— Есть, — отрубил Тюля, лет тридцати парень, с просто-

ватым круглым, толстогубым лицом, и, крякнув, завозился у мешка.

Лехман — старичина дюжий, бородища изжелта-седая, огромная, прядями свалялась, нос с горбиной, взгляд угрюмый, брови густые, хмурые. А встанет, сутулый, да как гайкнет, — ох, и рост же у деда, ох, и голос — труба трубой... Лехман и есть, весь зарос мохом, по всем статьям лесовик.

Двое других, Антон да Иван, чинили амуницию.

Иван, или, как его за веселый нрав зовут, Ванька Свистопляс, садит на какую-то бабью кофту заплаты и приговаривает:

— Вот это мундер — так мундер... — и гогочет селезнем, встряхивая кудластой, как капустный кочан, головой.

Антон весь постный, худой, бородка с проседью черная, метелочкой, щеки впалые и большие, задумчивые, в темных кругах глаза.

— Так-то, миленький,— говорит Антон,— это господь нас натолкнул друг на дружку... — и черпает берестяной ложечкой из деревянной чашки сухари.

— Господь... Как не господь... — гудит Лехман. — У тебя все господь. Встретились, да и вся недолга.

Ванька Свистопляс, досыта наевшись, пошел рубить сухую листвень: темнеть начало, а костер погасал.

Тюля лег на спину, помурлыкал себе под нос, потом вскочил и скрылся в лесу, весело свистя и потрескивая сучьями.

Сумрак надвигался со всех сторон, а вместе с ним пришел холод. Набросали в костер смолевых пней. Языки огня полизали пни — вкусно ли — и, отведав, сразу охватили пламенем, затрещали, заискрились, распространяя жар и свет.

Антон лежал, подставив теплу спину, и говорил, глядя перед собою сонными глазами:

— Вот, миленький, бог его ведает, доплетусь ли до родины.

— Дальний?..

— Из Воронежа. Есть такой хороший город Воронеж, родина моя.

Вдали стучал топор, и слышно было, как с шумом грохнуло наземь подрубленное Ванькой дерево.

Антон сел поближе к огню. Печальное восковое лицо его блестело от испарины, будто начинало подтаивать и оплывать в лучах костра.

— Я ведь, старинушка, не простой... Я ведь духовного звания: сельского псаломщика сын, — начал он монотонным, глухим голосом. — Из семинарии меня, значит, выгнали: так, без прилежания учился, да и спиртным напиткам подвержен

был. Отец же мой многосемейный, жизнь влачил бедную, даже на глаза меня не принял, и стал я с тех пор сам по себе. Ну, что ж, думаю, надо как ни то... По писарской части у меня ничего не вышло, да и не по душе... Тянуло меня в поля, в леса, чтобы по дорогам, по большакам ходить, монастыри старинные осматривать... Любил я, грешным делом, все это. И уж подумывал в монахи пойти: есть такие монастыри удивительные — вон Сарова пустынь, ах ты, богородица: леса, речки — прямо рай. Влекло меня к божеству, шибко влекло. Но все вышло на другой лад. Стал я, дедушка, маляром, а потом присмотрелся у монахов, да и живописцем заделался, и потянуло меня опять на Русь, по селам бродить начал. — Антон качнул головой, причмокнул, повел острыми плечами и вздохнул. — Подружился я как-то в селе пригородном с поповской дочкой... Ну, конечно, весна, соловьи, благоухания... А сам в то время франт был: часы, куртка бархатная, шляпа и тому подобное. Словом, чтобы грех прикрыть, окрутил нас отец Никифор... Зажил я тут, можно сказать, во всем благополучии: жена — красоты замечательной, пиши с нее картину; работы сколько хочешь — из других уездов присылали. Ха-рраашо с Наташенькой жили. Так бы оно и катилось чередом, да грех вышел, люди меня за простоту растоптали...

— Человек на это горазд, — сказал Лехман.

Сквозь чащу продирался Ванька Свистопляс, волоча по земле сухие сучья.

— Пять лет жития моего сладкого было. А тут и... Подновлял я храм в одном селе. Благолепный храм, помещиками в старину приукрашен был изрядно. Ну, вот. А в селе как раз ярмарка. Народищу навалило густо. Ну, сначала хорошо шло: подгрунтовал я, значит, праотцев в верхнем ярусе, а пока сохнут — евангелистов начал освежать. В церкви и жил, в закоулочке: приду, значит, вечером, побродивши по базару, меня на ночь и запрут, а чуть зорька — я уж за работу... И вот, милые, тут-то меня жизнь и ущемила...

— Запил, что ли? — спросил Лехман.

— Грешный человек, запил... Какой-то вроде актера, бритый, возле меня все юлил... С ним, значит, и того... Нашли меня на вторые сутки... «Как же тебе, Антон Иванович, не совестно? — крикнул на меня староста церковный. — И деньги все пропил?» — «Извините, говорю, пропил». А я действительно при начале двести целковых на позолоту да на краски взял. Староста размахнулся да раз меня в ухо! Горько мне сделалось, заплакал я... от стыда больше, потому — все меня уважали. А всему виной бритый: выманил у меня, у пьяненького, денежки-то, да и лататы... Он, подлец, и в церковь ко мне захаживал, все иконами интересовался, знаток — это вер-

но... Ну, ладно... Положили меня, значит, на вытрезвленье к просвирне, а за женой подводу отправили, потому знали, что я жену, как бога, чтил.

Антон помигал глазами, снял картузишко без козырька и вытер рукавом потный лоб.

— И вдруг ночью ввалился ко мне народ, руки скрутили да в волость. Вот так раз. Ничего понять не могу, потом дорогой слышу: церковь ограбили, венчик в камнях с иконы сняли, крест напрестольный, чашу с дарами и кружку вытрясли. Ловко. Я аж обмер. Даю отпор — знать не знаю. Обыск. Как тряхнули мою жилетку, а оттуда два пятака старинных екатерининских да медаль серебряная. «Ну, так и есть! — староста кричит. — Она самая, моя медаль... Вот и зарубинки. Самолично в кружку опустил!» Тут мне и погибель...

— Ха! — хакнул Лехман. — Это бритый.

— Неужто я?.. Стал бы я на господний храм руку подымать... Не тот человек я... а так, попал в сеть, как перепелка... А вступиться некому: брат старший в духовную академию обучаться поехал, родитель помер, отец Никифор помер... Так меня и закатали...

— А как же бритый-то? — враз спросили Лехман с Ванькой. — Чего ж ты его-то не упекарчил?..

— Где уж... Вишь, я какой?.. — развел Антон руками и как-то вкось ухмыльнулся. — Смирный я, не расторопный... Всего меня придавило. Накатилось какое-то такое... ну, вроде как... Словом сказать — махнул на все рукой: так, видно, на роду написано...

Антон, тускло посматривая в сторону и думая о чем-то другом, рассеянно сказал:

— Объяснял я про бритого, как же... Ищи ветра в поле... быдто в воду... А у меня — медаль...

Лехман и Ванька Свистопляс внимательно слушали. Голос Антона дрожал, впалые щеки разгорелись. Он тонкими пальцами, волнуясь, потеребливал бороденку и почмыкивал утиным, с защипкой на конце, носом.

— Как попал я в Сибирь, стал пить. Прямо пьяницей горьким сделался. Через это все здоровье потерял. До белой горячки, милые, допивался, по воздуху в избе летал. Вот быдто взовьюсь вверх, с избой вместе, да и ну порхать.

Свистопляс рассыпался горошком и провел ладонью снизу вверх по курносому своему бабьему лицу.

— Это быват! — весело крикнул он и подбоченился. — Я тоже так-то пивал, дык меня черти в ад спускали по трубе... Женить на жабе, так твою так, хотели ды выгнали.

— И вот, милые, — вновь заговорил Антон, — так и жил я в нужде да лишении одиннадцать годиков. И так меня по-

тянуло в родное место, что выразить вам не могу. Жена с дочкой сниться начали, голос подавали. Вот так сидишь в тайге, у речки, ночью, вдруг: «Анто-о-ша...» Вскочишь, перекрестишься, и только забудешься — опять: «Анто-о-ша...»

Антон вздрогнул и перекрестился.

— Не вытерпел, собрался в путь. Не много, не мало шел я, сказать по правде — ровно два года. Пришел это я в Воронеж вечером. А еще когда в тюрьме сидел, знал, что Наташенька с дочкой в город перебрались... Как же. Переночевал на постоялом, а утром в собор, стою в задку, трусь возле нищих, думаю: они в городе лучше всех знают каждого. И верно: узнал от них, что мой брат, Павел Иваныч, овдовел и состоит ныне профессором семинарии духовной и метит, мол, в архиереи.

— О-о-о... — протянул Ванька. — В анхиреи? Ловко.

— Да. А об моей Наташе ни слуху, ни духу: ровно бы, говорят, такой и в городе нет. Потом про брата опять подумал: слава, мол, господу, ежели к такому чину готовится, это хорошо: чин ангельский, и человек должен быть души тихой. Вернулся я на постоялый вечером. Погрыз калачика, чайку испил, помолился про себя богу, лег. Вдруг среди ночи сон: будто я в часовне один-одинешенек, стою на коленях и земные поклоны бью. А перед иконой богородицы единая свечечка маленькая. Горит, а свету нет. Потом разом как вспыхнет сияние. Я сразу ослеплен был, упал плашмя, головой в пол, и слышу твердый голос: «Иди, раб, будет указано!» Тут я, братцы, вскочил, гляжу — утро. Трясусь весь, зубами щелкаю, одеваться проворненько начал да в штаны-то никак не могу утрафить...

— Гы-ы-ы, — протянул, осклабясь, Ванька, но Лехман молча пнул его в бок и мотнул головой Антону:

— Ну-ка...

— Вот хорошо. Поплескался водичкой, смелость такую в себе почувствовал, что, кажется, все нипочем. Пришел в семинарию. «Павел Иваныч дома?» — «Насчет доставки дров, что ли? Иди наверх, третья дверь справа». Иду, улыбаюсь, душа прыгает во мне, что-то будет? Хочу крикнуть ей: «Образумься, вернись!» Она ответствует: «Иди, будет указано». Чуть приоткрыл дверь, взглянул: однако он, в мундире, чай пьет. Не пойду, думаю, а душа кричит: «Иди!» — да как толкнет меня в комнату. Ей-богу...

— Дела-а-а...— протянул дед и погладил кольчатые пряди бороды.

— «Братец», — сказал я. Он повернулся, точно его обожгло, поднялся: «Антон!»—глаза круглыми сделались, руками машет, шипит: «Да как ты мог, да как ты осмелился?» Я в ноги, ползу к нему да вою: «Братец мой, брат...» А он стоит

как столб: «Ты подумал ли? Что тебе надо? Ты бежал?» — «Мне бы жену мою, Наташеньку, увидать да Любочку»... — «Наташа умерла». — «Как?!» Он помялся этак, подумал: «Она живет тут с одним... с помещиком... На содержании». Я уж на ногах стоял, встал с полу-то. Захватило у меня дух, в голове круженье сделалось. Оправился, однако, держусь за стену. «А Любочка, хоть бы на Любочку взглянуть...» Стою, жду ответа, всплеснул руками, а лицо, чую, дрожит, подбородок скачет, слезы по щекам текут, и все в глазах прыгает. А брат, как мышь в ловушке, бегает по комнате. Потом остановился, взглянул на меня исподлобья. «Ладно, — говорит, — жди». Схватил фуражку с кокардой, ключ достал. «Я,— говорит, — тебя запру, чтобы прислуга...» Сел я на стул, сижу, думаю: эх, Наташа, Наташа...

Антон умолк и закрыл лицо руками.

Лехман похлопал его по согнутой спине.

— А ты плюнь... Эка штука... возьми сердце-то в зубы...

— Ах, милый, ведь больно... Веришь ли, тяжело ведь...

— Ну-ка, сказывай, как дочку-то встретил.

— Эхе-хе-е-е... Встретил!.. Я ее так встретил, что помирать буду — и то час тот вспомню... Лихой тот час был, ребятушки. Правильно в писании сказано: «Враги человеку домашние его...» Так оно и вышло.

— Не признала, что ль, за отца тебя?

— Не в этом дело-то, сударик... Слушай, уж доскажу... Вот жду я, жду, сам думаю: о чем говорить начнем с дочкой? А в мыслях я держал повидаться с Любочкой да жену разыскать, ну, там пожить тайно, без огласки чтоб, с недельку, да и назад. Но миленькие, тут-то сидя на стуле, понял я и уразумел всей душой, что обратно пути мне нет, что назад уйти в Сибирь от дочери, от родины сил нехватит. Думай, не думай — этому не быть. И вдруг злоба закипела. «Ах ты, окаянная душа, — сам себе шепчу, — куды ты привела меня, зачем? Ведь на погибель ты, душа, привела меня...» Все тут всплыло сразу наверх, все, все, ребятушки. Вся жизнь, вся сладость прошлых дней моих счастливых, и друзья, и знакомые, и ласки жены... Всю душу во мне перевернуло. А что ж дальше? — думаю. Назад? Будь ты проклята, душа моя!

— А души-то и не бывает, — не утерпел Ванька.

— Тьфу, леший! — плюнул дед.

Антон встряхнул локтями и приподнятым голосом быстро-быстро заговорил:

— И такие во мне закружились мысли, что страх. Ничего не разберу, прямо вот ухватиться за них не могу, мелькают как пчелы или снег валит. Как начали жалить: «Давись, пока нет!.. Убей брата, а деньги в карман... В монахи, в схимни-

ки... Жену убей... Нет, любовника убей, дочь возьми...» Потом все умолкло, как метлой смело, и, чую, один только голос во мне выявляется: «Будет указано». Вдруг: дзинь-дзинь. Дверь отворилась: впереди братец, а сзади два жандарма и пристав. Я вскочил, а милый братец протянул руку и сказал: «Вот!»

— А-а-ах, сволочь! — прошипел вдруг дед, судорожно сжимая пальцы.

Ванька плюнул в кулак и потряс им в воздухе:

— Так твою так!.. Вот это брат... Я б его, на твоем месте, по зубам да об голову... Я б его!..

Лехман встал, крякнул, сдвинул на затылок сшитую из тряпок шапку, взял топор и начал сильными взмахами рубить возле угасавшего костра пень. Пень не поддавался, и дед, вдруг обозлившись, ругал топор, ругал Ваньку, ругал эту чортову коряжину-пень, — ни дна б ему, ни покрышки, окаянному, — швырнул топор в тьму и куда-то быстро скрылся.

Антон молча вздыхал. Ванька Свистопляс на все лады сквернословил...

Два голоса вдали послышались: сердитый — Лехмана и виноватый — Тюли. Лехман кричал грубо и надсадисто. Тюля робко возражал.

— Чтоб тебя, дикошарого... Мало тебе еще, чо-орт...

— А как, не скоро придем в Кедровку-та?

— Не скоро-о?.. Твое дело пакостить...

Подошли.

— Ну, сухарей возьми, ну, крупы отсыпь... А порох-то зачем, сбрую-то зачем?.. Чо-орт...

Тюля свалил у костра мешок награбленного в зимовье добра и стоял с улыбающимся, испуганно-виноватым лицом.

— Я в ответе буду.

— Ты, тварь? Ты! — рявкнул Лехман. — Наш путик только загаживаешь... Ведь поймают — всем нам башки оторвут.

Тюля поправил костер, взял мешок, приподнял, будто примеряясь, грузно ли, и, отбросив с сердцем в сторону, сел.

— А у нас в Расее... — начал было он, но Лехман, тяжело пыхтя, перебил его:

— Давайте, братья, спать: ишь ночь.

Темно было кругом и тихо. А холод наплывал все настойчивее. Спины у бродяг стали мерзнуть.

— А у нас в Расее... дык.... эдак-то... — попробовал вновь завести разговор Тюля, щуря на Лехмана свои узкие поросячьи глаза.

— Брехун, — сказал дед и стал укладываться, подостлав на землю хвои.

Лехман приподнялся, вздохнул, потер старую спину, задумался. Свою Лехман думу думает, таежную.

Тихо в тайге, замерла тайга. Обвели ее шиликуны чертой волшебной, околдовали неумытики зеленым сном. Спи, тайга, спи... Медведь-батюшка, спи. Сумрак пахучий, хвойный, карауль тайгу: встань до небес, разлейся шире, укрой все пути-дороги, притуши огни.

Не шелохнет тайга. Ветер еще с вечера запутался в хвоях, дремлет. Вот хозяин поднимается, — белые туманы, выплывайте, — вот хозяин скоро встанет из мшистого болота. Филин, птица ночная, ухай, канюка, канючь, — хозяин фонарик отыскивает... Звери лесные, все твари летучие, жалючие, ползучие, залезайте в норы: хозяин идет, хозяин строгий... Расстилайтесь, белые туманы, расстилайтесь... Человек, не размыкай глаз: хозяин страшный, увидишь — умом тронешься, крепче спи... Тише, тише: хозяин потягивается, хозяин с золотого месяца ногтем уголек отколупывает... Ох, тише: хозяин дубинку взял...

— Го-го-го-го-го-оо-о-о-о...

— Кто это? Ты дед?! — как гусь, вытянул шею Ванька.

Бродяги спали крепким сном.

IV

Только теперь почувствовала Анна, что Андрей и она — одно.

Когда наладилось у них с Андреем — веселая была, без песни не работала, а теперь словно подменили: тихая, молчаливая. А то задумается, стоит столбом у печки, не живая. Окликнут — вздрогнет. Бородулин сердиться стал.

— Я на тебя, Анка, штраф буду накладывать... Однако я тебя, девка, к себе в спальню утащу...

Но Анна строгим, укорчивым взглядом гасила купеческую кровь.

Давненько на нее Бородулин зарился: так, поиграть хотел. Надо бы Дашке отставку дать еще с осени. Анку приручить тогда — раз плюнуть, полагал купец, а теперича... Большого купец дал маху: у Андрея действительно рожа замечательная, благородный... без штанов, а в шляпе...

— Ты чего, быдто щелоком охлебалась? — как-то спросил Иван Степаныч Анну.

Промолчала Анна.

— Али все по Андрюхе тужишь?.. Смотри, девка, — погрозил шутливо пальцем и поглядел на Анну по-грешному.

Но когда глядел на Анну, вместе с грешной думой что-то

новое шевельнулось в душе, словно зеленая травинка сквозь землю в чертополохе прорезалась.

«А что?.. — сам себя спрашивал купец. — Дело было бы...» — и улыбнулся.

И весь день улыбался.

Давно надо бы Андрею воротиться. И уж стало думаться Анне разное: не заблудился ли, медведю не попал ли? А вдруг в бега ударился! Не спится Анне по ночам, а ежели уснет — сон тягостный мучает, вскакивает Анна в страхе и долго сидит во тьме, трясется. Ведь вот стоял, наклонялся, гладил... Нету. Закричать бы, заплакать... горько-горько заплакать бы... Но не было слез.

Май за середку перевалил. Андрей не возвращался.

Товарищи-политики всполошились: все сроки прошли, пропал Андрей. Мужиков сбили, три дня всем селом в тайге шарили — нету.

— Убег, стерва, — сказал Бородулин мужикам. — Упорол... Наверняка упорол...

У Анны сердце кровью облилось. Все три дня ни пила, ни ела. Точно в дыму ходит, вся снутра горит. А как вернулись мужики ни с чем, обрядилась Анна во всю таежную мужичью «лопотину»: холщевые штаны надела, рубаху посконную, бродни, взяла винтовку у хозяина да двух собак и пошла с кривым солдатом в тайгу.

— Эк тебя подмывают лукавые-то... — ворчал Иван Степаныч. — Эк тя присуха-то корежит...

Долго они по тайге путались, верст на сто обогнули, весь порох расстреляли,—нет, не откликается. Так и вернулись домой, ободрались оба, солдат щетиной оброс, у Анны щеки провалились. Бородулин только головой покачал.

— Ну, как же... ты скажи... Ради бога, скажи... Куда схоронил? Где? — как-то пристала к Ивану Степанычу Анна.

— Кто? Я? Да ты ошалела, девка?

— Побойся бога... Отдай... Ну, отдай...

Иван Степаныч и на счетах брякать перестал. Долго, пристально смотрел на Анну. Стоит перед ним тихая, уже не кричит, не просит, глаза опустила, а губы дрожат, кривятся, не может совладать.

Бородулин поднялся и заботливо повел Анну вниз, в ее комнату.

— Найдется.

Твердо сказал купец. Анна поверила и улыбнулась, а как стал гладить ее голову, поймала руку, заплакала — и вдруг ей сделалось легко.

И только засыпать начала, Бородулин так же твердо, как по сердцу молотом:

— Он давно дома у себя...

Анна поднялась — темно. Кто загасил? Где солнце? Где андреюшкино солнце?

— Иван Степаныч! Даша! — кричит Анна.

Никто не отозвался. Только в углу, где рукомойник, капелька по капельке булькала в лохань вода.

— Иван Степаныч, Иван Степаныч!.. — идет босиком, простоволосая, половицы поскрипывают, двери само собой отворяются,

Надо бегом, радостно стало, надо по задворкам, как тогда, как раньше...

— Ну, куда ж ты, стой! — Даша схватила ее сзади.

— К нему... к Андрею.

— Да ты что? Очухайся...

— Иван Степаныч сказал...

— Пойдем, пойдем... Когда это? Он вечор еще уплыл. Чего ты мелешь. Да и-и-ди-ка, телка!

Полная луна стояла в небе. Анна поглядела на луну, на голубую церковь, на дашины черные глаза.

Стало быть, сон...

— А Анна-то тово... — сказала поутру Даша и постукала пальцем по лбу.

Старухи приплелись, застрекотали. То с уголька советуют спрыснуть — может, отведет, то в подворотню пролезть голой да на месяц по-собачьи взлаять. Хорошо бы за упокой подать, батюшка добрый, ему только бутылку посули, отслужит панихиду, это помогает: душа у Андрея скучать начнет, ангел божий на дорогу выведет: иди.

Анна старух разглядывает, виски сжала ладонями, голова болит.

А старухи пуще; голоса крикливые, друг с дружкой сцепились, орут, слюнями брызжутся.

— Колдовка! — кричит горбатая. — Твое дело по ночам коровам вымя выгрызать...

— От колдовки слышу! Тьфу! — вскочила хромая, топнула кривой ногой и вся в дугу изогнулась. — Ты вот свиньщей оборачиваешься, оборотка чортова...

— Ну, ты... потрясучая!..

Анна стонет, голова гудит. Хоть бы Иван Степаныч пришел да выгнал. А старухи пуще.

Анна тихонько ноги спустила да рукой к ружью, — и страшным голосом на старух:

— Уходите...

Старухи, как овцы, стадом в дверь.

А по селу прокатилось: кедровская девка спятила.

Приехал из волости урядник, собрал сход.

— Искали, ребята?

— То-ись, скажи на милость, всю тайгу выползали.

— А покличьте-ка ее, эту... фефелу-то вашу... как ее?..

Стали Анну звать — не идет, староста пришел — не идет, приказано силой взять.

— Ну, иди... Чего ты, право?

— Пошто я ему? Изгаляться, что ли? — сверкнула она взглядом, однако пошла.

Урядник на завалинке сидит: ногу отставил, руку в карман, глаза на выкате, усы строгие, сам «с мухой».

— Ого, кобылица какая... Ядре-е-ная... — облизнулся он на Анну. — А ну-ка, говори, сударыня... Ты трепалась с Андреем, с политическим? А?

Анна гневно сдвинула брови и тяжело задышала, косясь через плечо на урядника.

— Ты оглохла? — пьяно кричал он. — Я те уши-то прочищу... потаскуха мокрохвостая!..

Как под бичом вздрогнула Анна.

— Бесстыжий... Тьфу! — злобно плюнула ему в лицо.

— А-а-а... Так?! — блеснув на солнце перстнем, он со всей силы ударил ее в висок.

— Ой, ты... — обхватила Анна голову. — Зверь!..

Урядник, весь налившись кровью, вновь взмахнул кулаком, но мужики сгребли его и враз загрозили:

— Ваше благородье! Ты не смей!..

— Ты этого не моги!.. Девка чужая, девка одна...

— Что-о-о?.. — да как даст ногой Анне в живот. — В чижовку! живо-о!

Анна перегнулась вся.

— Ребеночка убил... батюшки, убил! — И, дико крича, пустилась по деревне.

А от реки, развевая черной бородой, бежал на шум только что выкупавшийся Бородулин. Ему было видно, как в толпе, взлетая и падая, кого-то молотили кулаки: сверкнула шашка, взлягнули в чищенных сапогах ноги — и толпа вдруг бросилась врассыпную.

— Бу-у-унт... Бу-у-унт... — ползая по земле, хрипел урядник.

— Петр Петрович! Ваше благородье... Да ты что?

— Запорю... В каторгу, сволочи...

Ивану Степанычу больших трудов стоило увести урядника домой. Привел, подал сам умыться, — вода в лохани заалела кровью, — сам перевязал ему подбитый глаз.

— На-ка вот, — отрезал ему лучшего сукна на шинель, —

порвали, подлецы! — да еще добавил двадцать пять рублей.— Ты лучше забудь... Мало ли чего... Ты с нашим народом не шути... Гольное зверье... Дрянь...

— Только б начальство не дозналось... А с мужиками сочтемся... И девку тоже...

— Девка чего же... Девка ничего... Жаль все-таки... На-ка, дербулызни коньячку... На-ка рябиновочки...

Когда пьяного урядника положили поперек повозки, Иван Степаныч шепнул ямщику:

— Чебурахни его, анафему, куда ни то в лужу... где погуще... Понял?..

— У-устряпаю,— подмигнул веселый парень и, вскочив на облучок, вытянул вдоль спины и коренника, и лежавшего пластом урядника.

Иван Степаныч зычно захохотал вслед взвившейся тройке и кликнул новую свою стряпку, моложавую вдовуху Фенюшку:

— Ну, как Анка-то?

— Да чего... лежит...

— Истопи-ка пожарче баенку да распарь-ка ее хорошенько, разотри. Чуешь?.. Редьки накопай — да редькой. Ну, живо!

Он лег спать рано, — выпито порядочно, — ухмылялся в бороду и приговаривал:

— Засужу... Хе-хе... вот-те засужу...

Лежа думал: засудил бы, что тогда?.. Полсела угнали бы в тюрьму, сколько долгов пропало бы.

Поглядел на образ, на мягкий огонек лампадки и громко сказал:

— Слава тебе, Микола милостивый, слава тебе...

От избытка сил Ивану Степанычу легко и весело, мысли приятные роились, и во всем теле гулял легкий полугар. Чей-то голос знакомый послышался, анкин, не анкин, глаза голубые приникли, кажется анкины... да... ее глаза, анкины.

Поднял купец веки, крякнул:

— Сходить нешто... проведать... — Но вот улыбка ушла с лица.. — Ужо исправнику собольков парочку подсортовать... Он его... Бродя-ага... Драться?!

V

Завтра в Кедровке праздник. Каждый год в этот день из часовенки, или, как ее называли, полуцеркви, что стояла среди кедровой рощи, подымают кресты и всей деревней идут в поле, за поскотину, к трем заповедным, сухим теперь лиственницам — служить молебен.

После молебна начиналась попойка, а к вечеру угаром ходил по деревне разгул с пьяной песней, орлянкой, хороводами. К вечеру же заводились драки — кулаками и чем попало; доходило дело до ножовщины.

Пьянство продолжалось на другой и на третий день. За этот праздник вина выпивали много. В хороший год с радости: «Белка валом валит к нам в тайгу», в плохой год с горя: «Пропивай все к лешевой матери, все одно пропадать».

Вино всех равняло — и богатых, и бедных. У всех носы разбиты и одурманены головы, все орут песни, всем весело. Будущее, как бы оно плохо ни было, уходит куда-то далеко, в тайгу; мысли становятся короткими: граница им — блестящий стаканчик с огненной жидицей, пьяные бороды, горластые бабьи рты. Все застилает серый радостный туман, и сквозь него смеется тайга, смеется поле, смеются белки: «Бери живьем, эй, бери, богатей, мужик!» И мужик брал: тянулся к штофу, бросался вприсядку, махал свирепо кулаками, вопил в овечьем стойле, торкнувшись головой в навоз: «Й-эх, да как уж шла-прошла наша гуля-а-а-нка!..»

Проходили эти три хмельные дня — и все снова начиналось по-старому, вновь наступала серая, унылая жизнь.

Кривая баба Овдоха еще третьего дня уехала за попом в Назимово. Вместо колесной дороги туда проложена тайгой верховая тропа с крутыми подъемами и спусками, с большими топкими «калтусами», перегороженная зачастую в три обхвата валежником. Овдоха сама поехала на пегашке, а под попа взяла стоялого федотова жеребца, — поп грузный, не всякая лошадь увезет.

Уж закатилось солнце, попа все нет. Народ в бани повалил. Бани — маленькие, с крохотным глазком избушечки, все, как одна, прокоптелые, словно нарочно вычерненные сажей — стояли над самым обрывом к речке. Две девахи, Настя с Варькой, выскочив окачиваться на улицу, первые увидали подъезжавшего попа и, стыдливо прикрываясь шайками, закричали проходившему с веником подмышкой человеку:

— Дяденька Митрий, батя едет, поп...

— Где?

— А ишь, — показала Настя шайкой и, вдруг спохватившись, снова суетливо прикрылась. — Чего ты на меня-то пялишься!..

— У-ух!.. Па-атретики! — осклабясь, ударил себя по ляжкам Митрий и уронил веник, а девушки с хохотом юркнули в баню.

Поп проехал к толстобрюхому Федоту, главному по деревне богатею. Криво что-то поп в седле сидит.

— Ты, батя, не пей до праздника-то, обожди мало-мало... — говорили ему, здороваясь и глотая слюни, красные после бани мужики.

Много их набралось к Федоту, накурили, наплевали, а батя сидел уж выпивши, ел со сметаной соленые грибы и, рюмка за рюмкой, пил водку.

— А позовите-ка сюда Прова Михайлыча, чегой-то с дочкой его стряслось.

— Чего такое, батя?

Но староста Пров уж услыхал про Анну от Овдохи.

Праздник завтра, гулянка, а у Прова в глазах черно.

— Езжай скорее, Пров, за дочкой... — охает жена. — Батюшка ты мой царь небесный...

Пров долго сопел носом, потом, выйдя расхлябанной чужой походкой в сенцы, захлопнул за собой дверь и громко там засморкался. А поздним вечером, надев овчинный пиджак, езжал по тайге на бурой кривой своей лошаденке.

У всех печи топятся, бабы снуют взад да вперед, взад да вперед, тесто заводят, кур колют. Где-то барашек заблеял-заплакал: прощай, жизнь!.. Поросенок сумасшедшим голосом ревет. Ревел-ревел, сразу замолк, словно обрадовался, что кончилось страшное. Два петуха безголовых пролетели поперек дороги, две старухи-ведьмы гнались за ними с окровавленными двумя топориками, бежали, тяжело сопя и задыхаясь, и сквозь стиснутые гнилые зубы зло посмеивались:

— А, не любишь? Это тебе, петька, не кур топтать...

Два кота сидели на воротах, уткнув друг в друга лбы, повиливали лениво хвостами и лукаво выводили, словно ребята в люльке гулькали.

Месяц, огромный, будто намасленный блинище, одним глазом выглядывал из-за тайги: а ну-ка поглядим, как бабы стряпают.

Дымок вился из труб, вкусно попахивало жареным, псы ловили на лету подачку или, болезненно взвизгнув, кубарем летели от пинка.

Девка песню завела, бежит с ведром к речке да поет.

— Ты сдурела? — стыдит встречный дед.

Хохочет:

— А чего? Думаешь, грех?

— Нет, спасенье...

Старики у часовни сидят, хоть не холодно, а в валенках: удобней. Трубки сосут, согнулись вдвое, врут друг другу штуки разные, случаи рассказывают: «А эвона, в тайге-то,

иду я, этта, иду...» — «Чего в тайге, со мной, ребяты, у мельницы случилась оказия». Врут да врут. Завтра праздник, можно и поврать. Завтра вино будет, знай гуляй! Дымокуры возле них курятся. Митька, парнишка-сопляк, то гнилушек, то назьму охапочку, то травы подбросит: зелеными клубами дым пластает и гонит комаров.

— Попа-то караулят ли?

— Укараулишь его, чорта!

А батюшка, человек ядреный, в годках, лицо крупное, с запойным отеком, желтое, на приплюснутом носу румянец. Он действительно слова не сдержал: «Обрей мне полбашки, как каторжнику, ежели до праздника упьюсь», — а сам еле сидит за столом, бахвалится:

— Мужичье!.. — но мужиков в избе не было, одна бабка Агафья, теща лавочника Федота. — Вы чего понимаете, а?.. Вы как обо мне, чалдоны, понимаете? Как ваше мление будет, а?!

— А так, что ты долгогривый и больше ничего... забулдыга... — брюзжит рассерженная бабка.

— Нд-а-а... — теребит поп красную с проседью бороду, икает и примиряюще говорит. — А ты лучше, девка, дай-ка еще груздочков-то...

Поп щурит глаза, всматривается в согбенную фигуру бабки и, прищелкнув игриво пальцами, говорит:

— Слушай-ка, молодуха...

Стоит старуха у печи со сковородником, печет к празднику блины.

— Я, девка, жениться думаю. А?.. Что мне, ведь я холостой.

— Пес ты, а не поп...

Священник озирается, — нет ли постороннего, — зевает широкой пастью, крестит левою рукою рот, рявкает и, подмигнув, шипит:

— Слышь-ка, эй, молодуха... Ты куда меня положишь?.. А?..

Хихикает и шепчет:

— Ты приведи-ка мне бабенку, а?

Федот пришел. Старуха ожила.

— Гляди, чего говорит! — закричала зятю. — Грива этакая.

— А чего говорю?! — ворчит поп. — Дай-ка водки!

— Нету, батя... Завтра... Слушай-ка, чего сейчас сказывал караульщик... Грит, чудится...

— Давай вина.

— Нету, батя, все.

Поп вскочил и, держась за стол, двинулся к Федоту.

— Я тебе покажу — нету! Давай!..

А у завалинки поселенец старичишка Беспамятный стоит пред мужиками, отказывается итти караулить ворота в назимовской поскотине.

— Вот тебе Христос, вот... Сижу это я, робяты, в шалаше, чую — ко сну клонит, борюсь-борюсь — нет, а время ка-быть раннее. Обороло, братцы, меня: как сидел на дерюге, так и заснул. Вдруг слышу — бубенцы, бубенцы, лошади топочут, ямщик гикает. Вот тебе Христос, вот... Ну, думаю, по дороге кто-нибудь с приисков катит. Не иначе. «Отворяй, старый чорт!» — ревут. Я выскочил без ума, подбежал к воротам. Никого. Тут у меня и волос торчком пошел... Вот тебе Христос, вот... Да так до трех разов... Я и побег без оглядки... Сроду теперича не пойду, подохнуть — не пойду.

Мужики посылать начали того, другого, третьего — не идут: праздник завтра. Однако согласился хромой непьющий парень Семка.

— Только с опаской, Семенушка, иди... Благословясь...

Месяц высоко поднялся. На бугорке сидела собачонка пестренькая, смотрела на тайгу и, откинув назад левое ухо, полаивала:

— Гаф!.. Хаф-хаф...

Взлает так и поведет ухом, дожидаясь.

И в тайге тихонько откликается: гаф-хаф-хаф...

Переступит передними ногами да опять. А сама о другом думает: хорошо бы поросячий бок стянуть; принюхивается — пахнет отлично, но хозяин ей дома на хвост наступил, а баба поленом запустила. После. Вот уснут.

— Гаф!.. хаф-хаф...

Митька-сопляк тихо крадется к ней с дубинкой.

— Гаф! хаф-хаф...

Да как даст собаке по башке. Собака с перепугу не знала куда и кинуться, забилась под амбар, визжит — больно.

Митьку мать разыскивает:

— Ты где, паскуда, мотаешься?.. Иди Оленку качать!

Да как даст Митьке по башке. Заплакал. Больно.

Ночь спускалась, а огней еще не тушили. Свет из окон желтыми полосками пересекал дорогу. А подвыпившему бездомовнику Яшке казалось, что это колодины набросаны: шел, пошатываясь, нес в обеих руках за горлышко две бутылки вина и высоко задирал ноги пред каждой полоской света — как бы не запнуться да бутылки не разбить.

Тише да тише в деревне становилось, гасли огоньки. Петухи запели.

У Федота шум во дворе.

— Чорт, а не поп: квашню опрокинул с тестом!.. Тьфу!

Батюшка с закрученными назад руками мычит, ругается:

— Развя-зывай!..

— Врешь! — хрипит Федот. — Дрыхни-ка на свежем воздухе!..

И запирает попа на замок в амбаре.

Все огни погасли. Только покосившаяся избушка, что на отлете за деревней стоит, не хочет спать. Единственное оконце, с коровьим пузырем вместо стекла, бельмасто смотрит на улицу. Тут старуха живет, по прозванию Мошна. Вином приторговывает и сказки складно говорит. Одинокая она, земли нет, коровы нет, надо как-нибудь век доживать. Запаслась хмельным порядочно, на праздник хватит. Старуха пересчитала деньги, велика ли выручка, — оказалось двадцать два рубля, — спустилась с лучинкой в подполье, покопалась в углу, вынула берестяной туесок, спрятала в него деньги, зарыла. Опять выползла оттуда, косматая, жует беззубым ртом, гасит огонек в лохани. Мигнуло в последний раз бельмастое оконце и защурилось. Темно в избе, только лампадка теплится перед божницей.

Опустилась Мошна на колени, стукнулась в пол головой и громко, радостно сказала:

— Слава тебе, Микола милосливый, слава тебе.

Собачонка пестренькая опять на пригорок забралась, опасливо полаивает:

— Гаф!.. Хаф-хаф...

VI

В селе Назимове в этот предпраздничный кедровский вечер любовница купца Бородулина, гладкая солдатка Дарья, долго прощалась со своим сердечным другом уголовным поселенцем Феденькой.

— Не обмани, слышь... Окно приоткрой малость, я и... того, — строго наказывает коренастый черномазый ворище Феденька, потирая ладонью щетинистый свой небритый подбородок.

Дарья, потупясь, молчит и, наконец, раздумчиво спрашивает:

— Да ладно ли, смотри?

— Эх ты, дуреха!.. — притворно-весело крикнул Феденька и обнял Дашу.

— Ну, была не была... — улыбнулась Даша, звонко поцеловала Феденьку и, шурша кумачным платьем, неторопливо пошла вдоль заплота. Оглянулась, махнула белым фартуком и скрылась в калитку на задах бородулинского двора.

Купец Бородулин, как матерой медведь, расхаживал вперевалку по большой, с цветами и занавесками, комнате.

— Феня! — крикнул он. — Пожрать бы.

— Чичас-чичас, — откликнулась та из кухни.

«Женюсь, — вот подохнуть, женюсь», — думает купец, поскрипывая смазными сапогами. Брови напряженно сдвинуты над переносицей, — мозги шевелит, — глаза упрямо всматриваются в будущее, а сердце, наполняясь кровью, бьет в грудь молотом: силы в купеческом теле много.

«Жену, может, в городе зарежут... Где ей операцию вынести!.. А не зарежут в больнице, так... тогда... Чего, всамделе, мне ребенка надо. Десять лет живу с бабой — ничего. А Анка девка с пробой, ребят может таскать, да...»

— Фу-у-у ты... — шумно отдувается купец и, взглянув смущенно на икону, садится к столу.

— Здравствуй, — сказала грудным низким голосом вошедшая солдатка Дарья.

— А где Анютка? — строго спросил купец.

— Где... Я почем знаю, где... Внизу, где ей больше-то...

Фенюшка принесла ужин.

Дарья выпить любила, но сегодня пила с оглядкой, а Бородулину подливала не скупясь:

— Пей с устатку-то... Сказывают, долг привез тебе замочник-то?

Она покосилась на письменный стол, куда Иван Степаныч прятал деньги, и сказала, блестя черными, чуть отуманенными вином глазами:

— Мне бы дал десяточку, а я тебе ночью сказку расскажу... Ладно? Ох, и ска-а-зка будет... как мед!

Придвинулась к Бородулину, припала румяной полной щекой к его плечу и снизу вверх дразняще заглядывала в глаза, полуоткрыв красивые свои насмешливые губы. От нее пахло кумачом и свежим сеном.

— Ваня, обними-и-и...

— Ешь баранину-то, остынет... — отодвинулся от Даши.

Феня еще дополнила графин. Выпили. Феня спать ушла.

Купец прилег на диван, жалуется — жить чего-то трудно стало, — голову на теплые дарьины колени положил. Дарья гладит черные лохматые его волосы, целует в белый высокий лоб и осторожно, выпытывая купеческое сердце, говорит:

— Вот, как овдовеешь, женись на мне, Иван Степаныч...

— Дура... А солдат-то твой? муж-то?..

Даша тихонько хихикнула:

— С твоей мошной все можно...

— Я и без тебя знаю, на ком жениться-то... — осердился Бородулин.

Даша, вдруг сдвинув брови, пригрозила:

— Ну, гляди, купец... — а пальцы, перебиравшие его волосы, дрогнули и остановились.

— Принеси-ка лучше пивца холодненького, — заметно ослабевшим языком сказал примиряюще Иван Степаныч.

Пиво скоро сбороло Бородулина. Разуваясь и разбрасывая по разным углам сапоги и портянки, он пьяно бормотал:

— Й-я все м-могу, Дашка... Вот захочу — шаркну сапогом в раму — и к чорту... Ха!

Кукушка в часах выскочила, прокуковала и захлопнулась опять маленькой дверкой.

— Скольки?

— Десять, надо быть...

— Спать пора... Ну-ка, Дашка, подсобляй...

Повела его к кровати. Лег.

— Никто мне не указ, да! Вот выскочу из окошка да как дам бабе по виску! Да... Поп? Попа за бороду... И ничего-о-о. Потому — я во всей волости первый... Верно?

— Ну, и спи со Христом.

— Й-я все м-могу... Поняла? Потому — Бороду-у-улин!.. Знай!.. — и вот неожиданно трезвым голосом добавил: — А вот Анютку я люблю...

Кошка вскочила на кровать, под одеяло к ним залезла.

— Анютка — золото... Йэх ты, как пройдет, бывало, по горнице: кажинна жилка в ней свою песенку поет... Да...

Дарья схватила кошку за задние ноги и швырнула об печь. Кошка замяукала.

Купец зевал и крестил неверной рукой волосатый рот.

Дарья стала легонько всхрапывать, повернувшись лицом к стене и нарочно выставив из-под одеяла свою крутую спину с круглым наливным плечом.

— Дашка, спишь? — тихо спросил купец.

Та похрапывала и стонала.

— Эй, Дарья...

Полумрак был в комнате, а на улице бело. Тикали часы, да где-то далеко брякал колотушкой сторож.

Бородулин поднялся, спустил тихонько с кровати ноги на оленью шкуру, еще раз поглядел на дарьино плечо, на черные раскинутые косы, задернул полог и, осторожно ступая, пошел в заднюю комнату, где была лестница на низ.

Лишь ушел купец — и холодом обдало Дарью, и жаром охватило, а сердце сжалось. Она вскочила и, крадучись, чтоб не скрипели половицы, побежала к письменному столу. Вдруг в соседней комнате Феня охнула и захрапела. Дарья схватилась в страхе за щеку и замерла, потом, быстро обшарив стол, распахнула окно и бросилась к кровати, держа в руке пачку денег.

Внизу, куда спустился Бородулин, были две большие комнаты, занятые лавкой с товаром, да третья маленькая: в ней жила Анна из Кедровки.

Подошел купец на цыпочках.

— Аннушка...

Дотронулся до ее колена. В рубахе девушка спала, не прикрывшись: жарко.

Испуганно вздохнув, она открыла глаза.

— Аннушка, милая ты моя Аннушка... — припал Бородулин лицом к кровати, а девушка прикрылась юбкой и встревожилась.

— Мне чего-то, Иван Степаныч, шибко неможется.

— Родная ты моя... вот я, пьяная рожа, пришел... Вот пришел... да... — шептал Бородулин в волнении. — Аннушка, тяжело... Родимая, тяжело...

Окна завешены, в комнате полумрак. Анна повела речь ровным, жалобным голосом, временами всхлипывая и вздыхая.

— А к батьке-то с матушкой неохота... Об Андрюше гадала, — ворожейка одна есть,— медведь заломал его... быдто. Полегчало мне...

— Никакого спокою у меня, Аннушка, на душе нету... С супружницей у нас нелады... А вот ты мне шибко поглянулась... Да... Полюбил я тебя, Аннушка... Ох, и полюбил же.

— Уж и не знаю чего... Она ерданским песочком меня поила да отчитывала. На сердце-то у меня полегче стало... Раз, два, четыре... а дальше-то позабыла... Вот как он мне, разбойник, по виску-то порснул... урядник-то...

— Чорт, окаянная сила... Я его еще достану... — тряхнул бородой Иван Степаныч и, грузно шевельнувшись, ласково погладил девушку по голове. — Миленькая ты моя... Вот подумай, Анка, жить будем... Женюсь... Бабу свою выгоню... Тебя вылечу, женюсь... Обзолочу, сахаром обсыплю...

— Уж и не знаю чего... Ишь, разум-то у меня короток стал... Сама не своя другой раз... Чего уж... Вот вернется и...

— Кто, Аннушка, вернется? — глянул ей в глаза.

— Как — кто? — сказала жестко, будто топором два раза стукнула по дереву. — Как — кто? — приподнялась быстро на кровати, с силой оттолкнув купца. — Где Андреюшка мой?!

— Что ты, богова, — отступил купец от высокой, грозной Анны.

— Ребеночка убили, Андрюшу выпили!.. — она вскинула вверх руки, опрокинулась на кровать, затряслась вся, изогнулась. — Ой! ой! ой!..

— Господи помилуй... Девонька, что ты? — суетился отрезвевший купец. — Фенька! Дашка! воды!

А наверху на весь дом бабий крик:

— Караул! Караул!

— Подай Андреюшку!..

— Что такое? — купец с толку сбился. — Аннушка, родимая...

— Караý-у-ул!..

— Кого? Кто?! — несется вверх, а навстречу в рубахе Дарья, за ней Федосья.

— Живо, толстопятые черти... Живо к Анке!

Те трясутся, на спальню указывают, слова вымолвить не могут.

Купец туда. Морда чья-то лохматая, вымазанная сажей, в окне над открытым письменным столом торчит и — лишь вкатился купец — вмиг исчезла.

— Держи!.. — неистово взревел Бородулин, ружье со стены сорвал — не заряжено, топор поймал и, в чем был, загремел с лестницы.

— Держи, держи!.. — вопил он и, выделывая по улице кривули, бежал в гору, где дремала в роще церковь.

— Держи, держи!..

Старый караульщик на завалинке у своей избы лежал — проснулся, глаза кулаком протирает, кричит:

— Кто таков?! — и хватается за палку...

— Зарублю!.. Держи!..

— Бородулин... — шамкает старик и стучит испуганно в окошко. — Отопри калитку-то... Эй, бабка!..

Говорит ей во дворе:

— С топором бегает... Бородулин-то... Еще застрелит...

— Поди, приснилось? — улыбается старуха...

— Како!?. В подштанниках... Туда!.. Должно, опять до чертиков...

А Дарья с Фенюшкой на хозяйскую кровать забились, сидят рядом, одна другой красивее, подбородками уперлись в коленки и трясутся. Феня говорит: «Боюсь», и Даша говорит: «Боюсь», — Фенюшка по-своему, Дарья по-другому: в глазах у ней дьяволята шмыгают.

Феня говорит: — Догонит... Даша: — Нет, уйдет! — и, закинув руки за голову, сладко потягивается: — Эх, кабы мне денег поболе... Ух ты, господи!..

Кукушка опять из окошечка выпрыгнула, кукукнула двенадцать и ушла спать.

Бородулин все еще по селу летал: было слышно, как по всем улицам собаки лаяли и выли хором на разные лады.

— А все-таки жаль Анку, надо бы к фершалу свозить, — вздохнула Феня, — этакую девку, этакую кралю варначище какой-то, царев преступник, мог присушить...

— Ты дура, Фенька... Да Андрюша-то картинка-то писанная...

— Страсть красив: отворотясь не насмотришься...

— Да я б за ним, за соколом, на край света: бери!

И Даша смеющимся своим, задорным голосом, нараспев, тоненько выводила:

— Вот так легла бы на крова-а-точку, — и она раскинулась дразняще на перине, — спустила бы с правого плеча руба-а-шачку... разметала бы по изголовью белы рученьки... Бери!..

Феня сидя хихикала и баском тянула:

— Ну, и дуре-о-о-ха...

— Я б его... Андрюша... Ягодка моя! — тиская подушку, играла Даша голосом.

Послышался шорох и легкий скрип половиц: будто кто крался. Феня отдернула занавеску.

— Ай! — словно птицы от выстрела, враз сорвались и с диким криком: — Взбесилась! Взбесилась! — выскочили на улицу.

А за ними неистовая Анна:

— Убили, схоронили! Где он? Подайте мне его!..

VII

Вот и наступил в Кедровке праздник.

Утренняя заря как-то особо нарядно пала на тихие, еще не пробудившиеся небеса. Восток алел и загорался.

Солнца еще нет, но и слепой, настороживши душу, не ошибется указать, откуда оно, сверкая, покажет свое лучистое чело.

Чудилось, что там, на востоке, шепчут стоустую молитву и поют радостную песнь, которую никто не может услыхать, но всяк чувствует.

Чувствует малиновка, разбуженная лучом зари: встрепенулась, открыла глазки и огласила утро трелью. Чувствует сторожевой журавль: стоял-стоял на одной ноге, очнулся, вытянул шею, взмахнул крыльями и закурлыкал. Медведица спала в обнимку с медвежатами, но холод разбудил ее — ага, утро! — встала, рявкнула, всплыла на дыбы, медвежата очухались, посоветовались глазами с матерью и пошли все вперевалочку к ключу умыться. Ярко-золотая пслоса восток прорезала, грядущему не терпится — надо заглянуть, надо обрадовать: свет идет!

— Светает, — шепчет старая Мошна и, шамкая и прожевывая что-то беззубым ртом, спускается в подполье — целы ли двадцать два рубля?

Золотая полоса на востоке все шире, шире — кто-то приник к ней пламенным оком и заглядывает на зеленый мир.

Раскачивая ведрами и крестя на ходу сладкий позевок, идет к речке молодуха. Холодно. Вздрагивает плечами и прибавляет ходу.

Где-то ворота проскрипели. Другие. Третьи.

Мычит корова. Баран проблеял, десяток откликнулся веселыми, бодро звучащими поутру голосами.

Столетний дедушка, в белой до колен рубахе, шаркая ногами, вышел из калитки, сделал руку козырьком и, обратясь серебряным лицом своим к востоку, истово закрестился, приговаривая:

— Праздничек христов, помилуй нас.

Молодуха назад идет:

— Здравствуй, дедушка...

— Здорово, батюшка... Кто таков?

— Я — Наталья... Не признал?

— А-а-а... Ну-ну... Наталья Матреновна... Как не признать... Здравствуй, Машенька, здравствуй. Спасет господь...

Та улыбается — лицо свежее, умылась на речке студеной водой — и, упруго покачиваясь, уходит.

Солнце встало. Весь мир светом наполнился. Вспыхнули огнем окна сцепившихся друг с другом, как в хороводе девушки, и приросших к горе избушек. Повеселел бархат пасмурной тайги. Засеребрился, заискрился крест часовни, а ворковавший на нем белый голубь стал розовым. Небо, чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело мглой на западе: туда умчались сраженные светом остатки ночных сил.

Деревня проснулась. Собачонки по дороге носятся, облаивая стадо. Баба помои из лохани вылила, сороки тут как тут, скачут, вырывая из-под носу у сонных ворон самые вкусные куски. Жучка на трех лапах — четвертую медведь отгрыз — лает на сорок: сама помои любит. Но те враз заливаются хохотом и, взмахнув крыльями, усаживаются на прясло.

Люди во дворах, в избах, на улице перекликаются ласковыми голосами: Иванушка, Дуня, братец.

Попахивает дегтем, навозом и гарью. Но вот повыше заберется солнце, тогда из-за реки повеет хвойным, таким бодрящим, острым запахом.

В логах и распадках речки еще стоят белые туманы. Раздумывают: растаять бесследно или спуститься к воде и припасть к зеленой щетке камыша?

Теплей и теплей становится. День будет жаркий. Солнце все выше забирает.

К часовне торопится старик Устин, усердный господу. Росту он маленького, лицом светел, в седенькой бородке, весь обликом в Николу-угодника, и взгляд голубых глаз та-

кой же строгий, но милостивый. Сапоги его медвежьим салом смазаны — собаки принюхиваются, щетинят спины и отрывисто хамкают, показывая злые зубы. Рубаха на Устине длинная, новая, еще не мытая, топорщится нескладно на сутулой спине, подпоясана тунгусским, шитым бисером, поясом. В гору подымается Устин, а сапоги грузные, а в ногах силы мало, натрудил, болят, трудно итти в гору. Он еле отрывает сапоги от земли, сам весь вперед подался, с надсадой тащит за собою ноги, как ненужную ношу, и кряхтит.

— Батю-то будить? — кричит ему Федот, выставив из калитки тугой живот в жилетке с цепью.

— Буди: вот чичас ударю... Уж время. Эн где солнышко-то.

Вскоре прозвучал первый радостный удар небольшого колокола; удар за ударом лились от часовни звуки, катились в тайгу, а навстречу им в деревню торопливо плыли такие же, но далекие и робкие звоны неведомой часовенки, только что родившейся в тайге.

Петька, трех годов парнишка, прижимаясь к ногам матери, удивленно шептал, заложив в рот кулачок:

— Мамынька, это кто звоняет? — и кивал головой на тайгу, где была неведомая, как в сказке, часовенка.

— Дедуша Устин.

— Устин-то э-э-вот... А там — медведь?

Старики и старухи поплелись, часто перебирая ногами и медленно подвигаясь вперед. Мужики тоже выходили на улицу и лениво шагали, заложив руки назад, или усаживались где-нибудь на завалинке, чтобы в виду была часовня: пусть Устин дергает за веревку, итти что-то не хочется, вот батя выйдет, да пока еще обрядится, да женщины иконы поднимут, с крестами из часовни мимо на пашню пойдут — тогда можно и пристать. Вина-то хватит ли? К Мошне сбегать можно, денег нет — ничего, поверит, вот белки бог пошлет... Бом-бом... Медведь... Вот бы штук пяток промыслить, две красных шкуры. Нет, лучше на прииски итти, там какую копейку заработать можно... В город бы, чего там есть — поглядеть бы... Тут, в тайге, умрешь, ничего не увидишь... Как бы к девкам не полез... Он у нас проворный, подберет полы да вприсядку... ха-ха... Поп. Бузуям — бродяжне — надо окорот сделать, лабазы, паршивцы, грабят... Пакостники... Бам-бам... Господи помилуй, праздник... Баба насносях, холера... Вот Палагу надо в сеновал затащить, девка добрая, леший ее задави... Бам... Бам... Господи спаси... Праздник... Тьфу ты пропасть, грех! Никола милосливый...

И лезут грешные мысли, лезут. Принюхиваются мужики, пахнет хорошо: убоинкой пахнет — щи преют, оладьями пахнет. Вином по деревне понесло: рано бы, еще вино в под-

полье стоит, не откупорено, но у мужика в носу свербит, он заранее охмелел, веселые бесенята в глазах скачут, в ушах комариками кто-то попискивает. Глядят мужики на Устина, а тот все еще за веревку дергает, колокол поет, а в тайге откликается зеленая часовенка.

Федот пришел в суконном пиджаке и в шляпе. Народу на горе много собралось. Мужики встали с завалинки, пошли гурьбой к часовне. Федот что-то говорит в толпе, руками размахивает, волосы коровьим маслом смазаны — блестят, цепь на брюхе блестит.

— Вот это поп, — говорит Федот, — открыл это я, значит, завозню, батя лежит вверх бородой, мычит... Мухи на рыло-то ему насели, быдто пчелиное гнездо... Что, думаю, такое...

— Надо подымать! — кричит Устин.

— Подымал, ругается.

— Иконы подымать, — поправляет Устин. — Без него управимся!

— А батя-то не придет? — спрашивают бабы.

— Даже невозможно. Он ночью-то, робяты, встал, да бражки сладкой с четверть и ополовинил.

Бабы улыбаются. К часовне молодяжник с ружьями подходит. Бабы прихорашиваются, поджимают поприветливей губы и наполняют праздничным смехом глаза.

Устин вдруг из звонаря главным человеком сделался.

— Тимоха, наяривай во-вся! — командует он. — Ну, бабы, да и вы, мужички, которые попоштеннее, айда, благословясь.

Тимоха, в розовой рубахе парень, весело идет к звоннице и, широко улыбаясь, хитро подмигивает девкам и начинает радостный трезвон.

Из часовенки, мерно выступая, выходит с образом божьей матери Федот. За ним, по две в ряд, зардевшиеся и сразу похорошевшие, молодые бабы. Каждая пара несла икону, убранную крестиками, ленточками и бумажными цветами.

Когда вынесли крест и фонарь, вышел, держа в руке курящееся кадило, Устин, усердный господу. Народ с иконами стоял по обе стороны крыльца, Федот с Казанской на ступеньки забрался, держа на животе образ.

Устин в новой своей рубахе, обливаясь каплями пота, струившегося с морщинистого лба и лысины, низко по три раза кланяясь, покадил сначала Федоту, потом каждой иконе по очереди и махнул свободной рукой в сторону свирепо названивавшего, все еще улыбавшегося придурковатого Тимохи.

Но тот, привстав на цыпочки и яростно перебирая колоколами, не догадывался, что надо кончать: служба начинается.

— Шабаш! — крикнул Устин, сердито покадив в сторону расходившегося звонаря.

Потом одернул рубаху, крякнул, переложил кадило в левую руку, поправил усы и бороду и бараньим голоском благоговейно начал:

— Благословен бог наш, робяты, навсегда и ныне и присно и во веки веков!

Сказав это, Устин усердно закрестился, а народ пропел: «Аминь».

Тимоха волчком подкатился к иконам, — ждать некогда,— бухнул башкой в землю, торопливо приложился, чуть образ у Федота не вышиб, — тот сказал ему: «Легше!» — и, протолкавшись сквозь толпу, опять встал под колокола.

Устин, воодушевившись, вновь замахал кадилом и запел:

— Радуйся, Никола и великий чудотво-о-рец!

Многоголосая толпа подхватила.

— Наддай! — весело крикнул Устин, подав знак Тимохе.

— Айда, благословясь, робяты... Трогай...

Толпа всколыхнулась и запела под заливчатый, плясовой тимохин трезвон.

Но вдруг, заглушая все, загромыхали выстрелы. Ребятенки, взвизгивая и хохоча, били в ладоши, кувыркались перед поспешно заряжавшими шомпольные ружья парнями.

— Пли! — неистово кричал, задыхаясь от радости, парнишка Митька.

Парни палили залпами и в одиночку.

— А ну, громчей! — надсаживался Митька.

Все, предводимые Устином, двинулись вперед, медленно переступая и вздымая по дороге пыль.

Всполошенные псы на привязи одурело выли, пела толпа, трещали всю дорогу выстрелы, а вдогонку летел веселый медный хохот.

Устин чинно шел впереди, окруженный беспоясыми, чумазыми, поддергивавшими штаны босыми мальчишками, время от времени взмахивал кадилом и заливался высоким голосом.

Митька раза три забегал вперед Устина и, повернувшись к нему лицом, пятился задом и нараспев слезливо просил:

— Дедушка Устин, покади-и-и мне... А, деда, покади-и-и...

Но тот, весь ушедший в небеса, отстранял парнишку рукой и выводил:

— «Ну, взбранный воевода победительный...»

Митька вновь неотступно хныкал:

— Покади-и-и...

— Пшел! — шипит Устин. — Вот я те покадю!.. — И, догоняя бабьи голоса, подхватывает: — «Ти — рабі, твои, богородицы...»

Вся деревня шла за крестным ходом в поле.

Столетний Назар далеко отстал. Он с горы-то шибко побе-

жал, девки шутили: «Куда ты, дедушка, успеешь...» Да и теперь, кажется, переставляет ноги быстро, локтями сучит старательно, а — удивительное дело — отстает. И у деда слезы на глазах, лицо все в кулачок сморщилось.

— Отстал, спасибо... — шамкает столетний и плачет, утираясь подолом рубахи. Сел на луговину, уставился мутными глазами на высоко поднявшееся солнышко.

— Праздничек христов, помилуй нас.

Крестный ход остановился под тремя заповедными лиственницами, у большого, еще прадедами врытого на самых полосах, креста.

Толпа стояла под лучами солнца. Было жарко, и всем хотелось попить холодненького и поесть.

А Устин все новое и новое заводит. Бабы устало повизгивали, мужики подхватывали сипло и неумело.

Красноголовый, весь в веснушках, дядя Обабок, чтобы заглушить куму Маланью, рядом с ним ревевшую, оттопыривал трубкою губы, выкатывал большие глаза и, подшибаясь каждый раз рукой, пускал местами такую оглушительную, не в тон, завойку, что ребятенки испуганно оглядывались на него и изумленно разевали рты, а мужики смеялись:

— Эк тебя проняло! А ты за Устином трафь... Чередом выводи, а не зря...

Устин без передыха пел, перебирая разные молитвы.

Слова молитв были чужие, непонятные для молящихся, они сухим песком ударяли в уши и отскакивали, как горох от стены, не трогая сердца. И только сознанье, что сами поют и сами служат, окрыляло души, и у некоторых глаза были наполнены слезами.

Иногда Устин долго мямлил, не зная, как произнести возглас, крякал, махал усиленно кадилом, громко приговаривая:

— Вот, ну... Паки... паки...

Но ничего не выходило.

Пользуясь такой заминкой, лавочник Федот повернулся к Устину и произнес многолетие, после которого красноголовый Обабок, ни мало не жалея горла, так сильно хватил врозь, что все засмеялись, даже строгий Устин улыбнулся. Красноголовый сконфузился, отер мокрое лицо, протискался в самый зад и молча стал на краю, задумчиво обхватив живот.

Наконец Устину подсказали:

— Станови народ на колени... Давай свою хрестьянскую...

Тогда Устин передернул плечами, задрал вверх бороду и громко прокричал, подражая священнику:

— Вот... ну... Айда на коле-е-е-ни!..

Толпа, словно дождавшись великой радости, многогрудно вздохнула, опустилась на колени и дружно приготовилась слушать свою «хрестьянскую».

Устин весь преображенный и напитанный воодушевлением, четким и трогающим голосом, то повышая, то понижая ноты, начал:

— Господи ты наш батюшка, воистинный Христос...

Все еще раз вздохнули, закрестились, забухали головами в землю, с надеждой поглядывая то на безоблачное, ласковое такое небо, то на седенького, в розовой новой рубахе, лысого Устина.

А тот, все больше и больше воодушевляясь, продолжал:

— Вот, всей деревней просим тебя, господи, помози рабам своим: дождичка нам пошли ко времени, хлебушка хошь какого уроди, пропитай нас всех, верных твоих хрестьян...

— Пропитай, господи, — вторила молитвенно толпа.

— Чтобы зверь лесной скотину не пакостил, чтоб белки поболе было в тайге, чтоб лиса в кулемки попадалась, чтоб всем нам, хрестьянам твоим верным, в животе и покаянии скончати... Вот... ну... Этово...

— Конопля проси... Конопля... — глотая слезы, шепчут бабы.

— Бабам! — радостно восклицает Устин, потерявший было нить. — Бабам, верным нашим рабам, конопля уроди, боже наш. Чтоб всем нам в согласьи жить, полюбовно, значит, без обиды, чтоб по-божецки... Да...

И Устин, уперев кулаками в землю, тяжело поднялся и, еле разгибая спину, закончил высоким выкриком:

— И во веки веко-о-в!

Многие из молящихся плакали от таких простых, милых сердцу слов молитвы.

Вскоре все кончилось, и толпа пестрой волной поплыла обратно в часовню, где неугомонный Тимоха так яростно набрякивал в колокола, словно желал во что бы то ни стало выбить из них голосистую душу.

С пригорка от часовни был виден кусочек сверкавшей на солнце речки и барахтавшееся в ней большое желтое бабье тело. Это поп выгонял из себя хмель, плавал, сильно ударяя по воде ногами, и гоготал на всю деревню.

Посмеялись крещеные и стали разбредаться со счастливыми лицами по домам.

Праздник начался хорошо.

VIII

Бахнул выстрел.

— Гоп-го-о-п... — чуть послышался голос.

— Это чалдон[1] ревет, — сказал Лехман.

---

[1] Чалдон — коренной сибиряк, крестьянин. *(Примечание автора.)*

— Не чорт ли, дедушка? — прошептал Тюля, уперев руками в землю и готовясь вскочить. — У нас, бывало, в Расее...

Светало. Туманом заволокло всю тайгу, и бродяги казались друг другу в неясной утренней полумгле какими-то серыми, словно пеплом покрытыми, огромными птицами.

Где-то тревожно кричит кукушка, над бродягами белка скачет: сухая хвоя полетела и густо падает в бороду Лехмана.

— Надо выстрел дать, — советует он Тюле.

Тот взял ружье, насыпал на полочку пороху, досуха вытер отсыревший кремень, свежий трут положил. Курок щелкнул, но трут не воспламенился, новый вставил — не берет. Бросил. Распятил рот до ушей, вложил четыре пальца и таким лешевым свистом резанул воздух, что, показалось Антону, дрогнул туман. Кукушка враз замолкла, белка оборвалась с лесины в потухший костер и, взмахнув хвостом, скрылась.

Бродяги захохотали и вдруг смолкли.

— Братцы... Постойте!..

— Иди-и-и!.. Сюда-а-а!.. — гаркнули бродяги, враз поднявшись.

Затрещали сучья, зашуршала хвоя, все ближе, ближе, опять послышался крик почти рядом, и вдруг, как из-под земли вырос, встал из туманной мглы человек.

— Братцы...

До-нельзя ободранный, высокий и согнувшийся, он стоял перед бродягами, покачиваясь и зябко подергивая плечами.

— Братцы... — еще раз сказал, опустился на землю и положил возле себя ружье.

Плечи острыми костями торчали вровень с макушкой головы. Лицо изможденное, весь колючий, всклокоченный, черный, глаза дикие.

Ванька испугался глаз, за Лехмана спрятался, а Тюля, засопев, пробормотал:

— А ну, перекрестись...

Лехман зыкнул на него:

— Разводи костер!

— Дедушка...

— Что, сударик? Это ты где себя? — и сел возле пришельца.

Тот схватил руку Лехмана, уперся в его плечо лбом и от сильного волнения едва выговорил:

— Чуть не сдох, братцы... Чуть не пропал...

Антон уж на коленях перед ним, гладит его по голове, душевно говорит.

— Ни-и-че-го-о... Ишь ты как... а?

Туман начал подбираться, сгущаясь в ровные, тянувшиеся понизу, плоские облака. Только в логах, где мочежины, он густо и надолго залег белым молоком.

Сквозь сонные вершины пробрызнули лучи восхода. Раздвинув ласково туман, они упали на корявый ствол распластавшегося над бродягами кедра. И полилось, и заструилось небесное золото, закурились хвои, замерцали алмазы ночных рос. Всеми очами уставилась тайга в небо, закинула высоко голову, солнце приветствует, тайным шелестит зеленым шелестом, вся в улыбчивых слезах.

Благодать золотая на мир опускается, млеет тайга. Пойте, птицы, выползайте из нор, гады ползучие и кусучие, грейтесь на солнце: солнце пожрало тьму. И ты, медведь-батюшка, иди гулять, иди: вон там холодная речка гуторит, вон там в дупле пчела пахучий мед кладет. Пойте, птицы, радуйтесь, славьте яркое солнце! Хозяин лесной, а ты не кручинься, — сгинь, сгинь! — иди в болото спать, ты не печалуйся: над тайгой солнышко подолгу не загащивается.

Перед сосной, в тени, бьет Антон земные поклоны, умиленно взглядывая на медный, прислоненный к стволу, образок. Лехман с Тюлей все еще у ключика полощутся. Ванька чай кипятит.

Все зашевелились, к котелку примащиваются, расцвели все на солнце, зарозовели. Ожил и пришелец. Он улыбался, чашку за чашкой пил с сухарями чай: он неделю ничего не ел, вот белку третьего дня убил, пробовал — невкусно, душа не принимает, порох кончился, спички кончились, без огня — смерть.

Бродяги его не расспрашивают, неловко. Сам стал рассказывать, как еще раннею весной из дома вышел. Он в тайге сколько раз хаживал, тайга ему знакома: то по солнцу идет, то по приметам. На пятнадцатые сутки, когда уж хотел домой итти, стал через речку по буреломине переходить, да и оборвался. Вода сразу обожгла, ножом резанула, а ночью холод ударил, иней пал. Простыл, свалился, сколько дней без памяти лежал — не знает. А пришел в чувство — во всем теле слабость, и соображение изменилось, и нюх пропал сразу как-то, вдруг. С этого и началось. Бродил-бродил — не может как следует утрафить, все возле речки кружится. Нашел переход через речку, ту самую лесину отыскал, — переполз кое-как на карачках, шел, шел, шел — тайга. Все места одно с другим схожи до крайности: листвень, ель, сосна, кедр, кедр, а вверху — небо с овчинку. Солнце в это время не показывалось: целую неделю морокà стояли, весенние дожди выпадать начали. Что тут делать? Он в одну сторону, он в другую — нет, чует, что закружился окончательно. Глядит: опять к той проклятой лесине вышел.

— Тьфу! Сел под елью, с досады слезы покатились. Три заряда у меня осталось. Эх, думаю, трахну в рот. Представил себе это: вот я, молодой, сильный, кругом сосны шумят, птицы, цветы... и вдруг... Нет, думаю... еще рано...

Антон, вскинув брови, набожно перекрестился и жалеющим взглядом уставился на пришельца.

Все выше и выше вздымалось солнце. Туман исчез, и тайга ярко-зеленым живым морем вновь охватила сидевших у костра людей.

Каша упрела хорошо, обед был сытный.

— Ну, что ж, товарищи, как? — спросил Лехман, засовывая за голенище бродней тщательно облизанную ложку. — Дальше пойдем али как?

— Я не могу, я очень утомился...

— Ну, так чо! — весело воскликнул Лехман. — Тогда, робята, давай отдыхать седни... Куда спешить?

Ванька, насвистывая плясовую, на рыбалку отправился. Пришелец лежал, закинув за голову руки, и глядел в небо. Дед корзину из молодых веток плел, Антон сидел возле него и чинил шапку.

Тюля так налупился каши из украденной крупы, что брюхо барабаном вздулось. Он, самодовольный, подполз к пришельцу и ядрено заулыбался:

— А ты, мил человек, женат?

— Женат.

— А ты из каковских?

Тот покосился на него и сказал:

— Я политический.

Тюля в ответ боднул головой, вскинул брови, крепко зажмурил глаза-щелочки, пошлепал, втягивая воздух, толстыми губами и принялся чихать:

— А я... ч-чих... а я... расейский... Ачих-чих! Тьфу!

— Эк тебя проняло!.. — крикнул дед.

— Ч-чих! Комар... комар в ноздре... Дык сполитический?

— Да.

— Ну, стало быть, земляк... — еле переводя дух, заключил Тюля и вновь, под общий смех, на все лады принялся чихать.

Он ползал враскорячку по земле, неистово тряс головой, таращил на смеющегося Лехмана глаза и, весь багровый, грозил ему веселым кулаком.

Потом вдруг вскочил.

— Ах, обить твою медь! — и опрометью бросился в кусты.

Лехман, повалившись на бок, закатился громким хохотом:

— Вот так это Тюля, вот так расейский человек!

— А где мы примерно находимся? В каком месте? — осведомился пришелец.

— Да, однако, днях в трех-четырех от Кедровки, — ответил Лехман.

— Что?! — быстро приподнялся тот и уперся о землю локтем. — От какой Кедровки?

— От какой... Кедровка одна в этих местностях... От Назимовской...

Пришелец встал, встряхнул волосами и во все глаза уставился на Лехмана.

— Ух ты, дьявол! — вдруг взвился вдали резкий, отчаянный ванькин крик. — Оле-ле-о-о!.. Ух ты! Дедка, дед, ташши ружье!.. Медведь, вот те Христос, медведь! Ух ты, дьявол! Оле-ле-о-о!..

Лехман засуетился, с ружьем, согнувшись, к Ваньке кинулся, а навстречу Тюля из кустов чешет.

— Назад, дедка!.. Ведмедь там, ведмедь!..

Когда все успокоилось, Тюля развел от комаров курево и принялся врать Антону:

— Я, это, как отбился от своих от расейских самоходов, на Амур-реку ударился. И вели мы там, Антон, просек, чугунку ладили... дык этих самых ведмедев-то, однако, штук шестьдесят враз на деревню выгнали... Ну, мужики тут их, голубчиков, и умыли. Мужики передом на них прут, а мы, значит, сзади напирам... Как начали качать, да как начали... Аж пух летит... Кто топором, кто из стрелябии... Знашь, така машина анжинерска... как порснешь-порснешь...

Андрей-политик лежал на спине, смотрел, не мигая, в небо и прислушивался к пушистому шелесту хвой.

«Неужели — близко?»

Много за это время Андрей передумал, много перечувствовал.

— Анночка, — шепчет Андрей и видит голубые глаза, такие грустные и укорные, что сердце глухо замирает, а губы от волнения дрожат и прыгают.

И опять думает Андрей и не может оторваться от думы: колышется возле, шепчет, вдаль влечет, торопит — скорей, не медли...

И уж кружатся мысли радостные, радостно в ладоши бьют, звенят колокольчиками. Все страшное изжито, впереди радостный труд, впереди аннины лучистые глаза и ее душа — особенная, новая, не как у всех, новая аннина душа.

— Вот ты, говоришь, сполитический... А скажи, сделай милость, что они, эти самые сполитики? — подает Лехман голос. — У меня один знакомый такой был, вроде как из ваших... Что жа, у вас шайка, что ли, такая?

Андрей не сразу оторвался от дум. На Лехмана смотрит. Лехман корзину плетет, Ванька с Тюлей за грудки друг друга берут, борются.

— За кого они, к примеру, стоят, в кого веруют?

— За народ стоят, за правду.

Лехман, положив руки на колени, долго и внимательнс разглядывал Андрея, потом сказал:

— Так-так-так... Стало быть — верно: не впервой слышу... дело доброе...

Солнце спускалось за тайгу. Наплывали сумерки.

А как замигала в небе бледная звезда, повел Ванька, лежа на брюхе, сказку:

— И вот, значит, жила-была царица-змеица, прекрасная королица... И пошел к ней мужик, по прозвищу Бормá, правду искать... Вот ладно... Шел, значит, он, шел... И вдруг как выскочит из-за кустов страшный Оплетай, одна рука, одна нога... «А-а, правды захотел?!» — да как вопьется ему в лен, значит, в шиворот, и начал кровь сосать...

Андрей борется со сном, но глаза сами собой смыкаются, все куда-то плывет и затихает...

... — «Ты кто таков?» — «Я страшный Оплетай, одна рука, одна нога»...

Андрей перевернулся лицом к кедру и крепко заснул.

IX

Иван Степаныч Бородулин торопился из волости в родное село Назимово. Урядника в волости не застал: уехал на дальний прииск три тела подымать.

Бородулин знал, что вор кто-нибудь из назимовцев, а скорей всего «уголовная шпана».

«Жулик, чорт. Поди, в Кедровку упорол... Там гулянка добрая... Вот коня сменю — и в путь».

И не от скупости это: триста пятьдесят рублей — раз плюнуть, из-за них Иван Степаныч не стал бы себя тревожить

Но вот вчера, ночуя в тайге, он увидел сон: явилась Анна во всем красном и сказала: «Деньги найдешь — быть!» А что такое «быть» — не разъяснила.

И Бородулин всю дорогу думает о ней, никак не может отмахнуться, все мерещится ему Анна, сильная, ядреная.

Едет вперед и тайги не замечает, все сгинуло куда-то, провалилось. Но вдруг в сознании всплывает зобастая, нелюбимая жена.

— Но, дьявол! — бьет Бородулин лошадь.

Кругом вмиг вырастает стеной тайга: вот сосны, вот пень, муравейник прижался к корням темной елки, попискивают и жалят комары.

Начинает купец думать о делах: надо земли прикупить... Но зачем, куда ему: умрет — кому оставит? «Эх, сына бы!»

«Деньги найдешь — быть»...—опять тихонько просачивается в душу; замелькали голубые задумчивые аннины глаза, а тайга вновь стала куда-то уходить, заволакиваться серым, исчезли лошадь, солнце, комары. И Бородулин, сладко ощущая, как у него замирает сердце, как неотступно стоит перед взором Анна, соглашается радостно, что без Анны ему не жить.

«А жена? Убьешь?»

— Но, дьявол! — хлещет неповинного коня...

Солнце за полдни перевалило, когда он подъехал к Назимову.

Едет трусцой по улице, а навстречу народ бежит.

— Езжай скоряе!.. Анка... Анка...

Бородулин вмах понесся к дому.

А вдогонку:

— Анна удавилась... Анка... Анка...

Кубарем слетел с коня, сшиб с ног какую-то старуху:

— Прочь! — и, не помня себя, ввалился в дом.

Толпится возле кровати народ. Растолкал всех и метнул взглядом по бледному испуганному лицу Анны.

— Анютушка! Родимая!

— Шкура! — сквозь стиснутые зубы буркнула Дарья и сердито повернулась у кровати взад-вперед на каблуках.

— Ты меня прости, Иван Степаныч. Тяжко мне... Скука грызет... Прости, голубчик...

— Живучая... — вновь прошипела Дарья.

— Вон, жаба! — топнул Бородулин и, размахнувшись, влепил ей пощечину. — Вон!!! Вон!.. Все вон!.. Всех перекострячу...

Толпа бросилась кто куда, Дарья первая. Фенька на глаза попалась, размахнулся — раз!

— Это вы, стервы, с Дашкой!.. Укараулить не могли... Душу вышибу!..

— Иван Степаныч, — молила Анна.

Бородулин, шумно отдуваясь, запер все двери на крючок и, подойдя к Анне, грузно сел на табуретку. Как в лихорадке, стучали зубы, гудело в голове, пресекся голос, и все было как сон. Он крепко сжал виски, закрыл глаза, стараясь овладеть собой, но вдруг стал задыхаться: глаза испугались, забегали, руки ловили воздух, виски и лоб дали испарину, а табуретка выскользнула из-под дрожащих ног. Он ахнул, схватился за сердце, уткнулся в колени Анны и жутко, со свистом, застонал.

— Иван Степаныч... Бог с тобой... — вся в страхе вскочила Анна.

— Жива... Ну, Аннушка... Ну, родимая... — Встал, шатается, лицо налилось кровью, в глазах удивленье и радость,

будто впервые увидал Анну. — Господи, жива... невредима, — твердил он прыгающим шопотом.

Долго умывался, мочил голову водой и, шумно отдуваясь, жаловался:

— Эка, сердце-то... чуть что — и зашлось... Фу-у, ты... Неприятности все, ерунда...

Ноги все еще дрожали и подгибались в коленях.

— Ну, как же ты так? — успокоившись, подошел он к Анне. — Пошто так-то?.. Пакость одна, душеврредство. Ну, не по нраву тебе здесь, к отцу не то поедем, в Кедровку...

— И здесь... и туда... — в раздумьи говорила Анна, опустив голову и рассеянно посматривая исподлобья на Бородулина.

— А? Чего?

— А так. Что-нибудь... этакое, чтобы... Вот Андрей знает... Больше никому, никому! — Она подняла голову и пристукнула кулаком по колену. — Никому!

— Чего — никому?

— А так уж... никому. — Она вздохнула. — Не вв-е-ерю, — растянула Анна и вдруг улыбнулась. — Ну, пойдем...

— Пойдем, Аннушка, — обрадовался Иван Степаныч, и они поднялись наверх.

— Вот, живи здесь, распоряжайся, — любовно сказал Иван Степаныч, но опять ударила в его сердце злоба.

— Водки! — крикнул Фене. — Приказчика сюда!

Пришел приказчик.

— Дашку сюда!

— Чичас, — сказал тот и скрылся.

— Ты не бей их, Иван Степаныч. Неужто не жаль тебе?

Бородулин грузно ходил по комнате, поскрипывая сапогами, Анна сидела у стола. Она то улыбалась, словно видела кого-то близкого, то вдруг становилась задумчива, а взгляд делался незрячим, будто глаза смотрели внутрь, о чем-то вспоминая.

— Привези ты ко мне, ради бога, матушку... Стосковалась...

— Ладно, Аннушка, привезу, — поспешно соглашался Бородулин.

— Поезжай скорее. Как увидишь Андрея — напиши...

— Аннушка... — как вкопанный остановился Бородулин.

— Ох, чегой-то я опять неладно... Голова горит.

Она облокотилась о стол и подперла голову рукой. Сбоку в нее ударяли лучи солнца, и Бородулину казалось, что ее побледневшее лицо с льняными волосами будто в венце из золота.

Анна лениво перевела взгляд на Бородулина и застыла. Глаза их встретились. Бородулин попятился и изумленно от-

крыл рот. Ему ясно представилось, что не его видит Анна, а что-то другое, чего нет ни в нем, ни за избою, ни в тайге, во всем мире нет... Вот глаза ее ширятся, напряженно сдвинулись брови, лоб — в складках; вся она как-то подалась вперед и порывисто задышала.

— Аннушка! — шагнул к ней Иван Степаныч. — Анна...

Та вздрогнула, ударившись локтем о стол, и робко улыбнулась.

— Не вспомнить... — протянула нежным, тоскующим голосом. — Не вспомнить...

— Ты чего это, Аннушка? — тихо сказал, стараясь скрыть тревогу, и наклонился к ней.

— Вот сидела бы я, да и плакала бы все...

— О чем же?..

— А о чем — не вспомнить...

Он взял Анну за плечи, прижал ее голову к своей груди и поцеловал в гладкий прямой пробор.

— Мне хорошо у тебя, Иван Степаныч, — зашептала Анна. — Только скука берет, тоска.

И Бородулин увидел, как из ее глаз покатились слезы. Он завздыхал, мысли бестолково заметались; не знал, что делать.

— Плюнь на это, плюнь!.. — вдруг радостно сказала Анна. — Сначала потеряла, потом нашла. Сожги все. По-новому будет. Сожги!

Ивану Степанычу вдруг жутко стало и приятно. Он дрожащей рукой, покрывшейся холодным пòтом, вытащил платок и начал бéрежно вытирать слезы Анны. Ему хотелось сказать что-нибудь ласковое, бодрое, чтоб сразу просветлел у Анны разум. Он гладил ей голову, плечо, спину и чувствовал, что по всему его телу горячей волной полилась жалостливая отеческая к ней любовь.

— Сожги, сожги! — повторяет шопотом Анна, но он не слышит, своим полон, тайным и радостным.

Он теперь знает, он решил, и это будет! Он прилепит к себе Анну, убережет ее от лихого глаза, от наговора, он ее вылечит...

«Ребенок мой, дитя мое милое... Аннушка...»

— А как же, Иван Степаныч, ребеночек-то мой? — будто перехватив его мысль, спросила Анна. — Ведь ты, поди...

— Ну, что ж, Аннушка... Об этом не думай... Я ребеночку рад, вырастим... Что ж такое... Ничего... роди...

Та подумала и сказала:

— Ты хороший.

Голос у нее был тихий. Веселость и сила давно исчезли в нем.

— Вот что я тебе скажу, голубонька моя: ты ни о чем не

думай, на все плюнь. Андрюшка? Тьфу! Плюнь да ногой разотри. Кабы он любил тебя, жиган такой, нешто сделал бы так, нешто ушел бы? Паршивец и больше ничего... Подох? — туда ему и дорога. Будь он, собака, проклят... — раздраженно говорил Бородулин, опять хватаясь за сердце.

Анна слушает, опустив низко голову. Купец рядом на диване.

Мимо окон то и дело народ снует; возле дома задерживают шаг и, приоткрывая рты, настораживаются. Но купец говорит тихо, чтобы только Анна слышала:

— А вот я управлюсь с делами, в Иркутск поедем, к святителю Иннокентию. Город увидишь, людей. Во-о-от... Живи и ни об чем, значит, не думай... Да... Угодничек божий исцелит тебя, как ни то обрадует... знаешь, как поется в церкви: «радосте нечаянная...» Да-а-а...

Увидя кухарку, купец ласково сказал:

— Фенюшка... А ты побереги Анку-то... С рук на руки сдаю. Чуешь? Я тебе на платье шерстяного отрежу.

Сели обедать втроем. После двух тарелок щей Иван Степаныч ленивой походкой вышел на улицу. Ему нездоровилось. Не отложить ли поездку до завтра? Он поглядел на небо, — вот если б дождь, — но небо было голубое и светило солнце.

— Ну, так я за матерью, — решительным голосом сказал он Анне и вскочил на буланого статного коня. — Ну, смотри, Илюха... Понял? — погрозил он приказчику большим, обросшим волосами, кулаком...

— С богом, — сказал Илюха, боязливо покосившись на кулак.

— До свиданья! — крикнул Бородулин и стегнул лошадь.

Приказчик с Феней пересмехнулись, удивленно посматривая, как Анна машет фартуком и что-то бессвязно говорит.

X

Бородулин до самой тайги скакал во весь дух.

После выпитого за обедом вина он стал чувствовать себя бодрей. Все мерещилась ему новая жизнь с Анной.

Самое лучшее ему от жены откупиться. Он не раз бивал ее, по пьяному делу, смертным боем. В прошлую масленицу все село покатывалось над тем, как он, пьяный, порол ременными вожжами охмелевшего попа и законную свою супругу, застав их в весьма веселом виде у просвирни. Поп без шапки удрал домой, а зобастая Марья Павловна, грузно бегая кругом большого стола, выкрикивала: «Нет тебе до меня дела... Давай мою тыщу, я уйду... Живи со своей Дашкой. Тыщу отдай, варнак!»

Лошадь шла рысью, похрапывала и тревожно поводила ушами. Все глуше и безмолвней становилась тайга. Небо только над тропой светлело бледной щелью, и нельзя было угадать, где солнце.

В душу Бородулина как-то исподволь, незаметно стала просачиваться грусть. Жена опять вспомнилась, а рядом с ней Анна. Впереди, в мечтах, свобода и новая жизнь без Дашки, без греха, а — странное дело — нет в сердце радости. Иван Степаныч вяло осмотрелся кругом и зевнул. Его баюкали и зыбкая ступь лошади, и молчаливый сумрак дня. Стало ко сну клонить. Он весь устал: хорошо бы броситься на мшистый пригорок и заснуть. В голове шумело, хотелось потянуться, хотелось крикнуть. Хорошо бы кисленького выпить, холодного. Нешто повернуть коня? Нет, начато — кончено. А чтоб покорить грусть, и сонливость, и молчанье тайги, он запоет веселую.

Бородулин потрепал по крутой шее лошадь, откашлялся, расправил усы и затянул:

Как-ы во темынай нашей да стороныке
Возрастилась мать-тайга-а-а...
Ты таежыная глухая,
Сама темы-на сторона-а-а-аа...

Одинокими и чужими летят звуки во все стороны.

Бородулин смолк и прислушался. Песня замирала, путаясь в макушках леса. Он зычно крикнул и вновь насторожил слух. То ли эхо откликнулось, то ли голос позвал и захихикал. Иван Степаныч остановил лошадь. Тихо. Только в ушах гудит, а тоска все еще не бросает сердца.

«Надо бы Илюху взять... Чорт... Дурак...»

Он стегнул коня и с версту ехал вскачь. Но лишь пошла лошадь шагом, беспокойство опять приступило, вновь что-то померещилось.

— Спотыкайся! — крикнул он лошади и, чтобы не чувствовать одиночества, то посвистывал, то вяло тянул-мурлыкал без слов песню:

Он поет, и тайга поет, уныло скулит — подвывает. Он оборвет, и тайга враз смолкнет, притаится, ждет.

— Ну, теперича... тово... — шепчет Бородулин.

Он знает, что тайга озорная, пакостливая: только поддайся, только запусти в душу страх, — крышка.

«Едет, едет...» — «Ну, еду». — «Ну и поезжай...» В овраге стон послышался. По спине Бородулина ползут мурашки.

— Господи! — передохнул он. — Благозвонный колокол надо пожертвовать...

— Господи, — сказал кто-то сзади.

Иван Степаныч, надвинув на глаза шляпу, круто рванул

узду и поскакал на голос, весь дрожа. Нет никого. В овраге пусто, по дну ключик бежит, по берегам в белом цвету калина.

«Больно боязлив. Баба худая... Дурак, чорт...» — обругал себя Бородулин.

Кто-то опять застонал, закликал. Бородулин отмахнулся. Раскачиваясь от дремы в седле, он клевал носом.

«Неможется... свалюсь...»

Надвигался вечер. Небо посерело, сумрак сгущался в глубине тайги, а из низин тянуло сырым холодом. Утомленный конь, спотыкаясь, бежал усталой рысью.

— Бойся! — вяло крикнул Бородулин и очнулся. — Надо поворотить...

Ну, зачем ему в Кедровку? Он приказчика пошлет, он стряпку пошлет.

«Деньги найдешь — быть». Чайку с малиной... в баню бы, веником похлестаться... «Батюшка, пожалей, родимый, пожалей...»

«Анка... Аннушка...»

«Подлец ты, кровопивец...» — «Прочь, харя, прочь!» — «Я тебя знаю, подлец». — «Кого такое?» — пытается спросить Иван Степаныч. Огненные круги в глазах рассыпаются искрами, голова совсем отяжелела и гудит.

— Уходи, я тебя не звал, — шепчет Иван Степаныч, — я за упокой молюсь, за твою душу каждую службу молюсь...

«Молишься? — шипит бродяга, тот самый, что сдал Бородулину большой самородок золота.—Сожег в бане да молиться начал?.. Ах ты, плут...»

Ивана Степаныча вдруг качнуло, едва в седле усидел. Он передернул плечами и часто закрестился, пугливо косясь на потемневшую стену тайги.

— Обещаюсь тебе, господи, благозвонный колокол купить, — озирается назад, не гонится ли кто. — Уж правильно... правильно жить буду... Спаси-помилуй!

А голова все тяжелеет, озноб вплотную охватил. Тянется к фляге и жадно пьет коньяк.

«Убил...» — «Кого убил?» — «Себя убил». — «Когда?» — «А помнишь... Завтра-то...»

«Завтра?..» — вздрагивает купец и слышит: пересмехаются тихим смехом обугленные, черные, как монахи в рясах, деревья таежной гари.

Мрачней и угрюмей становится тайга. Конь храпит, трясет головой, взмахивает хвостом, отбиваясь от комаров.

«Вот вытащи из болота, тогда дам рубль...» — «Ну и наплевать. И не вытащу...» — бредит во сне Бородулин, но чей-то голос все громче и увереннеи:

— Эй, помоги, добрый человек, лошадь завязил! «Ха-ха-ха... Лошадь? — усмехается купец.—На мне крест... Не больно-то возьмешь...»

— Помоги, батюшка...

И собачка залаяла.

— Пошел! — кричит, пробуждаясь, Бородулин и стегает коня.

— Стой, стой!.. Ради бога, помоги...

А собачка пуще.

Оглянулся: серое от болота катится.

— Кто таков, что нужно? — схватился Бородулин за ружье и видит: мужик подошел с собачкой. — Дядя Пров?!

— Я... По дочку мы с Лысанькой к тебе ехали, — сказал мужик, оглаживая собачонку, — да, вишь, лошадь в болоте завязил... Еду я, еду да задумался чегой-то, глядь, а лошадь-то и свернула... Увидала воду... Вот и бьюсь сколь времени... Ради бога, помоги...

Слез купец с коня. Ноги — как чужие. Сам дрожит. Озноб всю силу съел.

— Чего-то неможется, — сказал он Прову. — Вчерась возле речки ночевал в тайге, — простыл, видно.

Густые сумерки серели на прогалине, а в тайге из трущоб и падей выросла тьма. Болото, куда направились Пров и Бородулин, курилось белым холодным туманом, сквозь который прорывались испуганный храп и ржанье лошади, а в стороне старательно крякал коростель. Набросав вокруг лошади жердей, Бородулин за гриву, Пров за хвост вытащили ее и вывели на сухое место.

Пров боялся сам завести разговор о дочери, опасливо и испытующе посматривал на купца, стараясь в его глазах выведать нужное.

Бородулин, почувствовав это, сказал:

— А девка твоя, слава богу, ничего...

— Ничего?! — воскликнул ликующим голосом Пров. — Ну-ка присядем на минутку, Иван Степаныч... А как же Овдоха путала...

— Какая Овдоха? — спросил купец, прикладывая к вискам холодный мох.

— Да тут... У нас в деревне... Баба одна кривая... За попом к вам ездила. Вот она и болтала, быдто бы...

— Врет, — раздумчиво ответил Бородулин и умолк, а сердце Прова сжалось и сильно застукало.

Бородулин хотел все рассказать отцу Анны, но не знал, как бы лучше подойти, с чего бы начать. Язык совсем потерял себя, непослушным сделался, и остановилась мысль.

Наконец собрался с духом.

— Видишь ли, Пров Михалыч... какие, значит, дела-то...

Этово... как это... ну.... Словом, я должен упредить тебя... и все такое...

— Что? — упавшим голосом, затаив дыхание, спросил Пров.

— Одним словом, прямо тебе скажу, — раздался громкий и решительный голос Бородулина, — хошь ругай, хошь нет, а только что я твою Анку, значит, Анну Прововну, полюбил и рассчитываю заместо хозяйки ее приделить, а с своей женой развязаться... Да...

— Так-так-так... — скрывая радость, ответил равнодушно Пров, но левая нога его нетерпеливо задрыгала, а рука затеребила бороду.

— За тобой без малого сто рублей долгу... Это с костей долой... За кобылку тоже скощу... Вроде подарка пусть, вроде уважения... Да-а-а...

— Это ничего... На этом благодарим...

Иван Степаныч тяжело сопел. Силы опять оставляли его, но он, напрягая волю, брал себя в руки.

Он, волнуясь, сказал:

— Ну, только что, видишь ли, какая вещь... Я тебе прямо без обиняков... Так что Анна твоя...

— Что?

— В тягостях... От Андрюхи, одного паршивца-политика..

— Ну-у-у?! — протянул Пров, повертывая голову к Бородулину, и глаза его сразу вспыхнули злом и широко открылись.

— Да, брат, да...

— Ее воля, — тихо ответил Пров и мучительно вздохнул.

Потом, будто передумав, он быстро поднялся, поправил кушак и зарычал, сжимая кулаки:

— Я его надвое разорву!.. У-у-ух, ты мне!.. Ну, держись, дьявол!..

И, огромный, пошел, ругаясь, к лошади прижимистой медвежьей походкой.

— Стой-ка ты, стой! — кричит Бородулин и подымается.— Нет ведь его... Я бы его сам устукал... В тайге пропал... С весны еще... Ушел, да и крышка. Подох...

Наступило молчание.

— А правда ли... — крикнул было Пров издали и, не докончив, остановился. — А правда ли, Овдоха языком трепала, что Анка не в себе?

— Правда, Пров Михалыч, — ответил Бородулин, — мало-мало есть...

Пров тихо подошел к купцу и, порывисто дыша, остановился. В скобку стриженные, с густой проседью, волосы его разлохматились, суровое лицо как-то осело сразу, задергалось. Он закрыл его пригоршнями, шагнул к сосне и приник к ней головой.

— Дядя Пров, — Бородулин двинулся к нему.

— Ведь на всю волость, на всю волость девка-то... Ведь она за троих мужиков сробит... О-о-х ты, боже мой... — задыхаясь, говорил он глухим голосом.

— Слушай-ка... Пров! — обхватив Прова за плечи, старался Бородулин повернуть его к себе лицом, но тот тряс головой и с болью бросал:

— Оставь, оставь... Не трог, пожалуйста...

У Бородулина дрожали ноги и от болезни и от волнения, стучали зубы и горячим песком стегало по глазам...

А тот опавшим и прерывистым голосом, сморкаясь, твердил:

— Ну, чего я теперича старухе-то своей скажу, ну, чего? Научи ты меня, ради господа...

Бородулин молчал. Голова кружилась, и, чтоб не упасть, он схватился за соседнюю рябину.

— И не стыдно тебе, Иван Степаныч: не мог уберегчи девку-та... Эх, ты-ы... леший.

— Дело поправимое, — буркнул купец.

— Поправи-и-имое?!. А кабы твое дите так...

— Она редко сбивается-то...

— Ре-е-дко?! Эх ты, чо-о-рт...

Бородулину невмоготу стоять. Он сначала сел на землю, потом повалился на бок.

— Пожалуйста, Пров Михалыч... Мне бы водички зачерпнул. Нутро горит.

Пров принес ему воды, принес его овчинную, привязанную в тороках, шубу, разложил костер, чай вскипятил.

Что-то говорил купцу, расспрашивая и выпытывая, но тот плохо соображал, невпопад давал ответы и, закутавшись с головой в шубу, готов был заснуть.

— ... Застрелю, — ловил он обрывки речей Прова, — только бы натакаться где... И робятам кедровским скажу: встретишь — бей!..

«Бей — не робей, бей — не робей, вей, вей, бей...» — мелькает в сознании засыпающего Бородулина.

— ...Так по затесу и жарь... Вешку поставлю... Ты к нам на праздник? Долги, говоришь, с мужиков собрать?

— К нам собрать... — бормочет Бородулин.

«Не робей, вей, вей,... Хи-ха-хо... Хи-ха-хо...»

— А? — выставляет он голову и открывает глаза.

Какая-то желтая рожа шипит и плюется и пышет в самое лицо огнем. Кто-то был, кто-то говорил с ним. Никого нет... Кто же это был? Анна? Нет... Лошадь? Нет... Деньги? А-а-а... Та-так...

— Деньги!.. Украли... У стола...

— У тебя, что ли? Кто? — чей-то голос раздается.

— Отец дьякон...
— Ну, что ты...
— Отец поп...
— Отец поп? Ха!.. Ну спи со Христом... Закутайся да спи.

XI

Мать Анны, Матрена, ночь плакала, утром с крестным ходом не ходила, а теперь, затаившись, глядит из окна за речку, туда, где выбегает из тайги тропинка, и никак не может отгородить себя от праздничных звуков улицы.

Когда гармошка начинает особенно бесшабашно голосить, нахрапом врываясь в душу, а девки петь веселую, перед глазами матери вдруг встает Анна, бледная и больная, и так же вдруг куда-то исчезает. Тогда мать, надвинув на глаза платок, идет к кровати, зарывается с головою в подушку и, всхлипывая, причитает:

— Былиночка ты моя... Травонька нетоптанная...

А праздник идет своим чередом. В избах душно, жарко, хозяйки вытаскивают столы на улицу, в тень, куда-нибудь под навес, либо под забежавший из тайги кудрявый кряжистый кедр.

Улица ожила, заговорила, заругалась и запела.

Праздничней всех у Федота: трех сортов наливка, пиво, пряники, пирог.

Освежившийся в студеной речке батя с удовольствием пьет стакан за стаканом чай с моченой брусникой: положит деревянной ложкой на блюдце, раздавит донышком стакана и нальет чаю. Когда давит, ягоды хрустят и брызжут кровью, а батя смачно прикрякивает:

— Вот это я люблю. Кисленькое.

Федот — в одной жилетке, красный, потный, живот до самых колен. Через плечо большое полотенце. После каждого стакана он старательно утирает взмокшее лицо и шею.

Хозяйка, молодая и поджарая, сидела рядом с бабушкой Офимьей. А у стола, облокотившись на край, — маленький солдаткин сын, Васенька Сбитень. На деревне не знали, кто его отец: солдатка, как только мужа взяли на войну, стала со всяким путаться. Солдата убили на войне, когда Васенька родился. И стали его звать «Сбитнем».

Васенька стоял и детскими просящими глазами следил, как пьют большие чай. Но его не замечали, а так хотелось чайку с молочком и оладейку. Он купал сегодня в озере чью-то белую лошадь. Поглядывая, как Федот забелил молоком пятый стакан чаю, Васенька, вспомнив лошадь, сказал:

— Ишь... Чай-то бе-е-е-лый... как конь...

Все засмеялись, а батя сказал:

— Ну, отроча млада, залазь за стол... Как конь, говоришь? Хо-хо... Пра-а-вильно.

Вблизи громыхнула по деревне песня. Успевшие хватить хмельного две соседки — Мария Долгая да Палага — шли в обнимку, весело спускаясь с горы, и визгливо выводили:

Эх, баба пьяна напилась,
Во солдаты нанялась...
Не берут ее в солдаты,—
У ней волосы косматы...

Девки в ярких платьях и кофточках-распашонках прошли с песнями в край деревни.

Там, на берегу, высокий взлобок с муравчатой травой. Кругом стоят сосны, густые и пахучие, прохладно там, хорошо, и далеко видать во все стороны. Речка — как на ладони: шумит вода, торопясь через гряды камней, желтым песком убраны приплески, на песке опрокинутые долбленки и берестяные крошечные лодочки, есть общественная на козлах, вдали остров зеленеет и на нем белыми цветами — гуси.

Кругом тайга. Заберись на крышу часовенки, посмотри во все стороны — тайга. Взойди на самую высокую сопку, что кроваво-красным обрывом подступила к речке, — тайга, взвейся птицей в небо,— тайга. И кажется нет ей конца и начала.

Девушки принесли с собой на полянку съестного: сотни три яиц, сдобных калачиков, кедровых орехов лукошко, водки захватили, пельменей, — будут угощать парней.

Три парня Зуевы уж тут. Вот Тереха-гармонист идет, с ним Мишка Ухорез и Сенька Козырь, самые главные плясуны и прибасенники.

Карманы у парней оттопырились, горлышки бутылок выглядывают: сладкая для девок наливка.

— Сеня, — кричит грудастая Варька своему «дружнику», — иди-ка, ягодка, чо тебе дам-то, — и достает из-под фартука мятную «заедку». — Эй, Сеня!..

Но Татьяна-змея не пускает Сеньку, крепко обняла, прижалась к парню, как к кедру ель.

— Не отдам... Мой... — И сладко, взасос, закрыв глаза, поцеловала.

А Варька, вспыхнув вся, в отместку к кудрявому Парфену льнет:

— На-ка, Сенька, выкуси!..

— Эх ты, чернявая!.. — гогочет, посмеиваясь, Парфен. — Видал, Сенюха, свою кралю-то? Вот она!..

— Ой, затискал... Ой, дух вон, — нарочно громко верезжала Варька.

— Вали-вали! — зло смеясь, раскатывался Сенька. — Сыпь... таковская. Она, тварь, с каждым.

Сенька встал, отпихнул Татьяну, пошептался с Васькой, с Фролкой, мигнул пьянице-мужичонке Парамону, кивнул пальцем снохачу Гавриле, и все пятеро, один за другим, как волки на волчьей свадьбе, потянулись в лесок и там встали кучкой, прячась от народа.

— Кому? Варьке, што ли? — гогочут, топчутся, похотливо ловят сенькин взгляд.

— Ей, Варьке... — Сухое длинное лицо Сеньки злобно, ноздри раздуваются, черные глаза косятся на мелькающие сквозь сучья кумачи баб и девок.

— Куда? В какое место? — гундят крещеные.

— В овины... Вот стемнеет — уманю.

— У-гу...

— Парней поболе надо... Чтоб помнила... сучка...

— У-гу... — гундят крещеные.

Тереху девки окружили:

— Терешенька, заводи плясовую.

У Терехи большущая «тальянка» на ремне через плечо. Взял, заиграл, пустив трель на всех переборах сразу. Усики у него маленькие, черные, как у жучка, глаза тоже жучьи, на выкате, и весь он маленький, черный, юркий, словно полевой жучок.

Ах, мамка по миру ходила,
Мне тальяночку купила!..—

вдруг закричал он тончайшим почти женским голосом.

Гармошка подкурныкивала за песней, девки подергивали плечами и начинали пробовать — веселы ли ноги.

Две прибежавшие с народом собачонки возле толкались, им на лапы и хвосты наступали — ничего, а вот как задудил Тереха на гармони, отбежали прочь, уселись мордами к Терехе и, посмотрев на него не то озорными, не то презрительными глазами, хамкнули, подняли носы вверх и враз завыли— одна толстым, другая тонким голосом. А Тереха все сильней и сильней растягивал тальянку, плясовую начал. Веселые звуки залили всю поляну, летели вниз и вверх по речке, забирались в тайгу, плыли в деревню, заставляя подвыпивших мужиков и баб вскакивать из-за самоваров и пускаться в пляс. Девки с парнями принялись плясать. Сенька с Мишкой вошли в круг и начали друг перед другом откалывать.

Сеньке Козырю жарко сделалось: размотав с шеи длиннейший, новый, надетый для форсу, шарф и удало поглядев на выплясывавшего Мишку Ухореза, вдруг как прыгнет в средину круга, как взовьется вверх, как закрутится на лету волчком — и такого жару задал Мишке, таких замысловатых

штук навыкидывал, что Мишку сразу прошибло от неудовольствия потом.

— Ай да Сенюшка, Сеня-соколок, — одобрительно покрикивали девки.

— Молодец, Сенька! — поощряли парни.

— Тебе, брат Мишуха, насупротив его не устоять.

— Куды-ы-ы... — подзадоривали. — Кишка тонка...

Мишка Ухорез усиленно пыхтел, и в глазах его накопилось столько страсти, что все это почуяли и ждали «штуки». Пристукивая каблуками и сбросив картуз, он выплыл на середину, сложил на груди руки и, все так же дробно переступая, обошел круг, ни на кого не глядя и чему-то про себя улыбаясь.

Потом неожиданно перекинулся навзничь, упруго встал на руки и, пристукивая в такт согнутыми в воздухе ногами, протанцовал на руках русскую. Когда он, с налившимся кровью лицом, поднялся и, пошатываясь, пошел вон из круга, все заорали:

— Ура-а-а-а... Ха-ха!.. Победил... Мишка победил.

— Эх, Анки нету, — вздохнули девушки.

— Была бы Анка, она б еще потягалась с Мишкой-то, — сказали парни.

Варька очень жалела Анну. Стоит в стороне от хоровода, ждет: не покажется ли она каким чудом по дороге.

Но вместо Анны — видит: спускается в лог пьяный Обабок.

Обабок был в валенках, он бежал под гору, наклонившись вперед, и чем ниже наклонялся, тем проворней семенил заплетающимися ногами, наконец с размаху пал, бороздя по дороге носом и вздымая пыль.

Варька засмеялась и крикнула:

— Обабок идет!

А молодежь плясала и плясала. Спины у девок были мокрые, у парней рубахи прилипли к телу, хоть выжми.

— Батя с Иваном да Федот идут! — опять крикнула Варька.

Эти трое шли, обнявшись за шеи, батя в середине, те по бокам. Остановятся, помашут руками, поцелуются и дальше.

Обабок подошел к хороводу, встал, весь серый, в пыли, с соломой в бороде, руки назад держит, смотрит вперед и ничего не видит, ничего не понимает, суется носом и не знает, что бы такое сделать, а сделать хочется. Рявкнул, — ничего не вышло, сам же испугался, взад пятками побежал.

Тпру-ка, ну-ка,
Что за штука!..—

пробасил он и опять попятился.

Лицо у него очень серьезно и озабочено. Рядом пять парней стояли, шестой женатик. Курили и разговаривали. Обабок сзади подкрался к женатику, подставил ногу, развернулся и треснул его по шее.

— С маху под рубаху!.. — и оба враз упали.

На Обабка все пятеро навалились и принялись тузить.

— Мир ти, Агафья, — сказал подошедший пастырь, снимая шляпу.

— Здорово, батя! — откликнулись все. — Чего к плясам опоздал? Будешь?

— Нет, ребята, разве мне возможно?

— Ну, чего там... На вечорках ведь пляшешь?

— Ну так и быть. Винишка подадите, так и быть, тряхну.

Обабок, красноголовый и встрепанный, сдернул картузишко, решительно намереваясь подойти под благословенье. Но ноги несли влево, он норовил круто повернуть к священнику все туловище, а повернул лишь свое серьезное, в веснушках, лицо и, выделывая ногами кренделя, прытко побежал бокомбоком к берегу, все держа под пазухой картузишко и не спуская с бати удивленно выпученных глаз; добежал до обрыва и кувыркнулся под откос. Все захохотали, а батюшка подошел к обрыву и, улыбаясь на барахтавшегося в песке пьяного мужика, преподал ему с высоты благословенье:

— Низринулся еси? Ну, вылазь... хо-хо...

XII

Этим праздничным вечером бродяги подошли к кедровской поскотине. Невдалеке от нее, в самом лесу, на полянке стоял сруб. Он был доведен до половины и брошен, но и ему бродяги обрадовались: подымался холодный ветер.

Андрей-политик подумывал, не пойти ли ему в Кедровку, но, окинув еще раз брезгливым взглядом свои лохмотья и пощупав клочковатую отпущенную в тайге бороду, передумал. Завтра на заре он распрощается с бродягами и, минуя Кедровку, пойдет таежной тропой в Назимово. А вдруг Анна в Кедровке? Нет, время еще раннее, Анна должна прожить у Бородулина до сенокосной поры. Андрей очень утомился большим переходом: лишь прикорнул в углу на груде щеп — сразу же крепко заснул.

— До завтра... — шептал он, засыпая.

Костер ярко горит, варево поспело быстро, бродяги поели с удовольствием.

После ужина Антон забрался в самый дальний угол, положил на сруб согнутую руку, на руку голову и замер. Очень

грустно ему стало, так сразу навалилась беспричинная тоска, обвила сердце и гнетет.

Ванька Свистопляс смешное рассказывает.

Тюля смеется по-особому: зажмурится сладко, сморщит нос, схватится за бока и, скривив толстогубый рот, безголосо захыкает.

— А чорт ли на них смотрел, — говорит Ванька. — Жил я как-то на речке, на самом малиновом месте, бабы туда по малину ходили, а баб я пуще малины люблю. Баба по малину, я по бабу...

— Хх-хх-хх...

— Да. Лодчонка у меня была. У чалдона угнал. И вот, братец мой, какая история вышла. Сплю это я под елью, пообедал да прилег, и чую — то ли наяву, то ли во снях — женки перекликаются. Вот хорошо, думаю. Гляжу: на той стороне малинник шевелится. Ага! Тут! Скок в лодку, гребу тихонько к берегу, думаю: выскочу сразу на берег да как зареву, напугаю всех, а одну бабенку прихвачу-таки.

— Хх-хх-хх... — хрипел Тюля.

— Да. Вот ладно. — Ванька воодушевился, привстал на колени и, представляя все в лицах, зашептал, словно боясь вспугнуть воображаемых ягодниц: — Вот ладно. А берег-то круто-о-ой да высоченный, еле вылез. И только, батюшка ты мой, я к мали-и-ннику, ну-ка, думаю, возгаркну, как следовает быть... кэ-эк медведица всплыла на дыбы да ко мне!.. Из меня и дух вон. Кэк я заблажу дурноматом да вперевёрт по откосу-то бух!!

— Хх-хх-хх, — покатывался Тюля.

— Да не угадал в лодку-то, ляп в воду, а глыбко, с ручками закрыват, да как начал по саженке отхватывать...

— Хх-хх... А медведица за тобой?

— За мн-о-о-ой, — врал Ванька.

— Хх-хх... Настигат?!

— Настига-а-ат! — кричал, размахивая руками, поднявшийся во весь рост Ванька и тоже заливался смехом.

— Ну, что ж, слопала? — норовил подвести Тюля.

— Нет! — отрубил Ванька, и глаза его забегали. — Ты что, язва, не веришь?

— Как не верю?! — крикнул Тюля. — Я сам поврать горазд!

— Самоход, так твою так! — вскипел Ванька. — Лапотон! Удивительнай губерни...

— Ну, будя... Брось... — мирно сказал Тюля.

Он лизнул мясистым красным языком «цыгарку», покрутил ее грязными пальцами и почтительно подал Ваньке:

— На, не серчай!

Ванька ублаготворенно улыбнулся.

Тюля достал измызганную колоду краденых карт и, растирая уставшие от хохота скулы, начал сдавать.

— Эй, святы черти! А ну-ка, игранем.

Костер прогорал. Щепы мало тепла давали, сруб был без крыши, становилось холодно.

Натаскав топлива, Антон ушел в лес, выбрался к берегу реки и сел на пень.

Тихо кругом было. В небе стояли лучистые звезды, а на речке закурился туман.

Антон становится на колени и начинает молиться, произнося громко жалобные слова. Молитва не утешает, радостных слез нет. Вспоминает грехи свои, вспоминает Любочку, товарищей, брата, всех врагов, хочет всех обнять, простить, — но все не так выходит, не по-настоящему, не сердцем молится— устами, а сам о другом думает, говорит слова и не может понять какие: душа другим занята, другое видит, неясное и расплывчатое. Вот оно надвигается, как из-за гор туча, гнетет.

— Богородица, — шепчет Антон и стукает лбом в землю.

И долго лежит, прислушиваясь, не готова ль к слезам душа.

Политик спит, а те трое играют в карты. Ванька всех удалей орудует. Ему карта валом валит. Дед сердится, Тюля тоже. А Ванька всякий раз, как только дед опасливо клал на кон карту, широко замахнувшись и крякнув, бил своей.

Тюля играл вяло, путал масти, валета называл «клап», даму — «краля».

Ванька острил над ним:

— Эй ты, шестерки козыри!.. Сдавай.

Ванька целую кучу медяков выиграл, Тюля из своих лохмотьев все вытаскивал зашитые пятаки, гривенники и двугривенные и смотрел с тоской, как Ванька складывает медяки стопочкой, а серебро за щеку, в рот.

— Портки заложил, рубаху в гору! — крикнул весело Ванька, ставя карту.

— Бита! — с размаху хлеснул дед тузом.

— А у меня фаля! — подпрыгнул Ванька, показав даму пик, и загреб все деньги.

В это время выросла над срубом чья-то голова в шапке и торчащий ствол ружья.

— Здорово, — сказала голова.

— Здорово, — ответил за всех дед. — Ты что, пастушок, что ли?

— Да...

— Сколько получаешь?

— Сколько получаю, столько и пропиваю...

— Х-хе... удалой ты парень, — пошутил дед. — Залазь к нам: гостем будешь...
Голова дрожащим голосом спросила:
— А вы, дяденьки, откедова?
— А тебе пошто? — осведомился Тюля.
— Да так, за всяко просто...
Дед набил ноздри табаком, чихнул и насмешливо сказал:
— А мы с Тихоновой горки, где пень на колоду брешет...
— Та-а-к, — протянула, что-то соображая, голова.
Антон подошел. Разговор начался за срубом.
— Мы, милый, ничего. Вот переночуем, да завтра к вам придем. В бане бы помыться надо. Вша одолела.
— Та-а-ак... — еще раз протянула голова.
— Мы, миленький, люди тихие, мы...
Голоса удалялись. Наконец замолкли.
Антон проводил хромого Семку до поскотины и дорогой всячески старался расположить парня к товарищам.
Приперев покрепче ворота изгороди, Семка заковылял домой. Не доходя с версту до деревни, он уже слышал, что праздник в разгаре. Колыхались отзвуки песен, пилила гармошка, кто-то «караул» орал, излаивали собаки.
Под кустом у дороги Семка услыхал шопот:
— Миленочек ты мой, родименький ты мой...
Чмок да чмок.
«Это ничего», — думает Семка и хромает дальше, вздыхая и поторапливаясь.
А в деревне содом.
Обабок, связанный, давно взаперти сидит. Он Тимохе-звонарю глаз подшиб да в чьей-то избе рамы оглоблей высадил: «Вот как у нас. С праздничком!»
В дальнем конце свалка начинается.
— Вас надо, окаянных, глушить! — грозно враз кричат Мишка Ухорез и Сенька Козырь, надвигаясь на Федота.
— Кого?
— Тебе, мироеду, только под ноготь попади, — раздавишь!
— Ну, и проваливай!
— Даешь или не даешь?!
— Нету, вся...
— Говори — дашь, нет?! — взмахнул колом Козырь.
Федот ахнул, отскочил и со всех ног бросился в проулок.
Придурковатый Тимоха сидел пьяный на завалинке и прикладывал к подбитому глазу старинный сибирский пятак с соболями. Пришло ему желание часы отбить, встал, девять прозвонил, опять сел и затянул песню.
— Врешь! — говорит кто-то через дорогу. — Разве девять? Скоро петухи запоют!
Тимоха поднялся и еще добавил два удара.

— Два... шестой, — шамкает столетний, лежа на печи. — Я бы еще пососал... Эй, да-кось... Винца-то... — бормочет он.

Кот подходит к деду и, задрав хвост трубой, мурлычет и трется об его щеку.

— Шесть! — кричит столетний; хотел крикнуть «брысь», да не вышло, сбрасывает кота на пол и добавляет:

— С богом, аминь...

Сенька Козырь с Мишкой задами, через огороды, к лодке крадутся. Огляделись — нет никого. Оттолкнулись от берега, сидят друг против друга, глаза горят, зубы стиснуты.

— Нож-то у тебя острый?

— Острый.

Как два волка, прошмыгнули они в поскотину, идут, пошатываясь, по росистой траве, высматривают пьяными глазами добычу.

— А ну как у других у кого — тоже белые?

— Но вот, толкуй...

Сенька в два прыжка оседлал белую корову и со всего маху всадил ей в горло нож.

— Дай-ка мне... Дай-ка...

— Вали стягом.

И долго они, гогоча от крови, носились возле опушки тайги, перехватывая мирно дремавших белых федотовых коров.

— Попомнит, клещ окаянный,— вытирая о траву нож, прохрипел Сенька Козырь.

— Давай заодно и бычка пришьем.

— Ну его к ляду... Будет...

XIII

Под окном кто-то постучал:

— Эй, Пров Михалыч!

Матрена открыла окно:

— В Назимово уехал...

— Ах ты, батюшки,— сказал растерянно Семка хромой, а стоявшие возле него подвыпившие мужики враз заговорили:

— Ну, стало быть, десятского надо отыскивать, Обабка.

— Десятский пьяный...

— Ково? — вдруг не то спросил, не то крикнул появившийся откуда-то Обабок: одна нога в валенке, другая разута, рубаха без пояса, висит на мускулистом теле рваными лоскутами, правая рука вся в крови, лицо осатанелое.

— Ково? — вновь крикнул Обабок и, посовавшись носом, устойчиво укрепился на земле.

— Вот наряжай-ка мужиков бузуев брать, за поскотиной сидят... Семка, сколько их? — заговорили мужики.

— Брать так брать... Все едино... Айда! — пробасил Обабок и, заложив руки за спину, направился прочь от мужиков.

— Чего: айда!.. Ты чередом наряжай, чо-о-рт!.. Оболокись сам-то... замерзнешь... — шумели ему вслед.

— Айда!! — орал раскатисто Обабок.

— Стой-ка ужо... Кому итти-то?..

— Айда!!.

— Ну его к ляду!.. — недовольно загалдели мужики.

А Обабок, выломав в изгороди кол, прытко зашагал вдоль по улице и на всю деревню загремел:

— Мне только бы жану найтить... Стеррва!!. Меня запирать?! Меня?! Ха-ха! Убью!! Вот те Христос, убью!..

Мужики отрядили пятерых потрезвее, и те, предводимые Семкой, все с заряженными ружьями, двинулись к поскотине.

Стояла глухая, северная ночь.

Вторые петухи горланят, Матрена все не спит, дожидается Прова. Ей неможется: лежит на лавке, стонет. Видит Матрена: открывается сама собой заслонка, кто-то лезет из печки мохнатый, толстый. человек не человек, чудо како-то, и, сверкая ножом, говорит: «Мне бы только сердце у бабы вырезать...»

Матрена вскрикнуть хочет, но нет сил, мохнатый уж на ней, душит за горло: «Где-ка сердце-то, где-ка...»

— Бузуев привели!

Матрена ахнула, вскочила, крестом осенила себя и, отдышавшись, приникла к окну. На лошади мужик едет и на всю деревню кричит:

— Бузуев привели!..

На востоке утренняя заря занималась, песни на горе умолкли, а в кустах на речке просыпались робкие птичьи голоса.

У сборни тем временем стал собираться народ, обхватывая живым, все нарастающим кольцом пятерых только что приведенных из тайги людей.

Хмельные, бессонные лица праздничных гуляк были сосредоточены и угрюмы.

Старики и молодухи, ядреные мужики и в плясах отбившая пятки молодежь, то переминаясь в задних рядах с ноги на ногу, то протискиваясь вперед, шумели и перешептывались, бросали бродягам колючие, обидные слова и хихикали, сочувственно жалели и сжимали, рыча, кулаки, готовы были сказать: «Ах вы, несчастненькие!» — и готовы были кинуться на них и втоптать в землю.

И бродяги это чувствуют. Недаром такими принужденно-кроткими стали их лица.

Лишь старик Лехман не может побороть обуявшую его злобу: насупясь, сидит на бревне и угрюмо на всех посматривает суровыми глазами.

Да еще Андрей-политик сам не свой. Воспаленные глаза его жадно кого-то в толпе ищут. Он устало дышит полуоткрытым ртом и, облизывая пересохшие губы, невнятно говорит:

— Я вам никто... Слышите?.. Я сам по себе...

Но его слов не понимают.

— Слышите? Где староста? Где сотский?..

— Брось, милый, — советует ему тихим голосом Антон, — ишь они пьяные какие... Брось...

Старый Устин, усердный господу, ближе всех к бродягам. Он ласково им говорит:

— Вы вот что, робенки... тово... Ведь мы не с сердцов...

— Как же не с сердцов,— злобно сказал Лехман.— Ты спроси-ка вот нашего товарища, — указал он на Антона. — За что мужик ему в ухо дал? Это не резон.

— А потому, что вы пакостники, — раздраженно сказала баба в красном.

— Пакостники? — повысил голос Лехман. — Чего мы у тебя, тетка, спакостили?.. Ну-ка, скажи!

— Дак вы тово, — сказал, размахивая руками, Устин, — вот залазьте в копчег да и спите с богом, покамест у хрестьян гулянка, а там выпустим. Кешка, отпирай чижовку-то...

И, обернувшись, посоветовал:

— А вы, бабы, тово... Принесли бы чо-нибудь пожрать мужикам-то... Молочка там али что...

— Ну, так чо, — ответила баба в красном и пошла.

— Кешка, отпирай копчег! — опять скомандовал Устин. — Робятушки, залазь со Христом.

— Врешь, старик... Не имеешь права!.. — выкрикнул Андрей, погрозив Устину пальцем. — Я не бродяга... Понял?

Народ стал разбредаться.

Придурковатый звонарь Тимоха поглядел на алеющий восток, подумал, почесал бока и пошел к часовенке «ударить время».

Антон продолжал успокаивать Андрея:

— Ничего, Андреюшка... Завтра утречком... Пусть они продрыхнуться...

Устин с каморщиком Кешкой орудовали у чижовки.

— Вы, робенки, идите... Чего вам.

Кешка огарок из сборни принес. Тетка в красном молока две кринки и яиц с хлебом притащила.

— Де-е-ло, — одобрил Устин, заложив руки назад.

Тимоха из усердия три раза в колокол ударил.

Устин взглянул на гору, где часовенка, и опять сказал:

— Де-е-ло...

Бродяги, посоветовавшись, наконец зашли в чижовку.

Ванька Свистопляс уже кринку молока ополовинил, Андрей-политик нейдет:

— Вы меня отпустите... Я политический...

— Политический?! Ха-ха... Ладно... Все такие политики бывают... Там над дорогой все уши просмонил, шкелет... Ты пошто наутек было хотел? А?! — враз сердито заговорила стоявшая с ружьями стража.

— Я, господа, вам серьезно говорю... Пустите...

— Тут господов нет, — сказали строго мужики, — а вот коли велят, так и тово...

— Мне Анну... — взволнованно упрашивал Андрей, — девушку Анну...

— У нас Аннов хошь отбавляй, — острили мужики.

Старому Устину спать хотелось, да и всем наскучило.

— Кешка, бери его!.. Робята, подсобляй!..

Андрея потащили.

— Стой!..

— Кешка, налегай!..

— Иди, Андрей, чорт с ними, — октависто звал Лехман.

— Нет! — рвался из дюжих рук Андрей. — Черти этакие, олухи!.. Аннину мать позовите... отца... старосту...

— Кешка, запирай!!

— Отвечать, дубье, будете!.. — ломился Андрей в захлопнувшуюся за ним дверь.

— Крепко запер? — спросил Устин.

— Так что комар носу не подточит, — весело ответил сторож Кешка.

— Ну, робенки, расходись! — скомандовал Устин, любивший приказывать толпе, и помахал рукой во все стороны.

XIV

Матрена лежала на кровати и думала об Анне, о Прове, не «натакался ли» в тайге на зверя. Надо бы заснуть, но сон прошел, в комнате бело. Встала, занавесила окна, опять легла. Слышит Матрена: по воде кто-то хлюпает. Коровы что ль, через брод идут? Не время бы.

Думает о том, о сем, но голова устала, нет ясных мыслей, путаются и текут куда-то, как по камням река...

Чует: храп лошадиный раздается и человеческий голос. Думает — сон, опять тот сон: лохматое чудище из печи вылезет.

Стучат.

— Эй, Матрена Ларионовна!

Вскочила, оправила рубаху, густые волосы подобрала, сунулась к окну.

— Ах! — вздрогнула, похолодела: «Знать, Анка кончилась...»

— Отопри-ка скорей, впусти!

Насилу дверь нашла. Без памяти бежит к воротам.

Вошел, коня за собой ведет.

— Занемог я дорогой... Теперь полегчало малость...

— Иван Степаныч!.. А Пров, Анка?

Бородулин провел коня в стойку.

— Сенца-то можно взять?

— Да дочерь-то какова?! — кричит, задыхаясь, Матрена.

— У меня деньги украли, вот я и прикатил... — не слушая ее, говорит вяло Бородулин.

— А?!

— Деньги, мол, деньги украли...

У Матрены ноги подкосились, села на приступки.

«Вот он, лохматый-то... Вот когда сердце-то вырезать начнет».

Петух схлопал крыльями, запел. Тыща петухов запело. Из глаз свет выкатился.

— Ну, пойдем-ка в избу. Ты чего это? — наклоняется к ней Бородулин. — Анка тебе кланяется низко... Прова Михалыча встретил... Все слава богу, ничего...

В глазах Матрены сразу вырос день. Петух снова пропел.

— Кто украл-то, деньги-то? — с усилием едва принудила язык.

— Не знаю.

— Ох, и напугал же ты меня...

Идет впереди, высокая и статная, скрипят приступки под сильными ногами.

«Вся в мать», — думает Бородулин про Анну и подымается по сенцам.

— Дочка-то какова?

— Все слава тебе господи.

И купец, волнуясь и краснея, долго говорил об Анне, о себе, о новой жизни, сулил всего, мудрил и перемудривал, клялся, просил прощенья.

«Не сон ли?» — думает Матрена.

— А ты, бог с тобой, не выпивши?

В глазах ее застыл радостный испуг и настороженность, дыхание стало коротким и прерывистым, а кожа на руках и шее вдруг покрылась, как от холода, пупырышками.

— Эх, Матрена Ларионовна... Кабы мог я, — вот схватил

бы булатный нож, вырезал бы свое ретивое и показал бы: смотри!.. Жить не могу без Анки... Чуешь?

Купец ходил, пошатываясь и сбиваясь в разговоре, лицо то заливалось краской, то бледнело.

— Матренушка, я прилягу... Продрог в тайге, свалился без памяти и не помню, когда Пров уехал. Вскочил от холода, заколел весь, смотрю: вешки на дороге и веточка привязана, вдоль пути смотрит. Сел, поехал, куда веточка указала... Да... Неможется... Прилягу на кровать... Мне поспать бы...

— А ты иди в амбар, я тебе две шубы вытащу. А то... — и она замялась... — Вишь, одна я... Кабы Пров был... У нас живо разговоры поведут... Иди, батюшка.

И когда ложился Бородулин, и когда лежал под шубой, все расспрашивал: нет ли кого из Назимова здесь? Нету, а вот бродяг поймали каких-то, кто их знает. Сон ей рассказал: «Найдешь деньги — быть», а что «быть» — неизвестно, — не указано ли это на Анку от ангела-хранителя, спросить некого, вот разве священника? Хе, он и молебен не служил, Устин орудовал, а поп с девками в горелки на лугу играл, чуть с парнями не подрался из-за Таньки, архерею жаловаться надо, что ж это за пастырь. Тьфу!

— Ну, спи, Иван Степаныч... Дак ничего девка-то, говоришь, Анка-то? Экая жаба Овоха-то... Как наврала, холера...

— Стерва твоя Овдоха-то и больше никаких. Паскуда.

Матрена захлопнула амбар, вошла в избу, села под окном и пригорюнилась. Хоть красно купец размусоливал, а сердце ноет да и на!

XV

С того часу как случился грех, Даша не рада жизни: точно кто приволок ее к пропасти и толкает, и нет сил сопротивляться. Вином, что ли, утолить боль?

Вечером на кривых ногах вошел в кухню полюбовник Феденька. Приказчик Илюха рад, — Бородулин долго в Кедровке прогуляет, — слямзил три бутылки хозяйского коньяку, на всех хватит.

Вчетвером в кухне бражничать стали, но Федосья — баба умная, вскоре ушла к Анне: хозяин велел глаз держать.

Илюхе вино сразу же бросилось в голову: он то хохотал, то слюняво плакал, лез целоваться к Феденьке и костил с плеча Бородулина, попа, пристава, наконец, охмелев окончательно, кубарем слетел под стол.

Черномазый Феденька чавкает железными челюстями говядину, глаза кошачьи прищурил и косится сладострастно на розовые дашины губы.

Когда Илюха захрапел и забредил, Феденька поднялся, высунув свою стриженую скуластую голову в соседнюю половину, как вор, пошарил там глазами, прислушался и плотно затворил дверь.

— Ну, — подошел он к Даше. Голос ласковый, лицо ласковое, только недоброе в глазах. — Ну?

Даша вся сжалась, точно перед ней разъяренный медведь на дыбы поднялся.

— Ничего я не знаю... Головушка моя... — прошептали ее губы, и она не смела взглянуть на поселенца.

— Да не кобенься, Дашенька, — сверкнув на дверь белками, прошипел он, словно к сердцу змея прильнула: гадко так сделалось, страшно.

— Ежели велишь, что ж... куда денешься... — тихо сказала Дарья и, как на горячие уголья, выплеснула в рот вино: что-то заклубилось внутри, Даша охнула и хотела встать.

— Куда? — И, все так же давя Дашу взглядом каторжника, Феденька грузно придавил ее плечо рукой.

— Ну, ладно, — как во сне, сказала Даша, осторожно освобождаясь от его грязной, с желтыми ногтями, руки. — Ну, положим, овдовеет он, Бородулин-то... Ну, подкачусь к нему, как ящерка... хозяйкой буду, женой...

— Дура Дашенька, — буркнул поселенец и опасливо заглянул под стол на храпевшего Илюху. — Хе, овдовеет... жди... Вы с купцом отравить ее должны, зобастую-то... только вдвоем с Бородулиным... вдво-ем, Дашенька. Поняла? Чтоб удавкой его ущемить. Поняла? Тогда командуй, вей из него веревки.

Глаза его блеснули.

— А ежели... держись, Дашенька... финтить будешь — выдам с головой. Разлюбишь — убью!

Говорил он страшные слова с улыбкой, ласково, словно занятную рассказывал сказку.

У Дарьи шире ноздри раздуваются.

— А Анка?

— Анка полоумная, с ней венца не дадут, — шепчет Феденька.

— А солдат?

— Солдата к чорту. Я их с Бородулиным сразу... из-за куста, в тайге... — стальным, вдруг изменившимся голосом сказал Феденька и впился взглядом в испугавшиеся дашины глаза. — На охоту уманю и кончу.

Даша, словно в страшном сне, вскрикнула и отшатнулась.

— Ты что?

— Дьявол ты... мучитель.

— Дашка!! — топнул Феденька.

Та вздрогнула и долгим насмешливым взглядом посмотрела на Феденьку. Потом вдруг с какой-то болью захохотала.

— Эх-ма! — оборвала она и потянулась к вину.

Зубы стучали о стакан, вино лилось по руке, по голубой, с красными пуговками, кофте, и уж хныкать начала, вот-вот заплачет, а хохот все еще волной в груди.

— А хочешь, Феденька... — погрозила игриво пальцем, — хочешь, злодей, к уряднику? А? — И, жарко задышав, опьяневшая Даша придвинулась грудью к поселенцу.

Феденька улыбнулся и достал из-за голенища отточенный самодельный кинжал.

— Куда?! — сдвинув брови, железной рукой рванул он Дашу.

Вся побелев, скрестила на груди руки.

— Ты думаешь, боюсь тебя, Феденька? Боюсь, а? — Она, гордо подняв голову, стояла, а поселенец чуть отклонился от нее, чтоб ловчее было взмахнуть кинжалом.

«А ведь убьет», — мелькнуло в голове у Даши. Но ненависть к любовнику и хмельной угар прогнали страх.

Улыбающиеся глаза Феденьки налились кровью, он вдруг взмахнул кинжалом. Даша ахнула, схватилась за стол. Поселенец сильным броском пустил кинжал через всю кухню в дверь. Цокнув, на вершок врезался кинжал в дерево.

— Вот как я его... в тайге... — спокойным голосом сказал поселенец и шагнул к двери. — А по тебе изнываю... Жару в тебе, чорт, много, перцу... Шалишь, Дашенька, не вырвешься... — Он подсел к ней и, как бы играя, тряс ее за плечи. — А ежели тут у тебя много... — постучал он пальцем по ее высокому лбу, — бо-огато заживем.

— Погубитель ты... Ну, уж бери, пользуйся...

Она прижалась к нему и закрыла хмельные глаза. Феденька загоготал. Она вся дрожала; на белом лбу выступил пот.

Заскрипели ворота, копыта застучали по настилу.

— Кого-то чорт несет, — буркнул поселенец. — Пойдем на речку.

На крыльце послышались грузные шаги. Кто-то шарил скобку.

— Здорово те живете, — густо сказал, входя, большой, чуть согнувшийся Пров и стал креститься на передний угол.

Анна распахнула дверь и, радостная, остановилась на пороге.

— Пришел?

— Здорово, Анна!

— Батюшка, батюшка! — кинулась к нему на шею. — Что, пришел Андрюша-то? А маменька-то где?

Пров взглянул на дочь и сразу все понял. Он боднул головой, в глазах запрыгал огонек лампы, все кругом помутнело, и заколыхался пол.

— Вот поедем: матушка горькие слезы по тебе проливает. Что ж ты, доченька... хвораешь?

— Нет, хорошо. Слава богу, хорошо... — а сама стиснула виски и зажмурилась, как от яркого света.

Пров стоял, положив руки на плечи Анны, и уж не мог разглядеть ее лицо.

— Испить ба... — Он мешком опустился на лавку и жадно, не отрываясь, выпил ковш воды.

Дарья и поселенец ушли. Феня увела Прова с Анной на чистую половину, накормила их, и все стали укладываться спать.

Анна, засыпая, говорила, словно жалуясь:

— Тятенька... Ну, как же, тятенька?.. Плохо...

— Чего плохо-то?

— А по книжке хорошо. Все хорошо будет...

— Ну, а как Иван-то Степаныч, как он с тобой в обхожденьи-то?

— А не знаю, сбилась. Не понять.

— Ну, а сколько ты зажила-то? Расчет-то покончил он с тобой али как? После?

— Тятенька, после. Вот высплюсь — завтра другая...

Тихо стало. Только из кухни долетал пьяный илюхин храп.

Прову не спалось. Он поглядел на образ. Огонек лампадки колыхался и озарял лик Христа. Пров вздохнул. Его душа требовала молитвы. Нужно сейчас встать и все открыть господу, совет благой принять, вымолить спокой сердцу. Он подошел к образу и опустился на колени. Огонек поклонился ему и затрепыхал. Лицо Прова скривилось, сморщилось. И когда он сделал земной поклон, уж не мог выдержать, всхлипывать стал и тихо, чтобы не подслушали, по-женски голосить.

— Рабу твою Анну... звоссияй... боже наш.

И не знает Пров, какими словами можно разжалобить бога, от этого еще больше ноет его душа, и печалится, и тоскует.

— Звоссияй... совсем... гля ради старости... гля утешенья.

После вторых петухов пожаловала Даша. Она легла рядом с Фенюшкой и крепко ее обняла.

— Стерва ты, Дашка, — сказала Фенюшка, — попадетесь вы с хахалем-то.

— Мо-лчи-и, — тянула, засыпая, Даша, — ехать хочу... в Кедровку. Как его, хозяин-то... одного... без досмотру...

— Кати! Все одно шею-то свернешь. Таковская.

— Эх, Феня, Феня, — тяжко вздохнула Дарья. — Ничего ты не знаешь. Ничего ты, Феня, не понимаешь.

— Брось, брось ты его, мазурика, посельгу несчастную.

— Погоди, Феня... Скажу слово... Все тебе скажу...

— Сучка ты, я вижу.

— Ну, не обида ли?! — Даша, чтобы не закричать на весь дом, вцепилась зубами в подушку и застонала.

XVI

Солнце стояло высоко. Матрена пошла к завозне—храпит купец. На речку сбегала — не едет ли хозяин? Нет. Пошла вдоль улицы.

У сборни мужики. Лица мятые, глаза красные, заплывшие. Обабок в кумачной рубахе, в новых продегтяренных чирках, с фонарем под глазом, но при бляхе.

— Надо обыскать... — говорит он, поправляя начищенную кирпичом бляху.

— А по-моему, выпустить да и все... Народ, кажись, смирёный, — несмело заводит пьяница Яшка с козлиной бородой.

— Сми-и-рёный?!— наскакивают на него.— А помнишь?!

У Яшки в груди хрипит, он кашляет, словно собака костью подавилась, и, уперев руки в колени отекших ног, жалеет:

— Мне што ж, мне все равно... Хошь век держи их... Хошь на цепь посади, а только что... Полегче надо бы...

Мимо них по улице священник верхом на федотовом коне едет. За ним кривая Овдоха на кобыленке тащится.

— Здорово, батя! К домам?..

— Во-свояси, отцы, во-свояси... — хрипит батя, щуря на них узкие свои глаза.

— А молебен-то?..

— Да чего, отцы... Простыл в речке... Еле жив... Не знаю, как и доплетусь.

— Грива! — злорадно взвизгивает бабьим голосом угреватый парень, и быстро присев, прячется за мужиков.

Батя, понукнув коня, надбавляет ходу.

— Вот это поп... — хохочут мужики, — этот поповать может подходяшше-е-е... Ха!

Подошла Матрена.

— Ну, как?! — спрашивают мужики, поздоровавшись. — Хозяин-то вернулся ли? Анка-то какова, краса-то наша?

— Да, вишь, нет еще Прова-то... Гость у меня, Бородулин.

— Бороду-улин? Ребята, айда с проздравкой! — радостно

вскрикнул черный, в плисовых штанах, дядя, по прозвищу Цыган.

— Ну, дак чо, мо-о-жно, — откликнулись, а подыматься лень — сидят.

— Куда... Он спит, разнемогся: лихоманка, чо ли... — сказала Матрена и пошла.

— А-ах! — крякнул Цыган и, состроив плутоватую рожу, поскреб под картузом висок.

— Надо бы выпить-то, — сказал он, сплевывая.

— Ну дак чо? И выпей. Купи у Федота.

— Ха-ха! — хохочет над собою черный, вывернув карманы плисовых штанов. — Купи! Купило-то притупило. Вишь?

И у всех так, год плохой был, денег нет, а выпить хочется. В долг придется взять, без этого не обойтись: можно теленка заколоть, да — Федоту, свинью заколоть, да — Федоту, самовар стащить, машину швейную стащить — берет. Только баба ругаться станет, — пусть, бабу по уху. Дочка? Дочку за косу. Двустволку можно в заклад пустить. А к Бородулину с праздравкой надо обязательно, подаст хоть по стакану.

Обабок вдруг басом рявкает:

— Робяты!..

— Чтоб те разорвало! — вздрагивают мечтающие мужики, смешливо отодвигаясь от Обабка.

— А може, как ежели пошарить, да у них окажется рублев пяток, а? Как вы понимаете?..

— А и вправду, — согласились мужики.

— Айда! — скомандовал Обабок, и все, не торопясь, пошли к чижовке.

Каморщик Кешка замочком щелк:

— Робята, вылазь, начальство требует, десятский с сотским.

— В чем дело? — октависто рассыпался Лехман и появился в двери.

— А так что желаем обыск произвести, — подошел к нему Обабок, — ривольвертов нет ли али бы чего... и все такое...

— Я те произведу! — сказал грозно Лехман.

Мужики опешили.

А тот, высовываясь из двери и держась рукой за косяк, говорил:

— Отпустите нас в тайгу. Мы шли стороной, вас не трогали, никакого худа вам не сделали. За что нас взяли?

— А очень просто!.. — кричал, не зная, что сказать, Обабок.

Лехман вышел, огромный и сутулый, перекрестился на часовню и направился к тайге.

— Стой, куда?! — враз вскричали мужики.

— За нуждой, — ответил тот, не оборачиваясь.

— Кешка, Сенька, бери топор, айда за ним! — командовал Обабок.

— У меня нож, что бритва, — на бегу отвечает Сенька Козырь, за ним Мишка с колом, нагоняют деда.

К сборне, как и вчера, опять народ стал подходить.

Солнце к полудню не подобралось еще, а некоторые уже успели клюкнуть, другие хмельны вчерашним. На душе тоскливо, нехватка в празднике, надо драку всей деревней завести.

Больше всех хотелось этого Обабку; забурлило в душе, как в бочонке брага, вот идет, идет — подступает к сердцу, нашептывает в уши, мутит башку.

— Эй, вы, шпана! — рычит он. — Выходи на обыск... Ты! Козья смерть!

Антон знает, что ему кричат, и ужасается: не было догадки перепрятать деньги.

— Ванюша, голубчик... — шепчет посиневшими губами, — иди-ка ты передом-то... Ох ты, господи...

А Обабок уж в чижовке, за ним народ, заслонили дверь, стало там темно, внутрь взошли, чижовка большая.

— Робята, шарь, — распоряжается Обабок.

Принялись обыскивать Свистопляса: шапку вывернули, штаны прощупали, из рваных чирков всю солому вытрясли, выпал «клап виней», мешок перерыли, нашли рубль двадцать, отобрали.

Ванька ухмыляется, — слава богу, сошло благополучно, — и сыплет мужикам прибасенки. Те посменваются, с любопытством наблюдая, как два парня и Обабок выбрасывают из его мешка всякую рвань.

— Эх ты, искало-мученик, — весело подмигнул он Обабку. — Что, все? Боле не нашли?

— Все! — взмахнул Обабок кулаком.

— Стой чертило этакий, — увертывается Ванька. — А это что? Все? — и в руке его блеснул полтинник. — Видишь? Нука, понюхай, чем пахнет! — вскочив на ноги, сует в самый нос попятившегося Обабка. — Гляди, ребя: фють! — подбросил полтинник вверх, и тот бесследно исчез.

— Ха! — хакнула толпа.

— А теперича, смотри! — вскричал Ванька, незаметно покосившись на копошившегося в темном углу Антона. — Раз— первой, два — другой, а серебруха-то у рыжего начальника под бородой! — он дернул за бороду Обабка и достал полтину.

Все захохотали, а Обабок, широко осклабясь и почесывая за ухом, милостиво приказал:

— Ослобонить!..

— Вот спасибо, ваше благородие, — хихикнул в кулак обрадованный Ванька.

Обабок гордо оглядел подбитым глазом толпу и поправил на груди бляху.

— Шарь другого!

Стали обыскивать Тюлю.

Народ стоял в чижовке, очень довольный тем, что видит; ни у кого не было в сердце злобы, все смотрели на ванькин фокус с любопытством и чувствовали себя празднично, как у ярмарочного веселого балагана. Задние, скаля зубы, напирали на передних, а те, пыхтя, кричали: «Сдай назад, чего прешь!» — и ретиво осаживали. Девки и бабы, затесавшиеся в середку, вызывающе повизгивали и ойкали.

Тимохе-звонарю больше всех фокус понравился. Чтоб покороче познакомиться с Ванькой Свистоплясом, сел возле него на корточки, хлопнул дружески по плечу и осклабился:

— Дай-ка, паря, покурить.

— Курила бы у тебя вошь в голове! — шутливо ответил Ванька, незаметно подталкивая к Антону свой, уже подвергшийся обыску, мешок.

— Говорок, язви его! — смеялись мужики.

— Говорок, — съел у твоей бабы творог!

— Ха-ха-ха!.. вот и возьми его за полтора с полтиной...

Антон понял ванькину подсобу: трясущимися руками всунул что-то в мешок и, крадучись, толкнул обратно.

— Ах, сво-о-о-олочь! — вдруг покрыл все голоса Обабок.

Толпа замолкла и посунулась в тот угол.

— Это у тебя откуда лисица, а?

— Я сам убил, вишь — ружье у меня, — робко ответил сидевший на полу Тюля.

— Сам?! И это сам?! — Обабок выкинул новые вожжи и со всей силы двинул сапогом Тюле в бок.

Тот взвыл и, обомлев, пополз к стене.

Толпа замерла. Похолодел Антон.

— Выть?! Ты еще выть, жаба?! — орал Обабок, подскакивая к Тюле.

— Ой, дяденька... Не бей! — в ужасе закрылся тот рукой.

Обабок, прикрякнув, двинул Тюлю кулаком.

— Негодяй!.. — вдруг вскочил в своем углу Андрей и шагнул к Обабку.—Как ты смеешь, негодяй?! Как ты смеешь?!— Он был страшен и диким выражением лица и вмиг взвившимся резким голосом.

— А-а-а,—протянул, подбоченившись и чуть попятившись, Обабок. — Ишь ты! А ежели я тебе в ухо порсну?! — пальцы правой его руки заиграли. — А ежели я тебя... — и он, стиснув зубы, сжал кулак.

— Ты кто? Ты десятский?! — еще смелее наступая на Обабка, кричал Андрей. — Десятский?!

— Пшел, погань!.. Не замай!!!

Ванька Свистопляс, врезавшись между ними, испуганно молил:

— Андрей... Андрей... Уймись, пожалуста... — и, растопырив руки, легонько отодвигал политика к стене. — Плюнь, не вяжись!

Обабок кашлянул, поутюжил бороду и повернулся к Андрею задом.

— Шарь этого... холеру-то... — кивнул он головой на притихшего Антона.

Андрей-политик мешком сидел на полу, растерянно хватался за голову, споря и ругаясь с Ванькой.

— А я чо-то зна-а-ю... — протянула, склонив набок голову, белобрысенькая девочка Акулька.

— Старик пришел, пустите старика, — послышалось с улицы.

— А я чо-то зна-а-аю, дяденька Обабок, — опять пропищала Акулька, — он эвот куда схоронил... Вот подохнуть. Грамотку какую-то...

— Ково? — переспросил Обабок и вместе с Акулькой нагнулся к мешку Ваньки Свистопляса.

Антон открыл рот и впился глазами в руки Обабка, торопливо развязывавшие мешок.

— Ведь искал... брось!.. — несмело сказал Ванька.

— Удди!

В чижовке было жарко и душно, пахло пóтом, винным перегаром, луком и махоркой.

— А! Вот оно что! Робята, деньги!.. — Обабок тряс над толпой пачкой бумажек.

— Деньги!! Ура... Деньги!

— А они твои?! — раздался с улицы голос Лехмана. — Пусти-ка меня... Ну, сторонись, что ль!!

Передние сразу посунулись.

— Милый... — на коленях просил Обабка Антон. — Ради Христа...

— Расступись!! — гремел Лехман... — Это что, грабить?!

— Ради Христа... Ради господа...

Лехман схватил Обабка за горло и грохнул его на пол. Все растерялись. Задние повыскакали на улицу. Ванька в суматохе быстро вырвал деньги из рук Обабка, но Цыган ударил Ваньку по затылку, выхватил у него пачку и, подняв руку вверх, сильным плечом проложил себе дорогу на улицу.

— Эво они!.. Вяжи, ребята, бузуев... Выходи на улку... Эво они!..

Андрея-политика охватила дрожь.

Лехман, прислонившись спиной к стене, тяжело пыхтел. В его руке сверкал клинок ножа.

— Изувечу! Убью!.. — хриплым, уставшим в схватке голосом рокотал он. — Мне каторга не страшна... Только тронь хошь одного, всем вечную память загну!!

— Мы вас, варнаков, нешто шевелили?! — кричал Обабок. — Ты мне, старый чорт, полбороды выдрал!..

— Полезешь — башку оторву да в бельма брошу!

— Милые мои, — хныкал Антон, — я вам в ножки поклонюсь.

— Отдай, чалдон, деньги!— сказал грозно Лехман.— Добром отдай...

— Обабок, выходи! — кричали с улицы.

— Кешка, запирай! — скомандовал Обабок, и все, пятясь к двери и со страхом следя за сверкающим ножом деда, высыпали на улицу.

— Еще мы тебя спросим, ворина, где деньги взял? — пригрозил, отдуваясь, Обабок.

— Господом прошу: отдай... В Россию, к своим иду, помирать иду... В земельку свою лечь... — стонал Антон и, поднявшись с полу, со скрещенными на груди руками, несмело подходил к стоявшему за порогом на улице Обабку. — Прошу... умоляю... — глаза Антона были полны слез, и тряслась хохолком бороденка.—Десять лет копил. Ребят обучал по деревням.

— Кешка, залаживай!

Когда захлопнулась дверь, Антон стал что есть силы бить кулаками и коленками в запертую дверь.

— Отдай!! Отдай!! — вопил он исступленно. — Деньги отдай!.. Мои кровные отдай!..

Голоса, шумя и пересмеиваясь, удалялись.

— Так твою так... вот это — встретили! — вздыхал Ванька, щупая затылок.

— Ах, обить твою медь, — подхватил и Тюля.

Лицо Антона вдруг помертвело.

— Ребятушки... Смерть... — Антон с размаху сел, словно ему перешибли ноги, свесил на грудь голову и распластался на полу.

— Воды давай! Тащи к окошку! — суетился Лехман.

Андрей-политик, уставив в решетчатое окно голову, пронзительно кричал:

— Эй, эй... Отопри!.. У нас человек помирает!.. Э-эй!

Но кругом было тихо. Лишь вдали наигрывала гармошка и выводили песню два мужских голоса: на лугу у речки собиралась молодежь.

XVII

Дедушка Устин, сгорбившись, петухом наскакивал на мужиков, сидевших на завалинке:

— Ограбили — и квиты?! Ах вы, непутевые!

— Иди-ка, дедка, иди! Вот тебе на церкву две красных... и проваливай... — сказал Обабок.

Он вытащил из кармана горсть денег и отсчитал трешками, выбирая самые старенькие, двадцать один рубль.

— А достальные возворотите, грех... По правде надо.

— Ну, ладно, возворотим... Проходи!

Устин строго посмотрел на мужиков и пошел к часовне, устало переставляя согнувшиеся в коленях, одеревяневшие свои старые ноги.

А мужики разделили по пятерке на дом, остальные решили в пропой пустить: гуляй во-всю, на неделю хватит.

Девчоночка Акулька тем временем прибежала к избе старосты Прова и, запыхавшись, крикнула:

— Тетынька Матрена, а у бродяг-то деньги...

— Врё... Много?

— У-у-у, папуша... Вот подохнуть... Мужики за вином побегли.

— Врё?..

— Вот подохнуть...

И припустилась рысью сказать мамке, чтоб пятерку у тятьки отняла: пропьет.

Бородулин чайничал у Матрены. Не дослушал акулькиной речи, вскочил, табуретку опрокинул, сорвал с гвоздя картуз,— да на улицу:

— Это мои, обязательно мои...

А в ушах его шум гулял, болезнь из головы выходила, и в этом шуме грезилось: «Деньги найдешь — быть»...

И, не спрашивая встречных, — сами ноги несли, — спешил к той заветной, пьяной завалине, где ходила уже чарка зелена вина.

— Братцы, у меня деньги пропали!

Точно бичом хватил: чарка остановилась, Обабок сразу присел на луговину, все затихли и, разинув рты, смотрели на Бородулина.

— Какие, Иван Степаныч, деньги, когда? — притворчиво спросил Цыган.

Бородулин все подробно рассказал: как с топором бежал по улице за жуликом, как в волость ездил, и про видение сонное в тайге: денег не жаль ему, лишь бы вора изобличить, только бы найти разгадку сну.

Мужики смотрят на него, дивятся: заикается Бородулин, руками машет, не в себе.

— Вы у бродяг, братцы, деньги-то отобрали?.. Обязательно мои...

И опять:

— Кешка, отворяй!

— Робенки, выходи!

Лехман высунул из двери голову и кивнул своим:

— Кажется, старшина, товарищи, пришел. Ну-ка...

Один за другим вышли четверо. Ограбленный Антон оправился и весь вдруг наполнился надеждой: глаза сразу Бородулина разыскали, улыбнулись ему и запросили пощады и милости.

— Который? — всех четверых взял взглядом Бородулин.

— Вот, — сказал Обабок, указав ногой на Антона.

Тот поклонился низко Бородулину и заговорил:

— Мои, господин старшина, у меня отобрали... кровные мои.

— Не он, — перебил Бородулин, — этого наздогнал бы.

— Отпустите нас, сделайте милость, мы своей дорогой шли... — загудел и Лехман.

Андрей из чижовки вышел.

Что-то ударило купца по сердцу, кто-то в уши крикнул: он!

— Это кто?!

Лехман, оглянувшись, куда показывал Бородулин, сказал:

— Это Андрей, политик тут один, недавно в тайге к нам пристал.

Зашатался Бородулин, защурился: так ярко вспыхнул в глазах огонь, все сказавший, на мгновенье туманом все покрылось, — и вдруг:

— Он!!

— Бородулин, Иван Степаныч! — радостный голос раздался, и Андрей шагнул к Бородулину. — Иван Степаныч!

— Он! Ребята, бей!!

Бородулин крякнул, привскочив: трах! — мимо, увернулся; трах! — кто-то на руке повис.

— Бей!.. Кто это? Нож, нож, нож, лови, держи, режь!

А в гору во весь дух летит он, враг, он, окаянный, живой оборотень, он!

— Держи-и-и!!

А сзади мужики с кольями, с ножами, с кулаками:

— Держи! Держи!!

Тропинка в тайгу стегнула. Андрея не видать, прытко бежит, смерть по пятам несется.

— Напересек, напересек ему!!.

— Держи-и-и!!

Сучья трещат, гам, ругань: ломится тайгой деревня, оса-

танели мужики. Бородулин впереди, легче пуху, себя не чувствует.

— Обутки сбросил, стервец... За мной!..

— Айда!!

Тропинка на луговой пригород взметнулась, хорошо видать: нет врага, скрылся...

— Ребята! Сюда!.. Эн шапка!..

И слышит притаившийся в чаще Андрей, как, тяжело пыхтя, бегут мимо него, незримого, незримые люди: обманул их, бросил шапку вперед по тропинке, а сам в чащу, замер.

Кончилась лихая вереница, три мальчонка в хвосте бежали.

Андрей, пригибаясь к земле, бросился наискосок к речке и, еле перебравшись вброд, пал в кусты, потеряв сознание.

А у чижовки оставшиеся мужики вихрем налетели на бродяг:

— Бей! Р-работай! — сшибли их с ног, и началась расправа.

Все в клубок смешалось. Ревом и стонами задрожал воздух: лаяли собаки, визжали и плакали женщины, надрывались, яро хрипя, хмельные мужики. Бродяг били кулаками, били палками, топтали огромными подкованными сапожищами, где-то кирпич нашли — били кирпичом.

Вдруг:

— Стой! Что вы, окаянные!.. Стой!

Лысый с грозным огнем в глазах, Устин совался возле кучи извивавшихся тел и взмахивал руками:

— Стой! Остановись!..

Не сразу очнулись: руки ходу просят, осатанелые глаза кровью налились, на кулаках вбросили бродяг в чижовку, с руганью захлопнули дверь и, надсадисто дыша, буйно повалили в тайгу, на подмогу погоне за Андреем.

А старый Устин в большущих своих сапогах, все так же подгибая ноги, торопливо вслед мужикам кинулся и не переставая звал:

— Воротись, лиходеи!.. Прокляну!.. Стой!!

В свалке Лехман кудрявого парня ножом пырнул. Парень лежал у чижовки вниз лицом и стонал, а на него лили ключевую воду. Плакала над ним в голос мать, ахали и ругались оставшиеся возле мужики, а пьяный отец, по прозвищу Крысан, лез драться к ключарю Кешке и диким голосом ревел на всю деревню, взмахивая огромным топором:

— Отопри, тебе говорят!.. Всех один кончу... Всех!!

Был полдень.

XVIII

В это время тайгой ехали трое: Анна, Пров, Даша... Эта насильно увязалась, упросила Прова Михалыча: праздник, погулять охота.

Отец с дочерью впереди, Даша далеко отстала: конь уросит, а Даша отвыкла от седла, боится.

У Прова душа играет, он глядит в спину дочери, на статную, крепкую, с обнаженными белыми икрами, фигуру, радуется: дочь говорит правильно, про все выведывает, все знать хочет, болезни не видать.

Дарья, как въехала в тайгу, вздохнула отрадно полной грудью.

Она давно не бывала в тайге, забыла ее ласковый говор, смолистый запах ее. А когда-то, лет пять тому, в девичью чистую, золотую пору... Эх, матушка-тайга!..

Чувствует Даша: творится что-то в душе, какие-то мысли, какие-то слова на языке вертятся... Сердцу тяжело.

Тихо едет Даша, вся в себя ушла, осматривает пугливо свою солдаткину жизнь.

Как познакомилась с купцом да связалась с Феденькой, жизнь пьяной сделалась, соромной: то с Бородулиным гуляет, то с уголовным, надвое себя рубит. И пока пьяная, пока бушует кровь — все нипочем, а вот ляжет Дарья спать, — весело ляжет, весело уснет, — но сны видит страшные: по ночам стонет, кричит, сама себя пробуждает. Перевернет мокрую от сонных слез подушку, закинет руки за голову и задумается. Хочет мысль направить на новый путь — не может, душа не принимает, очернилась, других дум требует: пьяных и разгульных, как ее, дарьина, гулящая жизнь.

«Эх, все равно», — махнет, бывало, рукой и даст дорогу пагубным своевольным своим мыслям. А досыта надумавшись, вновь заснет веселым, улыбчивым сном. Наутро глядь: сердце тоской зашлось.

И вот уж Дарье невтерпеж: Феденька ножом грозит, перед народом стыдно, на божий свет глаза не подымаются, а впереди страх: придет домой муж-солдат — расплата коротка.

Дарья ищет забвения, до бесчувствия пьет, часто посматривает в сеновале на перекладину, веревку в мыслях примеряет, но во-время рубит мысль, сама себе приказывает: нет! И, прижавшись щекой к стене, ревет в голос.

— Эй, Дарья! — крикнул Пров.

Даша очнулась, оглядела тайгу и стегнула лошадь. Лицо ее разрумянилось, печальные глаза в слезах.

— Богородица!.. Ангели!.. — шепчет Даша, прижимая ладонь к груди.

— Не отставай! — вновь крикнул Пров.

Сливаясь своим серым зипуном со стволами деревьев, он ехал впереди; за ним, в белом, — Анна. Даша взглянула ей в спину и открывшимся сердцем вдруг неожиданно потянулась к ней, как дым к небу. Словно кровное, самое родное учуяла в Анне.

«За что же я ее? Ангели!..» — скорбно укорила себя Даша.

И стало ей жаль Анну, в первый раз пожалела, с собой сравнила, вспомнила, как отравой собиралась опоить, — и еще жальче стало Анну, тихую и неповинную.

Вся в порыве, — хлеснув лошадь, нагоняет Анну.

Хочет упасть перед нею на колени, многое хочет ей сказать, но кто-то отстраняет ее от Анны.

— Анна! — позвала Даша. — Аннушка... Дяденька Пров!

Молчат, не откликаются. Тайга молчит. Жутко стало.

Пров остановил лошадь:

— Ну-ка, передохнем не то...

Стали чай варить. Анна живо насбирала сушняку, веселая ходит, светлая, костер разложила, на отца смотрит ласково. А Даша пригорюнилась, губы кусает, опять жизнь свою издалека осматривает, от начала дней, как стала себя помнить.

Пров за дочкой ухаживает: то хлеб ей пододвинет, то комаров черемуховым веником смахнет с ее лица.

— Ты у меня разумница... Помощница моя, утеха...

Обо всем его расспрашивает Анна: о матушке, о дедушке Устине, о буренке. Отец отвечает, шутит с ней, прибаутками говорит.

Анна улыбается, а отец пуще рад. И вдруг, неожиданно, кидается Анна отцу на шею:

— Ох, родимый ты мой... Во всем тебе откроюсь... все скажу... Одного только мне...

— Н-и-ичего, доченька, — утешает Пров и косится на ее живот.

— Батю-ю-шка...

Только лишь на лошадей сели: поп едет по тропинке, за ним, попыхивая трубкой, грудастая Овдоха.

— Здорово, Пров Михалыч...

— Ах! Батя... — крикнул Пров, — а мы только что почайпили...

— Эка штука... Не знал... Мы тоже недалече вот с кумой-то, с Авдотьей Терентьевной, тово... Чайком, значит, побаловались... Хе-хе...

Овдоха вспыхнула и, одернув красный сарафан, испуганно уставилась кривым глазом на попа.

— Ну, как там у нас, в Кедровке? Молебен-то служил?

— Слу-у-жил... — улыбнулся батя.

Овдоха выхватила изо рта трубку, хихикнула в горсть и, покрутив носом, насмешливо кашлянула.

— Ну, прощай, батя, — сказал Пров, тронув коня, и, обернувшись, крикнул: — А Бородулин у нас?

— Не видал,— прокричал батя.— Слушай-ка, дядя Пров! А у тебя водчонки нету?

Но Пров уже скакал, нагоняя дочь и Дашу.

И вновь едут трое таежной тропой, сумрачной и тихой.

Вечерело. Замыкалась тайга, заволакивалась со всех сторон зеленым колдовством.

У Анны дрожит душа, от ветерка неверного колышется, невидимое чувствует, видимое обращает в сказку.

И уже замелькали меж стволов лесовые шиликуны, тени кой-где ходили и прятались, огоньки вспыхивали и гасли. Шорох плыл, и посвистывал в болоте леший.

Пров ничего не видит, ничего не слышит, шапку надвинул на брови, молчит.

Дарья вся в себе: ставни наружу закрыты, псы сторожевые спущены. Нет Дарьи, солдатки оголтелой, веселой Даши, говорухи и песенницы, здесь только голубиная женская душа.

Сумрак наплывает, прохладный и сырой. Ночь близится.

— Ну, теперича, девахи, недалече! — кричит Пров и проверяет взглядом знакомые места.

Собака Лыска уж не забегает в гости к каждому кусту и к пенышку, прямо бежит вперед лошади, язык на плечо — устала.

Что-то белеет впереди, расступилась тайга, тропинка на долину вышла: белый туман по речке лениво стелется, в деревне огни.

Анна увидела родные места, — перекрестилась, глаз оторвать не может от мелькающих знакомых огоньков.

— Матушка!.. — кричит она. — Эй, матушка! Встречай!..

К броду спускаются — нет матушки, в деревню въехали — нет матушки, и не видать на улице народу.

Только в том конце, где дом Прова Михайловича, что-то неспокойно.

— Ой, худо у нас! — не то подумалось Прову, не то Анна проговорила.

Упало у мужика сердце.

Подъезжают. У открытых ворот толпа.

Увидали, гвалт подняли:

— Ну, с гостьей тебя, Пров Михалыч... Да еще с гостем. Иди-ка, брат, в избу, гляни!.. От-то шту-у-ка!..

Забыл себя Пров, страх вломился в душу, боится и во двор вступить...

Матрена вышла, подбежала к Анне, целует, плачет и сквозь слезы и ласковые слова кричит Прову:

— Бородулин-то... Ох, светы мои...

Но уж Пров в избе, изба народом полна, душно, но тихо и торжественно.

На лавке — с закрытыми глазами Бородулин.

И в двадцатый раз говорит Матрена:

— И как прибежал это он, батюшка, с бою-то... глаза выкатились, трясется. «Ой, что-то, говорит, Матренушка, дух заняло...» Прислонился к забору да как рухнет!.. Только и жил...

XIX

У полумертвых, изувеченных бродяг трещали в ушах бубенцы и барабаны, перед глазами кувыркались, мяукали какие-то черные хари, все горело внутри, и нехватало воздуху: словно их закружили в дикой пляске черти и, не дав отдышаться, бросили в вонючий провал.

Антон, опираясь на колени и локти, припал к грязному полу, словно воду из ручья собрался пить. Он тяжело охал и стонал.

Ванька Свистопляс, размазывая по скуластому лицу кровь, все норовил приставить и удержать оторванное свое, висящее «на липочке» ухо. Он, весь съежившись, сидел горшком под единственным оконцем и скорготал зубами, пытаясь облегчить боль.

Тюля лежал рядом с Ванькой, закинув руки за голову, и молча смотрел в потолок подбитыми глазами.

Бродяги нутром чуют: быть грозе, — дело одним политиком не кончится, дойдет черед и до них.

Надо бы бежать, но где схоронишься? Догонят, разорвут, в землю втопчут, осиновый кол вобьют. Куда бежать? В тайгу? Но у них все отобрали, ружьишко и то отняли. Выскочить да караульного зарезать? Красного петуха пустить? Но крепок запор, а маленькое оконце железной решеткой оковано. Нет, не уйдешь: суставы повывернуты, ребра сломаны... Думай, не думай — крышка...

По своим углам товарищи забились, молчат.

Только Лехман, растянувшись на полу огромным телом, тяжело сопит, хватаясь за отбитую кирпичом грудь, и злобно ругает всех с плеча: и Свистопляса, и широколицего, с затекшим глазом Тюлю, и Антона. Тем и так тошно, душа изныла, а он без передыху поливает и их, и свою мать, что на свет породила, и тайгу, и жизнь проклятую, и смерть, что не идет за ним.

— Мы тут ни при чем, — стонет Тюля...

— Ни при че-о-ом?!! — гремит Лехман и сердито плюет в воздух.

Сам знает, что ни при чем: судьба сюда свильнула, под

обух поставила, но разве судьбу проймешь, разве ей влепишь затрещину? А кулаки зудят... ух, зудят!

Лехман, хрипя и ругаясь, вскочил по-молодому, лицо дикое, схватил за ножку железную печь и, размахнувшись, грохнул ею в стену.

— Товарищ!.. Что ты? — взмолил Антон.

Лехман зубами скрипит.

— Замолчь, свято-о-оша!! — к Антону медведем бросился, сутулый, страшный, лохматый.

Антон смирнехонько на полу лежит, большими глазами, жалеючи, смотрит на Лехмана.

Враз остановился Лехман, словно с разбегу в стену, голова его затряслась, заходила борода.

— Робя-а-тушки...

Он схватился за лысый череп и отрывисто застонал, словно залаял, потом сразу присел и пополз на четвереньках в угол, а борода по полу волочится, заплеванный пол метет, древняя, седая.

— Товарищи, милые... — глухо стонет Лехман и валится вниз лицом.

Антон уж возле Лехмана, спину его сухую гладит:

— Ах, дедушка ты мой, родной ты мой...

Ванька с Тюлей, стуча зубами, косятся то на Лехмана, то на дверь, за которой гудит народ. И уж не могут понять ни отдельных резких выкриков, ни ругани, что влетают с улицы в решетчатое окно вместе с красной полосой солнечного заката.

— Тюля,— шепчет Ванька.— Чу... кричат...

А народ пуще загудел и вдруг осекся: враз смолкли звуки, отхлынули прочь, тихо стало.

— Ково? — гнусаво и удивленно кричит у двери на улице каморщик. — Бородулин?! Вот это та-а-к...

И слышно, как выколачивает о каблук трубку и сам с собой громко рассуждает.

Солнце садится, последним лучом с бродягами прощаясь: ему все равны, все дети кровные. Антону в глаза ударило ласково, Антон щурится, в окошко заглядывает, вздыхая, провожает солнце: может, завтра не увидит его.

Лехман уснул, стонет во сне и охает.

— Антон, — говорит Ванька, — а ты хочешь есть?

— Нет, милый... до еды ли тут?.. Вот испить бы...

Тихо в каталажке, сумерки сгущаются. Где-то корова мычит, ребенок заплакал, собака тявкает.

— Я бы попросил воды, да боюсь, — говорит Ванька.

— Чего ж бояться-то?..

Ванька усиленно сопит и, помолчав, отвечает:

— А как убьют?..

Скоро в каморке совсем темно сделалось и тихо. Уснули, что ли, все или так примолкли.

Кто-то на коне едет.

— Матушка, встречай, — женский доносится голос.

И опять все замерло. Лишь каморщик мурлычет песню и кашляет да бредит Лехман.

А у оконца Ванька с Тюлей. Шепчутся, то один, то другой, громко скажет слова два и опять шепотком.

— Антон, — тихо позвал Ванька.

Ответа нет.

— Дедушка!..

Молчит и Лехман.

— Спят, — сказал Тюля.

Ванька Свистопляс почесался во тьме, поворочался и дрожащим голосом тихо заговорил:

— Ох, товарищ... Не приведи бог, ежели мужики в ярь войдут.

— Да-а-а, — тянет Тюля.

— Аминь тогда наше дело... Эна как мы, рестанты, в остроге четверых надзирателей кончили, всей оравой-то... Вот так же вечером, темь. Уж больно они мытарили нас, прямо зверье. Ну, мы, значит, и сговорились... Пришли это они с проверкой, мы на них... Те как зайцы запищали... Знаешь, зайца когда собака сбреет, он должон как дите заплакать... В ногах валяются, пощады молят... Куда тут... Троих-то сразу кончили, головы о стену разбили. А четвертому, а четвертому-то, Тюля... Мы его... Мы ему...

Тюля долго сопел, потом раздраженно сказал, ткнув в бок Ваньку:

— Не хнычь... Чо-орт... Слюнтя-а-ай...

Ванька оправился и приподнялся:

— Мы его, Тюля, свалили да арканом ноги у ляпустей связали, а другой-то конец через спину перекинули да за горло, да и начали в дугу гнуть, пятки к затылку подтягивать. Сначала дурью ревел, как чушка под ножом, потом визжать стал. А мы, черти, ржем, любо... человек хрипит, а мы пуще налегаем, грудью-то на пол его поставили, будто колесо какое... Тот хрипел-хрипел — навовсе уснул. Ноги-то крепче оказались, а горло-то, Тюля, не вынесло, хрящ лопнул... Как захрусти-и-т... Мы прочь... Ух, ты!..

— Ну тя к лешему, — сказал Тюля и сплюнул.

И долго лежат оба молча, хлопая во тьме глазами.

Робость овладела ванькиной душой, внутри все горит и холодеет. А думы на прожитую дорогу увлекают Ваньку, по тайным тропам тащат, на провалы на звериные, черные указывают дела. Он ли это делал?.. Да, он, молодой парень — Ванька Свистопляс.

«Я человек темный, я ни при чем, — оправдывается в мыслях Ванька. — Я сирота... Мне батька чугунным пестиком башку прошиб... Мой батька мамыньку зарезал, а сам задавился...»

Но совесть молчать не хочет, глушит Ваньку его же делами, его же мыслями; видит Ванька убитую, в красном платье, бабу, видит молодую растерзанную девушку и чует: хрустят под арканом хрящи надзирателевой глотки.

«Я... Я... Мой грех...»

— Ты, чортова голова, о чем это думаешь? — строго спрашивает Тюля. — Опять?!

— Я ни о чем... Мне бы вот... этово... как его... табачку...

Слышат оба: стоит кто-то у оконца, дышит.

— Эй, есть кто живой?

Поднялся Ванька. Две бутылки с молоком просунулись сквозь решетку, калач пшеничный, картошка, лук.

— Примите-ка, несчастненькие... — сказала женщина и пошла прочь, заохав и запричитав.

А Ванька, прильнув к решетке и придерживая оторванное ухо, ей вдогонку посылает:

— Прости нас, баушка, грешных... То ли баушка, то ли тетушка...

Жадно вдыхал Ванька ядреный воздух наплывающей ночи и ловил каждый звук, каждый шорох. Но было тихо вблизи, лишь где-то далеко мерещились еле внятные людские голоса.

Тюля чавкал хлеб и запивал свежим молоком.

— Огонька бы, — сказал, опускаясь на пол, Ванька.

— А у тебя серянки есть? — вдруг спросил все время молчавший Антон. — У меня свечечка есть, огарочек... последний...

Ванька обрадовался его тихому голосу.

Зажгли огарок и укрепили у стены, на воткнутой щепке. Заколыхался тусклый огонек, задрожала тьма.

— Вот так и жисть наша... вроде как огарок, — раздумчиво сказал Ванька, — догорит, и аминь тому...

— Ну, ты, пое-е-хал... — огрызнулся Тюля.

Ванька, весь всклоченный и измазанный кровью, сидел, обхватив колени, на полу против Антона и смотрел на него тусклым, немигающим взглядом.

— Шел бы в уголок: ты страшный, — сказал ему Антон, — а я помолюсь, у меня дух чего-то запирает, истоптали меня всего...

Ванька отполз послушно в угол и оттуда сказал:

— Вот ты бы поучил меня, как молиться-то... Надо бы... А то я все матерком да матерком...

Антон вынул из мешка завернутый в тряпку медный образок и поставил возле себя на пол.

Вдруг Лехман так пронзительно и тонко взвизгнул во сне, что всех перепугал, все враз крикнули:

— Дедка, дедка!

Тот быстро приподнялся, протер глаза, поводил хмурыми бровями и изумленно огляделся кругом.

— Ты чего это?

— Так... Ничего... — октависто сказал и лег.

— Помоги... Настави... Укрепи, — громко и выразительно шепчет Антон и, распластавшись на полу у иконы, лежит, трясясь всем телом.

Огонек колышется, играет. Антон за всех молится. На душе у бродяг потеплело.

XX

Вся деревня обрадовалась Анне.

Только и слышалось:

— Аннушка... Краля наша... Умница...

И мужики, и бабы, и старые старики, и ребята. Про молодежь и говорить нечего.

Варька черноглазая первая прибежала. Танька пришла. Сенька Козырь с Мишкой Ухорезом пришли. Тереха-гармонист пришел.

Варька Анну к себе ночевать увела: в избе у Анны — покойник, страшно.

Молодежь всей гурьбой провожала Анну. Лишь вышли на улицу, Тереха по всем переборам саданул, девки подхватили проголосную, заунывную:

Уж и где ты, ворон, побывал,
Где, черной, сполетывал?..

Анну под руки вели подруги. Варька за талию обняла ласково.

Все веселы хорошим весельем, тихим.

Сумрачно было. Звезды мерцали с серого неба. Лица Анны не видать. Анна в белом. Анна низко наклонила голову, и как-то незаметно, сами собой, покатились из глаз ее слезы. А сердце такой светлой радостью вдруг переполнилось, что Анна не выдержала, к подругам на шею бросилась, парней обнимать начала:

— Девушки... Молодчики...

Парни смутились, встревожились, самые ласковые слова в ответ подбирали и пофыркивали носами.

И ни один из них, и никто в деревне даже взглядом не оскорбил приближавшегося анниного материнства.

— Мы за тебя, Аннушка, горой!.. Только бровью поведи...

Дальше пошли. Черный жучок Тереха не сразу в гармонь

ударил: руки тряслись от волнения, сердце шумно билось: эх, зачем он таким сморчком, замухрыгой уродился!

До варькиной избы Анну довели, а сами на горку повалили разводить ночные плясы.

Поздний вечер. Сторож с колотушкою начал дозор.

У Прова полна изба народа, мужиков меньше стало, все бабы, старухи, ребятенки. Бородулин на лавке лежит, Пров «шевелить» его не велел, завтра с понятыми подымут, в Назимово потащат, на родную землю. Бородулин весь белыми холстами да темным рядном прикрыт, — старухи натащили, за упокой души жертва.

— Прими... — шептали сокрушенно и искренно и клали земной поклон.

Лучина в светце теплилась, пламя дрожало, и дрожали по белым, известкой мазанным стенам большие тени.

Как пчелы, жужжали женщины, про покойника вспоминая: вот какой здоровый, а бог прибрал, жить бы да жить, всего вволю — богачество, почетливость, — а вот поди ж ты, смерть-то не спрашивает...

— Раздайсь, дай пройти! — сказал, протискиваясь с книгой в руке, Устин, усердный господу.

Все зашевелились; пуще завздыхали, нетерпеливо закашляли: Устин очень хорошо читает по покойникам, уж таково ли заунывно, таково ли жалостливо.

— Салты-ы-рь, — деловито протянул мальчонка Митька, указывая кулачком на книгу.

Дедушка Устин, лицо тревожное, поклонился в ноги покойнику, народу поклонился, поставил на стол опрокинутую кадушку, на кадушку псалтырь положил, нос очками оседлал, откашлялся и, часто закрестившись, начал. Он ни аза в глаза не знал, в книгу глядел зря, но это ему очень льстило: пусть будет он во всей деревне единый грамотный, и хоть частенько подумывал Устин о своей гордыне, но искушение всегда брало верх. Вот и теперь: зорко смотрит в книгу, тягучим голосом читает, — где запнется, пониже к книге склонит голову, свечкой тычет: две свечи горят — одна на кадушке, другая у Устина в левой руке.

Старухи крестятся, охают и вздыхают.

С улицы к открытому окну сторож прилип, снял шапку. Постоял-постоял, прочь пошел и вдруг ударил в колотушку так громко, что задремавший было Митька вздрогнул.

— Салтырь, — опять сказал Митька и сел на пол.

А Устин, как шмель, бубнит без передыху разное:

— Утулима богомать... Святы отцы Абросимы... Сорок мучельников... Помилуй нас... — потом передернет плечами,

стряхивая дрему, и умильно возгласит: — Со святыми успокой, господи, новопреставленного раба Ивана... Жил еси, жил, в землю отыдеши... Утулима божжа мать...

Разбредаются бабы помаленьку. Митьку домой повели. У него одна штанина засучена, другая по полу волочится. Митька трет кулачком сонные глаза и, семеня ногами, бормочет:

— А он будет кадить?.. Устин-то?..

Свечки тают, роняя восковые слезы.

Устин утомился: лысая голова, как росой, кроется потом, голос просит отдыха, гнется чрезмерно спина. Час поздний.

Даша неожиданной смертью Бородулина была потрясена. Что-то закачалось в душе ее, охнуло и порвалось.

Она, приехав, лишь скользом взглянула на покойника, потом забилась к печке за занавеску и, вся дрожа, приникла к Матрене.

Та принялась про все выпытывать, выведывать. Обняли друг дружку, зашептались.

Старушонки поближе к занавеске подвигаться стали, насторожили жадно слух, опасливо поглядывая на покойника.

Дарья все пересказала Матрене: и про Андрея-политика, и про Бородулина, и про анкино горе: «девка брюхатая, девка не в себе». И на жизнь свою жаловалась, и на мужа-солдата: с какой-то «фрей» в городе снюхался, ее, Дарью, на грех толкнул...

— Нет болезни, печаль, воздыхания, — тянет дедушка Устин.

Дарья встала.

— Прощай-ко-ся, тетынька... — надвинула на глаза черную шаль и по стенке вышла на улицу.

Она пришла в запертую варькину избу. Анна спит крепким сном. Варька на гулянке, отец ее где-то с утра куралесит, пьяная мать под столом храпит.

Испила Дарья воды, взглянула в зеркало, изумилась: чужое лицо на нее смотрит, бледное, глаза чужие, унылые. И не хочется Дарье верить, что это она в зеркале, она —Даша-ягода, Даша — солдатка разудалая, говорунья и песенница.

Садится Дарья у стола, подпирает рукой голову.

Тихо в избе. Лампа чуть светит, выгорает.

Дарья вся во власти дум, собой распорядиться не может: надо спать итти, — к месту приросла.

И вьются мысли возле Бородулина, не мертвеца, над которым гудит Устин, а возле живого, сильного, бородатого. И уж от живого Бородулина, от поселенца-вора Феденьки направляются мысли к мертвецу, вихлястой дорогой идут, крученой и неверной. И зачем сюда клонят мысли? Бородулин

жив... Кто сказал, что помер? Жив! Когда придет в себя, Дарья во всем ему покается: и как Анну хотела извести, и как с Феденькой деньги воровала. Она проклянет ворищу Феденьку, в город уедет, служить будет у барыни, мужа разыщет — примет, священнику хорошему на духу откроется, к главному архиерею говеть пойдет. Жив Бородулин, жив!..

Вспыхнула вдруг Даша, взвилась: кто-то по щеке хватил. Метнула взглядом: никто не прикасался. Сама себя спросила: «Неужто умер?» — вся кровь в виски ударила. Даша похолодела.

«К добру, али к худу?» — опять тайно спросила себя и почувствовала, как черное берет в ней верх.

Но, чтоб не видеть, не слышать, прихлопнуть черное, Даша, вся дрожа, шепчет:

— Умер... Пошто ж ты умер-то, Иван Степаныч?..

И стало ей жаль Бородулина. По-настоящему жаль, до нестерпимой боли.

— Иван Степаныч, Иван Степаныч... — стонет она. Но черное выше подымается, не дает покоя, душит Дарью.

Это феденькин охальный взор буравит сердце, это Феденька, подбоченившись лихо, стоит и хохочет, это он, чужой, пришелец, оголтелый, сатана! Его рожа в окно смотрит, он деньги купеческие украл, он подучил Дашу, не словами подучил, глазами воровскими приказал. И уж шипит подлец: «Ты убийца, ты!» — «Врешь», — хочет крикнуть Дарья, но не может: целая ватага стоит перед ней оборванцев, бродяг, бузуев, незнаемых: стоят нетвердо, топчутся, безликие, безголовые, серые, и в голос орут: «Ты убийца, ты... И Бородулина убила, и нас убьешь... Тварь, подлая...» Крепко зажмурилась Дарья, — но и так темно, лампа догорела, — крепко виски ладонями стиснула, встала, топнула: «Прочь!» — и сама себе сделала приговор: «Да, я убийца... я подлая... я тварь».

И как призналась себе, утвердила в сердце признание — точно нагишом перед народом встала: «Потаскуха... тварь...» Ох, если б нож! Лезвием его нанесла бы Дарья радость сердцу.

Мечется Дарья, ломая в потемках руки: «Матушка... заступница...» — и слышит: «Кайся, полегчает». Тут запрыгал вдруг подбородок, зашептали сами собой уста обрадованные речи. И уж некогда ей одуматься, некогда умом прикинуть, ноги несут Дарью к той избе, где еще светит огонек, где страшным сном спит Бородулин. Там Даша скажет миру, там покается, прощенье вымолит у живых и мертвого, с незнакомых бродяг, бузуев, лихой навет снимет, себя на растерзание отдаст, не себя, а тело свое, не тело, а грех свой: пусть плюют, пусть топчут, пусть!!

Бежит, не чуя ног: радостный ветер ее подгоняет, росистые ночные травы ковром легли... Хорошо, свободно.

Тюрьма... Нет, мир все простит, все покроет... А вору Феденьке, мучителю ее, — крест... А дарьиным делам, что через Феденьку объявились, и всей ее паскудной жизни — крест!.. Да, хорошо, хорошо... Вот и избушка, да, избушка. Благослови, Христос...

XXI

Постояла Даша у двери, крепко схватившись за скобку, минуточку подумала: так ли, нужно ли? Но уж ответа не было.

Она быстро шагнула в избу: два огонька дрожат, две свечки восковые. Устин скрипит, на лавке три старухи головами встряхивают, борются с дремой.

Не подымая глаз, подошла Даша к мертвому и опустилась на колени:

— Прости меня, Иван Степаныч, грешную... Это я все, я...

Устин читать остановился, на Дашу смотрит. Старухи проснулись, рты разинули.

Встала Даша с полу, — ноги не свои, дрожат, все тело дрожит. Чтоб взять над собою верх, быстро повернулась.

— Вот что, дедушка Устин, да баушки... да мир хрещеный...

Злые шаги застучали по крыльцу: рванув дверь, грозно вошел в избу Пров.

— Лешие! — зарычал он. — Вот лешие-то, вот окаянные-то... Матрен!..

Все насторожились.

— Это что же такое, Матрен... — тяжело дыша, говорит Пров Михалыч проснувшейся жене, — ведь всех наших коров, варнаки, зарезали...

— Как? Кто?! — всплеснула руками Матрена.

— Вот, Устин, будь свидетель... трех коров моих, последних, кончили, белых... у Федота двух телков зарезали...

Матрена завыла в голос, старухи, ударяя себя по бедрам, стали ахать и причитать. Устин со свечкой в руке стоял, сгорбившись, и не знал, что делать.

— Это все бродяжня, бузуи-висельники!.. — гремел Пров. — Н-ну, погод-ди!..

Пров суетливо схватил фонарь и вышел на улицу.

А Даша стоит как стояла, словно в пол вросла. Лицо красными пятнами пошло, раздуваются ноздри, все тело огнем палит. Иной стала Даша, прежней, назимовской.

— Вот что я хотела... Помер ли Иван-то Степаныч? Может, так зашелся... — как кипятком окатила она Устина

и, упруго вздрагивая ядреным телом, будто издеваясь над ветхими старушонками, проворно вышла.

Устин, разинув рот, проводил ее до двери взглядом:

— Сатано... сгинь, лукавая сатано... Тьфу!

Серая ночь была. Звезда покатилась по небу, вспыхнула и осияла сумрак. Идет улицей солдатка — мыслей нет, и уж не ветер радостный подгоняет ее, а черти хвостами подстегивают, не росистая трава стелется у ног, а сам дед-лесовой разметал по дороге свою зеленую бороду и, надрываясь, шипит: «Дура... эх ты, дура!..»

Враз все запело внутри и захохотало, все приникло, все покорилось в Дарье, груды золота рассыпались и зазвенели, а неверное сердце требует: «Бери!.. Все твое...»

Крик стоит в федотовом дворе. Тесовые ворота настежь. Федот пуще всех горланит:

— Ну, так вот, молодцы... так тому и быть... И чтобы ни гу-гу, а то всем — край!..

— Это как есть... Чтобы с согласья... Как мир...

— Но айда по домам!..

— Айда, айда!..

— Погоди «айда»... Дай — Пров придет.

Сторож с колотушкою прошагал. Петухи перекликаются. На горе три костра горят тремя звездочками. На горе песни звенят, гармошка голосит, визг, крики, хохот секут ночной свежий воздух.

Тереха «Барыню» на гармошке жарит, парни подхватывают:

Барынька, не сердись,
Туды-сюды повернись...

И опять крик, и опять хохот, и девичьи смеющиеся свирельные голоса.

Два человека к чижовке подошли, уперлись лбом в верзилу Кешку-караульщика, шепчутся. Кешка руками размахивает, что-то говорит, спорит, плюет сердито. Пошептались, ушли.

— Ну, и дьяволы!.. — крикнул Кешка, поправил кушак, потоптался на месте, еще раз крякнул и постучал кулаком в двери чижовки:

— Эй, робяты!..

Еще звезда сорвалась, слезинка небесная. Журчала бессонная речка. Из-за тайги желтым шаром вздымался месяц. А парни на горе катали трепака, били в ладоши и звонко голосили:

Дулась-дулась — улыбнулась...
Дулась-дулась — первернулась...

— Эй, робяты... упреждаю... Слышите?..
Прислушался, склонив ухо к щели... Ответа не было. Огромный, похожий на медведя, Кешка, кашляя и сопя, обошел чижовку и, поравнявшись с окошком, еще раз громко крикнул:
— Эй, робяты!
Зашевелились там, заговорили.
Кешка забрал в грудь побольше воздуха и просто сказал:
— Приготовьтесь, робятушки... Завтра вам... тово... утречком...

XXII

Тюля с Ванькой спали, и этот приговор слышали только Антон да Лехман.
Они сразу онемели и долго лежали во тьме без движения, без дум, без вздохов.
Первым очнулся Лехман:
— Ты, Антон, слышал?
Ответа не было.
— Ты спишь, Антон?
— Я слышал, — ответил, наконец, Антон и не узнал своего голоса.
Долго опять лежат молча, долго думают. В оконце лунный свет вползает.
— Все из-за тебя, Антон... Все из-за твоих денег...
Антон молчит, вздыхает и что-то шепчет.
— Ты бы взял на себя грех, Антон... Покаялся бы: мои, мол, деньги — я украл... Може, тогды тебя бы... одного бы... — и Лехман не докончил.
В груди Антона что-то булькает и посвистывает.
— Ты что ж это молчишь, Антон?.. Все молчком... Ты говори...
Тот закашлялся долгим кашлем и, наконец, сказал:
— Я согласен.
Лехман радостно заговорил:
— Вот это дело, это хорошо, Антон... Тебе все одно не жить... И мне не жить... Вот Ваньку с Тюлей жаль: может, отведем... А?
— Я согласен...
И дальше ведут разговор с большими перерывами, будто подолгу обдумывая каждое слово.
— Вот ты и покайся... Деньги, мол, я украл, сбрую, мол, я украл... Там еще что-то нашли у Тюли, шкуры, што ли... И шкуры, мол, я... Сапоги у тебя новые есть, и сапоги, мол, краденые... А?..

За дверью Кешка возится, лошадь отгоняет: лошадь стреножена, слышно, как култыхает и фыркает.

— А то давай, Антон, я приму на себя... Я встану, открою грудь и скажу: ну, молодцы, убивайте... А?

Молчание.

Лехман перевалился на бок и придвинулся к Антону.

— Право... Ведь у меня, Антон, привязки к земле нету... Я один, все равно как горелый пень в чистом поле... Ведь я старик... Будет, помаялся...

И, помолчав, добавил:

— А у тебя все-таки какая-никакая, а жена.. опять же дочерь...

Антон слезливо крикнул:

— Я сказал, что я... все приму... Понимаешь? Я!.. Ну, чего тебе... Отстань!..

И, как бы спохватившись, мягко заговорил:

— У меня нутро горит... Болезнь меня гложет, дедушка... Прости... Приготовиться нужно. Смерть...

И Антон, отмахнувшись от Лехмана, весь ушел в думы. Он напряженно всматривался в грядущее, в этот последний завтрашний день, такой непонятный, непостижимо значительный и жуткий.

«Смертынька».

Но как ни напрягал Антон свою душу, как ни нудился додумать до конца, мысль его упрямо останавливалась и меркла. Тогда Антон терял нить предсмертных своих дум и весь погружался в прошлое. Любочка вдруг встала перед ним, жена склонилась, друзья, знакомые. И все улыбаются ему, что-то шепчут, куда-то его зовут. Но Антон чувствует, знает, что это не настоящее, земное, обманное, не надо! Ему не до этого, ничего не надо, пусть все сгинет и даст покой душе.

Антон вздрагивает, мотает головой и тяжко стонет:

— Не на-адо...

Ярким мгновенным полымем вспыхивает тогда вся прошлая жизнь Антона и сгорает. Ничего нет, ничего не было, легко... Густой, глубокий мрак охватил Антона. И нет больше земли, ничего нет, все остановилось, все умолкло. Антон захолонул, раскрыл рот и перестал дышать.

«Умираю...»

И уж он не чувствует, не помнит: человек ли он, или пес, чорт ли он, или ангел, камень он или ничто, и не знает, где он: на земле или в воздухе, на вершине горы или на дне моря. Вот она кончается, рвется последняя ниточка, смерть идет... Смерть ли? Смерть, легкая... А как же Любочка, родина, белый свет?..

«Смерточка... повремени...»

Душа Антона обнажилась, утончился слух ее. Осеняет себя Антон в мыслях широким крестом...

«Господи, господи», — молитвенно замерев, ждет.

Голос человеческий мерещится ему, кто-то говорит, кто-то имя его громко произносит:

— Не скули, Антон... Крепись...

Это Лехман сказал. Взял его иссохшую горячую руку и поглаживает своей огромной корявой ладонью.

— Минутка пришла ко мне, — запинаясь, говорит Антон детским радостным голосом. — Ах, какая минутка, дедушка... Самая золотая...

И, улыбнувшись, замолкает. Уж он не может теперь понять слова Лехмана, только чует, как Лехман трясет его плечо и что-то предлагает.

— Да... Да... — шепчет Антон и опять тонет в наплывающем тумане.

И лишь сквозь туман, когда блистают в душе зарницы, произносит:

— Ты здесь?.. Ты, того... Ты, дедушка, не бойся... Она добрая... Она мать...

— Кого? Ты про кого?..

И Лехман, не дождавшись ответа, грозит высоко вскинутым кулаком и свирепо бросает в сторону деревни:

— Чер-рти... Ах, чер-рти!..

А по деревне опять пьяные голоса то приближались сплошной стеной, то вновь тонули.

— Умираю... Пить... — простонал Антон после долгого молчания.

Лехман, кряхтя и охая, зашевелился, на четвереньки встал, с трудом поднялся и, волоча ноги, пошел на голубоватый свет луны. И чтоб не потревожить спящих у самого окна Ваньку с Тюлей, ущупал их ногами, согнулся вдвое, приник к голубому оконцу и позвал:

— Караульщик, а караульщик?! Слышь! Подь-ка сюда!..

Кешка подошел.

— Дай-ка, братан, водицы...

— А где бы я тебе взял: ишь — ночь! — ответил недовольным голосом Кешка.

— Что ж нам, поколевать, што ли!!

— А уж это ваше дело...

— Черти!.. За что нас, черти, мучаете?! За что убить хотите?! — кричал Лехман и зло плевал на улицу сгустками крови.

— А уж это мужичье дело... Как мир... — невозмутимо отвечал Кешка и, дрогнув голосом, добавил: — Вы полстада быдто скотин зарезали...

— Каких скотин?! — грянул Лехман и, охнув, закаш-

лялся, схватился за грудь, грузно опускаясь на лежащих у ног бродяг.

Те крепко спали, только промычали что-то и задвигались.

Не вдруг утихло сердце Лехмана. А как утихло сердце, опять подошел к Антону и окликнул. Не ответил Антон.

Лехман в эту ночь боялся молчаливой темноты и, чтоб не чувствовать себя одиноким, стал изливать свою душу пред безмолвным товарищем.

— Смерть что? Смерть — тьфу! Все одно, что сон... Глаза зажмурил, ноги вытянул — и полеживай... Да!.. Так ли я говорю, Антон?.. И никто тебя не пошевелит — ни комар, ни вша, ни мужик, ни справник... Червь, ты говоришь? Ну-к што... Наплевать... Пусть его точит... Я тагды все равно как стерва буду лежать, как пропастина, тагды хошь в порошок меня разотри — не услышу... Верно? Ну, вот... А душа... Ха-ха!.. В нас души, Антон, нет... В нас душина, это так... Слыхал, как Тюля говорит: «Выди, душенька, из брюшенька!» Слыхал? Ну, вот, Антон, вот... Я как-то встретил в тайге, два шкелета валяются: медвежачий да человечий... Да... А возле них две змеи вьются... Может, это и есть души? А? Ну, я их придавил... Ха-ха... Ты, Антон, на небо не гляди... Там нет ничего... А жисти мне больше никакой бесконечной не надо, мне и эта надоела... Да... Будет, помаялся... Нет, ты не спорь, Антон... Ты не спорь!..

Но Антон и не думал спорить... Он лежал в забытьи и бредил.

Снаружи завозился кто-то, замок щелкнул, чуть приоткрылась дверь, и кешкина волосатая рука просунула ведро.

— Нате-ка-те, пейте-ка-те... — грустно сказал Кешка и захлопнул дверь.

Лехман жадно прильнул к ведру. Напившись, нащупал в темноте мешок, намочил его холодною водою и обмотал голову Антона.

Очнулся Антон, воды попросил и, утолив жажду, долго крестился и шептал молитву.

Полегчало у Лехмана на душе, лег он в свой угол и весь насторожился, стараясь вникнуть в слова молитвы.

Но слов было мало, и слова были самые обычные, простые. Однако они резко впивались в душу Лехмана и куда-то ее звали.

Лехман лежал с широко открытыми глазами, ему становилось страшно.

Антон уже громко вновь кует горячие слова, вкладывая в голос всю силу своей тоски и веры, словно с живым, словно с сущим говорит, стоящим возле:

— Неужели посмеешься надо мной?.. Неужели обманешь, господи?

Слышит Лехман: все дрожит внутри. Чувствует: слезы просятся.

Тихо сделалось в каморке. Только кузнечик тикал-потрескивал в мшистом пазу серебряными молоточками.

— Антон, — наконец сказал Лехман, и голос его сорвался. — Антон!.. Хоша я никаких богов не признаю... Какой бог? Ну, какой бог? Я не верю... Одначе положи за упокой моей души, за Петра, земной поклон...— тяжело вздохнул Лехман и забарабанил пальцами по полу. — Меня не Лехманом, а Петром звать...

И твердо добавил:

— Я есть убивец...

Вновь настала тишина. В каморке сразу как-то по-особому сделалось жутко.

И вдруг затряслись стены от неистового рева пробудившегося Ваньки:

— Тю-ю-ля!.. Тю-ю-ля!!. Нас убивают... Нас убьют!..

Вскочил и Тюля. Взглянули друг на друга, на оторопевших Антона с Лехманом, завыли в голос.

Лехман шевельнулся и, напрягая зрение, уставился на них. Сердце его закипело нежданной жалостью: ему неотразимо захотелось сказать что-нибудь теплое, захотелось обнять этих молодых парней и ободрить в темный час, но кто-то жадно держал оттаявшее чувство: все осталось внутри, как заклятый клад. Мучительно сделалось. Лехман еще раз порывисто шевельнулся, с силой ударил ногой в стену и, быстро отвернувшись, стал тонким, чужим голосом покашливать и крякать.

А те двое, охваченные страхом, друг друга перебивая, словно боясь упустить время, громко каялись в грехах.

У Ваньки много тяжких грехов, но он выдумывал, не замечая сам и не напрягаясь, более тяжкие. У Тюли совесть чиста была, но и он, стараясь перекричать страх души, каялся:

— Я никого не убивал, а только что я злодей, я ворина, я гнус... Ох, дедушка, ох, все мои товарищи...

— Дурачье! — овладев собою, властно бросил Лехман...— Надо-быть, сладка вам была жисть? А?.. Мила?!.

Антон тихо утешал:

— Я все приму... Не печалуйтесь...

Ванька с Тюлей смолкли.

— Огонька хоть бы вздуть,— захныкав, попросил Ванька.

— Нету, милые, догорел огарок-то... — пожалел Антон и, когда стало тихо, как бы самому себе, с остановками, тяжело переводя дух, сказал:

— Я смерти, милые мои, не боюсь... Я людей боюсь, зверья. Вот я не знаю, как они... То ли веревкой задавят, то ли топором... Али из ружья... Из ружья оно бы лучше... А то вот я боюсь — топором... Лица-то его, зверя, боюсь, глаз-то... Как побежит-то да замахнется-то... Вот этого-то, звериного-то, пуще всего боюсь...

Ванька с Тюлей, едва дослушав до конца, вновь завыли страшным воем, и, как ни корил их Лехман, как ни ругал каморщик Кешка, стуча с улицы ногой в дверь, они, крепко обнявшись, ревели и ревели, пока их не свалил тяжкий, болезненный сон.

XXIII

Ночь была прохладная.

Караульный Кешка, тридцатилетний верзила-парень, весь изрытый оспой, безбровый, безусый, зябко вздрагивал, сидя на завалинке. Надо бы на горку сбегать, с девками подурачиться, винишка с парнями дернуть, — но нельзя бузуев оставить, дядя Пров крутой наказ дал.

И Кешка лишь издали живет в гульбе: веселая горка маячит вправо у реки, и хоть не видно там народу, зато костры дразнят кешкин недреманый взор манящими огнями, а песни с гармошкой и посвистом вздымают его душу к самым звездам: он широко улыбается, ухарски вскидывает на левое ухо картуз и, дробно притоптывая ногами, гикает:

— Й-эх-ты... но-о-о...

Но Кешка чует: в лихом выкрике нет огня, нет задора, а злоба какая-то, ярь... Он враз смолкает, веселая горка проваливается, глубокая наступает тишина. Озирается Кешка: кто-то сзади стоит за ним, нашептывает о завтрашнем страшном дне. Вздрагивает Кешка, ежится, руки в рукава глубоко заталкивает.

Знает Кешка, что завтрашний день наступит, что не сон это, а настоящее, всамделишное, но он тут ни при чем, мир его «приделил» сюда, против миру как... Да, может, еще мужики утресь прочухаются, в ум войдут. А он, Кешка, бродяг жалеет, он всех бы их выпустил... Эвона как скулят... Ух ты, господи!

Кешка проворно шарит дрожащей рукой вокруг себя, достает из крапивы холодную бутылку, жадными глотками допивает остаток вина и виновато прикрякивает:

— Ох, грехи...

И, чтоб согнать с плеч думы, набирает Кешка целые карманы камней, ставит на пень пустую бутылку и, отсчитав десять огромных, с прискоком, шагов, старательно швыряет камнями по голубому под луной стеклу.

Кешка загадал, что если с пяти камней разобьет бутылку — сбудется: знать, о веселом загадал, старательно метит, не торопясь замахивается, кончик языка выставил и прикусил, а лицо уж радостным кроется задором. Но охмелевшая кешкина рука проносит, все камни расшвырял, новые, кряхтя, набирает, а сам думает:

«Эх, хорошо бы к Мошне слетать, еще скляночку винишка добыть. Да к вдовухе закатиться бы... к толстомясой... К Тыкве...»

— Ловко ба... — вслух подтверждает Кешка.

Гвалт раздался на веселой горе, ругань. Видно, парни из-за девок схлеснулись... Хо-хо!

Кешка рассыпал камни, опустил руки и, разинув рот, слушал.

В это время, крестясь и шаркая ногами, к нему дедушка Устин подошел. Он еле на ногах держался, согнувшись чуть не до земли: в одной руке книга, в другой восковая свечка.

— Ты к каморке приставлен, Окентий? — спросил Устин и, охая, разогнул спину.

— Я самый...

— Вот что, сударик... — вплотную подошел он к Кешке. — Как придут завтра к каморке мужики — живо за мной беги... Чуешь? А то я замаялся, от покойника иду, просплю, пожалуй... Такое дело...

Он положил руку на плечо растерявшегося Кешки, часто задышал и заговорил торопливо и трогательно:

— Ты, Кешка, батюшка, того... В случае чего, дак... Они, бродяги, люди божьи... Вот-вот... Такое дело...

Кешка хотел было во всем признаться Устину: «Эвон, мол, дедушка, как мир-то порешил», — но, вспомнив грозный наказ, прикусил язык.

А Устин, прижав ладонь к груди и потряхивая головой, тихо жаловался:

— Вот здесь у меня худо, в сердечушке... Душа у меня, Кеша, батюшка, истомилась, глядя на мужиков... Прямо зверье... Грех один с ними... Да...

И загрозился Устин, и закричал:

— А не допущу... Нет!.. Отверчу змию голову!.. Да!

Кешке представилось, что не Устин, а он сам на мужиков кричит. Сжал кулачищи, крякнул и дико покосился на спящую деревню.

— А не послушают моего гласа — уйду... — ударил Устин об ладонь книгой. — Души же своей не омрачу и не опачкаю... Слово мое твердое... Знай!..

Опять Устин согнулся и пошел к своей хибарке, так же шаркая большими сапогами и подгибая ноги.

Кешка, не двигаясь, смотрел ему вослед. Потом подошел

к бутылке, отшвырнул ее носком сапога, вздохнул, попробовал затянуть песню, — язык не поворачивался, — плюнул, рукой махнул, — а ну их к ляду!.. — и, усевшись на землю, закурил трубку.

И не знал Кешка, за кем итти, кого слушать, не мог в толк взять, что именно требовал от него Устин. Жалеть бродяг... Ну, как? Выпустить их, что ли? Вскочить на коня да в волость, что ли? Так, мол, и так... Где тут, разве успеешь? Путаясь в мыслях и недоумевая, он курил трубку за трубкой.

Стало ко сну клонить. Он, засыпая, видел то косоглазую вдовуху Тыкву, то огромного медведя, идущего с поднятой дубиной прямо на него, вскидывал тогда упавшую на грудь голову, таращил сонливые глаза, беспокойно взглядывал на запор чижовки и опять поддавался дреме.

Все спало крепким предутренним сном. Вся деревня, пьяная, праздничная, встревоженная смертью Бородулина, давно залезла в свои избы, зажмурилась, угарно забредила и с присвистом захрапела.

Даже там, на горке, умолкали и ругань, и песни.

Слышит Кешка сквозь сон: верезжит где-то бегучий бабий голос. Открыл глаза, голову повернул в ту сторону, слушает. Катится по дороге голос отчаянный, визгливый:

— Я тебе покажу, жига!.. Ах ты, охальник... Ой, ма-а-мынька!

— Варька, ты?! — окликнул Кешка.

Но та не слышит, пьяно плачет и ругается с хрипом, плевками, самые непотребные слова сыплет, — не девичьи, не женские, не человечьи, смрадом от слов несет, даже Кешке невтерпеж, сплюнул, — бежит, все бежит, кривули выписывая по дороге, и на всю деревню воет:

— Донесу, окаянный, донесу... Все-о-о расскажу Прову, все!.. Я те покажу, как коров резать... Змей!! Змей!! А-а-а... С Танькой связался?!. По роже меня хлестать?! Помощь устраивать?! Ну, погоди ж, Сенька... Я те, распротак твою, выучу... Ой, ма-а-мынька...

Ей вторили псы, заливаясь со дворов осипшими за день голосами.

Кешка лениво поскреб бока, протяжно зевнул, потянулся.

Короткая летняя ночь уходила. Скрылись звезды, померкла луна, а восток мало-помалу стал наливаться розовым рассветом. Белые, припавшие к земле туманы кутали всю долину речки, тянулись к тайге и чуть не до маковок застилали ее белым тихим озером.

А вверху над туманами было ясно и радостно.

Огненная дорожка легла над туманами. Но солнце еще не скоро раздвинет застывшие небеса.

Кешка равнодушен к расцвету зари. Его сон мутит.

Он сам себе сказал:

«Ага, светает... Значит, Кешка, спим...»

Лег на рваный кусок войлока, скрючился, укрылся с головой тулупом и закрыл глаза.

В прибрежных кустах птицы пробудились, чирикнули раз-другой, с зарей поздоровались и рассыпались песнями. На речке закрякали утки, в тайге кукушка куковать принялась, где-то затянула иволга.

Кешка, засыпая, думал:

«Как бы не проспать... Как бы Устина упредить... Нет, Пров, врешь, брат... Тпрру... Не туда воротишь... Да, баба хорошая, баба ядреная... Тыква-то... Кого?.. Нет, я так... Не это... Убивать? Ага... Я Устина упрежу... Мы с ним, мы с ним... Да-а-а..»

— Ах, язви-те... клоп!

XXIV

Солнца край показался над тайгой. А пьяная деревня спит.

Пров хоть поздно лег, а уж на ногах. Бляху надел медную, к Федоту-лавочнику направляется, лицо угрюмое, Федот спит еще, поднял Федота, всех в дому поднял:

— Время... солнце встало...

Солнце кверху плывет, туман изъедает — пропал туман.

Мужики, один за другим, — скрип да скрип воротами, — все к Федоту идут, таков уговор.

Порядком народу набралось, все хозяева явились. Плохо как-то у них, уныло. Все в пол глядят, глазами не встречаются. Головы трещат, лица припухли, носы ссажены, под глазами волдыри. Молча курят трубки, за встрепанные головы хватаются, покашливают:

— Ну, дак как, ребята? — тряхнул бородою Пров.

Молчат. Цыган сказал:

— Мутит, кум... Чижало...

А уж Федот бочоночек на стол поставил, хозяйка студень подала.

— Ну-ка... Тресните... По махонькой...

Закрякали все, зашевелились, сплюнули. Водка у Федота добрая, не то что у Мошны, вон как обожгла, хо-х!..

— Я, значит, не в согласьи... — сказал рябой мужик Лукьян, прожевывая студень...

— И я... — буркнул Обабок.

— Как так не в согласьи?! — Пров с Федотом враз крикнули.

— А так что мы не жалаим... Мы, значит, спьяну тогды... А вот пускай их в волость тащат... — сказал рябой.

— В волость?! — прикрикнул на него лавочник. — Тебе, голозадому, хорошо говорить-то... Да ить волость-то их выпустит... Чорт... А ежели они сюда придут опять, да с отместкой? Нет, ребята... Это не дело... Я тоже своему добру хозяин. Они, варначье, за худым-то не постоят, у них рука не дрогнет... Эн, каких скотинушек у нас с Провом вывалили... Али опять же этого, как его... Кузьму ножом чкнули... А?! Ну-ка, выкушайте...

По другому стакашку прошлись, — водка хорошая, холодная.

Пров резоны свои повел:

— Вот ты, Лукьян, ляпнул, а не подумал... А еще кум тоже называешься... А ты вот меня не пожалел... Дочерь мою, Анну, не пожалел... Ведь кто ее улестил-то? Ведь из их же шайки, разве он — политик? Какой он, к чортовой матери, политик?! Вор...

— Ну-ка чебурахни, робятки...

По третьему выпили.

— Ну, дык чего, мужики... — прогнусил безносый мужичонок, откидывая левую ногу и подбочениваясь. — Эна как их измолотили, куды их, разве до волости мыслемо? Ха!.. Где тут...

Загалдели мужики, закрякали, распоясались, румяные сидят, вино в головы бросилось, замутило разум.

Пров твердо говорит, рубит каждое слово топором:

— Этих варнаков-то, бузуев-то... чего их жалеть... Они кто? Тьфу — вот кто... Они, собаки, в Расее людей режут, а их сюда? Пошто так-то... Разве дело? А?.. Чтоб нашу сторону гадить?!. А?!. Не, врешь! Это не закон... Это глупость! Нам не надо, чтобы пакостить... Вот поймали, ну куда их? Как по-вашему, а?.. Опять в Расею?.. Видали там их, сволочей таких... Ну, куда ж их, гадов?..

— Айда! — взревел Обабок. — Кашу слопал, чашку об пол! Айда!..

— Всем миром, робята, штобы ни гу-гу... Собча штобы...

— Вперед острастка... — поддавал Федот жару.

— За сто верст штоб бузуи к нам не подходили, штоб помнили.

— Мы им покажем!.. Язви их!..

— Ого-го-о-о!..

— Нате-ка, выкушайте для храбрости...

— Ну, ребята, а ежели Устин...

— Устин?!

И все примолкли.

— Пускай он в наше дело не вяжется! — первый закричал Цыган и сквозь зубы сплюнул.

— А-а... Святоша?.. В отцы-праотцы лезть? Врешь! —

как из бочки ухнул Обабок и, покачиваясь, долго грозил кому-то обвязанным тряпкой пальцем.

— Что ж Устин... Устин сам по себе, — сказал лавочник Федот, — он богомол...

— Богомол?! — привскочил Обабок и опять сел. — Знаем мы! Нет, ты заодно с миром греши... Ежели ты есть настоящий... Ежели ты, скажем, богомол... Дура! Вот он кто, ваш Устин... поп! Вот он кто... Ха-ха... Нет, врешь, ты не при супротив миру.. не при... Куда мир, туда ты... Дело... А он что?.. Тьфу!

И Обабок неожиданно ткнул в толстый живот Федота:

— Ты! Кровопивец! Дай-кось скорей стакан вина... Душа горит...

Пров Обабку приказал созвать парней да подводы нарядить, а то народу мало: надо бродяг подальше от Кедрозки увезти, надо Андрюшку-шпану разыскать, надо Бородулина тащить в село.

Пров сердитый: проспали мужики. Следовало б до свету справить, без шуму, потихонечку, а теперь вся деревня на ногах: мальчишки оравой по улице ходят, чего-то ждут.

— Шишь вы, дьяволята! — гаркнул Обабок и, схватив палку, погнался на ними.

Только пыль взвилась.

XXV

Мужики ватагой подошли к чижовке и молча расселись на земле.

— Кешка! — крикнул Пров, обходя чижовку.

Кешка у бревен спал. Вскочил, измятым лицом на солнце уставился и, вспомнив все, обернулся к мужикам.

— Ты так-то караулишь?! Отворяй!..

— А вам пошто? — переспросил он, робко подходя к мужикам.

Кто-то захохотал... Кто-то выругался. С земли подыматься начали.

— Это не дело, мир честной... — задыхаясь, сказал Кешка. — Они люди незащитные... Нешто можно?..

— Да ты что, па̀дло... Где ключ?!

— Я не дам! — закричал Кешка сдавленным голосом. — Я Устину скажу... — И, то сжимая, то разжимая кулаки, весь ощетинился, грозно загородив широкой спиною дверь. — Лучше не греши...

Мужики опешили. Кешка тяжело дышал, раздувая ноздри.

— Они всю ночь выли... Поди, жаль ведь... Черти...

Кешка вдруг скривил рот, замигал, отвернулся и, быстро нахлобучив картуз, стал тереть огромным кулаком глаза.

Словно по команде налетели на него Мишка Ухорез с Сенькой Козырем, сшибли с ног, притиснули, Цыган живо ключ отнял.

— Устин!.. Усти-и-ин!.. Дедушка! — барахтаясь, кричал Кешка.

Звякнул замок, заскрипела дверь.

— Тащи его... — сердито зыкнул Пров и добродушно сказал, обращаясь к стоявшим в оцепенении бродягам: — Выходи, ребята, на улку...

Те сразу очутились в жадном, молчаливом людском кольце.

С остервеневшим Кешкой едва пять мужиков справились, бросили его в каталажку, заперли дверь. Он все кулаки отбил, скобку оторвал, того гляди, дверь вышибет, грозит, ругается:

— Удавлюсь!

Толпа хохочет, острит и про бродяг забыла.

— Вот, Кешка, и ты в копчег попал...

— Не ори!.. Эн Тыква идет... Постой давиться-то...

Много народу собралось. Бабы поодаль стоят, шепчутся, девок мало — спят еще, парни, почти прямо с гулянки, среди мужиков жмутся, позевывают, клюют носом, детишки возле матерей на цыпочки подымаются, вытягивая шеи, на руки к матерям просятся.

Вся крыша чижовки, как поле цветами, усеяна ребятами.

Федота нет, ему некогда, на пашню укатил. Бродяги на колени опустились: только Лехман, выше всех среди толпы, столбом стоит, угрюмо смотрит в землю.

— Люди добрые... — тихо начинает Антон.

— Чуть жив... Осподи... — причмокивают бабы и качают головами.

— Смилуйтесь, люди добрые... Пожалейте...

И все время, пока он говорит, Ванька Свистопляс, стоя на коленях и широко опершись ладонями в землю, то и дело бухается в ноги мужикам и тихо, без слов, скулит...

— Пойдем, ребята!.. — громко сказал бродягам Пров.— Нечего тут...

Толпа утихла.

— Вставай! — приказал Пров.

— Люди добрые!.. — взмолился Антон. — Меня казните, их не трогайте... Мой грех... Я все напакостил...

— Ты?! — крикнул Крысан и вылез из толпы. — И моего мальца ножом пырнул ты?!

— Ну, я... ну... — уронил Антон.

Крысан так крепко стиснул зубы, что черная бороденка хохолком вперед подалась, а скулы заходили желваками.

— Вон лесовик-то стоит!.. Орясина-то!.. Вон кто... Бей его, ребята!!

— Стой! — схватил Пров за ворот Крысана. — Не лезь!.. Мы сами разберем.

— Дурачье... Чалдоны... — презрительно прогудел Лехман и ударил по толпе взглядом.

Сенька с Мишкой — два друга — с кулаками подлетают, громче всех орут:

— Они, варнаки, и коров перерезали... Не иначе!

На Прова напирает возбужденная толпа.

— Стой! Сдай назад!.. Черти!

— А-а-а... Заступник?..

Бабы от перепуга к месту приросли. Толпа напирает и гудит. Кто-то пальцы в рот вложил и оглушительно свистнул.

— Бей их!

Тюля отчаянно взвыл, Лехмана к земле за штанину тянет:

— Дедка, проси... Дедка, на колени...

Пров охрип:

— Сдай, тебе говорят!!!

Но голоса пьяно ревели:

— Расшибем!

Улюлюкали, кулаки сжимались, глаза метали молнии, все ходило ходуном.

И вдруг толпа враз грянула ядреным, зычным хохотом и утонувшими в смехе глазами как бы унизала неожиданно кувырнувшегося рыжего Обабка.

Обабок, ко всему равнодушный, стоял пред этим смирнехонько рядом с Провом и, мечтая о бутылочке, только что потянулся и сладко позевнул, а какой-то парнишка, наметив с крыши в Лехмана, как трахнет невзначай в широко разинутый обабков рот липкой грязью. Обабок на аршин припрыгнул и, дико выпучив глаза, шлепнулся задом наземь:

— Тьфу!!

Заливалась толпа, буйно звенела на крыше детвора, хохотали бабы, девки, Пров, хохотал бежавший по дороге веселый звонарь Тимоха, даже у Тюли смешливо заходили под глазами фонари.

А сидевший на земле Обабок усиленно плевал, отдирал грязь из рыжей бороды и по-медвежьи рявкал:

— От так вдарил!.. Язви-те...

Не дал Пров остыть смеху, замахал руками, закричал снисходительно строгим голосом, чуть улыбаясь:

— Ну, молодцы, расходись, расходись!.. С богом по домам... Бабы, девки, проваливай!..

Бродяги поднялись и глядели с надеждой на Прова.

Когда угасла последняя смешинка, опять окаменело серд-

це Прова, строгое, темное, мозолистое. Угрюмо вскидываясь взглядом на разбредавшихся баб, Пров чуял, как набухает злобой его сердце:

«Три белые, последние... Ну, погоди-и-и!»

И, когда поредела толпа, Пров отвел в сторону Цыгана да Сеньку Козыря и долго им что-то наговаривал, указывая вдаль: крутой наказ дал. Еще двоих отвел.

— Ну, так счастливо, ребята... Айда!..

— Айда! — крикнул басом оправившийся Обабок и под злым взглядом Прова зашагал к своей избе.

Повели бродяг пять мужиков.

А за ними следом другая компания пошла — Андрея разыскивать, что у Бородулина деньги утянул: его, варнака, надо изымать обязательно: он из Бородулина душу вышиб... Какой он, к лешевой матери, политик... Вор!

Про Кешку и забыли. Он орет в чижовке, но глухо, плохо слышно, Тимоху кличет:

— Где ты, дьявол, кружишься?! Живой ногой к Устину... Живо, сек твою век!..

— А подь ты к лешему! — огрызается тот, скаля зубы. — Я лучше с парнишками в городки побьюсь...

Бабы только до веселой горки дошли.

Ребятенок едва прогнали.

А карапузик Митька хитростью взял, к речке спрыгнул, бежит у воды, его не видать. Бежит-бежит да наверх выскочит, а как в лес вошли, по-за деревьями прячется, — одна штанинка со вчерашнего дня засучена, другая землю метет.

Староста Пров, отправив бродяг, решил остаться дома и медленно пошел по улице. Но чем ближе к дому, ноги быстрей несут, — мысли подгоняют их, мысли быстро заработали. И уж не замечая встречных, вбежал Пров в свою кладовку, дробовик сорвал с крючка, — вот хорошо, Матрена не заметила, — да по задворкам, крадучись, назад.

Когда бежал мимо федотовых задов, слышит — мужики галдят, вином угощаются.

«Разве тяпнуть для храбрости? Нет, дуй, не стой... Лупи без передыху...»

XXVI

Бродяги со скрученными руками шли тихо.

— Куда же вы нас ведете? — спросил Лехман.

— В волость.

Ваньке Свистоплясу в свалке, вместе с ухом, ногу повредили.

Идет Ванька, прихрамывает, ступать очень больно. Стонет.

Тюля бодро шагал бы, если б не беда: гирями беда нависла, гнет к земле, горбит. Левый глаз совсем запух, закрылся, а правый — щелочкой выглядывает из багрового подтека; как слепой идет Тюля, голову боком поставил.

Антону рук не связали, уважили:

— У меня, милые, бок поврежден...

Он нес узелок с новыми своими сапогами. Под глазами черные тени пали, щеки провалились, без шапки идет, волосы прилипли ко лбу, ворот расстегнут, на голой груди — гайтан с крестом.

Солнце подымается, ласкает утренний тихий воздух — теплом по земле стелется.

Полем идут — цветами поле убрано, — прощайте, цветы!

Медленно движутся: путь труден.

Не разговаривают, не советуются, а близко чуют друг друга, души их в одну слились. Так легче: не один — вчетвером беду несут.

Черемуховой зарослью идут — черемуха белым-бела. Воздухом не надышишься, до того сладостен и приятен запах.

Тайгою идут — хорошо в тайге. Стоит молчаливая, призадумавшись, точно храм, божий дом, ароматный дым от ладана плавает.

Вот и зеленая лужайка, вся в солнце: хорошо бы чайку попить.

— Хорошо бы, Тюля... — силится пошутить Лехман.

— Славно ба,— на полуслове понял Тюля.

Лехман шагает крупно, в груди у него хрипит, согнулся, лицо темное. Версты полторы от деревни прошли, немогота опять настигла. Нет сил итти.

В конвоиры к бродягам Крысан прилип.

Все мужики как мужики: идут, посмеиваются. Цыган бутылку вина из плисовых штанов вытащил, отпил, другому передал, третьему; только Крысан молча идет, нахлобучив на брови зимнюю свою, с наушниками, шапку, за щеками сердитые желваки бегают, зубы стиснуты, глаза рысьи, оловянные, жрут бродяг неистово. Молчком идет, чуть поодаль, ружье у него за плечами хорошее, называется «турка», медвежиное.

— Развяжите нас, пожалуйста... Комар поедом ест...

Мужики не ответили. Бродяги мотали головами, но комары жадно пили кровь.

Только до «росстани» дошли, до «крестов», где дороги таежные пересеклись, глядят — телега тарахтит. Заимочник Науменко, бывший каторжник, домой едет, корье везет.

— Куда, робяты?

— Да вот... бузуев... А вино у тебя есть?

— Есть... Вот дойдете до заимки — угощу.

Когда подошли к заимке, Крысан спросил:

— А нет ли у тебя, Науменко, лопаты хорошей али двух?

— Зачем?

— Бузуев закапывать... — пробурчал Крысан.

У Науменко бородатое лицо сразу вытянулось:

— Да что-о-о вы это, робята...

А бродяг бросило в дрожь.

Конвоиры вошли в избу. Каторжник Науменко подошел к бродягам:

— Бегите, братцы, скоренча... Я развяжу...

— Нет, — сказал Лехман. — Нам все одно подыхать... У нас все кости перебиты... — губы его дрожали, брови то лезли вверх, то падали.

Мужики, выпив по стакану, вышли и собрались в путь. Как ни отказывался Науменко итти с ними, силком принудили.

— Будешь перечить — все твое жительство спалим! — пригрозил Крысан. — Всей деревней придем...

Науменко скрепя сердце на своей лошаденке опять вслед плелся и выпытывал у братанов Власовых, в чем вина бродяг.

Антон шел, бессмысленно озираясь, и ему хотелось громко, на всю тайгу, заголосить или вскинуть вверх голову и завыть диким звериным воем.

А Ванька Свистопляс с Тюлей готовы были броситься пред мужиками, целовать им ноги и молить о пощаде и милости.

Только у Лехмана своя была дума, упрямая. Ей некуда разгуляться: в стену уперлась и бесповоротно встала.

— Бей наповал!!! — неожиданно крикнул он и враз остановился.

Сзади грянул выстрел: «турка», ружье медвежиное, грохнуло на всю тайгу и раскатилось.

— Ой, ты! — дико взвыли братаны Власовы.

Бродяги помертвели.

А Лехман назад посунулся, потом пал на четвереньки и страшно закатил глаза. Орошая пыль кровью из простреленной ноги, он ползал по дороге и сквозь стоны сек подошедшего Крысана:

— Подлец ты, а не стрелок... Гадюка...

— Замолчь, шволочь! — взмахнул Крысан прикладом. — Убью...

— Что ты, собака!.. — сгреб его Науменко.

— Удди, дьява-а-л! — рванулся Крысан.

Он весь был в злобе: захлебываясь, дышал и свирепо таращил глаза и на Науменко, и на оторопевших братанов Власовых.

Цыган далеко впереди лесом шел, песни орал. Как услыхал выстрел, выскочил на опушку и, проверив бродяг взглядом, крикнул:

— Кого?!

Братаны Власовы, высокие, белобрысые, в черных запоясанных армяках, Лехмана на телегу положили. Они мужики смирные: им бы без оглядки домой бежать, да против миру нельзя!

А мальчонка Митька что есть духу полетел домой, в Кедровку, и, вытаращив глаза, хрипло, чужим голосом ревел:

— Уй... уй... уй!..

— Ах ты, гнида! Хватай его! — пугал Цыган, притоптывая на месте.

Но тот бежал, не оглядываясь, поддергивал на ходу штанишки и не переставая выл.

Андрей очнулся и открыл глаза. Над ним голубело небо. Он осторожно приподнялся на локтях и, крадучись, огляделся. Тихо было, кругом кусты, внизу переливалась вода.

— Ловко... вот это ловко... — криво ухмыльнулся Андрей и закусил вдруг запрыгавшие губы. — Фу, чо-орт...

Он опять лег и закрыл глаза. Долго лежал так, ни о чем не думая, в каком-то полусне.

— Нет, погоди... — сорвалось у него. Он быстро сел. — Еще не все кончено... Да... — Его голос дрожал, срывался, был болезненным и рыхлым.

Андрей крепко сомкнул кисти рук и уставился в одну точку. Он старался сосредоточиться на пережитом. Но все только что происшедшее, такое дикое и непонятное, куда-то отхлынуло и померкло.

«Что это значит? Где Анна? Где Бородулин? — пытался Андрей повернуть думы и подчинить их себе, но тут же всплывало ненужное: — Надо сапоги новые... хорошо я срезал белку...» — и затуманивало главное: как быть, что делать?

«Надо разыскать Прова», — твердо сказал Андрей, пытаясь представить себе отца Анны: он никогда не видал его. Но мысль, не дав ростков, лениво затихала.

Андрей поднялся и, откинув чуб, вышел на поляну.

А в это время жадно уставились на него два человечьих глаза.

Андрей, учуяв, круто повернулся: у опушки, невдалеке от него, стоял мужик.

— Эй, дядя! — крикнул Андрей. — Проводи меня к старосте... Я политический... Из Назимова...

— А-а-а, — остолбенев на миг, протянул Пров. — Так это

ты, змей?.. — Он вскинул ружье, подбежал поближе и прицелился.

Андрей стоял неподвижно: ноги не повиновались, и пропал голос.

Зарябило в глазах у Прова, ружье закачалось, опустились руки.

— Отвела, заступница, — выдохнул Пров, перекрестился и подошел к Андрею.

Тот поднял на него глаза и достал горящим взглядом до самого его сердца.

— Ну, вот... я один... Бей! Стреляй...

Пров разинул рот и не знал, что делать.

— Дочерь моя... Анна... Эх, брат-брат...

Андрей покачнулся.

— Пров?.. Пров Михалыч?! — и сразу почувствовал, что ему нехватает воздуха.

— На-ко, оболокись... — сказал, засопев, Пров, снял армяк и бросил к ногам Андрея.

XXVII

Варька вдруг вскочила и только начала Анну будить, как отворилась дверь.

— Варюха, Сенька по тебя прислал, требовает тебя, — пропищал белоголовый Оньша. братишка Сеньки Козыря.

Варька с кулаками бросилась к парнишке:

— Убирайся, дьяволенок, покуда цел!.. Я ему нихто!.. Тре-е-бо-вал... Вот я чичас мужикам все обскажу... Живорез он... Живорез!

Парнишка выскочил, захлопнул дверь, опять чуть приоткрыл, крикнул:

— Потаску-у-ха!.. — и метнулся вниз по лестнице.

— Ты что? — встревожилась проснувшаяся Анна.

Варька стоит, опершись о печку локтем, и тяжело дышит.

— И батька-то твой, Пров-то Михалыч, хорош... — сквозь слезы выкрикивает она. — Эн бузуев кончить порешил... На что похоже?.. Псы этакие... варнаки...

Анна сразу все поняла, быстро оделась и, слова не сказав Варьке, побежала домой.

А Варька опамятовалась. Девичьи глаза Таньку видят, разлучницу. Щеки вспыхивают, белеют и вновь загораются, словно тяжелая сенькина рука раз за разом бьет по ее лицу.

На голоса путь свой правит Варька, торопится, как бы Сенька не настиг, бегом припустилась и, не помня себя, вбежала в федотов двор.

А в федотовом дворе—веселье. Мужики кричат, хохочут, в ладоши бьют:

— Оп!.. Оп!.. Оп!.. Ай да молодка... Наяривай. Обабок... Не подгадь...

Пьяный Обабок в валеных сапогах возле назимовской Даши пляшет, а та, вся в алых кумачах, дробно пристукивая полусапожками, топчется, шутливо ударяя платком по плечу Обабка, и покрикивает:

— Ой, да и чего же мне не гулять!..

Вспотевший Обабок задохнулся,—валенки ходу не дают,— мужики хохочут пуще.

— На̀, Обабок, клюнь... Выкушай!..

Обабок водку тянет, а возле Дарьи уже двое других плясунов роют каблуками землю.

— Варька, иди, становись в круг...

Та, высмотрев Федота, к нему направилась, а хмельная Даша—к ней.

— Ой, девонька... Весело-то мне как... Гуляй знай, солдатка... мужняя жена... Гуляй!.. Поминай Бородулина!..

Она вдруг заплакала и, плача, стала целовать Варьку, а та, вырываясь, кричала мужикам:

— Вот что, хрещеные... Вы пошто бузуев убивать повели?

— Жисть свою пропиваю! — взвизгивала Даша.

— Они тут ни при чем... Это Сенька-жиган!..

— Плюй мне, девонька, в глаза!

— Он коров всех перерезал... Сенька...

Но мужики ничего не понимают, — Федот пьяней вина,— меж собою ссору завели.

Даша плачет:

— Ой, нехорошо... Головушка скружилась.

Варька Федоту в самые уши кричит:

— Дяденька Федот, спосылай мужиков-то! Пусть вернут... Долго ль на лошади... Это што ж тако, господи...

— Варька?.. Эй, Варька!.. — Обабок к ней подходит. — На-ка, тяпни... Плюнь Сеньке в рыло... Во-от...

— Да, дяденька Обабок...

— Пей!..

— Варька... Варва-а-рушка... Пляши!.. — окружили мужики.

— Даша... Дарья Митревна... Пригубь...

— Эх, молодайки... Ай-ха!..

— Бузуев-то... Ради Христа...

— Бузуям — смерть!

Тогда Варька, обругав по-мужицки пьяных, вырвалась из угарного кольца и побежала к Прову.

А навстречу ей Анна, простоволосая, на бородулинском коне скачет:

— Варька, беги скорей к Устину... Я за тятькой... Я их наздогоню!.. — и скрылась в прогоне.

Дедушка Устин давно уже на ногах, по хозяйству управляется: бабы нет, один. Все Кешку ждал. Нет Кешки—сам пошел.

На улице ни души. Только мальчишки кричали ему:

— Бузуев-то увели, дедка...

Устин—бегом, на ходу разулся, сапоги далеко от себя швырнул. Варька встретилась:

— Дедушка, родимый...

Устин дико уставился на трясущуюся Варьку.

Потом вдруг круто повернул и проворно, по-молодому, будто живой воды хлебнул, побежал вдоль улицы.

— Айда! — крикнул он Тимохе и махнул рукой. — Бей сполох... Да шибче... Со всей силы чтоб!..

Тимоха вскочил, огляделся кругом, глуповато улыбнулся и, гогоча во все горло, припустился к часовне.

А дедушка Устин в край деревни к своей избушке бросился.

— Нет, стой, хрещеные... Я вас возворочу...

XXVIII

— А не уволите ли вы нас, ребята? — на ходу робко спросили Власовы.

— Хе! — по-собачьи оскалил белые зубы Цыган. — Вы очень даже хитропузые... Я вас так уволю, что...

Власовы прикусили языки.

Науменко остановил лошадь:

— Привстань-ка, старичок...—и подложил под простреленную, в крови, ногу Лехмана свой армяк.

Лехман застонал, пристально поглядел в глаза Науменко и сказал:

— Пить.

Тот достал из передка туесок с квасом.

— Эй, ты! Цыть!

— Да ну-у, Крысан... Чего ты, всамделе...—уговаривал Науменко.

— Им все одно крышка!..

— Ну, я им заместо попа буду... Дозволь, пожалуста... вроде как причащу...—и Науменко горько улыбнулся.

Цыган захохотал. Бродяги жадно пили квас.

Науменко опять стал просить мужиков:

— Ребята, вы идите с богом домой, а мы вот с товарищем—тут недалече живет—запряжем коней да доставим людей-то в волость...

— В воло-о-ость?! — ехидно протянул Крысан и весь задергался.—А оттуда куда! Не в Расею же... Уж их тут, в Сибири-то, сколь побито?.. Си-и-ла... — и желваки за щеками быстро заходили.

— Грешите, дьяволы, одни! — с сердцем бросил вожжи Науменко.

— А это видел?! — загремел Цыган, выхватив из-за пояса топор.

Заскрипела телега. Опять пошли.

Тюля был крепче всех: его не топтали сапогами, как Ваньку и Антона... И потому, что много еще было непочатой силы в Тюле, ему неотразимо хотелось жить.

Страх исчез в Тюле, и подбитые глаза его дерзко щупали лохматую стену тайги.

Но Крысан зорко смотрит, чует, должно быть, его намерение, по пятам идет, сверлит глазами спину.

Зло берет Тюлю.

— Ты не шибко на тайгу-то пялься... — поравнявшись с ним, скрипит Крысан и хихикает.

У Тюли сжался кулак, он хотел с размаху ударить Крысана в висок, но сдержался, а левая нога его сладко ощутила лежащий за голенищем нож.

— Не сумлевайся,— бросает он Крысану, стараясь пропустить его вперед, но тот, дав Тюле тумака, сквозь зубы цедит:

— Наддай шагу...

Тюле это нипочем, широко про себя улыбается улыбкой тайной: в мыслях он уже давно по тайге пешевым скоком носится, давно на своей воле живет... Ух, ты...

У Ваньки Свистопляса все тело ноет, ресницы дрема смыкает. Идет или нейдет Ванька, жив или помер — не знает, не хочет, не может знать. Голоса спорят о чем-то, ругаются. Чуть приоткрыл глаза: скрипит телега, на ней Лехман, возле Лехмана, скрючившись, Антон. Телега скрипит, на телеге Лехман... стонет... Слипаются у Ваньки ресницы... Вздрогнул, осмотрелся, ноги сами собой идут, в кустах корова рыжая... нет, черная...

«Корова... корова...» — и вдруг, точно толкнул кто в спину, посунулся быстро носом и упал.

— Тпрру!—гаркнул Цыган.—Окривел, чорт?

— Вали, Цыган... Время...—снимая с плеча ружье, сказал Крысан, и все засуетились.

Ванька вмиг пòтом облился, и лицо его потемнело.

— От так штука, язви-те...—сказал Крысан, шаря карманы. — У тебя пули есть?

— Нету,—ответил Цыган.

— Тьфу!..—Крысан позеленел: у него всего две пули — мало.

— У тебя «турка» добрая,—сказал Цыган,—она двоих прошьет...

У Крысана дрожали руки. Запавшие рысьи глаза его о чем-то думали, решали. Крысан вздохнул.

— Ребята, хотите покурить?—предложил Цыган.

— Дай-ка, дяденька, скорей... дай!..—Ванька Свистопляс, глотая слюни, подкатился подхалимом к Цыгану и сладко взглянул в глаза.

И мелькнула у Ваньки мысль: разжалобить хмельных мужиков, умолить, укланяться, умаслить.

— Дяденьки... Цыганушко...

Ванька жадно затянулся трубкой. Он три дня не курил: голова у него сразу закружилась, запрыгала тайга, все поплыло мимо и закачалось.

Антон вытащил из-за пазухи бумажку:

— Вот тут, значит, адрес... Отпишите, ради Христа, уведомьте. Доченька моя там... Так, мол, и так... Кончился... От болезни, мол, от тифу...

— Ладно, отпишем...—буркнул Крысан.

Он поднес к раскосым своим глазам бумажку и, разорвав ее на клочья, втоптал в землю. У Антона лицо сморщилось и задрожало.

— Ай!—вдруг крикнул Крысан и вскочил.—Ребята!!

С треском и шумом Тюля в тайгу ринулся.

— Лови, лови!!

Засовались взад-вперед.

— Живо догоняй!..

Крысан прицелился на удаляющийся хруст и оглушил всех выстрелом.

— Догоня-а-а-й!..

Братаны Власовы с Науменко схватили лопаты и радостно бросились в тайгу.

А Тюля, как заяц, перекувырнулся через голову и с хриплым ревом пополз в кусты.

— Зацепило! Зацепило!—яростно выл Крысан, настигая Тюлю.

Провалившись в какую-то берлогу, Тюля перевернулся на спину, подтянул к животу скрюченные ноги и взмахивал отчаянно руками.

— Не тро-о-г! Я расейский!.. Я в ножки поклонюсь...

Сорвавшись вниз, Крысан медведем насел на раненого Тюлю. Тот, обливаясь кровью, крепко облапил Крысана и, норовя вывернуться, занес над ним нож. Крысан схватился за лезвие ножа, грыз зубами кисть тюлиной руки. И оба, словно бешеные волки, схлеснувшись и яро рыча, клубком катались по земле.

Еще немного, и Тюля, почуяв смерть, жутко завизжал.

— Ты расейский?! — прошипел Крысан, отбросив нож, и, поднявшись, как змея на хвосте, мертвой хваткой впился в горло захрипевшего Тюли.

Ошеломленные Антон и Ванька приросли к земле.

— Ну, как?! — нетерпеливо крикнул Цыган вышедшему из леса Крысану.

Тот нетвердо шел, прихрамывая и суча локтями, а челюсти его жадно чавкали, словно наскоро перегрызали кость.

— Устукал, нет?

— Готовый...—буркнул Крысан и перевел дух.

Антон перекрестился, Ванька, скривив рот, заморгал глазами, а Лехман кашлянул и шевельнулся.

— Станови их всех в ряд...—пропавшим, лающим голосом прохрипел Крысан, отер о траву замазанные кровью, изрезанные руки и стал, весь дергаясь, суетливо заряжать ружье.

— Надо двоих,—сказал Цыган и решительными шагами подошел к Антону.—Иди-ка вот сюда...

Ноги у Антона со страху подгибались.

Цыган подхватил его подмышки и поволок к сосне.

— Стой правильно...

Крысан вязал Ваньку, приговаривая:

— А то и ты, сволочь такая... того гляди, что...

Потом взяли Лехмана и поднесли к Антону. Антон не мог стоять. Он сидел под сосной, крестился и шевелил белыми губами.

Подняли Антона на ноги, вновь прислонили спиной к сосне и вплотную к нему приставили Лехмана. Огромный Лехман совсем заслонил собою щуплого Антона.

Крысан стал прикручивать вожжами к дереву это двойное человеческое тело. Лехман с ненавистью плюнул в ненавистные раскосые глаза Крысана. Тот размахнулся и, крякнув, ударил старика в нос.

— Хор-рош молодчик... — боднул головой Лехман; из разбитого носа побежала кровь.

Солнце светило во-всю. Вблизи куковала кукушка. Набежавший ветерок прошумел вершинами и осыпал голову Лехмана золотыми иглами хвой.

Вдруг лошадь посмотрела назад, поводила ушами и заржала.

Цыган крикнул:

— Защурься, старик!

А Крысан взвел курок. Ванька в страхе опрокинулся вниз лицом и по-бабьи заголосил.

— Прощай, белый свет... простите, братцы... Спасибо...— громко, отчетливо сказал мужикам Лехман. Он повернул

назад голову, тронул локтем стоявшего сзади полумертвого Антона и простился с ним дрожащим, в слезах, голосом: — Антонушка, голубь, прощай... Прощай, товарищ милый.

Грохнул выстрел. Лехман клюнул носом, точно его по затылку ударили. Еще раз боднул головой, еще раз... пожевал губами, и голова его низко упала на грудь.

Цыган с Крысаном подбежали к Лехману.

— В сердце...—хладнокровно сказал Крысан.

Когда развязали вожжи и отбросили тело Лехмана, Антон тоже упал.

— Этого не тронуло... — сказал Цыган, осматривая грудь лежавшего в обмороке Антона: — в том, окаянная, засела, в старике.

— Да-ко-сь скорей топор... Али сам долбани...

— Вали ты... А я эту пропастину-то ахну, — покосился Цыган на Ваньку и выворотил из земли огромный камнище.

— Ну, шпана чортова, подставляй башку!

Вдруг, едва не стоптав их, примчалась на коне Анна.

Сразу, молча, соскочив с лошади, к Лехману с Антоном подбежала:

— Мать, владычица...

В руках у нее жилетка, в тайге нашла, Андрея жилетка рваная.

Размахнулась Анна и со всех сил хлестнула Цыгана жилеткой по лицу. От внезапного удара жутких глаз Анны Цыган упал.

— Ой, ты! Оставь... оставь...—бормотал он и полз по земле, заслоняясь рукой.

Губы Анны прыгали. В гневе, вмиг к Крысану обернулась.

— Убегай!!—взвыл Цыган...—Бешеная... Изъест!! Ой, ты!

Крысан, выбросив навстречу Анне руки, быстро пятился к тайге и, ошеломленный, хрипел:

— Анна Провна... Что ты, что ты... Аннушка!—и, метнувшись вбок, стремглав кинулся под гору.

Анна пошатнулась, запрокинула с растрепанными косами простоволосую голову, схватилась за виски и так мучительно и страшно застонала, что Ванька Свистопляс, испугавшись, крикнул:

— Умница! Умница...

— Ой, кровушка моя...—Анна перегнулась вся, повалилась на землю и дико захохотала-заплакала.

Ванька с открытым ртом, весь в поту, скакал к ней связанными ногами:

— Умница... Умница!!. Очкнись!

XXIX

Глуповато улыбаясь, Тимоха бьет сполох. Колокол гудит, колокол один за одним упруго отбрасывает звенящие удары, торопливо гонит их во все стороны и медным горохом дробно рассыпает по тайге. На краю деревни горела изба Устина.

— Тащи, ребята, топоры!—пьяно шумел народ.

— Топоры-ы-ы...

— Сади бревном...

— Бревно! Бревно-о-о...

Обабок охрипшим голосом кричал:

— Где дедка Устин?.. Где он?..—и лез в огонь.

Его схватывали и отбрасывали прочь.

— Ай-ха!..—гремел Обабок и снова лез.

Но избенка уж догорала.

А Устин в это время был в часовне. Он стоял перед иконой и молился.

— Матушка, помоги... Заступница, помоги...

Много лет старому Устину, а никогда так не плакал.

Хоть и раньше не вовсе ладно жили мужики, однако такой черной беды сроду не было. Господи, до чего дожил Устин, мужичий дед, мужичий поп и советчик. Кто за деревню будет богу ответ держать? Он, Устин...

— Заступница, отведи грозу... Иверская наша помощница...

Настали, знать, последние времена. Колесом пошла деревня. Пойло окаянное, винище, всему голова. Хоть густа тайга, бездорожна, а прокатилось-таки это лешево пойло и сюда, одурманило мужичьи башки, душу очернило, сердце опоило зельем. А солнышка-то нет, темно.

И Устин падает ниц и, плача, долго лежит так, громко печалуясь богородице:

— Утихомирь, возвороти мужиков. Постарайся для миру, для руськова... Не подымусь, покуль не тово, не этово... Ежели ты, пресвятая, о нас не похлопочешь, кто ж тогда? Ну, кто?.. Ты только подумай, владычица... Утулима божжа мать...

Много Устин чувствует своим мужичьим сердцем, но словами душа его бедна.

А Тимоха яро бьет тут же, за стеною, в колокол. Колокол гудит, шумит пьяная толпа у потухшего пожара, и, слыша все это, старый Устин, весь просветленный, снова начинает со всей страстью и упованием молиться.

Слышит Устин: придвинулся к часовне рев, а тимохин колокол умолк.

— Эй, выходи-ко ты... Эй, Устин!..

— Вылазь!..

— А-а-а... Деревню поджигать?!

Вышел к ним Устин твердо. Остановился на крылечке, одернув рубаху, ворот оправил, боднул головой и строго кашлянул.

— Ты... ты... тьфу!.. Кабы деревня-то пластать-тать-тать... Старый ты чорт!.. — все враз орут пьяными глотками.

Много мужиков. Устин силится перекричать толпу, но голос его тонет в общем реве.

— Тащи его за бороду... Дуй его!..

— А-а-а? Жечь?!.

Устин вскидывает вверх руки, и над толпой взвивается его резкий голос.

Мужики, постепенно смолкая, плотней стали облегать крыльцо, тяжело сопя и грозя глазами.

— Ах вы, непутевые... — начал Устин, и не понять было: улыбка ль по его лицу скользит, или он собирается заплакать. — Вы чего ж это, робяты, надумали, а? Куда бузуев дели, где они, а?! — весь дергаясь, выкрикивал Устин, притопывая враз обеими ногами и встряхивая головой, будто собираясь клюнуть стоявшего перед ним Обабка. — За винище руки кровью замарали... Тьфу!.. А бог-то где у вас? А? Правда-то?

— Мы их в волость...

— В волость?.. Эй, Океитий!— окликнул Устин Кешку.— Ты чего молчишь? Где бузуи?..

— Я ни при чем... — бормотал Кешка, то нахлобучивая, то приподымая картуз, — как мир... его дело...

— Они нам поперек горла стали... — оживились мужики, — они пакостники, они парня ножом, они коров перерезали... Они...

— Врете!.. — вдруг вынырнула из толпы Варька. — А вот кто коров-то кончил... вот!.. — ткнула пальцем на Сеньку. — Чего бельмы-то пялишь?! Признавайся!

Тот, растопырив руки и весь пригнувшись к земле, коршуном к Варьке кинулся. Та в часовню.

— Бей! Нá, бей, живорез!..

— Куда прешь? Не видишь?!. — сбросив с крыльца Сеньку Козыря, взмахнул грузным кулаком каморщик Кешка.

— Ведут, ведут... Эвона!..— удивленно и громко заорали сзади.

И всей деревней побежали за околицу, навстречу показавшейся толпе.

Только дед Устин кой с кем остался и с высокого крыльца часовни, прищурив глаза, всматривался в даль.

Наступал вечер.

XXX

Тихо плетется в гору рыжая кобылка, надсадисто: в телеге трое. Невеселы идут по бокам телеги люди.

— Образумься, Аннушка... Дитятко... — говорит осунувшийся Пров.

— Подай мне Андрюшу, — тихо вскрикивает прикрученная к телеге Анна.

— Я здесь, Анна... С тобой...

— Уйди!..

Андрей-политик, путаясь в армяке Прова, идет возле Анны и гладит ей волосы. Но та мотает головой и самое обидное слово силится крикнуть, но слово это забыто.

Возле Анны, поджав руками живот, сидит Антон. Выражение лица детское, удивленное: глаза целуют каждого и каждого благодарят.

Ванька Свистопляс, причмокивая, правит лошадью. Запухшая нога его вытянута вдоль телеги, а левая рука нет-нет да и пощупает больное ухо. Он, как волк, исподлобья озирается на Крысана, глаза бегают и боязливо ширятся на показавшуюся из деревни толпу.

— Анна... — уж который раз подавленным голосом начинает Андрей.

Иссиня-бледное лицо его подергивается, на правом виске прыгает живчик, упорный взгляд прикован к Анне. В его глазах появилось что-то новое, путающее. Когда он переводит их на Прова, тот отворачивается, шумно вздыхает и никнет головой.

Братаны Власовы тоже здесь. Только бывшего каторжника Науменко нет — убежал, и нет Тюли с Лехманом.

Но Крысан, как наяву, видит старого бродягу. На Анну взгляд направит — не Анна: Лехман лежит и хрипло кричит несуразное: взглянет на Антона — Лехман сидит, раскачиваясь; зажмурится — вновь Лехмана видит, его мертвые глаза, его раскрытый беззубый рот, его простреленную залитую кровью грудь.

И уж нет в Крысане злобы, не ходят за щеками желваки, глаза погасли, пересохший рот открыт. Он весь обвис, осел, покривился, еле ноги тащит, вздымая пыль.

— Плохо вам будет, — говорит Андрей.

— А ты как-нибудь, Андрей Митрич... того... заступись... — просят мужики, — знамо, спьяну...

— Спьяну? Не в этом дело...

И мужики опять идут молча и тяжело сопят.

До деревни с версту осталось. Как спустились с горки, скрылась приближающаяся толпа, в зеленых потонула кустах.

— Тятенька, где ты? — тихо зовет Анна.— Развяжи меня, тятенька...

Но Пров едва понимает, что говорит дочь. Он вопросительно смотрит на мужиков, с ними взором советуется:

— Да, до-о-ченька, да потерпи...

А сам о надвигающейся и уже нависшей туче думает. Не о Лехмане, брошенном в тайге, не о пьяной сходке мужиков, не о зарезанных своих коровах, не о тюрьме, не о каторге — о жизни своей думает Пров: рехнулась дочь ума, кончилась и его, Прова, жизнь. Пропадай пропадом все: и Матрена, и хозяйство, и хромой сивый мерин, и деревня, и тайга, и белый свет; в могилу бы скорей, в домовину бы скорей, под крест лечь...

— Тятенька...

Пров не слышит: высокой стеной скорбь его окружила, как ночь среди бела дня окутала. Но где-то огонек дрожит: может, оклемается, может, придет в себя Анна. А эти двое — пусть живут, мир бродяг приютит, пусть только помалкивают, а старики, того убиенного, погребению всей деревней предадут, — что ж, дело божье, суд божий. Мир смолчит, сору не вынесет: друг за дружку ответ держать будут, порука круговая. Андрея можно упросить, поклониться ему: голова у него не мужиковская, научит...

— Ну, ну... — вслух роняет Пров и уже веселей поглядывает на кудрявую возле часовни рощу.

По дороге от деревни мужик скачет. По дороге от деревни впереди всех Матрена бежит, за ней ребята, за ними толпа с горы спускается.

XXXI

Подвыпившая Даша в ногах валялась у Устина:

— Дедушка ты мой светлый... Ослобони мою душеньку... С панталыку я сшиблась, дедушка...

— Никто, как бог...

А уж толпа вливалась в деревню. Все; кто оставался с Устином, поспешили навстречу.

Даша ничего не видела, кроме добрых глаз Устина.

— Судите меня, люди добрые... я, потаскуха, с Бородулиным жила... Солдатка я... воровка я...— она громко сморкалась, утирала слезы и, ползая, хваталась за устиновы босые ноги.

Устин приседал, удерживая равновесие, и весь нахохлившись, скрипел своим стариковским, с огоньком, голосом:

— Совесть, мать, забыла... Бесстыжая ты...

— У Бородулина деньги я украла... а не бузуи... Ох, светы мои...

Устин гневно всплеснул руками:

— Ведь ты... чорт ты... Ведь бузуев-то... Ах ты, ведьма!..

— Задави... Убей...

Вдруг, испугав Устина, Даша взвизгнула и бросилась к подъехавшей телеге:

— Аннушка! Девонька!..

— Тпру! — пробасил Обабок. — Приехали...

— Молись, ребята, богу, — выдвигаясь из вновь выросшей толпы, проговорил какой-то старик.

— Чего — богу... Айда домой, — сказал Пров. — Понужай, Матрен, кобылу-то.

— Стойте! — крикнул Устин с крыльца часовни и сердито одернул рубаху.

А тем временем Анну сняли с телеги, напоили холодной водой. Она всем улыбалась и что-то говорила торопливым, не своим голосом, проглатывая слова.

К дому повели ее.

— Стой, Пров! Вернись!..

— Я чичас приду, Устин... Ишь, дочерь-то...

— Стой ты... До-о-о-черь... А где еще двое, где они?.. — и Устин мотнул рукой на Антона с Ванькой.

Даша к Устину, к Прову, к Андрею лезла, что-то выкрикивала и голосила, но ее оттирала толпа.

— Куда старика дели? Где еще молодой, толсторожий?..

Толпа молчала.

Цыган сказал:

— Одного только кончили... Старика...

— Та-а-ак... — протянул Устин.

— А другой, однако, убег... Толсторожий-то... — закончил Цыган и нырнул в народ.

Толпа перешептывается и угрюмо гудит.

— Так, молодцы, так... — затихая, говорит Устин, вкладывает руки в рукава и опускает низко голову.

— Значит, убили?! — вскидывая вдруг голову, резко сечет толпу.

Толпа мнется и ежится. Мужики переглядываются, переступают с ноги на ногу, растерянно покашливая и поправляя шапки.

— Хороши молодчики... Ловко... Ай да Пров Михалыч!.. Ай да староста!..

Пров трясущимися руками прицепляет на грудь медную бляху и, кланяясь Устину, и Андрею-политику, и бродягам, и всей толпе, тихо говорит:

— Бог попустил... Терпенья нашего не стало, — голос дрожит, брови высоко взлетели.

В толпе закричали:

— Он не своей волей... Мир так порешил...

— С согласья... Мир... Мир...
— Значит, собча...
— Эфто верно, что...

Пров перевел глаза на толпу и враз почувствовал в ней родное и кровное. Он часто замигал, передернул могучими плечами, загреб в горсть бороду и вдруг повалился перед Андреем на колени:

— Мы люди темные... Мы люди забытые... Обернитесь, батюшки, на нас... Отцы родные.

Толпа недовольно зашумела. Ей непонятно было, что долгобородый, могутный Пров, староста, упрашивает какого-то бродяжку, человека никудышного.

Там, в тайге, Андрей все поведал Прову, всю душу открыл. Коротко сказал Андрей, но слова его в самое сердце Прова лали.

И потому Пров, плача, шепчет:

— Обернитесь на нас, батюшки... защитите.

У Андрея зарябило в глазах. Он пытался приподнять с земли Прова, но тот тряс головой и, крепко сжав на груди руки, не переставая, твердил:

— Кланяйся, мир хрещеный... Все кланяйтесь... И бродягам кланяйтесь...

— Стой! — кричит властно Устин. — Слушай...

Ванька с Антоном приподнялись дубом на телеге, впились в Устина и разинули рты.

Все затаились, замолкли. Все почуяли теперь большую за собой вину и грех. Всем не по себе сделалось. Замерла толпа.

Огромный Кешка утирал рукавом глаза, стараясь остановить прыгающий подбородок. Сморкались бабы, кряхтели, виновато почесываясь, мужики. Только Тимоха-звонарь весело улыбался и смотрел на все, как на петрушку на ярмарке.

Устин прошел проворно в часовню, опять вышел, держа псалтырь.

— Вот что, православные... — высоко подняв книгу и потрясая ею, начал Устин. — Я все попалил... Пожарищем вас с разбою возворотить пытал... огнем... Я все сжег... Мне, православные, ничего не надо. Я уйду от вас.

Он переступил с ноги на ногу и горько вздохнул.

— Вы, хрещеные, как волки... Это не жисть, робяты... Это один грех...

И вместе с древним Устином многие вздохнули горько и стыдились поднять от земли взгляд.

— А тут еще эвона что затеяли: человека убили!.. — возвысил до конца свой голос Устин. — Эх, вы-ы-ы...

Антон, стоя на телеге, низко Устину поклонился. Поклонился и Ванька Свистопляс.

— Вы эвон какую напраслину на них взвалили...

— Как напраслину?!. Чего мутишь?!. — раздались возмущенные крики.

Толпа зашумела, зарокотала, как по камням река.

— Слушай!! — махнул Устин. — Разве они деньги-то у купца украли?.. — Нет, врешь!.. Эн тут баба в ногах валялась из Назимова, каялась... А коров? Спросите-ка Варьку Силину... Кто?..

— Как кто? Они же...

— Сенька Козырь... А не они... Эх вы, твари!..

Толпу в жар бросило, ахнула толпа и качнулась.

Пров, теребя волосы и широко открыв глаза, с одеревяневшим лицом стоял возле Андрея. Антон на телеге крестился и кланялся Устину, а Обабок в задних рядах, запрокинув голову, булькал из бутылки.

В Андрее закипела кровь. Он окинул взглядом хмурую, понуро стоявшую толпу, и ему вспомнилась вдруг Россия. Не Акулька с Дунькой, не Пров, не Устин — Русь поднялась пред ним, такая же корявая и нескладная, с тоскующими добрыми глазами, дремучая седая Русь, но такая близкая и родная его сердцу.

Стоял пред Устином народ, как пред судьей — без вины преступник. Встала пред Андреем Русь и ждала от него золотых слов. Но что ж слова!

Глянул Андрей на тайгу. Темная-темная, густым дремучим морем охватила она Кедровку. Кто-то кричит: «Уйду»...

Андрей померк. Потные, с разинутыми ртами и ощетинившиеся, тяжело пыхтели мужики, обдавая Андрея сивушным перегаром.

— Жаль мне вас... Вот как жаль... А уйду... Прощай, робяты... — Устин земно поклонился миру и, прижав к груди псалтырь, стал спускаться с крыльца. — С вами мне не жить... Горько мне с вами... Я в тайгу уйду... Я к зверям уйду... Легче...

Всколыхнулись, заголосили кедровцы, напирая со всех сторон на сгорбленного старого Устина.

— Дедушка ты наш, милый ты наш! — кричали бабы.

— Куда? Стой! — гудели мужики, загораживая дорогу.

— Избу тебе сгрохаем, живи...

— Нет, робяты, нет...

— Пьянству зарок дадим...

— Душа требовает... Не держите меня... Раздайсь!.. Душа в лес зовет... Со зверьем легче...

По шагу, потихонечку, подвигается Устин вперед, а с ним толпа, как возле пчелиной матки рой.

Улыбающийся Тимоха во все колокола хватил. Но Кешка сгреб его за шиворот и отбросил.

А Устин все дальше подается и, обернувшись, громко кричит отставшему от него народу:

— Ну, робяты!.. В последний вам говорю!.. Заруби это, робяты, на носу. По правде живите: смерть не ждет. Пуще молитесь богу... пуще!

— Бо-о-гу?.. Святоша чортов!.. — вдруг грянул Обабок. — Мне жрать нечего... У меня шестеро ребят... У меня баба пузатая. Подыхать, што ли?!

— Верно, Обабок, правильно...

— На сборню, ребяты...

— Староста, собирай сход!.. — загалдели голоса.

Устина качнуло словно ветром. Взглянул на заходящее солнце, взглянул на Обабка, на разбредавшихся недовольных мужиков и расслабленно опустился на лежащий при дороге камень.

Обабок круто повернул и направился неверными шагами к накрепко запертому федотову двору.

— Ай-ха! — рявкнул он медвежьей своей глоткой и, загребая пыль, на всю деревню бессмысленно заорал:

Стари-инное ка-аменно зданья-а-я
Раздало-ося у девы в груди-и-и-и!..

В ушах у Устина гудело, и невыносимо ныло сердце.

— Эй ты, чорт плешатый! — донеслось до него пьяное слово. — Ну, и проваливай к дьяволу...

Сразу в двух местах кто-то охально и зло засвистал, кто-то заулюлюкал и крепко, с плеча, выругался.

— Леший с ним!..

— По его бороде, давно ему быть в воде...

— Ту-у-да ему и дорога...— и снова резкий свист и ругань.

— Богомо-ол!!

Все вмиг всколыхнулось в Устине: померкло вдруг небо, померк свет в глазах, застыла в жилах кровь. Он обхватил руками свою лысую голову и, как пристукнутый деревом, замер.

XXXII

К седому вечеру, когда зажглись в Кедровке огни, обложило все небо тучами. Со всех сторон выплывали из-за тайги тучи, тяжело, грозно надвигаясь на деревню. Сразу затихла деревня. Сжались все, примолкли, жутко сделалось. Говорили в избах вполголоса, заглядывали сквозь окна на улицу, прислушивались к все нараставшему говору тайги, и многим казалось, что кто-то хочет отомстить им за смерть Лехмана. Ежели он праведен есть человек — бог за него не помилует; ежели грешен — быть худу: накличет беду, напу-

стит темень, зальет дождем, попалит грозою. Недаром старухи слышат в говоре тайги то стоны проклятого колдуна-бродяги, то его ругань, угрозу. Колдун, колдун — это верно. Чу, как трещит тайга. Господи, спаси... Гляди, как темно вдруг стало...

К седому вечеру, лишь зажглись в Кедровке огни, старый Устин вместе с заимочником Науменко подошли впотьмах, с малым фонариком самодельным, к валявшемуся под сосной Лехману.

— Вот он... — сказал Науменко и поднес фонарь к лицу мертвеца.

Лехман, полузакрыв глаза, безмолвно лежал, а по его щекам и лохматой бородище суетливо бегали муравьи.

Устин и Науменко долго крестились, опустившись на колени.

— Я к тебе завтра утречком приду, Устин... И товарища с собой захвачу, — сказал Науменко. — Мы тут, значит, его, батюшку, тово... значит, домовину выдолбим, все такое... И в землю спустим... Да... — Голос его дрожал.

Тайга шумела вершинами, вверху вольный ветер разгуливал, трепал шелковые хвои, на что-то злясь.

— Вы мне тут, робятки, какой-нибудь омшаник срубили бы...

— Чего? — оправившись, громко спросил Науменко.

— Омшаник, мол, омшаник... Так, на манер земляночки, — напрягая голос, просил Устин.

— Ну-к чо... Ладно.

— У меня усердие есть пожить возле могилки-то...

— А?.. Кричи громчей!.. Ишь, тайга-то гудет...

— Я, мол, вроде обещанья положил...

— Так-так...

— Пожить да помолиться за упокой...

— Ну, ну... Дело доброе...

Науменко костер стал налаживать, шалаш из пихтовых веток сделал.

— Ну, прощай, Устин... Побегу я... Ух ты, как гудет!.. Страсть...

И издали, из темноты, крикнул:

— Ты не боишься?.. Один-то?!.

— Пошто? — прокричал в ответ Устин. — Нас двое...— и скользнул жалеющим взглядом по скрюченным пальцам Лехмана.

Жутко в деревне, темно, к ночи близится. Небо в черных тучах. Уже не видать, где тайга, где небо. Вдали громыхнуло и глухо раскатилось. Где-то тявкнула, диким воем залилась собака.

Погасли огни в деревне. Но никто не смыкает глаз. Лишь у Прова огонек мигает да в федотовом дому. Вот еще старая Мошна, как услыхала гром, зажгла восковую свечку у иконы, четверговую, и молится. Грозы она боится, умирать не хочется, скопит денег — в монастырь уйдет...

У Прова в избе тоскливо. Пров под образами сидит, на той самой лавке, где лежал Бородулин, еще поутру увезенный в село.

Андрей по избе взад-вперед ходит, то и дело хватаясь за голову.

— Скверно все это, скверно... Ну, как же ты, Пров Михалыч?.. Ты оглядись, подумай.

В кути у печки Матрена сидит, подшибившись. Слезы все высохли, устало ныть сердце:

— Твори, бог, волю...

— Матушка, — тихо говорит лежащая на двух шубах Анна. — Матушка, скажи тяте, чтобы... Ну, вот это-то... самое-то...

Ветер крышу срывает, того гляди, опрокинет избу.

— Экая напасть, господи, — печалуется Пров.

Он трясет в отчаянии головой и, ударив тяжелым кулаком по столешнице, ненавистно пронзает глазами мечущегося по избе Андрея.

Тот удивленно покосился на Прова и вышел на улицу. Он чувствовал, что душа его опустошена. Ему хотелось обо всем забыть, уснуть долгим сном, уйти от жизни. Но мужичий грех черной тенью ходил по пятам, ядовито над ним похохатывал, стращал, как палач жертву, и, приперев к стене, требовал ответа. Андрея бросало то в жар, то в холод. Как же поступить с мужиками? Молчать, как мертвому, покрыть их изуверство? Ответа не было, и от этого еще мучительней становилось на душе. А память услужливо подсказывала забытый случай: он где-то читал или слышал про дикий самосуд над таким же, как он, невольным свидетелем мужицкого греха.

— А ведь убьют, — выдохнул Андрей.

Он вспомнил грозные глаза Прова. Его вдруг забила лихорадка, заныл висок, и тупая боль потекла к затылку.

Шум тайги все разрастался. Было темно. Ветер озоровал на улице, мел дорогу, швыряя в Андрея пылью. Андрей зажмурился и сел на сутунок.

— Ну, научи ты меня... Измучился я, Митрич... тошнехонько... — сказал внезапно подошедший Пров.

Андрей уловил в его голосе тоску, растерянность и злобу. Пров запричитал и подсел к нему.

Оба долго молчали. Андрей вздохнул. Ему надо успо-

коить Прова, но он понимал, что случившееся больше, сильнее слов.

«Убьют или не убьют?» — мелькнуло в мыслях.

— Ну, так как? — спросил Пров. Он сидел, низко нагнувшись и пропустив меж колен сомкнутые руки. — Ведь засудят?

— Не в этом дело, — сказал Андрей. — А дети, а внуки ваши — все так же? Вот в чем главное. — Он встал и схватился за угол избы, чтобы не свалил с ног бушевавший ветер.

— А ты сам-то как? — хмуро спросил Пров. — За нас?

Но, должно быть, ветер смазал слова Прова. Андрей не слыхал или не понял их.

— Вот, скажем, тайга, — вновь почувствовал Андрей прилив бодрости. — Дикая тайга, нелюдимая, с зверьем, гнусом. А сколько в ней всякого богатства... Вот и жизнь наша, что тайга... — Он тяжело дышал и глядел сквозь мрак на широкую согнутую спину Прова. — Что ж надо сделать, чтоб в тайге не страшно было жить, чтоб все добро поднять наверх, людям на пользу? А? Подумай-ка, Пров Михалыч...

— Не так, Митрич... не про это... Тайга ни при чем...

— Ты погоди, выслушай! — крикнул Андрей. — До всего дойдет очередь, — и с жаром, взмахивая свободной рукой, сыпал словами.

Но Пров раздраженно крякнул и потряс головой. Андрей смешался. Он перестал следить за своей речью, потому что его мысль, опережая слова, неожиданно опять скакнула к тому темному, еще не решенному, на что он должен дать ответ Прову. Как помочь мужикам в беде? Бежать ли, остаться ли? А вдруг убьют? — вновь клином вошло Андрею в душу. Теперь он только краем уха прислушивался к своему голосу и, досадуя на себя, чувствовал, что говорит нудно, вяло, обрываясь и путаясь.

— Мудро... шибко мудро, Митрич... Кого тут... где уж... — прервал Пров и сердито засопел. — Засудят, всех закатают, ежели дознаются... вот ты что говори. Ну, а как ты-то, сам-то? — глухим голосом еще раз спросил он и, нахлобучив шляпу, встал. — Пойдем не то в избу, посовещаемся. Ну и ветрище!

— Пров Михалыч!.. — громко окликнул Андрей, точно вспомнив главное. — А как же Анна? Ведь ее в город надо, завтра же.

— Погоди ты — в город... — рубнул Пров. — Тут не до этого.

Блеснула, затрепыхала далекая молния. Все избы, словно из-под земли выскочив, подпрыгнули, замигали и снова исчезли.

— Гроза идет, — тревожно сказал Пров, захлопывая за собой дверь избы.

Какая-то сила заставила Андрея обернуться.

— Стой-ка... — услышал он сиплый, таящийся голос. — Эй, прохожий!

Андрей спустил с приступки ногу, шагнул навстречу голосу и лоб в лоб столкнулся с крупным, тяжело пыхтевшим человеком.

— Признал? Я каморщик, — зашептал Кешка, обдав Андрея едким запахом черемши. — Вот что, проходящий... беги, батюшка... Чуешь? Как уснет деревня покрепче — шагай в тайгу... А тех двоих, в случае, схороню... Где им... Скажу: убегли... Чуешь? А то мужики как бы не того... слых идет.

— Андрей! — открыл окно Пров. — Залазь, что ль. Время огонь тушить.

Ветер тайгою ходит, раскачал тайгу от самых корней до вершины. Трещит тайга, ухает, ожила, завыла, застонала на тысячу голосов: все страхи лесные выползли, зашмыгали, засуетились, все бесы из болот повылезли, свищут пронзительно, носятся, в чехарду играют. Сам лесовой за вершину кедр поймал, вырвал с корнем и, гукая страшным голосом, пошел крушить: как махнет кедром, как ударит по лесине, хрустнет дерево стоячее и рухнет на землю. А лесовому любо: «Го-го-го-го!»

Дедушке Устину все это нипочем. У него в руках святая книга, а на пне, в головах у тела убиенного бродяги, восковая свеча горит: здесь место свято.

Но ветер по низам пошел, метет во все стороны пламя костра, гасит восковую свечечку. Устин отходную Лехману читает, «Святой боже» поет надтреснутым своим голосом и, ежась от колеблющейся тьмы, блуждает взглядом. Кто-то притаился там, ждет. Вдруг тьма озарилась молнией. Устин сложил книгу, перекрестился и побрел в зеленый свой шалаш.

«Го-го-го...»

Крестится Устин.

Лег на зеленую хвою, шубенку накинул сверх себя — подарок Науменко. Лежит, смотрит на Лехмана, думает. Костер горит ярко, два пня смолистых зажег Науменко, будут до утра тлеть. Ветер раздувает пламя, не дает заснуть огню.

Лехман вздрагивает в лучах костра, как живой от холода, шевелит руками, сучит ногами, кивает головой...

— Нет, это ничего... — шепчет Устин и крестится, а сон уж начинает его убаюкивать и качать на волнах.

Ветер бурей ревел в тайге. Деревья стонали и точно зубами скорготали от нестерпимой боли.

Лишь закрыл Устин глаза и, благословясь, укрылся с головой шубой, слышит: стихла тайга, и раздалось два голоса. О чем-то беседу ведут, мирно так говорят, любовно, то вдруг заспорят и сердито закричат.

Один голос очень знакомый. Чей же это голос? Ах, да ведь это Бородулин говорит. Попа. Да, попа... про попа надо сказать, про отца Лексея... Это хорошо... «А что же ты такой старик, а седой?.. такой лохматый?» — говорит Бородулин. «А что же ты лежишь? Пойдем», — вновь сказал Бородулин. «Потому что надо, — ответил голос, — тут ясно».

Холодно Устину. Он скрючился. Не хочется выползать из-под шубы. А не бородулинский, незнакомый голос опять: «А где Устин? Вот тут сидел, надо мной». — «Он ушел. И от тебя ушел, и от мира ушел, он чорт». — «Врешь!»

И вдруг как ударит его кто-то по плечу ладонью:

«Вставай, старик... Спасибо...»

Без ума вскочил Устин.

— Господи Христе!..

Стегнула молния, грянул гром. И видит Устин в синем полыме: не у шалаша он, а возле Лехмана.

Белый, скрюченный, сидит рядом с ним Лехман.

— Свят, свят!.. — не своим голосом вскричал Устин.

Вновь гроза оглушительно трахнула. Устина подбросило, опрокинуло, и он, очнувшись, пустился бежать. Он бежал молча, весь объятый звериным ужасом, и ему почудилось, что сзади гонятся за ним и Бородулин, и разбойники, и оживший Лехман, и все деревья, — вся тайга несется вслед: вот-вот дух из Устина вышибут.

— Свят, свят, свят...

А удар за ударом кроет все таежные ночные голоса, гудит на всю тайгу и, спустившись в низины, раскатисто и злобно рычит.

Молния сияет синим светом беспрестанно. Звериное чутье по дороге Устина гонит в родную Кедровку.

— Согрешил... мужиков в беде бросил... Возворочусь, — стонет Устин, обессиленно переплетая во тьме старыми, страхом связанными ногами.

«Согрешил, согрешил!» — ликует темный рев тайги и, настегивая Устина свистом, гамом, хохотом, гонит вон из своего царства.

Вдруг все засияло.

— Не попусти!!. — Устин взмахнул руками и во весь рост грохнул мертвый средь дороги.

Вместе с его криком раскололись, зазвенели, рушились небеса.

Золотым мечом молния вонзилась в землю, опалила, съела тьму, всю тайгу всколыхнула, во все застучала концы и предостерегающе замолкла.

Испугалась тайга грозы небесной. Тихо стало в тайге и торжественно.

И среди густой нависшей тьмы запылали-зажглись ярким светом, как гробовые свечи, три высокие лиственницы.

Опять взметнулся ветер.

XXXIII

Дрогнула над Кедровкой ночь. Кто-то по улице скакал на коне и неистово кричал:

— Хозява! Тайга пластат!.. Эй, люди! Тайга!!. Тайга!!.

Густо и грозно из-за деревни вставало пламя, ветер крепчал и гнал огонь прямо на Кедровку.

Открывались дрожащими руками окна, высовывались взлохмаченные сном головы и, ахнув, исчезали.

Ветер стучит ставнями, заглядывает под крыши и грозит Кедровке бедой.

— Осподи, светы... — шамкает выскочившая на улицу Мошна, наскоро крестится и, со страхом взглянув на широко разметавшееся за деревней пламя, спешит скорей в избу.

Ветер пузырем вздувает юбчонку, крушит и валит старуху наземь и резко захлопывает за ней тяжелую дверь.

— Тайга занялась!.. Тайга!..

Забегали, засновали кедровцы; ожила, загалдела деревня. Встали и разлились вдруг родившиеся во дворах, под крышами, при дороге, полные испуга, голоса и звуки.

Засветились коньки и скаты мокрых крыш, вспыхнули и заиграли огнем стекла стоявших на пригорке избушек, а небеса кругом стали еще темнее и строже.

— Миколка!.. Эй, Миколка-а-а...

На горе, у часовни, бестолковая, потерявшая себя толпа. Все, разинув рты, смотрят широкими глазами на пожарище и, холодея, роняют, как в воду камни, жалкие слова.

— Ишь как садит... Ишь, ишь!..

— Придет, робяты... Ох, придет...

— Начинай молебну!.. Вздымай образа!

— Устина надо... Устина!

— Ушел Устин...

И уж стон стоит в толпе, голоса осеклись.

— Ищите Устина!.. Где Устин?!

— Ушел Устин...

Бабы слезно заголосили:

— Окаянные вы... Мучители вы...

— Замолчь!.. Ну вас...

А над тайгой разливалось море огня. То здесь, то там, словно из-под земли взрываясь, враз вставали огненные столбы и, качнувшись во все стороны, наплывали на деревню.

— Ой, край пришел... Ой, светы...

С пригорка видно, как росло и бушевало пламя, и в его пляшущем свете колыхалась и кудрявилась тайга, вся в зеленотемных тонах и переливах, а нависшая над пожарищем туча до краев набухла отблеском пламени.

На взмыленной лошаденке прискакал босой, простоволосый, страшный Пров:

— Мир хрещеный!.. Беда-а-а-а Погибель!..

И опять помчался к своему дому.

— К речке, к речке выбирайся!.. На пашни!..

Скрипят возы, храпят, поводя ушами, лошади.

— Куды прешь? Легше!..

Собаки воют и бестолково, испуганно взлаивают; снуют со скарбом в руках бабы и ребята.

— К речке, к речке!..

А ветер упругим валом, волна за волной катит над деревней, весь в золотых искрометных огоньках. Он коршуном бросается попутно вниз, метет все голоса и звуки, крутит и выкручивает по ошалелым закоулкам и улицам.

Головни, как сказочные жар-птицы, взвиваясь ввысь, несутся, гонимые ветром, куда попало, и, сложив огненные крылья, садятся среди деревни.

— Осподи, мать владычица... Шабаш...

— Окульку возьми!..

— С зыбкой... с зыбкой!..

Засинела, занялась тайга и с боков. Кедровка золотым сжималась морем.

Обабок, согнувшись под громадным узлом, зажав под пазухами двух воющих ребятишек, торопливо бежал в гору, а возле него, не давая ходу, сновали четверо парнишек, голося:

— Тятенька, тятенька... Ой, мамыньки нету...

— Ай-ха!..—орал Обабок, напрягая свои еще не проспавшиеся ноги.

Тимоха яростно бил в колокола и, прикусив язык, прислушивался к звону. Колокола зло пересмехались и дразнили Тимоху. Он размахнулся жердью и сразу сшиб два колокола.

— Что ты, окаянный... — зашипела ползущая на карачках Мошна. — Что ты?!..

— А ты чего?

— Вишь, ползу... Сто разов окружу часовню — откатится огонь.

Столетний дедушка Назар давно за деревней. Он, шаркая ногами, тащит за хвост кота. Кот в кровь исцарапал ему руки, разодрал порты.

— Огонь, огонь... Дым... — бормочет старик и, как на лыжах, не отрывая от земли ног, катит дальше.

— Проваливай, ребята... Это от вас!.. — гнал вон из своей избенки Ваньку Свистопляса и Антона каморщик Кешка.

— Это от вас!.. — взвизгнула пробегавшая беременная баба, повалилась оттопыренным животом на изгородь и страшно, нечеловечески завыла.

— Горим!.. Горим!.. — перекатывалось по деревне.

— Убегайте!.. Живо, скорей... — метался лавочник Федот, волоча по земле огромный узел.

Серой клубящейся горой валил к небу дым, сливался вверху с тучей и, колеблемый ветром, разбрасывался по поднебесью сизыми, подрумяненными облаками.

— Сюда... Сюда-а-а!..

— Эн, как взмыло...

Сразу в трех местах вспыхнули наваленные на крышах копны сена, занялись дворы, загорелась старая сухая часовенка.

И уж все живое катилось вон из деревни: с проклятием, стоном и диким ревом бежали люди; задрав хвосты и бешено мыча, скакали коровы; пронесся вдоль улицы, храпя и сотрясая землю, табун лошадей и вдруг шарахнулся врассыпную от ползущего по дороге забытого мальчонки; с кудахтаньем летели над дорогой незрячие куры. А целое стадо овец, предводимое бараном, ошалело неслось прямо на огонь.

Андрей быстро наклонился над спящей Анной, взял ее за плечо и твердо приказал:

— Анна встань.

Та вскинула веки, мутно посмотрела на Андрея, приподнялась — и вдруг вся зацвела испуганно-нежданной радостью. Вспомнить хотела — не могла:

— Ты?

— Анночка, Анна... — Андрей влек ее к двери. — Мы горим, Анна... Скорей!..

На улице, жмурясь от яркого света, Анна крикнула:

— Солнышко... Солнышко спустилось!..

— Это тайга горит...

— Пусти... не держи!

— Анна, Кедровка горит.

— Пошто мутишь? — Она рванулась и, всплеснув руками, словно подхваченная вихрем, понеслась на гору.

— Анна! Анна! — следом бросился Андрей. — Пров Михалыч!!

А Пров, хрипя в борьбе, еле сдерживал рвавшуюся за дочерью Матрену.

— Ой, пусти, злодей! — она кусалась, царапалась, плевала Прову в лицо. — Врешь, не сладишь! Ой, доченька...

Схватив жену в охапку, Пров повалил ее на землю и поволок к речке.

— Матренушка, родимая, очнись... — И его старое сердце разрывалось надвое меж женой и Анной.

Две пылавшие друг против друга избы пересекли бег Андрея. Почувствовав нестерпимый жар, Андрей закрыл голову зипуном и стремглав пронесся мимо. Справа, из-за дымящегося крыльца, ползла на четвереньках страшная, седая Мошна. Она уж тридцать раз оползла часовню и, задыхаясь в дыму, упорно шамкала:

— Сгорю, а не отступлюсь... Фу-фу... подуйте, ветры встречные, супротивные... Ох, господи... Тридцать перьвой, тридцать перьвой, тридцать друго-о-ой... А-а?.. Жарко, чертовка?.. Жарко? Вот он каков, ад-от... Во-от!..

— Эй, бабка, — уловив ее взглядом, позвал Андрей. — Не видала ли...

— Ну, где ж она? — прогудел возле него голос Прова.— Погибель... Шабаш...

И оба враз увидали Анну. Вся дрожа, Анна стояла, прислонившись к голенастой, в золотой шапке, сосне.

Как сноп пшеницы, поднял ее Пров.

— На речку! Единым духом! Дай-ка сюда зипун... Накрой!.. — сквозь дым потащил он Анну.

— Тятенька... Андреюшка... Не опасайтесь... Где мамынька?

Андрей еле поспевал вслед за Провом. Он дико озирался на бушевавший кругом огонь. Ему трудно было дышать.

— Ну, в час добрый... Андрей, доченька, лупите к островам. Я за Матреной... — крикнул Пров, когда они выбежали на берег.

Здесь все вздохнули свободно.

Закрываясь зипуном, Пров торопливо направился проулком.

— На речку, братцы, на речку!.. Бросай все! Сгоришь!! — раскатывался по пожару его голос.

В бурьяне, возле изгороди, копошились двое.

— Вы чего тут, ребята? Айда на острова! Живо! — крикнул он, узнав бродяг, и побежал дальше.

Антон повернул вслед ему голову и вновь нагнулся.

— Иванушка, голубчик... Спасай душеньку... Вздымай, благословясь.

За руки, за ноги бродяги приподняли женщину и грузно понесли.

Даша, по пояс нагая, вся розовая в лучах зарева, висла головой к земле, мела землю черной с блеском гривой волос и пьяно бормотала:

— Не бей... Не бей меня, Феденька... погубитель...

— Тащи! Чево встал! — крикнул Ванька.

— Дай дух перевести... Ой, смерть...

Андрей и Анна быстро шли вдоль берега. Ноги их увязали в мокром песке, шуршали галькой. Анна тихо улыбалась, прислушиваясь, как сзади нее звучат шаги Андрея. Она задерживает шаг, берет Андрея за руку и нежно заглядывает в его глаза.

— Андрей, — тихо-тихо шепчет Анна. — Андреюшка...

Она вся в прошлом, вся в будущем, светлом и бурлящем, как пылающая кругом сизо-огненная тайга. И не жаль ей Кедровки, не жаль утлых, обгорелых лачуг, ничего не жаль, и ничто не страшит ее, потому что Андрей с нею и все идет, как надо.

— Опирайся... Держись!

И они плечо в плечо пошли неглубоким бродом к острову через шумный речной поток. Вода стремительно неслась, вся в белой пене, словно кипела холодным кипятком.

— Ничего, тут мелко! Ну-ка!.. — заглушая говор струй, подбадривала она, почувствовав робость Андрея.

Остров большой и плоский, весь в окатных камнях, медленно приближался к ним.

— А мы уж тута-ка!.. На коне перебрели, — крикнул им Пров. — Ну, слава те Христу.

Они все тесно встали на бугор. У их ног, согнув спину, всхлипывала Матрена. Ветер разогнал здесь дым, но осиянная тьма вся дрожала от говора пламени, и воздух был насыщен жаром. По ту сторону острова речка глубже, спокойнее. Над позлащенной водой, то здесь, то там, черными кочками торчали человечьи головы.

— Отсиживаются... — твердо сказал Пров, махнув рукой.

Андрей скользнул по воде оторопелым взглядом и вздохнул.

— Которые на пашню убрались... а которые... дак... привечный спокой... чезнули, поди... — пуще завсхлипывала Матрена.

— Пьянство... пакость всякая... — сказал Пров, голос его был жесток, суров.

Анна стояла молча, серьезная. Она правой рукой держала концы разорвавшейся на груди рубахи, а левой поглаживала мать. Андрей не видел в Анне безумия, взор ее был вдумчив, спокоен.

— Сила, — задрав на огонь голову, густым, хриплым басом бухал Пров. — Силища кака пластат... Фу!

Андрей взглянул на него и удивился. Никогда он не чувствовал таким Прова. Он даже отступил от него в сторону, чтоб пристальней разглядеть его. Здесь был другой Пров, — не тот, что направил при таежной дороге в его грудь ружье, не тот, что пал к его ногам, там, у часовни, и молил его, и ронял слезы. Огромным поснвевшим медведем стоял Пров, грузно придавив землю, — скала какая-то, не человек.

Крутые плечи Прова, широкая спина, плавно и глубоко вздымавшаяся грудь накопили столько неуемной мощи, что, казалось, трещал кафтан. Большие угрюмые глаза упрямо грозили огню.

Андрей вдруг показался себе маленьким, ничтожным, незначащим, будто песчинка на затерявшейся заклятой тропе. Какой ветер метнул его сюда? Неужели всему конец? Конец его думам, его гордым когда-то мечтам?

И опять вспомнилась, стала мерещиться ему Русь, — Русь могутная, необъятная, мрачная и дикая, как сама тайга. Русь шевелилась, шептала, ворочала каменные жернова в его отяжелевшем мозгу. И чудилось Андрею, что уж сизый дым ползет по ней и клубится. Потоки подземного огня клокочут и предостерегающе стучат в просоленные слезами недра. С запада к глубокому востоку, от юга к северу гудит и хлещет по простору шквал. Все в страхе, напряженно ждет, все приникло, приготовилось: вот грядет хозяин жатвы. Русь! Веруй! Огнем очищаешься и обелишься. В слезах потонешь, но будешь вознесена.

— Сила!!

Андрей очнулся от голоса Прова. Пожар не утихал, и схлынули с Андрея все чары, все то, что провидел его новый взор. Андрей робко поднял глаза на Прова. Широкий большой мужик каменным истуканом недвижимо стоял, скрестив на груди руки. Его волосы и бороду чесал ветер, глаза попрежнему властно грозили пожару: вот-вот нагнется Пров, всадит в землю чугунные свои пальцы и, взодрав толстый пласт, как шкуру с матерого зверя, перевернет вверх корнями всю тайгу.

У Андрея неожиданно дрогнуло сердце, все замелькало в глазах, и как-то сами собой покатились слезы.

«Пров, ты можешь... Спасай...» — умиленно шептала душа, но уста не повиновались.

— Гибнет... Боже мой, все гибнет...

— Андрей! Анна! — глухо бухнул Пров. — Ничего... Пущай чистит.

Он часто задышал, высоко вскинул огромные кулаки и

так сильно ими потряс, что подрубленные в скобку волосы стали враз подпрыгивать и шлепать по ушам.

— Гори... Гори... — с тупой злобой крикнул он, и словно лопнула от натуги мощь — Пров зашатался.

Он запрокинул руки, схватился за затылок, грузно сел, привалившись спиной к пню.

— Народишко... достаток... Несусветнмо... Прахом все... — Он мотнул головой и уставился в землю.

— Тятенька, родимый, — опустилась перед ним Анна, заглядывая ему в лицо. — Не тужи, новое будет, хорошее. Тятенька, Андреюшка... мамынька...

— Живите, ворочайте, — шептал Пров, не подымая головы. — Авось, как не то... Э-хх-ма-а-а...

А пожарище неудержимо гуляло по тайге разливным морем. Вихри огня с гуденьем и рокотом взлетали к раскаленному докрасна небу, игриво и весело рассекая черные клубящиеся облака смоляного дыма. До широкой поляны докатился огонь. По ту сторону поляны вдруг шевельнулась, заплясала в лучах света стена тайги; как живые, задвигались, задрожали деревья. Пламя желтым бушующим сводом жадно загибалось над поляной.

Целым стадом, задрав пушистые хвосты, скакали через поляну белки; тявкая и щурясь на свет, осторожными прыжками, принюхиваясь, удирали лисицы. У самого пожарища, поджав уши, всплыла вдруг на дыбы медведица, запустила острые когти в кору сосны и жалобно кликала затерявшихся где-то медвежат.

«Го-го-го-го...» — пронзительно и дико, то здесь, то там, раздавалось лешево гоготанье, и резкий удар бича вместе с хозяйским деловитым посвистом хлестал и сек гудевший, осатанелый воздух.

«Го-го-го-го-го...»

Звери прислушивались, топорщили спины и покорно ускоряли бег.

А стая волков налаживала за рекой свою жуткую волчью песнь.

И за поляной занялась тайга: затрещали хвои, закурчавились. Золотыми дорожками бежал огонь по низу, как павшие из огненного моря ручейки. Невзначай застигнутые птицы взлетали над пожарищем и, охваченные горячим вихрем, камнем падали в пламя. Из прогоревших нор, куда вместе с дымом стали просачиваться огоньки, выползали последние гады-змеи.

Они шипели, выставляя жало, свивались клубящимися комками и, судорожно цепляясь за деревья, стремились под-

няться от восставшей на них земли. Но свет слепил им глаза, а огонь кропил губительными искрами.

Змеи пухли, раздувались и, падая, лопались, оставляя внутренности на золотых сучках.

Огонь шел торопливой, рокочущей лавиной, бешено неся всему смерть. Деревья, будто собираясь бежать, пытались сорваться с места, раскачиваясь и тревожа корни. Но тщетно гудели они вершинами, тщетно роняли смолистые слезы.

Еще мгновенье—и враз вспыхивает, подобно оглушительному взрыву, целая стена ужаснувшихся дерев, с треском одеваются хвои в золото, и все тонет в огне. Дальше и дальше, настойчиво и властно плывет пылающая лава, и нет сил остановить ее.

1913—1915. Томск—Петербург

КРАЛЯ

I

Стоял октябрь. Погода направилась свежая, тихая.

Солнце так же ярко светило, но уже не было в лучах его прежней ласки. Бодрящим, трезвым оком созерцало оно слегка застывшую землю. Поседели травы. Подернулись лужи и болота тонким стеклом молодого ледка. Опал лист на кустах и деревьях. Рассветы стали туманны, задумчивы утра, тревожно-чутки дни, угрюмы ночи.

А вверху, по поднебесью, лишь выглянет солнце, тянулись к югу длинными колеблющимися углами запоздавшие журавли, торопясь от грядущих бурь и непогоды в теплые страны, туда, где солнце еще не состарилось, где сверкают тихие реки да зеленеют мягкие бархатистые луга. Летят, курлыкают тоскующими голосами... Скорей, скорей...

Грустят ли, покидая север, радуются ли, стремясь в неведомые страны, — как угадать?

Лишь человек, прикованный неволей к земле, провожает их благословляющим взором; только щемящая тоска вдруг схватит его за сердце, а глаза нет-нет да и заволокутся слезой.

И загрустит человек, что нет у него крыльев.

Темным вечером, по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге ехали купец Аршинин да еще доктор Шер.

Торопились скорей добраться до города, опасаясь, как бы не вспыхнуло вновь в небе солнце и не растопило подстывшую грязь.

Сибирские дороги длинные — едешь сутки, едешь другие, третьи, а конца пути все не видать.

Купец был тучный, рассудительный, видавший виды, с большебородым ликом и веселыми, чуть-чуть наглыми глазами. Доктор — худощавый, подвижной и нервный, с растерянным взглядом больших черных глаз, безбородый.

— Скоро? — рявкнул купец.

Ямщик пощупал глазами тьму и хрипло ответил:

— Кажись, надо быть скоро... Быдто недалече...

И, быстро вскинув вверх руку, он браво зыкнул:

— Дел-а-й!..

Лошаденки боязливо покосились на кнут, проворней засеменили, и тарантас заскакал по замерзшим комьям грязи.

Темень висела кругом; но вот мигнул и опять погас огонек, а за ним мигнул другой, мигнул третий...

— Деревня?

— Она самая...

Всем вдруг стало весело.

Доктор закурил папиросу, а купец сказал:

— Жарь на земскую...

Когда лошади поплелись тише, ямщик обернулся к седокам:

— Ох, там и краля есть.. Солдаточка...

Доктор торопливо затянулся папироской, улыбнулся самому себе и переспросил:

— Краля?

— И-и-и... прямо мед...

Купец икнул на ухабе и сказал чуть-чуть насмешливо, обратясь к доктору:

— Вот бы вам, Федор Федорыч, в экономочки кралю-то подсортовать. А?.. Хе-хе-хе... Вы вот все ищете подходящего резону, да на путную натакаться не можете.

Доктор не ответил.

— Ведь жениться на барышне не думаешь? — спросил купец, переходя вдруг на «ты»: с ним случалось это часто. — Ну вот. Да оно и лучше. Возьми-ка, брат, крестьяночку. На подходящую натакаешься — как собака привяжется. Чего тебе — кровь здоровая, щеки румяные... Хе-хе-хе... Слышите?— И деловито добавил: — Только надо поприглядеться — как бы не тово... не этово...

Опять не ответил доктор.

— А звать ее Авдокея Ивановна, — сказал ямщик, видимо прислушиваясь одним ухом к разговору, и, ошпарив тройку, вновь гикнул не своим голосом: — Де-е-лай!..

Лошади птицами взлетели на пригорок, спустились, опять взлетели и, врезавшись в улицу села, понеслись по гладкой, словно выстланной дороге. У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь да еще здание школы светилось огнями. Было часов восемь вечера.

— А вот и земская...

К подъехавшей тройке подбежал дежурный десятский с фонарем и, сняв шапку, спросил:

— Лошадок прикажете али как?..

Фонарь бросал дрожащие снопы света на перекосившееся крыльцо земской, на курившихся паром лошадей. Подошли два-три мужика да собачонка.

— Вноси в избу всю стремлюндию,— сказал купец.— Куда в этаку пору ехать?..

— Куды тут, — радостно, все враз, заговорили мужики,— ишь кака темень... Ха!..

И весело засуетились возле тройки.

II

В земской тепло, пахло кислой капустой, печеным хлебом и сыростью от недомытого еще пола. Пламя сального огарка, стоявшего на лавке, всколыхнулось, когда Аршинин хлопнул дверью, и заиграло мутным колеблющимся светом по оголенным до колен ногам ползавших на четвереньках двух женщин, по их розовым рубахам и мокрым юбкам, по сваленным в кучу половикам, столам, стульям и стоявшим на полу цветам герани.

Женщины поднялись с полу, бросили мочалки и одернули торопливо подолы.

Купец размашисто перекрестился на образа.

— Ну, здравствуйте-ка...

— Здрасте, здрасте... — враз ответили обе.

А та, что постатней да попроворней, приветливо метнула карими глазами и молвила певучим, серебристым голосом, от звука которого чуть дрогнуло сердце доктора, а пламя свечи насмешливо ухмыльнулось.

— Вот пожалуйте в ту половину, там прибрано.

И стояла молча, играя глазами.

Купец подошел как-то боком, на цыпочках, неся в руках чемодан, а доктор стоял столбом и мерил с ног до головы женщину.

— Вы не Евдокия Ивановна? — спросил он.

— Да... Она самая. А вы откуль знаете?

Купец высунул из двери бороду:

— Тебя-то? Авдокею-то Ивановну не знать?.. Да про тебя в Москве в лапти звонят... Ха-х ты, милая моя...

— Милая, да не твоя...

— Ну, ладно. Давай-ка, Дунюшка, самоварчик. Сваргань, брат, душеньку чайком ополоснуть...

— Чичас.

И пошла, ступая твердо и игриво, к двери.

Босая, с еле прикрытою грудью, с двумя большими черными косами, смуглая и зардевшаяся, — вся она, вся свежая и радостная, казалось, опьяняла избу тревожным желанием, зажигала кровь и дурманила сердца.

Купец посмотрел ей вслед плотоядными, маслеными глазами.

— Ох, наваждение! Ишь толстопятая, вся ходуном ходит...

И пошел к чемодану, бубня себе в бороду:

— Ох, и я-а-ад баба... Яд!

Доктора бросило в жар.

Толстая, вся заплывшая жиром баба летала проворно по избе, расставляя столы и стулья.

— Подь в ту комнату, я половики раскину.

Доктор очнулся и пошел на улицу вслед за Дуней, а тетка полезла на печку.

Купец, утратив на время благочестивый облик, подполз к ней сзади и, ради первого знакомства, хлопнул по широкой спине ладонью.

Зарделась баба, улыбнулась и, погрозив кулаком, сказала, скаля белые, как сахар, зубы:

— А ты проворен, бог с тобой. Ерзок на руку-то.

Купец хихикнул, тряхнул бородой и, почесав за ухом, сокрушенно ответил:

— Есть тот грех, кума... Есть!

Он крадучись щипнул ее за ногу и, прищелкнув языком, прошептал:

— Кума, эй, кума... Слышь-ка.

— Ну, что надо? — сбрасывая половики, задорно спросила баба.

— Слышь-ка, что шепну тебе.

Она неуклюже повернулась к нему, свесив голову. Он обнял ее за шею и шепнул.

Вырвалась, плюнула, захохотала.

— Чтоб тебе борода отсохла!.. Тьфу!

— Вот те и борода... Стой-ка ужо...

Вошел доктор, весь радостный. Купец отскочил быстро прочь, степенно прошелся по комнате, взглянул украдкой на иконы и тяжело вздохнул. Лицо опять сделалось постным, набожным.

А баба слезла с печи и пошла, почесывая за пазухой, к двери, брюзжа на ходу притворно строгим голосом:

— Ишь, долгобородый, оха-а-льник какой... право.

Доктор быстро взад-вперед бегал по комнате, улыбался, выхватывал из жилета часы, открывал крышку, бесцельно скользил по ним взглядом, совал в карман, чтоб через ми-

нуту вытащить вновь. И никак не мог сообразить, который теперь час.

Купец, сидя под образами, в углу, наблюдал доктора, а потом плутовато подмигнул ему и, раскатившись чуть слышным смешком, долго грозил скрюченным пальцем.

— Доктор, а доктор, знаешь что?

— Ну?

Купец еще плутоватей подмигнул.

— А ведь у тебя на лике-то... хе-хе... выражение...

— Вот это мне нравится... Ну, а дальше?

И опять забегал, то и дело выхватывая из жилета часы и улыбаясь тайным сладостным мечтам.

III

Когда на столе появился большой самовар, миска меду и шаньги, купец с доктором уселись пить чай. Оба они частенько прикладывались к бутылке с коньяком.

Отворилась дверь, и легкой поступью, поскрипывая новыми полусапожками, вошла Дуня.

— Дунюшка-а-а... родименькая-а-а... иди-ка, выпей чайку с лимончиком, — обрадовался купец.

— Кушайте. Куды нам с лимоном: мы и морщиться-то путем не умеем.

И прошла в маленькую комнатку, где лежали вещи проезжающих.

В комнатке был полумрак. Дуня что-то передвигала там с места на место, лазила в шкаф, бренчала посудой.

Купец шепнул, хлопая доктора по плечу:

— Иди-ка, иди. Потолкуй.

И опять подмигнул смеющимся глазом.

Тот улыбнулся и пошел в комнату, где Дуня звякнула замком сундука.

Купец пил рюмку за рюмкой, заедая шаньгами и солеными огурцами. До слуха его долетали обрывки фраз.

— Евдокия Ивановна... — говорил доктор, и голос его дрожал. — Вы не цените красоту свою. Ваши глаза... брови...

— А какой толк в них?

— Вы любите мужа, солдата?

— А где он? Нет, не шибко люблю. Не скучаю.

А потом раздался тихий вздох, за ним другой и тихий-тихий шопот...

— Пусти... так нехорошо... не на-а-до, не надо...

— Дуня, милая...

Купец выразительно крякнул и прохрипел пьяным голосом:

— Хи-хи... Легче на поворотах!

Доктор вышел, весь встревоженный, опустился возле купца и сидел молча, закрыв лицо руками.

— Вот что, господа проезжающие, — сказала вдруг появившаяся Дуня и, поправляя волосы, добавила: — Вы, тово... лучше бы выбрались из той горницы вот сюда. Кажись, ноне урядник должен прибыть со старшиной.

— Урядник? Ха-ха... Эка невидаль! Урядник. Подумаешь... — брюзжал купец и, подавая рюмку, сказал: — Ну-ка, красавица, выпей. Окати сердечушко. Садись-ка вот так. Вот чайку пожалуйте...

Жеманясь, выпила она вино и утерла губы краем голубой свободной кофточки, из-под которой блеснула свежая рубаха. А потом села и заиграла глазами.

Доктор, овладев собою, тихо спросил:

— Так поедешь, Дуня?

У нее чуть дрогнула тонкая левая бровь.

— Пустое вы все толкуете. Разве вы можете нас, мужичек, полюбить?

Она сложила малиновые губы в насмешливую гримасу и молчала.

— Овдотья, эй, Овдотья! Иди, слышь, в баню, што ль, — проскрипел из сеней старушечий голос.

— Иду, бабушка, иду, — торопливо ответила Дуня. И, обратясь к доктору, сказала тихо, словно песню запела: — И поехала бы к тебе, и полюбила бы, да, боюсь, бросишь.

Купец ответил за доктора:

— Мы не из таких, чтобы... Наше слово — слово... Обману нет.

— И верной бы была тебе по гроб, да вижу—смеешься ты.

Доктор потянулся к Дуне с лаской:

— Милая ты моя, чистая...

— Не трог... не твое еще,— вскочила Дуня, сверкнув задором своих лучистых карих глаз.

Купец уставился удивленно в чуть насмешливое лицо ее, силясь понять, что у нее в сердце.

Дуня пошла легкой поступью к двери, а доктор — видимо, хмель в голове заходил — нахмурил вдруг брови и тяжело оперся о край стола:

— Постой!.. Слушай, Дуня! А любовник есть? Любишь кого?

Та вздрогнула, гневно повернулась:

— А тебе какое дело! Ты кто мне — муж?

И вышла, хлопнув дверью. Через мгновенье чуть приоткрыла дверь и голосом мягким, с оттенком грусти, сказала:

— Кабы был кто у меня, неужели стала бы языком трепать? Ни сном, ни духом не виновата.

IV

Когда купец был совершенно пьян, а доктор в полуугаре, в комнату быстро вкатилась толстая баба:

— Урядник! — Она влетела в соседнюю каморку и стала выносить вещи путников:— Уж вы здесь, уж здесь, господа проезжающие. Я вот тут постелю. Уж извините...

Купец, ничего не понимая, молчал, а доктор рассеянно поглядывал на носившуюся из комнаты в комнату, как угорелая, бабу.

Распахнулись сени, сначала вбежал без шапки рыжий мужичонко с испуганным лицом и бляхой на сером зипуне, за ним ввалилось какое-то чудовище необъятных размеров, с пьяным, одутловатым, лохматым лицом, с мутными, косыми, навыкате, глазами.

Впереди суетился десятский:

— Ваше благородие, вот сюда...

За ним осанистый чернобородый крестьянин со строгим, хмурым лицом.

— Ннда... нда-а-а... Ха-ха! Тоже птицы, ничего себе... Урядник...— заплетающимся языком бормотал купец. — Эй, ты, доктор, понимаешь? Урядник... можешь ты своей башкой понять? А?

Урядник, услыхав купца, появился в дверях соседней комнаты и, держась за косяки, обиженно сказал:

— У меня, господа, дело, примите к сведению: убийство в волости, надо допрос снимать... так... что... маленькую комнату мне. Покорнейше прошу...

У купца, когда он выпивал лишнее, голос становился писклывым, а временами срывался на низкие ноты. Исподлобья посматривая на урядника и теребя свою бороду, он задирчиво сказал:

— Бери-бери-бери!.. Получай на здоровье... свою комнату с периной... с двуспальной... Хе-хе! Нн-да-а! Ты человек козырный. А мы что? Мы — людишки маленькие, тварь проезжающая разная. Докторишка какой-то да купчишка паршивый, соборный староста, например, с позволения сказать. Хе-хе... Эка невидаль!

— Что-с?

— Я тебе дам — что-с! — стукнул купец кулаком в стол и, грузно шевельнувшись, как куль шлепнулся на пол.

— Вот так раз... хы... Сверзился... — бормотал он, барахтаясь меж столом и лавкой.— Господин доктор, врач! Эй, где ты? Подсоби-ка... А на Дуньку плюнь. Плюнь, не подходяще. Чи-и-стая... Солдатка-то, Дунька-то? Она-те оплетет, как пить даст. Дур-рак!

Урядник крякнул, свирепо взглянул на доктора и с треском захлопнул дверь.

Купец дополз до брошенного в угол постельника, а доктор забегал — руки в карман — по комнате и, остановившись возле пластом лежащего купца, шипел:

— Я вам не дурак! Вы пьяны! О Дуне же прошу так не выражаться. Слышите? — и опять забегал.

А купец, приоткрыв один глаз, засыпая, мямлил:

— Дур-рак! Семь разов дурак.

V

Купец спал, задрав вверх бороду и посвистывая носом.

В переднем углу, на полке, стоял большой медный крест, два медных старинных складня и медная, в виде кадила, посуда для ладана. На гвоздике висели ременные лестовки-четки.

«Народ набожный,— подумал, рассматривая, доктор, и ему было приятно, что Дуня живет в такой строгой, религиозной семье.— Должно быть, кержаки».

По комнате то и дело проходили к уряднику и обратно какие-то фигуры не то мужиков, не то баб,— доктор не обращал внимания,— а из полуоткрытых дверей доносилось:

— Он к-э-эк его тарарахнет. Да кэк наддаст...

— Трезвый?

— Како тверезый! Кабы тверезый был, нешто саданул бы ножом в бок.

Затем слышался старческий кашель и глубокий вздох:

— Ох, грех-грех...

Доктор взглянул в зеркало и не узнал себя: лицо красное, возбужденное, а мускул над правым глазом подергивался, что бывало каждый раз, когда доктор волновался.

— Ты у меня не финти, сукин сын! — вдруг за дверями заревел урядник.

— Ваше благородие, господи! Да неужто ж я смел бы?.. Что ты, что ты... Пожалей старика... Ба-а-тю-ю-шка-а...

— Я тебя пожалею. Вот я тебя пожалею!

Шел суд и расправа, а купец храпел на всю избу и охал да тоскливо попискивал самовар.

Доктор надел пальто и вышел на улицу. В висках его стучало. На душе ползало что-то, похожее на тревогу, и кралась к сердцу грусть.

Вот он тут сядет и подождет Дуню. Он скажет ей много хороших слов, ласковых и сердечных. Может, поймет его, может, даст ему счастье, надежду на хорошую, радостную жизнь.

Он сел на приступках покосившегося крыльца и, обхватив колени, вглядывался в тьму звездной ночи.

Ночь была тихая, ядреная.

На горе, за селом, колыхалось пожарище. Видно было, как клубились космы изжелта-серого дыма, а искры вились и уносились к темным небесам.

Где-то далеко-далеко заревели коровы да прогрохотала по мерзлой дороге телега. И опять тишина.

За воротами слышался чей-то разговор.

Доктор вышел на улицу. Три мужика.

— Что, пожар?

— Да, — ответили все вдруг, — рига у крестьянина горит.

— Не опасно?

— Нет... далече... так что за селом. А окромя того, тихо.

Еще что-то говорили, спрашивали его. Он отвечал и сам как будто спрашивал. Но все это — и разговоры, и зарево пожара — плыло мимо его сознания.

Он пошел во двор и снова опустился на приступки крыльца. Тоскливо стало.

— А что, Евдокия Ивановна не вернулась из бани?

— Поди, нет еще. А тебе пошто?

Доктор не знал, что ответить старухе.

— Да я так, собственно... хотел самоварчик попросить.

— Ну-к, я чичас.

Он курил папиросу за папиросой, думал:

«Чорт знает. Как это так сразу? Стра-а-нно. Это водка... все водка наделала. Пьян!»

«Водка? — прозвучало в ушах. — Водка ли?»

Вдруг выплыли из тьмы чьи-то родные, ласковые глаза, поманили, усмехнулись, прильнули вплотную, смотрят.

«Что, любишь?»

Отмахнулся рукой.

Волна за волной шли мысли, то робкие и расплывчатые, то дерзкие и неотразимо влекущие.

Вот возьмет Дуню, красавицу, каких нет в городе. Привяжет ее к себе лаской, умом. Привьет ей любовь к знанию и заживет тихой-тихой, здоровой жизнью. Может быть, уйдет в деревню. Что ж, разве таких оказий не бывает?

— Да, да, в деревню, — думал он вслух... — Понесу туда свет, знание, помощь... А если?.. А вдруг?

Он не кончил, не хотел кончать: боялся.

Пожар на горе затихал.

— Дуня, дорогая моя...

Вот скатилась с неба звезда и, вспыхнув, исчезла в синем мраке неба.

— Сорвалась звездочка... А я пьян. И не идет Дуня... Краля? Ты говоришь — краля? Допу-стим... — бормотал, потягиваясь, доктор.

Подошла собака, поласкалась, лизнула в лицо, ушла.

Выплывали откуда-то звуки гармошки и песня. Прислушался доктор.

— Должно быть, рекруты...

Голос выводил, а ему, разрывая визг гармошки, подгавкивали другие:

Как во нашем во бору,
Там горит лампадка.
Не полюбит ли меня
Здешняя солдатка?..

Залаяли собаки, набрасываясь с остервенением. Хлопнули ворота. Раздались ругань, крик. А затем большой камень, очевидно, пущенный в собаку, ударился в заплот. И опять ругань. И опять пьяная песня да лай собак.

— Что пригорюнился? Спать пора...

— Дуня!.. — Доктор вздрогнул и жадно обнял ее, теплую, пахнувшую свежим веником. — Сядь, посидим.

— Да некогда... право... Пусти...

— Сядь, поговорим.

— Нет, пусти... Некогда.

Однако села, склонив голову к его плечу, и заглянула в глаза.

— Вот я хотел сказать тебе, — начал доктор, чувствуя, как дрожь овладела им и как стучат от волнения зубы. — Хотел сказать, что полюбил тебя горячо...

— Горячо-о-о? Не обожги, смотри.

Она засмеялась тихим, хитроватым смехом.

— Хочешь ли, я возьму тебя с собою? Ты будешь моей подругой. Я покажу тебе хорошую жизнь... Хочешь?

— Ох, мутишь ты меня, барин. И зачем тебя нелегкая принесла сюда?

— Я тебя люблю... Приворожила, что ль, ты меня?

— В куфарки зовешь али как? Поди, жена али зазноба есть?

— Нету, Дуня, нету. Никогда, никто...

— Ах, бедный ты мой, бедный! Дай пожалею. — Она высвободила руку из-под накинутой на плечи шубы и стала нежно гладить его волосы, лицо.

— Один, как сыч. Столько лет без любви, без ласки. Ах, как тяжело...

А Дуня ласково, нараспев, говорила, обнимая доктора:

— Милый ты мо-о-й... робеночек мо-о-й. Дака-сь поцелую тебя.

Вот скрипнула в сенцах дверь: кто-то поставил на пол ведра и стал шарить по стене. Дуня шмыгнула на улицу и притаилась, припав к стене крыльца.

Доктор сидел молча, не двигаясь, словно боясь спугнуть сладостный сон.

Опять скрипнула дверь: закряхтел кто-то, икнул, завозился, и вдруг из темноты сеней раздался старушечий шепелявый окрик:

— Ай! Кто тут? Ты штой-то хваташь?!

— Да это я... Саквояж ищу. Чемодан...

Дуня прыснула, узнав голос купца, и плотней запахнулась в шубу.

— Чиквая-а-н? Я те такой чикваян покажу. Язви-те! Ишь облапал...

— Это ты, бабушка? — хрипел купец.

— А тебе ково? Грехо-во-о-дник...

Дуня давилась от смеха. Купец пошел к выходу, а старуха все еще шепелявила ему вдогонку:

— Чиквадан... Ишь ты, чего захотел. Какой-такой тут чиквадан про тебя доспелся... Тьфу!

Купец наткнулся на доктора:

— Ах, это ты? Мечтаниям предаетесь? Ну, ладно, мечтай, мечтай... О чистой... хе-хе.

И он полез по ступенькам, держась за поручни.

Дуня скользнула в сени, но доктор настиг ее, распахнул ей шубу и жарко целовал шею, губы, грудь.

— Пусти, — молила его, — пусти!

— Не могу...

— Пусти... ну, пусти.

А уходя, бросила:

— Эх, так и быть уж, приду к тебе.

VI

— Дуня-я-а!

Самовар опять попыхивал на столе, и поставленный на конфорку чайник задорно стучал крышкой.

Было часов десять вечера. Допрос все еще продолжался:

— Попервоначалу он его в зубы съездил, а опосля того взашей, значит... в лен.

— В лен?

— В лен, в лен.

— Та-а-к...

Купец, лежа на полу, что-то бредил, стонал, ругался.

По избе ходила толстая баба, вся красная, лазила на печь, заглядывала в шкаф.

Купец вдруг быстро-быстро заработал во сне ногами, точно стараясь от кого убежать, потом подпрыгнул на постельнике всем телом, открыл глаза и гаркнул:

— Караул! Ксы!

Баба кинулась к нему и, припав на колени, прошипела:

— Тшшш... Чтоб тебя притка задавила. Это кот. Брысь!

— То-ись как кот?

— А я почем знаю, как. Кот да и кот... Спи-ка знай.

— Боднул кто-то...

Купец сейчас же захрапел, обхватив руками голову.

Доктор, опьяненный вином и Дуней, целый час бродил по деревне. Наконец ему захотелось спать, и глаза его, утомленные, стали слипаться. Придя в земскую, он сел к столу и налил черного, как деготь, чаю. Вскоре явилась Дуня.

Она несмело подошла к полуотворенной двери и спросила:

— Вам, господин урядник, чайку не прикажете?

— Убирайся! Некогда! — послышался злой, грубый окрик.

Дуня с омерзением взглянула на жирный, ползущий на воротник загривок, торчащие из одутловатых щек усы и оттопыренные уши.

— Леший... каторжник, — сдвинув брови, обиженно прошипела она — и к выходу.

— Евдокия Ивановна! — ласково позвал доктор.

— Ну, что?

Он придвинул табуретку.

— Сядь.

Дуня улыбнулась, смахнула слезы, выпрямилась вся и, не подходя к столу, издали переговаривалась тихо с доктором.

Он раз и другой пытался подойти к Дуне, но она испуганно грозила ему пальцем, кивая глазами в сторону урядника.

— Почему, Дуня? — удивленно шепчет доктор.

— Ох, боюсь я его, окаянного, — ее лицо скорбно опечалилось, а меж крутых бровей легла морщина. — Зверь! Прямо зверь.

— Но почему? — еще удивленней шепчет доктор.

Дуня мнется, хрустит пальцами рук, взглядывает смущенно на доктора и говорит, волнуясь и проглатывая слова:

— Ох, не спрашивай ты меня, Христа ради. Услышит — убьет...

Доктор порывисто выпил водки. А Дуня шептала:

— Прямо Ирод, а не человек. Всех заездил... Всех слопал... Жену, варнак, в гроб вогнал, робят из дому выгнал. Ох-ти мне-шеньки... Змеей подколодной к мужикам присосался, кровушку-то из нас всю, как пиявица, выпил. А куда пойдешь, кому скажешь? О, беда-беда!

Доктор подозрительно смотрит на Дуню, хмурится.

Но та, как солнце из-за облака, вдруг засияла улыбкой, сверкнула радостно глазами, подбоченилась и, тряхнув бусами, гордо откинула голову:

— Вот бери, коли люба! Не гляди, что криво повязана: полюблю — в глазах потемнеет!..

Счастливый, взволнованный доктор все забыл; манит к себе Дуню, говорит:

— Вот завтра, любочка моя... вот уедем завтра...

— А не погубишь? — Она стоит, улыбается, того гляди, смехом радостным прыснет. — Ну, смотри, барин! — задорно погрозила она пальцем, а в карих глазах лукавые забегали огоньки.

Незаметно уходило время, а Дуня все еще говорила с доктором. Давно погас самовар, кончился допрос, затихла деревня вместе с собаками, песней, пожарищем, только тут двое любовно беседовали да строчил протоколы урядник.

— Подожди денечек... Ну, подожди, — вся в счастьи, в радости, просит Дуня.

— Что ж ждать-то?

— Надо, соколик мой, надо. Потерпи! Навеки твоя буду,— влагая в слова певучую нежность, шепчет она. И вдруг, с тревогой: — Ты как... крепко спишь?

— А что?

Лицо ее сделалось серьезным, в глазах мелькнул страх, но через мгновенье все прошло.

Еще нежнее и радостнее, издали целуя его, едва слышно сказала:

— Приду... на зорьке... милый.

— Что? — как камень в воду, бухнул внезапно появившийся урядник — Что?!

Дуня побелела.

Он посмотрел тупым, раскосым взглядом сначала на Дуню, потом на доктора.

— Вы огурчиков приказывали? — растерянно спросила Дуня доктора. — Чичас, — и скрылась.

Доктор уныло поглядел ей вслед: таким обычным и земным показался ему голос чародейки Дуни.

Урядник круто повернулся и пошел на свое место, оставив открытой дверь.

Доктор, посидев немного, стал укладываться спать возле купца. Сразу, как погасил лампу, комнату окутала тьма, но вскоре заголубело все в лунном свете. Хмельной угар все еще ходил в голове доктора, и, в предчувствии чего-то неизведанного, замирало сердце. Когда ложился, хотелось спать, а лег — ушел сон, и на смену ему явились думы.

Он лежит, вспоминает, улыбается. И все как-то путанно в голове, туманно. Радостно ему, что Дуня стала его подругой,

что за солдата выдали ее силой, что никогда не любила и не любит она никого, кроме него: так сказала ему она. Лежит, удивляется скоро, как в сказке. И это очень хорошо: такие вопросы надо решать сердцем. Вот завтра утром встанут, напьются чаю и уедут они в город. А потом доктор выпишет из деревни свою старуху-мать, такую же крестьянку, работящую, простую, как и его Дуня. И тогда все трое заживут вместе. Эх, хорошо! Он лежит с открытыми глазами, спать не хочется, голова идет кругом.

Из комнаты урядника выступила желтая полоса света; в ее мутно-сонных лучах вдруг стало оживать висевшее на стене полотенце. Откуда-то взялись руки, грудь, голова с черными глазами, все это дрогнуло, зашевелилось.

— Да ведь это Дуня, — удивился доктор и с досадой взглянул на полуоткрытую к уряднику дверь.

Перо скрипело в руках урядника. Вот оторвался он от стола, сжал кулаки, потянулся всем жирным телом, зевнул и по-медвежьи рявкнул.

Белое видение исчезло, словно испугавшаяся выстрела птица.

— Тьфу! — и доктор перевернулся на бок.

Было тихо. Только слышалось, как, капля по капле, падала в лоханку вода из медного рукомойника.

«Буль... буль... буль...»

Раздались удары в колокол. Плыли они тихо, разделенные большими промежутками времени, и, казалось, засыпали по дороге тихим сном.

Просчитав пять ударов, доктор забылся, ему пригрезилось, не то во сне, не то наяву, как урядник вскочил со стула, подполз на четвереньках к полотенцу, зацепил им за ввинченный в потолок крюк, сделал на полотенце петлю и повесился. Но вбежавшая, во всем красном, Дуня ахнула и быстро перестригла петлю. Урядник всей тушей упал на доктора. Тот вздрогнул и открыл глаза. Сон. Колокол еще раза три ударил и замолк. На докторе тяжелая, отекшая рука купца. Он сбросил с себя каменную руку и отодвинулся на край постельника.

Купец завозился, перевернулся на другой бок и что-то забормотал, а потом отчетливо произнес:

— Яд-баба... Яд!

Запел петух где-то близко, в сенцах, за ним другой, третий.

— Вот приду... Ох, желанный мой,— сквозь сон слышит доктор.

Притаился, слушает, незаметно засыпая.

— Ох, сладко поцелую... Обожгу тебя... О-о-о-х...

Он слушает, улыбается и засыпает все крепче.

VII

Долго ль проспал доктор, неизвестно, но встрепенулся, когда кто-то хватил его, словно шилом в бок. Вздрогнул, протер глаза.

Дверь в комнату урядника почти закрыта, оставалась лишь неширокая, в ладонь, щель.

Доктор взглянул и обмер. Протер глаза, смотрит. Опять протер, приподнялся. Глядит и не верит тому, что видит.

— Неужто?!

Он ползет к двери, прячется в тень, как вор, и широко открытыми глазами впивается в жирную копну урядника и сидящую у него на коленях, в одной рубашке, Дуню.

— Вот это шту-у-ука!..— тянет доктор; он слышит, как бьется его сердце, да капля за каплей, падая в лохань, булькает и насмешливо рассыпается в обманной тишине вода.

Дуня обвила оголенной рукой толстую шею урядника, гладит его волосы, что-то шепчет и улыбается лукаво и ласково.

Урядник хохочет неслышно, и его живот, подпрыгивая, колышется в такт смеху, а вместе с ним колышется Дуня, стройная, свежая, в розовой рубашке.

— Два с полтиной, два с полтиной!.. Нет, врешь, — бредит скороговоркой купец и, застонав, добавляет убежденно:— Еще успеешь угореть-то.

Доктор испугался, пополз было назад, но раздумал.

Дуня встала, заслонив собою свет лампы, и через рубаху соблазнительно сквозило ее красивое тело. Закинув руки за голову, она потянулась лениво и страстно, привстав на носки, а чудище облапил ее левой рукой, притянул к себе и зашептал хриплым голосом:

— Чего он тебе толковал-то?

— А ну их к чертям! — почти крикнула она.

— Тсс... услышит.

— Спят... нажрались оба.

Доктор таращит глаза, дивится. Не во сне ли?— думает. А они, проклятые, шипят гусями:

— Люблю тебя, Павлуша.

— Любишь? Ты чего-то юлишь, по роже вижу, что юлишь... А дьячок-то?

— Не вспоминай. Ведь каялась... Чего же тебе надо? Прости!

Замолчали оба. Он красного вина подносит, сам пьет, ее плечо лапой гладит, тискает.

— Ночевать не будешь?

— Нет, ехать надо.

— Подари колечко. Может, не увидимся... Уйду.

— Что-о?!

Таящимся, но злобным смехом всколыхнулась Дуня, задорно запрокинула с двумя черными косами голову, взметнула вверх руки, хрустнула пальцами и, покачиваясь гибким станом, протянула:

— Испужа-а-лся?.. А ежели уйду? Кто удержит?

— Сма-а-три, Дуня!

Урядник поднял над головой революьвер, потряс им в воздухе:

— Со дна моря достану, из могилы выкопаю, воскрешу и перерву глотку... Знай!

Она прижала локтями грудь, съежилась, вздрогнула зябко:

— Заколела я чего-то... Целуй уж, целуй!

Потемнело у доктора в глазах: сон или не сон? В ушах шумит, во рту пересохло, и как в наковальню молотом бьет в груди сердце.

Быстро поднялся с полу — нет, не сон,— быстро подошел к постельнику и, нагнувшись, стал шарить спички.

У урядника погас огонь и захлопнулась плотно дверь. Оттуда слышалась не то ругань, не то смех.

Доктор зажег лампу. Руки его дрожали. Взгляд стал диким, растерянным, а мускул над глазом запрыгал. Он налил в чайный стакан коньяку и жадно, залпом, выпил.

«Нет, не сон...»

Была глухая ночь. Хмель нахрапом вползал в его голову. Заскакали мысли, перепутались, как испуганное стадо баранов, и бросились врассыпную. Чувствовал он, как уползает из-под ног почва, как все горит и стонет у него в душе. Тяжко сделалось.

А время шло. Лампа давно погасла, копоть от тлеющего фитиля висела над столом черным угаром, сквозь окна глядела луна.

— Эй, ты, господин торгующий... купец! — говорил доктор пьяным голосом.— Тарантас этакий, а? Слышишь? Храпишь? Ну, чорт с тобой, спи. Н-нда-а... Болотина-то, грязь-то какая. Ай-яй-яй-яй-яй... Ай-яй-яй-яй... Бррр! Где тут... красота? Вдруг урядник... и Дуня. Ходячее пузо какое-то... и алый полевой цветок. А? Нет, ты посуди, Аршин Иваныч, прав я или не прав? Дурак я, слюнтяй, интеллигент, кисель паршивый! Вот кто я...

Доктор приподнялся с лавки, взъерошил волосы, вытаращил глаза и закричал:

— Эй, вы, красивые... двое! Заперлись?!

В комнате урядника примолкли, притаились, умерли.

— За что ж ты мне в душу-то харкнула? А? Ведь ты кто?

Знаешь, ты кто? Змея!..— И стал кричать еще пуще, топая ногами, доктор.

Во тьме что-то зачавкало, всхлипнуло, зашипело, и раздался голос купца:

— Вы с кем это рассуждение имеете?

Доктор удивился звуку голоса, но встал, побрел, еле держась на ногах, к купцу и упал возле него на колени. Целовал его, плакал горько пьяными слезами, жаловался:

— Где же правда, где? Вдруг Дуня — и на коленях у борова. А?.. Зачем обещать тогда? А ведь так клялась...

— Да-а-а, вон оно что. Хе-хе-хе. Так-так-так. На то и щука в море. Вот те и чистая! Ха-ха! Ловко. Вот те и краля!

Доктор, покачиваясь, стоял на коленях и грозно тряс кулаком:

— У-ух, ты мне! Куроцап! Убью!!

— Смотри, отскочите...— иронически заметил купец и продолжал, зевая:— А ты вот лучше высморкайся да ложись спать с богом. Ишь ночь...

Он еще раз зевнул, перекрестил рот и, перевернувшись, добавил:

— Она даром, что Авдокея Ивановна, а умная, стерьва: где пообедает, туда и ужинать идет.

Сказал и через минуту захрапел.

Слышно было, как во дворе раздавались деловитые голоса, бубенцы побрякивали, тяжелые сапоги топали по сенцам и ступеням крыльца, отворялась и затворялась наружная дверь.

Заскрипели ворота, рванули кони, колеса затараторили.

— С бого-о-ом!

Тявкнула спросонок собака, опять заскрипели и хлопнули ворота, побродил кто-то по двору, и все стихло.

Час прошел, томительный и длинный, наполненный вздохами, бессвязным бормотаньем, затаенным ночным шорохом: должно быть, черти бродили по избе.

Луна еще не ушла с неба, но конец ночи близок.

— Барин, а барин,— еле слышно позвала нежданно Дуня.

Она стояла среди комнаты, трепетно-белая, охваченная снопом лунных лучей.

— Желанный...

Доктор застонал, открыл глаза и зло перевернулся лицом вниз.

Дуня стоит над ним, что-то причитает и вся дрожит, как в непогоду дерево.

— Слушай-ка... Не серчай...— льется нежный, молящий голос.— Ты разбери только по косточкам жизнь-то мою, разбери, выведай. Не серчай, ради господа.

— Тебе что надо?! — повернув к ней голову, крикнул доктор.— Тебе, собственно, что от меня требуется?— и опять уткнулся в подушку.

Прошла длительная жуткая минута. Дуня несмело опустилась возле него на колени.

— Ах, милый, рассуди: ведь смерть, прямо смерть от него, от лиходея, от урядника-то... Муж бил, вот как бил, житья не было; забрали на войну, обрадовалась—хошь отдохну. Тот чорт-то привязался, урядник-то... запугал, загрозился: «убью!» — кричит, а защитить некому — одна. Ну и взял... А все ждала, сколько свечей богородице переставила; вот, думала, найдется человек, вот пожалеет. Пришел ты, приласкал, такой душевный... аж сердце запрыгало во мне, одурела с радости. А с ним, с аспидом, развязалась, отвела глаза, успокоила,— убил бы. Понял? Вот, бери теперича... Возьмешь?

Затаив дыхание, она робко ожидала...

— Возьму... Эх, ты...

Пала рядом с ним; отталкивал, гнал, корил обидными словами, а сумела остаться возле, впилась дрожащими теплыми губами в его лицо, замутила голову, всколыхнула хмельную кровь.

— Ах, желанный мой! Люблю! — восторгом, неподдельной радостью звучала ее речь: ждала, насторожившись: вот скажет, вот обрадует.

— Убирайся ты... ко всем чертям! — после минутного раздумья презрительно и желчно бросил доктор.— Марш отсюда!

— Только-то?

— Марш!!

— Стой, кто тут? — прохрипел купец.—Ты, Дуняха?—Он быстро приподнялся, зашарил-замахал в полутьме руками и, сидя на полу, шутливым голосом покрикивал:— Давай-ка, давай ее сюда! Хе!..

И слышно было, как Дуня, поспешно удаляясь, ступала босыми ногами, скрипнула дверью и там, за стеной, не то захохотала, не то заплакала в голос, как над покойником голосят бабы.

— Ах ты, доктор, дурак! — сказал, опять повалившись, купец.

Но доктор лежал, свернувшись клубком, с головой закрывшись одеялом, и, как смертельно раненный, мучительно стонал.

На рассвете для доктора стали запрягать лошадей.

Заложив за спину руки, он торопливо ходил по двору, хмурый и сосредоточенный, в сером, перехваченном кушаком, бешмете и высокой папахе.

А кругом суетились, закручивали лошадям хвосты, подбрасывали в задок сено, укрепляли веревками вещи.

Доктор проворно вскочил в тарантас, забился в угол и закрыл глаза.

— Трогай со Христом! — приказал чей-то стариковский голос.

Четко ступая по бревенчатому настилу, шагом пошли к воротам кони.

Когда на улице проезжали мимо окон земской, ямщик-подросток, вздохнув, сказал:

— Эк, Дунька-то как воет... Чу! — и враждебно взглянул на седока.

Доктор вздрогнул, открыл глаза. Больно, мучительно больно... И... мерзко... Он высунул было голову, но ямщик гикнул, лошади рванули, понесли.

— Точка,— растерянно прошептал доктор, вновь забился в угол и крепко сомкнул усталые, полные грусти, глаза.

Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный. Еще дремал воздух, дремотно падали снежинки, все дремало, и бубенцы с колокольцами тихо звякали, зябко вздрагивая на холодке.

На доктора валился сон. Засыпая, он грезил о том, как зима придет с метелями и морозом, и все уснет в природе под белой теплой шубой. Но пролетит на легких крыльях время, и вновь наступит молодая, нарядная весна с ковром цветов, ликующим хороводом птиц. И опять длинными колеблющимися треугольниками полетят с юга, но с новыми вольными песнями, радостно перекликаясь, журавли.

1913

ВАНЬКА ХЛЮСТ

I

Угрюмая, необъятная, страхи таящая в себе тайга дремала.

Где-то за далекой горой еще блуждал луч солнца, а тьма уже проснулась в трущобах, поползла неслышно из берлог, распласталась по влажному седому мху, нетерпеливо дожидаясь, пока погаснут жемчужные облака. Тишина была, чуткая такая, выжидающая.

«Гу-гу-гу... Хо-хо!»

Вздрогнула тайга, насторожилась. Но меркли вверху облака, приподнималась тьма выше, баюкала тайгу и навевала ей сны. Дремала тайга. Еще не успели окрепнуть робкие и неуверенные огоньки звезд, а тайга до краев уже захлебнулась тьмою, хлынувшей к померкшим небесам.

Тайга заснула.

Кто-то ходит во тьме. Смеется тихо. Там, на пригорочке, большой костер горит. А возле него — двое.

Костер тихо потрескивает, и языки пламени задорно и весело лижут тьму.

Дед Григорий,—восемьдесят лет скоро,—кряхтит у костра, греется: износилась с годами кровь, похолодела. Лицо у него грубое, с лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, теплое,— словно он открыл неведомые, простые и великие тайны. Хмурит густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа все еще по земле ползает.

Говорит дед медленно, густым и хриплым голосом, и в его рассказе всегда смешок слышится — старик веселый.

Еще у костра, притулившись к деду, сидит внук его — хороший, лет шести, паренек Тимша.

Да еще две собачки: Жучка с Верным. Жучка, молоденькая, как смола черная, юлит возле Верного. Верный лежит смирно, морду на лапы положил и умными глазами смотрит в лицо деду... Когда дед весел, и пес весел, но чуть затоскует старик — вздохнет и Верный. Тимша с белыми, в скобку подрубленными волосами, остроносенький, с живыми серыми глазенками, и когда смеется, глаза превращаются в узкие щелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький, бледный. Сидит съежившись, посматривая на деда, чего-то ждет. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит:

— Ох, и лютый же ты, Тимша, сказки слушать...

Мальчонка ерзает радостно и настораживается.

— А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то...

— Хе-хе... Эвона-чо... Ну ладно, коли так...

Дед толкает в костер смоляной пень, огонь жадно набрасывается на новую пищу и стрижет ее неугомонно острыми ножами своих языков.

— Дык про тигру?.. Ладно-о-о...

Дед много знает забавных рассказов, ласково-грубых, потаежному красивых: весь свой век в тайге прожил,— но сейчас нарочито медлит, посматривая свысока на внука, а тот весь нетерпением пышет, как струна, вытянулся слухом, ждет...

— Забежала раз к нам тигра из Монголии. Это лет с пятьдесят тому, как не более. Три волости, парнище, сбили, чтобы, значит, препону ей положить. Вот ладно. Окружили мы ее, чорта, а она промеж нас так вот и сигат, так вот тебе и сигат...

— Сигат?..

— У-у-у... Как молынья... Одному по рылу хвостом съездила, сразу салазки на сторону своротила... Вот, брат, какая силища... Зверюга самая душевредная...

Тимша слушает, разиня рот и вытаращив глаза от удивления, а дед улыбается и хриплым басом говорит дальше.

И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, он фыркает в рукав и машет на деда рукой:

— Ври-ка больше!..

Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку, и оба враз заливаются хохотом...

В темноте, направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, гуторит тихо таежная речка: хоть поздно,— давно спустился с неба сумрак,— а сон не берет ее...

И вдруг там раздалась песня... Высокий голос, весь тоска и слезы, жаловался на что-то звездам, укорял кого-то... Это — Ванька Хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка.

Но вот послышался хруст валежника, шорох ветвей, все ближе, ближе — то Ванька Хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул: не идет, а скачет торопливо, подпираясь толстым батогом. Свет костра хлынул ему навстречу, и в трепетных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу.

— Ну, паря, и мастерина же ты песни петь,— сказал Григорий,— за самое ты меня сердце взял...

— Это мы можем,— откликнулся Ванька, щуря от света глаза, и подал деду котелок.

— Настораживай-ка, благословясь, к огоньку: щерба знаменитая должна вытти...

Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды, а из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то. Расцветет не надолго улыбка и завянет; огоньки лукавые заиграют в глазах, смехом заискрятся, но грусть вмиг погасит их.

— Ну, калека ты моя, калека божия... садись-ка вот тут, умаялся, поди, сердешный,— участливо говорит старик.

Жучка вскочила, ластится; Верный подошел, обнюхал и, решив, что человек надежный, лег.

Ноги у Ваньки культяпые, сухие, в бродни обуты. Эх, и руки же у парня — беспалые, только на правой большой палец торчит, да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной тряпицей и веревками обмотана.

— Ну, што, не легче руке-то?— спросил дед.

Ванька нехотя говорит:

— Да што... ишь, отгнила совсем. Разве это рука?.. Одно званье, что рука, мешает только, одна видимость. Весь сустав в локте порешился, все головой погнило. На одних жилах да вот еще на веревке держится. Вот размотаю сбрую, да как шаркну по дереву — и отлетит к чортовой матери. Ох, горе-горе...

Ванька одернул свою синюю с белыми разводами рубаху и почесал культяпкой длинную худую шею.

— Лет пять вот так... В Смоленском селе лег в больницу,— там доктор пальцы резал мне, девять штук напрочь откатил, не усыплял, ничего. Режет, а я смотрю...— «Ну, и крепок, говорит, крестник,— крестником меня назвал, — терпленья, говорит, в тебе множество».— «Отнимите, говорю, и руку-то заодно».— «Нет, говорит, рука пройдет, лежи».— Лежал я, лежал, а раночка-то вся — шилом чкнуть. Потом доктор говорит: «Ну, брат, крестник, рука твоя так это неизле-

чима... Шабаш, брат». Я опять: «Отрежьте, христа-ради».— «Не могу, перация трудная... Катай, как не то, в город». Ха-ха! В го-о-род... Да нешто у нас в тайге до городу-то доскачешь? Чу-у-дак человек... В город! Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву: матушка — напитай, матушка — укрой... Не выдай, тайга-кормилица, круглую сироту Хлюста Ваньку. Говорю так, а слезы ручьем-ручьем; торнулся носом в мох, лежу, вою... И словно бы кто шепнул мне ласково, быдто приголубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую — стоит возле меня кто-то, утешает, и башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях радость ходуном заходила, быдто вода весной. Засиял я весь, приподнялся. Гляжу: бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня, а сам посвистывает. Захохотал я тут радостно, грожу ему: ах ты, такой-сякой, бурундучок ты этакий, милый мой. А он смотрит на меня бисером да, знай, посвистывает. Э-эх!.. И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ничего земного прочего...

— А красно же говоришь ты, Ванюха...

— Ах, дедушка, дедушка. Ведь башка-то у меня умная, вот только досталась-то она дураку — хы-ы... В тайге, брат, всему научишься.

— Нау-учишься...— недоверчиво кряхтит Григорий.— Где тут научиться-то, с кем? С медведем рази?

— И с ним. Я, отец, ране-то так жил: вот забреду на заимку какую, выпрошу хлебца христа-ради да чайку, и айда... Заберешься куда-нибудь в отдаленье, на речонку, и живешь так, как воевода: морды плетешь для рыбы, песни поешь. А чорт ли! Мне ране-то весело жилось, ни о чем не думалось... И разговоры разговариваешь в тайге с кем придется: человека встретишь — с человеком, белка на сучке сидит — с ней... Нет никого — с деревом: и дерево, брат, выслушать да понять может. А то с тучкой, либо с месяцем. Орешь ему: эй, месяц, батюшка! Выскочишь, подопрешься костылем, машешь рукой да орешь...

Замолк Ванька, и опять тихо стало. Только костер гуторил да над прогалинкой, трепетно и робко мерцая, звезды караулили ночь. К ним, к звездам далеким, вспорхнул Ванька мыслью.

Но дед тут же стащил его на землю:

— А ты бы, паря, шел к нам на заимку, тебе бы бабка руку-то попользовала... Ох, и знатец старуха... Мало ли есть каких средствиев... Эвона со мной случай какой произошел, слушай-ка. Была одна красивая-раскрасивая девка,— постоялый двор на приисках содерживала,— только одна нога деревянная... С деревяжкой, а вольная была. Пришли как-то, враз угадали, три мужа, ейные дружки, значит. Она видит,

что с тремя-то не рассчитаться, шасть в сенцы, а там на полке стряхнин стоял, волков травить, она возьми да и выпей. А я втапоры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало... Прибежали,— вот так раз! Лежит девка, хрипит, почернела и деревяжкой вертит.

— Вертит?..

— Верти-и-ит... Страсти...

— Ха!.. Лловко,— хмуро вставил Ванька.

— Ну, ладно... А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было, мы ей и вбякали. Рот-от расщеперили, да огромадный ключище от кладовой меж зуб вставили, да и лили масло-то. Польем, польем, подымем на дыбы, встряхнем... А потом на доску положили деваху-то да в горячую печь и вбухали. И что б ты думал? Ведь ожила шельма, оклемалась. Вишь какие средствия оказались. Вот оно што. А руку и подавно наладить можно... Кого тут!

Дед крякнул и исподлобья посмотрел на Ваньку.

— А и веселый же ты, дай бог, дед, ласковый.

— Хо-хо... Я-то? Я, брат, ничего, мастак на эти штуки. Артельный человек. Бывало, чего-нинабудь сколоколишь смешное вот, и смех. А где смех, там греха меньше, злобы. А вот еще со мной случай был, почище стряхнину. В аптеке я служил сторожем, да замест микстуры — просто попробовать хотел, побаловаться: сладкие другой раз бывают — взял да, не разобравши дела, серной кислоты ложку и царапнул. Дык у меня,— хошь верь, хошь нет, вот тебе Христос, вот... как у окаянного, изо рта и из носу дым повалил.

Ванька ухмыльнулся, заерзал по земле и звонким голосом сказал:

— Ну, и развеселый же у тебя, дед, характер.

II

Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, котелок с ухой настораживает и думает: вот его, старика древнего, третьеводнись послал сын на соседнюю заимку, верст за пятьдесят,— что бы самому слетать, так нет! — просил коновала добыть для жеребчика. Тимшу взял — все повадней. Сели в лодочку да, благословясь, и поплыли. А вечер, солнушко уже за лес падало, — в тайге дни короткие,— глядь-поглядь: человек на берегу сидит да таково ли жалобно поет песни, и дымок возле него вьется... Подъехали. «Кто таков?» — «Человек...» — «Вижу, что не полено... Откедова?»— «Бродяжка, Ванька Хлюст. Возьми, говорит, дедушка, ради господа. По народу, по слову человечьему я затосковался».

Суетится дед у костра, думает, любовно посматривает на бродяжку и говорит:

— Расскажи-ка, брат, сделай милость, как ты, не в огорченье будь сказано, изувечился-то?

Ванька медлит. Он снял шапку, с ожесточением единственным пальцем поскреб кудрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами.

— Так сказывать?

— Сыпь, пока уха преет...— ответил тот.

— Поморозился я лет пять тому, а всего мне будет без трех годов тридцать... Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только: жизнь моя не веселая...

Ванька кашлянул и тихо начал:

— Родился я от своих родителев — от девки да от солдата. Мамыньку сердешную схоронил ноне, а батька жив. Ну, ладно. Рос я не как все другие прочие, законные которые, а так... Сам знаешь: приблудыш, так оно приблудыш и есть, как баран шелудивый... Ну, и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать... Первеющим пакостником меня считали, по всей округе на слыхах был. Одно слово — Ванька Хлюст! Стекла ли кому высадить, дубинкой ли кого из-за угла огреть — это я. Подрастать зачал, девок стал забижать, и не то чтобы пакостно, а так, для антересу больше: зубы стиснешь, надлетишь — раз по уху! а сам заливаешься, хохочешь, словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез... И никакой во мне жалости не было к человеку... Пуще же всех ненавидел я батьку. Ох, и зверь, ох, и аспид родитель-то мой, прямо рестант...

У Ваньки в глазах огоньки замелькали, а голос трещину дал:

— Ведь он, идол, в гроб вогнал мамыньку-то. А что мне выволочек было, мордобою этого самого, не есть числа: он и голодом-то меня морил, и на мороз-то в одной рубашонке выкидывал... Вот, погляди-кось, башка-то у меня проломана местах в трех... А мамынька-то... А мамынька...

Ванька отвернулся, засопел, в землю уставился, шепчет:

— Покойна твоя головушка... Привечный тебе покой.

Руку занес, перекреститься хотел.

— Вот, ишь. Ну, чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культяпкой?

— Ему, батюшке, все единственно,— заметил дед,— хошь рукой, хошь ногой... Была бы душа настоящая.

— Душа?! — вскрикнул Ванька,— вот то-то и дело, что душа.

Тимша с собаками у костра возился: все трое катались клубком по земле. Тимша, лежа на животе, по-собачьи взлаивал, а Жучка с Верным притворно урчали и, наседая на

Тимшу, старательно теребили надетую на нем мамкину кофту.

— Ну, дык что дале-то? — обратился Григорий к Ваньке. — Характер-то у тебя, это верно, с загогулинкой.

— Характер-то?.. Не озлобляй!.. Я человек не злой, я нраву веселого: ишь — ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое. Да-а.

Ванька задумался. Но вдруг на лице затеплилась радость, бродяга улыбнулся.

— А гармонь у меня была первый сорт; мамынька, дай бог, сгоношила, да сам в пастухах жил, сколотил деньжонок, и песенник я был отменный.

Ванька окреп голосом.

— И так я, дед, на этой самой гармоне играл, что ах! Идешь, бывало, по улке, с ребятами о празднике, да как взыграешь на всех переборах — эх ты но! Дуй, не стой! Дык не то что девки али бабы молодые — старухи-то — и те из-за печек, как тараканы, выползут да к окнам прильнут, чтоб Ваньку Хлюста перед смерточкой послушать... Во как! Не веришь? Ей-бог? Господин барин как-то был у нас из Питера, анжинер, насчет присков приезжал, разведку делать. Хошь, говорит, Иван, в столицию? Знатнеющий музыкант, говорит, из тебя должон вытти... Подучить, говорит, тебя мало-мало. Пальцы-то золотые, говорит, у тебя... Цены нет твоим пальцам-то... Эхо-хо-о...

— Ну, так вот,—сказал, чуть, помолчав, Ваныка,—так оно и шло колесом, покедова не вырос, а как стал парнем, поступил я, отец, в ямщики на трахт. Бывало, как выедешь в ночку летнюю да как гаркнешь: «Соколики, грабят!..» — вот и рванут-рванут тады лошаденки, дорога лугом, что скатерть, гладкая, несешься — в ушах ветер воет, ничим чего тебе не видно, словно валишься в пропасть какую. На звезды взглянешь, а они за тобой следом катятся. И была там у меня на селе зазноба, кабатчика нашего дочка — Дунюшка.

Ванька насупился, вздохнул и, ковыряя костылем землю, прошептал:

— Нет, лучше уже не ворошить. Чего тут.

Дед крякнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу:

— Не ты ль, Ванюха, в прошлом году у Петрована Безденежных на заимке жил? Всю зиму быдто бы?

— Я... А что?

— Да так... Сказывал Петрован: чегой-то скучал ты шибко...— и, не дождавшись ответа, добавил:— Это, брат, плохо, соколик, ежели скучать. Укрепиться надо. Мало ль чего в жисти случается... Ну, это я так промежду прочим. Сыпь дале-то, как лапы-то ознобил, сказывай...

— А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло. После Покрова вскорости — ни зима, ни осень, а так середки на половине — хозяин мой — ямщину содерживал,— из дому отлучился в город, один я остался. Вот ладно... Только что я приехал с трахту, заколел, как анафема, сижу, отогреваюсь в хомутецкой на печке — ночь темная, и буран зачинается, а теплынь стоит. Вдруг из земской сотский прибегает: «Живо, грит, лошадей: лешак попа-то принес... Поп орет, ямщика к себе требовает... Да поп-то не один, слышь, а с бабой какой-то». А я знал, что у попа чередовского симпатия есть, родня не родня, а так, с боку припека, пришей кобыле хвост. Ну, ладно... Хошь не хотится итти, а куда деваться — пошел... В броднях грязных прямо вверх лезу. А мне что?! Еще докладаться да внизу ждать. Наплевать можно, с мужика спрос короток: пру прямо вверх... Вошел в горницу, помолился. Поп один сидит, здоровенный, красный, сурьезный, знакомый поп... Народ, признаться, не шибко же его долюбливал, не уважал. Крутой поп был, характерный, да и драл с живого-мертвого просто ужасти как...

— У попа жисть хороша,— перебил дед,— помрет — не уйдет, и родится — годится. Ххе...

— Это самое...— ухмыльнулся Ванька.— Ну, дак вот. Перекрестился это я наотмашь: «Здравия желаю, говорю, батюшка». — «Лошадей». — «Никак невозможно», — говорю. «Ах ты, сукин сын».— «Никак нет, батюшка, — отвечаю вдругорядь,— я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный... Ежели, говорю, отец духовный такой вопрос обозначает, то чего родному-то отцу остается делать. Одно: взять оглоблю, да оглоблей-то по темю». Слово за слово, ну, только што он меня козырнул словцом одним удивительным, вижу, дело плохо, говорю ему: «Ежели, говорю, усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней сготовлю, но без обиняков вам скажу, загинуть в пути можем за милую душу».— «Не твое дело!» — «Ну, в таком разе, я живчиком. Позвольте вас с папиросочкой поздравить». Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. Ладно... Пригнал я лошадей, самых отчаянных, тройку... Выходит поп в шубе енотовой, кушаком весь запоясан, от горла да вокруг пузы: ну, а у меня, сам знаешь, шебур мужичий трижды через нитку проклят, через две—окаянный да верхонки[1] мокрые — вот и вся амуниция...

— Кругом шестнадцать,— вставил, крякнув, дед.

— Хы-ы... Вроде этого...— «Отойди-кось к сторонке», поп-от говорит... Отошел я, а сам глазом этак покашиваюсь: поп госпожу на дно положил в кошевку, сам лег, кочмой накрылись.—«Готово, кричит, садись, ямщик». Поблагословился про

[1] Кожаные рукавицы. *(Примечание автора.)*

себя, сел. Поехали. Ветерок дул маленький, помню, утих буран-то, а выехали за деревню, ветер крепчать зачал и стал опять разгуливаться. Верст пять отбежал — вдру-уг буран кэ-эк ахнет! Как застонет все кругом. Ну, думаю, плохо мое дело. А со мной на облучке еще мужичок увязался, попечитель школы одной сельской. Тоже навроде меня одет — рыбий мех, бобровый верх — сидим, трясемся оба. Что делать? А буран все пуще, да пуще. Словно молоком все залило, у коней, скажи на милость, даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. «Нн-у!..» Стоят... «Малютки, грабят!..» Кэ-эк шарахнет тройка... Я вверх ногами, попечитель вверх ногами — бух на попа с попадьей оба, корячимся в кошевке, тпрукаем: я тпрукаю, попечитель тпрукает. А поп выставил из-под кошмы бороду да как начал меня козырять всячески. А ему на опакишь... Он мне слово, а ему десять. Потому осерчал. Кони несут, дорога ухабная, одначе, я уцепился пластом, к облучку царапаюсь, а попечителя, как куль с мукой, на ухабах побрасывает: то на голову одыбит, то пятки к бороде подворотит... Смехи! А буранище так вот и крутит, прямо с огня рвет, по роже снегом, как бичом, хлещет, наскрозь прохватывает, аж дышать нечем... Глядим — огонек. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонек, точно кто его слопал... Ах ты, господи! Ровно бы и жилью-то тут быть не надо. Сбились мы совсем с дороги... А буран так разбушевался, что надо бы пуще, да некуда: ревмя-ревет все кругом на разные лады. Жуть... Зачали мы с попечителем дорогу искать: привяжешь вожжи к саням, да по вожже-то и ходишь во все стороны... А то, чего доброго, отойдешь сажен на десять, да и к лошадям не вернешься. Кружились-кружились — нет дороги... — «Батюшка, а мы с дороги-то сбились...» — «А ты ищи, ишь ты». — «Сам поди-ко поищи — ты в енотке, а я замест тебя под кочму-то прилягу...»

— Под кочму?.. Ххе...— подмигнул Ваньке дед.

— Дык как же. Знамо. Ну ладно. Как обозначил я это, поп и замолчал. А тут, братец ты мой, стало пристывать, морозом здорово прихватывать зачало. Ну, думаем, карачун пришел, терпленья нашего не стало... Глядим — стог... Мы туда. Отгребли кое-как снег, сено маленько разрыли, сели за ветром. А буранище так вот и садит, знат надвигат, того гляди стог опрокинет. Я присел на корточки, замаялся. Сколь просидел так, не знаю. Гляжу, месяц восходит из-за леса, и звезды в небушке загорелись. Потом, на вот те... вдруг соловьи защелкали, и таким быдто теплом повеяло от кустов зеленых да от поля. Что за притча... Встал, оглянулся — верно: ночка летняя, соловьи поют, свежим сеном пахнет... А буран-то где? А поп-то где?.. Стою, улыбаюсь... Глядь-поглядь: Дуня по лугу идет, и месяц ей по дороге светит. Кричу: «Ду-

нюшка, желанная, ягодка моя боровая, здесь я? Иди-ко, чо скажу тебе, слушай-ка, што мне приснилось-то: я быдто попа, быдто попа, быдто попа...» Не могу от радости выговорить, да хоть ты што хошь. А она, и словно бы и не она, а чужая — смеется издали, машет рученькой правой да кричит милым голосом: «Вставай-ка, вставай скорей, эй, ямщик!..» И чувствую: хлоп мне кто-то по плечу: «Эй, ямщик, ехать надо...» Открыл глаза: поп стоит, лицо злое...— «Ты что, заснул? Поедем-ка, ишь буран-то кончился, и огоньки видать: должно, Пазухино...» А шебур-то мой кол-колом стал на морозе, да и портки к ногам примерзли, аж с кожей отодрал, руки ноют, зашлись совсем, верхонки как железные — позамерзли... А от попа, чтоб его язвило, пар валит, рыло красное...

— Буран, слава богу, призатих, а я чувствий порешился,— вздохнул он. — Уж не помню, как и до деревни докатили. А пальцы у меня быдто палки сделались, стучат, обмерзли. Я на печку, попечитель на печку сдуру-то... Слышу: поп хозяина кличет, за водкой его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп стакан себе, другой мне: «Эй, ямщик, пей...» Поблагословился, выпил. Он вдругорядь: стакан себе, стакан мне. — «Пей еще». Выпил. Партоманет вынимает: «Вот тебе прогоны, а вот тебе еще два целковых, потому как ты пострадал...» — «Покорно, мол, благодарим и на этом, два рубля на чай деньги не малые, ну, только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли... Дай бог вам».—«Ничего, говорит, чадо, поправишься...» А попечитель на печке сидит, дрожит весь, его не попотчевал поп-то. Вино мне в голову вдарило, стал я как очумелый, руки словно в кипятке ноют, быдто ножом от костей мясо сострагивают... Я хозяину рубль — тащи водки — уж очинно попечителя сделалось жалко — подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпленья нет... Опосля того свалился, не помню, чего и было... Попечитель через четыре дня богу душу отдал, а я вишь как обсовершенствовался... Вот те и Ванька Хлюст! Вот те и золотые пальчики... Вот так и маюсь, отец, всю жисть свою...

— Чего поделаешь, сударик... — откликнулся душевным голосом дед.— Попала в колесо собака — пищит, да бежит. Так и человека жисть ущемить может, ежели. Ау, брат... От што...

Ванька вскинул на деда глаза.

— Чегой-то раздумье долеть меня стало... Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься-ворочаешься ночью, словно медведь, с боку на бок, потом сядешь, да и думаешь... А о чем, спрашиваешь? О жисти да о Дунюшке... Обо всем вообче думаешь...

И, вздохнув, добавил:

— Жисть — штука великая, дедушка...

— Да не малая, паренек.

— Она кому всласть, а другой от нее окарачь ползет... Пришел я как-то к попу, уж кады помиру ходил, бродяжить зачал. — «Здравия желаю, батюшка». — «Ты кто таков?» — «А вот, смотрите, — сам руки искалеченные показываю, — признали?» — «Нет». — «А помните буран-то? Окажите такую божескую милость, приделите меня хошь в пономари...» Повернулся поп всердцах, вышел в другу горницу, три пятака медных вынес: «На!» — «Да что вы, батюшка... Да на вас креста нет». — «Проваливай, проваливай со Христом... А то живо работника крикну. Эй, Яфим!» Я тут так слезми и захлебнулся. Ну, ловко он меня. Поприветствовал. Дай бог. Это за что же, дедушка? Всердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моем?.. А? Как же так не пожалеть калеку? Рази не такой же я есть человек, а? Рази не из одного теста?

— Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы богу молятся, а лопаты дерьмо гребут... Так, милай, и люди бывают разной выделки... От што... они, брат хозявы в жизни, а мы что? Так, слякоть...

— Дык рази в том есть правда? Ну-ка скажи.

— Правда-то на небе, Ванька. А сказывают, семь верст до небес, да и те кочебурами. Ото што! Стало быть, такой придел положен, чтобы по земле ползать. Отползал свое — ложись, умирай.

— Приде-е-л! — насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился: — А ежели я не желаю придела-то?.. Что мне придел? Я сам себе придел!.. Вот те и придел. Вот захочу — останусь, захочу — торнусь в омут, и крышка... Ха! придел!..

Дед уставился на бродягу, подумал минуту, ответил:

— От жисти, брат, не уйдешь, Ванька, — наздогонит!

Ванька задумался, ничего не ответил деду. И пригрезилось вдруг Ваньке, что тайга все знает и чувствует, на все может дать совет мудрый, только выслушай ее, только сумей угадать, что она шепчет.

— Ну, а Дунька-то как же, Дунька-то? — громко спросил дед.

— Что?— встрепенулся бродяга и лениво перевел на деда все еще затуманенные глаза.

— Дунька-то, говорю, любушка-то твоя?

— Ох, и не спрашивай, — упавшим голосом сказал Ванька. — Ище в больнице лежал, слышно было, что девка того гляди ума тряхнется. А как пришел я, беспалый-то да с костылем-то, да как увидала она меня, аж обмерла вся — на шею друг дружке бросились, да и завыли вряд страшным голосом... «Сиротинушка ты моя, говорит, сиротинушка...» А потом за нее жених стал свататься...

И Ванька едва слышно добавил:

— А она головой да в прорубь...

Хоть тихо сказал Ванька, а ему опять померещилось, что тайга учуяла и отозвалась таким же шопотом: «Головой да в прорубь...» И на речке кто-то откликнулся.

— Чу! — испугался Ванька. — Слышь, дед?

— Ничего не слышу. Ты што это?

Бродяга встал на четвереньки, прислушался и, быстро поднявшись, закултыхал к речке, подпираясь батогом.

— Эй, куда? — крикнул ему вдогонку Григорий.

Жучка в обнимку с Тимшей спит у костра, дрыгает ногами и жалобно повизгивает, — сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса и сам с собой тихо рассуждает:

— Нет, чевой-то неладно с ним, с Ванюхой-то. Пра-а-во... Шибко тоскует.

III

Дед подымается, кряхтит, растирает затекшую спину и, сгорбившись, тянется к котелку.

— А, мотри, упрела уха-то. — И не своим, бабьим голосом, ухмыляясь монотонно, бубнит, как в дудку дудит:

Табашники к табаку-у-у,
Пьяницы к кабаку-у-у,
Обжоры к ужину-у-у...

Потом вместе с проснувшимся внуком усаживается возле котелка.

Вскоре на зов приходит и Ванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз.

Дед вытащил из мешка деревянную обмызганную ложку и все тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал:

— Люди за хлеб, а я рази ослеп? Ну-ка-а раз! А ты что, Тимша, зеваешь? Имай рыбу-то... Первый сорт мясо: от хвоста грудинка...

От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают сосредоточенно и жадно. Тимша чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехотя, печальный такой сидит, пасмурный.

Дед, зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил, не торопясь, ложку, пощупал мешок, вытащил бутылку и, подняв ее выше головы, весело прохрипел:

— Ну-ка, братья, зелено, — не прокисло бы оно!.. Самосядочки хошь, Ванька? Хорроша штука. У нас в тайге ста-

рухи ее из хлеба делают. Знаешь, поди?.. На-ка, благословись стакашком...

Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну.

— Благодарим, дедушка Григорий. Мы не пьем...

— Ты кому другому это скажи, — смеясь, кричит дед. — Не пьешь... Нешто не вижу я, как кадык-то у тебя заползал. Пей, тебе говорят!..

Ванька смущенно скребет за ухом и, круто передернув плечами, тянется дрожащими беспалыми руками к самодельному берестяному стакашку:

— Ну, за ласку твою, отец! Пригрел меня, сиротину.

— Во здравие,— откликается дед.

Ванька чамкает губами, сердито сплевывает, крутит головой и говорит:

— Ух, анафема! Штука лукавая... Ране, бывало, я действительно завей горе веревочкой, водку эту самую довольно серьезно сосал. Ну, только теперича — аминь!..

Костер ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедры — богатыри таежные — гурьбой обступили костер и, хмурясь, протягивали лапы свои к теплу и свету.

Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеется во все звонкое горло, то и дело расплескивая из ложки уху, но Ванька грустен.

Псы нетерпеливые топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими, благопристойными голосами, а дед, чавкая беззубым ртом рыбу и вкусно обсасывая кости, небылицы рассказывает:

— И как лег это, значит, я, не поблагословившись, не успел еще и заснуть-то путем, глядь: чертенок, будь он проклят, скок на меня...

— Всамделешный?.. Большущий?.. — широко открыв глаза, спрашивает Тимша.

— Да, как тебе сказать, не соврать: вершков этак пять, не более... Я его как сгреб в кулак, так всего, окаянного, и зажал. Только рога одни поверх кулака торчат, да темя видать... Вот ладно... И стал я кругом шарить, а сам думаю, как бы его, собаку, ошарашить по маковке-то чем бог послал...

Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски покрякивая, укрылся шубой, запихал чуть не в самый костер озябшие ноги, цыркал сквозь зубы в огонь и облизывался на пекшиеся в золе кедровые шишки.

Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке:

— Дед, а дед... Можно, ежели?..

— Сыпь, сыпь...

Ванька облапил бутылку, задрал вверх кудрявую голову и жадными глотками выпил все вино. Глаза его заблестели задором, лицо сделалось бледным, злым.

Дед на Ваньку уставился с любопытством, улыбнуться хотел — улыбки не было.

Ванька про себя всхлипнул, покрутил удрученно головой и, свирепо погрозив тьме, стал, ругаясь, выкрикивать:

— Эвона, моклышки-то видишь, старик? А полено-то видишь?.. — ткнул он в мертвую руку. — Ха-ха! Понимай, брат. Чувствуй!.. А ни-и-чего-о... Слава богу, не жалуемся, живем богато: дом о семи жердях с подъездом.

Дед, не спуская с Ваньки удивленных глаз, костер оправлять начал.

А Ванька, проворно поднявшись, посовался носом и, ненавистно тыкая в небо обезображенной рукой, взревел:

— Проклятие! Мучители! Уyyx вы!.. Бо-о-ог!..

Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул, вздрогнул, выпрямился:

— Ванька, опомнись!.. Ванька, одумайся!..

Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал, и, еле переводя дух, угловато опустился на землю.

К нему Верный подошел, смотрит в глаза, ластится. Обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать.

Ванька тяжело вздохнул.

— Скажи мне по чистой совести, как перед истинным, скажи мне, дед, веришь ты богу, в правду-матушку веруешь? — заговорил бродяга срывающимся голосом.

Поскреб дед в раздумьи голову и, бросая в огонь валежник, не спеша ответил:

— Алтайцы богу не молятся, у них дворы скотом ломятся. А наш — русак — хоша просит вышнего, кола нет лишнего: кругом бегом... Это у нас, в тайге така присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу: бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую. Бог — он без нас обойдется, а мы-то без него, без батюшки, затоскуем... Понял?.. Вот что, мила-а-ай...

Ванька мигает часто, потом медленно, точно сам с собой, говорит:

— Ну, ладно. Ежели веришь, стало быть, бог есть по-твоему?

— Дурр-а-ак... За такое слово — сто раз дурак. По самое это место... — цедит сквозь зубы дед.

— Ну, ладно. Стало быть, есть, — заключает Ванька. — А где же он? Я ли ему не молился?.. Я ли не ползал перед ним на карачках? У святителя Иннокентия в Иркутском был. Ты ушутил — при моих-то ногах!.. Идешь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх, а там звезды да месяц по небу ходят... «Господи, — шепчешь, — господи! Оглянись на

Ваньку, пошли исцеление. Чего тебе стоит, господи. Не дай загинуть!.. Душа моя, господи, опаршивела, коростой, как пес гнилой, вся покрылась». Да ну плакать, да ну кувыркаться в землю, в снег башкой... Я, брат, слезоточив, из меня слеза даже неудержимо катится. Встанешь, утрешь рыло-то да на небо взглянешь, а там все по-старому, только месяц смотрит на тебя да ухмыляется... А грех все на душе камнем лежит...— закончил он тихо и низко опустил голову.

— Да какой у тебя грех-то? Какие у нас с тобою могут быть грехи? Ну-ка...

Ванька деланно захихикал и торопливо, скороговоркой пробормотал:

— У меня, дед, грехов сорок мешков. Один грех продал— всех выпустил. Разбрелись который куда: кто по бокам, кто по дуракам, а одного вот у вас на заимке пымали... Ххе... — и, помолчав, добавил: — Поди, и грехов-то никаких нет на свете. Каки-таки грехи бывают, ты не знаешь, дед?..

— Как какие?— встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к калеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы и перечислять монотонным, как у начетчика, голосом:

— Непослушание, нерадение, паки блуд, лихоимство, гордыня — дочь дьявола, злоненавистничество и самый смертный грех: хула на духа свята...

— Ха-ха-ха! Здо-о-рово... Расписал, как размазал. А ежели какого зловредного человека жисти решить? Это как? Грех али как? По маковке ежели фомкой кокнуть, ломиком? — в голосе Ваньки заметен был хмель.

— Дуррак... Язви те!

— Х-х-х-ха...— Хрипел бродяга.— Не любишь? А ежели от которого, окромя зла, никакой корысти, как от гадины, тады как? А?

— Как никакой корысти?.. Ме-ельница!..

— Ну, вот хучь от меня, напримерича. Какой прок во мне! И какой я есть человек для миру?.. Я столь же миру-то нужон, как дыра в мосту. Вот и следовает раздавить меня, как таракана. И я так умствую, что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели удавить меня, сорок грехов убавится... Ххы...

— Статуй этакий. Елыман, прости бог... Пей-ка чай-то, умная твоя башка со вшами. Оно лучше дело-то будет. Ошпарь-ка душеньку-то...

Чай пьют без сахара, из деревянных чашек. Дед натолкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлебывая, говорит резонно:

— Вот смерть придет, узнаешь, каки-таки грехи-то бывают. Пей-ка...

— А что мне смерть? — оживился калека. — Нешто я бо-

юсь смерти. Да хошь сейчас. Нашел чем пугать Ваньку... Я, дед, в прорубь бросался — вытащили, давился в лесу — веревка лопнула... А ты — смерть!..

— Ой, Ванька... Не торопись умирать.

— А как же жить-то мне, ты подумай? Ну, куды я?..

— Жисть-то нам единова дается. Эх, Ва-а-анька...

— Ну-к чо?..

— Жалеть, мотри, будешь...

— Я, брат, подохну скоро. Чую, что околеть я должон невдолге: замерзну, али так где окочурюсь... Что мне смерть?.. Харкнуть да растереть... Во!.. Не боюсь я ее вот ни на эстолько,— и Ванька прижал единственным пальцем кончик костыля.

— Ой, вре... — недоверчиво вставил дед.

— Вот те и вре, — передразнил калека.

— Ой, паря, вре...

— Тебе, может, жить-то хорошо... дак...

— Тому хорошо, у кого брюхо большо, а сиськи маленьки, — перебил дед. — А ты живи да бога благодари. Мир должон, как-никак, прокормить тебя. Без этого нельзя...

— А рука-то?

— Руку напрочь отнять...

— А душа-то покалечена, промерзла наскрозь!..

— Ха, душа! Да она, может, почище, чем у кого другогопрочего... От што...

— Да ты дурак, дед, прости бог, али умный?! — крикнул Ванька и ткнул деда в грудь. — Ежели я кудрявый был, ежели я пригожий был, и девки от меня таяли? А теперича... Нака вот. Ты ушутил?..

И, поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костылем о лежащую возле лесину, раздельно произнес:

— Землю здря топтать ежели, в том моего согласья нет!.. Понял?..

Старик ничего не ответил, а только сказал:

— Пей-ка еще. Чаю много!

— Благодарим...

— А ты пей без сумленья... От чаю на брюхе веселей делается... От што.

У Ваньки корявое лицо укоризной покрылось, он опустился на землю и сказал:

— Брюхо тут ни при чем, ежели душа просится на волю...

— Ах, ты, чтоб тебя через сапог в пятку язвило... Он опять свое... Ххе!.. — запавшие, вдавленные временем глаза старика грустно улыбнулись. — Как же я-то? Ведь во мне полторы жисти сидит, а я бы еще три прожил... Чо-ортушка, прости бог, эдакий... Право!

И, чтобы потешить загрустившего Ваньку, он вынул из-

за пазухи табакерку и опять не своим, смешливым голосом разыграл штучку:

— К голому голяку, к бедному бедняку, к нашему деду Масалову понюхать табаку носового. А для чего же табак нюхать? На гору одышка не берет, под гору спотычка не живет. Ну-ка ра-аз!.. — и подморгнул дремавшему Тимше. Понюхал, крякнул громко, по-цыгански:— Кахы!..— и сам себе ответил: — Кто крякнет, тому два!

— Ну и ласковый же характер у тебя, дед, — чуть ухмыльнулся Ванька.

Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу.

— Спи, благословясь...

Тимшу сон не берет: ему хочется послушать, что говорят большие. Но те молчат, и Тимша заводит сам разговор с дедом:

— А смертынька, дедушка, по земле ходит?..

И, не получив ответа, продолжает:

— Это пошто же она, скажи на милость, ходит-то?..

— А вот по то, что тебя не спросила. По этому самому...

Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирепо, с присвистом и приговаривает:

— Чи-хи... Неумытому в рыло!..

— Неумытый-то кто, дедушка, — чорт?

— А вот дрыхни, тады и узнаешь, кто...

— Нет впра-авду?..

— А вот вправду и есть...

Становилось холодно; туман пополз от речки седыми лохмами. Норовил он, цепляясь за стволы дерев и кусты боярки, подняться ввысь, но таежный сумрак давил его к земле. Справа, над речкой, в прогалинке, серебрился месяц, и его тихий голубой свет встал и расплескался в мраке.

Костер меркнет... Старик нехотя подымается, бросает смолье и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча,— должно быть, спит. Возле него Верный.

Тимша пыхтит под шубой, с Жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду:

— Анадысь я оборотня на заимке видал с парнишками... Здо-ро-в-е-енный...

— Что и говорить...

— Нет, вправду... Кобелем борзым прикинулся... матеру-у-щий...

— Навроде ведмедя, а?.. — подсмеивается над внуком дед, сладко позевывая.

Тот обиженно сглатывает, глазенки блестят огнем, и он рассказывает дальше, стараясь придать голосу вес:

— Я схватил кость аграма-а-днищую, да кэ-эк этим костем-то звиздану кобеля-то по роже!..

— Ври-ври...

— Вот те и ври-ври... — Тимша вылез из-под шубы, лицо его вытянулось страхом, и он, сам себя пугаясь, прохрипел:— Дык кобель-то так весь тут тебе и рассы-ы-ы-пался. Аж искрушки полетели...

Когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, юркнул под шубу.

— Вот как выволоку тебя за волосья, — сказал, хихикая, дед, — да спущу штаны... Эвона чо городит... Барин этакий!

Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надрожавшись досыта под шубой, тоже крепко засыпает.

IV

...Костер погас. Ушел с неба месяц. Передвинулись звезды. Непроглядным мраком охватило тайгу. Стоит тайга, не шелохнется, спит. Самое глухое время наступило: без звуков, без шорохов, словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь.

— Господи, батюшка... — послышалось еле внятно..

Это Ванька шепчет. Возится во тьме, всхлипывает. Молчит.

— Дед, а дедушка. Спишь?..

Не слышит, намаялся, спит старик крепко.

— Ох, батюшки мои, батюшки... Что ж это будет... А?

Слышно — ползет к деду:

— Где ты тут? Проснись-ко, Григорий... Эй!

— Кто тут? Ты, Тимша?

— Нет, я, дедушка...

— Ты, Ванька?..

— Я... Я... Страх на меня навалился, дед! Порешу я свою жисть! — В голосе его большие дрожат слезы.

— Ну, не паршивец ли ты?.. — зло, укоризненно шепчет дед, — ну не озорной ли ты малый?.. Чтоб на себя руки наложить?! Тьфу! Удди от меня к ляду, дьявол этакий!..

Молчание. Опять тьма поглотила звуки.

— Дык чижалехонько ведь... Сам не рад, поди... Душа во мне запищала... Ау, брат... Сумленье к самому сердцу подкатилось. Гложет, окаянное, как собака кость, дыхнуть не дает. Хошь стой, хошь падай... Прямо край!

Дед молчит, неужели спать хочет? Нет. Кровью облилось его старое, изжившее сердце и тревожно застучало.

— Ну, скажи на милость... по чистой совести, — шепчет бродяга. — Ну, кому нужон я? Каков теперича прок от меня? Одна помеха...

— Как кому? Себе нужон.

— И себе не нужон, — еще тише шепчет. — Жил я, радовался всему на свете, а люди меня в яму сбросили... Ослеп я там, руки-ноги поломал, и нутро у меня порешилось. Ну куды я нужон?.. А из ямы мне не вылезти, а смерть забыла про меня — нейдет... Как тут? И еще раз тебя, отец, упреждаю, попомни: здря топтать землю — в том моего согласья нет!..

— Терпи. Значит, терпи, парнище... От што...

— Терпи... А ежели и терпелка-то спортилась, ржой покрылась... Тады как?

Молчит старик, что сказать — не знает.

— Вот видишь?.. Молчишь, дед... Я бы давно ушел, да тайга держит: живи, говорит... — задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой: — Я уйду-таки!.. Нет, дедушка, я уйду... Как хошь, брат...

Тот все еще молчит, не может с мыслями собраться.

— Нет, нет, уйду... Уйду, уйду!.. Как хошь...

Тогда дед все таким же отечески раздраженным, чуть насмешливым, чуть укоризненным голосом сказал:

— Ты еще молод, сударик. Жисти не знаешь. От што-о-о...

— Боюсь я ее, окаянной!.. Смерти этой самой!..

— А как же ты даве... — обрадовался дед.

— Здря тады молол, похвалялся. А тепереча... Веришь ли, дедушка Григорий, как и расставаться с жистью-то?.. Неужели ты не боишься?..

Дед зевает, бормочет молитву и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит:

— А чего ее бояться-то?.. Бедному, брат Ванька, умереть легко: стоит только защуриться... От што-о-о... Сама придет,— никуда, брат, не денешься. А ты не накликай ее. Грех... От што-о-о...

И минута, и другая проходит. Оба молчат... Только Тимша тоненько во сне хохочет под шубой да вдали ухает филин

Дед чиркает спичку, разжигает костер. Тени торопливо пляшут, спросонья наскакивая гурьбой на что попало, и под их пляской горбатый нос деда начинает трястись, лицо его становится огромным и плоским, как лопата, то собирается в клубок и пышет хохотом, то отливается в страшную рожу с перекосившимся сумасшедшим взглядом.

Ванька согнулся в дугу, словно лесиной пристукнуло — сидит неподвижно, низко опустив голову... Жив ли? Ярко вспыхнул костер, но нет в огне силы, стал потухать.

Дед укладывается, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает.

Ванька молчит, только плечи вдруг ходуном заходили и затряслась голова. И из его груди прорываются придушенные вздохи и всхлипыванья.

— Ты чо это, Ванька?— тревожно бросает дед.

Тот борется с собой, но, видимо, совладать не может, начинает, уже не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплевывая сердито и ляская по-волчьи зубами.

Костер гаснет, вверху ветер начинается, и под нарастающий шелест тайги Ванька надрывно, хрипло воет, как зверь.

— Ванька!.. — кричит дед.

— Ууу... Ууууу...

Ветер еще пуще, зашепталась тайга, всполошилась.

Сумасшедший вой, нагоняя ужас, будоражил тьму, сверлил сердце деда, наполнял черным страхом все кругом.

— Да ты ошалел!!! — кричит дед. — Что ты, чорт, как лесовик! Аж жуть берет!..

Бродяга смолк сразу, до крови губы закусил.

А тайга брюзжит, вершинами машет, спорит о чем-то с ветром.

Ветер, злясь, треплет соседние деревья и спешит: дальше, вглубь, будит тайгу. Шумит тайга, шумит. Капля за каплей падает дождь.

— Григорий... — помедля немного, позвал Ванька решительным голосом.

— Ну, что, родимый?— учуяв что-то, отвечает ласково дед.—Ты подь-ка поближе сюда. А то ишь тайга-то, матушка, гуторит. От так... Ну-ка...

И во тьме чуть слышно:

— Покаяться я тебе должон, как перед богом... Видно, капут пришел мне... Не совладать. Ау, брат! Жила во мне у сердца лопнула...

Помолчал. Вздохнул. И дед вздохнул...

— Попа-то... помнишь? Ведь я спалил. Я! А ты как думал?

— Ни-и-ичего... — еще ласковей отвечает дед, — ох, мила-а-й...

— Дунюшку-то... Дунюшку-то ведь... я... порешил...

— Нно-о-о?

— Я... Я... Не досталась чтоб... Уманил я ее к речке, да в прорубь. Ву-у-у!.. Ухухуу...

И сквозь вой слышен строгий, властный окрик деда:

— Ах ты, проклятая твоя душа... Варнак ты!.. Варначище, язви те!

— Про-сти-и... Христом прошу...

— Прочь удди!

— А ты пожалей, слышь, дедушка...

— Пожалеть?! Вот я тебя пожалею, жиган ты этакий. Вот ужо...

Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка.

— И ты?! И ты, дед?! С попом вместях?!

Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шелковые хвои. Угольки в костре вспыхнули и зарницей на миг осветили поляну. Тайга заревела, затрещала вершинами. Дерево где-то ухнуло во тьме и с треском и стоном упало.

Дождь тихо идет. Ураган умчался, лишь ветер робко блуждал меж хвой тайги.

Калека съежился в клубок, лежит на боку, к сосне привалился, и зубы его от волненья лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать: тоска душит, змеей подкатилась к горлу. Лежит, думает, глаза открыты. И не может понять, то ли наяву мерещится, то ли во сне видит жизнь свою, — да не ту, что тучей надвинулась, камнем повисла на шее, а новую, светлую и радостную, которая в удел бы досталась Ваньке, не случись с ним грех. Вот он сильный, кровь бушует в жилах, на щеках румянец. Тройка каурых, своих собственных коней, закладывает в наборчатую сбрую, кореннику серебряные подвязывает. Возле него карапуз топчется: «Тятенька,— бормочет, — тятенька»... Дуня вышла, румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку, в глаза, усмехаючись, заглядывает и умильным голосом шепчет: «Соколик мой... Боровая моя ягодка».

Лежит Ванька. Спать не спит — глаза открыты.

— Ванька... — любовно окликает дед.

— Ну?..

— Ты меня, Ванька, в слезы вогнал...

Бродяга засопел, что-то сказать силился, но уста молчали.

Дед кряхтит, ворочается с боку на бок:

— Ты не убивец, Ванька... Я чую это... И пошто ты, например, таку неправду на себя примал?

Ванька Хлюст точно тьму рубит:

— Душа требовает.

— Как так душа? Бог простит, брат. Он все простит. Все грехи твои на обидчиков переложит. Чуешь? А я приют тебе предоставлю к зиме. С бога-а-м. От што... Страданья твои не малые. Он, брат, все видит. От што, мила-а-й. Не робей. От што...

Ванька повалился на грудь, обхватил голову руками, скулит, как малый ребенок, и не может от волнения понять, что говорит дед.

— Слышишь?

А тот все скулит и ничего не отвечает.

Уснул дед и уже бредит во сне.

В глубине слышится шопот: то Ванька молится, стукаясь лбом в землю.

— Богородица... богородица... Не дай загинуть...

Стонет в болоте выпь, точно тупым ножом по стеклу скоблит, небо плачет, возвращая земле ее слезы, тайга шумит, и чуть внятно всхлипывает Ванька.

Потом все умолкает...

Час проходит. Другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость, пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают звезды.

Но чу!.. Застонал Ванька, заметался... Знать, страх подполз к его изголовью и отогнал прочь таежные сны.

Эй, не тужи, Ванька! Тайга обережет тебя.

...Темно. Костер погас, в пепел рассыпался. Тихо. Словно смерть вошла сюда, и погасила свет, и смела все звуки.

...Верный гавкнул спросонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется, поблескивая в темноте угольками глаз. Потом завыл... таким протяжным, тонким, со слезами голосом.

В тайге еще темно было, а небо уже начало бледнеть, и потянуло сырым холодом. Ночь кончилась.

— Ванюха! Ванюха-а!.. — крикнул пробудившийся дед. Но никто не ответил ему.

1914

ПОМОЛИЛИСЬ

I

Сумерки сгущались; тускнел закат, кой-где мерцали звезды. Две семьи тунгусов пробирались тайгой к торговому селу Хватову, затерявшемуся в бескрайном лесу, на берегу большой северной реки. Не время теперь бродить тунгусам: вон какой морозище стоит, дышать нечем. Но и старик Гирманча и молодой Чумго обет положили — снести в церковь «приклад»: по две сохатиных и по одной оленьей коже.

Послезавтра должен народиться большой русский бог, то ли Никола-угодник, то ли Иннокентий-батюшка. Им это сказали купцы Харлашка да Петрунька, привозившие в тайгу летом вино и товары. Плуты купцы, не дай бог, какие оба плуты. Начисто их обобрали, всю пушнину себе взяли, оленей сколько-то. А что дали взамен?.. Мошенники.

Но когда они стали звать тунгусов к себе в гости и говорить о том, что у них зимой в церкви бог родится, что поп Ванька приедет, что огни зажгут в церкви и будет там ночью светло, как днем, при солнышке, что поп будет петь молитвы, а народ подпевать разными голосами,— они поверили и обещали притти. Да как же не поверить? Говорят купцы, а на глазах слезы. Просили белки тащить больше: цены хорошие установятся. Вот как просили, борони бог, как просили, много, много рассказывали, как прекрасно будет в церкви. Во все колокола станут звонить.

Ведь вот мошенники, плуты, а говорят — слезы на глазах. Все-таки народ добрый, значит.

Как не добрый, известное дело — добрый. Ну-ка, кто бы потащил им в тайгу вино, это за пятьсот-то верст?

А теперь у них маленько муки, слава богу, есть и кой-ка-

кое сукнишко, и порох, и дробь. А не будь всего этого — что бы тогда?

Правда, что денег купцы им не дали, пушнины у них не стало и на целый десяток оленей уменьшилось. Зато неделю пили, напившись, дрались и таскали друг друга за косы. А олени или пушнина — что ж? Бог даст опять. У него, у батюшки, этого добра сколько хочешь.

Только попросить его хорошенько, «приклад» пообещать да шайтана, «звериного хозяина», умилостивить: салом губы смазать да у огня поводить его — и все это будет... Ха!.. Не первый раз.

Оно так и вышло. Пушнины осенью добыли много. И не «подпаль» какая-нибудь, а первый сорт, как на подбор белочки, одна другой лучше.

Зимой, когда столбы заходили по небу, а снег лежал в тайге толстым слоем, долго советовались в чумах, итти ли.

— Однако пойдем,— наконец сказал Гирманча.

— Как не пойдем... Пойдем,— подтвердил Чумго.

Купцы оставили им «рубешку» — такую палочку, на струганой грани которой зарубками и крестиками были обозначены дни.

— Сколько нюльгов, али переходов, считаешь до села?— спросили купцы.

— Дюр-дяр. Двасать.

— Срезай каждый день по зарубе. До этой и дойдешь — в путь собирайся. В аккурат к празднику попадешь. Понял?

— Как не поняла... Помаленьку поняла... Помаленьку...— оба, старик и молодой, ответили тонкими голосами.

И вот теперь они с большим караваном оленей кончают девятнадцатую нюльгу.

Когда запылал «гуливун» — огромный, из наваленных сухих лиственниц, костер,— мужики уселись прямо на снегу возле огня и, покуривая трубки, стали толковать о том, что делать дальше.

Бабы расседлывали оленей, тараторили о чем-то безумолку, смеясь и шутливо перебраниваясь друг с другом.

Мужики решили: завтра пораньше надо налегке итти в село; Анна останется с оленями здесь, всех оленей дальше гнать нельзя — нет корму.

Анне было всего двенадцать лет, и когда она узнала, что ее не возьмут с собой, стала кричать и плакать. Она не боялась остаться в тайге,— что ей тайга? Хотелось ей погулять в селе, побывать в церкви, хотелось поглядеть, как поп машет кадилом и как горят перед образами свечи. И когда мать на-

чинает ее уговаривать, она еще шибче кричит, капризно плачет и издали плюет во тьму, по направлению к матери. Та ближе подходит к ней и скороговоркой что-то угрожающе бормочет, а девочка, взвизгнув и отбегая прочь, снова плюет, срывает по пути хвою и с сердцем кидает в мать.

Мать останавливается, шипит в ответ и, растягивая слова, бросает:

— Га-а-а-дина...

Девочка видит глаза матери и чувствует, что нет в них злобы, что мать только притворяется злой, а сердцем жалеет ее, Анну, маленькую любимую свою дочь. И чуя это, Анна еще сильней воет и визжит, и подступает к матери, и старается визжать как можно жалобней, чтоб тронуть мать. Но та непреклонна.

Опять среди тунгусской речи слышится русское:

— Га-а-а-дина...

Анна еще раз, теперь сердито, плюет и во всю силу звонко кричит серебряным голосом, но тут от костра раздается грозное:

— Цыц!

И сразу все смолкло. Тихим эхом робко плавают в воздухе ребячьи всхлипывания, но и они скоро стихают.

Ночь пришла. Небо чернело над чумом.

Золотые звезды дрожали в вышине.

Костер потухал. Собаки, лезли к самым углям, свертывались клубком и засыпали. Кругом бродили олени, отыскивая мох, или, утонув в пушистом снегу, лежали смирно и пережевывали жвачку.

Анна долго не могла заснуть, а потом, среди ночи, вдруг ее будят... Проснулась... шепчет кто-то:

— Анна... Слышишь, Анна... Я — бог... Я — русский бог...

Анна дрожит, а слушать хочется.

Страшно, а так и слушала бы.

— Говори, — шепчет Анна.

— Ты не бойся... Ты не бойся, Анна... Гляди, сколько цветов. Я пригоню к тебе всех белочек, какие только есть на свете. К тебе слетятся всякие птицы, красные и желтые, и будут петь. Я люблю тебя, Анна, моя девочка...

Видит: свет льется откуда-то сверху, и весь чум в цветах. Тянет тоненькую руку, срывает один, другой, третий...

— А ты меня любишь, Анна?

— Я боюсь тебя, дядюшка...

А свет все ближе, ближе, а на сердце такая робость слетела вдруг, что девочке захотелось плакать. И опять кто-то тормошит ее:

— Анна, эй, Анна!..

Просыпается. Отец сидит над ней, что-то приказывает.

В чуме холод, мрак, лишь угольки блестят золотом. Она смотрит на отца и, сердито отвернувшись, плотней укутывается. Когда проснулась, солнце высоко стояло, а чум был пуст.

Вздохнула Анна и стала разводить огонь.

II

В село пришли еще засветло на десяти оленях. Далеко ли тут? Одна нюльга, да и та корыстна ли? Верст пятнадцать, больше не будет.

Их было шестеро: два мужика, две бабы да двое детей — парень с девкой. Опять под самым селом чум раскинули. В нем остались бабы с ребятами, а мужики пошли к своему «дружку», купцу Харлашке, который их звал.

Шли они прямиком, перелезали огороды и заходили в чужие дворы, держась прямо на белую узорчатую трубу,— так лучше: под трубой, на горе, ха́рлашкин дом, а по улице итти — долго ль заблудиться, тут не тайга, борони бог...

В одном дворе они наткнулись на мужика: лошадей поил.

— А-а-а...— изумленно протянул он и заулыбался всем лохматым лицом.— Здорово, дружки. Откуда бог принес?

— Здорово, друг. Там... Тайгам бегал.

— К праздничку пришли?

— Праздник... Микола-батюшка...

— Какой Микола... Микола прошел. Христово рождество завтра.

— То ли Микола, то ли рождество. Почем знать. Мы тайгам гулял... Да-а-ле-еко...

В избу потащил:

— Мы к Харлашке.

— Нету его, в волость убежал.

— Ей-бог?

— Ей-бог.

Дверь захлопнулась, затем, через минуту, мужик без шапки, в одной рубахе вылетел на мороз, побежал в пригон, и оттуда раздался его призывный крик:

— Матре-о-на! Э-е-й!.. Беги скоряй: орда-а-а пришла. Беги-беги!..

Через полчаса все село знало, что пришли тунгусы, и сам Харлашка, торопливо застегивая на ходу лисий бешмет, спешил в дом лохматого мужика. Там раздались вдруг крики, ругань, потом вышли без шапок, пошатываясь, тунгусы, за ними купец. Он ругал крестьянина и тунгусов, что не к нему первому пришли с пушниной.

А те, с испуганным видом, враз заговорили:

— Мой не надо виноват. Русак ругай... пошто врал, пошто путал. Как нету? Харлашка, вот он. Есть.

А купец, на ходу выхватив у растерявшихся тунгусов связку баранок, замахивался ими на стоявшего в дверях мужика и, шлепая губами, зычно ревел:

— Нет, тебе кренделями-то этими по башке. Мои дружки!.. Стерррва! А не твои. Поэтому не смей...— и быстро удалялся, увлекая попавшихся ему тунгусов.

Мужик всех лаял вдогонку тенористым криком, и долго еще в воздухе звенел его голос:

— Нет, врешь... Я тебе покажу!..

«Покажу, покажу, покажу!» — носилось по деревне, пока лохматая голова не исчезла в избе: мужик пошел считать барыши.

III

Тунгусы раза три бегали в чум за пушниной, били там баб и тащили все к купцам — и лисиц, и белок, и сохатину. Они были выпивши, но много пить воздерживались, поджидая праздника, чтоб поблагодарить бога за промысел, а потом начать гулянку.

Уже перевалило за полночь, когда их, измученных, утащил к себе чуть ли не силой торговый человек, «Большой голова». Он злой был: сам купец, а ругался с купцами пуще всех. Злой, а все-таки тунгусов защищал: обзывал торговых мошенниками и еще так ругал, что никогда и не выговоришь. Ох, какой злой!..

Привел и дома заорал на свою бабу, на чужую бабу, на приказчика, на всех заорал:

— Живо!.. Чтобы живо... Лови-бери-подхватывай!.. Вина, чаю, щей...

Купец, дай бог, ласковый сделался. Усадил, по голове гладит, чуть не целует тунгусов. А тех торговых, и Харлашку с Петрунькой, и лохматого мужика заглазно ругает разными словами.

Тунгусы сидят, улыбаются; самовар притащили, мяса притащили, вина притащили. Вот это хорошо. Тепло в избе, и хозяин стал добрый, смеется, по голове гладит, целоваться лезет. Вот это ладно.

Тунгусы распоясались — жарко, чай пьют, улыбаются, потом говорят:

— Когда праздник-батюшка? Когда колокола станут бухать?..

— Да скоро: вот часок-другой — и ударят.

Расспрашивает их купец про белок — хорош ли промысел был, про оленей, про семью — все ли здоровы. Голос у купца

ласковый, глаза ласковые, но в глубине их блестит что-то злое, никак не может скрыть того, что таится в сердце.

Тунгусы слушают, отвечают, жалуются на тяжелую жизнь.

И опять:

— Когда праздник-батюшка? Чего колокол молчит? Умер, что ли?..

Близко рассвет; купцу медлить нельзя. И он приступает к делу.

— Белки-то много у вас осталось?

— Как осталось. Все тащил. Все кончал... Нету...

Лицо у купца вдруг налилось кровью, и выкатилась ласковость из речей и из глаз.

— Сколько денег? Сколько грабители чистых денег вам отсчитали за пушнину?

— А вот смотри. Почем знать. Много.

Видит купец — семьдесят рублей.

— Только-то?

Смекнул.

— Вот два креста у меня есть, золотые: ну-ка покупайте.

— Пошто крест. Нам не надо крест. Есть крест; видишь, поди.

На груди у тунгусов были огромные, на толстых цепях, серебряные кресты.

— Тоисть как не надо? — спросил угрожающе купец. - Тоисть как так?.. А?..— и поднялся.

— У нас, друг, есть крест...

— Тоисть как есть? Это-то?.. Да вас кто крестил?

— Мишка, приказчик Валькин... Маленько.

— Поп чей?

— Нет поп... Мишка, приказчик...

— Дураки! Еще какие дураки-то!..

Торговый секунду подумал и заорал:

— Степан! Живо прорубь долби в реке: орду крестить по-своему, по-настоящему будем...

Одно зло в глазах купца осталось; багровый стоит, кулаки сжал.

Приказчик смотрит, недоумевает, но, поймав в лице хозяина нужное, бежит проворно на улицу.

Тунгусы присмирели, губы затряслись; бледные сидят и не знают, как быть.

А тот орет:

— Берешь или не берешь?! Берешь или не берешь?!

И тонкими, чужими голосами отвечают — сначала старик, за ним молодой:

— Ну, ладно... можно брать. Давай, друг, давай...

И сквозь слезы:

— Крестить не делай. Река тунгус боится. Вера такой... Борони бог, как. Пожалуйста, не делай...

Купец молчит, деньги прячет в карман, кресты медные надел им.

— А еще деньги есть?

— Помаленьку, бойе, помаленьку есть..

— Сколько?!

— Как знать. Помаленьку есть... Один бог знает...

Старик робко приподнялся и, незаметно тронув молодого, тихо, почти шопотом, сказал купцу:

— Я только на час, бойе... На ворота. Недолго приду, бойе. Приду... Верно...

А за ним молодой:

— Только на час, бойе. Шибко брюхо схватил с вина... Помаленьку...

И, выйдя на улицу, оба припустились к тайге, попрежнему перелезая огороды и заходя в чужие дворы.

IV

Стали вьючить оленей, рассыпая в потакуи покупки, что навязали им купцы: ящик изъеденных мышами пряников. Зачем им пряники? Старые окаменелые баранки, зачем они? Муку, бисер, ленты, ситец, всякий хлам, ненужный, бросовый, без чего всегда обходился тунгус. А вот чаю мало дали, сахару мало дали, пороху мало дали. Это плохо... Свинцу совсем не дали. Это больно худо... Чем белку бить, чем сохатого бить?

Бабы вьючат, брюзжат, бранят мужиков, оленей пинают со злости, а мужики возле огнища сидят, трубки курят и боятся глядеть друг другу в глаза. Сидят и вздыхают крадучись.

— Отыркан, тащи вина! — вдруг крикнул старик жене.

— Сам тащи. Много дали тебе вина. Где твои белки, где твои лисицы? Ах, старик, старик... Дурак ты, худой дурак!..

Старик принимает упрек молча, потом говорит:

— Плуты! Мошенники!.. Все тащил, ничего не давал,— и никнет головой.

Затем, повернувшись к селу, кричит резким, со слезами, голосом:

— Я не к тебе пришел, я праздник пришел, я Микола-батюшка пришел! А ты, плут, обижал... Ну, ладно...

В это время ударил колокол.

Воздух вздрогнул, и тягучие металлические звуки поплыли от села к тайге, летели дальше, в глубь леса, туда, где живут белки, горностаи, лисицы, где спят чутким сном медведи,

где Анна, маленькая девочка, ждет своих с подарками и радостными вестями. Спит, поди? Да, спит: время глухое.

Все вмиг затихли, мужики и бабы положили в мешочки трубки, стояли молча, не шевелясь, и, разинув рты, слушали благовест.

Тихо снег падал, и брезжил рассвет.

— Пойдем помолиться-то,— робко сказала старая Отыркан.

— Нет,— ответил старик спокойным голосом.

— Ведь, поди, праздник...

— Нет, все равно нет. Мошенники!.. Убьют...

V

Немного помедля тронулись в обратный путь.

Звенели медные боталы у оленей, галопом скакали оленята, отыскивая своих матерей, и по тайге носилось тунгусское понукание:

— Мо-о-до!.. Мод-мод-мод!..

Старик ехал молча. Он хотел отвести с Чумго душу, поговорить с ним, высказать свое горе. Рассчитывал сказать ему: «Бойе, вот обобрали нас, это плохо, бойе... Ой, как плохо!..»

Но когда увидал, подъехав вплотную, широкую, согнутую спину товарища и понуро опущенную голову, сказал совсем не то, что думал:

— Ты бы, Чумго, пожалел оленя, ишь хромает,— слезь.

Хотел пересилить себя и сказать нужное, но не было у него теперь слов; уста сомкнула обида, ныла грудь, и в голове ходил зеленый угар.

А Чумго, не слыша его, ехал дальше, вздрагивая плечами и закрыв лицо лохматой рукавицей.

Но вдруг вместе с гулким благовестом кто-то стукнулся старику в сердце, взыграла душа, и ему неотразимо захотелось вернуться в село, пойти в церковь, упасть перед Николой-батюшкой на колени и рассказать громким голосом все, как было, нажаловаться ему при народе — пусть слушают — на всех плутов и мошенников. На Петруньку с Харлашкой, и на «Большого голову», и на всех, кто всю жизнь делал ему зло.

«По какому праву?.. Эй, по какому праву?!»

И сердцу сделалось сразу так больно, что старик чуть не крикнул на весь божий свет.

Но в это время начался радостный трезвон во все колокола. Тайга шумела вершинами, и звуки перезвона то были близко, рядом, ласково просились в душу, то замирали в шопоте леса и казались далекими и чужими.

Опять все, будто по уговору, остановились, опять стали прислушиваться к переливчатым, весело порхавшим по тайге звукам и стали креститься трясущимися руками.

Постояли, вздохнули молча и молча двинулись в путь.

Старик ехал сзади; он опустил низко голову и думал о том, что есть великий русский бог, светлый и милостивый. Но зачем он так далеко живет? На солнце, что ли? Зачем он дает обижать тунгусов? Разве не видно ему сверху? Али жертвой не доволен остался? Можно еще больше дать «приклад». Возьми, только в обиду не давай.

— Пожалуйста, возьми, русский бог, пожалуйста, возьми... Двадцать дней шел, бабу тащил, ребят тащил, товарища тащил, оленя мучил. Пожалуйста, давай защиту. Пускай подохнут все купцы, и чтобы все начальство околело!

Обида вдруг всплыла наверх, и старик заплакал, лицо сморщилось, скривился рот, закапали слезы.

Взглянул на небо... Но там звезд не было.

1912

ЧУЙСКИЕ БЫЛИ

Эх, да как стегнула по Алтаю Чуя, священная река. Белые стоят на небосклоне горы, все в вечных снегах, Чуйские Альпы, земли надгробие. В них родится Чуя, священная река.

Сначала степью течет она: ни лесу здесь нет, ни сочных трав. Зато отсюда ближе небо, ярче звезды, чище, прозрачней воздух.

Вся степь, во времена минувшие, до самых горных маковок была водой залита: века веков плескалось здесь озеро голубой волной. И стерегли это озеро каменные витязи, Чуйские Альпы, богатыри алтайские, плечо в плечо стояли каменной стеной.

Но не удозорили, не усмотрели: обмануло их озеро, убаюкала их зыбун-волна, уснули крепко. А вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула.

Гул пошел по Алтаю, земля затряслась, осыпались камни. Широко волна хлещет, опрокидывает скалы, грохочет и стонет, и мчится вдаль бешеным потоком.

Это Чуя, рожденная в снегах, горами плененная, вырвалась на волю и понеслась меж расступившихся в страхе Алтайских гор.

А озеро обсохло, и дно его превратилось в песчаную Чуйскую степь.

Так стародревняя быль говорит.

На Чуйской степи есть маленький русский поселок Кош-Агач. Такой маленький, что с гор, обнявших степь каменным кольцом, его и не приметить.

Через Кош-Агач Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он сибирский город Бийск с монгольским — Кобдо.

Весь бы этот тракт серебром можно вымостить да золотом, что загребли-захапали купцы у алтайцев и монголов.

Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из узких глаз полудиких, с чистой душой, кочевников; такой большой обидой и горем наделил их неистовый, алчный хищник.

Так говорит про купцов недавняя быль.

Бурным шумом шумит, шорохом шелковым...

Эй, подожди, Чуя, вода холодная! Куда бежишь, куда по камням вскачь мчишься? Стой, Чуя, стой! Расскажи нам вчерашние были свои.

1. ЗЕРКАЛЬЦЕ

Зеркальце как зеркальце. Маленькое, круглое, цена ему — пятак.

Купец их с дюжину привез в горную степь. Давно дело было, в этот заброшенный край еще никто зеркал не важивал.

Думает купец:

«Надо калмыкам продать, надо калмыков нагреть. Греха тут нету: калмык не человек,— зверь, и душа у него, как у пса, — пар. Зверь и зверь».

Едет купец в гости к своему другу, калмыку Аргамаю, которого не раз надувал.

Вечером приехал, к огоньку. Аргамай в юрте сидит толстый, сильный. Один у камелька сидит, баранью кость гложет и мурлычет песню о том, как он завтра на заре будет кочевать к снегам, где такие вкусные сочные травы — сласть скоту.

— Эзень! — поздоровался купец.

— Эзень, эзень! — откликнулся Аргамай, всматриваясь в пришедшего.

— А-а-а... Эвон кто! Друг!.. — радостно вскрикнул и уступил гостю свое место.

У костра засуетился, — огонь ярче вспыхнул, — полбарана положил в котел, чай по-калмыцки готовить начал: с молоком, жареным ячменем и солью.

— Баб нету... Один больной, другой в гости укатил к отцу.

— Нет ли арачки?

— Бар, бар... — и подал в турсуке самодельную из молока водку.

Сидят, беседуют. Огонек весело горит. Арачка вкусная, теплая, по жилам загуляла, в мозг ударила, дала волю языку.

Калмык смеется, и купец смеется, по плечу Аргамая похлопывает, льстивые речи говорит:

— Ни у кого таких коней нет, как у тебя. Самые лучшие быки у тебя. Самые лучшие бараны у тебя. Ты богатый. Жена у тебя красивая.

Говорит, арачку пьет, баранину ест.

Аграмаю любо, слушает, смеется и, чтобы не остаться в долгу, говорит гостю:

— Ты самый хороший есть. Самый верный... Друг...

Вспомнил купец про зеркальце.

Думает:

«Надо подарить. Убыток небольшой — пятак».

Достал, показывает.

— На-ка, поглядись.

Смотрит Аргамай пристально. Приковало его зеркало.

— Это кто?

— Да ты...

— Как я!? Это шайтан!

— Нет, ты...

Молчит, еще пристальней всматривается, недоверчиво на купца смотрит, говорит ему:

— Чего врешь?! Нету!.. Шуба-то моя, а рожа сроду не видал, не знаю!..

Купец блаженно улыбается, а калмык от нетерпенья заерзал по войлоку, руки дрожат, крепко уцепились за волшебное зеркало. Сроду такой чудесной штуки калмык не видывал.

— Да ты надень шапку-то... Видишь?.. Ты!..

Смотрит калмык — его шапка в зеркале, косу смотрит — его коса, с ленточкой, бородавка на носу его, — ущупал...

— Ха-ха-ха!.. Продай... Делай милость, продай!

А купец совсем обмяк, радость другу своему доставить хочет, говорит:

— Да я тебе его...

— Делай милость, продай... Сколько хочешь возьми!..

И вдруг купеческая душа в подлую алчность покатилась.

— Нельзя... — чуть дрогнув голосом, сказал купец.

— Возьми быка... Ребятам, бабам казать буду... Ха-ха-ха... Пусть смотрят рожам...

— Нет, нельзя, — твердо купец сказал и легонько зеркальце к себе тянет.

Аргамай не дает...

— Два быка, три быка!.. Хороших!..

— Что ты, я сам дороже заплатил... В Москве добыл... Знаешь, слыхал?

Чуть не плачет Аргамай, большой ребенок:

— Возьми четыре быка... Пожалуйста, возьми, друг!..

— Пойдем быков ловить, — жадно сказал купец.

Аргамай смеется плутовато, зеркальце подальше прячет, на купца с опаской смотрит, не продешевил ли тот, не отобрал бы...

Ласково ему говорит тонким своим голосом.

— Ты самый хороший есть... Самый верный... Друг...

Поздно ночью возвращался к себе в стан пьяный купец. И, выписывая в седле опьяневшим туловищем мыслете, весело вслух думал:

— Он на то и калмык, чтобы его учить. На то он и татарская лопатка.

2. ЧАСЫ

Жил-был ласковый торгаш с мышиными глазами. Он такой хитрый, что любого шайтана мог трижды перехитрить.

Плут. Отца, мать продаст, в торговый оборот пустит.

Приезжает к нему старый киргиз Юсуп.

Посидел, покалякал, кое-что купил.

А торгаш только что свежий товар из города, из Руси получил.

— Купи часы...

Взял киргиз в руки часы, полюбовался ими, языком прищелкнул:

— Живой... Стукат...

— Купи!..

Вздохнул Юсуп. Надо бы купить, — не себе, а сыну, доброму джигиту. Эх, надо бы купить.

— Я бы купил. Денег нет... Вот будут, куплю.

Не любил Юсуп в долги залезать.

Водкой купец угостил его, целый стакан подал:

— Пей!

Магометанская вера строгая: водку запрещает пить. Однако Юсуп с хорошим человеком маленько выпить может, греха таить нечего.

— А водка злая, крепкая, рот обожгла, веселым туманом обложила сердце.

Еще стакан подал:

— Пей на здоровье!

Очень ласковый торгаш.

Попрощался Юсуп, сел на своего верблюда, поехал.

Степью ехал. Тихо было в степи. Лишь кузнечики неумолчно в траве трещали. Небо бледное, в бледных звездах — белых лебедях. Из-за снеговых хребтов подымалась луна.

Едет старый Юсуп, улыбается, с верблюдом разговор ведет и, пьяненький, начинает напевать:

— Вот месяц смотрит... Алла-алла... Круглый, зоркий, как глаза великого аллаха... Светит мне, светит верблюду...

Дальше едет... Тихо в степи... Кто-то навстречу скачет... Свой...

Проскакал джигит. На ходу кричит что-то, но Юсуп не слышит. В небо глядит, месяцу слезящимися глазами подмигивает. Месяц щурится и ярче освещает степь.

Поет Юсуп:

— Месяц, месяц... Золотой мой месяц... Мне хорошо, я был бедняк, а вот выпил вина, богатый стал... Я старый, как в реке черный камень... Вот куплю часы... Урус часы привез... Я их куплю... Часы, часы... Гей, часы. Живые...

И он громко рассмеялся.

И зародились в его голове серебряные мысли, как те круглые, маленькие, блестящие часы, которые он видел у торговца. Их много, не пять, не десять, много. Он все их купит, все часы купит, он всем раздарит. Старой своей жене, молодой жене, да дочке... Сыну, джигиту, трое часов повесит, себе целый десяток... Ха-ха... Пусть тикают, пусть вертят стрелками. Это больно хорошо... Он верблюду часы подарит, он быку подарит... Пусть и бык при часах ходит... Хе-хе...

Вдруг слышит: застонала степь. Дробный топот по степи звучит, отчетливый и быстрый. То кони скачут, бьют копытом землю, гудит земля.

«Ага, свои...» — думает Юсуп.

Весело Юсупу. Огоньком вино по жилам бродит.

«Остановиться надо. Потолковать надо...»

Нагоняют. Купец. С ним люди...

— У меня, друг, часы пропали... Которые ты в руках держал...

«Пропали так пропали... Ха-ха... Эка штука. При чем же тут Юсуп?»

— Я не брал, — говорит он, улыбаясь старым своим бронзовым лицом. — Пусть аллах меня с коня столкнет, когда я над пропастью поеду. Я не брал...

Ласково торгаш отвечает:

— Да мы знаем, что не брал. Вот я с понятыми еду, всех обыскиваем... Вас много в лавке было...

— Ищи, пожалуйста, ищи!

Верблюда посохом по ногам слегка ударил, опустился верблюд на колени. Юсуп слез и с готовностью подошел к купцу, раскорячивая по-пьяному ноги. Глаза черные, лучистые открыто на купца глядят. Лицо добродушное, доверчивое, бороденка хохолком — дрожит.

— Пожалуйста, ищи. Не брал...

Стали обыскивать. Халат расстегнули... И вдруг...

— Ой, алла, алла!.. — за пазухой часы.

У киргиза глаза широкие, рот открылся, замер киргиз... И, схватившись за голову, закричал упавшим, рвущимся голосом:

— Вой-вой-вой!.. Не брал!..

Торгаш на всю степь взревел:

— Ребята, вяжи!.. В тюрьму его!..

Вмиг месяц колесом по небу завертелся и упал, серебряными нитками осыпались звезды, небо почернело, всколыхнулась под ногами степь.

Бросился Юсуп на колени, скривил свой старый рот и заскулил жалобно. И не знал, не видел из-за слез, куда ползти, кого молить, где торгаш, ласковый его друг.

— Ой, не надо тюрьма... Ради бога, не делай... Ради бога... Чего хочешь, проси...

Взял купец верблюда, велел пригнать на заре трех лучших игреневых жеребцов. И с честью возвратился во-свояси.

3. ТАВРО

Купец Неправедный, рода крестянского, в молодости пастухом был, из Монголии гонял хозяину овец.

— Я умный, — хвастался он, — богатым буду обязательно.

И верно. Разбогател — распыхался вскорости.

Народ говорил про него:

— У этого рука не дрогнет. Он крест сбросил, а совесть-то пяткой притоптал.

И задумал он в Кобдо ехать, там орудовать.

Приехал, лавочку открыл, руки загребущие расставил, хайло свое, рот щучий открыл широко.

Но рыба ловилась все мелкая, осетры к другим торговцам плыли, и ему стало завидно.

— Это что за дела, — как-то сказал он в Иркутске, в клубе, сидя в компании купцов, — вот кого ежели б по башке шкворнем съездить да капиталом завладеть.

Купцы возмутились:

— Негодяй!! — и немедленно спустили его с лестницы.

Почти в одно время с купцом Неправедным поселился в Монголии, в городе Кобдо, тихий монгол Раптан, торговый человек. Он старик, ему восьмой десяток идет. У него три сына, два внука. Все вместе торгуют, одним живут домом.

Подружился он с Неправедным, в гости ходит, к себе принимает.

Неправедный тихоней прикинулся, ласково обращается с монголом и со всей его семьей. Дружба завязалась тесная.

Говорит как-то Раптан другу:

— У меня душа не на месте. Я из Китая удрал, кредиторам много должен. Как Большой Кулак бушевал в Китае, у меня три магазина разграбили. Я и удрал сюда. Вот расторговался.

Год за годом протекли, десять лет прошло. В дугу согнуло

время старого монгола, плохо видеть стал, плохо слышать стал, и день и ночь богу молится, готовит себя к смерти.

А друга своего первого, русского купца Неправедного, не забывает: у него гостит, и к себе часто зовет, угощает его, подарки делает—то коров пригонит, то бегунца саврасого подарит, то пришлет купеческой жене куска два китайской чесунчи.

Живет старик спокойно, прежние кредиторы потеряли его след, все пути к нему поросли бурьяном.

И вдруг — напасть... Из Китая беда идет, нищету тащит за собой на веревочке.

Пришел к старому Раптану монгол и говорит:

— Ой, Раптан, берегись. Тебя ищут, тебя завтра схватят, все возьмут: чиновник в очках из Китая едет долг с тебя получать.

Раптан не сразу понял: и раз и другой переспросил гонца. А как понял, — зашатался, на пол сел, в глазах темный песок, в груди льды идут.

— Я никому не должен. Я им был должен, трем купцам. Но у меня все разграбил Большой Кулак. Пусть с грабителей ищут, пусть с правительства требуют. Я не должен.

И мрачный, опираясь на костыль, побрел к своему другу, купцу Неправедному.

Пришел и тихим, старческим голосом говорит ему:

— Вот ты умный, все законы знаешь, все порядки знаешь... Ты добрый, — ты друг. Научи, — что делать. Защити!

Еще что-то сказать хотел, но запрыгали губы, пропали все слова, слезы полились. Лицо застыло, потеряло жизнь. Слезы льются из запавших черных глаз, а лицо спокойно. Голова низко опущена.

Страшно сделалось купцу, жалость большая родилась в сердце.

Говорит купец:

— А очень просто... И ни черта не получат...

Поднял старик голову:

— А как, друг?

Купец по комнате похаживал, красную бороду утюжил, что-то обдумывал.

— У тебя сколько голов скота?

— Верблюдов сто, быков две тысячи, лошадей с лишним тысяча, овцам счету нет... Забыл...

Сел купец, цепочкой играет на толстом животе, на лбу пот выступил: жарко.

— А очень просто!.. — крикнул он, хлопнув монгола по плечу. — Слушай! — глаза пошли искрами.

Монгол рот разинул, благоговейно руки сложил: вот мудрость божия польется из уст купца.

— Сейчас же клади на весь свой скот мое тавро, мою мету. А на подмогу я приказчиков пошлю, к утру все оборудуют.

— Так-так... — кивает головой монгол.

— И скажешь, что скот не твой, а мой...

— Так-так...

— А сколько у тебя товару?

— Тысяч на двести серебром.

— Скажи, что и товар не твой, а мой... Я завтра для отвода глаз и в лавку твою сяду. А ты мне вексель выдай на двести тысяч серебром. Понял?.. Так чиновник и уедет не солоно хлебавши,— поговорка такая есть... А я тебе все потом верну. Не сомневайся...

Старик встал, опираясь на костыль, низко-низко купцу поклонился:

— Мы тебе верим... Мы тебе верим, друг, Ван Ваныч...

Прошло два дня, томительных и длинных.

У стариков время быстро летит: день за днем, неделя за неделей, — глядь, и год прокатил.

Но эти два дня старому монголу показались вечностью. Душа на-чеку была, вся преображенная, насторожившаяся до предела: словно старик переходил по тонкой жердочке чрез пропасть, а жердочка гнется — вот-вот слетишь... Ему и по земле-то ходить горе, а тут приказано итти по тропинке зыбкой.

Жутко старику.

И началась у него новая жизнь: вышел в поле, с пастухами своими живет, свой скот, меченный новым тавром купца, караулит.

А купец в его лавке сидит, торговлю ведет, ждет китайского, в очках, чиновника. Три хозяйских раптановых сына — вроде приказчиков, тут же в лавке, робкие, прихлопнутые горем, как капканом зайцы.

В полтретьем дне — хвать! — обломилась жердочка.

Охнул старый монгол, затрясся весь: как волк перед овцой, вырос перед ним в желтой кофте чиновник.

— Я знаю, ты—Раптан, из-под Калгана, ты торговый человек, большой должник. Ты богатый. Суд постановил взыскать с тебя долг.

Вдруг душа монгола выпрямилась, взмахнула крыльями.

Твердым голосом сказал монгол:

— Да, я Раптан, честный монгол, старик. Я был богат. Теперь я беден, как после стрижки овца.

— Что-о-о? — грозно протянул чиновник, — а это чье стадо?

— Это стадо хозяйское, русского купца. Поди, справься... Вот тавро его, иди, смотри. Весь скот его. Я служу в пастухах.

Удивился чиновник, сухие губы зло кусает, очки сорвал, опять надел, кашлянул и сердито повернулся так быстро, что шелковая коса его больно хватила старого монгола по лицу.

Потом чиновник бегал в лавку, бегал в дом к купцу Неправедному.

И ничего не получил.

Купец наславу угостил его тремя щами, тремя кашами — рисовой кашей с маслом, рисовой кашей с миндальным молоком, рисовой кашей с черной ягодкой.

Тремя наливками поил самодельными, пахучими, прямо с погреба принесла сама хозяйка. Холодные наливки, а огоньком веселым окатили-обожгли китайское сердце. Китаец то плачет, то смеется. Ему жалко с русским купцом расстаться, уж очень хороший человек, жаль, жаль... Плачет китаец, разливается, очки уронил, подымать стал — упал, лопнулы очки...

Купец с ним по-монгольски прекрасно говорит. Раптана ругает: «Мошенник!» — его, купца русского, тоже нагрел старый плут Раптан: выдал вексель на двести тысяч серебром, а в лавке его и на сто тысяч товару нет.

Говорит так, вексель китайцу в нос сует, а сам смешливо кричит по-русски жене:

— Ожарь-ка, Мавра, этой образине собачью ногу... Слопает...

Так ни с чем китаец и уехал. Даже собственных очков лишился.

Месяц прошел, другой прошел, прокатился год.

Купец все время твердит Раптану:

— Ты ему не верь: он караулит. Они, китайцы, хитрые. Подкараулит, да все и отберет... Еще надо помедлить. Пока паси мое стадо, а я буду торговать...

— Это, друг, мое стадо...

— Ну, ладно, там видно будет.

Но сыновья и внуки роптать начали:

— Иди, проси купца. Теперь ничего, опасности нет. Поблагодари нашего друга, успокой, пусть о нас не заботится...

Надел старик свой новый синий шелковый халат, большие круглые очки надел, взял две ценных вазы, еще ларчик взял из слоновой кости, золотом и серебром его наполнил. Сына своего старшего захватил с собой.

Пошли.

И опять почудилось старому монголу, что он идет через пропасть по тонкой скользкой жердочке, а все небо закрыла

желтая туча, и будто гром рокочет: «Как дойдет Раптан до пропасти, гряну молнией и поражу».

Говорит монгол сыну:

— Ох, что-то мне неможется. Возьми меня под руку — упаду.

Кой-как пришли.

Старик отдышался и торжественно сказал купцу:

— Вот мы хотим благодарить нашего друга. Мы принесли тебе дары. Прими от нас наши дары, и да сохранит тебя бог со всем твоим домом.

И старик упал вместе с сыном купцу в ноги.

Принял купец дары, сказал:

— Спасибо...

Хозяйка унесла дары и заперла в кованый большущий сундук с тремя замками.

— Теперь, друг, позволь тебе напомнить о моем векселе. Ты забыл... Но это ничего, у тебя дел много, забыть легко. Вот мы просим тебя, верни...

Взвилась-вздыбилась купеческая мохнатая душа... Вылупил купец глаза, вобрал в грудь воздуху побольше и, ткнув в дверь пальцем, гаркнул:

— Вон!! Вон!! Все мое — и скот и лавка! Вексель я протестовал... Все мое!! Вон!!

Часто-часто замигал старый монгол, торопливо попятился от своего друга, что-то хотел крикнуть, но, видно, пришел конец, взмахнул руками и грохнулся. Умер старик.

Осиротели дети и внуки Раптана.

То тот, то другой из них заходил к купцу Неправедному. Он их в дом уже не пускал, разговоры вел на крыльце.

— Мы, друг, думаем, что ты пошутил... Мы, друг, разорились. Нам нечего есть... У нас жены, дети, у нас старая мать... Пожалей.

Но купец не думал жалеть: сердце его твердое.

Последний край пришел: целой гурьбой, все до единого, ввалилось во двор семейство старика Раптана и подняло гам, как на отлете птицы: бабы воют, плачут ребята, мужчины стоят суровые и молча ждут.

Вышел купец.

Все зараз закричали:

— У тебя камень, а не сердце. У тебя змея в груди. Ограбил. Ограбил. Ограбил... Не уйдем отсюда... Убивай!..

Купеческое сердце растаяло:

— Ну вот что, рябятушки. Мне вас жалко. Я вам работу дам... Кто помоложе, пусть мои стада пасет, жалованье положу хорошее... А вы трое будете у меня вроде возчиков, мой товар в город повезете:

Долго монголы плакали.

А купец в благоденствии до седых волос дожил. Денег невпроворот у него. Дела идут хорошо.

Он иногда любил похвастывать:

— У меня есть тридцать верблюдов. И ежели я все свои дела прикончу, все обменю на серебро — дык мне на своих верблюдах этого серебра не вывезти в Русь, не уместить... Вот как бог помог мне, царь небесный, батюшка.

4. ГНУС

Был купец, по прозвищу Гнус.

Лицом курносый, борода лопатой, глаза яблоками, на лоб вылезли, наглые. Корпусом толстый, голосом зычен: как гаркнет в поле — лошади шарахались в стороны.

А удаль в нем степная, дикая: скакать бы ему на бешеном коне по полю, глушить бы проезжих с товарами ямщиков, чиновников, купцов.

Да так оно и было.

Ведь чорт его знает! Ведь горы золота нажил человек, а любил, бывало, пошалить темной ночью с лихими киргизами, друзьями своими, побарантачить. Видно, кровь в сердце кипучая была. Подобрал себе шайку отпетых и стал с ними по горам гулять. Удали через край в Гнусе, а скупость сказочная. Несколько лавок у него. Весь округ должен ему.

Долги собирал он натурою: возьмет у калмыка телят двадцать за долг, за какие-нибудь двадцать кирпичей чаю, по рублю кирпич, да и скажет ему:

— Ты, друг, оставь телят-то у себя. Где их буду пасти, у меня земли нету.

Калмык пасет их год, и другой, и третий. А потерять или продать — не смеет: телята все купеческим, Гнуса, клеймом мечены.

На третий год посылает Гнус подручного и берет своих трехлетних быков.

А калмык по простоте душевной думает:

«Все верно, все так... Теленок был, бог растил — бык стал...»

Как-то калмык задолжал Гнусу целковый. Хорошую у него трубку купил. Калмыку без трубки нельзя, как красавице без румян. Бедный, неимущий.

Гнус сказал:

— Вернешь мне через год за целковый пять шкур сурка: процент на тебя накладываю.

Калмык с процентом очень хорошо знаком: калмыки купцами обучены, процент вот где у них сидит, ради процента —

чтоб его шайтан съел, — все они и бедные, и живут по горло в долгах, в кабале вечной.

И случилось так, что у калмыка не оказалось к концу года лишних шкур: на сторону продал, повинности справил, семью кормил в голодный год. Уплатил всего две шкуры.

— На будущий год уплатишь мне две овцы и три шкуры. Процент накладываю.

Калмык отлично понимает, что такое процент, тяжело вздохнул, но делать нечего.

Вот и второй год кончается. Дела еще хуже идут. Одну овцу притащил.

— Теперь ты будешь должен мне годовалого бычка и пять овец. Теперь все дорого, доставка дорогая. Большой процент накладываю.

До пяти быков дошло дело, до пяти верблюдов. А каждый верблюд сотню рублей стоит.

И век бы сидеть в неоплатных долгах калмыку, да догадался, умер. Процент сгубил молодца.

А и всего-то трубку купил, вещь малую.

Но были случаи и почернее.

Лихие молодцы — киргизы. Но и Гнус охулки на руку не положит.

Завел себе весь наряд киргизский: малахай бархатный с лисьей выпушкой сделал, чатпор березовый вырезал — такую палку, с корневищем на конце, трахнешь по голове — череп, как арбуз спелый, разлетается! А конь у Гнуса — чорту брат: ветер нипочем ему: что ветер! — стрелу певучую обогнать может. Гнус атаманом стал.

И никто об этом не догадывался. Только ночь темная, да широкая степь, да горы знали. Да еще те, несчастные... Но те слова не вымолвят, немую жалобу с собой уносят в землю.

Надумал Гнус караван с серебром обобрать: серебра в Монголию идет много, в слитках, серебро там ценится.

Издалека начал выслеживать Гнус, за границу проводил, в Монголию. Там степь, жилья нету, кричи сколько хочешь, плачь, умоляй — степь все выслушает скорбно, но защиты не даст.

Идет караван степью и не чует беды. А беда по пятам крадется, жмется у гор, серая, как серый щебень-курум.

Идет караван ходко, но и солнце не дремлет, книзу катится, вот-вот сядет на сизые хребты. Караван торопится: в степи воды мало, надо у речки ночевать, а до речки десять верст.

Как пал сумрак, говор речки послышался. И люди, и лошади обрадовались: отдых.

Не успели еще коней выпрячь — вихрем налетела шайка... Арканы в ход пошли, руки ямщикам вязать начали, конвойных смяли, — много ли их, всего три человека. Один сопротивляться стал...

И быть бы злу великому, но кто-то помешал: то ли казаки из Кобдо в Кош-Агач почту везли, то ли знакомый купец ехал — гикнул Гнус, и вся его ватага умчалась в горы.

«Сорвалось», — сердито думает Гнус, губы себе в кровь искусал, коня взмылил и долго, ругаясь, грозил кулаком золотому огоньку, что робко замигал у речки.

Этим дело не кончилось. Начальство узнало, кликнуло клич.

— Ребята! Кто желает разбойников ловить? Кто хочет получить награду? Шаг вперед!

Выискалось двадцать пять казаков, двадцать пять отпетых голов. Снарядились, поехали чуть свет в путь-дорогу с казацкой песней, с бубнами. Лихо кони мчат, лихо скачут: степь ровная, с гор прохлада веет.

К горам подъехали казаки, в балку заглянули — пусто, в долину речки заглянули — нет следов, дальше поехали, песни не поют, смолкли бубны. Тихо едут, слова не проронят: как бы не спугнуть врага.

Вот и дню конец, а казаки еще и привала не делали, утомились, по сухарям соскучились; лошади похрамывают, корму просят.

Остановились на ночлег.

Гроза надвигалась. Сумрак наполнил степь, скрыл горы. Вдали безмолвно играла молния: вспыхнет там где-то за хребтами, потрепещет над вдруг всплывшими из мрака вершинами и тихо погаснет.

— Дождь будет, — сказали казаки и быстро палатки раскинули.

— Гроза идет, — сказали казаки, поужинали, чаю кирпичного напились и завалились спать.

Гроза надвигалась.

Две грозы надвигались на казаков. Светлая гроза, с молнией и ливнем. Черная гроза — Гнус, душа коварная.

Карауль, сторожевой казак, карауль!.. Черная гроза — опасная.

Сторожевой казак, Петр Байкалов, боится небесной грозы, его громом в детстве еще оглушило. Стоит Байкалов, молитву шепчет, винтовку дрожащей рукой поглаживает, собирается старшего будить. А старший злой: Байкалов его боится, и грозы боится, не знает, как быть.

Гроза надвигается быстро, ветерок впереди нее идет, разметает степную дорогу, вольную.

Байкалов к самой палатке подошел, а войти не смеет.

На небо опасливо смотрит, как бы оттуда стрелой гремучей не пустили. Небо огнем кроется, вздрагивает казак, крестится:

— Свят, свят, свят.

Гром глухо стучит и рассыпается по горам горохом.

Тьма. Ветер травой шуршит, ветер палатку треплет, стал накрапывать дождь.

Тьма густая, предательская. И ничего-то в ней не видать, ничего-то в ней не слыхать: лишь суха трава шуршит.

Эй, смотри, казак!.. Как блеснет молния — смотри!

Товарищи храпят, пуще всех старший храпит и что-то во сне бормочет. И чует казак: две грозы идут; вторую, черную, сердцем чувствует, защемило сердце тоской...

Крестится казак:

— Господи, спаси... Чего-то чижало...

В небе молния золотой веревочкой с краю в край стегнула, засияла степь, гром ударил близко... Байкалов проворно залез в палатку и с головой шинелью закрылся.

Эх, казак, казак...

Шорохи по степи ползут, много шорохов...

То не дождь ли льет-поливает, не град ли барабанит по земле?

Нет, не дождь... Нет, не град...

Шорохи крепче, сильней. Это смерть по равнине хлещет.

Две грозы грянули враз над казаками. Гроза огненная грохотом все заполнила... А черная гроза с лешевым гиком и посвистом мертвой лавой пронеслась: три тысячи бешеных коней во весь опор проскакали по спящим казацким телам.

Одну слякоть оставил от казаков Гнус, душа звериная.

Далеко стегнула по Алтаю Чуя, священная река!.. Бурлит по крутому склону, вся седая, вся косматая, яро камни точит, грозит своим гневом человеку. Стой, Чуя, стой!.. Гляди — восход стал розовым... День идет, день идет, ночь кончилась... Еще немного — и твои волны запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлые и радостные. Да не повторится прошлое, да не затмит оно грядущего дня. Эй, останови, Чуя, гнев свой, не точи яро камни... Милости, Чуя, священная река, больше милости!

1913

Посвящаю Сенкиче, Гирманче—проводникам моим — и многим, многим тунгусам, встречавшимся на пути моих скитаний. Светлую память о них я всегда ношу в своем сердце.

ХОЛОДНЫЙ КРАЙ

(Из дневника скитаний 1911 года)

1. ЛЕБЕДИ

Раннее утро. До восхода солнца еще добрый час. В дощатой каюте шитика[1] — сажень в длину, сажень в ширину— нас четверо, спим, как в берлоге, тесно.

Закуриваю трубку. Темно, но сквозь щели в потолке и стенах прокрадывается рассвет. Холодно. Неохота подыматься из согретого телом гнезда. Тихо. Лишь похрапывают товарищи, да на палубе кто-то из рабочих ворочается и стонет.

Лежу с открытыми глазами, думаю. Думы мои мрачны. Слышу:

— Степан, вставать пора.

— Рано.

— Я заколел. Надо костер разжечь.

— Спи.

Молчание.

Мы одни среди этого безлюдья и надвигающегося приполярного холода.

От последнего жилого места мы отплыли почти на тысячу верст. Нервы наши напряжены, душа истомлена. А плыть вперед, до Енисея, где есть люди и откуда мы можем выбраться на божий свет, по крайней мере месяц. Но мы б добрались. Мы привыкли к опасностям, закалены в борьбе. И вдруг этот ранний, в первых числах сентября, мороз и снег...

[1] Шитик — крытая большая лодка.

Если обмерзнем здесь, никто не узнает о том — кругом ни души, — никто не придет к нам на помощь. Ну, что ж! Судьба...

Опять говорят вверху, на крыше лодки:

— Степан.

— Ну?

— А ведь подохнем мы. Не доплыть.

— Доплы-ы-ве-оом...

— Где доплыть... Замерзнем посередке. До Туруханска полторы тыщи верст осталось, сказывают. А сухарей мало. Пропадем с голоду...

Тяжелый позевок и вздох:

— Доплы-ы-ве-ом...

И уже нет в голосе уверенности: дрогнуло что-то, сорвалось.

Молчу. В душе растет тревога, вопрос за вопросом мелькает в голове, один черней другого. Бессильно вздыхаю, жду ответа. Ответа нет.

Прислушиваюсь: чей-то говор, нежный и радостный, едва звучит надо мною. Все четче, четче: теперь ясно слышу—это в выси проносятся на юг, нам навстречу, гуси.

Выхожу на воздух, бодро вздрагиваю, умываюсь ледяной водой.

Тайга спит. Река дремотно катит свои воды, шурша стеклом новорожденных льдин. Наш шитик стоит возле огромных песков. Все пески покрыты ранним снегом. Нетоптанная пороша голубеет в утренней полумгле.

Стеклянная застывшая тишина, неподвижность. Иду вдоль косы. На пороше замечаю следы. Всматриваюсь: сохатый шел, лось, с сохатенком, а рядком — оленьи следы. Значит, близко стойбище тунгусов. Это хорошо, это очень хорошо. Живые люди! Я бесконечно рад.

Иду дальше. Восток все светлеет. Вижу четкие отпечатки лебединых следов: птицы шли табуном от реки к зеленеющему берегу, где спелый горошек.

Останавливаюсь. А, вот и они. Вскидываю вверх голову, ищу в выси белый, розовеющий под зарею бисер: раз, два, три, четыре — много. И смотрю им вслед тоскующими глазами, смотрю на юг, в ту сторону, где ждут меня друзья, такие далекие по расстоянию, но родные сердцу. Придется ли свидеться?

И я кричу, сняв шляпу:

— Эй, лебеди! Несите мой низкий поклон! Я не погиб еще. Я приду.

Но кто-то смеется во мне:

«Придешь? Ха-ха». — И сердце вдруг обливается черной кровью.

Скрылись.

— Лебеди! Вольная стая. Счастливый вам путь!

Слышу — чьи-то шаги. Оглядываюсь — тунгус. Стоит возле меня, глядит жалеющими глазами, удивленно говорит:

— Как попал? Пошто? Откуда?

Стараюсь приветливо улыбнуться, спрашиваю:

— Ну, как, бойе, до Туруханска доберемся мы, не замерзнем?

— Какой Турухан. Сдурел ты. Поздна .. Борони бог! Зима... худой твое дело. Сдохнешь!

Сердце вдруг покрывается льдом, обмирает. Вот встало солнце, а я его не вижу: темно кругом и тоскливо.

Я через силу улыбаюсь, еле сдерживая боль, хлопаю тунгуса по плечу и дрожащим голосом говорю:

— Пойдем, бойе, чай пить.

— Пойдем. Чай так чай... Можна...

Он весь в мехах: чикульманы, па́рка, рукавицы. По лбу красная повязка, из-под нее торчат, словно у индейца, черные космы жестких волос. За плечами тугой лук, в руках, острая рогатина — пальма, за поясом болтается десяток убитых белок.

Добродушными, доверчивыми глазами он смотрит на меня и говорит:

— Оставайся, бойе. Зверя промышлять будем, тайга гулять будем. Э!

Я молчу. Мне не до гулянья.

На шитике проснулись. От костра струится голубой дымок и розовеет снег на вершинах гор.

2. БЕЛКА

Вот третью неделю живем в глухой тайге, в избушке зверолова, поджидаем тунгусов: они поведут нас на юг, к Ангаре. Путь будет труден, мы это знаем: по тайге, без дорог, без теплого угла, через снега, буран, морозы. Мы тоже знаем, что еще долго будут нас ждать в родном краю, и когда пройдут все сроки, нас станут оплакивать горько. Но что же делать? Надо мириться, иного выхода нет.

После встречи с тунгусом, когда наш скудный флот: два шитика и три лодки обледенели, мы решили, пробивая шестами тонкий лед, плыть дальше наугад, в надежде повстречать жилье. Мы плыли день и ночь. На быстрых местах шитики неслись сломя голову, то и дело ударяясь о невидимые в ночной тьме камни. Мы прекрасно знаем, что от иного внезапного удара шитик может перевернуться. Если спасемся сами, погибнет остаток сухарей. Так и так — смерть. Од-

нако раздумывать некогда, плывем. И вот подул ураганный встречный ветер. Наши лодки почти остановились. Мы бросили весла, шли на шестах. Но шесты один за другим ломались, за целый день мы едва проходили версту. А нам нужно лететь стрелой, чтоб не погибнуть. Ветер дул целую неделю. Мы коченели от холода, лица опухли, руки разбиты в кровь. Мы теряем последнее мужество. И одно на душе: «скорей бы конец».

Вдруг, совершенно неожиданно, как молния в ясный день — избушка звероловa. В ней люди. Итак, мы третью неделю живем в этой родной, дороже каменных палат, избушке.

— В лесу сегодня тепло, — сказал товарищ.

Выглядываю в окно. Белеет земля, белеет крыша балагана, и на фоне сизого неба желтыми призраками вытянулись вверх задумчивые в своей дреме лиственницы. Редко, редко падают неторопливые снежинки.

Беру палку и спешу в глубь тайги, подальше от жилья, туда, где слышен рокот грозного порога.

Как тихо, как хорошо в тайге. Солнца нет, снеговыми облаками укрыто небо, и сквозь колючие узоры леса виднеется долина Нижней Тунгуски. А за рекой угрюмо дремлет хребет Унекан, траурно-черный с белыми пятнами снега.

Тише, человек, тише. Взгляни, какую землю попирает твоя нога. Только взгляни, человек...

Слышу тайным слухом: шепчут мне хвои, весь воздух: «Не бойся смерти, человек. Смерть — сон. Уснешь, чтобы проснуться, как и эта тайга весной. Не будешь верить — умрешь, человек, и не проснешься. Верь».

Вот вижу: сквозь белую пушистую скатерть, только что вытканную мудрейшим ткачом из узорчатых блесток снега, проглядывает куст голубики. Ее спелые ягоды, голубые с беловатым пушком, так удивительно красиво проступают из белизны пороши. Срываю и пробую. Поддеваю в пригоршни снег и нюхаю долго, долго. Какой удивительный аромат: пахнет облаками, небом, вечностью.

Иду по мшистой шубе тайги. Оглядываюсь назад. По моим следам расцветают в снегу розы: то безглазая пята топчет подснежную бруснику, из брусники алая брызжет кровь.

Блеснуло на минуту солнце, позолотило стволы дерев, зарумянило свежий ковер на полянках, поиграло зайчиками на хвое, скрылось.

Белка.

Становлюсь под дерево и, притаившись, жадно слежу за ней. Она распушила хвост, долго всматривается в мое лицо, испытующе хоркочет и, как пружина, упруго прыгает вверх

по высокой прямой сосне. Приостанавливается, вновь взглядывает на меня. Я замер, не шелохнусь, и это успокаивает ее.

— Ах, плутовка! Она будто не замечает моего присутствия.

Я для нее — пень, ничто. Нет, притворяется. Я прекрасно понимаю, что за мной неотрывно следят ее глаза. Шевельнись только и — прощай игра.

Скачет вдоль большого раскидистого отростка, садится на самый его конец, игриво поджимает передние лапки к белой груди. Бисерные глаза ее еще раз вскользь задевают меня, она грозит в мою сторону лапкой и, взметнув хвостом, несется сначала по суку, потом вниз головой по стволу к земле. Упруго скачет сразу четырьмя лапами почти до самых корней — не к моим ли ногам сейчас прыгнет, шельма, не сядет ли она на мое плечо, чтоб шепнуть колдовское зверючье слово? Нет. Вдруг круто повернулась в воздухе, и голова ее вновь вверху, а хвост стелется по стволу сосны, скок-скок-скок.

Опять бросает лукавый взгляд и, приняв беспечную дразнящую позу — лови! — она без боязни спускается вниз, на широкий столетний пень. Вот привстала на дыбочках, вновь с любопытством разглядывает меня, пришельца, презрительно грозит лапкой, ждет.

— Ужо-ко я ее. Ужо-ко! Где у меня ружье?! — улыбаясь, шепчу я, плененный игрой, как ребенок.

Не слышит и словно не видит, но знает, что нет ружья.

Хоркает, искоса смотрит на меня, трет лапками плутовскую мордочку, смеется.

— Ага, ты так?! — не утерпел, схватил палку, замахнулся.

Она стремглав на самую вершину и, раскинув кивером хвост, швыряет в меня шишкой.

Я ухаю, стучу по стволу палкой, как баран прыгаю возле корневища:

— Ух, ты! Ух! Вот я тебя.

Она с вершины на вершину скачет где-то там, под облаками, и, смеясь, задорно кричит:

— Что, взял? Ха-ха... Лови!

3. «ВЕРА ТАКОЙ»

От устья Илимпеи мы идем через непроходимую тайгу, снегами. Снег тихий, обильный, пушистый, настойчиво падал, падал, падал без конца. Недавно был Покров, а в иных местах сугробы в два аршина. Верховые наши олени выбивают-

ся из сил. Впереди всех идет вожак, тунгус Сенкича. Он по грудь вязнет в снегу, в его руках пальма́[1], он смаху ссекает тонкие деревья, чтоб проложить путь каравану. Мороз, а он весь мокрый, от непокрытой головы струится пар. Сенкича— тунгус отменный, да, впрочем, и все они таковы. Завяжи ему глаза, кружи целый день тайгою, проспится, встанет утром и без ошибки пойдет куда надо. Ему не нужно солнце, он носит тайное чутье путей в самом себе.

За Сенкичей идет гуськом, нос в хвост, связка оленей — ольгоун. Верхом на переднем олене — баба Сенкичи с неугасимой в зубах трубкой и с ружьем за плечами. Чрез седло идущего за ней оленя перекинут берестяный кузовок с ее годовалым сынишкой. Он орет и час и два диким надрывистым криком. Я подъезжаю к ней, говорю:

— Уйми. Остановись, покорми его.

— Пускай гаркат, — отвечает она равнодушно, — пускай греется.

Когда я начинаю приводить резоны, стыдить ее, она в ответ бросает:

— У нас вера такой.

Эта фраза у тунгусов всегда на языке.

Задайте Сенкиче ряд вопросов: почему тунгусы сроду не моются? почему боятся мертвецов? почему мужчины носят косы? — один ответ:

— Вера такой...

За ольгоуном — еще и еще ольгоун, в каждом по восемь вьючных оленей. Когда передняя связка выбьется из сил, ее ведут назад, в хвост каравана. А мы и человек пять тунгусов — верхами.

Однажды в солнечный день я остановил оленя и залюбовался нашим караваном. Я стоял на берегу небольшой речушки. Караван, растянувшись чуть не на версту, ходко спускался в долину. Снег был голубой, мириады блесток играли огоньками. Изжелта-белые пушистые олени шли четкой ступью. Они гордо несли свои густодревые рога. Вот сгрудились на извороте — целый лес рогов.

— Мӧдо! Мӧдо! Ко! Ко! Ко! — погоняют тунгусы оленей.

* * *

В сумерках кончаем путь. Вот уже полыхает огромный костер. Это расторопный Сенкича зажег сразу три рухнувших сосны. Разгребают снег, ставят конусообразный чум. на землю накидывают хвою, в средине разводят небольшой

---

[1] Пальма — на длинном древке нож, вид рогатины. *(Примечание автора.)*

костер. Говорливый, пересыпанный хохотом обед из сохатины с сухарями и крепкий сон.

Утром выхожу с географической картой издания генерального штаба. Тот путь, по которому мы идем, на карте — пустое место. Человеческая нога здесь не была никогда. Я шаг за шагом, поскольку позволяют обстоятельства, произвожу на всем пути съемку, ориентируюсь буссолью и часами.

— Сенкича! Где мы вчера ночевали? Покажи мне направление.

Он смотрит на меня удивленно и так же удивленно, с хитринкой, задает вопрос:

— Разве не знаешь?

В десятый раз начинаю объяснять ему, что мы здесь впервые, а тайга так однообразна, что, отведи любого из нас за сто сажен, и мы заблудимся. Да и все небо в тучах, солнца нет.

Он косится на меня сверху вниз, с непередаваемым чувством превосходства и снисходительно говорит:

— Ладно.

Я его научил вешить линию. Он берет две пальмы-рогатины, втыкает в снег сажен на десять одну от другой, отходит в сторону, прищуривает глаз, приседает, разводит руками, что-то шепчет, соображая, вот перенес переднюю рогатину на аршин вправо, присмотрелся перенес на вершок влево, еще

— Вот так. Иди, смотри. Там были... Э!..

Я прикладываю по линии буссоль, отсчитываю румб, заглядываю в книжку на вчерашнюю запись и поражаюсь: градус в градус.

Он следит за выражением моего лица и, торжествующе спрашивает:

— Верна?

— Молодец! Я тебе подарю ружье. Теперь укажи, в какую сторону мы пойдем и где будем ночевать. Только чтоб верно было.

Сенкича сияет. Ружье для него — целое богатство. Он быстро переставляет рогатину, как колдун опять что-то шепчет, разводит руками, еще раз переставляет и говорит:

— Во, смотри!

Беру румб, записываю. Я вполне уверен, что завтра утром, на следующем стойбище, он точно укажет мне, за двадцать пять верст, это самое место, где сейчас стоим. Я знаю, что обратный румб будет верен, как и в предшествующие дни.

Чем это объяснить? Ведь это же — чудо! Я б всякого назвал лжецом, если б не проверил самолично эту удивительную способность тунгуса чувствовать пространство.

Я показал ему карту. Глаза Сенкичи загорелись. Долго, пристально смотрел, расспрашивал:

— Это что?
— Нижняя Тунгуска.
— Это?
— Катанга.

Он разбросил карту на снегу, припал на локти.

— А это Лемпо? — спросил он, проводя ногтем по черте.

— Да, — подтвердил я, вновь поражаясь быстроте его соображенья. Человек впервые видит карту. Возьмите любого нашего мужика, он процарапает насквозь голову, а не поймет эту китайскую грамоту.

— А это Бирьякан? — задает вопрос Сенкича.
— Да.
— А это Туру?
— Нет, вот Туру. Это Пульваненга, — возражаю я.

Тогда Сенкича швыряет прочь карту, быстро выпрямляется и с сарказмом говорит:

— Какой дурак писал расписка? Врал! Туру вот где, Пульваненга — вот!

— Эту карту писали в Питере, ученые, — раздражаюсь я.
— Дурак писал, — настаивает Сенкича.

Он берет сучок и чертит на снегу весь наш предстоящий путь вплоть до Аннавары. Чертеж его схематичен, в прямых линиях. Но почти все впоследствии подтвердилось.

— Да как ты это, Сенкича, знаешь?
— Вера такой.

4. ТРОЕ

Ночью по деревьям стучит мороз. В верхнее отверстие чума видны золотые россыпи звезд. В чуме страшный холод. Костер потух. Я лежу в одном белье под шубой. Надо бы разжечь костер, но встать нет мочи. Темно. Вот кто-то вскочил, зябко сделал — брр,— ляскнул зубами, опять упал, пробормотав:

— Язви тебя, вот холод...

Наш русский.

Потом вылезла из оленьего теплого мешка тунгуска Анна. Мешок у них двойной, семейный, спит в нем с Сенкичой, а сынишка — в берестяном кузовочке у костра. Не замерз ли? Однако нет — заплакал. Анна высекла искру, стала разводить костер.

— Замерзла, Анна? — спрашиваю.
— Взопрела, — посмеиваясь, отвечает она.

Анна поднялась во весь рост, потянулась, сняла рубаху, вывернула ее и распялила над пламенем. Рубаха надулась от жаркого воздуха колоколом и стала плавно кружиться в раскинутых над костром руках Анны, как карусель.

— Омко,— посматривая на меня, наставительно говорит Анна.

Я знаю, что такое — «омко»; омко — значит вши.

Анна молода, очень красива, от ее бронзового крепкого тела веяло какой-то внутренней чистотой. Но эти окаянные «омко». Закрываю глаза и сердито кутаюсь с головой в шубу.

* * *

— Нюльга сегодня будет большая, — заявляет за чаем Сенкича. Глаза его узенькие, заплывшие от сна и таежной стужи.

За чумом голос Анны и бряканье бубенцов. Она собирает оленей. Это не так-то легко: они разбрелись по тайге, надо ловить арканом.

В путь двинулись около полудня. Солнечный, тихий день. На полянах снег слепит глаза. Тишина полная. Иногда с сосны слетит иней. Это белка прыгнула на другой сучок. Белок попадается много. Но промышлять их нет времени. Однако Анне невтерпеж. Иногда останавливает она оленя и, приложившись к малопульке, метко срезает с вершины белку.

— А ловко ты бьешь! — кто-то бросает Анне похвалу.

— Вера такой, — скромно отвечает она, попыхивая трубкой.

Мы шли густыми зарослями. Здесь снегу было меньше. Сосны стройно возносились к небу, пушистые кроны их сливались вверху в одну.

Вдруг вдали раздался выстрел.

— Э! Наш промышляет, — сказал Сенкича и выстрелил в воздух.

Караван остановился.

— Это глухой Отыркон, старик, — сказал Сенкича.

— Геть, геть! — закричал старик на своих псов и подошел к нам.

— Здравствуй, Отыркон, — сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его.

Тунгусы стояли молча. У них нет обычая здороваться. Старик смотрел на нас, разинув рот. Собаки пофыркивали, дрожали.

Вид старика жалкий. Меховая шапка вытерта, оборвана до-нельзя; ноги обмотаны в какую-то рвань. Седая голова не покрыта, кисти рук голы, красны, он отогревает их дыханием. Скуластое голое лицо с приплюснутым носом обтянуто желто-серой морщинистой кожей. Узенькие глаза слезятся, щурятся. Мал ростом, но прям и быстр.

Сенкича обнял его за плечи и закричал ему по-тунгусски в самое ухо. Тот отрицательно помотал головой.

Обращаясь к нам, Сенкича сказал:

— Совсем глушился. Кудой его дела. Тфу!— и дал Отыркону свою трубку.

В руках старика дрянное ружьишко. Самодельная ложа кой-как стяпана топором. Старик подпоясан веревкой. Под веревку подоткнуты убитые белки, а к концу веревки привязана собака. Она сидела у ног хозяина, крутила по снегу хвостом и, высунув язык, весело посматривала на нас.

Старик еще выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слаб и тонок, как у скопца.

— Вот я старый, четыре раз по двадцать. Никого у меня нет. Совсем глухой. Оленей нет, ничего нет, смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть приедет, сдохну, куда они без меня? Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совсем...

— Неужели у него нет никого родных? — спросил я Сенкича.

Да. Сенкича знает старика давно, он действительно одинок, но тунгусы не оставили бы его, кормили бы, да и сам Сенкича сколько раз звал его к себе. Нейдет. Хочет жить своим трудом.

Сенкича помнит, как одно стойбище тунгусов взяло его к себе насильно, держало чуть не взаперти, ухаживало за ним — очень хороший старик, мудрый — нет, ушел.

Отыркон почуял, о чем мы говорим, и, усаживаясь прямо в снег, сказал:

— Нога шагал, глаз смотрел, работай. Пошто мешать людям? Людям и так совсем худо есть. Каждому свой камень есть. Не надо. Грех.

Он вздохнул, протер глаза снегом и, сделав руку козырьком, взглянул в лицо Сенкичи:

— Сенкича! Я буду околеть весной, в вершине Бирьякана.

— Откуда знаешь? — крикнул Сенкича.

— Будешь там кочевать, возьми ружье.

— Откуда знаешь?! — опять прокричал Сенкича и замаячил руками.

— Каменный Спас сказал.

— Кежма есть, село. Там каменная церковь, Спас, — пояснил мне Сенкича.

А старик продолжал:

— Вот лег спать. Вот слышу: Спас приехал в изголовень мне, сказал: ты старый, ты совсем дрянь, время твое поседело, ухо заросло землей. Этой весной станет тебя душить шайтан. Сдохнешь голодом. Наплевать, не бойся...

По лицу Отыркона текли слезы. Подбородок дрожал. Он поднял голову к небу и перекрестился.

Я с печалью и жалостью смотрел на него. Он нищ, убог,

но какой-то внутренний свет исходил от него, и чувствовалась несокрушимая сила в его душе. Так хотелось помочь ему. Но как помочь? Несчастный, погибающий старик.

— Шибко хороший Каменный Спас, — сквозь слезы шептал он, — борони бог, какой добрый Каменный Спас, обиды нет от него... Ну, я пошел.

Он быстро поднялся и, как бы спохватившись, громко спросил Сенкичу:

— Куда, бойе, нюльгиришь?

Сенкича всячески изощрялся, чтоб объяснить глухому: схватил меня за рукав, махал руками к югу, указывал на оленей, подгибал по очереди пальцы, чертил пальмой по снегу.

Но вдруг вдали взлаял черный пес Отыркона. Пестренькая сучка, привязанная к опояске старика, взвилась стрелой и бросилась на лай. Веревка взмыла, свалив Отыркона с ног.

— Куто! Геть! Геть! Куто!! — крикнул он, быстро вскочив и убегая за тянувшей его что есть силы собакой.

Тунгусы смеялись. Вскоре раздался вдали слабый хлопок ружья.

Я долго смотрел в ту сторону, куда скрылся лесной старик. Мне было грустно. Я думал о его недолгих днях, о последней его земной минуте. Холод, мрак, тяжкое одиночество. Когда сердце его устанет и по жилам едва-едва будет струиться холодеющая кровь, он покорно ляжет у потухшего костра и станет безмолвно ждать.

Когда я все это представил себе до четкой ясности и вдумался в слова старика — «умирать шибко сладко» — какое-то чувство зависти вдруг охватило меня всего. Не странно ли, что мы, люди иного уклада жизни, так боимся своей последней роковой черты, а он, этот немощный, первобытный старец ждет смерти с радостной надеждой. Благо ему!

Мы двинулись дальше. Сенкича шагал со мной рядом, говорил:

— Белку без собаки доспеть трудно. Ясный глаз надо. Отыркон глаз — тьфу! Вот собака туда-сюда нюхтит. Далеко уедет, мало-мало совсем не видно. Отыркон навовсе закружится, все на восход лезет, на восход, а другой собак кэ-эк дернет его, прямо назад, старик вверх ногами, бряк! Однако притащит к белке, — бей, значит. Э! Так трое и жрут беду. Э!..

1922

ТА СТОРОНА

I

Они жили втроем: старый тунгус Давыдка, его жена Чоччу и брат Давыдки — Василий. Крестились недавно — вряд ли пять лет прошло — и ничего не понимали в новой вере. Знали только понаслышке, что есть бог Никола, что он живет в большом селе, в белой каменной юрте, и что перед ним днем и ночью горят свечи. Но село от них, сказывают, тысячу верст: до него надо полсотни дней тайгой брести. Правда, поп-батька много толковал им, вел мудреные речи, пальцем на солнце показывал, но они путем ничего не поняли, а Давыдка слушал, слушал, да заснул и захрапел так громко, что все кругом захохотали. А поп-батька рассердился, погнал их всех на реку, надел новые рубахи, кресты на грудь медные большие положил, помахал золотой штукой с дымом и долго причитал громким голосом. И стал с тех пор Буркиуль — Давыдкой, Чоччу — Машкой, а Рынтай — Васильем.

Так бы и жить им втроем, но случилась большая беда: старого Давыда медведь задрал.

Овдовела Чоччу. Стал Василий ее самым любимым мужем, первым. Оба молодые, сильные, жили в согласьи: сохатых били, белок, лисиц.

Приехал как-то поп-батька и долго их ругал. А за что — путем не знают. Неужто Василию жениться на чужой тунгуске, неужто Чоччу одной, без мужика, жить? Плевать, что мертвый Давыдка его родным братом был!

Никогда Василий не послушал бы пустых поповских слов, если б не сердце.

Как-то встретил он в тайге молодую женщину, по-чудному встретил, словно в сказке. Высмотрел он на суку белку. И

только было прицелился, а ружье — грох! — белка кубарем. Выругался Василий, что ружье само пальнуло, глядь — а к белке женщина нагнулась.

— Моя, — кричит Василий.

— Нет, бойе, моя, — ответила чужая женщина.

Василий осмотрел свое ружье: пистон целый.

Закурили трубки. Анна, затянувшись, передала свою трубку Василию, почмокала розовыми губами и сказала:

— А я, бойе, себе мужика ищу... Муж помер. Одной не славно. У тебя баба есть, бойе?

— Есть... — сказал Василий, рассматривая ее губы и глаза. Но сердце его замерло, и кровь ударила в голову. — Нету, — поправился он. — Есть, да... Только... — Он замялся.

Василий домой вернулся не в себе. И всю неделю был жалкий, растерянный.

— Ну, ищи другую, — сказала Чоччу.

Взглянул на нее Василий: баба сидит, вся в дыму табачном, глаза горят.

— Как ищи?.. Откуда знаешь?

— Ищи... Одна проживу.

Чоччу хорошо стреляла, хорошо пальмой владела, найдет медведя — не упустит.

— Я, Чоччу, на промысел пойду... Ты, Чоччу, дожидай...

Утренней зарей взял Василий ружье, собаку, поводил носом во все стороны, принюхался и быстро зашагал полевей восхода.

На четвертый день взлаяли собаки, дымок синий показался, олени целым стадом бродили возле, отрывая из-под снега мох.

— Вот, пришел...

Анна у костра сидела на пенышке и крошила в котел оленье мясо. Подняла на него глаза, осмотрела с ног до головы: Василий красивый, высокий, плотный — и ни слова ему не сказала.

Он шагнул в ее чум и разложил там костер. Вскоре явилась и Анна. Нашлось вино. Вкусно поели, веселые сделались, вино по жилам потекло. Вот сам собой рухнул чум, открылось небо, звезды унизали деревья и, щурясь, стали смеяться, а круглый месяц колесом закружился, запрыгал по небу, как по снеговым полям заяц.

Анна вскрикивала и хохотала, весело ударяя в ладоши. Василий указывал пальцем на месяц, подмигивал ему, дразнил языком, хлопал по плечу Анну и, сюсюкая, что-то безумолку болтал.

А когда вместе с звездами вся тайга пустилась в пляс, все завизжало, запело, заухало, свист кругом пошел, топот,

Василий испугался и залез в просторный, из оленьих шкур, мешок.

Разбудил его злобный лай собак.

Василий открыл глаза: темно. Его крепко обнимали за шею чьи-то теплые руки. Он потрогал — женщина. Он провел осторожно пальцами по ее лицу: глаза у нее открыты.

— Бойе... — сладко сказала женщина.

— Ну? — спросил Василий, соображая, кто она, где он.

— Проснулся, бойе? Вставай!

Они вылезли из мешка. Сквозь верх чума просачивался солнечный свет.

— Анна? — удивился Василий и захохотал.

Анна улыбалась, закуривая трубку.

Собаки лаяли отрывисто, зло, словно по зверю. Отпахнулась пола чума, вошла Чоччу с трубкой в зубах, с ружьем.

— Уйми собак, — сказала она Василию.

Тот смущенно вышел.

Женщины быстрыми глазами ошаривали друг друга.

Чоччу была красивая. Но Анна краше. Чоччу вздохнула.

Василий долго не являлся. Обе женщины молча поели мяса и сулихты. Когда пришел Василий, Чоччу собралась в поход.

— Знаю... ты меня бросил... — сказала она. — Я встану чумом недалеко... день пути. — И пошла: несколько заседланных оленей тащили ее добро, и целое стадо их шло по бокам и сзади.

— Кто такая? — спросила Анна.

— Родня. Давыдиха... Машка... Чоччу.

2

Ну, что ж! Хорошо можно было бы и с Анной жить. Но сердце Василия дало трещину: исподтиха началось — дале шире — раздвоилось сердце, как рог молодого лончака-оленя, Василий словно встал у следа двух лисиц, разбежавшихся в стороны: хорошо бы разом обеих взять.

Неделю Василий прожил с Анной. Анна такая красивая— глаз не отведешь, но Чоччу крепко к сердцу приросла — родней. Вот бы вместе всем. Но огонь с водой когда уживались? Чоччу добрая, тихая, у Анны в глазах гроза. Кто сильнее: вода или огонь? Чоччу грудь с грудью с медведем сходится — трубку курит. Анна, пожалуй, не дрогнет и человека пальмой-рогатиной пырнуть.

«Огонь все попалит, вода все зальет»,— припоминается

ему песня старого Давыдки — и уж не знает Василий, чем обмануть, успокоить свое сердце.

Когда про Анну думает — сердце радостно бьется под камзолом. Про Чочу вспомнит — обомрет сердце, заскучает, словно обмороженная нога в тепле.

Сидит Василий на коряжине, в глухой тайге, а возле него табун оленей. Увидали человека, со всех ног к нему бросились: густой кустарник из оленьих рогов вырос, и в нем, как красный гриб в лесу, — Василий в своем красноогненном камзоле. Тихий снег раздумчиво падает. Тайга распластала, раскинула свои лохмы, вся белая, примолкла, будто спит, а сама все чует: вздохни — насторожится, крикни — голосом ответит. Хорошо бы вот так сидеть, сидеть. Пусть бы белый снег валил, пусть бы олени стояли возле, Василий сидел бы смирно и, закрыв глаза, мурлыкал бы песню. Хорошо сидеть, хорошо вспоминать о том, о сем, а лучше ни о чем не думать. Так оно и было раньше. А теперь...

Василий покрутил головой, вздохнул... Он здесь долго будет ждать: весь вечер, всю ночь, пока не покличет Анна... Разве вскочить да заорать на всю тайгу, чтоб олени градом прочь? Холодно. Разве вскочить да закружиться на месте, как шаман? «Вскочу!..» — думает Василий и неподвижно сидит, словно вросший пень, весь от снега белый. Он сейчас зажжет костер, ляжет на бок в снег и станет разгадывать, о чем бормочет пламя. «Вскочу», — вздрагивает Василий и, весь скрючившись, начинает похрапывать и посвистывать носом.

* * *

— Анна!.. — сказал однажды Василий. — Хорошо бы, Анна...

Та молчит. Тихо Василий начал, просительно. Анна сердито вздохнула.

— Неужто, Анна, тебе не жаль?.. Одна живет... Куда попала?.. Плохо... Одной, Анна, борони бог, как плохо!

Анна выхватила изо рту трубку, сплюнула. Василий опустил глаза и долго рассматривал на своих ногах чикульманы.

— Вот бы ей тут жить... Возле нас... Мне ее не надо, Анна... Мне тебя надо... А она — так... родня...

Анна быстро схватила палку и со всего маху ударила подвернувшуюся собачонку.

Василий взглянул на Анну и тотчас же боязливо опустил веки.

На другой день он взял двух собак, чтобы итти на медведя. Голубое небо ласково глядело на него. Снег полыхал

под солнцем, слепил глаза. Василий зажмурился, потянул в себя свежий морозный воздух, и все в нем заиграло.

«Скучает баба... пойду, навещу», — радостно подумал он, поправил красную повязку на голове, оглянулся на чум и быстро зашагал. Собаки весело скакали, барахтаясь в сугробах.

— А не видал ли ты учуга-оленя?

— Нет, не видал... Ты как? — Василий даже попятился.

И они направились с Чоччу к ней в чум. Шли всю дорогу молча. Тунгуска печальными глазами, крадучись, посматривала на Василия и тихо вздыхала. А дома, в чуме, стала свежевать белок.

— Вот все одна бьюсь. Волки прибежали, — сроду не было, — прибежали, оленей распугали. Убила трех.

Она оправила костер и откинула назад черные косы.

— Хожу-хожу по тайге — устану... Приду домой—нет никого... — Был муж — нету... Был Василий — Анна отняла... Ну, каково живешь? Славно ли живешь? Рад ли?

— Маленько рад, маленько не рад...

Василий тер рукою лоб, сдвигал и расправлял брови, крякал. Ему надо много толковать с Чоччу... Надо бы самое-то главное сказать, чтоб поняла, надо хорошо языком повернуть: пусть Чоччу успокоится — он ее не бросит.

— Я... я... ничего... Вот Анна только...

Василий больше ничего не мог сказать. Он в раздражении больно прикусил язык, на глазах слезы выступили. Очень плохой язык, не может вертеться как следует, не может толковать все чередом, по порядку, чтоб складно и мудро, как у шамана.

— Языком вертеть не смыслю... — Василий высунул окровавленный кончик языка и указал на него пальцем. — Тут много, — хлопнул он себя по лбу, — тут того больше, — дотронулся он до сердца, — а язык дурак!.. Прямой дурак, заплетается в зубах, как лисий хвост в трущобе.

Василий опустил голову и засопел. Он все слова расшвырял, а новых не накопилось. И уж до самого вечера сидел молча. Он с любовью разглядывал каждую вещь в чуме. Вот иконка маленькая, закоптелая, висит на жерди, а рядом с ней лесной шайтан, звериный хозяин. Боллёй-батюшка, с бисерными глазами. Вот кумоланы, вот для костра рогульки, и все знакомое такое, близкое... свое...

— Ты совсем ко мне? — спросила Чоччу.

— Что ты! Как? — испугался Василий и быстро встал.— Пойду... А то...

— Да, ну-ну? — удивилась тунгуска. — А я одна?

Когда она подняла голову, Василия не было.

* * *

Другому надо день итти, Василий в одночасье прибежал, всех собак замучил. Скакали-скакали по сугробам, рассердились, злобно лаять начали. Скакали-скакали, из сил выбились, задрали носы кверху, взвыли.

Василий вторую чашку чаю выпил, когда пришли измученные собаки. Кривая сучка Камса всунула в щель чума остроносую морду, нашла желтым единственным глазом хозяина и, презрительно оскалив зубы, зарычала. А Василию и невдомек, что волки появились, что сыпучие сугробы для собак — беда. Он все тогда забыл, только Анну помнил: у Анны брови тонкие, щеки — как цвет шиповника, тело гибкое, руки в глухую полночь ласковы, но... в глазах — гроза.

— Бойе... Это ты напрасно... — загадочно сказала Анна.

Василий раскрыл рот. Ни слова не проронила больше Анна, но он все понял.

Никогда Анна так не ласкала Василия, как в эту ночь. Но в этой ласке Василий чувствовал что-то страшное и, обливаясь холодным потом, ждал, что Анна всадит в его сердце нож.

Едва дождавшись рассвета, Василий побежал в тайгу по вчерашним следам, а обратно возвращался тихо, понурив голову и весь холодея. Солнце склонялось к западу, когда он пришел домой. Анна вышивала бисером красивый фартук-хальми и на Василия не взглянула.

— Далеко-далеко, там... Я твои следы видел рядом с своими, — дрожащим голосом сказал он и почувствовал, что его сердце останавливается.

— Где твой медведь? Убил вчера? Нет? — чуть слышно проговорила Анна. Лучше бы по щеке его ударила. Он молчал.

— Ты меня убил... — так же тихо сказала Анна. И на ее бисерный хальми скатилась бисером слеза.

* * *

Назавтра, рано утром, Анна согнала в кучу всех оленей, заседлала верховников и навьючила все свое добро.

— Пойдем, — сказала она Василию.

— Куда?

— Неделю будем итти, другую будем итти, да еще, да еще... Далеко уйдем... Тут нам не жить.

Василий почувствовал себя кустом калины, который с корнем вырывают из земли.

Пошли они на север, в ту сторону, где одни ледяные старички живут. Василий знал, что там лето короткое, и когда

пойдет с ледяного моря осенний холод, все крохотные сказочные старички собираются в кучу и садятся на пенышки. Сядут, пошепчутся и опустят враз головы. А из носу капельки у них бегут, а из глаз слезы все на землю да на землю. А мороз крепко слезу кует. И все сидят, все сидят, сонные, пока не получится ледяной батожок-палочка, из носу да в землю. Так до весны и сидят. Василий все это вспомнил, страшно ему итти в далекую северную сторону.

Анна звонко кричит.

— Модо! Мод-мод-мод!.. Ко! Ко! — звонко по тайге ее голос стелется.

Тайга седые брови морщит, слушает, непролазная, вся укутанная снегом.

3

Живет Василий с Анной на севере, хорошо живет.

Вот и весна пришла, снег начал таять, загудели ручьи, солнечный свет на ветвях повис. Ходит по тайге Василий, в каждую нору, в каждую берлогу заглядывает, у пеньщиков глазом землю шарит: хочет волшебных старичков найти. Но старичков нет.

— Нету... Нигде не видать... — сказал он Анне. — Надо своего дожидаться, маленького... Когда оттаешь? Когда раздвоишься?

— Скоро, — сказала Анна и как бы невзначай провела рукой по своему большому животу.

Василий рад был, что у них родится сын. Он знал, что сын. Ему надо сына. Хороший тунгус будет, белку бить будет, медведя дедушку-амаку. Не скучно будет с ним, — с ним да с Анной. А Чочча как? Где-то она, жива ли?

Василий зыбку для сына смастерить сбирается. Надо хороший лубок найти, а где его найдешь, надо большую осокорь искать. С утра ушел Василий, целый день шлялся и только вечером — уж звезды над тайгой сияли — вернулся домой.

У дерева олениха за рога привязана; тонкая, как девка, Анна доит ее.

— Иди-ка в чум, отгони собаку, — сказала она каким-то особым голосом, ласково так сказала, нараспев.

— Геть! — войдя в чум, крикнул Василий. — Геть! — собака стоит над разостланной у костра шкурой и, крутя хвостом, что-то обнюхивает. Присмотрелся Василий, языком прищелкнул и пал на колени перед маленьким своим сыном.

— Анна! Анна! — закричал он. — Гляди! Сын родился.

Когда вошла Анна и улыбнулась, в чуме сразу светлей сделалось.

И стал Василий отцом. Теперь ему никого не надо, кроме Анны и маленького Ниру. Забыл Василий про Чочу, совсем забыл.

* * *

А Чочу в тот самый день, когда откочевал сюда Василий, пришла налегке к опустевшему стойбищу.

— Нету... — сказала Чочу и, вернувшись домой, три дня не ела, не пила.

Месяц дожидалась, вот придет, — другой дожидалась, да еще, да еще.

— Бросил, — сказала Чочу.

И как сказала себе это слово, будто бы легче сделалось, а потом опять такая тоска... эх, лучше в землю...

Каждый вечер подходила она к высокому шесту с жертвенной кожей наверху, подшибалась ладонью и долго щупала осиротевшими глазами таежную тропу. Смотрит и поет, и причитает, а слезы сами собой текут, и дрожит сердце.

«Та сторона далекая... Там Василий... Вот щеки мои завяли, вот губы высохли... А Василья нет... Я вскочу на самого быстрого оленя, скажу ему: ищи, олень, милого... Олень, олень! Взвейся над тайгой, отыщи моего милого... Нет! Стой, олень, стой смирно!.. Забыл, пусть забыл... Я буду одна... Пусть тайга кругом гудит, пусть медведь бродит... Я буду одна...»

Чочу утирает слезы, гонит прочь подвывающую ей собаку и вновь жалобно:

«Ой, ветер, не шуми хвоей!.. скажи, ветер, сердцу — может, послушает — пусть молчит: одной лучше... Я одна, совсем одна... счастливая! Разве ты не знаешь, ветер, какая я счастливая...»

4

Лето прокатилось, осень на исходе. Василий все еще на севере. Первый снег на хребты, на полянки пал, болота подстыли, мерзлая трава под ногой хруст дает.

— Ну, как — ничего? — спросила однажды Анна и, оторвав от груди черноглазого Ниру, долго целовала его в крохотный влажный рот.

Василий не понял, о чем спросила Анна, и, растерянно улыбаясь, ответил:

— Ничего.

— Ничего? Забыл?

— За-а-был... — махнул рукой Василий и пощекотал травинкой в носу Ниру. Тот скосил глаза на травинку, чихнул и заегозил кулачками возле носа, пуская пузыри. Анна и Ва-

силий громко засмеялись, а Ниру забрал в рот свою ногу, стал ее сосать и радостно гулькать.

Утром Анна переспросила:

— Забыл? Верно? — и долго, пристально глядела на Василия. — Лови оленей, вьючь, нюльгирить[1] будем.

— Куда? — как и в тот раз, удивленно спросил Василий.

— Ербогоч-ду... в Ербогоч, на ярмарку. Ничего у нас нет, все кончилось, надо к купцу итти, надо пушнину торговому тащить.

Дорогой их захватила стужа. Василий, как всегда, шел впереди, прочищал тропу, за ним верхом Анна, за ней на отдельном олене, болтаясь справа у седла — Ниру. Его положили в лубочный коробок, на дно постлали коричневой трухи от сгнившей древесины, чтоб было мягко. Он кое-как прикрыт оленьей шкурой, но его грудь голая.

Он почти всю дорогу спит, а то вдруг зальется звонким плачем.

— Не слышишь? — кричит Василий Анне.

Та ударяет пятками по шее оленя: «Ко! Ко!»

— Не слышишь? ревет...

— Пускай греется, — равнодушно отвечает мать, а Ниру, наплакавшись вволю, замолкает.

Анна тогда соскакивает, привязывает к дереву оленя и вытаскивает полуголого Ниру из зыбки. Тот весь дрожит, но, почуяв грудь матери, с урчаньем и хрипом, как голодный волчонок, жадно нащупывает сосок и начинает, захлебываясь и сладко жмурясь, глотать теплое молоко.

Вьюга крутит и воет. Снег белой тучей носится по поляне. По сторонам гудит и гнется тайга. Огромные, сторванные ветром сучья, распластав хвою, проносятся над остановившимися тунгусами. Олени сгрудились и, подставив ветру зад, роют копытами сугробы.

Василий стоит возле Анны, прищелкивает языком и сглатывает, наблюдая, как сосет Ниру.

— Замерз? — спрашивает любовно Анна, ежась от холода.

— Борони бог! Жарко... — от Василия идет пар. Он устал, шагая по сугробам, его голова, повязанная красным платком, вспотела.

* * *

Шли долго. Вставали до солнца, оленей собирали и приготовляли в путь к полудню, а шли весь день дотемна. Но проходили верст пятнадцать — двадцать.

[1] Нюльгирить — кочевать. Нюльга — дневной переход. *(Примечание автора.)*

Облюбуют где-нибудь место, — сумерки, солнце давно село, — остановятся на ночлег. Снег выше колен — расчистят, поставят чум, набросают внутрь мелких хвойных веток и запалят костер. Тепло тогда в чуме. И если поддерживать огонь, тепло будет всю ночь. Но ночь для сна — в чуме к утру холод, как в тайге.

Пока приготовляют стойбище, Ниру стоит дубком в своей зыбке, в наклон прислоненной к сосне. Возле — костер-гуливун. Стоит Ниру один долго. Стоит, на пламя смотрит, на игривые золотые языки, и прислушивается к их говору, и улыбается, довольный льющимся на него теплом. Наскучит смотреть — заплачет, наскучит плакать — примолкнет, гулькать начнет, а то углядит косо прорезанными глазами висюльку в зыбке — тянется голой рукой и норовит заграбастать в рот.

А ночью Ниру спит хорошо, иногда во сне улыбается, отчего на смуглых, замазанных грязью щеках его — маленькие ямочки. Но никто не видит, как спит ночью Ниру, потому что ночью все крепко спят: собаки, олени, люди; только сторожевой пес, соблюдая собачью очередь, бегает дозором кругом тихого стойбища.

Были ночи звездные, но без месяца, темные. Были ночи с каленым холодным небом, с каленым месяцем, звезды тогда стояли четкие, крупные, мороз трескучий, палящий. Весь снег в алмазах, в блестящем бисере, и ночь казалась светлоголубой.

А то тихий снег всю ночь падает, тепло стоит — ночь мутно-белая. А то буран во-всю гуляет: и крутит, того гляди сравняет с сугробами тунгусский чум.

Долго тунгусы тянулись. Шли, шли — много тайги осталось сзади. Шли, шли, шли — расступилась тайга, просторно стало, пред ними поля легли. Остановились.

— Это что ж такое? — Василий разинул рот и указал на каменную, видневшуюся за рекой церковь.

Анна — человек бывалый. Она чуть презрительно, сверху вниз смотрит в смущенное лицо Василия, все еще стоявшего с удивленно открытым ртом.

— А ты не знаешь?

— Нет.

— Ах, бойе, бойе!.. Там Никола живет, русский бог Никола-матушка, — говорит она по-русски.

Василий прищелкивает языком, качает головой и вдруг, совершенно пораженный, замирает. Со стороны села прогудел и растаял удар большого колокола. За ним другой, третий. Удар за ударом густо колыхали воздух, словно огромный шаманский бубен рокотал над тайгой.

— Это что же такое? — круто повернув назад оленя, готовый кинуться в тайгу, спросил Василий.

— Колёколь!.. Колёколь!.. — радостно кричала Анна. — Бумм!.. Бумм!.. — и, соскочив с оленя, подбежала к Василию.

— Колёколь!.. Слезай!.. — стащила его на землю. — Пляши! — смеясь, тормошила она мужа. — Колёколь!.. Бум! Бум!

Василий весь просиял, глаза от широкой улыбки скрылись, он схватил за руки Анну, и оба, в огненных лучах заката, принялись кружиться и на разные лады повторять:

— Бумм!.. Бумм!.. Колёколь!.. Колё-околь!.. Бумм!

Заря была золотая, с красной по краям кровью.

5

Ярмарки не застали. Купцы разъехались. Пушнину сдать некому. Вина достать негде. Анна долго горевала.

Стойбище Василия было за рекой, в двух днях от села; Василий стрелял белок, ловил кулемками лисиц, колонков и горностаев. Анна иногда заглядывала в село, продавала там крестьянам меховые чикульманы и рукавицы, шитые бисером потакуи [1], а оттуда приносила муки, чаю, сахару.

Ниру перед весной начал ходить. Он вставал на четвереньки и, одобрительно крякнув, тихонько приподымался. Он бродил по чуму, хватаясь то за мать, то за отца. Но за чумом он не бродил, а ползал по оттаявшей, покрытой хвоей земле и нередко сражался с собаками, отнимая у них кости.

Собаки всегда были к Ниру почтительны. Когда он подымался на кривых ножках, держась за собаку, та смирно стояла, поджав покорно уши. Когда он падал, собака тщательно облизывала ему лицо, и Ниру приползал в чум чисто вымытый.

Отец делал ему из тряпок кукол, из дерева птиц и оленей, а иногда игрушками ему служили отрубленные утиные носы.

Анну все теперь радовало: как-то по-особому блестело солнце, веселей пели прилетевшие издалека птицы, и Анне самой хотелось песен и любви.

Однажды ночью Анна вдруг проснулась в какой-то смутной тревоге. Полежав немного с открытыми глазами, она быстро поднялась и неслышно скользнула за чум. Прислушалась, вздрогнула, пошла в тайгу.

Было пасмурно. Начинал моросить дождь. Тьма была.

От холода заплакал Ниру. Он подполз к отцу и стал открывать ему глаза, подковыриваясь пальцами под веки.

---

[1] Потакуи — берестяные, крытые оленьей кожей сумы. *(Примечание автора.)*

Василий проснулся, разложил костер, тепло стало, и Ниру уснул.

Лишь перед рассветом вернулась Анна.

— Я тебя долго ждал... всю ночь... Где была?

Анна глубоко дышала, ноздри вздрагивали, раздувались, лицо было красное от возбуждения. Она, согнувшись, сидела у костра и жадно затягивалась трубкой.

— Оленей, что ли, волк пугал?

Анна молчала. Наконец криво усмехнулась и насквозь пронизала Василия колючим взглядом.

Она молчала целый день, а вечером, перед сном, вдруг захохотала каким-то невсегдашним смехом и нараспев сказала:

— Бойе... Ах, бойе!.. Это я так, бойе... Не бойся! Просто сон худой видела... Очень худой сон. Ха-ха-ха!.. Вот ночью бегала... — Лицо ее стало угрюмо.

Она укрылась паркой, легла спиной к костру и обняла Ниру.

Василий лег, плотно прижавшись к Анне. Они всегда так спали рядом, но головами врозь, и возле лица Василия приходились выглядывавшие из-под парки маленькие ноги Анны.

Василию не спалось. Он ворочался с боку на бок, в кровь исцарапал бока и голову, громко и протяжно зевал. Анна храпела. Василий тихо встал, оглянулся на Анну — спит — и побрел в тайгу на лай собаки.

Вслед за ним вскочила Анна. Она — кошкой к дверце и, выставив голову, чутко насторожилась.

Было очень тихо. Только собака надрывисто лаяла, и доносился придавленный окрик:

— Геть!..

Анна схватила пальму. Пальма тупая. Схватила топор. Она только что выменяла его у мужика, топор острый, — и кинулась в тайгу.

— Пойдем дальше!.. Она увидит... — стуча зубами и весь дрожа, говорил Василий.

— Пойдем ко мне, бойе... Пожалуйста, пойдем... близко... — звала Чоччу.

— Боюсь... Дознается.

Они стояли друг против друга, и огонек двух вспыхивающих трубок слабо освещал их тревожные лица. Василий видел, как по щекам Чоччу катятся слезы. Он ласково потрепал ее по плечу. Должно быть, сорвалась вблизи сова: крикнула, словно простонала.

— Пойду домой... После, — вздрогнул и заторопился Василий.

Подойдя к чуму, он чиркнул спичку и осветил внутри. В костре золотились угли. Анна всё еще спала, всхрапывая и

шевеля губами. Сердце Василия забилось ровнее. Он лег возле жены и долго думал.

— Анна!.. — наконец, тихо дотронулся он до ее ноги.

— Ну?

— Ты не сердись, Анна... Вот я тебе буду толковать... Ты слушай... — И опять язык отказывался как следует работать.

— Ведь ты знаешь, Анна? Она здесь... Ты все знаешь, Анна.

— Кто, родня? — спокойно сказала Анна. — А ты ее видал, бойе?

Василий засопел и подавился кашлем.

— Я... я... она близко... Я оленя ее видел, учуга...

— Ты оленя, бойе, видел?

— Да... оленя... И еще собаку... Собака лаяла.

— И собаку, бойе, видел?

— Да и собаку... Она бежала возле Чоччу... А Давыдиха, Чоччу-Машка, искала оленя... А собака лаяла...

— А ты?

— А я... я... — Василий часто замигал и отодвинулся от Анны. — Мой язык дурак. Он не то плетет. Он зря толкует... Ты его не слушай, Анна! Он дурной... Я никого не видал, Анна!

— И что же она тебе толковала?

— Я видел ее оленя.

— И зачем она тащила тебя в свой чум?

— Ты знаешь?—приподнялся Василий.—Тебе сон снился?

— Да, бойе, сон... Мне сон снился...

Они оба молчали до рассвета.

Их разбудил закатистый плач Ниру. Он сидел на потухшем, но теплом еще костре, на груде серого пепла и подбирал себе в рот черные угольки. Но вот, копошась в пепле, он нашел золотой уголек, красивый, и, крепко зажав его в руку, надрывался плачем. Не сразу догадались, что с Ниру, и когда разжали ладонь, она была красная, как прожаренное с кровью мясо.

Ниру намазали руку оленьим салом, завязали грязной тряпкой. Василий и Анна всячески старались утешить его и рассмешить.

Когда Василий, изображая сучку Камсу, стал на четвереньках ходить возле Ниру и тявкать, прищурив для большего сходства с кривой сучкой свой черный глаз, Ниру оборвал плач и засмеялся.

— Пойдем к родне, — сказала Анна спокойным ровным голосом, но левая бровь ее дрожала, а губы были плотно сжаты.

— Ладно... Пойду оленей ловить. — Василий старался казаться равнодушным, но голос его осекся.

— Пешком пройдем... Близко.

Они взяли Ниру и отправились в путь.

Анна шла впереди, уверенно, твердым шагом, словно много раз бывала у Чочу. За плечами ружье, в зубах трубка, в руках пальма.

Небо было безоблачно. Всходило солнце. По опушке леса и у голых пней пестрели расцветающая саранка и желтый лютик — колдовской шаманий цвет.

Показался голубой дымок. Запахло жильем. Навстречу кинулась ощетинившаяся собака и громко залаяла на Анну. А перед Василием повалилась кверху лапами и заюлила.

Василий сердито пнул ее ногой и что-то буркнул, — Анна скосила на него глаза и язвительно засвистала.

— Что встал, пойдем! — крикнула она и уверенным шагом двинулась вперед.

* * *

Чочу была больна. Она лежала в чуме, укрывшись паркой. Анна и Василий молча сидели возле нее и курили. Анна передала свою трубку Чочу, и та, покурив, вернула Анне.

— Вот маленько кудой стал, — печальным голосом начала по-русски Чочу: — маленько не славный, тошно... Хвораль... одна...

— Одна... куда попало... плохо!.. — уныло подхватил Василий.

— Плохо... Совсем маленько плохо... Борони бог! — подтвердила Анна, следя за мужем. Но тот сидел с опущенными глазами.

Анна пытливо разглядывала Чочу и сравнивала с собой. Ну, конечно, Анна краше Чочу. У Анны нос приплюснутый, лицо скуластое, румяное, губы маленькие, алые. А Чочу... Ну, чего там про Чочу толковать. Анна успокоилась и стала готовить обед.

Обедали молча. Но когда хозяйка вытащила из потакуя остаток спирту, все враз заговорили.

Ниру тоже тянулся к бутылке. Но, чуть глотнув, он несколько мгновений сидел с открытым ртом и с изумленно вытаращенными глазами, потом круто уткнулся в грудь матери, пободал головой и отчаянно завыл, высоко подняв больную обмотанную тряпкой руку. Анна, смеясь, схватила его в охапку и стала баюкать.

— Оеей!.. Ниру огненной воды хватил!.. Оеей. Ниру пьяный!..

А Василий вставил в его рот свою трубку и сказал:

— Чего гаркаешь? На, затянись!

Ниру пососал губами и, проглотив дым, закашлялся.

— Ничего... ладно... другой год идет. Учись!.. — смеялся Василий и вновь совал ему в рот трубку.

Чоччу сидела печальная, с повязанной головой.

Вечером Анна сказала:

— Надо одному остаться. Хочешь, оставайся? — взглянула она на мужа.

— Нет, я домой, — напряженно сдвинув брови, ответил Василий.

Он встал и вышел, ни на кого не взглянув.

Василий один прожил двое суток. На третий день зазвенели медные ботала оленей — женщины пришли.

— Вот... родня... — сказала Анна Василию. — Иди, ставь ей чум.

Чоччу выбрала невдалеке моховую поляну, чтоб был оленям корм.

* * *

Так стали жить трое, четвертый Ниру, опять в одном стойбище. Анна, как зверь по следу, выслеживала каждый шаг Василия. Тунгус это чувствовал и следил за собой, как лисица следит, заметая свой след хвостом.

Чоччу брала, что можно, и чувствовала себя по-разному. Когда, крадучись, сидят они с Василием темной ночью, молча сидят, думают — хорошо тогда Чоччу. Но это бывает редко, — так редко, лучше б и не было.

Однажды, когда земляника вызревать стала, зашел к ним мимоходом тунгус Пиля, лохматый, страшный, Ниру очень его испугался.

— Чего в село не идете? Торговый сверху на шитике прибежал.

— Торго-овый?! — протянули враз тунгусы.

Им надо итти с большим караваном к торговому. От пушнины у них лабаз ломится: два года не сдавали.

Но Ниру ночью захворал: то ли Пиля его ушиб худым глазом, то ли спелой земляники объелся, лежал весь горячий и стонал. Ну, что ж, захворал, так захворал, пройдет.

Послали за вином Пилю. Сел Пиля на оленя и на другой же день под вечер привез четверть спирту. У Пили — пальма да трубка... Было ружье, но он его пропил. Ему все равно, где жить. Остался он у Василия.

6

Пировали у Анны с вечера до утренней зари. Пели песни, объедались олениной, ссорились, мирились, хохотали. Чоччу была грустная. Когда пели песни, она как-то по-особому

грустно смеялась, либо плакала, размазывая по лицу слезы.

— Чего ревешь? — кричал Пиля. — Ты вдова, я вдова... Давай вместе! — и лез к Чоччу целоваться.

Василий тяжело задышал, быстро схватил Пилю за ноги и сильным броском перекувырнул его.

— Пошто бьешь?! — визжал Пиля, отдирая руки Василия от своих черных растрепавшихся кос.

Анна схватила чашку вина, залпом выпила, а остатки плеснула в глаза Василию.

— Кок! — крикнула Чоччу. Она хотела броситься к Анне, но остановилась и горько заплакала, тыкая пальцем в ее лицо:

— Ты!.. Ты!.. Все ты!.. Ну, ладно... Вот ужо...

Однако все скоро успокоились. Хмель свалил всех. По чуму — храп и бормотанье.

Ниру тормошил мать, плакал, злился, кричал. Мать не откликалась. Ниру, боязливо оползая храпевшего с разинутым ртом страшного Пилю, подполз к отцу. Но и от него ничего не добился.

Ему очень хотелось есть. Сидя возле отца, он поднял вверх голову и долго выл диким, без слез, голосом. Взгляд его упал на большой котел, у которого, крутя хвостами, работали собаки,— Ниру весело крикнул: — У! — и заулыбался. Он подполз к котлу, ухватился за его края и поднялся между кривой Камсой и черным трехпалым кобелем.

— У! — вновь крикнул он, заглянул в котел и потянулся за добрым куском мяса. Тут Камса лизнула его в самый рот. Ниру чихнул, покачнулся и заплакал. Но сквозь слезы увидал полуобглоданную кость, схватил ее и стал сосать, зажмурясь и урча. Собаки подняли возле котла грызню. Ниру со страхом отполз в темный угол и забился между сумами.

— Геть! Геть! — заорали враз четыре оторвавшиеся от земли головы и тотчас же упали. Собаки воющим, визжащим клубком выкатились вон.

— У! — одобрительно сказал Ниру и пополз к большому куску сахара.

На другой день, когда Ниру уснул, Василий с Анной пошли в гости к Чоччу.

У Василия болела голова. Анна опохмелилась и шагала бодро.

— Отчего не пошел Пиля? — спросила она.

— Не надо... Больно худой... Больно лезет...

— Ты ему вырвал косу.

— Пускай!

— Чоччу возьмет его к себе.

— Она тебе сказала?

— Знаю.

У Василия пальма острая. Силы в ней сегодня много. Вот только голова... Он шел впереди Анны и разговаривал с ней через плечо.

— Ты врешь, — сказал он раздраженно и ударил пальмой по осине. Ствол дерева толстый. Крякнула осина, но не свалилась.

— Врешь!.. Дурачишь!..— крикнул он и ссек осину.— Я вижу...

— Как ты видишь, если я плеснула в твои глаза вином?

Василий вмиг вспомнил это, испуганно схватился за глаза, чтоб удостовериться — целы ли? И ему сразу показалось, что он плохо видит. Тайга стояла перед ним сплошной серой стеной, все как-то посерело вдруг и задрожало.

— Вот слепиться буду... Как тогда? — сглатывая накопившуюся обиду, сказал Василий тонким голосом.

— Слепиться? — равнодушно переспросила сквозь зубы Анна и пнула ногой большой красный мухомор.

— Носом учуешь... На-а-й-дешь!

— Кого это? — крикнул Василий, а сердце его застучало. Перед ним замелькало грустное заплаканное лицо Чоччу, встали в памяти ее слова и вся их былая жизнь. Если Анна не хочет жить вместе — он останется с Чоччу, возьмет Ниру и останется.

Василий хрипло вздохнул, пропустил жену вперед, закурил трубку и до самого стойбища шел понуря голову.

* * *

— Я сегодня богатая... Ха-ха!.. Я сегодня веселая! — встретила их Чоччу. — Давайте весело гулять... Давайте вино пить. Сегодня веселая будет ночь.

Она нарядилась во все лучшее. Синий, весь в позументах, камзол, большой крест на бисерном нагруднике, крупные серьги в маленьких ушах, туго закрученные, сложенные на голове косы.

— Давайте не в чуме.

— Давайте под сосной... Ночь теплая.

Чоччу, чуть откинув стройный стан, легкой поступью ходила от чума к сосне, где разложен огромный костер.

Анна была молчалива. Она, прищурившись, с злобной завистью смотрела на Чоччу.

Сегодня Чоччу красивее ее.

— Ну, чего ты? Пей! — весело крикнула Чоччу.

Анна выпила, крякнула и подала чашку:

— Еще! — выпила, крякнула. — Еще!! Давай скорей еще!

— Станем песни петь! — сказала задорно Чоччу.

— Какие песни? Тунгус не знает, — говорил Василий, обгладывая кость олененка.

Все были вполпьяна.

— У меня своя есть... Хорошая есть... — поднялась Чоччу, утерла рот рукой, оправила волосы, но, окинув Василия тоскующим, ревнивым взглядом, вновь села. — Я когда пью одна, всегда плачу... Я всегда одна... Была вместе, стала одна... Ну вот, буду петь...

— Эй, месяц, — взмолила Чоччу зыбучим гортанным голосом и подшиблась рукой.—Золотой мой месяц!.. Ты один!.. Нет у тебя солнышка, ты один... Ой, месяц, я одна!.. Милый был, да нету — я одна!..

— Дай еще! — протянула Анна чашку.

Анна выпила и повалилась на бок, обхватив руками голову.

Она немного полежит и пойдет домой. У ней томится сердце. Она пойдет домой и нарядится в сто раз лучше Давыдихи... У ней соболья шапка, серебряный чеканный пояс, у ней золотые кольца... Она возьмет Ниру, маленького любимого своего смешного Ниру, оседлает серебряным седлом оленя и помчится в ту сторону, где солнце спит: она устроит чум и будет там жить. Мимо их чума пройдет молодой тунгус: «Эй, бойе, стой!» Остановится тунгус, красивый, улыбчивый... «Я, бойе, умею хорошо ласкать... У меня был один— мой, стал не один — чужой... Вот я ушла. Если ты один, если вольный, оставайся, бойе!..» Да, она сейчас встанет и пойдет. Вот и месяц смотрит, и месяц зовет ее, мигает. И Чоччу над ней смеется, воет про себя, скрипит... И Василий шепчет ей... Пусть!

— Не реви, не гаркай...— шепчет Василий.— Пусть уснет.

— Как узнаешь, спит ли?

— Я узнаю.

— Анна! Эй, Анна! — кричит Чоччу.

— Разбуди, спит. Дай ей вина. Тащи за косу.

Анна подняла, не раскрывая глаз, голову, нащупала протянутую чашку, выпила и еще крепче уснула.

Василий сидит, покачиваясь, в обнимку с Чоччу; голова его валится на грудь. Чоччу шепчет:

— Теперь вместе... Как раньше, бойе... Как до Анны!.. Уйдем, бойе. А погонится, скажем: уйди прочь! Я, бойе, рожу тебе сына... Он будет наш... Давай, я тебя буду целовать...

— Услышит... Она — змея!

— Тьфу!

— Она тебя испортит!

— Я ее закляну... Давай, бойе, целоваться!

— Нет!.. Костер яркий... Месяц светлый... Не надо!

— Пойдем, бойе, в чум...

Василий тяжело поднялся, потоптался пьяными ногами возле спящей Анны и — к реке. Встав на колени, он по самые плечи погрузил хмельную голову в студеную воду. Если б не страх, он долго пролежал бы, не отрываясь от воды. Страшно вдруг сделалось: сзади шайтан крадется — сгребет за ноги, бросит в омут. Василий вскочил, зафыркал, поплевал во все стороны и, обирая с черных своих кос воду, побежал к Чоччу в чум.

Он с опаской вошел туда. Чоччу, разметавшись, лежала на мягких пахучих хвоях.

— Бой-ой-е! — иволгой прозвучал ее голос.

* * *

Костер ярко горит, теплом на спящую Анну пышет. Звезды по небу узоры развели, разбросались золотым песком по синему. Месяц меж ними тихо продвигается, грузным светлым колесом к тайге клонит.

От костра уголек горячий — щелк! — да прямо Анне на лицо. Вскочила, отряхнулась, почесала обеими руками волосы и села. Пустая четверть и опрокинутые чашки блестели, двигались в дрожащих лучах огня. У Анны сами собой закрылись глаза, а тяжелая голова вновь устало приникла к земле. Но вот Анна быстро со стоном поднялась и дико осмотрелась. У костра валялся камзол Василия, его кисет и трубка, а поодаль — шитый позументами камзол Чоччу. От яркого пламени кругом темно. Анна, пошатываясь и натыкаясь на пни, обежала вокруг костра. Нету!.. Она сдернула с кучи потакуев лосиную кожу — нету!.. Она метнула взглядом по освещенным стволам сосен — нет пальмы Василия!.. Где пальма? Где топор? Нету! Сунула за голенище руку — нет ножа! И как-то сам собой прошел весь хмель. Прихлынула к глазам, к рукам, к голове, к сердцу сила, а ноги пропали, их будто нет, совсем нет. Анна над землей птицей летит к чуму. Как вобрала в себя воздух, не может выдохнуть. В руках в огненном золоте большое из костра полено.

Отпахнула полу чума, зашаталась.

— О-гый!.. — и, размахнувшись, швырнула в спящих пламенным поленом.

— Шайтан! — без памяти заорал Василий. — Огонь! Огненный змей! Чоччу! Вставай! — не заметив Анну, он, все опрокидывая, прорвал стенку чума и бросился в тайгу.

Огненный шайтан, растопырив крылья, настигал его. Василия кидало то в жар, то в холод, и захватывало дух. Напролом, забыв тропу, он мчался из чума Чоччу к себе домой: шуршала хвоя, с хрустом ломались сучья.

— Догоню! — выл огненный шайтан и каркал вороном.

У Анны глаза волчьи: и в темноте видят каждый скок Василия, стерегут каждую его увертку. По пятам гонится, устала.

Вдруг Василий пропал. Собака хамкнула... там, в чуме...

— Ага!.. В мой чум вбежал! — показалось Анне.

Она схватилась за сердце и, словно стрела из лука, влетела в свой чум.

Как рысь бросилась к сундуку, где был топор, как рысь, нащупала во тьме изголовье мужа: — А-а-а!.. Спишь? Прикинулся!? — И со всей силы в исступлении хряснула топором. И вдруг завизжала, загайкала, безумно, страшно...

Василий меж тем весь обомлел и сжался. Он и не думал вбегать в свой чум, это так лишь померещилось Анне. Он в это время ничком лежал в берлоге, куда провалился, спасаясь от огненного змея.

— Шайтан! — чакнул он зубами, прислушиваясь к вновь наступившей тишине. Ему все еще спьяну чудился крылатый змей, что лизнул его пламенем, там у Чоччу, а по дороге чуть не слопал. Где же Чоччу, где Анна? Хоть бы пришли скорей!.. Василий крепко зажмурился, но шайтан, виляя желтым хвостом, ходит взад вперед под самым его носом.— Агык! — гортанно рычит Василий, весь вминаясь в землю, и пьяным языком через силу бормочет заклятые слова.

В ушах звон: где-то гудит-рокочет бубен, потом все рассыпалось черными искрами и разом сгинуло.

7

Когда проснулся Василий и высунул из берлоги голову, — кругом бело от холодного тумана. Он вспомнил про вчерашнее и боялся вылезти.

— Анна! — позвал Василий. «Вернулась ли? Или все еще там, у костра спит, не проснется?» — подумал он.

Василий знал, что в трех днях отсюда есть каменная сопка, где живет огненный змей — шайтан. Когда пролетает он, вались скорей в яму, не дыши, заткни уши мохом, заткни ноздри мохом, умри, — не заметит, прокатится.

Василий долго лежал в яме и когда вновь высунул голову — тумана не было. Он сразу узнал свое место: олени бродят, недалеко чум стоит, — и вылез из-под корневища.

— Омко-омко!.. Боллей-боллей!.. Помогай!.. — он зорко огляделся.

Все тихо было. Огненного змея нет. Вставало солнце. Он подошел к своему чуму. В чуме тихо.

— Анна!.. Ниру!..

Тихо. Не шайтан ли передавил их? Василия забила

дрожь. В чуме зарычало. Василий отпрыгнул и побежал к сосне. Шайтан! Из чума вышли две собаки. Они, насторожив уши, подбежали на робкий свист хозяина и, облизывая морды, кинулись к нему ласкаться. Василий приободрился, зашагал к чуму.

Вплотную подойти страшно: пожалуй, там шайтан... Кончиком шеста он отпахнул полу чума и, присев, заглянул туда. В чуме полумрак.

— Анна!

Анны нет. Он метнулся к зыбке.

— Ниру!

Ниру нет.

Он пал перед своей меховой постелью и вдруг с звериным стоном опрокинулся на спину, словно его кто швырнул. Весь от пепла серый, волосы дыбом, глаза дикие — он вскочил и помчался к Чоччу. Бег его неверный, заполошный, зыбкий.

* * *

Дотемна искали Анну, охватив тайгу большим раскидистым кольцом, охрипли от крика, изморились и лишь ночью замкнули круг.

Костер разложили — огонь не греет, пламя яркое — свету нет. Сели рядом, согнулись, сжались. Холод кругом, душа вся в холоде. Голоса их тихие, руки дрожат, губы прыгают.

— Беда, — шепчет Чоччу и вздыхает.

— Чисто беда!.. — шевелит губами Василий.

— Отдохнем мало-мало, опять пойдем, — шепчет Чоччу.

— Опять пойдем, — шевелит губами Василий. Он не понимает, что говорит Чоччу, и не слышит, что отвечает ей.

— Найдем, жалеть будем... беречь будем... — тоскливо тянет Чоччу.

— Будем... беречь будем...

Месяц выплыл холодный, белый. С речки, с мочежин туман ползет.

Анна едет на олене, самом крепком, самом быстром. Она в полном своем дорогом наряде, в соболях, серебре, бисерных висюльках. Лицо румяное, глаза блестят, губы улыбаются... Анна едет на олене и всех спрашивает:

— Где дорога к милому?

Сосна мохнатой лапищей указывает: там! Белка хвостом крутит: там! Филин перед ней летит, нетопырь вьется: там, там! А впереди лесной хозяин-батюшка, Боллей на карачках ползет, бородой метет тропу, пятками пни выворачивает. Анна смотрит на него, беспечально улыбается.

Ниру с ней. Она его очень любит. Бедный Ниру: с ним стряслась беда. Если он молчит, это ничего. Он спит, он бу-

дет долго-долго спать. Его разбудит шаман, самый сильный, какой только есть на свете. Вот уже завтра, вот вчера, вот через месяц... когда золотой месяц умрет-родится, когда вольный месяц подопрет своим острым рогом небо, где большая-большая звезда стоит, божий глаз, тогда она придет к милому, к прежнему... Она скажет своему милому: «Вот я пришла!» Она скажет милому: «Вставай, зачем умер, зачем закопался в землю — ты живой!» Она скажет: «Вот Ниру... Мой Ниру спит... У меня нет Ниру... Когда течет из сердца кровь, хорошо быть возле милого... Тише, тише... Не будите Ниру... Тише!..»

Анна погоняет оленя, губы ее улыбаются, но слезы льются из черных глаз.

Вот погоди, Ниру, вот приедем!.. Любишь ли ты мое молоко, Ниру? — Она остановила оленя и распахнулась. Она нажала грудь, из соска брызнуло ей в лицо молоко.

Комары густым роем жадно пили кровь Анны, она не замечала. Комары так насосались крови, что уж не могли слететь, и красными, кровяными, блестящими ягодками лениво унизали ее лицо, грудь, плечи. Как во сне провела Анна по лицу рукой, лицо и рука вдруг покрылись кровью. Кровь была свежая, аннина, не застывшая. Она ярко-красными свежими подтеками, со следами раздавленных комаров легла на засохшей крови, вчерашней, ночной, что густо покрывала кисти ее рук.

— Ниру!.. Ниру!.. — воркует Анна и развязывает суму, где сын.

Ниру лежит смирно — спит... Пусть спит, его разбудит страшный шаман. Встряхнет бубенцами, звякнет колокольцами, ударит в бубен — гром пойдет и грохот. Тогда мертвый Ниру, может быть, проснется.

Анна быстро сбежала в луг и вернулась с цветами.

— На, Ниру, играй!..

Но Ниру не открыл глаза. Он никогда больше не проснется.

Крепко завязала суму Анна, подвела оленя к пню, вскочила верхом и, малоумно улыбаясь, двинулась дальше, в тот край, где родятся утренние зори, в ту сторону, где непробудно спит, зарывшись в землю, милый.

1915 г. Петроград

СТРАШНЫЙ КАМ

Повесть шаманья, алтайская

Будет ли так, чтоб в пуповину нашу грязь не попадала? Будет ли так, чтоб на ресницах наших не было слез?

Из молитв алтайцев

Бубен ходит по горам. Невидимый, звучный, весь в бубенцах. Ночным гуком, ночным звоном, словно лешевым горохом бьет, бьет, бьет — ходит по горам...

Это кам[1] камлает, духу службу служит, духа упрашивает.

А курмесы[2], его слуги, по вершинам скачут, в невидимый бубен кулачками бьют.

Бум-бум-тра-та-та!.. Дзын-дзын!.. Рррр... ррох!..

Чур! Наше место свято!..

1

Баам!.. Баам!..

Удар за ударом льется и плывет по ущельям Алтайских гор. Маленькая колоколенка, сколоченная из серых бревен, забежала на утес, а над утесом — церковь, такая же маленькая, серая.

Ранний летний час. Лучи солнца лишь на вершинах гор, долины — в предутренней сизой дымке. Но розовый рассвет все ниже ползет с вершин по склонам, золотит на своем пути и зеленый куст черемухи, и цветущий маральник, и укра-

[1] Кам — шаман, жрец, представитель культа шаманизма.

[2] Курмесы (кӧр ӧс) — души умерших, имеющие право существовать на земле, например, души шаманов. *(Прим. авт.)*

шенные крупными цветами мальвы. Вот два белых козла вдруг забелели пуще — мазнуло солнце по рогам, по бороде — фыркнули да на дыбы — слава солнцу, слава теплу, цветам, вкусной траве! — и ну с радости друг друга бить: стук-брык, с вывертом, козлом-козлом!

Люди в долине шевелятся — закурились берестяные юрты серым дымом, проснулся народ в селе. Калмыки, теленгиты, русские. Еще помесь русских с теленгитами — береза да черемуха.

Заблеяли овцы, замычали коровы — как же, солнце! — табуны лошадей, всхрапывая, носятся по увалам гор,назяблись за ночь — ночи в горах студеные — и мчатся птицы из лесных трущоб, из темных сырых ущелий туда, к солнечным лучам, что обрядили в сыпучие алмазы грохочущий с гор белый водопад.

Когда вспыхнули пожаром крест и окна, колокол замолк, а в церкви началась обедня. Порядочно народу собралось — и праздник знатный: самому угоднику Николе — да и дело: отец Василий вразумлять начнет.

Народу в селе Глызети много: и старожилы русские, и новокрещеные калмыки с теленгитами. Русские православную веру знают крепко: двенадцать богородиц, троица — Христос воскрес, а новая молодая паства — что без матери ягнята: суровый пастух да крепкий кнут надобен.

Обедню сужит отец Василий то по-русски, то по-алтайски. А кончил службу, стал речь держать:

— Православные! Наш брат во Христе, раб божий Павел с диаволом якшается. Был он кам Чалбак, камом и остался.

— Как есть кам!.. Ночи напролет камлает, чорту служит!.. — заговорил народ от самого амвона и до выхода.

— Нельзя этого допустить. Грех это! Неотмолимый грех!

— Как не грех, знамо грех!.. И сегодня на заре бубен бил. Чего бог Никола терпит, чего смотрит?!

— Вот что, православные. Так ли, сяк ли, нам нужно его окоротать, чтобы против бога ежели — ни-ни!..

— И чего только Никола смотрит... Тьфу!

И когда расходились по домам, все толковали, толковали: был кам Чалбак, камлал, гадал, с чортом знался, курмесов полон рой на посылках у него... Крестился кам, новую веру принял, стал Павлом, а сам все с чортом знается. Чу, чу!..

И смотрят на переднюю вершину, зеленую, а за передней другая выступает — синяя, а за синей — белым-бело: вся в снегах гора в небо уперлась, белая, и только в палящий зной снова зеленеет. Вот в каменной пещере, что врезалась в белоснежную грудь горы, и жил страшный кам Чалбак.

Чу, чу!.. Бубен бьет — взбрякал, взгукал, — ходит по горам!

2

Тихая ночь в горах. Селенье Аннавар во тьме. Ни огонька, ни звука. Горы сгрудились, черные стоят, немые. Клочок неба темный, в ярких звездах.

Где-то собака взлаяла, и проблеяла овца во сне: видно, приснился страшный зверь с острой мордой, горящими глазами.

Тьма. Плывет во тьме голос человечий, грубый... И другой — ему на смену — тонкий, резкий, и третий голос — как труба зычный, злой.

— Надо больше народу... Чтобы всем селом. Жуть!

— Жу-уть! Какая жуть?! Ружья можно захватить, собак зверовых.

— Хе! Ру-ужья!! Много ты супротив дьявола ружьем навоюешь? Батьку надо передом, отца Василия. Крест в руки да и...

— Не пойдет поп: он хитреный.

— Тогда надо народ сзывать.

— В праздник надо, в воскресенье, ночью.

— Хорошо бы, братцы, винищем накачать кама-то. Все-таки пьяного-то сподручней.

— Дело говоришь. Дело... Мы пастушонка подошлем, Ерему... Вроде как гадать пойдет. Мальчонка проворный.

Вспыхнул огонек, три бороды, три толстых носа к спичке потянулись: пых да пых, чортовым снадобьем запахло, табачищем.

Месяц из-за хребтов выставил посеребренный рог, посеребренная струна протянулась между гор.

— Спать пора!

Зевок за позевком, сладко так! Три бороды посопели трубками, сплюнули, пошли.

— Лето, а мороз... Бррр!

— Это от камня, от гор.

— Чалбак это! Эх, кулаки зудят!

И другой рог месяц выставил. Скрипнула калитка. Смолкло все. Вторая, третья посеребренная струна протянулись между гор, и голубоватый лунный свет рассыпался в долине.

3

— Господи, ты крепок и силен, а я, иерей твой, слаб... Сокрушу выю и чресла грешника, сказал ты... Укрепи и десницу мою, господи, да покараю нечестивца. Дам ему трепку подобающую и брошу к ногам твоим...

Серая фигура растянулась в полумраке на полу. От печки

к образкам тканая полоска — половик. Одно окно завешено черной рясой, другое — каемчатой браной скатертью. Свет лампадки, колышется хвостатый огонек. Лик Николы грозен, брови хмуры. «Ария богоотступника заушил еси», — будто шепчут его уста. Возле печки — кот. Щурится кот на огонек лампадки, вот подошел беззвучно к ногам распростертого, трется о подошву сапога, мурлычет.

— Никола-святитель, укрепи!.. Дай мне в руки меч карающий.

— Батюшка! — отворилась дверь, и раздался нежный молодой голос. — Ужинать-то будешь, что ли? Вынимать щито? А то прокиснут!

— Вынимай, чадо, вынимай. Милостив буди мне, грешному, угодниче святый...

Всколыхнулся огонек лукаво, шевельнул святитель Николай мечом, кот прочь от батькиной ноги — в лоб сапогом попало.

4

Сидит Ерема у костра, считает звезды:

— Сорок девять, сорок десять, семьдесят... Тьфу ты, язви тя! Опять сбился.

Не перечесть Ереме звезд, да и зачем? Горазд Ерема печеную картошку есть. Лапой в костер мырк:

— Ох, язви тя! До чего горячая, потому што...

С ладони на ладонь ну покидывать, да в рот: хруснула поджаристая корочка, белый рассыпчатый комок слюной смочился смачно, два раза Ерема чавкнул и сглотнул.

— Скусно... А ну ощо!

Черненькая собачонка Дунька в еремин рот умильно смотрит, так и этак головой крутит, пустила две вожжи слюней.

— Дунька, фють!— кричит Ерема.— Аз-буки-веди — глаголь-добро-есть! — и кидает ей картошку.

Хам-ам на лету — не жевавши проглотила.

Ереме любо, ухмыляется:

— Аз-буки-веди-глаголь-добро-есть! — да камушек немудрый шварк!

Хам-ам! — чакнула зубами Дунька, обсобачила Ерему обозленным взглядом и, обиженная, отошла, прихрамывая, прочь.

Ерема хохочет, заливается.

— Дунька, Дунька! А к колдуну пойдешь со мной, к каму, к Чалбаку? На картошку, на!

Скучно. Что бы такое Ереме сделать?

Тьма кругом, непроглядный мрак. Похрапывают кони, а то вдруг шарахнутся: топы-топы-топ! — не волк ли? Пережевывают жвачку коровы; еще жмется к костру, прядет ушами лупоглазое овечье стадо.

Пять ворот у Еремы в поле, а волки лютые, глазастые, надо караулить.

— Дунька, усь-узы!

Два ста да еще полста коров одних, а овцам счету нет. Но хозяева ведут счет отлично: недавно Ерему лупцовали — а за что про что? — будто бы двух ярок волк задавил.

— Язви! — вспоминает Ерема, морщится. — Как они меня... Ррраз!

Пять ворот у Еремы в поле. Поди-ка, усмотри!

Костер потрескивает, клубится — ветерок взыграл — и все встрепетало, вздрыгало во тьме: маленький вздернутый еремин носик заплясал на круглом бронзовом лице, мохнатая шапка то сползет на оттопыренные уши, то привстанет, и тень от Еремы скачет, как шальная.

Чу! Бубен трижды вдарил и замолк.

— Дунька, усь-узы!

Спать пора, а жутко. Кам... А что такое кам? Тьфу!

Ерема его знает. Кам Чалбак очень даже смирный, очень занятно в бубен бьет, волхвует.

— Вот ужо братаны водки принесут, пойду к нему... Занятно!

Где-то вдали огонек мигнул и погас, мигнул и вновь погас — ветром задувает.

«За рекой за Анчибалом потому што...» — думает Ерема.

Слипаются глаза, носом клюнул. Спать нельзя. Вскочил Ерема и во все горло крикнул:

— Ксы! Куда лезешь?! Ослепла?!

Но никого возле не было. Та же тьма. Только огонек вдали снова вспыхнул и окреп.

Ерема сорвал с головы воронье гнездо — шапку, помахал ею, чтоб прогнать подальше сон, и запел гнусаво:

За рекой огонь горит,
Старик бороду палит...
Тарили-потарили,
По башке ударили... Эх, ты, но-о!..

5

Гремит-грохочет бурливый Анчибал, прямо с гор мчится, от скалы к скале, бьет в камни, седые лохмы чешет. Нет ему уему ни зимой, ни летом, шумит-шумит на весь Алтай.

Белым теменем в небо гора воткнулась. Вершина в ледяной извечной шапке. Пониже — луга с мохнатыми белыми цветами, еще пониже — лес густой, поляны, угревный склон. Страшный обрыв. И не видать, что под обрывом. Ползи к стремнине, ляг крепче грудью, загляни: белые косы рассыпает, точит камни, пенится река. Разве горный козел-яман учует ее грохот, а человечьему уху не поймать — так высока скала. Над обрывом площадка небольшая, на площадке берестяная юрта-аланчик.

У самого обрыва развалился крещеный Павел, кам Чалбак, он курит трубку. Веселый костер горит. Взыграл-взметнулся ветер. Чалбакова жена, молодая Казанчи, долго с костром возилась: вспыхнет, да потухнет, да опять. Казанчи сосновых веток притащила — окреп костер, сонливому пастуху Ереме миг да миг.

— Песню орет мальчишка, шапкой машет...

— Откуда знаешь?

— Я все знаю... Сюда придет... Чую, — как во сне сказал Чалбак, не выпуская изо рта трубки.

— Бросить это надо... Забыть!.. Ты — Павел, я — Катерина... Казанчи была, стала Катерина... Поп-батька дознается — забранит, богу Николе скажет. Ох, как худо тогда! Совсем худо, совсем!

Мигают звезды в вышине. Невидимую Ереме двурогую луну отлично видит кам Чалбак с женой: вся в серебре, над горными хребтами взнялась луна, холодный свет льет, волхвует. Горы черные, в лепешку сплюснутые мраком, вдруг поднялись из тьмы, сцепились в хоровод, плечо в плечо: голубые, серебристые, молочные, то как хрусталь прозрачные — вон та, в далекой синеве ночной. А эта — мрачная, угрюмая, вдова среди невест — в тени.

— Забыть надо, говорю... Бросить!

— Как могу забыть? — поднял сонные глаза Чалбак. — Не могу забыть. Вот здесь оно, это самое... В сердце... Как брошу?

Казанчи задумалась, между гор в долину смотрит, в серебро.

— По пятнадцатому году я занемог, шибко тяжко было, умру, да и умру. Тут сон. Явился будто бы Ульгень [1] и говорит: «Сделай бубен звонкий, сделай одежду, как у кама, всю в железище, молись великому Ульгеню. Пуще молись, пуще!.. А то всех людей ваших лукавый курмес-алдачы в ад перетаскал, слопал всех. Ты постой за мир!» И научил меня, как молиться, какие слова говорить. И я стал камом, и больше уж не хворал, стал здоровым, как прежде...

[1] Ульгень — Великий Дух, создатель мира. *(Прим. авт.)*

Тихо говорил Чалбак, глаза полузакрыты. Пламя ворчало под его речь, и ветер шелестел травой.

— Сам Ульгень... да, да!.. Сам Ульгень приказал. Как выну из сердца?

— Зачем же крестился, зачем веру сменил?

— Разве не знаешь ты?

Казанчи сидела задумчиво. Белый камзол ее голубел под луною. Так же тихо, будто сам с собой, стал говорить Чалбак:

— Праздник у нас был, в третьем годе это. Батька мой пьяный напился. Подрался. Убил калмыка в драке. Боролись, а батька его со скалы. Дознался поп, призвал батьку: «Крестись со всей семьей — тогда покрою, а то тюрьма». Где тут? Тюрьмы калмык боится. Батька заплакал, попу в ноги. Потом крестился. И я с ним. И ты. Потом батька умер. А я живой... Вот две веры у меня, два бога. Бог русский да свой — Ульгень.

— Эрлик? Черный Эрлик[1] задавит тебя.

— Эрлика упрошу. Кровавую жертву буду часто приносить. Черный Эрлик любит кровь.

Казанчи вздохнула:

— Если б жалел меня, бросил бы все это... Не жалеешь.

Ерема месяц увидал, месяц высоко поднялся, ушла спать в юрту молодая Казанчи.

Чалбак один.

Умное безбородое лицо его грустно. Черные узкие глаза потухли. Печаль в глазах.

И душа его одинокая. Вся в печали, вся в недоумении.

— Два бога — Исус бог, Ульгень бог. Исус — маленький бог — его убили; Ульгень — большой-большой — всех убил, всех сбросил с неба. Самого Эрлика сбросил. А Эрлик... О-о-о!.. Немилостивый, грозный... Не бог—тьфу, тьфу!—какой он бог — а самый страшный! Самый черный есть.

Звезда упала, покатилась, за ней другая. Чалбак проводил их узкими глазами, подумал:

«Вот этак же слуги Эрлика с неба упали. Белый Ульгень сверзил их. Который на гору пал — хозяин горе сделался, который в озеро — хозяин озеру. Моя гора Сумар Улан, мое озеро — Сут, да даст золотое решение, черноволосую голову мою да сделает спокойной...

И смотрит Чалбак на горные хребты, что под луной стоят: голубые, белые и, как хрусталь, прозрачные, — и тянется тоскливой рукой к бубну: надо горам молиться, надо хозяев — слуг Эрлика — чтить:

«Бум-бум-бум!.. Тырррр!.. рата-та!»

---

[1] Эрлик — Дух Зла, властитель преисподней. *(Прим. авт.)*

Слышит пастух Ерема — в горах бубен бьет, — жутко стало. Топы-топы-топ! — топчут кони, сон прошел.

— Чалбак! Чалбак! — кричит проснувшаяся Казанчи. — Брось! Никола-бог учует — покарает...

Упал из рук Чалбака бубен, покатился: грозный старик Никола поднял меч.

— Эго-й!.. Эй!.. — тонко, придушенно застонал Чалбак. Грозный Никола сдвинул брови, мечом грозит.

И сжалось сердце кама, вся кровь от сердца отлила.

Два голоса:

«Уйди, Никола! Кто тебя звал, — уйди! Мой он, мой слуга. Бей в бубен, бей, Чалбак!»

«Он не Чалбак, он Павел».

«Бей, Чалбак, в бубен! Где твое сердце, Чалбак, где твоя глотка?»

И уж нечем дышать Чалбаку: черный Эрлик горой навалился на него, а курмесы к сердцу присосались, — обомлел Чалбак.

— Ой-ты-ой!..

А бубен сам собою колесом пошел, взлетел вдруг, как живой, над полымем костра, взгукал, взбрякал, да в голову, в голову Чалбаку, в голову: бум-бум-бум!..

«Хватай, бей в бубен! А то задушим...»

Схватил Чалбак волшебный бубен, вскочил Чалбак и закрутился словно вихрь вокруг костра — волчком, волчком. Загремел, зазвякал бубен, черным по горам горохом рассыпается, гудит. И не Чалбак бьет в бубен, курмесы бьют-грохочут, шайтаны его рукой водят, шайтаны крутят его вьюном.

Страшно Чалбаку глаза открыть: адов огонь в глаза полыхает, жжет, а святитель батюшка Никола спорит с нечистою силой:

«Громче, громче! Задушим».

«Сотвори крест, Павел!»

«Крутись, крутись!»

Звякнул меч святителя Николы, распались-хрустнули железища черного Эрлика, и две руки, два крыла горячих обхватили кама:

— Чалбак!

Валялся Чалбак полумертвым телом, горевала-плакала над ним молодая Казанчи:

— Чалбак, на, отпей... Холодная, ключевая.

Отерла Казанчи густую белую пену, что покрыла запекшиеся чалбаковы губы, протянула ковш ледяной.

— Трубку!

Жадно проглотил ледяную воду, жадно, с надрывом, затянулся Чалбак крепким табаком — пых-пых — нету...

— Трубку! Еще! Больше!

Свою подала Казанчи трубку.

— Крест! Выпусти крест скорей... А то они задушат.

Трясущейся рукой достала из-под его рубахи крест.

— Дунька! Усь-узы!.. — спросонок пробормотал Ерема и задрыгал обутыми в рвань ногами: свалил Ерему сон.

Рассвет зачинался. Туманы наплывали из долин. На востоке утренняя звезда-зарница горела ярко.

Казанчи усердно крестилась на звезду:

— Бог Никола, помогай... Никола-батюшка!..

Чалбак тяжело переводил дух и, весь в поту, дрожал.

6

Учитель из села Волчихи, Иван Петрович, был весьма благочестив, духовно-нравственные книги почитать любил.

Насквозь прожженный солнцем, подкатил он на своей пегой кобыленке к попову, заросшему зеленой травой, двору.

— А батюшки-то дома не-ету, — нараспев сказала веселая, грудастая, стрельнула черными глазами в черные чуть раскосые глаза учителя и хихикнула в горсть. На мизинце супир сиял. — На пасеку они ушедши.

— Вот те на! Зачем же это?

— Хи-хи-хи!.. Смешной какой. Ребят учит рихметике, а спрашивает: «Зачем?» Знамо, за медом. Хи-хи-хи!..

Иван Петрович был женат, а священник — вдовый. Иван Петрович улыбнулся и смиренно опустил глаза.

— Чудак поп! Ведь дома мед-то...

— А где ж дома-то?

— Да ты. Не мед, что ли? А?

— Хи-хи-хи! Ну-ну! Вот скажу супружнице-то...

Иван Петрович смутился. Он крепче прижал к сердцу пропыленный узелок в голубом платочке — в узелке речи Иоанна Златоуста — и сказал:

— Возьми, Надюшенька, кобыленку-то мою да привяжи. Остынет, попоишь не то... А я пойду.

Горы! Горы! С семи концов пришли сюда, семь ветров загородили. Млеют под солнцем в зеленых своих цветных уборах. По их подолу и дальше ввысь бегут лиственницы, сосны, как снег блестит обнаженный на ребрах известняк, рудой кровью кровянеют красноцветные песчаники. Розовые нежные кусты маральника перепутались с темной зеленью вереска и елей, ярко-желтые цветистые ковры раскинулись то здесь, то там. О пики выступов и скал чешет гриву водопад с горы — радуга, алмазы, серебро. Солнце греет, обли-

ло теплым светом все кругом. Только ущелья мрачны — в них тьма, в них леший! — и по балкам серый камень-курум ползет.

Берег Погремушки, неширокая долина, пасека. По зелено-пестрому ковру лугов щедро разбросаны цветы — ирис, эдельвейсы, астрагалы, духмяные кустики полыни, мяты и тысячи других цветов и безвестных, радующих глаз, былинок. Многочисленные ульи, жужжащая картечь хлопотливых пчел. Тепло, свет, пряный запах.

Отец Василий, в широких плисовых штанах, в темнофиолетовой рубахе, кипятит у костра кирпичный чай. Длинные волосы закручены в тугие косы и — наверх по-бабьи. Лицо полно деловитой заботы, в руке ложка, в тюрючках перец и лавровый лист, в котелке бурлит уха из только что пойманных харнусов — упрела, нет?

— Эзень! — по-алтайски поприветствовал его Иван Петрович.

— Эзень-ба, эзень, — откликнулся отец Василий, с досадой, порывисто благословил протянутые пригоршни и выдернул из костра хлынувший через край котелок.

— Э, шайтан!.. И лезет человек не во-время! После бы поблагословился... Чуть не опрокинул!.. Ну, что?

— Да ничего, собственно, — смутился Иван Петрович, покраснел. — Вот книгу привез. А больше насчет Чалбака. Что ж он, камлает все?

— Камлает.

— Гм... Миссионер недавно мимо нас проехал. Новый какой-то, сердитый. Все вынюхивал да расспрашивал. Выспросит, да в книжку.

— Кого расспрашивал-то? — встревожился отец Василий, все забыл: уходил кирпичный чай, плавали в недоваренной ухе два слепня да муха.

Иван Петрович лег у костра, под дымом, и, жмуря похитрому калмыцкие глаза, сказал:

— Кого спрашивал-то? Да все больше новокрещеных, петь учил их, очень не одобрял, — ничего, дескать, не знают.

У отца Василия опустилась с ложкой онемевшая рука.

— Ну?

— И про Чалбака спрашивал. По дороге, видно, рассказали ему. Как же вы, говорит, допускаете, крещеные? Этого нельзя. Он погибнет, и вы, говорит, все погибнете... А те с дуру-то: пущай камлает, он все узнать может, он всякую болезнь прогнать может...

— Ну?

— Тот аж пожелтел от злости, бороденка затряслась. С тобой хотел потолковать. Пастырь у вас, говорит, одна печаль. Архиерею надо...

Отец Василий чуть приподнял голову, открыл рот и уставился в притворно-печальное лицо учителя.

Иван Петрович ел уху, похваливал, смачно обсасывал рыбьи кости. Отец Василий черпал ложкой, как во сне, и все вздыхал.

— Ну, что ж я, ну, что я могу с ним поделать?

— Вразумить.

— Трепку дать, чорту пархатому!

— Зачем трепку? Словом надо, лаской, примером.

— Лаской?! — вскричал отец Василий и закашлялся, чуть не подавился костью. — Нет, я как древний бог буду, как Адонай! Покараю, изничтожу и в консисторию доложу! Пущай судят, как хотят.

И стал проворно обуваться, надел рясу, распустил волну черных своих волос.

— Куда же ты?

— Озяб... чего-то озяб я...

— Озяб?! — изумился Иван Петрович. — В такую жарищу, да вдобавок у костра?

— Озяб!

Отца Василия била лихорадка.

7

Под Илью-пророка ночь была темная: месяц огруз, не подняться из-за гор, звезды принакрылись хмарой.

Ехали в эту ночь горной тропой извивной, по обрывистым бомам и кручам, старая калмычка да русский мужик Степан.

А как спустились к броду через реку Анчибал, калмычка выхватила из сморщенных губ трубку, крикнула:

— Стой! Не переброди!

— Тпру! — осадил коня Степан. — Пошто?

— Разве не слышишь? В горах бубен бьет... Камлают... Чалбак это.

— Ну, так что?

— Погибнуть можно... Борони бог, как... Чу!

Развели на берегу костер. Слушают-послушают: в горах бубен бьет-брекочет. Притихли.

Слышат — шум, рокот — по речке вода валма-валит, вспенилась, взбурлилась, — люди прочь от костра да в гору. Вот и костер утоп: вал выше, выше, к самому гребню забирает, ошалелая вода винтом взмырила — бурлит, ревет, грозится.

Кони храпят, крестится Степан, причитает старая калмычка:

— Прямая погибель была бы. Утонули бы...

— Осподи, спаси, помилуй!..

Вихрь взнялся, в лесу деревья закачались, затрещал лес, зашумел. Вдруг вспыхнуло пожаром все, разъяхнуло небо огненную пасть, молния горы озарила. И снова все по-старому: тихо стало, река в прежних берегах, на том же месте приветливый костер горит.

Крестится Степан, творит молитву:

— Осподи, заступник-покровитель! Что пригрезилось!..

С перепуга старая калмычка не может в рот табачной трубкой угодить.

— Сильный кам... Чалбак это... Ну, и сильный!

А Чалбак в это время сидел на обрыве возле своей юрты и, полный тревоги, поджидал грозу.

И раз, и другой трепыхнула вдали зарница. Небо за горами густо золотилось, и черные хребты, как спины зверей заклятых, подпрыгивали и дрожали. А вместе с ними дрожала и чалбакова душа: Исус — бог, Никола — бог, Ульгень — бог. Кто сильней, кто за Чалбака? Неужто черный Эрлик пожрет его? И сами собой шепчут побелевшие губы кама:

«Я убью красно-чубарую кобылицу, иноходью ходящую, сердце и печень ее обмотаю вокруг своей шеи, буду шаманить, в бубен бить, умилостивлю гнев твой, о Эрлик!»

Трепещет, мечется душа Чалбака; пуще взметнулась, затрепыхала зарница в небесах. И не зарница — молния — гром затарахтел. В страхе передернул Чалбак плечами: страшная гроза идет — Удалой Ревун!

«Я буду знать и чтить демона над демонами шести родов, буду поклоняться Дерущему в пропасти и его дочери Ветряной Красавице... О, Эрлик, все мертвые головы собравший!..»

Стегнула молния. Гром ударил резко.

— Никола, заступай! — вскричал Чалбак.

— Никола-батюшка!.. Помогай скорее! — суетливо роется, ищет что-то в своих кожаных сумах обробевшая Казанчи и не спускает глаз с осиянного николина лика. Нашла! Вот он, спасительный кусок разбитого грозой дерева. Идет с ним вокруг юрты, причитает.

Из-за подпрыгнувших в страхе гор взвился ослепительный бич и надвое рассек дрогнувшее небо. Грянул громовой раскат, зарокотали небеса, а горы, словно чугунные плиты, с треском, с грохотом рушились в тартар с черных туч.

Оглушенный Чалбак вскочил, заткнул пальцами уши и в один отчаянный голос с Казанчи:

— Удалой Ревун ревнул! Топор Господин зашевелился... Агык! Прочь! Прочь!

И оба в юрту. Пали перед образом поднявшего меч Николы-бога.

— Ой-ой, Никола-матушка!.. Богородица-батюшка!.. Я — Павел.

— Я — Катерина есть... Защищай скорей!..

— Ой-ой!.. Удалой Ревун ревнул, Топор Господин зашевелился... Агык, агык!!

Сел Чалбак у прокопченного дымом образа, лицом к костру, что полыхал-потрескивал средь юрты, взглянул в прорез: небо красным-красно.

«Вот он, вестник семи небес, с каймой из красной тучи, с замкнутым поводом из радуги, с плетью из белой молнии, на небе приказание берущий».

И тянется рука Чалбака к тугому, с гремучими бубенцами, бубну. А гром — свое.

— Свят, свят, свят! — крестится в дырявом шалаше Ерема. Голос у Еремы ребячий, тонкий, с перепугу дрожит и рвется, как у молодого певуна.

— Свят, свят, свят! — и другой голос плывет ему на смену, грубый.

— Ну, и вдарило! — гукнул, как труба, зычный голос, злой.

— Чалбак это!.. Он таку беду наводит... — еще голос резкий, с подковыркой.

— Свят, свят, свят!

Сквозь дыры шалаша блеск молнии пробрызнул: вспыхнули три рыжих бороды, вильнул туда-сюда плющавый нос на лупоглазом от страха еремином лице.

И словно в пьяном полусне взволховал Чалбак. Звякнули-взыграли гремучие побрякушки, бубенцы, рассыпался горохом бубен: тра-та-та!.. тырррр... рох!

— Чалбак! Чалбак! — испуганно завопила Катерина.

— Ишь ты, как наяривает... — сказал своей калмычке у костра мужик Степан.

— Страшный кам... Борони бог!..

— Ужинать-то будешь, батя? — спросила остроглазая, подобрав под передник красные большие руки. На пальчике — супир.

— Ложись, чадо, спать... Ишь, какая сила громыхает!

— А я, грешная, поела... Страсть до чего люблю свинину жирную!

— А ну-ка, дай кусочек... С кашей, что ли? Свят, свят, свят, господь Саваоф!..

Дребезжат от удара стекла, барабанит крупный дождь в поповскую крышу под железом, журчат ручьи.

— Никола-угодник... Ой, батюшка!.. Не прогневайся, пожалуйста... Агык! — плачет-причитает Казанчи.

— Бум-бум!.. тра-та-та! — орет во сне Ерема и, повернувшись на бок, храпит, как конь.

— Ишь, чорт какой!.. Парнишка-то... — сонно пробурчали в три голоса рыжебородые братаны и, один за другим, пустили громоносный храп.

А небесная гроза замолкла.

8

Рано поутру — лишь солнца луч — вышел кам Чалбак из своей юрты, сонный, пошатываясь. Голова болела со вчерашнего, набухло сердце каким-то томлением, и вся душа его изнывала:

— Ульгень — бог, Никола — бог, Ильин день — бог...

Ильин день громыхал вчера в ночи, рвал скалы, бухал. Ильин день загорался сегодня в небе ясным солнцем. Поп Василий вот ужо обедню служить станет, поп Василий такой же кам, как и Чалбак, — вот ужо штукой с огнем, с дымом махать станет, вот ужо орать будет во всю глотку, бородой трясти: «вонми, да вонми, аминь, аминь».

А внизу — Эрлик, мучитель.

О, страшный Эрлик, сильный Эрлик, усищи его, как два клыка, закинуты за уши, и ездит он на черной лодке без весла. Чалбак полетит к нему в гости, как волк, в капкан, на крыльях гагары полетит, на крыльях дяди-птицы, в самый ад, в самое пекло...

«Бубен!»

«Нет, не надо мне бубен. Дожидай, пожалуйста. Грех мне, грех... Хочется — не хочется... Погоди, ужо, погоди...»

Пошатываясь, придерживая рукой больную голову, идет Чалбак по солнечной равнине к обрыву скалы, садится на камень, озирается: совсем проснулся.

Ровной гладью разлился внизу туман: белым-бело. Словно в море утонула даль и все, что под ногами. Только горные вершины встали над туманами, да его, чалбакова, лужайка.

Солнце выше, выше — туман белей. На две половины рассек туман простор: верхняя вся в солнце, в радости, там Ульгень — создатель; нижняя закутана туманом — там бог Никола, люди, овцы, лошади, поп Васька, собаки, мужики.

А еще ниже, еще-еще ниже — у-ух как низко!.. Там Эрлик, грозное сердце...

Чу, Катерина кличет!.. Чалбак придет, придет. Он слышит, он сейчас встанет и пойдет. Но нет сил в ногах, хочется смотреть туда, в туман, где бог Никола, бог Исус, хочется — не хочется взнуздать дядю-птицу, да с бубном, с колотушкой туда, на дно, скрозь семь земель...

— Чалбак!
— Иду...
Нет, не пойдет... Не вдруг пойдет. На каждой ноге камень, на сердце камень, клюет сердце дядя-птица, требует... И шайтаны вьются-вьются, курмесы кувыркаются, а подойти не смеют — на груди Чалбака сияет крест — Ильин день сегодня, праздник.
Солнце жарит: праздник. Солнце круглое, румяное, как щеки поповской стряпки Надьки; солнце — блин, такой вкусный, поджаристый — поп Васька угощал; солнце — спирт, самый русский, самый горячий, ух-ты, обожжет!.. Солнце — волшебный бубен в небе, а шаман — Ульгень: бум-бум-бум!.. Чек-чек!
— Чалба-ак!
— Скоро, скоро... Вот, скоро!
И вдруг со дна моря белотуманного — ба-ам, ба-ам! — вознесся в солнечную высь колокольный звон. Там, в долине, между зеленых гор в расстоянии пяти стрел из тугого лука — церковь. Там Павел, здесь Чалбак; там Чалбак, здесь Павел — вместе, оба-два, не рассечь, не разлить, ошпарь водой — не разойдутся. А душа одна. Оба-два на одной душе уселись — Чалбак да Павел. Сядь на пень, другой не сядет. А надо... Как быть? Тяжко. Вот тут тяжко, вот здесь... Дрожит перед глазами порозовевшая гладь тумана-моря, все дрожит. И скачет в небе огненный бубен. Надо утереть глаза, суше, суше.
Хочется — не хочется Чалбаку жить.
«Будет ли так, чтоб на ресницах моих не было слез?»
Удар за ударом льется и плывет из неведомых глубин колокольный благовест. Чалбак встряхнулся весь, вздохнул и набожно перекрестился трижды.
— Чалбак!!
И как пошел Чалбак на зов жены своей Катерины, со дна сказочного моря, куда упала с гор узкая тропа, один за другим стали выныривать всадники.
Вот вынырнула из тумана человечья голова, вот — лошадиная. Весело заржал коняга, увидав траву; радостным гиком гикнул солнцу человек. За ним другой, третий — ползут, ползут на луговину.
— Эзень, Чалбак! Эзень! Здравствуй!
— Эзень-ба! Эзень!
— Ни табыш? Что нового?
Много народу собралось: целое семейство теленгитов больную старуху привезли; три рыжебородых, что пережидали грозу в ереминов дырявом шалаше—Петрован да Андрей с Филимоном — Брюхановы; калмычка с русским мужиком Степаном; и еще подъезжали, подходили русские и ино-

родцы: кто судьбу пытать, кто за исцелением, или черному Эрлику жертву принести: «Ульгень — дух светлый, добрый, ему зачем молиться? Он и так не взыщет. Эрлик — сам сатана: не помолись ему — живо в гроб сведет». Другие же приехали просто поглазеть на кама. С братанами приполз и лупоглазый заспанный пастух Ерема:

— Хы! Страсть занятно, дяиньки!

9

Жила в селеньи старушонка старая, Федосья. Время пополам ее согнуло, идет, на клюшку упирается и низко-низко головой к земле, словно потеряла что-то, глазами шарит.

Единственная отрада в ее жизни — Ерема-пастушок, родной внучек; одна заветная дума в голове — побывать во святом Ерусалиме-граде. Еще при муже, сколько лет тому, запала эта думка. Вот как просила да молила господа:

— Приведи, господи!.. Сподоби меня, греховодницу!

Да так с тем и состарилась, а когда спину пополам переломило, тут уж не до Ерусалима-града, где уж тут!..

И чтоб утешить душу, стала старая просить владычицу:

— Богородица, владычица, помоги мне хошь во снях в Ерусалиме побывать... Хошь во снях увидеть страдания Инсусика, как его, батюшку, на пропятие вели, как крест тяжелый тащил он на своей спинушке. Матушка, владычица!

А про страданья инсусовы читал ей по складам Ерема.

И сказал ей однажды во сне голос, отчетливо так, явственно, словно отпечатал:

«Услышана молитва твоя. Наяву узришь».

С тем бабка Федосья и проснулась. И как дошло до сердца сонное видение — обробела: шутка ли самого Инсуса увидать! Страх напал на бабку, ужас: вдруг всамделе явится... Сразу обомрешь, ума рехнешься, а то и ноги вытянешь... Сама не рада бабка, что этакое чудо намолила. И стыдно ей перед богородицей, что — намоливши чудо — испугалась. А страх берет свое: вот-вот Инсус Христос покажется — карачун тогда!

Пала бабка на колени:

— Богородица, владычица!.. Уж не надо мне... Боюсь я... где тут! Осподи помилуй, осподи помилуй!..

И в великом смятеньи пошла к отцу Василию. Вечер был.

— Батюшка... вот так и так... Просила я, грешная, богородицу...

Да все ему и обсказала.

Подумал отец Василий, молвил ей:

— Вряд ли узришь, старица Федосья... От диавола это тебе. Бесовское наважденье... Возгордилась, должно быть, вознеслась, вот лукавый и внушил тебе. А ты как думала? Он, кем хочешь, может показаться... Молись!

Пуще испугалась бабка и не домой, а в чисто поле ночевать пошла, к внуку своему Ереме. И как шла полями, перелесками, все Христос мерещился ей в мыслях; идет Христос согбенный, как она, и крест на спинушке, тяжелый этакий, из кедрача крест срублен, тяжело Иисусу, шат берет...

И не знает бабка, Христос ли, дьявол ли мерещится, вспоминает бабка поповские слова, решает в сердце: дьявол.

— Осподи Христе!.. Наваждение бесовское... Сгинь, сгинь, сатана!.. Аминь — рассыпься!

И не помнит старая, как вынесли ее ноги болючие на еремин на костер.

А Ерема в это время у костра сидел, считал Ерема звезды в небе: «двадцать девять, двадцать десять», и подбрасывал Дуньке горячую картошку.

10

Закружился, запыхался кам, звучно ударил напоследок в бубен, сел. Грудь тяжело дышит, ноздри раздуваются, душно, жарко — пот с лица. И всем душно, — в юрте двадцать голов сидят, только собачонки Дуньки нехватает, оставил Ерема Дуньку в чистом поле: псы у Чалбака злые — разорвут.

Так жарко, что у жирного калмыка Бойтоса под кожей сало топится, а сам Чалбак, отдышавшись, тряхнул бубном, бросил вверх, и упал бубен к ногам его, полный снега студеного.

— Снег, снег! — дрогнула вся юрта удивленным гулом.

— Откуда это?

Опрокинул Чалбак бубен на рысью шкуру, что у ног — кучка снега белая, вся в блестках, рассыпалась, и струился от нее приятный холод.

— Снег, снег!.. Белый!

Две руки к снегу потянулись; озорная еремина рука — не верит глаз, и другая — жирного Бойтоса; вот подденет Бойтос горсть снега и разом охладит голую жирную свою грудь, от самого рожденья, пятьдесят четвертый год, немытую.

— Дай! Мне! Мне!

— Агык! — гортанно крикнул кам, и снег без следа исчез, даже мокрого места на рысьей шкуре не осталось.

— Пропал! Снег пропал!

И не успел никто опомниться, крикнул Чалбак калмычке, что со Степаном шла:

— Что тебе нужно?

— Батюшка, сильный кам, ты все знаешь, — сказала калмычка дрожащим голосом. Голова ее запрокинулась, брови поднялись, узкие глаза с трепетом уставились на кама.

— Он все знает!.. Он сильный!.. — выдохнула юрта.

— Ехала я, ехала — старый месяц еще был — из гостей ехала, арачку[1] пила в гостях, захмелела. Приехала — нет плетки. А плетка от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца ко мне пришла... Рукоятка серебряная, насечка золотая... А украл ее у меня...

— Врешь, — тихо сказал кам.

Встряхнула калмычка головой, раскосые глаза скосились пуще.

— Я думаю, украл ее старик Таптый, больше некому.

— Врешь! Зачем облыжно говоришь? — крикнул кам и, тяжко задышав, поднялся. Звякнул бубен, встрепенулись бубенцы, а побрякушки на шубе зазвенели: крутнулся кам.

«Чек-чек-чек... Агык!» — бросил к костру бубен, и в руках его вдруг плетка, со всех сил вытянул он плеткой по спине калмычку:

— На! твоя, нет? Ты, пьяная, обронила ее в логу...

Передернула калмычка плечами, поймала плетку:

— Она самая!.. Моя! — разинула рот, да так до утра и просидела.

И вся юрта удивилась, большим испугом испугалась: вдруг не было, вдруг стала плетка.

— Ой, кам!.. Какой могучий кам Чалбак!

— Не я могучий, слуги у меня — курмесы да шайтаны везде шныряют — в воде, в горах, в степи... О Эрлик, в средину сердца моего вложивший силу вещанья! Я буду поклоняться Дерущему в пропасти, демону над демонами, и его дочери Ветряной Красавице, с лицом черным, как клей, без штанов, голозадой, задницей виляющей, грудями болтающей. Помогай, Эрлик, помогай! — Последние слова сказал кам не своим голосом, будто из-под земли шел голос, из нутра. И глаза кама мало-помалу теряли земную жизнь.

Ерема давно не попадал зуб на зуб, рыжебородые братаны под рубахой кресты щупали.

— Покамлаем о больной старухе, — тихо сказал Чалбак. — Ловите чубарого коня, ведите коня сюда, разводите вольный костер на воле. Будем до утра камлать; Эрлик любит кровь — на заре красного вечера он пожирает кровавую пищу прямо ртом.

---

[1] Арачка — самогонка из молока. *(Прим. авт.)*

— Чалбак!.. Что делаешь, Чалбак?! — едва слышно прошептала жена его, и слезы горести застряли в ее черных ресницах.

Даже не взглянул Чалбак на Казанчи. Он не Чалбак, он продал душу, — он сильный кам. Да, кам!..

Так тиха была ночь в горах, что рокот Анчибала доносился и на эту высь, и слышно было: языки вольного огня на воле ворчливо облизывают тьму. У костра угревно, ярко, волхвует лукавый огонь в костре. Кругом густой сажей тьма нависла, горы утонули, исчезли, нету гор. И звезды лучами золотыми уставились в костер волшебный, ждут — не моргнувши смотрят — что станет делать страшный кам.

А кам Чалбак камлать собрался, демону служить, демона упрашивать.

И не слышит кам робкого шопота жены своей, любимой Казанчи, забыл Чалбак козлобородого попа Василия, забыл Исуса-бога, грозного Николу-бога, его занесенную десницу с огненным мечом. Все забыл.

— Чалбак!.. Что делаешь, Чалбак?!

Земного не слышит, не видит, не чувствует. Голова его за облаками, сердце в преисподней, душа сбросила тело, как дерево столетнюю кору, душа витает во всех провалищах и безднах, где-то там. Нет калмыка Чалбака, нет христианина Павла; не человек, не чорт сидит, — сидит перед костром страшный кам — раб и повелитель.

Булькают где-то там, налетают-налетают, позванивают. Шепчут откуда-то, нашептывают, пересвистываются, по-змеиному шипят. «Идите, идите, я вас жду!» — кричит, что есть силы, кам. Но не кам кричит — уста сомкнуты, и крепко смежились ресницы глаз — то душа его стонет громко во всех безднах и провалищах где-то там...

Челюсти кама сводит судорога, зевает кам. Еще раз зевает, еще раз зевает страшным дьявольским позевком — затрещали скулы.

И вся юрта принялась зевать неудержимо.

Кричит кам громогласно, тужится:

— Эй, вы, идите, идите! Шайтаны, курмесы, слуги дьявола! Иди, Патышбий, глотатель жерновов!

Но никто не слышит крика, притаились, молчаливо ждут. Ждут люди, ждут звезды, ждет перепуганный Ерема.

Только собачонка черненькая, Дунька, ничего не ждет... Сидит Дунька в чистом поле, привязанная к тыну, старательно выкусывает блох в хвосте.

Но вдруг зашептали губы кама, громче, громче, — все слышат, а не понимают, и сам Чалбак не разумеет, только сердцем чует, что говорит его язык:

— Косой, кривой, хромой... Эй, вы, дьяволы!.. Вот про-

клинаю себя и проклял... Гей, гей, сатана, Дерущий в пропасти: я верный слуга твой — кам!.. Войди в меня, эй, говорю тебе, войди! Войди...

От ногтей по пальцам, от пальцев к сердцу потекла-заструилась в жилах пламенеющая кровь. Ударило сердце, смолкло, еще ударило и ждет: вот грозный дух полонит все тело, испепелит, раздавит, изничтожит.

Как допотопный зверь, весь лохматый, большой копной сидит у костра, в камской, вверх шерстью, шубе — кам Чалбак. Вот качнулся вправо-влево и с тяжелым стоном — исступленье, испуг и радость — вдруг поднялся:

— Вошел! Вошел!.. А-гык!!

И вся юрта взвыла:

— Вошел!.. Сатана вошел в него!

И сжал кам кулаки, и всплеснул вскинутыми вверх руками.

— Бубен! Я властный! Я сильный!.. Я могущественный!..

11

Вихрем, вихрем крутится кам, воздух винтом буровит, свистит от коловращенья ветер. Бубен грохочет гулко, сечет и режет, не умолкая, тьму. Бубенцы с колокольцами звякают неистово.

— Держите кама! Держите!

Крутится кам вихрем. Огонь в костре прячет со страха свою пламенную голову, стелется к земле, и смолистый дым пугливо мчится прочь.

— Не пускайте кама к огню!.. Сгорит.

— Держите его. Держите крепче!

Крепко схватили кама две любящих руки, от костра подальше. Не видит, не слышит, не чувствует земного кам.

Лохматая шаманья шуба вся в ремнях змеиных, в железе, в ярких лентах; на ремнях, на лентах — бубенцы, погремушки, колокольчики, и еще рыбы, птицы, звери из железа. Шаманья шуба — пуд.

Встрепенулся кам — вздрогнул, зазвучал металл; крутнулся кам — пуще загремел металл; ударил кам в бубен колотушкой, да ну кричать, гукать, бесноваться — стоном стонет ночь, скрозь землю сигают бесы, а Дерущий в пропасти оторопело вбирает в лапы железные когти и неистово рычит.

— Держите кама! Сгорит... Держите крепче!

Крепко схватили кама две любящих руки:

— Чалбак, Чалбак!

Не слышит земного, не чувствует Чалбак. И никому не видать лица его: все в бисерных, железных, костяных ви-

сюльках, спускаются висюльки с рысьей шапки, как забрало, до самых губ. Но всяк присмиревший, ужаснувшийся чует: горят глаза огнем, черные искры сыплют, обжигают.

— Ге-ге-ге!.. Чек-чек!

Круче, круче вихри, сильней бьет бубен, змеистые ремни от коловращенья поднялись на воздух, свищут, и пепел от костра столбом. Дико, страшно завывает кам.

— Я вздымусь белой птицей! Это мое место, пусть порастет оно зеленой травой... С твоей кровью слился, о дьявол! Я пришел от страшного бога, и вы, шаманы, с огненными бичами, не выходите из преисподней проклинать меня... О, дьявол!..

Заткнула свои уши в больших серебряных серьгах молодая Казанчи, а слезы градом. Хворая старуха застонала, с мольбой на кама смотрит.

— Я сел на пуп земли. Я сильный, страшный. Я пришел сюда, чтоб защитить страждущих...

Поняла старая старуха, прослезилась, а болезнь пуще по суставам ходит — прямо смерть...

— Три черные тени твои, о дьявол, сообщились со мной... Требую — помоги мне!

И три раза скуковал кам кукушкой, три раза стерхом острокрылым, три раза черным вороном:

— Чек-чек-чек... Кар! Кар! Кар!

И три раза подряд взгагачил колдовской гагарой, оседлал гагару-птицу и понесся прямо в ад. Вот и престол сатаны-диавола. На два голоса запел-запричитал: с самим сатаной кам Чалбак в разговор вступил:

— Помоги мне, ты сильный.

— Нет, не помогу.

— Я продал тебе душу. Сожри в старухе хворь.

— Иди к духам, что постарше.

Встряхнул покорно бубном, приостановился кам, и в гору, в гору,—тяжко так—нет сил итти, а надо... В гору, пешком, на небо, к главному духу, — кряхтит Чалбак.

— Как надсадно вздышит... Воды бы дать.

— Эй, дайте каму воды!

Не слышит, не видит, не чувствует, вновь закрутился вихрем, и грохнул бубен бубенцами. Губы кама покрыла пена.

— Я пришел к тебе, о Великий Дух! В руке моей бич небесный, молния. Возврати мне душу чада моего. Кровавую принесу тебе жертву.

С визгом, воем ударил кам три раза в бубен и на крыльях гагары-птицы пустился с неба в обратный путь. Потом застонал и повалился, словно мертвый.

Юрта вся похолодела.

— Зашелся... Умер!.. Жив!

Подняли кама, поили водой студеной, придерживали: налилась голова, все тело его расслабло.

— А-гык! — вдруг гортанно крикнул он, весь передернулся, встряхнулся. — Прочь! Уйди-уйди! — И скрюченные руки его разодрали одежду против сердца — задыхался кам.

— Уйди! Уйди!

— Выходит... Дьявол вышел из него, — пронесся робкий шопот, словно шелест осенних трав.

Чалбак запрокинул голову и уставшим, измученным голосом запел, прикрывая глаза рукой. Он пел о том, что улетела во-свояси волшебная гагара, что провалился сквозь землю сатана, и вот он, кам, снова оживает.

— Бубен дайте, — прошептал Чалбак мертвыми губами и стал слабо постукивать заячьей лапкой в расписанный жертвенной кровью бубен, стал изгонять остатки дьявола:

— Сверху упавшие, вверх подите! Снизу пришедшие, вниз ступайте, вы, дьяволы!

Голос кама надорванный, тихий. Шумно, с хрипом дышала его грудь.

— Трубку!.. — едва слышно прошептал он. — Разденьте... умираю...

Порывисто, жадно курит кам. Руки — лед, хватается Чалбак за сердце — больно сердцу — стонет.

Сняли рысью шапку с перьями филина, с висюльками, сняли шубу. Шуба — пуд. Опустил кам голову, сидит в одной рубахе, дрожит смертной дрожью, икает — истерзанный раб и повелитель. Потный, сонный, сумасшедший, умирающий. И все были потные, сумасшедшие, изжеванные, не знали — где, на чем сидят. Вот поднял кам помутившиеся глаза, посмотрел на сидевших. И всем стало страшно, всем стало холодно — оживший мертвец глядел на них.

И были вместо глаз провалы, вместо зрачков — покрытые пеплом угли, и холодный пот грязными струями сбегал изпод его волос.

— Осподи, спаси-помилуй!

— Свят, свят, свят!..

И никто не мог рассмотреть лица его — за мертвящим взором спряталось лицо — и было у всех одно желанье: вскочить, убежать, но отнялись, окаменели ноги, и вся жизнь вытекла из тела.

— Ой! Ой! — кто-то резко прокричал.

— Богородица, матушка! — всплеснулись руки.

— Чалбак! Ой, Чалбак! Что ты?!

Качнулся, задрожал мертвец, исказилось лицо, и крупные слезы выступили на его глазах.

— У-у-ух!.. — выдохнул он из груди весь воздух, мертвый взор стал загораться, оживать, стряхнулся пепел с глаз, и угли запылали.

— Очнулся кам!.. Очнулся!

— Сволочь какая!.. Колдунище!.. — прошептали, тайно крестясь, рыжебородые братаны Брюхановы. — В огне его, анафему, надо сжечь!

Заржал конь вдали, и в другой раз заржал, и в третий.

— Вот ведут чубарого коня, — сказал Чалбак. — Принесем Страшному Эрлику жертву. На четвертый день старуха оздоровеет. Так мне вверху обещали, там...

Все пошли за камом.

Густой мрак кругом, ни зги не видно — сажа.

12

Приятен чай с малиновым вареньем, медом; вкусны пельмени с перцем, кислым уксусом. Угощаются отец Василий с Иван Петровичем, Наденька прислуживает: с террасы в кухню шмыг да шмыг, и каждый раз задерживается у зеркала: лицо румяно, смугло, черная челка барашком завита, блестит супир — батюшкин подарок.

— Ну, и хорошо у тебя тут, отец Василий! Гляди, горы-то, горы-то какие!.. А? — сказал учитель.

С террасы видны цепи гор, голубые и зеленые. На дальней вершине мягко блестит под солнцем снег.

— Вот и оставайся еще денек, переночуй.

— Пора!

— А ежели гром захватит... Убьет ведь, ха-ха-ха!

— Ну, вот еще! Ильин день, слава тебе, господи, прошел.

Иван Петрович поддел меду и капнул на чистую скатерть. Отец Василий придвинул ему стеклянное блюдце:

— Экий ты неряха! На!

— Что? Нет, я прямо в рот, попросту. Вот я и говорю. Ученые и тому подобные вольнодумцы не верят, а я верю,— перст божий всегда указует. Да как же! Помню, у нас мужик был, Ипат. Первую его жену, Дарью, огромило в Ильин день, женился на другой — и ту так же, на третьей — и та за ней. То есть удивительно! Как только Ильин день, туча зайдет — грох! — и овдовел Ипат.

— Бывает, — сказал отец Василий и закурил папироску чрез самоварную решетку от живого уголька. За ним потянулся и учитель, но вдруг метнулся прочь.

Появившаяся в дверях Наденька вся затряслась от смеха. Густо захохотал и отец Василий.

— На, закури от моей!.. Тут, брат, сноровка нужна. Обварился, что ли?

— Вот именно, — сердито сказал учитель, поглаживая лоб. — Как он прекрасно меня шпокнул!

— Батюшка, — весело, все еще во власти смеха, сказала Наденька. — Братаны Брюхановы пришли. Пущать?

Три рыжих бороды, все на одно лицо, вошли и закрестились.

— Здрасте-ка... С прошедшим праздничком!

— Ладно, — сказал батюшка. — Ну, в таком разе залазьте, Андрей с Петрованом да Филимон, хе-хе-хе! А который Андрей, который Филимон — ей-ей не могу разобрать. Хе-хе-хе! Десять лет священствую, а не могу.

— Да-а!.. — изумленно протянул учитель. — Удивительное сходство, на самом деле. Вот так чудеса.

— А сами-то вы не путаетесь, который Петрован, который Филимон, хе-хе-хе!.. — сладко закатился батюшка.

— Хы!.. Как это возможно!

— Ну, в чем же дело? Камлали?

— Всю ночь. Срамота одна! Значит, и чорта призывал, и окаянщину разную проделывал. А тут, уж перед утром-то...

— Постой-ка, постой, Петрован!..

— Я, батя, Филимон...

— Тьфу! Вот видишь. Погоди-ка, брат Филимон. Эй, Надея! Слетай живо за урядником. Мол, по нужному делу. Скажи, мол, у попа брага. А то замешкается. Ну, иди со Христом.

— Ваш Чалбак, чтоб его, всю ночь спать мне не дал, — сказал учитель. — Бубен наяривал за милую душу как...

— Неужто слыхать сюда? — в один голос спросили братаны.

— Как рукой подносит. Попутный, стало быть, ветерок дул.

Братаны крепкими зубами грызли сахар, прели, пили чай. Рыжие бороды и лохматые космы их пылали на солнце, как пожар; голубые глаза сонливо щурились.

— Уж вы, ребята, постарайтесь. За веру-то христову!.. Постойте...

— Не сумлевайся, батя!

Толковали о том, о сем, а вскоре завизжала задорным девичьим визгом Надея: — Не лапай! Ишь ты, усач! — Кто-то кашлянул по-молодецки, звякнули шпоры, из коридора на террасу выплыли бравые унтер-офицерские усы.

— Честь имею!

— Честь-то — честь, — ляскнул зубами козлобородый батя, и впалые щеки его вспыхнули. — А ты девку все-таки не трог.

— Никак нет... Это ж за ней корова погналась.

Отец Василий усиленно сопел, и громко чавкали братаны.

— Филимон! — наконец сказал священник, глядя в упор на Андрея. — Излагай! Ты, кажется, красноречивый. А господин урядник потрудится запомнить.

Филимон с Андреем враз поставили блюдца, утерли волосатые рты, прокашлялись и начали, перебивая один другого.

— Стой, погоди! Один кто-нибудь. Не могу же я... Ну, снова, — сказал урядник, крутя кривыми пальцами усищи.

Тогда Андрей, ткнув Филимона локтем в бок, пересказал все, как было там, у кама.

Священник хватался за голову, крестился:

— О боже!.. Всех новообращенных смутит. Не-ет!.. Не допущу!

Учитель, прикладывая к ошпаренному лбу ломтик сырой картошки, вторил:

— Это называется позор цивилизации... У-удивительно!

— А тут уж перед утречком, — повествовал Андрей, то пряча в глубоких провалах глаза, то выкатывая их на низкий лоб, — перед утречком калмычишки конягу быдто привели. Да. Привели, стало быть, конягу, скрутили ему веревкой морду, чтобы, значит, ни на эстолько здыху не было. А к кажинной-то ноге по аркану привязали. Вот-вот. Ну, отлично. Тут Чалбак как взлает дурноматом, чисто бес: «Агык, грит, агык!» А калмычишки поняли, да за аркан и схватились, да в разные стороны со всех-то сил дуй, не стой. Вот орда какая!..

— Ах, анафемы! Ах, нехристи!..

— Так бедного конягу на брюхо врастяжку и грохнули... Ну, и визжал коняга... Все суставы-то ему вывернули. Аж кости затрещали. Тоись, так визжал, аж жутко!.. Ерема-пастушонок как вскочит, портки поддернул, да фють!

— Вот они игрища-то бесовские!

— Не приведи господь! Одно слово — орда! А Чалбак зарычал-зарычал, выхватил нож да коня по брюху — раз! Вот ладно. Полыснул это он, скажем, коня по брюху, да рукой туда мырк! В живое брюхо-то. Да за самое-то сердце и поймался... Тут уж и нам невтерпеж стало, — плюнули, ушли.

— Вот чортова орда!

— Их сколько хошь тут, камов-то этих самых, — сказал Филимон и поперхнулся.

— А мне какое до других дело? — воскликнул отец Василий. — О других пусть начальство печется. А ведь этот — мой духовный сын.

Учитель потряс в пельмени перцу и, с благочестием на лице, сказал:

— Надо словом, а не как-нибудь. Убеждением... Инквизицию по боку. Лаской надо!

Глаза священника забегали, из узких стали круглыми...

— Что? А ты не лезь! Пробовано... И словом пробовано.

— Эвот чем надо! Вот.. — помотал в воздухе мохнатым здоровенным кулаком Брюханов Филимон.

— Веру нашу марать не след. Это даже в своде законов есть... — важно сказал урядник и, громко рыгнув, отстегнул на белом кителе две пуговки. — Батюшка, объясните, ради бога, что обозначает синклит и, во-вторых, — святейший синод? Какая в них та и другая разница? Неотвязная мысль во мне...

— Синклит? — переспросил священник и замялся. — Синклит, это... Ну, как бы тебе сказать...

— Или вот! супостат и ипостась? Ведь это два обстоятельства особые?

— Без сомнения. Никакого сходства, — облегченно выпалил священник. — Супостат, это...

— Ваше благословенье, — перебил его урядник. — А как же насчет браги?.. Ваша Надька...

— Ага, — возликовал отец Василий. — Изрядно хорошо. Эй, Надея!

13

— Ну, айда скорее! Нечего тут... Раз начальство требовает, и сказ весь! — командовали братаны Брюхановы. — Десятский, чего курятник-то разинул? Волоки его!

— Не торопись, пожалуйста, — спокойно сказал Чалбак. — Куда спешишь? Не уйду.

— Забирай всю лопатину чортову... Всю сбрую. И бубен евоный. Все как есть.

Садилось солнце. В ущельях сгущался сумрак, долины погружались в тень от гор, только белоснежные далекие вершины розовели. Где-то гулко, зычно прорычал дикий козел. Шли гурьбой. Впереди с ружьями — братаны, с боков и сзади — понятые. Худое, скуластое, безбородое лицо Чалбака спокойно — смазанная жиром медь. Лишь глаза блестят гневом, и когда доносится сзади плач Казанчи, сердце кама перевертывается.

— Не надо плакать... Худо плакать! — кричит Чалбак по-калмыцки.

— Я боюсь, Чалбак... Они злые... Ружья у них.

Чалбак косится на крестьян, косится на Ерему. Ерема — карапузик — большая шапка из тряпок и кудели лезет на глаза, уши пополам согнулись, чужие мужичьи сапоги огромные — весь в них ушел, по самое сиденье, — через плечо

кнутище — пугало коров — на целую версту волочится сзади, ползет змеей. Ерема улыбается, подергивает носом:

— Хы!.. А чего ж ему, дяиньки, будет-та?

Кам в шубе, в шапке с бубном. Все в рубахах: воздух насыщен испариной, теплом. Каму жарко, трудно: шуба — пуд.

— Иди, — подгоняют кама злые голоса.

— Иду...

Тропинка подошла к обрыву, отчаянно скакнула на сажень вниз и вьется дальше, узкая, над самой кручей, по карнизу.

Кам вдруг остановился. Его толкнули.

— Стой, — сказал он спокойно и посмотрел с обрыва вдаль. Внизу село. Игрушечная церковь.

— Знаю... Туда ведете... Кого ведете? — Кам взглянул в упор на Филимона. Тот хотел что-то сказать, смолчал, под взглядом съежился: глаза кама — огонь, и брови — сажа.

Ерема подполз к краю пропасти, сбил шапку на затылок, глянул вниз:

— Ух ты! — и скорей на брюхе прочь.

Кам у самого обрыва стоял. Рядом с ним—братаны. Привычны братаны к кручам, но и у них, однако, замирало сердце, отпрянули назад.

— Эй, кто я? — обернулся, крикнул кам. — Кто Чалбак? Простой калмык? Бедный калмык? Бить меня станешь? Бить?! — голос резче, резче, задрожало лицо, и глаза прищурились на братьев.— Ну, кто, кто я? Кто?— топал о камни сапогами, кричал Чалбак, вот-вот заплачет. И не голосом кричал — вещей птицей гукал. А бляхи на шаманской шубе звякали.

Братаны растерялись.

Но взял над собою верх Чалбак. Губы закусил, застонал от боли и спокойно так, тихо:

— Ведите... Делайте, что задумали. Знаю, чую, вижу...— спокойно говорил Чалбак, но горячее дыхание шумно. — Кругом курмесы, в пропасти шайтаны, под седьмой землей Эрлик... Махну рукой — все будет по-моему. Мне только жаль вас.

Пошли. Тропинка сумасшедше скачет то вверх, то вниз, с уступа на уступ. Иди да не плошай — убьешься.

— Я все могу. Вот обернулся бы медведем, да вниз головами всех вас со скалы, как дохлых бурундуков. Я обернулся бы птицей с медным крючковатым клювом и выпил бы из сердца вашу кровь. Пожалел вас...

— Иди, орда! Мы хрещеные. Не больно-то... Ишь ты!.. А пулю хочешь?! — потряс ружьем старший, Петрован.

— Я иду, — сказал спокойно Чалбак. — Делайте, что задумали. Иду.

Лицо Еремы стало серьезно, испуганно. Он сопел и шел в хвосте за всеми, а на опасных крутых местах полз на четвереньках. Шептал, крестился:

— Воистинный воскресь, господи помилуй...

И все смотрел на кама: ежели оборотится кам медведем, Ерема сигнет на самую вершину, да за камни, да под елку, в лисью нору...

В отдаленьи Казанчи плелась. Вот притаилась в камне малая озеринка дождевой воды. Заглянула в нее Казанчи, как в зеркало, испугалась: так вот она какая стала! Где румянец щек, где блеск в глазах?

«Ой, Чалбак!.. Что ты сделал с Казанчи?!»

Возле озеринки малой, на припеке, пахучий розовый цветок растет. Сорвала цветок, поцеловала, заплакала. Зачем сорвала, зачем заплакала — не знает.

— Эй, тетынька!—кричит Ерема и чрез силу улыбается.— Не плачь, иди скорей!

Идет дальше, неживая. Цветок в руке.

— Не отставай, тетынька!

14

Село, долины, весь мир во тьме. Ни звезд, ни месяца. Мелкий теплый дождь. На берегу, у церкви, большой костер. Много народу, все село, даже старая Федосья тут.

— Ведут, кажется, — сказал урядник, плотней закутываясь в дождевик.

— Ведут, — ответил отец Василий под парусиновым зонтом.

Хлюпали по липкой грязи ноги, шел в шаманьей шубе кам Чалбак. За ним толпа — калмыки, теленгиты, русские. Шумно в село вошли, собаки тревожный лай подняли, крики, ругань, калитки скорготали, усиливался дождь.

В такой поздний час обычно полсела готовится ко сну, полсела крепко спит, а вот теперь взбудоражился народ, словно упал в сонное болото камень. И этот камень — кам.

Два мужика, хромой да кособокий, подхватили кама под руки. Опустил кам голову, сугорбился. Двое на его согнутой спине огромный бубен держат, третий в бубен что есть силы гулкой колотушкой бьет, а сам гогочет. Гогочет толпа, гикает:

— Дуй пуще!

— Не колотушкой надо, а колом!

— Тащи к костру: поп там!

Отродясь бабка Федосья не видала камов, трясет головой со страху, смотрит на согнутую спину кама, на звонкий бубен, прислушивается к гремучим бубенцам, шамкает:

— А-а, окаянная твоя душа!.. Неумытик!..

Ребятишки — мелюзга и чуть постарше — месят босыми ногами грязь, присвистывают. Один в Чалбака камнем запустил.

— Дай ему по шее!

— Бей его!

Ухнул, припрыгнул, ударил кама саморусский кулак по голове. Еще налетел мужик, еще ударил.

— Бей!

— Пусти-ка, пусти! — шамкает косматая Федосья, крутит кулачонками, из беззубого рта злючая слюна летит.

Молчит кам, терпит. Только от каждого удара ниже клонит голову.

Собаки надрывно лают, сердятся, подбежит иная, рванет рывком косматую шаманью шубу.

Тьма кругом и злоба. Дождь не дождь — пьяная вода поливает сверху, опьянели люди, в один голос с псами тявкают, готовы каму горло перегрызть.

— Бей!

— Погоди, постой! — орут братаны. — Дай до попа довесть.

И как подошли к костру, выпрямился кам, взглянул на священника, сказал раздельно:

— Батюшка, меня бьют. Ты бить не вели.

— А-а, вот ты как богу служишь?! — воскликнул гневно отец Василий и потряс зонтом.

— Я в бога верю.

— Веришь?! Православные! Слышите? Он верит!!

— Да, верю. А камлать не могу бросить.

— Ах, не можешь? Чорту служишь?

— Чорту и есть... Чорту, чорту служит! — прокатилось по русской по толпе, что воинственно у костра пережидала.

— Я верю в бога. Я Павел, крещеный. Как брошу камланье? Не бросить. Шайтан душит меня. Эрлик грозится. Курмесы спать не дают... Их много... Каждую ночь мучат меня. Работы себе требуют. Сам не рад. Тяжело мне, батюшка. Голова моя горит, сердце плачет. Пожалеть надо.

— Ты всех моих духовных чад мутишь. Не сметь! В ад тебя! В неугасимый огонь! Грешник ты, отверженец!

— Да, я грешный... Верно. Сам грешу, сам отвечу богу. Не приказывай бить меня. Пусти в горы.

И с криком бросилась в ноги отцу Василью Казанчи:

— Не приказывай бить его, пусти в горы! Окропи святой водой! Бачка, бачка! Пожалей!

— Не приказывай бить его, пусти! Сам за себя ответит,— прокатилось по калмыцкой по толпе, что робко в стороне стояла.

— В тюрьму! — грянул урядник, и два свирепых кулака вынырнули из-под его накидки. — В тюрьму тебя, негодяй! В тюрьму! На поселенье!..

— За что меня в тюрьму?

— Он никому зла не делает, болезни прогоняет, все узнать может, — пугливо, крадучись, кричали инородцы.

— Встань, Катерина, — сказал священник. — В тебе нет вины.

Дождь как из ведра хлынул, резкий, торопливый, сквозь зонт пробивает, холодной пылью обдает холодное поповское лицо.

— Вот поручаю братьям Брюхановым: бубен богомерзкий сжечь, колотушку сжечь! Шапку, шубу сжечь! Все в костер, все! И ты больше не кам. Слышишь?

— В тюрьму!! — прокричали кулаки и глотки.

— И чтоб в церковь каждую службу! Слышишь?!

И пошлепали две пары калош глубоких в поповский двор. Долго там огонек мутнел.

15

— Будешь, чортово отродье, будешь?! — свирепо вскричали братаны Брюхановы. — Его надо по всему селу, братцы.

И вновь повели Чалбака по темным улицам и закоулкам. Грязь, дождь. Разит сивухой. Ругань, матерщина, свист. Бьет, грохочет бубен, грохочут бубенцы, собаки сумасшедший лай подняли, светопреставленье. Тьма.

— Чтоб все слышали! Чтоб помнили!..

Кам тяжело дышит, и душа его взбудоражена. Идет или нейдет — не знает.

— Бей!

Кровь пошла из носа.

— Бей чорта!

Искры посыпались из глаз. Кам остановился.

— Го-го-го-го!.. Бей!

И словно холодный огонь коснулся его сердца, словно огненная льдина мазнула по спине, съежился кам, вздохнул, провел ладонью по лицу: кровь.

— Я смирно жил в горах... Кому худо какое я сделал? Не трогал вас. За что убиваете меня?

Заплакал.

И раздался из тьмы плачущий женский голос:

— Чалбак! Чалбак!.. Убьют тебя... Чалбак!

И плакал, сморкался громко Ерема-пастушок.

Инородцы тоже плач подняли, просили жалобными голосами:

— Отпустите... Больно ведь... Человек ведь он... Грех!

— Плачет, холера! Еще он плачет!! А вот как по-нашему! — братаны враз сшибли кама с ног. — Лупи его, вот так! Вот так! Бу-у-удешь!! Рраз!!

Кам тихо прошептал братанам Брюхановым:

— Вы трое пуще всех били... Вползиме у одного из вас родится чудо: родится, сдохнет. Тогда вспомянете меня.

— Что он сказал?.. Кто слышал? Что?

— Родится чудо какое-то... Вот чорт!

Мазал свет костра по бородам, по лицам. Поднялся кам, но плохо держат ноги, лицо в крови, глаза заплыли — для кама сплошная тьма.

— Живуч, собака! У-у, ты! Дай-ка камень. Рраз!!

Срубленным деревом повалился кам на землю и, полумертвый, прохрипел, густо сплевывая кровь:

— В доме у вас будет худо... Смерть...

И громко крикнул кам Чалбак последним страшным криком — мстяще, угрожающе:

— Смерть!

Показалось всем тогда: молния блеснула, ударил гром, и бубен в костре взбрякал:

«Смерть!»

Опрометью, врассыпную кинулся народ:

— Убили, убили!..

Хлюпали по липкой грязи ноги, дождь лил как из ведра, и тьма качалась:

«Смерть!»

— Убили... Кама убили!.. Кама!

Только братаны Брюхановы, темные братья во Христе, мужественно остались, чтобы завершить задуманное во славу и укрепление веры русской.

— Господи, благослови! — и, осенив себя крестом, братаны поволокли хрипевшего Чалбака за ноги к обрыву в речку.

— С нами бог!

16

Ночное время проходило. Дождь не унимался. Рождалась заря в восточной стороне, свет плыл по горам, по долам, по селу. Тихо. Спят коровы и люди, птицы, псы. Все мертво.

Только Казанчи не спит. Согнувшись, взмокшая, с растрепанными черными косами сидит на краю обрыва, в руках

розовый цветок. Целует Казанчи цветок вчерашний, шепчет:

— Чалбак... Где же ты? Ну, покажись...

И смотрит вниз, в бушующие волны Анчибала.

17

Старая бабушка Федосья до самого утра не смыкала глаз. Ерема наплакался и в стадо не пошел, спит с собачонкой Дунькой как убитый.

А бабка зевает под дерюгой, чешется и шепчет все, шепчет, не переставая:

— Богородица, владычица... Дай мне хошь на последях иисусовы страданья поглядеть... Как его на пропятье вели... Помирать уж мне скоро.

И был поутру старухе сон. Не сон, а кутерьма какая-то: двигалось все, шипело, махали кулаки, хвосты, летели табунами птицы, и, всхрапывая, бешеные кони проносились вдаль. И сквозь всю эту сумятицу слышит старуха голос:

«Что просишь — исполнилось».— Когда же это?—«Ночью, у костра».

С тем старуха и проснулась.

На улице жутко было. Колокол к обедне звал. И резко, ясно представилось старухе все вчерашнее: избитый, изруганный идет Чалбак, на согнутой спине бубен тащит, еле передвигается вперед, из носа кровь ручьем, разбиты зубы.

Закрыла Федосья лицо руками да к образу:

— Матушка, владычица!..

И прошептал голос въяве:

«Что просишь — исполнилось вчера».

— Тьфу, наваждение! — плюнула старуха. — Сгинь!.. Тьфу ты!..

Да скорей к отцу Василью.

Идет, вдвое перегнувшись, шарит полузрячим взглядом землю и видит, да не глазами, сердцем отворившимся: ведут Христа на распятие — измученный, избитый, крест на спинушке — и не Исус это, а кам Чалбак — все лицо кровью залито.

Туда, сюда бабка взглядом — нет, видит. Ввалившийся рот молитву шепчет, костяная рука крестится, — а виденица с ней! Защурилась бабка крепко-накрепко — видит: ведут Христа на мученье, и не Христос это, а кам Чалбак.

И словно солнце осветило душу: вдруг стало ясно бабке и тепло:

— Господи!

Сморщилось лицо, из костяных рук клюшка выпала:

— Господи, помяни его душеньку! Господи, прости мне... — и согнулись сами собой древние ноги, и столетний лоб прильнул к земле.

18

С этой проклятой ночи худо в селе Глызети сделалось и пусто: словно налетел вихрь, опрокинул все, угасил огонь жизни, оборвал цветы, — уныло стало.

Случилось что-то недоброе. Черная сила, что ли, против людей пошла? То собаки всю ночь воют, то в горах невидимый бубен бьет.

Дивятся мужики и бабы:

— Ведь сожгли, кажись. И каму полный карачун вышел... И других камов на десятки верст нету... Откуда бубен? Ока-азия!

А бубен бьет да бьет. Ночи темные, осенние. Жутко. То на одной, то на другой горе: «бум-бум-брряк!..»

Даже в Волчихе, где Иван Петрович жил, и там иным часом слышались зловещие удары бубна: бубен ночью по селу ходил.

Иван Петрович человек благочестивый, рассудительный. Позадержался как-то после вечерни в церкви, подошел к образу целителя Пантелеймона, что в уголку висел, да тихим манером, с оглядкой, тайно, взял и помакнул в лампадку ружейный из пакли пыж. А дома зарядил ружье картечью, да сверху пыж-то освященный и задул, благословясь:

— Теперь крепко будет. Его простой пулей не проймешь. — И повесил ружье над самой кроватью.

— Сказывают, по речке ходит, — отозвалась жена, дьяконова дочь, и перекрестилась. — Тело свое разыскивает, говорят... Хозяина...

— Пусть-ка попробует сюда притти... Да я ему!.. — храбрился природный трус Иван Петрович и, чтоб побахвалиться, пошел вечером в гости к писарю.

Да там и засиделся до самых петухов. Чай был с выпивкой, с закуской, страшные разговоры были: все о том же, о каме, о проклятом бубне.

— Да я его!.. Только бы встрелся... Я б ему!.. — бахвалился пьяненький Иван Петрович. — Трах! — и всмятку...

Когда возвращался домой прогонами, ночь была лунная, голубая, ядреная, ночь вся звенела.

Вдруг слышит Иван Петрович: глухо, тихо бухнул бубен вдалеке. Иван Петрович ускорил шаг; круглое, красное лицо его побагровело; черные, сросшиеся брови вразлет пошли.

Бубен ближе, ближе.

— Батюшки мои! Сюда...

Сорвал нательный крест, очертил им на дороге широкий круг, сел за черту, в круг завороженный:

— Бог в черте, чорт за чертой!.. — ждет, трясется, во все глаза глядит.

Все ближе бубен, близко, к прогону, к кругу: «бум-бум-бум!.. Бум-бум!» — и словно с разбегу в стену — в черту уперся:

«Дррр-рох!»

— Святии вси! — взвыл Иван Петрович, да на карачках из заколдованного круга вон.

И путем не помнит, как хмельные ноги его к дому поднесли. А дома ни гу-гу, молчок. Только и сказал жене:

— Буду с ружьем ходить... Пыж святым маслом смазан... Из боговой лампадки... Чуешь? Трах! — и всмятку.

— Господи! Да почему же ты весь в грязи, как свинья худая?

Иван Петрович ни гу-гу.

19

Много кой-чего в народе толковали: будто в прошлую субботу на мельнице бубен брякал, а к старосте, дяде Финогену, в печную трубу голос кто-то подавал; вот еще две лошади в озере утопли, будто бы чалбаковы шайтаны туда загнали их.

Еще сказывал какой-то обормот-бродяга, будто встретил в лесу старушонку потрясучую, с четверговой свечой старуха землю роет. «Ты что тут шаришься?» — «Чалбаковы, мол, потроха ищу... На кладбище тащить надо, в могилу. Превечный ему спокой». Ну, известное дело, бабка Федосья, больше некому. Так народ и порешил.

И верно. Все время старуха по селу мотается. Идет, перегнувшись вдвое, крестится, а сама шепчет, шамкает: «Челбакушка, батюшка. Грешница я, грешница!» Видно, покачнулась в уме своем Федосья.

И еще слух шел про отца Василья: будто с той ночи проклятущей шибко пить стал, во хмелю ругал черноглазую Надею, а та черную чолку пуще раскуделила, грозится: «Меня даже сам урядник на чашку щиколату приглашал!»

Всякое плели в народе.

А вот Брюхановым братанам, тем действительно, должно быть, жизнь не в жизнь. Осунулись, обвисли, только бороды торчат. Оно правда, что сбросить полумертвого человека в воду — штука, ой! Ну, что ж, мирское дело, давным-давно все мохом поросло, даже сам отец Василий поучал: «Суд на-

рода — суд божий», и другие прочие слова. А вот братанам тяжко. Старший, Петр, в лавке торговал, он пожертвовал священнику на рясу, а Надее — на кофточку кумачу. Середний, Андрей, добрую пасеку имел, на боговы свечки обещался воску пуд. А младший, Филимон, дал обещанье отправиться с весны со сбором на украшенье дома божьего. Что ж, правильно, самые душеполезные дела. Жить бы да жить, ан нет!.. Видно, черная чалбакова душа покою братанам не дает.

— Плюньте, чего вы, — говорили им крещеные.

— Мы что ж... Мы ничего... — хмуро гукали братаны. А больше все молчанкой.

В ночное же время часто собирались братаны вместе, к старшему. И все о том же, все о том же толковали, мрачные — о страшных чалбаковых словах:

«Вползиме родится у вас чудо. Тогда вспомянете меня».

20

Вот и зима пришла с морозами, с пуховым белым снегом. Задумчиво стояли побелевшие великаны-горы, и только крутые каменные груди их были попрежнему серы, желты, красны. Да щетки леса зеленели то здесь, то там.

Умолкли, уснули водопады, затихла Анчибал-река, перестали дышать долины духмяным запахом, и не слышно звонких птичьих голосов.

Еремин кнут — ужом свернулся, валяется у бабки на печи, а сам Ерема с обозом ушел — определился к ямщикам в подручные — повез в Монголию купеческий товар. Идет теперь, шагает по нагорным извилистым тропам — Чуйский тракт — и неугомонная Дунька с ним. На каждой ночевке, в какой-нибудь деревушке малой, чавкая за чаем пшеничные сухари, что бабушка Федосья в путь дала, заводит Ерема разговор:

— А вот у нас, значит, какое дело вышло... Был у нас кам, в горах жил, под самым белком, где снег. Ох, и страшенный кам был, потому што...

Так и катилась про страшного Чалбака слава скрозь все леса и дебри вплоть до монгольского Кобдо-города, до Улясутая.

Возвратился домой Ерема после рождества, возвратилась с ним и Дунька. Прикултыхала Дунька домой с изъянцем, на трех лапах, а четвертой лапой на какой-то заимке угодила Дунька в лисий капкан — блудня была — так без лапы и осталась.

Ерема горько плакал, словно последний дурак ревел:

— Вот кабы Чалбак был жив... Вдарил бы в бубен свой — секунд в секунд лапа у Дуньки выросла бы.

Но вскоре такое случилось, что Ерема и про Дуньку позабыл, да не один Ерема, а все село, вся округа ахнула.

Раннее утро. Голубел рассвет. Звезда догорала на востоке. В обширной филимоновой избе ярко топилась печь, старуха Секлетинья житные блины пекла, сам Филимон в красном углу богу молился, а толстобокая Марфуша, дочь его, круто заплетала перед зеркальцем густые косы.

Вдруг встряхнулась изба от пронзительного крика, вихрем ворвалась в избу тетка Дарья, сама хозяйка:

— Филимон! Мамынька!.. Пропали наши головушки!.. О-ей-ей!

Обомлело сердце Филимона, и кудластая его бородища враз встопорщилась.

— Идите-ка скорей!.. Чудо-то!.. Вот оно чудо-то где доспелось! Ой-ей!!

Не помнит Филимон, как ногами в валенки утрафил, да без шапки, в одной рубахе на мороз, за бабой. А сзади бабка Секлетинья, а за ней Марфуша, а за Марфушей черный кот.

— Чудо-то какое! Эвот он, окаянный, эвот!..

— Тьфу! — плюнула бабка Секлетинья.

А Марфуша взгайкала во весь двор да за бабкин сарафан скорей, словно пятилетняя девчонка.

— За попом надо, за урядником.

— Да ты, чорт, сдурела?!

— Страсти-то какие!.. Страсти-то!!

— Нож ему в горло!

Фонарь дрыгал-покачивался в оторопелой дарьиной руке, слабый свет елозил по парным кучам навоза, по рогастой Красуле, по овцам. Облизывала Красуля своего новорожденного двухголового теленка, взмыкивала каким-то диким тревожным мычаньем, и слезящиеся глаза ее вместо живых и матерински-радостных были печальны, тупы.

Весь унавоженный двор наполнился оханьем и причитаньем. В калитки, в ворота, через прясла валил народ, все свои, брюхановские. Только Ерема-пастушонок посторонний, учухал пастушьим чутьем своим, — тут как тут. Да недолго Ерема дивился: разинул рот, выпучил глаза на невиданного страшного урода и тихомолком — марш домой.

А Красуля мычала и мычала; бились в углу, блеяли овцы; лошади бросили хрумкать овес, похрапывали и косились на незваную толпу. Скакали от фонаря по навозу тени, как души заклятых курмесов.

— Шестиногий!..

Теленок нетвердо стоял на шести своих ногах, и четыре глаза его были мутны. Вот потянулся к вымени, два языка высунул, но Красуля откачнулась, хрипло взмыкнула, чуть не поддела урода на рога.

— Как же быть-то? А? — уныло сказал старший, Петр.

— А чего такое? — звонким голосом вскричала разбитная Варвара, жена его. — Взять ружье, да стрелить... А еще мужики! Мертвого калмычишки испугались. Кол ему в душу, вот что!

— Ой, Варвара!.. Не ошибись, девка.

— А что он, татарская лопатка, хрещеным может сделать-то? Тьфу!

— Замолчи, сорока!

Еще солнце не взнялось из-за хребта, а все село уже знало про урода. До полудня Ерема успел двадцать верст околесить: много русских заимок, калмыцких юрт облетел; не пивши, не евши, в морозный день потом изошел; Дунька култыхать за ним устала, начала сердито на Ерему взгамкывать.

А Ерема на каждой заимке, знай, благовествует:

— Чудо, братцы-хозяевы!.. Вот так чудо, потому што...

По улусам, по юртам узнали инородцы, вспомнили слова Чалбака, изумились.

— Ой, ой, кудо есть!.. Кудо большой будет... Мало-мало верно толковал Чалбак. Ой-ой!

21

К вечеру Иван Петрович прикатил.

Держали совет у священника. На совете урядник был и Брюхановы братаны.

— Удивительно, — сказал священник, — нечто небывалое.

— Вот именно, — подхватил Иван Петрович. — Хорошо бы осмотреть.

— Надо понятых. Произвести дознание и протокол,— постановил твердым голосом урядник и окинул строгим взглядом опечаленных братанов.

— Что ж... мы ни при чем... Работайте, что по закону... на все согласны.

— А теленка удавить, — сказал урядник и поиграл брелком-башмачком.

— Странно рассуждаете, — возразил учитель, ухмыляясь. — Как же удавить, ежели у теленка пара голов?

— Тогда огнестрельным оружием... — поправился урядник, и щеки его вспыхнули. — Например, из казенного револьвера.

— Все это ерунда, — досадливо отмахнулся священник. — Надо иконы поднять, вот что. Это неспроста все... Это кам накликал на вас чудо-то... его закваска!

— Его, его! — враз вскричали братаны. — Сделайте такую милость, батюшка!

— А теленка убить и закопать.

— А корову? — уставился урядник на отца Василья и выжидательно постукал каблуком в пол.

Священник недолюбливал урядника, насмешливо сказал:

— А корову приобщить к делу.

— Правильно, хе-хе!.. — улыбнулся учитель, аппетитно взглянув на румяную Надею, тащившую кипящий самовар. — За хвост, значит, припечатать, входящий-исходящий и все такое... Именно!

— Прошу без обиняков! — обиделся урядник.

Старший, Петр Брюханов, осмелился, сказал:

— Позвольте осмотреть... Перед чаем-то, а? Тут недалечко. Попутно пивка захватим... Да у меня можно и почаевать. Пирог с рыбиной есть с хорошей... Ужь не оставьте, ради всех святых...

На улице пурга была. Крутила вьюга. Облаком кружился влажный снег.

— Этакая непогодь ударила.

Поставили кибитками пушистые воротники, идут. Сугробы. Сумрак. В избах сквозь вьюгу мутно светятся огни. Встречный ветер валит с ног. Шли, нагнувшись вперед, резали головами бурю. Снег больно хлестал в лицо.

— Стойте! — крикнул Иван Петрович, и все, хватаясь друг за друга, остановились. — Слышите?

Вместе с воем вьюги звякнуло вдали, зарокотало.

Братаны засопели и, сдернув ушастые шапки, как один, перекрестились.

— Я ничего не слышу.

— И я... — сказали священник и урядник.

— Слышите?.. Чу!

— Слышу, — сказал священник и от ветра хрипло закашлялся. — Это бубен. Откуда же?

А бубен ближе, громче.

— Сюда идет.

— Я ничего не слышу... Где это? — прошептал урядник.

С треском хлопнули ворота, залилась собака, за ней другая, третья. Ветер мчал-крутил вдоль села дикой пляской, и вместе с снеговыми вихрями, кружа и завывая в их игре, приближались гулкие раскаты бубна.

— Сюда идет. Близко!

— Православные, что же это?

И уж некогда раздумывать, еще минута — стопчет. Вот

он — бум-бум-бум! бум-бум-бум! — прямо на них прет — налезает.

— Заклинаю тебя богом живым! — надсадисто закричал священник, выкинул вперед обе руки и попятился.

А бубен рядом.

— Ай!..

Оглушительно бьет-грохочет, бубенцы звоном звенят, собачий лай выогу кроет.

— Сгинь! Сгинь!.. Именем божиим! — и падая и вскакивая, шарахнулся священник прочь. — Стойте, остановитесь!

Но никого возле не было, все потонуло, сгибло в сумасшедшей мутной мгле.

22

На другой день поутру двухголовое чудо сдохло.

Одни говорили, что матка на рога поддела, другие — что жеребец копытом захлеснул.

Только Ерема, сидя на печи, свое молол. Его со вчерашней ночи била лихоманка. Большие глаза горят. Волосы торчком, нечесаны. Мордочка худая, словно у лисенка, острая. К бабке Федосье народу изрядно приходило: то баданьего настою призанять, то капельку богова масла ребенчишку грыжу смазать, то чортов палец поскоблить — бабка в горах нашла — дюже славно от порчи помогает.

Сидит Ерема на печи, таращится на приходящих. Вот высокий черномазый мужик пришел. Поприветствовал его Ерема и стал речь держать, чуть заикаясь:

— А меня, дядя Тихон, вчерашней ночью было шайтаны задавили. Вот те хрест! Шел я с гармошкой от Ваньши Косоручки, потому што... Он гармонь ладил мне... Ну, значит, иду. А метелица — страсть! Я как вдарю в гармонь на всех переборах враз, Дунька как взвоет дурноматом... А шайтаны-то шасть на меня всей кучей потому што... Четыре, либо три, в шубах. Огромадные, лохматые, что твои ведмеди... Вот те хрест!.. Я потому што прочь. Шайтаны за мной. Я, обнаковенно, чебурах в сугроб мордой, да ну орать: «Ай! Ай!» Да ну креститься...

— Врешь, чертенок!

— Вот подохнуть, дядя Тихон, не вру! Ну, тут вскочил я... Глядь: один только шайтан остался, да и тот стрекача задает, лопочет что-то, будто сыч. А рядом с ним филимоновский-то выродок скок по сугробу, скок... Вот те хрест!.. О двух башках, о сорока ногах, а что хвостов, так и не вымолвить! Вот те хрест!.. «Ммее... — по-телячьи, — ммее...» Тут мы с Дунькой ну бежать, да ну бежать!..

Дядя Тихон улыбался, грозил Ереме пальцем. Ерема засопел еще больше, вытаращил глаза, оттопырил губы:

— Экой ты дурак какой!.. Не веришь?.. — И закрылся с головой дерюгой.

23

Через неделю вечерней порой вновь бубен бил. Погодье задалось хорошее. Звезды были. Тишина. И средь тишины вдруг накатилось. Сначала исподволь, чуть-чуть, потом покрепче, мимо брюхановских домов:

«Бум-бум-бум!.. бряк-бряк!»

Да в прогон, по переулку, тише, тише, так и скрылся.

Кто слышал, кто не слышал.

И слышавшие — в лице белели, менялась кровь в лице.

Слышат, а не видят. Идет, грохочет невидимка-бубен. Разевают рты, крестятся, прочь бегут.

— Неладно у нас, братцы... Надо иконы подымать.

Ночью собаки выли. Сказывают, выли они на том проклятом обрыве у реки. Выли-выли, да грызню подняли. Собаки ли? — вот в чем дело. Скорей всего — шайтаны, шиликуны, курмесы.

Выйдут крещеные, послушают:

— Беда! Отродясь такого не случалось.

А поутру пономарь Викентий в колокол звонил. Редко-редко. Дернет за веревку, да ждет, словно постом великим.

Печально благовестил колокол, нес унылую весть по селу и по всем местам окрестным, куда достигал медно-гулкий звон, будто звал, приглашал, выговаривал:

«Приходи-и-и-те-е-е!.. Хорони-и-и-те-е-е!»

Началось со старшего, с Петра, и с его жены Варвары. Как-то сразу слегли они, в одночасье. Жар палил, озноб, пот холодный, и снова жар, неутолимый жар.

— Квасу! Квасу!

Жадно пили холодный квас, гоготали звериным гоготаньем:

— Душа горит... Еще!

И сразу в пропасть, в тьму вечную.

Солнце в этот унылый день поднялось поздно. Над увалами и хребтами, где встать ему, долго желтый туман держался, застилал туман высь небесную и укрытые снегом склоны гор. И из желтой пелены его, словно раздвинув парчу погребальную, показалось, наконец, холодное, нерадостное — как свеча в изголовьях мертвеца.

Уныло шагал народ из церкви на погост, качались мерно два белых гроба — последний путь земной.

Возле обрыва дорога шла, возле того самого, страшного...

Ерема глянул вниз... Анчибал полынью прососал. Сердито в полынье вода кипела, черная, как деготь. Злился Анчибал-река.

Пели недружно, плохо. Голос отца Василья дребезжал и обрывался.

Земля промерзла сильно. Двойная могила неглубокая. Над могилой плач большой. Но горше всех плакали Филимон с Андреем. Не родных оплакивали братья — участь. Видели братья свою участь впереди, свой черед. Плакали.

Пономарь Викентий все еще на колокольне:

«Приходи-и-и-те-е-е... Хорони-и-те-е-е!..»

24

Не колыхнется огонек в лампадке, словно выкован из золота червонного. Золотом крыта святая икона спасителя. Из-за иконы верба. Золотится на вербе прошлогодний пушок. Маслом пахнет, ладаном.

Тихий сумрак. От печи жар идет. Кот на печи трет лапой за ухом. Щурится — прицеливает глазом на ползущего по печке таракана.

Распростертая фигура на полу. Ряса разметалась черным. Скупо блестит смазной каблук.

Фигура подымается, крестится, вздыхает, опять в землю. И тень крестится, вздыхает, опять в землю. Вздыхает тень.

Шепчет отец Василий молитву. Но слова сухие, как песок, не от сердца. Поэтому мятется сердце, облегченья нет. Думается дума. Кто посеял ее, чья рука?

— Из Анчибала в реку, из реки в речищу, из речищи в море. Где найдешь? Невозможно. А надо бы земле предать. Все-таки крещеный. Душа его рыщет по земле, ищет, кого поглотити... Боже, боже!..

Надея спать легла. Мягко крадется к Надее кот. Заберется кот к надеиному сердцу, замурлычет. Тепло, угревно у девичьего сердца. Курлы-мурлы.

А невидимое веретено крутит-дрыгочет, перебрасывает нитку через дома, через крыши, да прямо в филимонову трубу печную — скок! Оборвалась нитка-невидимка, да по бороде, да к Филимону в сердце... Чья рука веретено пустила?

Стоит Филимон перед старинным складнем дедовским, бьет усердные поклоны и точь-в-точь теми же словами, теми же мыслями, что и отец Василий:

— Где найдешь? А надо бы... Поди, давно уже в море-окиян уволокло. Господи, прости окаянство наше!.. Помяни его душеньку во царствии твоем.

И десять пальцев мозолистых упираются растопыркой в пол, крепко стучит о половицу покаянный лоб, рыжая борода дрожит.

А сердце в широкой груди мужичьей маленькое такое стало, несчастненькое такое, заячье — с самим богом рабский торг ведет:

— Ежели смилуешься, ежели не попустишь, господи, хрещеной душе загинуть — по самый гроб жизни работник твой... тоись насчет повсеместного сбору на божий храм... Отведи напасть!

Тихо в просторной избе. Капелька по капельке булькает вода в лохань. Да старая бабка Секлетинья мается в кути: ох да ох! Занемогла старуха, вечор соборовали маслом. Крестится Филимон. Чует Филимон участь свою. За плечами стоит участь, караулит Филимона.

— Господи, отведи напасть!.. Кабы знато, да ведано... Эх, ты!..

А веретенце дальше — чрез дома, чрез крыши — вертьверть-верть — да ниткой-невидимкой прямо в еремин двор. Не спится Ереме-пастуху, да и Федосье старой не заспалось в ночи.

— Я, баушка, как мужиком настоящим буду — женюсь.

— Женись, женись...

— Я, баушка, потому што Казанчи возьму... Она шибко пригожая.

— Красну девицу возьмешь. А калмычка — тьфу!

— Нет, Казанчи! Мне, баушка, жалко ее. Она плачет. А как оженимся мы с ней, она камлать меня научит, я потому што угадывать буду. Ты придешь ко мне, я и угадаю.

— Эка, что придумал, неумоя!.. Спи!

— Буду камом, Дуньке ногу приделаю собачью.

Бабушка молчала; Дунька, растянувшись, похрапывала, словно человек.

— А пошто, баушка, сказывают, будто бубен ходит?

— Это душа евоная... Чалбакова. Богу надо за него молиться.

— Сказывают, всех Брюхановых кам сожрет.. Все сдохнут, потому што...

— Ну, это как бог попустит. Спи!

25

В прощеный день на масленой неделе гуливанье в селе Волчихе было веселое. Костры жгли, девок через огонь таскали, катались с гор.

Хохот, визг, песни. В разных концах гармошки наигрывали. Собакам выть под гармошки надоело, забились в катухи, ворчат.

Иван Петрович наелся блинов крепко, браги выпил подходяще и завалился со своей благоверной спозаранку почивать: завтра надо к утрени, завтра великопостную стихиру будут петь: «Се жених грядет во полунощи».

Поговорили о том, о сем, уснули. В переднем углу теплится лампадка. На столе псалтирь, требник, всеобщий русский календарь и раскрытая тетрадь-дневник.

Ежедневно Иван Петрович записывает теперь в свой дневник всякие толки и «очевидные факты» про страшного кама Чалбака. Тикают часы. В окно с неба луна.

— Ваня... Ваня, ты спишь? — шопот испуганный, дрожащий. — Слышишь?

Анна Дмитриевна, смуглая и скуластая, с заплетенной черной косой, сидела на кровати, вытянув ноги под беличьим одеялом и прижав скрещенные ладони к полной, боявшейся вздохнуть груди.

Иван Петрович раскрыл рот, насторожил слух и чуть приподнял голову, а глазами уставился в окно, за окном слышны были приближавшиеся звуки бубна.

— Боюсь я... Ваня!

Сквозь двойные рамы звук слабый, приглушенный.

Сердце Ивана Петровича заколотилось, дрогнуло: к самым окнам поспешно бубен подкатил, грянул раз, остановился.

— Ваня!

Все в комнате зашевелилось: взметнулся огонек в лампадке, зашуршала повешенная на стене карта, и листы дневника стали перевертываться, как под сильным ветром.

— Ваня!

Анна Дмитриевна повалилась на кровать, и головой под подушку.

А бубен взъярился, словно с ума сошел, скок сквозь раму, да ну выплясывать на подоконнике.

«Ррр-а-та-та!.. ррра-та-та!.. Бум!..»

Не помнит Иван Петрович, как ружье со стены сорвал, острым взором на окне бубен ищет, но бубна нет, только пляска его слышна; пляшет бубен, бьет, а кругом ветер воет, мигнул огонек в лампадке и погас.

— Господи, благослови!

Вскинул Иван Петрович на прицел ружье и грохнул. Сразу бубен, как убитый, смолк: настала тишина. Иван Петрович позабыл дышать. Тряслись его руки, ходуном ходил дымящийся ствол ружья.

«Ну, и хитер ты, урус!..» — послышался за окном гробо-

вой голос кама, а бубен тихо брякнул, словно взяла его бережно чья-то осторожная рука. И не то всхлипыванья, не то смех тоскливый за окном почудились, и снова, как на погосте, — тишина.

26

Не укрывалась нетоптанным снегом дорога на кладбище: умерла старуха Секлетинья, за ней маленький сынишка Филимона и андреева дочка Маринка приказали долго жить.

Великое попущенье на род Брюхановых содеялось, великое сатанинское дело совершалось: как на погост кому переселяться — ночью неумолчно страшный бубен бьет.

До городу весть о бубне докатилась. Пришел из города приказ: в корне прекратить.

Урядник всю волость сбил, целую неделю по улусам, по юртам шарились, все горные тропы исходили, во все ущелья заглянули — нет! Кругом ни одного кама, ни бубна не нашли.

Священник не меньше Брюхановых боялся, в черных волосах седина пошла. Надея озорным намеком намекала: так, мол, и так — пришлось прикинуть к жалованью полтора целковых в месяц. Два раза отец Василий вокруг села с крестным ходом обходил, кропил святой водой брюхановские избы, а ночью, после второго раза, видел страшный сон: будто моются они с попадьей покойной в бане, вдруг из жаратка, вместе с паром, — кам Чалбак, лицо в крови, избитый. «Батюшка, не приказывай меня бить!» — И такой был голос у Чалбака, — не голос, стон, слеза кровавая, — что отец Василий с поднявшимися волосами в страхе закричал:

— Надея!.. Держи его! Не пускай!

И стали с того времени в народе примечать, будто заговариваться начал священник, даже за обедней не то поет, что по уставу.

Уряднику тоже приснился кам: встал перед ним в полном облаченьи, в шаманьей шубе, в шапке крылатой с висюльками, а в руках бубен, погрозил уряднику колотушкой, и одно только слово: «Уходи», — но вместе со словом из рта его пламя пыхнуло, да уряднику в лицо. Открыл урядник глаза, нюхнул, — паленой шерстью пахнет. Он рукой за усы — правый длинный, а левый обгорел. Он к зеркалу — верно! Хоть не из трусливых был урядник, а испугался шибко. Бесспорно, кам Чалбак адовым огнем опалил его.

Хозяйка, краснощекая вдовуха Василиса, в лицо ему захохотала:

— Чудак ты какой!.. Известно, сжег табачищем. Взойду-взойду, а ты лежишь вверх носом, а меж зубов папиросочка торчит.

Но урядник с того времени заскучал, осунулся, стал бояться вечерами из дому выходить, а к пасхе подал просьбу о переводе по семейным обстоятельствам.

27

К лету красному почти всех Брюхановых «шайтан сожрал». Андрея возле города разбойники ухлопали перед самой пасхой, но и про него говорили: «Чалбак знает, где поймать. У него в услуженьи шайтанов много». Два брюхановских дома стояли заколоченные, и весь переулок, куда выходили они, сделался каким-то жутким, мертвым. Если кому нужно в переулок, то мимо домов рысью, а в ночное время — никто бы не насмелился: толковали, что сквозь заколоченные ставни человечьи голоса слышатся, плач, стоны, а то словно бы ребенок закричит.

Третье жилище, Филимона Брюханова, стоит рядом с церковью, и снаружи посмотреть — ничего себе, дом как дом, ставни расписные настежь.

А вот с хозяином беда. Из всего могутного брюхановского рода один Филимон остался с сыном, пятилетком. Сжалилась над сиротой бабка Федосья, переселилась к Филимону, а Ерема опять на пастухову должность поступил.

Смерть второго брата потрясла Филимона и окончательно сломила его. Жалок, страшен стал Филимон. Трудно было узнать его: словно не год, а двадцать лет прошло, седым стариком сделался. Лохматый, оборванный, грязный, будто последний варнак-бродяга. Весь пришибленный, испугавшийся, ходит согнувшись, с палкой, оглядывается, шепчет. Если кого встретит — крестится и боязливыми глазами, в которых стоит холодный страх, как бы спрашивает:

«Не шайтан ли ты, не смерть ли моя?»

Знает Филимон и твердо верит, что участь его ходит рядом с ним, вот уж руку занесла, когда ж убьет? Сегодня, завтра? Забрюхател Филимон Брюханов смертным страхом, и это черное дитя под сердцем сосет змеей его душу день и ночь, высасывает разум, сует в руки нож, тащит к перекладине: «Чего мучаешься? Возьми да удавись!»

Но, видно, ожидать смерти страшно, оборвать насильно жизнь — еще страшней. Да и в уши кто-то наговаривает, какой-то совет дает: «Сделай вот так, тогда жив будешь». Но как сделать-то — не может разобрать мужик, а чует: сделать что-то надо. «Сделаю, — жив буду».

Идет к отцу Василью:

— Батюшка... что мне делать-то? Чалбак всех наших порешил. За мной черед... Научи-ка ты, батюшка, дорогой, хороший... — И в землю бух, заплакал, захлебнулся Филимон слезами, скривил волосатый рот.

— Этакий верзила, а плачешь, чорт, — промямлил отец Василий: язык во рту был толстый, неповоротливый, слова, как лепешки, шлепались Филимону в уши, Филимон ничего не мог понять.

— Ведь вот сколько молебнов служил ты у братанов-то, — поднимается с полу красноглазый заплаканный дядя, — опять же сколько разов избы освящал, а помогло ли? Ничего не помогло... Что же делать-то? Как быть-то мне, батя, а?

Отец Василий крестит Филимона большим крестом и выплевывает в его уши все такие же слова-лепешки:

— Венчается раб божий Филимон рабе божьей Фадею... Во имя отца и сына...

— Батя, батя!!

И смотрят друг другу в глаза. И не замечают той черной мглы, что стоит в их помутневших взорах.

Отец Василий вдруг тряхнул головой, подмигнул Филимону и закатился скрипящим смехом:

— А выпить хочешь, раб божий? — и потянулся к четвертной бутыли опухшей рукой. Глаза у отца Василия бараньи, мутные, голос панихидный, гробовой.

— Ты, батя, как его?.. Ты тово... — и по мужиковой спине прокатился холодный страх.

От священника бредет Филимон к соседу, куму, от кума к писарю, от писаря к Ивану Петровичу, в село Волчиху.

И всем одно и то же, каждого выспрашивает, как быть ему, участь его по пятам идет — спасите, братцы! Но никто путем не знает, чем помочь ему, какой совет дать. Кажется, все уже испытано, а толку нет.

— Жди, Филимон Карпыч, дожидай свово резонту. Ау, брат ты мой!.. Нет чего хуже — смерти дожидать. Тяжко очень.

А учитель Иван Петрович пуще разворошил Филимону сердце; все подробно рассказал ему, как из ружья святым пыжом в чортов бубен тарарахнул, и еще многое из дневника читал про страшного кама, про Чалбака.

— Вот ученые не верят, а я верю... Все факты налицо.

Филимон, разинув рот, бессмысленно смотрел на Ивана Петровича и тряс лохматой головой, словно паралитик.

28

Так и блуждал Филимон из дома в дом все лето, землю забросил, жил подаянием. Часто заходил на могилу близких, плакал.

Однажды бабка Федосья сказала:

— Поди-ка ты завтра с Еремой к Казанчи. Авось простит. Тогда и скука от тебя откатится.

И в двадцатый раз стала говорить ему, как, грешница великая, била она кама, как потом видела его во сне: идет будто вроде Исуса-господа; многое тогда, грешница, поняла она, стала неотступно молиться за грешную душу Чалбака, и, знать, услышана ее молитва, знать, кам простил ее. Другие-прочие, которые... А она, слава тебе господи, жива-живехонька.

Послушался Филимон старуху, пошел с Еремой к Казанчи.

Шли полями, перелесками. Всю дорогу Ерема смешные побаски врал, сам заливался звонким смехом и на Филимона покрикивал:

— А ты пошто не смеешься, сарлы-ы-ык такой, леша-ай!

Филимон шагал молча, заложив руки за спину, глядел в землю, громко сопел.

А вот и юрта. Увидал Филимон Казанчи, сложил на груди руки крестом, стал каяться:

— Прости ты меня, тетка!

И Казанчи ему:

— Прости ты меня, тетка!

— Сам не рад, прости!

И Казанчи:

— Сам не рад... прости.

Посмотрели на нее Филимон с Еремой.

Сидит Казанчи у потухшего костра, лохматая, грязная и печальными глазами поверх Филимона смотрит куда-то вдаль. В куче сора побуревший, высохший валяется цветок.

— Вот скоро Чалбак придет... Я в бубен ударю, звонко, звонко...

Встал пастух, мужика за опояску потянул:

— Пойдем, дядя!

А потом тяжело, надрывно вздохнул Ерема, словно собирался заплакать, и сердечным голосом сказал калмычке:

— Прощай. Эвона ты какая стала!.. Жаль мне...

Всплеснула руками Казанчи, засмеялась:

— Эвона... Эвона... Я эвона!

Ерема всю обратную дорогу дрожмя-дрожал.

29

Эта последняя ночь предильинская началась собачьим воем.

Как погаснуть золотой вечерней заре, забралась на проклятый обрыв чья-то паршивая собака, уткнулась мордой в омут и завыла. Сначала толсто, хрипло, будто взбесившийся бык дурной, потом вскинула вверх голову, оскалила слюнявый рот, тяфкнула и завыла тонко, визгливо, словно острым веретеном сверлила сумрак. И снова, и снова. Поуркивая и щетиня шерсть — по застенкам, по застенкам — трух, трух, трух — крадучись спешили к обрыву другие псы.

Повизгивая тревожно и также крадучись, словно вину за собой чуя, култыхала в неспокойную собачью стаю и еремина трехлапая Дунька.

Кажется, все псы с села сбежались, будто их скликал кто, уселись в кружок и ну выть дурью.

А небо стало темнеть. С востока поднималась из-за горбатых хребтов сизая туча, из ущелий потекла смолой густая тьма, затопила тьма долину Анчибала, обрыв, церковь, все село, ползла по склонам гор ввысь, тянулась к вечноснеговым вершинам. Помутнели белые вершины, ночной час близок. Еще немного, и весь мир меж землей и небом ослепнет и захлебнется тьмой.

Выли собаки надрывно. Ненавидели собаки друг друга. Зачем-то притащились: ветрено, темно, спать бы да спать, а вот пришли. И тоскливо на собачьем сердце, и больно. Так тоскливо, что и стерпеть нельзя.

«Вву-у-у... Гав-гав... ууууу!!.»

Выходили из ворот жители, прислушивались. И мерещилось им, что не собаки это, а сама тьма непроглядная воет лютым зверем. А в горах, за Анчибал-рекой, черные шайтаны отвечают точь-в-точь так же:

«Вву-у-у... Гав-гав... ууу!!.»

Прятались жители в избы, крестились сами, кругом окрещивали тьму.

— Илья-пророк батюшка!.. Ильинская пятница матушка!..

И слышно во тьме, перекликаются через дорогу:

— Силантий, ты?

— Я. А это ты, Ваньша? Не видно ничего.

— Он самый... Это что же такое будет?.. А?

— Да вот человека, Митьку своо, послал с ружьем... А то не уснешь. Жуть. Откуда их чорт согнал?

В безглазой вышине запоздалое стадо говорливых галок пролетало. На свежих пажитях курлыкали журавли. Поскрипывала и колотилась под ветром чья-то незакрытая дверь.

Посреди дороги, спотыкаясь о вылезшие из земли камни или скользя осторожной ногой по парным коровьим кучам, шагал человек с ружьем. Зарядил он двустволку мелкой дробью-бекасинником. Стегнет собачью свору, как кнутом, и будет!

Приложился человек — бах-бах! — и сразу все оборвалось, только слышно, как быстрые лапы оторопело землю топчут, врассыпную собаки прочь.

Улыбнулся человек, покурил, послушал и — домой. И только лишь в калитку — опять на том же самом месте завыли псы.

30

Бабка Федосья брюзжит на своего Ерему, сердится:

— Надо искать Филимона-то! Тоскует его душенька. Иди!

— Филимон у попа, верно... Я за Дунькой... А то собаки ее разорвут.

— Дурак какой! Перво человека надо пожалеть.

Взял Ерема кнут, прислушался, пошел к церкви на обрыв. Ничего Ерема не боится. Ну, темно, ну, собаки воют, — эка штука, пусть.

— Потому што она сумасшедшая... Казанчи-то, — рассуждает сам с собой Ерема; через плечо кнут висит, в правой руке фонарь с огарком. — А вот женимся мы с Татьяной Рыбкиной, это дело... — Ерема улыбается, весело размахивает фонарем — тьма подпрыгивает, со светлым лучом в чехарду зачала играть.

— Ух ты, язви их!.. Как воют!..

И нежный женский голос вдруг:

— Пасеня, ты? Огрей ты их кнутом хорошень! Боимся мы с мамынькой. Сделай милость, разгони, пасеня-пастушок!

— Ладно, — сказал Ерема толсто, вдруг почувствовал себя заправским мужиком. — А ты творогу со сметаной дашь мне?

— Дам.

— Ну, ладно, разгоню.

Ветер взметнул сильней, огонь в фонаре заколыхался, стал накрапывать дождь. Шагал-шагал Ерема в бабкиных бахилах, да споткнулся:

— Язви тя!.. До чего темно, — и пошел прямо на собак.

— Дунька! Дунька-а!..

Вот и обрыв. Внизу Анчибал гремит. Колет тьму голосистый собачий вой.

— Дунька! Фють, фють...

Вильнул туда-сюда фонарь. Зарычала собачья свора, ощетинилась.

— А это хошь? — взмахнул Ерема кнутищем и щелкнул в воздухе, как из ружья.

— Филимон!! Филимон!! — вдруг дурью заблажил он во всю глотку. — Что ты, Филимон?! — упал фонарь, зазвенели стекла. И бросился Ерема во всю прыть домой.

— Филимон! Батюшки, Филимон!!.

Отворялись во тьме окна, кто-то кричал ему, кто-то звал испуганно, но Ерема, спотыкаясь и падая, мчался дальше:

— Он воет, он воет по-собачьи... Батюшки!!.

31

Словно колдун, словно страшный кам-шаман, окруженный собачьей стаей, сидел Филимон на обрыве, как вывороченный буреломом таежный пень во мху.

Он не знает, как пришел сюда. Кам Чалбак сказал:

«Вот год уж, как вы меня убили. Зачем пожаловал? — Кам Чалбак вынырнул из воды, из Анчибала, и гулко ударил в бубен. — Зачем пожаловал?»

Филимон затряс головой, разодрал ворот у рубахи — душно, — хотел ответить, но слезы не дали. Только и промолвил:

— Прости!

«Не знаю, — сказал кам. — Ступай домой».

Анчибал взбурлил, взъярился, хлеснул волной о камни, и кам пропал.

А псы ляскнули зубами, взвыли. Посмотрел на них дико Филимон — светятся во тьме собачьи бельма — запрокинул нечесаную голову и взвыл со псами страшным, сумасшедшим воем.

32

— Надея! Надея!! — крестясь и дрожа всем телом, вскричал отец Василий. — Послушай-ка, Надея. Что это?

Оба они стояли у полуоткрытого окна, — священник и девица, — оба тряслись от какого-то необъяснимого ужаса. На обрыве, бросив вой, яро рычали псы, и слышно было, как зубы зверей кого-то рвут на части, гложут. И сквозь грызню — последний, пронзительный человеческий крик.

— Надея!! Это Филимон!

А потом все смолкло, только Анчибал плескался во тьме.

И вот среди наступившего затишья — громче грома, трескучей синей молнии — ударил бубен. Всяка душа удар тот слышала, все к окнам бросились, даже спящие вскочили, так ядрен и внезапен был удар.

И пошел в непроглядной тьме вдоль села волшебный бубен, он шарахался из стороны в сторону — то вправо бросится, то влево — и гудел и бухал как-то по-особому, не так, как прежде, словно победу праздновал и навек прощался с белым светом.

Одним казалось — выговаривал бубен, жаловался человечьим голосом; другим слышался хохот, словно леший при болоте хохотал, а третьи клялись и уверяли — плакал бубен горько.

Шел бубен по селу, бил колотушкой яро, жаловался человечьим голосом, хохотал и плакал, неистово бубенцы с колокольцами заливались. И чудилось каждому, что колышется, вздрагивает от гула и грохота ночная тьма, и все горы тяжко до основания трясутся.

— Чур, чур! Наше место свято!

И такая жуть, такая тоска смертная напала на всех людей, ну, вот скулит душа, как неутолимая зубная боль, ну, вот давит сердце... Господи!!.

И ныряют головами под подушки и затыкают уши пальцами, только бы не слышать проклятого звона, гула, рокота.

— Господи, господи!!.

Ни крест святой, ни молитва, ни наговоры тайные старушьи от четырех ветров — ничего не помогало: бил, неистовствовал бубен до самых петухов.

Лишь только возгаркнул краснобородый на насесте, сразу сгинул бубен, словно провалился сквозь землю. И ночь до самого утра была немая.

33

Солнце в Ильин день поднялось над хребтами приветливое. Благовестили к заутрене.

К церкви бодро шагал народ, русские и калмыки с теленгитами. Заходили на обрыв, качали головами, осматривали изрытую в ночной свалке оплешину и клочья филимоновой одежды. Вот голенище сапога, вот лоскут холщевой рубахи, кровь на острых камнях, стекла, спички, нательный крест.

— Ну, значит, разорвали.

— А где же он, разорванный-то?

— Стрескали... Думаешь, глядеть будут!

— А по-моему, в реке он.

Загадочно посматривая друг на друга, крестились и — словно озноб по спине — передергивали плечами:

— Вот она нечистая-то сила что вырабатывает!

Но каждый думал тайно: «Слава богу, не меня».

За службой отец Василий был отцом Василием, а как вышел к аналою речь держать, вдруг преобразился: румянцем

покрылись скуластые щеки и кончики ушей, вспыхнули огнем безумные глаза, зазвучал по-молодому голос. Все придвинулись плотнее к аналою и, потные, распаренные, смотрели в рот священнику.

— В ум вошел поп-то... Слава-те, Христу!

— Отцы и братия! Вот мы какой великий грех содеяли, все мы перед богом виноваты, а наипаче многогрешный иерей и пастырь ваш.

— Эх, бачка, бачка!.. Так и есть! — вздохнула узкоглазая паства; русские также вздохнули и потупились.

— Кайтесь, православные!.. Вот сердца наши освирепели, и души наполнились, вместо иссопа, смрадом...

Долго говорил отец Василий мудреными словами, разобрал всю подноготную, многих вогнал в слезы искреннего покаяния и, наконец, всплеснув руками, воскликнул:

— И вот вчера, на том богомерзком утесе, свершилась, с попущения божия, страшная месть кама. В клочья растерзан был псами рыкающими раб божий Филимон, несчастное чадо мое. Сам слышал вопиющий глас его, сам видел его сугубые страдания... О, мучительнейшая из смертей! И видел и свидетельствую... Помолимся об упокоении души его...

— Батюшка! — кто-то крикнул от паперти знакомым голосом. — Дозвольте, батюшка, тут ошибка. То есть, вот как это было...

И все обернулись по голосу, а сверкавшие черным огнем глаза священника жадно искали говорившего.

Вдруг весь народ ахнул, и словно огромное дерево упало от паперти к аналою — внезапно расступились все, образовав проход.

— Не бойтесь. Я живой.

— Не верю! Наважденье! Искус! — исступленно закричал священник, простирая вперед похолодевшие руки. — Именем бога живого!.. Изыди вон!..

В церкви произошло смятенье; суеверные в страхе бросились к выходу и в небывалой давке толкли друг другу кости, старухи пластом валялись пред иконами и завывали, а кликуши ойкали, взлаивали, пели петухом, ругались непристойно.

— Чорт, чорт, чорт!..

— Вон его, вон!

— Паки повелеваю: изыди вон, мертвец!

— Батюшка, отец Василий!..

— Нет, это настоящий... Не может быть... — позеленев, вскричал Иван Петрович, — нужно удостовериться, удостовериться! — И в порыве суеверия, мазнув по своей трости маслом из лампадки высокочтимого образа, огрел по спине рас-

терявшегося, обезумевшего Филимона тростью, и сам, почему-то испугавшись страшно, завизжал, как кликуша:

— Настоящий, настоящий!

Но толпа все это приняла по-своему.

— Бей его!

— Оборотень! Упокойником прикинулся!

— Божий дом опакостил!

— Бей!..

— Не в храме, не в храме! Волоките вон!

— Рой могилу!..

Безумно хрипел Филимон, вырываясь, и нехватало голоса кричать.

А рядом с ним надрывалась, шамкала плачущим провалившимся ртом старая Федосья:

— Филимон Назарыч!.. А ты окстись, голубчик, окстись, окстись... Тогда поверят.

34

С той поры много лет прошло. Зеленые мхи на скалах поседели, Анчибал-река прорыла себе новую излучину, заросла травой-полынью горная тропинка к опустевшей юрте Казанчи, покачнулись кресты на брюхановских могилах, а сам Филимон Брюханов стал древним седовласым дедом.

Доживает он свой век у Еремея Терентьевича Дятлова, богатого заимочника, караулит его пасеку.

Любит Еремей Терентьич за чайком душистым, сидя у костра на пасеке, перемолвиться с дедом о старинных днях.

Дует Филимон на горячую жижицу в китайской деревянной чашке, тягуче говорит, словно по складам читает:

— Так весь наш корень и съел Чалбак... Втапоры ты, малый, пастухом был. А теперича разбогател. Да, брат, да... Взыскал тебя господь за простоту твою... Вот оно...

Хочется Еремею Терентьичу знать все до тонкости, выспрашивает так и сяк, но дед в двадцатый раз одно и то же:

— Тут вдругоряд кам из омутины вынырнул, на скалу залез, да и скажи мне слово: «Вспомнил, грит... Я Павел... Прощаю... Не Челбак тебя, гыт, прощает, а Павел...» А собаки напыхом как прыгнут на него, быдто на ведмедя, да ну грызть, чавкать... Ух ты, якорь те в нос!

— А ты-то, ты-то, дед?

— Ничего, друг, не помню... Всю память кто-то выскреб из ума. Где, к примеру, ходил, как в церковь попал, ну вот не помню, да и на! Быдто корова языком слизнула. Выволокли меня, значит, православные, на тот самый на обрыв: «Топи его, топи», — закричали. А я, словно немой, только руками развожу да мычу. А тут вдруг, милый человек, речь

нашлась. «Братцы, говорю, что же вы, братцы, делаете?.. Ведь я человек есть! Братцы!» Быдто холодной водой им в морды брызнул. Так все и откатились, в ум вошли. Которые очень даже остались недовольные. Яшка Косолапых аж сплюнул: «Тьфу, гыт... Чего ж ты, гыт, дурака-то валял!» А из меня уж, почитай, вся душа вон вылезла... Вот дела-то! Де-е-ла, брат Ерема, дела!..

Говорили так поздним летним вечером. Темно было. Сырой туман от Анчибала плыл. Рогастый месяц из-за горы приподымался.

— Чу, слышишь, Филимон?.. Бубен в горах.

— А? Не слышу я... Бубен, что ли? Это ничего... Как месяц на рогу — он завсегда ходит... Ничего. Теперича он не душевредный... В наше село путь заказан ему... Ничего. А в горах пускай... Мало горя.

— Чу, чу!.. Ишь, как!

То не кам камлает, не гремучий гром гремит, то чалбаковы курмесы, его слуги, по вершинам скачут, в невидимый бубен колотушкой бьют, ищут, не находят, где Казанчи лежит.

«Бум-бум, тра-та-та!.. Где ты? Эй, отзовись, молодая Казанчи!.. Дзын-дзын!.. Ррррох!»

Давным-давно лежит Казанчи на высоком перевале. Взял-укрыл ее белый камень-мрамор давным-давно. На высоком перевале ветер воет. Злится ветер, гонит чалбаковых курмесов прочь. Разве скучно Чалбаку одному?

И размахивает пушистыми ветвями угрюмый кедр, что караулит темный вечный человечий сон:

«Прочь отсюда! Здесь нет калмычки Казанчи, здесь Катерина».

1919 г. Петроград

ЧЕРНЫЙ ЧАС

I

— О-го-гой! — закричал тунгус Пиля.

И тайга отозвалась: «О-гой...»

Осмотрелся кругом: лес, снег, клок седого неба. Вынул изо рта неугасимую:

— Агык.

Резко, четко, словно шайтан к ушам: «Агык».

Пиля любил покричать в тайге: один, скучно. Крикнешь — ответит, ну, значит, двое, не один.

Пиля — большой ребенок. Сколько же Пиле лет?

— Тридцать пиять.

Пиле в прошлом году на ярмарке в Ербохомохле сорок было, ведь сам же говорил всем:

— Сорок... Мой старик есть, совсем маленько старый... Дай, друг, винца.

Да и сам батька, поп Аркашка кривой, священник, в книгу заглянул одним глазом и сказал:

— Тебе, чадо, сорок стукнуло.

А вот теперь Пиле только тридцать пять. А весна придет — может, двадцать будет, почем знать... Может, пятнадцать...

Озирается Пиля, нюхтит, как собака по следу соболя, пытает снег, пытает небо, пытает морозный воздух, ищет глазами и душою хоть малый зрак весны.

«Нет, зимно... Синильга — снег кругом, льды кругом, мороз».

Костер урчит, лопочет. Желтое, красное с синим переливом пламя взвивается вверх, когда Пиля сует в костер целую лесину. Холодно. И нет солнца. Куда оно делось, куда ушло? Заблудилось, что ли, или болезнь забрала его? Вдруг помрет,

подохнет солнце? Ой, как худо тогда! Тогда и весна не придет. И Пиля останется один, совсем один, как в небе месяц.

Суетливая Камса прыгнула ему на грудь и дружески лизнула в толстые губы. Сплюнув, Пиля ткнул собаку под живот, а сам повалился в снег, стал кататься и корчиться, словно в тяжком припадке, стал кричать придавленным голосом, как у попавшейся в капкан лисы:

— Скушно мне как, скушно. Эй, баба, девка, иди!

Собаки гурьбой к нему, не знают, чем помочь: беда пришла или так сдурел хозяин, может — игру завел.

Собаки выть начали. Вот олени примчались — скоком, скоком — стоп — окружили хозяина кольцом, закинули густодревые рога назад, из ноздрей белый пар.

А Пиля все кричит:

— Ой-ой! Какой я один... Собака я!..

II

Стойте, ветры, не метите снег. И ты, кривая сосна, не качайся!

Солнце, где же ты? Ну! Ну? Разве не чуешь, что Пиля собирается в дорогу?

Крутятся вихри, воют шайтаны в трущобах темных, ходит ветер по вершинам, шумит тайга.

Смерть.

Кому смерть, а Пиле любо: да если б кругом Пили выросли ледяные горы, если б вся снеговая туча опрокинулась на землю и бешеный ветер рвал бы с корнями лес, — для Пили одна забава — встал, пошел: «Эй... Эй!.. Сторонитесь, льды, прочь, крылатые, косматые вихри, эй... эй — умри, издохни, ветер, — Пиля идет! А куда? Хе-хе... Куда собрался Пиля?» «Самую красивую найду».

Скликал оленей:

— Орон! Орон!

Связал гуськом, в ольгоун, на переднего, учуга, седло набросил.

Стоят олени, дышат, будто говорят:

«Найдем, найдем, самую красивую найдем».

И собаки черные крутятся возле — черные, а поседели — снег, мороз: «Найдем, найдем», — взлаивают хором.

Пиля весь погружен в сборы, неугасимую свою трубку некогда раздуть: торчит в зубах мертвой загогулькой.

— Айда вперед... Ко! Ко!

Куда? Прямо. В то место, где весна живет. Прямо! Даже не оглянулся Пиля на брошенное стойбище. А что ему? Пиле везде приют, был бы огонь да лес.

Сидит Пиля на переднем олене — олень рогастый, крепкий, — голова у Пили огромная — вот так башка, этакой во всей тайге не встретить. Недаром все над ним смеялись: «Как ты и родился такой!»

Башка у Пили волосатая, длинная грива сзади, в косы плести Пиля не умеет. А поверху волос какой-то колпак из красной тряпки.

С утра до ночи, с утренней зари до поздних ярких звезд, каждый день все вперед, вперед правит путь свой Пиля. А чего ищет — не находит.

Как стрела из лука, летит его взор туда, сюда: выйдет в долину речки — во все концы смотрит; взнесут его олени на вершину сопки — край неба виден, а того, что надо, — нет...

— Мне надо бабу, — говорит он каждой сосне кудластой, каждому гнилому пню.

«Может, жену, может, мать с сестрой?» — спрашивает его ветер.

— Бабу! — упорно твердит Пиля и свистит злобно, звонко, словно иглой каленой колет насквозь тайгу.

Он очень хорошо знает, что ему надо. Не жену, не сестру, не мать.

Ему надо все.

По-тунгусски:

— Аши.

По-русски:

— Бабу.

И мать, и сестру, и жену — все вместе.

Разве была у Пили когда мать? Он от поганого гриба родился, его шайтан принес. Не было у Пили матери, а надо. Дозарезу надо. Тоскливо одному. Все один да один. Скушно.

И сестры у Пили не было, а надо.

А вот и самое главное, что надо Пиле, всему голова, страшно и подумать: жену.

— Ох, ты, жена... — сладко простонал Пиля, зажмурился, ухмыльнулся во весь рот.

И куда его несет олень — не знает; что кругом — не видит, все пестро, пестро, искры красные в глазах, огни по сторонам, словно бы кто тихим голосом поет женским, заунывно так, тонко выводит, ласково:

«Вот и я... Что ж ты... Слезай, бери!»

Встряхнул Пиля, открыл глаза — тьма кругом.

«Неужто ослеп я, неужто спал?»

Ночь. Звезды. Олени в куче, видно, давно остановились. Собаки спят. Удивился Пиля.

— Ночь, верно, ночь... хе.

Развел костер. Набросал по снегу хвой, раскинул на них шкуру, лег, а сам думает, греясь у огня:

— Надо богу помолиться, как поп-священник учил, Аркашка кривой, батюшка, отец.

Встал Пиля на колени, крестится, в небо смотрит, в Золотой прикол — звезду высокую, требует, кричит:

— Эй, Никола-батюшка! Слышишь, нет?! Давай мне скорей бабу, пожалуйста, давай! Один я, сиротинка я... В каменный чум к тебе приду, в гости. Ты там за стеклом сидишь, знаю... В шапке... Ежели дашь, эй, Никола, и я тебе дам... я тебе палку поставлю, как ее... мягкую... с ниткой, как ее... Слышишь? А не дашь скорей бабу, так и наплевать... И сам найду. Прощай, Никола-батюшка, русский богматушка.

Пиля так усердно, так часто в землю бухал, что вспотел. Мороз с дымом, с белой пылью, а Пиле жарко — снег стал глотать. Потом вытянул ноги и завяз в мертвецком, темном сне.

III

Так только в сказке бывает, в страшной и сладкой сказке.

— Вот олени, вот и собаки. Гляди, гляди: человек спит.— Девушка встала над Пилей, звонко смеется, в ладоши бьет: — Гляди, гляди!.. Страшный какой, губастый.

А Пиля дрыгает то правой, то левой ногой, губами чмокает, облизывается, должно быть, сладкую еду ест, должно быть, сладкое вино пьет, видишь: в пляс пошел.

— Ха-ха-ха-ха...

Встряхнулся Пиля, продрал сначала правый, потом левый глаз. Сердце упало, ударило, кровью захлебнулось: «Баба, женщина».

Узкие щелки раскосых глаз шире, шире. Открыл рот, в улыбку сложились губы, и ноздри стали раздуваться, как у хорька, почуявшего пахучий след белой куропатки.

«Баба».

Неужели сон? Нет, смеется. Живая, румяная, серьги в ушах, на руках браслеты. Веселая.

— Здравствуй, — сказал Пиля и приподнялся.

— Здравствуй, — ответила живая, веселая.

Пиля изо всех сил обеими руками свою голову скребет, вынул трубку, достал уголек из полусонного костра.

— Ты кто такая? Девка? Баба?

— Девка.

— Откуда?

— Я? Смотри! — Она быстрой рукой ткнула вправо — звякнули в ушах висюльки. — Вот!

Дымок вблизи клубится. Чум стоит.

— Когда пришла?

— В ночь.

— Куда идешь?

— Не знаю... А ты куда?

Пиля подумал и сказал, усердно царапая руками спину:

— Я? Маленько знаю, маленько нет.

— Ищешь, что ли, кого? Может, оленей ищешь? — спросила она.

— Ищу, — сказал Пиля. — Тебя ищу, — и прищурил глаза.

— Меня-а-а? — насмешливо протянула веселая и так круто повернулась, что подол белой ее парки хлеснул Пилю по приплюснутому носу.

Пиля дружелюбно крякнул и чихнул. Потом лениво потянулся за жердиной, чтоб огреть сучонку, хамкавшую над самым его ухом. Глядь, а веселой-то и нет...

Пиля протер глаза: что за чудо, — нет. И чум пропал. И дым исчез. Эге-ге! На голове его зашевелились волосы, а безусый рот широко открылся.

Было серо кругом. Издыхал, валился наземь день. Надо бы есть, и собаки пищи просят. Нет, дальше от этого лихого места, дальше!

С трубкою в зубах, ошалело шагает Пиля лесом, оленей в поводу за собой ведет, острой палкой железной просекает сквозь чащу торопливый путь.

Тьма все гуще. Все ослепло кругом, и в черной ночи, в черном морозе пересвистнулись шайтаны из края в край, и чьи-то голоса, то хохот, то рев, то песня. А сзади гонится проклятый черный дух, чу, чу, шуршит хвоей, — того гляди, за шиворот сгребет. Ай!..

Как бросит тунгус оленей, да ходом, ходом, сквозь тьму, сквозь страх.

Вдруг светом опахнуло:

— Стой! Куда! Эй, бойе! [1]

Пиля враз остановился. Большой костер. Чум, старик и та... вот та... веселая...

— Что же ты, бойе, назад вернулся? — спросила она лукаво и стала выколачивать из сохатиной кости мозг.

— Как — назад? — грубо проговорил Пиля. — Я вперед... Вперед да вперед.

Та раскатилась громким смехом и погрозила костью.

— Я стояла возле тебя, говорила с тобой. А ты сидел, сидел да повалился, как старый сохатый, и захрапел. Очень ты здоров спать, бойе.

---

[1] Бойе — друг, товарищ. *(Прим. авт.)*

— Врешь, — возразил Пиля и для угощенья подал старику свою дымящуюся трубку. — Я не спал.
— Не спал? Ха-ха...
— Что смеешься? Я был пьяный. Может, и заснул.
— Пьяный?.. — воззрился на него старик, и его сморщенное лицо сразу покрылось маслом. — Где же ты взял вина? До села надо два месяца итти.
— Где взял? — задумчиво переспросил Пиля. — Уж взял. Я знаю, где взял. Взял да и взял.
— Ну, поднеси мне, — сказал старик и сплюнул. — Где же вино?
— А вот! — нерешительно ответил Пиля и стал копаться в кожаной суме.
Он так долго там шарил, кряхтел, сюсюкал, что старик нетерпеливо крикнул:
— Ну, скоро? Давай! Чего моришь?
Пиля посмотрел сначала в прищуренные глаза старика, потом на девушку и сказал:
— Вспомнил. Это я во сне пил. Русский угощал меня... Михалка, во сне.
Тогда оба враз — старик и девушка — захохотали.
— Веселый ты, — сказал старик, трясясь от смеха и кашляя.
— Мало-мало веселый, — подтвердил Пиля и тоже улыбнулся.
— Веселый, верно, — сказала девушка и облизнула свои покрытые жиром пальцы. — Веселый, только дурной.
— Росомаха дурная. Я не дурная, — обиженно ответил Пиля.
Он жадно посматривал на розовый горячий мозг, который отправила в рот девушка, на ее сладкие алые губы. И ему вдруг неудержимо захотелось есть и целоваться. Он жарко задышал и сел к костру.
— Как же не дурной, ежели колесо такое сделал: от нас ушел, да к нам и вернулся. Ведь твой костер вон там горел.
— Врешь, — сказал он.
— Вру?
— Врешь. Дай-ка мне есть. Я голодный.
Она вскочила и дернула его за отсыревший рукав парки.
— Пойдем... Тогда будешь знать, кто врет. Пойдем.
— Ну, пойдем, — недовольно сказал Пиля и поднялся. — Мне все равно. Пойдем. Куда это?
Девушка пустилась рысью. Серьги ее звенели, он еле поспевал за ней.
— Стой! — крикнула она. — Видишь?
Они стояли у потухшего костра, на том лешевом месте,

где провел он прошлую ночь. Пиля обомлел. Ледяным холодом сковалось сердце. Но вот глаза его засверкали, он исступленно завизжал:

— Ты не баба! Ты шайтан! Ты мертвая!!

Та в испуге прочь и вдруг захрипела: тунгус схватил ее за горло и бросил в снег.

— А, шайтан! — шипел он. — Вот узнаю... кто ты есть... Ага!

Оба, урча, барахтались в снегу. Она со всех сил теребила его волосы, грызла губы, билась. Он рвал на ней парку, рубаху и хрипел, словно бешеный волк, которому скрутили морду.

— Геть!! — раздался внезапный окрик старика, и по большой голове Пили стукнула, как по пустому котлу, жердина.

Пиля вскочил и отряхнулся. Поднялась и девушка; она закрыла лицо руками — яркий месяц в глаза светил — и отвернулась.

— Ну?! — сердито проговорил старик и подбоченился.

Пиля пощупал затылок — вспухла шишка — и сказал тонким, виноватым, заискивающим голосом:

— Ты меня огрел ладно.

— Да-да... Хорошо огрел, — хрипло дыша, согласился старик.

— Ничего. В самый раз. Больно ладно, — отчетливо сказал Пиля. Он поймал ухом таящийся смех девушки и моргнул в ее сторону. — Я думал, она шайтан. Нет, баба, самая настоящая, самая живая, сладкая. Вот возьму ее к себе. Она дочь твоя?

— Дочь. Сирота.

— Эй, как тебя зовут?

— Гойля, — тихим голосом отозвалась тунгуска.

— Ладно. Гойля так Гойля. Ну, разовьючь моих оленей. Поставь чум, свари сохатины. Да вот рукавицы порвались, зашей.

— Сделаю, бойе, сделаю, — покорно сказала девушка и побежала.

— Пойдем ко мне, толковать надо, — проговорил старик.— Кто ты есть? Впервые вижу.

— Я есть Пиля Иваныч Дункича, — по-русски сказал тунгус.

Голос зазвучал внушительно и важно. Пиля даже удивился. Никогда не говорил он так.

Оба пошли к костру. Старик шел вперевалку, раскорячив кривые ноги и подпираясь жердью. Пиля заботливо ощупывал свой вспухший затылок.

IV

Еще до весны далече, а Пиля уже сидит с своей женой в собственном чуме.

Старик ушел. Это ничего, что он взял за дочь такой большой калым: двадцать оленей взял, полтысячи белок, пару соболей да мертвые часы с цепочкой. Как покупал их Пиля у купца, живые были, стрелка вертелась колесом, а как уплыл купец — поколели часы, сдохли. Пиля и камнем по ним брякал, и об стену смаху бил:

— Нет, не стукат, помирал совсем.

Ничего не жаль — ни оленей, ни соболей, ни белок, а вот часы хоть и мертвые, а жаль. Но Гойля так ласково улыбается глазами, так умильно что-то говорит с костром. Да пропади они пропадом, часы.

— Гойля!

Старик всех оленей пилиных угнал. Только двух оставил дочери да Пиле.

Пускай шагает по сугробам старый, пускай. А им и тут ладно, у костра. Разве плохо пахнут свежие хвои, что густо разбросал Пиля в своем чуме, разве не мягки, не пушисты шкуры, что сидит на них Гойля. Разве не морозна ночь, а в чуме так тепло, угревно и такой вкусный пар клубится от котла.

— Гойля! Эй!..

Молчит Гойля. Вот вздохнула. О чем вздохнула? Движения ее быстры, руки проворны, ловки, блестит серебряный браслет.

— Волосы у тебя, как крылья ворона в снегу, о Гойля. Щеки твои горят, ровно огонь. Губы твои сладки и алы, как малина. Грудь твоя все равно как... — Пиля замялся, голос его дрожал, слова терялись, убегали прочь.—Все равно как... ну, это... Ах, Гойля!

— Как мы будем жить, — прозвучал ее голос. — Ты бедный. Оленей у тебя нет.

— У меня есть башка, у меня есть ружье. Не бойся. Будем жить.

— Я люблю оленье молоко. Где у нас оленюхи?

Пиля быстро сказал:

— Я пойду к шаману. У него волшебный бубен.

Гойля насмешливо прищурила глаза.

— Ой, какой могучий шаман. Вот он переделает двух твоих старых самцов в молодых оленюх... — губы ее криво улыбнулись, и дрогнула крутая бровь.

— Да,—ответил Пиля, и кончики ушей его вспыхнули жаром, а Гойля захохотала и захлопала в ладоши.

— Отчего у тебя большая голова? — лукаво спросила Гойля.

— Когда будешь меня целовать, голова станет маленькой.
— Вот как! Отчего?
— Оттого, что ты станешь целовать... Оттого, что...
— А ты умеешь целоваться?
— Я?—Пиля вынул изо рта трубку, отер толстые губы рукавом и тихо сказал:—Нет.
— Ха-ха-ха... Зачем же тогда взял себе Гойлю?
Пиля снял свой красный колпак и с ожесточением долго скреб голову, потом сказал, чуть раздражаясь:
— Когда купил ружье, белку стрелял мимо, теперь бью в глаз.
Гойля жадно затягивалась трубкой и выпускала из ноздрей густые клубы дыма. Она искоса посматривала на Пилю дразнящим взглядом. Их разделял костер.
— Ты разорвал мне рубаху. Иди на ярмарку, купи кумачу.
— Ладно, куплю две рубахи, три рубахи,—сказал Пиля, и его кинуло в жар: Гойля быстро обнажилась до пояса, и проворная игла с оленьей жилой замелькала в ее руках.
Тунгус весь сладко обомлел.
— О, Гойля!—бросив трубку, простонал он.—Я никогда не видел тебя... Ни одну женщину не видел так, безо всего... Гойля...
Он задыхался и пьяно полз на четвереньках к ней. Та чуть пнула его ногой, обутой в бисерный сапог, и проворно поднялась, огненная, гибкая.
— Лови!—с задорным, обжигающим смехом скакнула она по ту сторону костра.
— Ловлю!—Ноздри его раздувались.
— Ай! — крикнула женщина, когда Пиля, опрокинув чайник, облапил ее. — Постой! — и оттолкнула его с силой: Пиля набитым мешком шлепнулся в костер.
— Сгоришь, сгоришь!—захохотала Гойля серебристо, звонко, словно бегучая вода в горах.—Давай ужинать, бойе.
— Давай,— отряхиваясь и тоже громыхая счастливым смехом, — отвечал по-русски Пиля. — Моя шибко проголодался маленько совсем.
Первый ужин прошел в большом согласии. Гойля шутливо щелкнула Пилю ложкой в лоб. Пиля загоготал от удовольствия и громко рыгнул, что означало: спасибо, сыт. Та рыгнула громче. Но Пиля, оборони бог, не дурак: разве можно поддаться бабе. Он вобрал живот, приподнял плечи, выпучил глаза и рыгнул оглушительно и страшно: спавшая у входа сучка выбежала опрометью вон. Польщенный Пиля, — хозяин так хозяин, — гордо взглянул на жену, облизал жир с грязнейших пальцев, досуха вытер их об волосы и начал говорить, торопясь и запинаясь.
Он говорил о весне, о том, как бил медведя, как обвалился

снег с горы, как ходили по небу огнистые сполохи. Он теперь весь в любви, весь в радости: одиночество кончилось, скука сгибла. Вот перед ним сидит Гойля, у нее черные косы, алые губы, и годы ее — годы молодого цветка. Он над ней, как солнце над землей: должна его любить, должна покоряться. Пусть она слушает двумя ушами, пусть поймет утробой. Он все сказал.

Весь потный от длинной речи, он в упор уставился на Гойлю, ждал.

А та, далекая, далекая Гойля,—ее нет здесь,—протянула ему серебряную чашку с чаем и сказала:

— Я люблю сахар... Я люблю вино. О, веселая, веселая вода!

Кто-то вздохнул в Пиле, но кто-то и заулыбался.

Сахар что. Сахару у них будет много. Будет и вино. Он Гойлю возьмет в село, а в селе коленкор да сахар, а в селе вино, такое вино—хватишь, словно уголь проглотил—огонь огнем—и сразу станешь богатый, сразу станешь, ой какой, сильный и счастливый. А потом маленький Пиля у них заведется, этакенький, этакенький. А потом малюсенькая Гойля заведется... у-у... потом, потом...

...Когда в открытую верхушку чума сребролобый месяц уставил свой хитрущий глаз, тунгусы, досыта наговорившись, погружались в сон. Не так-то сразу заснул Пиля. Не так-то сразу и любопытствующий месяц откатился прочь — наступающее утро не спеша толкало месяц книзу.

Пиля, засыпая, слышал медовый шопот молодой своей жены:

— Вот завтра посмотрю, бойе, станет ли меньше твоя башка. Эх, дурной, дурной...

V

Как заснул Пиля улыбаясь, так с улыбкой и проснулся. Но когда открыл глаза, лицо его вытянулось и нижняя челюсть сама собой отскочила: перед ним, грузно опираясь на палку и посмеиваясь, стоял жирный-прежирный старик — якут Талимон.

— Ладно спишь, — сказал якут и захихикал, — так спит медведь в берлоге.

Пиля вспомнил, что должен якуту много денег, — чем он заплатит ему? А старик крутой, беда.

— Ты, вижу, женился? — строго спросил якут, опускаясь у потухшего костра.

— Нет, — ответил Пиля. — Я бедняжка... Где мне...

— Нет? Хорошо сказал, очень хорошо сказал. А почему же с женщиной в одном мешке спишь?

Пиля робко пощупал меховой мешок, в котором лежал, и, толкнув в бок пробудившуюся Гойлю, виновато проговорил:

— Женился... Забыл совсем... Маленько женился... Верно!

— Давно?

— Да-авно.

— Когда же?

— Вчера, маленько.

Быстрым оленем выскочила из мехового мешка Гойля, приподнялась на цыпочки и крепко, по-молодому, потянулась, потом пошла за снегом, чтоб согреть чай.

Круглая, как у огромного филина, голова старика повернулась вслед Гойле, и черные живые глаза его заблестели похотью. Он причмокнул губами, прищелкнул языком, спросил вылезавшего из мешка Пилю:

— Где достал, сколько калыму давал? Баба хороша, карауль бабу.

— Баба ничего. Ладная баба, — ответил Пиля и, встряхнув мешок, в раздумьи остановился, с опаской посматривая на якута.

— Год нынче худой, белка худая, улов худой, — наконец начал Пиля тоскливым голосом. — А я тебе, бойе, должен, ой, как много... Как и быть, бойе, как и быть?.. Я бедняжка есть...

— Баба моя старуха, худая, живот отвис... — в тон ему так же пискливо ответил Талимон, и смешливые морщины пошли от глаз по всему лицу.

Весело, шумно вошла Гойля. За нею три собаки.

— Геть, геть! — кричала она на них. — Пиля! Что ж ты стоишь, как горелый пень? Почему погас костер? Почему гость сидит в холоде? Ну, ну!

В чуме мороз, но вот заклубилось трескучее пламя, мороз ходу, ходу, и вскоре такое пламя сделалось, что Талимон снял свою лисью шубу. Красная суконная рубаха, через всю грудь две серебряные цепи: одна с большим крестом, как у попа, другая с часами; вокруг тугого живота серебряный с насечками пояс, руки в золотых перстнях и кольцах.

Бросив острый взгляд на якута, Гойля услужливо засуетилась: гость богатый, может, даст денег, может, подарит кольцо. Гойля быстро заплела черные густые косы, быстро надела шитый бисером нагрудник — халми: гость знатный, пусть смотрит, пусть любуется.

А Пиля сидел, повесив нос, шлепая толстыми губами, и боялся взглянуть в глаза богатому купцу.

— Баба моя совсем износилась, — посматривая на круглые бедра Гойли, говорил гость, — а я хоть стар, но еще крепок, как три сохатых. И золота у меня много. В тайге закопано и там, и там.

— Куда идешь, бойе? — спросила Гойля.

— На ярмарку. Мой караван оленей — сто голов. Остановился недалече. Гляжу — чум, слышу — собаки лают. Ага, думаю, стойбище. Вот пришел.

— Угощенья у нас нету... Я бедняжка есть... — засюсюкал Пиля.

— А вот, — сказал якут и развязал огромную суму.

— О-о! — враз вскочили тунгусы. — Огненная вода! Вино!

— А вот, — проговорил якут, выкладывая большой кусок! сахару, копченые оленьи языки, связку баранок.

— О! Само слядка! — вскричала по-русски Гойля.

— Сахар, — гортанно сказал старик, — он сладок, как женщина с розовыми щеками... Нет, женщина в сто раз слаще. Когда она целует — о-о, — тогда... — защурился старик и поцеловал воздух.

— Зачем так говоришь? — прервала женщина, раскусывая сахар зубами и раскладывая всем по кусочку. — Ты старый, у тебя жена, дети, внуки.

Якут захихикал, подбоченился и сказал веско, с расстановкой:

— Молодое дерево гнется, старое — твердо, как железный кол.

Но вот вскипело все, сварилось, и чарка с водкой пошла по рукам. Все веселей и веселей становился Пиля, все громче, задорней хохотала его жена. Толстощекое лицо якута стало красным, лоснящимся. Он хохотал вместе с Гойлей, незаметно подмигивая на тунгуса, заводил песню, бросал и все чаще поддавал вином пару.

— Пиля! — крикнул он сквозь смех. — Гляжу на тебя и дивлюсь. Много людей пересмотрели мои глаза, такого впервые видят... Да ты бы взглянул хоть раз на себя в воду, — что за образина... Тьфу! Ты не сердишься? Я тебе большой друг и ты мне друг... Ну, зачем тебе жена, ну, зачем, скажи...

Пиля враз перестал смеяться.

— Хорек и тот знает, пошто сделана жена, — оттопырив губы, процедил он.

— Ха-ха! Хорек.. — воскликнул якут. — Из хорька чиновник шубу шьет, а твоя шкура шаману на бубен разве.

Пиля отвернулся, прикрыл лицо руками, засопел.

— Обидно, обидно это... Старый барсук ты, вот ты кто.

— Ха-ха-ха... Я барсук? — по-злому захохотал якут. — А долг? Нешто забыл, сколько должен? Подай сюда. А нет — в тюрьму.

Гойля испугалась, дрожащей рукой сует в самые губы Талимону вина:

— На, выпей, бойе, выпей.

И сама пьет, проглотит водку, встряхнет головой, сережки звякнут.

— Ты не сердись, друг, я бедняжка есть, — умиротворенно сюсюкает Пиля.

— И ты не сердись. Я тебя люблю, я тебе весь долг прощу, — отдай мне Гойлю.

— Как можно? Что ты! Ты сдурел! — хрипло сказал Пиля.

— Отдай. Я твой друг. Я буду тебя любить. Ты двадцать оленей давал за нее калыму, я тебе дам сорок. Дам сто.

— Торгуй у шайтана дочь. Разве мало тебе баб? Ищи.

— Я нашел.

— Как бы мой нож не нашел твое сердце, — возвысил голос Пиля, и глаза его перекосились.

Отточенный нож валялся у костра, манил. Рука Пили заиграла. Стало тихо, как в тайге перед бурей.

— Ну, спасибо, друг. Так-то ты уважаешь меня, — оскорбленным голосом сказал якут, вздохнув. — Разве я на вовсе прошу Гойлю? Я же не на вовсе. Эх, ты!

— Не на вовсе? — спросил Пиля. — А надолго ли? — голос его вилял.

— На месяц!

— На месяц? Нет, на месяц нельзя.

И Гойля подхватила:

— Как можно!.. Нельзя... нельзя... На-ка, бойе, выпей. На еще.

А Талимон подкатился к самому Пиле большой копной, сел на корточки, руки положил ему на плечи.

— Мой батька уважал твоего батьку, моя бабушка уважала твою бабушку. Пошто меня уважать не хочешь? Эй, Пиля! Самый лучший друг. Ну, а на неделю можно?

— Нет.

— Ну, а на день?

— Нет, — упорно, резко рубил Пиля.

— Ну, на час...

— На час? — переспросил Пиля и, упираясь пятками, немного отполз от якута.

Вновь все смолкло, замерло. Словно застыло все. Даже сохатиный жир на сковородке перестал трещать, и языки пламени к земле приникли.

— На час ежели — можно, — просто, от всего сердца сказал Пиля. — Корыстно ли?.. На час можно. Чего тут...

Как затрещит на сковородке жир, как взметнется пламя, и гиканье, и песня. И сам Пиля пляшет, и Гойля пляшет, и старый Талимон трясет толстым животом. И смех, и слезы, и собачий вой. Вина! Дайте Пиле огненной воды! Еще, еще. Э-эх!

Чум пляшет, земля трясется, белый снег под ногами вьюгой воет. Вей-вей-завивай!.. Пуще, пуще... Э-эх!

Упал Пиля и хохочет. Хохочет, хохочет. Схватил Пиля за шиворот собаку, целовать стал. Подполз к деревянной ступе, целовать стал. Плачет и целует, плачет и целует, хохотать стал: он самый сильный, самый богатый. Его жена самая красивая. Две рубахи... Три рубахи... Ха-ха-ха-ха! На час, корыстно ли... Где Гойля?.. Где Талимон?.. Стойте, ужо... Амиткалле!.. Амиткалле!.. А, шайтан, попался!..

— Агык!!

И словно сохатый в яму — ух! По чуму пьяный пилин храп пошел.

VI

Вот и весна явилась. Журчат ручьи. Под солнцем журавли плывут. Проснулась тайга, стряхнула зимний белый сон, позеленела.

Пиля один. Не встретил весну. Ушла весна и не простилась.

— Мошенник!.. — не сходит с языка у Пили слово. — На час брал, совсем тащил.

Дни идут за днями. Трава. Цветы. Белки хоркают, птицы свирельные песни завели. Солнце жаркое, солнце светлое. А Пиля один.

Прошло лето, не сказалось.

А там и осень. А там зима. Хлопнул мороз, сковал мороз воды бегучие. Снегом накрылись все пути, все тропы. И угрюмый медведь давно в берлоге лапу сосет.

— Мошенник! — хрипло говорит Пиля. — Надо правды искать, надо бумагу писать. Дурак... Ах, какой дурак есть...

И прямым ходом, через тайгу, в село. Месяц два раза подыхал, два раза вновь родился, путина до села большая.

А вот и поповский дом.

— Здравствуй, кривой Аркашка, батюшка-священник... Пиши скорей бумага, пожалуйста, пиши... Мой баба таскал старик. На час брал, совсем тащил...

Батюшка только улыбнулся да этак пальцем возле лба.

— А тут, чадо, у тебя все дома?

С еще большим горем пошел Пиля в тайгу своего родового шуленгу искать. Поклонился ему в ноги, заплакал:

— Держи бабу... Пожалуйста, скорей держи... Лови якута. Совсем один я... Скушно...

Когда узнал шуленга, давно ли было дело, безнадежно свистнул и рукой махнул.

VII

И год, и другой прошел. Голова у Пили стала тоньше, седины гуще, ноги покривились — всю тайгу истоптал тунгус.

Однажды, когда стояла луна, он выл, как собака, и плакал:

— Гойля... Прощай, прощай...

Проплывал на лодке пьяница, купеческий приказчик, у русского купца выручку стянул — да лататы. Нашил приказчик светлые пуговки к пальто, а на шляпу чиновничью кокарду. Стал начальником.

И вдруг Пиля случайно повстречал его, повалился в ноги, бьет себя в грудь, скулит:

— Начальник! Большой начальник, правильный... Мой баба, Гойля, старик таскал. Мало-мало на час брал, совсем тащил.

И вздумал правильный начальник над тунгусом шутку подшугить.

— Знаю, — сказал начальник и охально заржал, — она тово, по рукам пошла твоя Гойля. Не дожидай, не придет, — врал начальник.

— Не придет? Ладно.

Понесли ноги Пилю неизвестно куда. Потом опамятовался, вернулся, оленя за собой ведет.

Начальник на берегу костер развел, бутылочкой блестит.

— Вот у меня один олень. Больше ничего у меня нету. На! Спасибо. Правильно толковал мне все. На! А мой кончал. Совсем кончал. Будет.

И, хватаясь за стволы деревьев, пошел в глубь тайги, лохматый, страшный, потерянный.

«Бойе, бойе», — звенел вдогонку чей-то милый голос, как голос Гойли.

Отмахивался, скрипел зубами, уходил все дальше, дальше, за вековечный темный край.

Стойте, ветры, не крушите лес, и ты, кривая сосна, не качайся.

Зоркий ворон покружил над сосной, сел на вершину кедра, смотрит. Человек. Аркан. Человек висит на аркане смирно, руки вниз, глаза закрыты.

Каркнул ворон, взмыл черным кругом и — прямо к человеку.

1921

Посвящается Вл. Бахметьеву

ПУРГА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Белая, мглистая, в тихом сне лежит тундра.

По белой глади едва ползет темная точка. Это человек. Низкое серое небо, белая бескрайная равнина да человек. Куда идет, что ищет здесь?

Один.

Одинок ли он? Нет, с ним — мечта.

В его глазах торжествующая улыбка. Он выковал в себе радость жить в этой жуткой стране смерти.

Петр Лопатин — зверолов, рыбак, Петр — на все руки. Вот уже месяц он в тундре. Поселок Край, последнее жилое место, далеко остался позади. Покосившаяся набок деревянная церковка, десятка два хибарок, укутанных сугробами до самых крыш, да его новая просторная изба — и весь поселок. Один вот этими железными лапами срубил Петр избу. Когда затаскивал наверх грузные бревна, мужики разевали рты, качали головами:

— Ну, конь!..

Теперь живет в ней кузнец Филипп, его друг по ссылке.

Сильный бодрый Петр, бывало, говаривал приунывшим товарищам:

— Эх, вы, мелюзга! Ссылка? Ну, что ж, плевать!.. Человеку — везде дом. Чего боитесь? Тундры-то?

Но в ответ слышались вздохи, жалобы:

— Вам, товарищ, можно рассуждать. Вы, товарищ, из скалы высечены. Поглядите, какая у вас грудь. А ручищи!..

Перебирая в мыслях все, что осталось позади, Петр подводил итог:

— Мелюзга! Человечки!

В кармане у Петра компас, за плечами винтовка, сзади — огромный воз: на высоких копыльях нарта с припасами.

«Чудак, Филя!.. — вспоминает Петр и улыбается. — «Возьми, говорит, лошадь, а то надорвешься...» Ха! Чудак человек! Да разве лошади под силу такой путь?»

Он до изнеможения шагает целый день по плотному насту, сам с собой говорит, читает вслух стихи любимых поэтов, а чаще импровизирует и поет, придумывая напевы тут же сложенных арий.

Голос у Петра — сильный бас: если крикнет в избе — дребезжат стекла, а здесь голос ограничен простором, открыт душе. И вместе с песней ему мерещится желанная картина: вот расстилается под ногами мурава, пахнет сеном, шумит кудрявый дубняк, встали в небе толпы звезд. Иногда он так увлечется, что перестает отделять явь от сказки: то не ветер воет, швыряясь снегом, — ворчит, кряхтит его старая няня, он — пятилетний карапуз, звездная же ночь с северным сиянием — голубой полог кровати, сквозь который просачивается дремотный лампадный свет.

А то накатится вдруг тоска: и грызет, и чавкает — некуда податься. Тогда Петр достает флягу и отпивает добрый глоток спирту.

Петр шел теперь прямо на север, к океану. Он хотел встретить там рыбачью артель и все разузнать о промысле.

«Ерунда!.. Обман! Какой я, к чорту, рыбак! Для брюха это... Ерунда!» — раздумывал он, глядя под ноги на скрипучий снег.

Потом вдруг вскидывал голову, срывал шапку и дико орал, улыбаясь:

— Здорово, богиня приполярных стран!.. Так потягаемся, говоришь? Ну, ну... Люблю я это!..

На его нарте лежат шкуры настрелянных в пути песцов, лисиц. И чем дальше он углубляется на север, тем больше видит зверья, непуганого, доверчивого.

Он, утомленный, кончает свой путь поздно вечером.

Когда ночь тихая — спит в двойном, из оленьих шкур, мешке прямо под открытым небом, но при ветре — лучше поставить легкий, из брезента, чум.

По субботам бреется. Садится у костра и, посматривая, как в зеркало, в широкий клинок кинжала, говорит:

— Ишь, оброс! Чисто цыган! И до чего глуп волос: зимой вся растительность умирает, а он прет, да и никаких! Чудно!

Побреется и вновь в клинок:

— Пригож, ей-богу, пригож! «Чисто Еруслан Лазаревич»,— сказала бы нянька. А росту в тебе — без трех вершков

сажень. А лицом упрям, чист. А глазыньки у тя навыкате, черные, орлиные. А брови у тя — соболиные. А годков-то те...

Он встряхивает плечами:

— Сила! Ух, и сила ж...

Ему иной раз хочется пройтись колесом вокруг костра или побарахтаться с парочкой медведей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Чем ближе к океану, тем короче день: солнце в розоватом тумане едва выползало из-за горизонта, и над тундрой дремали сумерки.

Петр знал, что это — начало длительной полярной ночи. Он чувствовал, что его душа начинает тосковать, постепенно во все тело прокрадывается лень, голову одолевают мрачные мысли. Но он не дает померкнуть духу:

«Посмотрим, кто — кого...»

Стояли морозы. Но вот подул с севера ветер, поползли от океана лохмы туч, мороз сломился, хлопьями стал падать снег.

Петр начал готовиться к пурге, страшному бичу тундры. Однако опасения не оправдались: снег к утру кончился, туча проплыла на юг, и перед его глазами на прояснившемся горизонте замутнели, как призраки, едва намечавшиеся цепи поседевших гор.

— Вот оно что: день-другой и... — бодрым голосом сказал Петр и пошагал к горам.

Сугробы задерживали путь. Как лось, напрягал он сталь мускулов и лишь на десятые сутки, к вечеру, очутился между скал.

Хорошо развитый слух его уловил странный, непонятный шум, словно где-то вдали плескалось море, шуршали льды.

Ночь протекала в томительной тревоге. Но Петр все-таки сказал себе:

«Я победил пространство».

День встал серый, как предвечерний час.

Сквозь ущелье Петр вышел на берег. Пред ним лежали безбрежные ледяные поля, засыпанные снегом. Кой-где бурели полыньи, над ними плоским облаком плавали туманы. Местами виднелись ледяные бугры. Небо серое, низкое.

Дотемна, до крайней усталости Петр шел без отдыха, когда же остановился на ночлег, небо над ним заколыхалось. Петр привык к «сполохам», — как называли здесь северное сиянье. Сгустившаяся тьма стала озаряться трепетным голу-

боватым светом, как от длительной далекой зарницы. Петр зорко всматривался в кайму берега, который необходимо ему завтра осмотреть и во что бы то ни стало отыскать людей: запасы пищи требовали пополнения, надо наловить рыбы — обратный путь далек.

А главное...

«Люблю все-таки людишек! Ей-богу, люблю... Хоть бы какого обормота отыскать да парой слов перекинуться... Найду! Не может быть...»

Однако двое суток он тщетно искал какой-нибудь признак человечьей жизни. А сколько было обманных радостных минут. Нашел! Вот чернеет в белом берегу изба, курится дым.

«У, проклятая!..»

Это черный обломок скалы торчит из сугроба, снежный вьюнок, вихрясь, шалит, как дым.

Злоба рвалась бомбой, растекалась унынием. Но бодрость брала верх:

«А все-таки найду!»

На третьи сутки утром, когда стало рассветать, Петр сидел, согнувшись, у костра и ворошил в котелке упревшую кашу. Его как будто позвали. Он быстро обернулся. Тихо, никого нет. Он приподнял голову и внимательно водил взглядом по карнизу скалистого берега. Ага! закопченный дымом снег. Да, несомненно, жилье! Бросил ложку, побежал. Хорошо протоpенная тропинка — звериный след. С камня на камень она вползала вверх, к жилью, и на ровной площадке заворачивала за серый выступ скалы. Очевидно, жилище без людей, заброшенное рыбачье зимовье. Сердце Петра испугалось.

В зимовье, за дверью, — отрывистое тявканье, лай, визг, грызня.

— Песцы!

Петр кинулся к вросшей в берег избе, рванул дверь и ввалился в сенцы. Грызня смолкла. Полумгла сеней заклубилась серым клубком, съежилась, припала к полу. Петр кровожадно смотрел в испуганно-хитрые, следившие за ним глаза зверей.

— У-у, черрти!..

Приседая на задние лапы, попятились, встопорщились, глаза блеснули желтым.

— Человека жрут! — крикнул Петр, сгреб двух песцов, грохнул об стену.

С урчащим шумом вся свора стегнула вон.

— Так и есть... Человек... — неприятно дрогнул Петр и обнажил голову.

На полу, окруженный клочьями изорванной одежды, лежал скелет. Безглазый череп с присохшими волосами откатился прочь, хрящи ребер обглоданы.

В углу — открытый мешок муки, и возле мешка — другой мертвец. Этот лежал на правом боку, скорчившись, с зажатым в белой руке самодельным, из чурки, подсвечником. Человек, очевидно, умер недавно: звери успели обглодать лишь его лицо и вырвать в свалке бок ватного пиджака. Опрокинутое с мукой блюдо. Мучная дорожка от мешка к двери в избу, и кругом рассыпанная мука.

Петр весь нервно встряхнулся и открыл дверь в жилье. Оттуда густо пахнул на него нестерпимый смрад. Петр отшатнулся.

— Кто?.. Смерть ли, добрый ли... чело...век? — колыхнулся хриплый, булькающий шопот.

Ослепленный белым снегом, Петр ничего не мог различить в темной избе. Он чиркнул спичку и приник к заскрипевшей кровати. На ней — двое рядом. Ноги женщины лежали на подушке, возле головы мужчины.

— Не бойтесь... Я вам помогу.

— Ба... тю... ба... ба...

Петр нагнулся, стараясь разглядеть их: страшные, с бурыми оскаленными лицами, глаза закрыты. У Петра кружилась голова. Из правой руки его капала кровь. Он промыл спиртом рану от зубов песца и стал разжигать печь. Сухие дрова ярко вспыхнули, загудел огонь, воздух начал очищаться.

«Должно быть, цынга, — подумал Петр, соображая, как поднять больных на ноги. Он был несведущ в медицине, но знал, что лук и спирт делают чудеса. — Кровь... еще горячая кровь зверей!»

В натопленной, согревшейся избе рыбаки крепко спали. Петр ночью напоил их чаем, накормил жидкой кашицей; они жадно схватились за очищенные головки лука, но не могли откусить: желтые зубы шатались, из вспухших десен сочилась сукровица. Рыбаки заплакали. Петр накрошил лук мелко. Рыбаки, громко чавкая и урча от наслажденья, жадно ели, из полузакрытых глаз катились от боли слезы.

— Где Андрей с Михайлой? — спросил рыбак.

— Не знаю, — ответил Петр.

— Должно быть, ушли, — равнодушно сказала женщина.

Петр дал им по глотку спирта. Они выпили, повалились на постельник и сразу захрапели.

Было два часа ночи. Петр лежал на полу. Завтра он примется наводить порядок. Он долго не мог заснуть. В нем разгоралась энергия.

«Спасу людишек, спасу!..»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Через три дня умирающие очнулись, ожили, но Петр не решался утомлять их расспросами. Он ждал, что рыбаки разговорятся сами.

Действительно, когда подал им горячей похлебки, рыбак спросил:

— А ты откуль, кормилец?

Петр сказал. Он с удивлением смотрел на их побуревшие, с печатью тления, лица, на запавшие мертвые глаза, на угловатые, уродливые костяки с припекшейся кожей и мрачно думал:

«Мертвая тундра... Два обглоданных зверями мертвеца... И двое этих ждут смерти. Занятно, чорт возьми!..»

Петра было охватил малодушный страх, но сознание, что он должен их спасти, что он поборет смерть, зажгло его глаза огнем молодого задора:

— Ничего, братцы! Вот немножко — и на ноги...

Поддерживаемые Петром, они поочередно глотали пищу, и во всех их движениях было что-то неживое, отталкивающее. Ни слова не сказав, не поблагодарив его, рыбаки повалились на постельник.

Петр пошел набивать котел снегом, чтоб согреть чай, и надолго задержался. На глаза попалась нарта. Он заботливо, с некоторой тревогой осмотрел оставшиеся запасы.

— Маловато.

Ему надо заняться промыслом, надо быть сытым, чтоб не захворать. Хорошо бы убить белого медведя и попить горячей крови; говорят — отводит. Ну, да рано еще.

— Чорт, как темно!.. — он достал часы, но стрелок рассмотреть не мог. Привычным глазом он отыскал бледно намечавшуюся в небе Большую Медведицу — «Сохатого» — и сообразил, что времени около четырех часов дня.

— Да, наступила полярная ночь... Здесь она длинная, говорят, три месяца... Филипп, дружище!..

Он вспомнил своего товарища, вспомнил уютную свою, там, под Туруханском, срубленную из кедрача, крепкую избу. Стены и пол ее покрыты пушистыми шкурками, у потолка — лампа, на полке — книги, ярко топится печь, бородатый Филипп раздувает самовар и бросает отрывистые фразы. И Петру захотелось туда, в родной уют. А тут еще полезли в голову разные думы. Ну, что ж, можно и помечтать...

— Помечтай-ка, брат, помечтай, — насмешливым голосом сказал Петр и, улыбнувшись, вздохнул.

— А ну тя к чорту! — крикнул он и, притворясь беспечным, пошел между скал к океану.

— Эй, ты... Хведор... — толкнула баба своего мужика локтем.— Ты умеешь, толкуй... у меня болит... болит... — Она говорила, растягивая слова, неясно, будто во рту жвачка.

— А?.. Чего?.. — очнулся Федор.

— Не слышишь? Спрашивает он. Ох, господи! Дальние мы, батюшка, расейские... Хведор, говори!..

— Мы сами дальние... — ответил Федор.

В избе трепыхался свет: вспыхнет, поколышется, и вновь темно.

— Пожар, что ли?.. Ишь!.. — прохрипел рыбак и закашлялся, пуча глаза.

— Сполохи, а не пожар, — кто-то поправил его.

Тогда он вспомнил, что у студеного моря живут по ночам сполохи, что небо огнем горит. Ему рассказывали об этом в Красноярске, в пути, купец-хозяин, матросня. Рассказывали работники Андрей да Михайло... Где они? Ах, вот чего!.. Должно — убежали. То ли убежали, то ли умерли...

Федор хотел перекреститься, но онемевшая рука не слушалась.

— Мы, кормилец, дальние... расейские...

Мрак дрогнул, всколыхнулась печь, подпрыгнуло висевшее на стене решето, окошко замигало голубоватым зорким светом. У печки на чурбане сидел он... тот, как его?.. Он сидел на сутунке[1], согнувшись шевелил локтями, словно дратвой сапоги тачал.

Рыбак прищурился на странного чужого человека, но вот голубое оконце погасло, и все исчезло, заключилось в тьму.

— А? — спросил рыбак. — Да, да... забыл хвамиль-то... Красноярский купец. Он и нанял... Ну, мы, значит, вчетвером: я со старухой да Андрей с Михайлой, рабочие...

— Какие мы старики... мы не старики, — глухим голосом забулькала, засопела женщина, — мне сорок два, а хозяину мому сорок.

— Вот, вот, сорок мне... Это болезнь так перевернула. А? Громче кричи, я не слышу! Седой, говоришь? Ну, знамо, зацынжали вовся... Цынга заела... Говорят — цынга. Мы сами-то не знаем — впервой здесь. Да ты где, кормилец? Эй, ты...

Рыбак сделал усилие, приподнялся, упираясь руками о постель, и стал всматриваться в тьму, где маячил он... тот, как его...

---

[1] Сутунок — широкий, заменяющий стул, обрубок бревна. *(Примечание авт.)*

Вновь хлынул в избу неверный свет. Человек на сутунке все еще сидит, лицо у него большое, белое, безглазое. Он улыбается, подплясывает, что-то шепчет, указывая рукой на окно.

— Идет? — спросил рыбак. — Кто же идет-то? Не знаю я... А ты чего смеешься?.. Ты не смейся, пожалей...

— Мы дальние, кормилец, расейские, — пожалей, мол!..

— Идет... — тихо сказал рыбак, повалился на спину и застонал.

Вскоре за стеной, действительно, послышались поскрипывающие шаги, кашель. Отворилась дверь, вошел Петр.

В зимовье тихо. Спят, охают, бредят.

Он зажег лучину, затопил печь. Лучина давала мало свету. Он отыскал в чулане большой кусок сала.

«Тюленье, что ли?»

Разогрев его в черепушке, он соорудил светец. На светильник пошла скрученная куделя из его собственных запасов. «Эх, керосинцу бы сюда да лампочку хоть плевую...»

— Электричество бы!.. Люстру бы свечей в пятьсот!.. — сказал он, горько улыбаясь. — Да музыку бы... симфонический оркестр.

Он уселся возле печки на сутунок и дал волю мечтам.

Ему вспомнилась радостная неделя, проведенная когда-то в Петербурге. Из лесов архангельских он выехал тогда в столицу по делам партии. После лесной бедной деревушки, где был учителем, после малолюдного тихого города шум и грохот столицы поразили его. В первый день он чувствовал себя диким самоедом и ходил, разинув рот, по площадям и оживленным проспектам, а вечером попал в театр. Сцена, музыка, блистающий поток огней окончательно раздавили его, он еле добрался до номера гостиницы и всю ночь мучился бредовым, тяжелым сном.

Дрова в глинобитной низенькой печи весело потрескивают, обдавая Петра теплым светом, у стены скоргочут зубами больные, за окном полыхает сполох.

«Да! Здесь — и там... Какая громадная разница!.. — сквозь дремоту рассуждает Петр. — Два мира, два полюса. Культура, свет человеческий — и эти огненные небесные столбы, свет природы. Что же выше, значительнее? Перед чем человек должен преклониться? Что должен восславить? Себя, свое творенье, или вот эту нерукотворную красоту?

Он повернулся к окну и ждал. Небо утихало. Богиня севера прятала свои огнистые покровы в ледяной хрустальный гроб.

«Два чуда... Одно из другого рождается и взаимно дополняет... Какое счастье жить, чувствовать, познавать!.. Что чувствовать?»

Он согнулся, подпер руками утомленную голову, закрыл глаза.

О скалы грозные,
Бушуя, плещет море...—

коснулось его слуха.

«Ах, да, музыка!» — мысленно воскликнул Петр, его глаза грустно, через силу, улыбнулись.

«Чувствовать... познавать... жить... Да, да!»

Огни чуть мерцают где-то вверху, затихают, гаснут... Занавес вздрагивает, вот-вот взлетит. Льются радостные волны звуков, кончается... как ее... прелюдия? Нет! Ну, как же, как? Увертюра? Да, да, да, увертюра кончена. Занавес взвился. Древний Новгород. Господин Великий вольный Новгород, частокол бревенчатых стен, мачты кораблей, шумная, веселая толпа... И среди них — Садко. Вот он, русский баян с гуслями, наш, русский, наш Садко! Он собирается в путь, в страны заморские, на оснащенных кораблях. Сказка, седая старина русская, вымысел крылатых душ. А кто же это плачет, кто сидит на камне, поет и плачет?.. Жена Садко... Любава, Купава! Как же?.. Где ж Садко?.. Зачем плачет Любава? Зачем поет и плачет?.. И это не жена Садко, это Наташа, его, Петра, невеста... Она прижалась к Петру, шепчет: «Музыка, какая дивная музыка!.. Зачем ты, Петр, плачешь?» Петр гладит ее волосы: «Наташа, милая!.. Как хорошо жить на свете!» — «Не плачь», — говорит Наташа и заглядывает в его глаза бережно и нежно. А гость веденецкий, гость варяжский:

Мечи булатны, стрелы остры
У варягов...

Кругом вырастают серые гранитные скалы, волны бьют в них, плещут и с воем отскакивают прочь... «Угрррюмо мо-о-ре!..» — во весь сильный голос подтягивает Петр. — «Что ты, что ты! — вскрикивает Наташа. — Я со стыда сгорю... Слышишь?! Сгорим, сгоришь!»

— Сгоришь! Эй ты, как тебя? Милай!

Петр открыл глаза, боднул головой и недоуменно осмотрелся. Пахло гарью.

— Сгоришь, мол... Эк, заснул!

Петр сорвал с себя тлевший пиджак и притоптал ногой.

— Задремал, — сказал он смущенно. — Устал маленько, назябся... Уголек скакнул...

Все еще полный грез, он поворошил в печке. По углям переливалось золото, играли янтари и аметисты, и в этом мерцающем движении красок Петру чудилась музыка.

— Однако завтра встану, — сказал рыбак. — А то пролежни у меня... тяжелехонько.

— Что?

— Экой ты человек дорогой!.. И откуль ты взялся, андель божий? — растрогалась женщина.

На измученном, все еще безобразном лице ее показались слезы. Она отерла их сухим дрожавшим кулачком.

Петр подумал: «Кажется, можно поговорить». Он спросил:

— Откуда ж вы? Как сюда попали?

— Мы ведь тебе сказывали.

— Когда?

— Сказывали, сказывали... Недавно, быдто... Ты на сутунке сидел, обутки тачал дратвой.

— Я только что пришел.

— Сказывали, сказывали!

— Ага! Ну, хорошо, — поспешно согласился Петр. — Я и забыл. Верно...

А сам подумал:

«Галлюцинация! Возни с ними будет порядочно».

Он подошел к ним со светцем и присмотрелся. Вялые, сонные, болезненные лица. У женщины голова тряслась, ввалившиеся щеки подергивались, словно она подмигивала. Шел тяжкий запах, и нельзя было проветрить, уничтожить его, избыть: дух тления жил в них самих.

«Эх, ты, чорт, живут же люди!.. Ну, ну!» — брезгливо и больно шевельнулась мысль, и он вздохнул.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Проснулся ровно в десять. Болела голова, позванивало в ушах.

— Воздуху, — сказал он, — на простор!

Напоив чаем рыбаков и плотно подкрепившись, он пошел к океану рубить из сушняка дрова. В сенцах лежали мертвецы. Петру сделалось неловко, сумно. Он проворно отворил наружную дверь. Хлынул серый свет. Петр огляделся. Мертвецы лежали, как тогда, — труп в одежде и обглоданный костяк.

— Ну-ка, вот сюда ложись, брат, рядышком... Вот так... — сдвинул их друг к другу.

На шесте висела дерюга. Снял, покрыл ею мертвецов.

— Теплей будет... вот так... Ничего, лежите, Андрей да Михайло. Ничего!

Он тужился бодриться, стараясь прогнать охватившую его робость, но сердце вздрагивало и обливалось холодной жалостью.

Он шагал к океану твердо, с лицом суровым, окаменевшим, думал:

«Вот она, жизнь... Молодые, видимо. Жили, радовались. Эх, кабы знать, где кончишь жизнь! И когда ее кончишь?..»

— Зачем? — громко спросил себя Петр и не знал, как ответить.

Небо в рыхлых облаках, меж которых бледно голубела высь; на севере тяжелым свинцом лежали тучи, восток окрашивался розовым.

— Знаю, не обманешь! — остановился Петр и повернул лицо к востоку. — Я тебя, солнце, еще не видал здесь... Вряд ли поднимешься. Обленилось...

Он снял большую с наушниками шапку и отер закрасневшееся лицо. От вспотевшей головы струился пар.

— Да, скоро полярная ночь... Ну, что ж, посмотрим! — вызывающе воскликнул он.

Но пред его глазами встали больные, беспомощные рыбаки. Петр смутился.

На отмелом берегу бухты, среди нагроможденных глыб льда, чернел целый залом прибитых бурей деревьев. Петр сбросил рукавицы, поплевал на ладони и принялся. Щепки с воем летели во все стороны, и по льдине кувыркались желтые поленья. Петр безустали взмахивал топором с каким-то ожесточенным раздраженьем. Он не знал, откуда пришло, но чувствовал, что оно растет и крепнет в нем.

— Ерунда, вали! — вскрикивал он и, прикрякнув, богатырскими взмахами крушил сушняк.

— Стоп!

Он распахнул оленью парку с широкими, как у рясы, рукавами, достал бинокль и начал щупать даль. Нахолодавший металл бинокля ожег глаза. Мертво, лениво, пусто. Льды, кой-где взбугренные, белой равниной уходили к горизонту и тонули в сизой туманной мгле. Местами чернели полыньи, и над всем простором навис какой-то угнетающий сознание сумрак. Полнейшая тишина. Спит океан, дремлет воздух. Хоть бы тюленей где увидать или белого медведя! Даже песцы попрятались, и не видно птиц.

Смерть кругом, безмолвие.

— А я-то, я!.. Живой или мертвый?.. — громко взывает Петр, голос его раскатывается и насмешливо прыгает меж скал.

«Песню, что ли, запеть?»

Но сердцу не хотелось песен. Было два часа. Он закурил трубку и провел по небу взглядом. Там висели лохмы зловещих туч.

«А ведь солнце-то не показалось».

— Милостивец наш, как тебя звать-величать? — проскрипел рыбак.

— Петром.

— А меня Хведором, а ее Марьей, старуху-т мою... Вот будемте знакомы, коли так. Ох, грехи, грехи!..

Дрова весело горели, хлопотливо лопоча огненными языками и распространяя колеблющийся свет. По ослизлым, заплесневевшим стенам скакали тени от торчавшего в углу ухвата, от суетливо сновавшего Петра. Он был в одной рубахе с засученными рукавами и всюду поспевал. Принес корыто, стал его оттаивать, а после обеда принялся за стирку. Грязное белье рыбаков жмыхало под его руками, от мыльной воды вздувались радужные пузыри и летали по избе. Рыбаки во все глаза следили за Петром и за пузырями, как дети. Марья глупо улыбалась, из открытых вспухших губ текла слюна.

— А как же тебя, милостивец, звать-величать? — вновь проскрипел Федор.

— Я ж сказал, что зовут меня Петром.

— Так, так, так... — откликнулась Марья, завозилась. — Петрован, батюшка, — сказала она, — а где мой Мишка? Не повстречал ли ты мово Мишку, племянника мово, родного племянничка, сестры Степаниды сынка? Чуешь? Ушел и ушел.

— Ну, Андрюха-то померши, — подхватил Федор, — он чужой, пес с ним! Царство ему небесное. Мишка говорил — померши... в сенцах быдто бы. А вот где Мишка-т?

— Ушел и ушел, — простонала Марья, облизнулась и чтого зашептала.

Петр подумал и сказал:

— Михайло тоже помер. Андрей и Михайло умерли.

— Ну?! — воскликнули рыбаки и закрестились. —Царство небесное, привечный спокой...

Марья засморкалась, завсхлипывала:

— Петрован, батюшка... покажь ты мне его. Проститься бы напоследочки!.. Ради Христа, голубчик!

Петр оторвался от корыта и посмотрел на рыбаков:

— Я их похоронил.

— Врешь! — крикнула Марья. — Врешь! Зачем врешь?.. Он седни приходил... темно было... стучался... Он живой. Врешь!.. врешь! Убить его, видно, хочешь?!

Она закрылась с головой шубой и завыла толстым голосом.

— А ты, дура, не реви, — остановил Федор. — Чего ты, полудурок?.. Живо-ой приходи-и-л!.. Знать, во снях пригрезилось.

Марья замолчала, успокоилась. Молчал и Федор.

— Чорт знает, что за чушь! — глухо проговорил Петр и с еще большим ожесточением стал стирать и жмыхать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Придется похоронить. Что ж это я?..»—с такою мыслью проснулся поутру Петр.

Вставать с нагретого места—лень. И не хотелось умываться снегом. Однако пересилил себя, встал.

Управившись с делами, взял ружье, топор и вышел. Подымалась непогодь: в сенцах крутились белые вьюнки, пробивавшиеся в щели.

Петр открыл дверь. Мертвецы лежали смирно, только дерюга у края прошлепывала от наплывавшего с воли ветра. Сердце Петра забилось короткими толчками. Тень страха вновь проползла перед ним. Он нервно шагнул к мертвецам и откинул дерюгу.

— Ты, что ли, по ночам ходишь-то? Который Михайло-то?— твердо сказал он, но сердце не согласилось, заставило голос дрогнуть.

Петр громко кашлянул, по сенцам пошел гул. В стену раздался стук. Петр прислушался. Постучали покрепче. Петр вернулся в избу.

— Ты с кем это разговор ведешь? — лениво шевеля губами, спросила Марья.

Петр смущенно улыбнулся:

— Ни с кем.

— Как так — ни с кем? Врешь! — рассердилась Марья.

— Да сам с собой, себя ругал: забыл дверь в сенцы припереть — снегу намело.

— Так, так...—откликнулся Федор.—Куда ж ты собрался, желанный? Ты, слышь, не убегай далеко-то.

Петр шел быстрыми шагами, чем дальше, тем быстрей, словно боясь погони, но вдруг остановился.

«Ха-ха! Страх! Сегодня же лягу с ними спать!.. Страх!»

Смех, ложно прозвучав, растаял. Кругом завихаривали белые вьюны, над головой низко висели тучи, волоча сизой шерстью по земле.

Петр тревожно стал прислушиваться к себе: что-то назревало внутри, укреплялось, пускало корни.

«Вернусь, тяпну спирту».

Он оглянулся. Вихри, игриво бесясь, застилали зимовье. Он не знал, сколько отошел: может—версту, может—пять шагов.

Ноги увязали выше колен, снег скатывался с меховых длинных унтов, не попадая за голенища. Вскоре он почувствовал усталость, заныли крыльца, задрожали колени.

«Что за чорт! Кажется, захварываю. И зачем я залез в сугроб?»

По укатанному ветром снегу, вихрясь, скользила низом метелица.

«Поземок начался. Пурга будет».

Он вышел к берегу океана. Там, в белой мгле, тоже завихаривал поземок. Седой, косматый, он полз низом по всему необозримому простору, обшаривал снежные суметы, впадины, взлетал на горы льда, вздымался крутящимися вихрями и, подкравшись к Петру, стегал в лицо снежной пылью. Петр взобрался на скалу, черным камнем спускавшуюся к океану, и недвижимо встал на ней, как истукан. Ему люба ожившая природа: смерть кончилась, взметнулся ветер, скоро разразится пурга. О пурга! Страшный бич всего живого, гибель оплошавшему в тундре человеку. Но здесь, когда под боком пристанище, где можно отсидеться, — она только любопытна.

— Го-го-го!..—заорал во всю глотку Петр.—Гой, ты! Иди, брат, старуха, иди!!—И, как помешанный, замахал руками.— Да здравствует жизнь, движенье, суматоха!!

Ему не раз доводилось отсиживаться в тундре в яме, как ореху в снежной скорлупе; он сам тогда вызывал на бой пургу, мерялся с ней силой и всегда торжествовал победу. А вот теперь...

— Ну, и хорошо же, чорт тя ешь, жить на свете!.. Люблю!—вскрикнул Петр, наблюдая пляску вихрей, и сам удивился, что прежнего радостного порыва в сердце не было и иссяк в голосе металл.

— Да здравствует пурга!..

Ветер шел толчками—то стихнет, то ударит. На горизонте, где океан, копились белые облака, тучи давили землю, и полдневный час казался вечером. Вихри все чаще и чаще взмывали впереди. Словно белые привидения, они таинственно толпились по сумрачному простору, раскачивались, падали плашмя и вновь всплывали, наскакивали друг на друга, сшибаясь лбами, как шаловливые козлы. Или, схлеснувшись в кучу, крутым винтом взвивались вверх и, шумно буровя воздух, бесследно исчезали. А им на смену спешили другие, такие же неуемные чудодеи, чтобы снова сцепиться в бесовский хоровод и мчаться и нестись куда попало.

Петр растерянно стоял, наблюдая их игру.

— Покойники, — вдруг неожиданно для себя уронил он слово.

А за словом родился образ: те двое, Андрей да Михайло— мертвецы.

Он почувствовал, как весь дрожит: вихри забросали его снегом, позёмок навил возле ног сугроб, ветер распахнул парку, знобил тело.

«Андрей да Михайло — вихри — покойники...» — бессвязно толкалось в голове.

Он подумал про могилы. Здесь вечная мерзлота, землю ломом не пробить — кремень. Надо в пещеру. Вот сгинет пурга, уляжется ветер, умрет простор, тогда Петр отыщет хорошую пещеру в расселине скалы и замурует их, двух братьев по судьбе, Андрея да Михайлу — мертвецов; снаружи поставит огромный крест. Пусть смотрят звезды. И если увидят — что они скажут, что подумают?

«Надпись надо».

Да, Петр напишет на кресте твердые слова. Он напишет кратко, значительно. Он поведает о том, как побеждают сильные и гибнут слабые духом.

«А что ж, на самом деле, скажут звезды?»

Чтоб согреться, Петр надбавил шагу и, налегая грудью на ветер, спешил домой. А вот и зимовье. Петр деловито осмотрел его снаружи: плотно прижатое к скале, оно казалось несокрушимым. Закрыл ставни окон, крепко приперев жердями. Нарту вдвинул в щель меж скал. Валявшиеся кадушку с ведром и рыболовные снасти: сеть, подсеток, сак — втащил в сенцы.

Огляделся по сторонам. Ни темнело, ни светлело, все тот же стоял сумрак.

Позёмок безустали мел белой пылью. Влекомый по насту снег шелестел, как песок, ровным шелестом. Вьюнки что-то лопотали и едва внятно повизгивали. Все так же, порывами, толкался в скалы ветер.

Где-то вдали, очевидно за каменным кряжем, шумел океан, шуршали и потрескивали, ломаясь, льды.

Разогретый движением, он ощущал во всем теле приятную истому и с удовольствием сел на сутунок к камельку, чтобы выкурить трубку.

— Чегой-то чижало... Должно, гроза будет, — грустно сказала Марья.

— Гроза-а-а! Тоже ляпнет, полудурок! — огрызнулся Федор. — Ну-ка, подвинься, что ли... Чего ты на меня прешь?.. Ко-оло-да!

Слова рыбака грубые, корявые, но в переливах его голоса наблюдательное ухо Петра уловило оттенок сострадания.

— Холодно мне, — и Марья зябко подскочила на кровати.

— Э, чтоб те пятнало! — крикнул рыбак.

Петр накрыл ее овчинным тулупом и от безделья стал резать из полена человека.

— Мишкин тулуп-от... Его и есть... — заговорила больная тихо, проглатывая слова, как в бреду. — Когда-то некогда пришел он и говорит, быдто... это Мишка-т, племянничек-то мой. «А я, брат, девка, жениться хочу...» Ну-к что, баю,

женись... Гляжу, птичка взлетыват... все взлетыват да взлетыват, так, не великонька, с рукавицу будя. Что же ты, баю, птичка, все взлетывашь?!

— Замоло-ола!.. Ох, ты, ох!.. — простонал Федор.

И Марья застонала.

Федор плачущим голосом сказал:

— Была силушка, а где она? Нету!

И умолк надолго, должно быть, заснул. Только Марья стонала, жалуясь на поясницу, и все звала Михайлу, злясь, что не приходит, не откликается.

Острый нож поблескивал в руках Петра, из полена выходила болванка, стала намечаться голова.

«Эх, напрасно сюда пришел», — вдруг подумалось ему. И тотчас же за работой позабылось, словно кто другой подумал, не он, не Петр Лопатин.

Через закрытые ставни дневной свет не проникал, в избе темно, как ночью, только горящий камелек освещал колени Петра, его руки и лицо, когда он наклонялся.

«В сущности зачем я здесь?»

Петр отложил болванку, пропустил меж колен сомкнутые руки и, согнувшись, уставился на огонь. И точно в клубящемся пламени вычитал, вдруг ясно осознал то, о чем тайно думал. Губы сами собой пролепетали:

— Расхвораюсь — смерть тогда.

Эти слова гвоздем засели в голове, что-то отлило от сердца, Петр просидел в оцепенении несколько мгновений.

«Нет, этого не может быть! не позволю!.. Не подчинюсь».

Откуда-то со стороны выплыл неясный призрак белого медведя, выплыл и остановился, как в тумане. Петр раздраженно отвернулся и стал думать о другом: об архангельских лесах, вспомнил закадычного друга своего, мужика Ваську, вызвал в памяти его вечно улыбавшееся чернобородое лицо. Но странный призрак белого медведя, как ни старался отодвинуть его Петр, забыть о нем, все неотвязней лез в глаза.

«Да, конечно... устукать его надо», — подчинился Петр и, все так же глядя на огонь, увидал перед собой далекий снежный ландшафт: льды, полынью со свинцовой водой и над ней — медведь.

«Да, хорошо убить его и попить горячей крови.. Крови? Почему? От цинги помогает, возвращает жизнь. Ну, что ж, это ничего, это хорошо, хорошо, хорошо, да, да... хорошо. Петр быстро подымет на ноги Федора и Марью».

«И себя...»

«Себя? Почему себя?»

По лицу Петра скользнула хмурая тень. Он весь встряхнулся и раздраженно кашлянул.

«Нет, постой!.. Не то, не то!»

Он вторично напряг волю и круто повернул мысль на веселое, желая подбодрить упавший дух. Размашисто шагнул памятью все в те же архангельские дебри, в родное свое село, мысленно рванул ручку двери и очутился средь гулливой пирушки друзей: пропивали товарища, женили на красе-девице. Песни, хохот, пляс. «Вали, Алеха, веселей!» Петр крутился вприсядку. Алеха во-всю растягивает горластую гармонь.

— Хорошо!.. Эх, чорт!.. — пробормотал Петр и вдруг ощутил во рту вяжущий, приторный вкус крови.

Он почмокал губами: «Кровь...» — и сплюнул на пол. Отвел от огня утомленные глаза и уставился в темный угол над кроватью.

Во тьме мутно засветлело огненно-желтое пятно, вот оно обратилось в медведя: медведь лежал на боку, из бока струилась кровь, а Петр жадно пил ее, припав к ране.

«Тьфу! — сердито сорвался Петр с сутунка, вскрикнул, в поясницу стрельнуло, острая боль змейкой взметнулась по спине к затылку, но тотчас улеглась. — Чорт!.. Нет, это не того... дрянь».

Шагая взад-вперед и брюзжа, Петр не мог отделаться от вкуса медвежьей крови, злился. Не то чтобы она была противна, эта кровь, — пивал же он оленью: бодрит, вливает жизнь, — его возмущало идущее извне насилие над его волей и связанное с этим предчувствие чего-то нехорошего.

«Врешь, не поддамся!»

Он достал из походной сумы спирту и отхлебнул два больших глотка.

А за окном уже начиналось: постукивали ставни, скрипела на крыше флюгарка, рождались и таяли злобные шорохи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вечером угнетенное состояние духа усилилось. Чувство, похожее на какой-то неопределенный страх, крепло. Где ж начало этого чувства, по каким душевным тропам оно пробирается к сознанью? Боязнь это или страх сам в себе, страх самодовлеющий, близкий к животному инстинкту? Петр вяло отмахивался от этого вопроса, даже ему было лень продумать причину того, почему именно он не хочет дать ответ. Он только мысленно спрашивал себя, как в бреду: «Боязнь или страх, боязнь или страх?» Продолжал сидеть перед камельком, рассеянно посматривая на огонь, не в силах сосредоточиться.

«Очевидно, влияние пурги. Любопытно бы сюда барометр. Каково-то давление?.. Вот оно и давит, и давит...»

На кровати закашлял Федор, что-то зашептала его жена, и вновь все умолкло, только поуркивало пламя да ветер пробовал, крепко ли приперты в окнах ставни.

Петр поднялся, собираясь что-то предпринять, скрестил на груди руки и в нерешительности вновь опустился на сутунок. Ему нужно пережить внутреннюю борьбу, нужно подавить противоречие, мгновенно возникшее в нем помимо воли, надо победить себя.

«А вот возьму да и пойду! Лягу с ними... Вот те страх!»

Он прекрасно знал, что для победы, для укрепления духа необходимо итти напролом, навстречу страху, наперекор зародившейся в душе пурге, может быть, еще более опасной, чем та, что грозится грянуть над мертвой тундрой.

Петр никогда не боялся покойников, ему не страшны ни живые, ни мертвые. Но что же теперь? А может быть, здесь, на океане, когда бушует пурга, человеческий дух иным подчиняется законам?

— Иду! — и Петр вышел в сенцы.

Сквозь щели врывался в сенцы ветер, тусклый огонек светца крутился и трещал от падавшего снега.

«Надо завтра смастерить фонарь», — подумал Петр и поставил светец в тихий угол, на опрокинутую кадушку в головах мертвецов. Колеблющийся свет колыхал сгущенный мрак, и Петру сначала показалось, что все предметы в сенцах движутся, переменяя места, о чем-то шепчутся и стонут. Но тотчас убедился, что все оставалось неподвижным и безмолвным, только озорные вьюнки кудряво вихрились из щелей и выла над крышей набиравшая силу пурга.

«Ничего, ничего... музыка знакомая», — улыбнулся Петр, чувствуя потребность возможно чаще подбадривать себя. Он нашел в углу свернутую оленью шкуру, служившую постелью, встряхнул ее и бросил на пол между мертвецами и стеной.

«В тесноте, да не в обиде», — и Петр, не раздумывая, лег, накрывшись заячьим походным одеялом.

«Потушить, что ли? Нет, пусть горит».

От кадушки, где стоял светец, падала тень на лицо Петра и на слегка запорошенную снегом дерюгу, закрывавшую покойников. Огонек то горит спокойно, то вдруг затрепыхает, склонится, вот-вот погаснет, а вместе с ним тревожно заколышется и тень.

«А ведь дерюга-то шевелится, — подумалось Петру, но он тотчас же поймал себя: — Тень... это тень гуляет», — и прошептал, вглядываясь в потолок:

— Если поддаться, так покойники разговаривать начнут. А то вылезут да и...

Он улегся поудобнее и громко сказал:

— Ну, братцы, Андрей да Михайло, давайте-ка, други, спать!.. Покойной ночи!

Вьюнки по углам ответили жалобным тихим визгом, на дворе заплакала в голос вьюга, мертвецы вздохнули и придвинулись к Петру.

«Ничего, ничего», — ухмыльнулся Петр, защурился.

На него исподволь накатывал сон: крепко под вьюгу спится — он это знал и нетерпеливо манил к себе забвенье.

Вот заснули ноги, грудь, спина, лишь в голове бродили отблески дум и треволнений: пурга кружилась там, мешала сну... Петра знобило. Он подобрал колени.

«Уснул, что ли? Нет, не уснул».

Петр ощущает: кто-то уснул в нем, но не он, и этот некто, уснувший, мешает ему спать.

«Стой... стой... кажется, засыпаю».

Заснул, только уголек не хочет спать, где-то поместился светлой точкой позади глаз и вихляет, и кружится. Тяжко. Думать? О чем думать? Не надо ни о чем думать... Тогда скорей. Но уголек бешено описывает закорючки, крутится, крутится.

«Крутись, чорт тебя дери, крутись!»

Петр приказывает ему погаснуть, Петр умоляет его, кричит, мысленно топает, но не может заглушить вдруг родившиеся в нем два голоса.

«Отверни дерюгу, посмотри!»

«Зачем?»

«Ага, боишься?»

«Не боюсь».

«Тогда отдерни, загляни!..»

Петр грузно вздрогнул, кашлянул, по сенцам пошли гулы. Петр открыл глаза. Темно. Погас, что ли? Отыскал взглядом светец. Горит, но не дает свету. Хвостатый огонек мутен, он весь в тумане из мельчайшей снежной пыли.

Глаза слипались, голова валилась к изголовью. Петр загасил светец. Все окуталось тьмой. Вновь лег, плотно укрылся, приготовился ко сну, но мозг работал и работал.

— Да чорт вас дери!.. Я вас не боюсь! — стискивая зубы, шептал Петр. — Вот встану и уйду... Довольно!

И вправду, зачем ему возиться с мертвецами, когда можно лечь в избе у живого камелька?

Забросаем вишеньем,
Вишеньем, калиною...—

внезапно врезались в мысль девьи голоса и смолкли. Он и не подумал удержать их, даже подосадовал, что непрошенно явились.

«Действительно,—продолжал он, решив, что сон прошел,— действительно, зачем мне оставаться здесь? Меня интересовала причина страха. Теперь узнал. Во всяком случае не мертвецы, не эти двое, не соседи. Да и что такое мертвец? Материя, ненужная вещь, клопиная шкурка. Душа? Может быть, душа страшна? Ну, допустим, придет, заговорит... Что ж! Только интересно. Интересно и... страшно... А почему? Да потому и страшно — в сущности не страшно, а опасно, — что души-то нет, в душу-то я не верю, а если она явилась, значит, она в тебе сидит, в твоем воображении, значит, ты спятил с ума или собираешься рехнуться».

«Ну, айда в избу!»

Петр даже шевельнул ногами, пытаясь подняться, но под одеялом сделалось угревно, все тело обуяла лень. Вот полежит немного и встанет. Он готов был праздновать победу, он победил страх, победил себя.

«Вставай, вставай!»

Нащупал спички, чтоб зажечь огонь, еще минута — и встанет. Ах, как хорошо лежать!.. Лежит и прислушивается к звукам ночи. Забавно! Черти по углам сенец насвистывали в кулак и перекликались, царапали снаружи когтями стену, стучали в дверь; то здесь, то там, в неведомой дали кто-то хохотал и плакал, и безумолку тараторили болтливые голоса. Петр и не заметил, как уснул.

Часы ночи медленно ползли. Буря крепла. С океана мчались все новые и новые волны урагана. В сенцах хозяйничал ветер, со свистом врываясь в пазы. В стены бухали камни, и, как дробь, стучала галька. Вот сорвет крышу, вот по бревну расшвыряет зимовье. Под ударами ветра дрожали стены.

Кто-то идет, шоркает ногами, бормочет. Кто-то крадется, как вор.

«Уы-ы-ы!.. уы-ы-ы!!.»

И вдруг тьма сенец сотряслась и задрожала. Пронзительно, дико заорал Петр. Поспешная невидимая борьба. «Стой! Кто тут?!» Стон, крики, визг, и Петр, с размаху хватив обеими руками в дверь, вылетел наружу.

С хохотом, свистом пурга враз набросилась на него, закрутила, застегала, заткнула рот, отняла дыхание, приподняла упругим ветром и, как куль, швырнула в мутную бесовскую кутерьму.

«Чорт!.. Что же это?..» — едва передохнул Петр.

Он вскочил, но порыв ветра, хлеснув, тотчас же опрокинул, перевернул, поставил на дыбы, сшиб снова и в ошалелых, буйствующих вихрях сбросил его куда-то вниз. Петр припал грудью к земле, закрыл лицо руками и тяжело, над-

садисто дышал, жадно глотая воздух. Над ним с воем проносился ветер; снег, крутясь, заметал его, в обнаженную шею стегало, как песком, и холод насквозь пронизывал с головы до пяток. Еще несколько минут — и его сравняет с сугробами. Но ему почему-то вдруг стало весело:

«Вот так сальто-мортале... Хорош козел!» — и он нервно засмеялся.

А пурга вторила ему, язвительно хохотала:

«Хе-хе-хе!.. Врешь, молодчик, вреш-ш-шь!»

«Я те покажу-жу-жу! Жжжж! жуууу!..» — ревела вьюга.

Передохнув, Петр пополз вперед. Он догадался, что его бросило с каменного уступа, где зимовье, что он ползет круто вверх, как раз к жилищу. Извиваясь и пыхтя, забирал все выше, выше...

«А ведь сбросит... Чорт, как круто!.. Нет, не сбросит... Нет, сбросит!»

«Держись!» — Петр судорожно уцепился за обнаженный камень.

Ветер рванул, хлеснул в лицо, больно ударил по рукам, и он с проклятием закувыркался вниз.

«Жжж! жу-у-у-у!.. Жу-жу по-кажжжжу!..» — ревела вьюга.

Все так же лежа ничком и согревая дыханием коченевшие руки, Петр быстро соображал, что делать. Жилище тут и есть, над головой, только очень крут откос. Влево, вдоль скалы, идет пологая тропа, но как добраться до нее? Вдруг закрутит, замучает пурга, вдруг подхватит вихрь, кинет в океан, убьет?

«Ну-ка, Петр, вали!»

Сердце забилось полной кровью, кровь ударила в виски, весь он кипел и рвался в бой.

«Ведь тут не тундра... Изба!.. Народ!.. Не пропаду же!»

И он пополз влево, навстречу ветру, к той заветной тропе.

«Неужто пропаду? Неужто пропаду?»

Поднялся, шагнул раз-другой — и снова пал от ударов бури. Какая-то странная, мутная была тьма. Все стонало кругом, злобствовало, и нечем было дышать.

«Задушит...»

Ветер опрокидывал его, бил со всех сторон, тормошил, швырял, как сшитую из тряпок куклу.

«Вздохнуть бы!.. Фу ты!..» — полз, полз и вдруг раздумал. Испугался. Ему показалось, что силы оставляют его. Он круто повернул назад, по ветру, и стал тщательно ощупывать следы, но их уже замело, сровняло. Не знал, куда ползет. Руки коченели, дыхание прерывалось, хрипела грудь. Короткое раздумье — и острый ужас:

«Что ж, гибель?! Смерть?!»

Позабыв дышать, он заметался из стороны в сторону — следов нет, и сразу понял, что ему грозит неотвратимая опасность. Защищая чужими, деревянными ладонями лицо, стал всматриваться в мглу дикой ночи.

Распоясалась, размахнулась, ударила буря во всю мочь: все сотрясалось, грохотало. И рушились, падая в тартары, небеса. По пояс в снегу, как покачнувшийся столб, стоял Петр, крепко обхватив голову. Шевелились со страху, топорщились волосы, выкатывался из глаз последний свет.

Обостренный слух только теперь поймал и довел до сознания всю неописуемую массу звуков. Ошеломленный, раздавленный, Петр замер. Это было так ново и величественно, так нестерпимо больно, физически больно: не вмещалось, давило, потрясало до последнего нерва все существо его. Еще мгновение — и он сам завыл бы, как дикий зверь.

«А рыбаки?»

— Да, да!.. — крикнул он. — А рыбаки?!

Бурно хлынула откуда-то, удесятерилась сила. Крепко, уверенно он вылез из сугроба, боднул упрямо головой, по-медвежьи рявкнул, и, для устойчивости расставляя ноги, прижав локти к бокам, нагнувшись, Петр, как медведь, попер вперед.

«Шутить изволите, богиня!..»

Борьба с бурей, которая валила его с ног и не могла свалить, доставила ему обманную быстротечную надежду. Однако надо быть настороже, надо считать каждый шаг, каждый поворот. Ветер бил бешеными толчками, вырывая под ногами большие воронки или вмиг забрасывая снегом по колено.

«Ложись!» Он распластался на снегу, переждал пронесшийся шквал — хорошо лежать — и едва поднялся: истомная лень вминала его в сугроб.

«Пережду... В снег зароюсь... Нет!.. Нелепо! Изба рядом... Стихнет, может быть!...»

Но он знал, что пурга держится иной раз целую неделю. Он вновь начал быстро терять силы. В воспаленном мозгу пролетали, как вихрь, воспоминания о том, как гибли в пургу люди в пяти саженях от жилища.

Он согнул колени, сел и несколько минут был как в забытьи, с защуренными глазами. Стало одолевать опасное равнодушие, безразличие, хотелось на все плюнуть и вот так, скорчившись, сидеть и ждать.

«А ведь погибну».

Петр выкатил глаза и заорал во всю свою богатырскую грудь:

— Эй, Федор! Федо-о-р!!

Голос Петра хрипел и рвался. Пурга как будто затихала,

даже чуть побелела мгла. Но и силы в Петре кончались, роковой круг замыкался, сводил концы.

— Господи, не дай погибнуть!

И лишь взмолился он, неверующий, все в нем бессильно опустилось, все похолодело, замерло.

«Отходная. Конец...»

Он вдруг сорвался с места.

«А ну, чорт тя ешь, а ну!!»

Скрутив в пружину волю, он крупно зашагал, наваливаясь со всех сил левым плечом на ветер.

«Вперед!» — пружина дрожит в груди, воля надрывается. Все выше по откосу, выше. Ага! Тот самый камень, грань жизни, жизнь! Он впился в обледенелый, с острыми ребрами, торчок скалы.

«Держись!» Но застывшие руки скользят, не держат.

«Чуть-чуть!.. Маленько!.. Ну!» И кто-то с силой тянет его за ноги вниз, кто-то хохочет, снегом захлестывает лицо, нет воздуху.

— Федо-о-р!.. Марья-а-а!.. — Его отчаянный зык гудит трубой. — Федо-о-ор!..

И чудится: стоят над ним двое — белые, снеговые, шепчутся, скорготчут: «Столкнем, столкнем!..»

— Тащите, что ли!.. Черти! Оборвусь!.. Обо-ор...

Вихрь крутанул, взметнулся, и с целым ворохом белой пыли Петра подбросило вверх, на площадку. Оленья парка загнулась ветром на голову. Он тяжело поднялся, шатаясь, словно пьяный, шагнул вперед, припал плечом к избе и радостно, надсадно задышал.

«Я те покажу-жу-жу!.. Жжж! жуууу!» — выла пурга.

Петр скрестил на груди руки и, набрав силы, прыгающим голосом ответил:

— Врешь, старуха!.. Дудки! Моя победа, ведьма косматая!..

«Жжж! Жжжж! Жу-у-у-у!..» — крутились вихри.

Петр по стене пробрался к открытой двери в сенцы. На него напала оторопь. Пугливо озираясь и дрожа, он быстро перебежал мрак сенец и со всех сил рванул занесенную снегом дверь в избу.

— Михайло, Мишка, — вскрикнули спросонья рыбаки. — Мишка, ты?

В печи ярко полыхали только что подброшенные дрова.

«Кто затопил? — мелькнула мысль. — Неужели Мишка?..»

Но, до смерти обрадовавшись огню и теплой избе, Петр сорвал с себя обледенелую меховую парку и в одной рубахе, как подкошенный, повалился на пол. Его сразу сковал глубокий, почти обморочный сон, какой бывает у замерзавших и нежданно очутившихся в тепле.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пурга свирепела над землей вторые сутки. Петра разбудил крик:

— Эй, ты, проснись!

Он поднял тяжелую голову. Холодно, темно. Зажег огонь. Плохо проконопаченные стены слабо сопротивлялись ветру. Струи воздуха разгуливали по избе, колебали пламя светца, покачивали висевшие под потолком снасти. Сильные удары бури все так же сотрясали избу. В стены, не переставая, грохало: вихрь, вырывая из поленницы дрова, швырялся. Федор и Марья то вскрикивали, как сумасшедшие, то стонали и охали, осеняя себя крестом.

Под вечер особенно грозно рванул с налету ураган, что-то затрещало кругом, обрушилось. Федор вскочил с кровати и, хватаясь за стол, за скамьи, пал перед образом:

— Господи Суси! Марья! Петрован! Вались на колени, ой, ой! Зажигай, тебе говорят, богову свечку, зажигай!

Марья закричала в голос. Петр бросился к трясущемуся, хлюпавшему в слезах Федору:

— Зачем же ты? Эх ты, брат!.. Лежи знай!.. — приподнял его и повел к кровати.

— Свечку-то!.. Господи Суси!.. Погибель!..

Петр отыскал за образом восковой огарок и зажег. Федор с Марьей закрестились. За стенами стало утихать. Искаженное испугом лицо рыбака просияло.

— Петрованушка, — ласково сказал он, — а ты бы перекрестил рожу-то. Нехристь!

Петр молчал.

— Перекрестись.

Петр упорно молчал, словно его здесь не было. Да, он душою там, в сенцах, среди мертвецов.

Рыбаки что-то бормотали, охали, звали Петра, но он одеревянело стоял, прислонясь плечом к стене, и посматривал на огонь каким-то незрячим отчужденным взглядом.

«Что ж вчера произошло? Да и было ли что? Конечно — галлюцинация, кошмарный бред, сон...»

Петр пытался сосредоточиться, все вспомнить, пережить, перечувствовать, но что-то упорствовало в нем, мешало собрать обрывки снов и мыслей.

— После. Надо одному... — услышал он свой голос.

Встряхнулся, окинул недоуменным взглядом черные стены. Потянуло на работу, захотелось отрезвить себя, укрепить дух трудом.

— А нет ли у вас длинной веревки? Дрова таскать.

— Дак ты охапкой.

— Ветром сбросит. Чу — пурга! Я привяжусь.

Он надел парку, опоясался концом веревки и раздумчиво положил руку на скобку двери.

— Вот натаскаю дров да обед сварю! — крикнул он, хотя кровать рыбаков была возле.

Он крикнул громко, ему нужно было крикнуть. И зашагал по избе, как неживой, словно кто водил его из угла в угол. «Сон! Приснилось...»

В голове вновь все смешалось, перепуталось; торчали незримые хвостики, метались, вспыхивая и угасая, огоньки, кружились точки, змейки, обрывки фраз. И через весь этот рой, как заостренный кол сквозь гущу, выпирало наружу вчерашнее, становилось Петру поперек дороги, разбойно издевалось над ним, мозолило уши:

«Что, голубчик! Сон или не сон?»

— Чего же ты мнешься? Эй, Петрован! Ходит и ходит...

Петр упорно что-то вспоминал. Зрачки расширились, меж бровями рассекла лоб вертикальная складка. Лицо состарилось. Надо спросить. Надо обязательно спросить. Наверное болящий Федор споткнулся и упал на него в ту ночь, там, в сенцах. Не мертвецы же... Фу ты, чорт...

— Слушайте, рыбаки!

Те молчали. Должно быть, сказал тихо или только подумал.

— Слушайте-ка!..

Петр подошел к ним вплотную, чтобы спросить, где ж ночевал он: в сенцах или здесь, у печки, на полу? Хотел и не хотел знать. Хотел — потому, что тогда все станет ясно и определенно. Но эта определенная ясность страшна... не ему, не силачу Петру Лопатину, а кому-то другому, маленькому, бессильному и робкому.

«Нет, не спрошу!»

Петр втайне верил, что знает сам все до единой капли, но тот другой, ничтожный и назойливый, подстрекал его притвориться, что он не знает ничего.

«И не надо, — соглашался Петр, — а то конец всему, точка».

И вновь бесплодная мысль Петра стала вилять по закоулкам мозга, угадывая — сон или не сон?

«А ведь с ума можно спятить!.. Чорт!..»

Сумрачный, разбитый, все так же ходил он взад-вперед. Половицы скрипели болезненно, сердито: им тяжелы досадные грузные шаги. Веревка плелась змеей у ног его. Он подошел к огню и осмотрел ладони:

«Красные... Ссадина. Кровь... Острый камень... Скала».

— Да, было!.. Помню, — встряхнулся Петр. — Было! Обязательно было!

— Ково? Эй!

— Так... Это я так... Рукавицу ищу.

У Петра шерстяные рукавицы, а сверху огромные мохнатки из собачины. Мохнатки нашел, рукавицу нашел, другой нет нигде. Искал, искал — нету. Плюнул и отворил дверь в сенцы.

Там снегу не было. Он чиркнул спичку: наружная дверь закрыта на крючок, пол чист, мертвецы под дерюгой тихи. По спине Петра прокатился холодок.

«Любопытно!.. Когда ж это он успел дверь-то запереть и снег вымести?» — подумал Петр про Федора. И еще подумал: «А вдруг я действительно видел все во сне там, у печки, а не здесь?»

Вновь чиркнул спичку и поднес огонек к пробою наружной двери. Крюк перебит в другое место, а чуть пониже желтело в косяке вырванное с мясом дерево: сомнения нет, это Петр вырвал. Значит, было то нелепое, от чего он с таким ужасом бежал. Но кто же мог перебить крючок?

«А ну-ка, кадушку осмотрю... где светец стоял».

Меж стеной и покойниками нашарил ногою место, там должна быть шкура, его постель. Пусто. Шкура стояла свернутой в углу, как и раньше.

— Тьфу! — не выдержал Петр.

Глаза засверкали, а холодок полз и полз по спине, будоража кожу. Нога нащупала мягкое, поднял — рукавица.

«Ага, вот оно что! — путался в догадках Петр. — Но ведь не мертвецы же это все проделали?»

Бормоча что-то под нос, он принес светец и поставил, как в ту ночь, на опрокинутое дно кадушки. Пламя колыхалось, седые вьюнки кудрявились в щелях, за стенами сопела и охала метель.

— Ну-ка, братцы... с ревизией! — Он откинул дерюгу, напряженно улыбаясь. — Извините, братцы!

В этот миг он ненавидел свою душу. Власть над самим собой пропала, все шло вразброд: руки, ноги, сердце — все жило своим маленьким хотеньем, все покорялось одному чувству трусости.

«Вот он, человек!.. Царь!» — не то про себя, не то про мертвецов с презрением подумал Петр.

Тихие мертвецы жались друг к другу. Впрочем, мертвец был один, в драной одежде, с лицом, обглоданным зверьем. Другой — груда костей, прах, тлен. Только череп скалил на Петра зубы, а в глазных провалах, где стояла когда-то жизнь, колыхались темные вопрошающие тени.

— Похороню, братцы, похороню!.. Потерпите, — сказал, холодея, Петр, накрыл их дерюгой и вышел.

Погода утихала, но ветер все еще в силе. Мутно-белые сумерки попрежнему скорготали и всхлипывали, неугомонный снег крутился, замыкал простор.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Прошла неделя. На дворе было ясно, трещал белый полярный мороз. Петр сидел возле неугасимого камелька и отливал из тюленьего сала свечи.

Федор чувствовал себя плохо: весь ослаб, затосковал, надоедно твердил, что ему больше не подняться, что за ним приходил Михайло, звал его.

— Плюнь, чего там? — ободрял его Петр, пенял: — Сам виноват: вылежался бы до поры до времени. А то вскочил, перед иконой ползал. Вот и намолил!

— Да ведь страх-то какой, Петрованушка! Аж волосики встопорщились.

Сквозь промерзлые окна с трудом просачивался день. Бледный, скудный свет подползал к кровати, мазал лица рыбаков мертвой краской. Но глаза их жадно хотели жить, набирали силу, с надеждой посматривали на закоптелый образ Спаса, на крепкие плечи Петра, на жаркий неуемный огонь в печи.

— Расскажи-ка, Федор, как попали-то в эту щель? Любопытно.

Рыбак тягуче откашлялся, сплюнул и перекрестился. Он говорил и час и два, язык месил слова, как тесто, память путалась в событиях однообразной жизни.

Петр слушал рассеянно. В шершавую речь рыбака иногда вклинивались его собственные мысли, перевиваясь в болезненный смутный жгут. Петру казалось тогда, что не рыбак говорит и хныкает, а он, Петр Лопатин, жалуется кому-то на засевшую в нем хворь.

— Тут мы и закручинились, дале да боле. А старуха-то моя нет-нет да и ударится в голос реветь...

— В голос, батюшка, в голос... Дело бабье, глупое!

— Он, мотри, бросил нас безо всего.

— Кто такой? — спросил Петр.

— Да купец-то этот самый, Сила-то Назарыч... Как его хвамиль-то, будь он проклят...

— Как?.. Герасимов, — подсказала Марья.

— Какой Гарасимов? Гарасимов исправник был, а не купец. А то еще игумен, отец Гарасим... В монастыре тот в нашем, поди, знаешь монастырь-то Микола-Божати?.. Ну-к в нем... А ты не сбивай, дура-баба!.. То ли Пастухов, то ли Ездаков. Чернявый такой, брюхан. Э-э-вот како чрево, быдто в тягостях, бык быком! Купец-то... Недаром Силой звать... Сила, а между прочим жулик, будь он проклят.

Петр заставляет себя слушать, кой-что втискивает в свою память, подталкивает Федора, препятствует ему пьяно шататься по вихлястой тропе воспоминаний.

Уныло течет время. Петр утомился. Он раскинул на полу шкуру, лег, закрыл глаза:

— Говори, говори, я слушаю.

Да, он слушает. Прислушивается к себе и уж не борется, только робко ожидает. Она идет. Все чаще и чаще тело его просило отдыха. Но отдых не облегчал. Для натуры Петра отдых и смерть — одно.

«Уйти, бежать».

«Подло!»

Глаза отыскали револьвер, ощупали холодную сталь его, но тотчас же отвернулись. Над ним трепыхали, каркали, как растревоженное коршунье, слова Федора, надо схватить, поймать, но они летели прочь, бестолково осыпая перья.

— На кой тебе рожон? В море, в окияне, что рыбы, что зверья, сколько хошь! Только знай жри, не робей! Не подохнешь, мол... А я и говорю: «Паршивый ты, — говорю, — чорт, прости бог мою душу, кровопивец ты!..» Он меня за бороду цоп да в ухо!.. С тем уехал.

— Кто? — раздраженно спросил Петр.

— Как — кто?.. Купчишка!

Петр представляет себе купца, жирного, брюхатого, с заплывшими глазами, с жадным, заглотистым щучьим ртом.

«А я бы тебя удавил мерзавца!.. Я спустил бы тебя в полынью, к медведям!»

Петр приподымается на локоть, сердито щурит глаза.

— Завтра на охоту пойду. Надо убить медведя.

— Дале хуже, дале хуже... так мы и свалились... Чисто омертвели... — не слушает его рыбак.

— Кровь будем медвежачью пить. Слышите? Слышишь, Федор?

Вот оно, то самое, от чего так отплевывался Петр. Крови, скорее горячей крови! Ноет спина, тоскуют ноги, во рту сухо. А надо обед варить. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Эх, чорт! Упорно думает, курит трубку за трубкой. Облака дыма сизым свитком плывут в печь, пощелкивают дрова, бросая в Петра углями.

— Нет Андрюхи и нет!.. «Ужо-ка я», — говорит Мишка. Вышел да назад, а сам блажью кричит, крестится: «Умер, — говорит, — Андрюха-т, умер!.. В сенцах, — говорит, — боюсь, — говорит». А нам уж моченьки нет. Только стонем.

Петр думает свое. Ему ненавистен этот скрипучий голос, и хочется крикнуть, чтоб замолчал рыбак.

— Вот день перетосковали... Говорим Мишке, племяннику-то: «Мишка,— говорим,— иди по дрова да по муку, вари чего, ни то ведь поколеем». Ну, вздохнул это он, пошел. Тоже не хотца пропадать-то! Глядим — по полешку дрова та-

скает, мучки в лукошечке принес. «Да ты пошто так-то? Принеси охапку да приволоки весь мешок». — «Не совладать, — говорит, — силушки не стало, — мы все... пропадем!» Сел это он на сутунок, морду закрыл ладонью да заплакал. Он плачет, и мы плачем... Вот до чего весело! А за стенами непогодь валом валит.

«Муки? Сколько же осталось муки? Пуда полтора. Мало. Крупы фунтов двадцать? Мало, — подводил итоги Петр. — Луку две вязки — пустяки. Как же быть? А главное, нет мяса, спирт на исходе».

— Вот мы, значит, и засиротели... Умер он.

— Кто умер?

— Да Мишка-то, племянник-то! Фу ты, чудной какой: оглох, что ли? Ведь сам же баишь, что умер.

— Ну да, умер.

Щелкнуло горящее полено, точно выстрел. В печи запищало, заныло. Нудно на душе.

— А может, не умер? А? Почем знать? Может, ты постращал? Ты, Петрован, не ври!

— Умер! — крикнул Петр. — Умер и похоронен.

— Как знать? Может, жив? Может, когда-то некогда придет еще.

Петр злобно посмотрел на них. Рыбак сладко зевнул, окрещивая рот. Марья лежала неспокойно: вздрогнет, подпрыгнет, заохает, а то выдохнет пустое слово.

Петр отвернулся. Его тянуло запустить в рыбаков поленом, и в то же время было нестерпимо жаль их. Это двойственное чувство мучило его, и не хотелось сопротивляться. Он наблюдал себя со стороны, не противодействуя.

— Вот мы сутки лежим, вот другие... Тело жухнуть стало, из десен кровь... Старуха стонет, смерть накликает. Ну, я сползу с кровати да по полу-то на четвереньках, как собака, к печке, разожгу кой-как... Ну, мучица в сеялке была, поддену горсть да опять по-собачьи к старухе: «На-ка, мол, жуй. Бог милостив!» Да уж на кровать-то едва-едва вкачусь. А жевать — деснам больно, зубы шатаются, тяни любой. А тут уж и свет из глаз терять зачал. А про старуху думал — умерла. Молчит, только дух от нее идет чижолый. Я ее в бок — заохает. Слава Христу — жива!

Федор вздохнул, запричитал что-то, потом сказал:

— Опосля того мы приготовились. «Марья, — говорю, — прости меня, грешного, христа-ради!» — «Бог простит!..» Взглянул на бабу — в слезах плавает. «Не плачь,—говорю,— Марья, грех плакать», — а сам не хуже ее, слезами давлюсь. Окстился я, ее окстил: «Лежи, мол, жена моя, смирно, дожидай!» Вот лежим, ждем. И сколько времени пролежали, не знаю. Только отворилась быдто дверь... Ты слышишь, Пет-

рованушка? Отворилась дверь, и явился к нам андель божий. Мы думали, по душу, а это ты...

Петр вдруг вскочил, словно его поднял вихрь, и, не помня себя, закричал:

— Да, пришел! Пришел!.. Спасать пришел, ангел!

Он хрипло, придушенно захохотал, раскачиваясь, как пьяный.

— Ну, что ж! Режьте на куски, жуйте, чавкайте!..

Рыбаки вдруг подпрыгнули, глаза их с ужасом впились в Петра:

— Петрованушка, Петрованушка!.. Петрованушка!

Тот быстрыми шагами вышел вон, с треском хлопнув дверью:

— Обрадовались?!. Сволочи!

Стояла удивительная ночь.

На темном небе четко, ярко горели звезды. Вот «Золотой прикол» — Полярная звезда, — куда небесные богатыри привязывают своих златокрылых коней. Вот семь волшебных звезд «Сохатого», вот «Утиное гнездо». В выси лысо серебрится месяц. Голубоватая снежная равнина вся в бегучих огоньках. Бесконечная, неузнанная даль. Полюс. Тайна. Новый мир.

Петр вскинул голову и тяжело задышал. Руки тряслись, стучали зубы. Ему хотелось криком кричать, его бесила торжественная тишина этой безмолвной алмазной ночи. Хотелось ногтями царапать небо, яростно сорвать все звезды и утопить вон в тех бездонных омутах. Мрак так мрак, и в душе и в небе!

Он схватился за голову: «Должно быть, я окончательно спятил с ума. Ясно».

Но крепкий мороз привел в порядок нервы. Петр сел. Сидел, не двигаясь, без дум, долго, может быть целый час. Грудь затихала, умолкло сердце.

Звезды спустились ниже, покрупнели, переливней засверкали снежные поля. Душу Петра кропил тихий огонь, испепеляя непримиримое.

«Как хороша ночь! И как скверен, отвратителен я! Ну, за что я их? Нервы, хворь... Эх!»

Ночь преображалась.

Край неба начал колыхаться, таинственные пучки света извивно поползли из-под земли, потянулись к звездам, к месяцу, исчезая в бездне мира. Зачинался сполох, северное сиянье.

— Богиня восходит по ступеням трона, — сказал Петр, улыбчиво щурясь на север. — Привет вам, неведомая богиня! А ведь вы подчас, простите меня, умеете прикинуться свирепой... Прошу вас, держите почаще вашу косматую ведьму,

пургу, на привязи, — пробовал Петр настроить себя по-бодрому. — Во всяком случае я вам очень благодарен хотя бы за сегодняшнюю ночь. Взгляните, королева!..

По небосводу пролегла звездная дорога — великий Млечный путь. Позлащенной дугой он опоясал небо, и там, под земным шаром, в бездне, сомкнул свое туманное кольцо — экватор вселенной. Золотые миры, как самоцветный песок морской, сгрудились на нем. Пусть так! Пусть невидимая ось вонзилась острием вон в ту звезду над головой — «Золотой прикол». Пусть вся вселенная в веках, в тысячелетиях беззвучно плывет, вращаясь возле призрачной оси мировых пучин. Хорошо, премудро, а что же дальше?

«Как вы полагаете, богиня? Будет ли этот мир существовать без меня, и буду ли я существовать без мира? Ах, не можете ответить? Ваш язык для смертных не внятен?.. Та-а-ак».

Петр не замечал, как лютует, злится над ним мороз. Иглой кольнуло в ухо. Петр рассеянно стал тереть щеку мохнаткой.

«Узнаю сам, узнаю сам без вашего, сударыня, посредства!»

Ему в этот час нужно было увести себя от земли, сбросить с плеч звериный неоправданный порыв, зачавшийся там, в избе. Он постарался припомнить то, что знал о небесных тайнах, мысленно переселял себя в иные миры, висевшие над ним, под ним, искренно умилялся перед величием сущего, но в его сердце все-таки кипела горечь.

«Ученые додумались, что если через Млечный путь провести плоскость, то наша солнечная система окажется в центре этой плоскости. Значит, где ж? Значит, в центре вселенной? И некоторые ученые предполагают также, что наша старая земля чуть ли не единственный населенный остров в бесконечном мире... Вот диво! Ха...»

Петр ядовито ухмыльнулся. Мороз стегнул в другое ухо. Где-то послышался гулкий треск: морозом разорвало камень.

«И вот я, царь вселенной, сижу здесь, тру рукавицей помороженный нос и пускаю слюни, как баба последняя. Ха-ха! Бежать? Оставаться, спасать? Кого спасать? Себя, их? Или гибнуть вместе? Ну-ка, богиня, отвечай! Про тебя трубят поэты, что ты премудра...»

Насмешливое раздражение иного, еще небывалого порядка охватило дух Петра Лопатина. Кипела желчь, губы кривились, едва удерживаясь от хулы и проклятия.

«Кого ж спасать? Их или себя? Тьфу!»

Он быстро встал, взглянул в ту сторону, где похоронил в пещере мертвецов, и, давя хрустящий снег, пошел обратно.

Сполох причудливо играл, швыряя в небосклон снопы цветных огней и развертывая трепещущие свитки.

«Напрасно, богиня, трудитесь! Здесь и пусто и мертво... Покойной ночи!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

До последнего ночного часа и весь следующий день Петр насиловал душу, принуждая себя изжить острую ненависть к рыбакам и вновь пробудить к ним чувство сострадания. Но внутри все оставалось по-старому, власть над собой гасла, лишь внешне приходилось искупать вину. Рыбаки не умели читать в чужой душе и с трогательной рассеянностью умиленно принимали его заботливую хлопотливость.

Под вечер Петр сказал:

— Я вам баню устрою.

— Ох, ты, батюшка ты наш!.. Да как же ты это?

Из своего брезента он соорудил в их просторной артельной избе палатку, затащил туда корыто, кадушку с кипящей водой, стал бросать в нее раскаленные булыги. Клубом подымался в палатке пар, вся изба наполнилась белыми облаками.

Федор и Марья улыбались, прислушиваясь, как шумно бурлит и злится вода от бухающих в кадушку булыг.

— Спаси тя Христос, ну и чудо! — чмокал Федор, любовно следя за разутым, голым по пояс Петром. Плечистый корпус Петра весь в тугих, упругих мускулах, как в панцыре.

— Ну, чисто Еруслан ты, право слово, — восхищенно мотал головой рыбак.

Петр через силу улыбнулся и сказал:

— Ну-ка, ты иди первый!

Рыбак загоготал от удовольствия, когда Петр стал тереть его намыленной мочалкой из шелковистой морской травы.

— Полпуда грязи с плеч!

— Хы! — радовался рыбак, покорно подставляя голову под искусные руки Петра.

Кончив с рыбаком, Петр крикнул:

— Марья, айда!

— Да я сама, кормилец!

Федор, вымытый, в чистом белье, причесанный, лежа на кровати, слышит:

— Дай-ка, Петрованушка, холодненькой... Ой, глаза ест! Горячо, слышь, горячо, разбавь!.. Спаси тя бог!

Федор сморкается и шепчет:

— Ну и человек добрейший!.. Чисто мать!..

И, напрягая слабый голос, кричит:

— Петрованушка, век будем бога за тебя молить!

Спать легли рано, все уморились. У Петра гудело в голове, озноб пробегал по телу, ломило глаза, чувствовалась слабость. В тепло натопленной избе он хотел как следует прогреться под шубой. Болезнь не на шутку угнетала его.

Погас светец, в избе темно, только угли в печи переливают золотом, да в окна пялятся слабые отблески далекого сполоха.

На кровати шопот, вздохи.

Петр старается заснуть — не может. А так хотелось спать. Свернувшись, лежит под шубой, вспоминает кузнеца Филиппа, своего далекого товарища, и весь далекий свой уют, к которому — чувствует Петр — едва ли он вернется.

«Чорт меня сунул сюда притти».

В правом виске дергает, ноет живчик, замирает сердце. Хочется пить. Петр вздыхает. Тьма вторит ему глубоким вздохом.

Да, он определенно их ненавидит, как каторжник кандалы. Недаром с таким омерзением мыл смердящие, полумертвые их тела. Ему тошно было гоготанье Федора, и кто-то уж подталкивал руку: «Задуши!»

Погас последний уголек в печи, утихло небо. В липкой, нудной тьме Петр хлопает глазами.

И опять: «А ты убей их! Тогда свобода!»

Петр трясет головой, стонет, злобствует: нет, он никого не убивал.

«А если убью, то только себя. По праву».

«И их!»

Петр грохнул в пол кулаком и заскорготал зубами.

— А?!. Ты, Петрован, чего?

— Я вам хочу сказать вот что, — раздельно начал он. — Вы знаете бухту? Черную скалу на ней? Вверху гольцы, внизу пещера.

— Ну, ну?

— В эту пещеру я замуровал ваших покойников.

Тишина наполнилась скрипом кровати, кряхтеньем, шопотом. Петр пристально смотрит туда, видит сквозь тьму, как крестятся рыбаки, ясно представляет себе полоумные их лица.

Молчанье тянется долго. Петру тяжело. И для чего он сказал им?

— Петрован, вздуй светец!

— Зачем?

— Да так. Мне не видать тебя... Надо, чтоб видно...

Петр исполнил просьбу и кстати закурил. Федор повернулся к Петру и долго смотрел на него.

— А зачем ты нам сказал?

Петр поднял голову:

— Что именно?

— Пошто ты сказал, где схоронил?—Голос Федора испуганно дрожал, был подозрителен.

Петр не знал, что ответить.

— Ну, сказал и сказал!

Рыбак медленно спустил с кровати ноги и завстряхивал головой, словно отбиваясь от шмеля. Жалкий, униженный вид его, козья беленькая бороденка, полуоткрытый рот, из которого с хрипом вылетало вонючее дыхание, вновь пробудили в Петре чувство омерзения и жалости.

— Я знаю, пошто ты нам сказал...

Рыбак повесил голову, согнулся, упрямо глядел в пол.

Петру показалось, что из глаз Федора капают на половицы слезы.

— Ты хочешь от нас уйти... Вот и сказал... чтоб знали. Ты хочешь нас бросить...

Послышался тяжкий, всхлипывающий вздох. Замелькала, затеребила бороду дрожащая рука:

— Умрем мы!

Петра кольнуло в сердце.

Федор не торопясь поднял голову. И если б глаза его были зорки, он заметил бы, как подергивается и горит лицо Петра.

Долго, испуганно рыбак чего-то ждал, потом заговорил:

— Мы тебе верим, Петрован! — Голос его вилял и обрывался. — Верим, верим, ничего!.. — начал торопливо он. — Ты не бросишь, ты, Петрованушка, не спокинешь нас!.. Верим.

— Не спокинешь!.. Конешно, верим!.. — как вой метели, отозвалась Марья.

Когда послышалось их ровное дыхание, Петр порылся в сумке и достал портрет Наташи.

«Ну, голубка!.. Тяжко мне... Задача усложнилась, душа дала трещину. Пособи, внуши!..»

И с большой нежностью стал целовать изображение юного лица с двумя густыми, перекинутыми на грудь косами. И вот кажется ему: Наташа оживает, припала к его груди, обвила руками шею, жадно дышит. Миг сладок, но Петр говорит: «Довольно!..»

И, спрятав портрет, вынимает толстую, мелко исписанную тетрадь.

Заносит туда кратко:

«Подозревают! Естественно. Рыбак Федор, будь он на моем месте, конечно, ушел бы, бросил бы меня. Значит, и для меня есть выход. Пожалуй, так поступил бы всякий нормальный человек. Нормален ли в этом смысле я? Вопрос. Желал бы быть исключением. Но для этого нужна воля, для воли нужно солнце. А где оно? Круглые сутки — ночь. Очевидно, воля волей, а географическая широта — над ней».

Перечитал, задумался и не препятствовал внутреннему

голосу, который говорил, что совесть Петра теперь свободна, что она сбросила путы, мешавшие ей. Но почему?

«Рыбак Федор на моем месте ушел бы. Так поступил бы всякий нормальный человек.

Но почему, почему я предполагаю, что Федор ушел бы? А может, Федор и не ушел бы, не бросил бы погибающего человека? Надо выяснить, надо обязательно этот пунктик довести до четкой ясности... Иначе...»

Полночь. Тикают на стене часы.

Вдруг померещилось пенье петуха — схлопал в сенцах крыльями, запел.

«Странно».

Ярко топилась печь. Ковались в пламени червонцы, гудели синие огни, меж золотых углей струилась кровь.

«Чорт варит кашу», — подумал Петр. В его глазах рябило, в сердце назревало, копилось что-то большое, пугающее.

— А ты все сидишь да сидишь? Думай, думай...

— Я ни о чем не думаю.

— Что ж, уходи!.. Губи нас!

— Я не собираюсь.

— Твое дело молодое, мы старые... Чего жалеть!

Опять петух схлопал крыльями, запел.

Петр быстро вскинул глаза к кровати: спят.

«Странно».

Достал спирт, отхлебнул, крякнул. Крепкий спирт не ожег — вода водой. Отхлебнул еще. Лег.

В ушах стучало, и слышался беспрерывный шум. Закрыл глаза, но сон не шел. Спирт стал гулять по жилам. Чуть отлегло в душе. Словно рассвет забрезжил.

«Дурак, дурак, ради чего ты мучаешься!» — прошептал кто-то, подмигнул.

— Уйду!

«Где тебе? Слюнтяй ты! Хи-хи-хи!»

— А вот уйду!

Петру в сущности не хотелось вступать в спор.

С той страшной в сенцах ночи чей-то голый голос частенько напоминает о себе. Но Петр гонит его прочь, он знает, что это его болезнь, он сам, его собственных две половины.

«И чего ты жалеешь их?» — шепчет призрак, очень похожий на Ваську-медвежатника, архангельского мужика, приятеля.

Сидит Васька на сутунке против Петра и шепчет. Шепнет слово, захихикает, шепнет да подмигнет оловянным глазом, будто издевается. Надо бы на Ваську рассердиться, выгнать. Лень.

«И чего ты их... хи-хи-хи, жалеешь?»
«Люди».
«Вши... Под ноготь — раз! Хи!.. Дурак!»
— Молчи, пень! — крикнул Петр.
Васька качнулся на чурбане: «Чш, — погрозил пальцем,— пошто шумишь? Разбудиш-шш-шь...»
Петр открыл глаза. Васька пропал. По сутунку елозил отблеск еще не угасшей печи. Дремотно, тихо, полумгла. Петр потянулся к топору, положил возле.
«Только приди! — Ему надоел этот веселящийся мужик. — Убью!»
Дремотно, тихо угасает печь. «Сохатый» загнул трехзвездный хвост к самому окну, месяц ледяным лицом заглядывает в избу.
— Замерз я, старуха... Охо-хо!..
— А Петрован-то спит?
— Спит.
Федор спустил ноги, с какой-то особой лаской оправил чистую рубаху и побрел на умирающий огонь. Взял клюку, сгреб в кучу и положил крест-накрест четыре полена:
— Благослови, Христос!
Сухие дрова вспыхнули, как солома. Рыбак опустился на сутунок, где только что сидел Васька, согнулся вдвое и с улыбкой, тихонько гогоча, грелся возле пламени.
Петр скрипел зубами, что-то бормотал и шарил рукоятку топора. «Только приди... Убью!»
Федор погрузился в думы. Он вспомнил родные калужские поля, и в хорканье червонного пламени ловил то шелест колосистых нив, то отдаленный монастырский благовест. Вспомнил нужду, погнавшую их в Сибирь за счастьем. Вот теперь гибнут, умирают оба. За что же? Ну, за что?
«Ледяное море холодное, солнце немилостивое, скупое, морозы студеные. Господи, не дай загинуть! Господи, укрепи раба твоего Петра!»
Сидит на сутунке Федор, думой думу погоняет и только занес руку, чтоб перекреститься...

Петр, вздохнув, открыл глаза.
Возле него, на сутунке, скалил белые свои зубы Васька-медвежатник, лукаво моргал глазом и грозился:
«Чш-шш-шш!..»
Петр крепко ухватил кровожадно звякнувший топор.
«Хи-хи!.. Спишь?»
«Не сплю... Тебя караулю».
«А давай всурьез!» — Васька закинул пятку на правое ко-

лено, заюлил-заюлил носком сапога и залихватски подбочелился.

«Выходит, ты уйдешь... Скажи, уйдешь?»

«Останусь».

«А говорил — уйдешь. Дурак! Хи-хи!.. Ну, ладно. А для чего ж останешься?»

«Поставлю на ноги их...»

«Врешь, уйдешь!.. Ш-ш-ш... ты не серчай! Ну, ладно... поставишь на ноги, а сам? Подохнешь?»

«Не знаю».

«А я знаю... Может, подохнешь, может, нет... Я все знаю... Я наперед вижу, всю жизнь твою вижу, — вздохнул Васька.— По тебе жизнь — палка, а по-моему — обруч. Сижу у начала, а конец-то вон он... Хи-хи! Я все знаю-перезнаю».

«Что знаешь? Скажи».

«Ишь ты какой, больно ловко!» — подмигнул Васька и закрутил черную свою бородку.

«Скажи!»

«Чего говорить? Мразь ты, вот ты кто!.. Хи-хи-хи!.. Ты во сто раз лучше меня знаешь, что уйдешь... Шкуру свою спасти хочешь... Чорт! Разве тебе наш брат, мужик, дорог?»

Петр шевельнулся, крепче сжал топор, глазом прикинул, куда рубнуть врага.

«Вижу, злодей, вижу!.. Убить хочешь. Не боюсь».

Петр, крадучись, приподнялся и со всех сил рубнул Ваську топором по темени.

Застонал кто-то, рухнул на пол. Застонал, заметался и Петр. Он слышал, как из разрубленного черепа Васьки струится кровь. Петр облился холодным потом. Ладони его прыгали по столу, отыскивая спички. Чиркнул.

— Петрованушка! Господи Суси!..

Петр оторопело метнул взглядом в передний угол, к образам, ноги подсеклись.

Под образами, хватаясь за ножку стола, трудно подымался Федор.

— Чегой-то ты, Петрован? Ой, батюшки!.. А меня помолиться потянуло.

Петр тупо смотрел на всаженный в сутунок по рукоять топор и ничего не понимал. Где ж Васька?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Три дня лежал Петр влежку, ожидал смерти. Однако на четвертый полегчало. Стал снаряжаться: набивал патроны двойным зарядом пороху, делал крестообразные надрезцы на головках пуль, чтоб смертельной была рана в груди медведя.

С тревогой следили рыбаки за его работой, молчали, даже не шептались. Их молчанье было знаменательно: Петр ясно видел все их сокровеннейшие думы. В такие минуты слова излишни. Три человека — они и он — были связаны в одно. Все открыто, как ни старайся скрыть, запутать.

Но между ними был четвертый, тайный. Петр знал его: он — некто маленький и лукавый, сидящий в нем, он силен, когда слаб Петр. А вот пройдет болезнь, Петр, как змею, загонит его в дуло и выстрелит, чтоб развеять прах с кишками. Скорей бы!

«Поправлюсь или не поправлюсь?» — все время вьется вопрос, как над полыньею чайка.

Но и отвечать не надо — Петру ясно: если здесь останется — умрет. А между тем хочется спрашивать, хочется гадать, ждать обманного ответа.

«Уходить или оставаться?»

Он исподлобья взглядывает на рыбаков и в их унылых, раздавленных фигурах читает приговор:

«Уйдешь!»

Петр опускает взгляд в землю, руки его работают ощупью, неверно загоняя пыж.

Весь день прошел в молчаньи. Чувствовалось неладное, мучительное для всех троих. Не слаще была и ночь. Сон исчез из зимовья, думы выгнали его на мороз, под расцвеченные огнями небеса.

Охватило всех тихое безумное смятенье. Лежали молча, прикидываясь спящими. Как высушенные жгучим ветром нивы примолкают перед грозой, ждут, облекаются в тень любопытствующей тревоги, так и они, трое, почувствовали ясно, что гроза идет.

«Господи, как бы не ушел, — думал Федор и, крадучись, вздыхал. — Нет, не уйдет, однако. Никола милостивый надоумит... Петро-Павлы апостолы».

«Как же я уйду от них? Я не зверь, я человек, — думал Петр. — Хотя бывают обстоятельства...» — И эти противоречивые мысли не дают покою.

«А я не выпущу, — бродит в голове полоумной Марьи. — Вот лягу поперек двери, да и... Ей-богу! А то шапку скороню».

— Ты, Петрованушка, спишь?

— Нет.

— И я не сплю. Хворь чегой-то наседает. Душу свою за овцы... Вот как это в церкви-то?.. Отец Гарасим, бывало, архимандрит...

— Знаю, — ответил Петр. — Это в евангелии Христос сказал: «Кто душу свою полагает за други своя...» Да, это хорошо сказано.

— Дюже хорошо, — вздохнул Федор.

— Дюже... — простонала Марья.

«Други своя... Какие они мне други? Нет, все равно. Каждый человек, нуждающийся в помощи, — друг. А есть ли более несчастные, чем они?»

«Вразуми его, господи, царь небесный, батюшка!»

— К чему ж это, Петрованушка, сказано?

— Христос призывает жертвовать собой.

— Жертвовать, — задумался Федор. — Это как же жертвовать? Вот у нас лавочник плащаницу пожертвовал. Опанкрутил тестя да жертву принес...

«Но как же все-таки быть? Нет ли здесь поблизости рыбаков?»

— Он плащаницу, а бог-то сказал — овцу!

— Да нет же! — раздраженно крикнул Петр.

— А как?

— Ну, как тебе объяснить. Вот, скажем, человек шел по льду и провалился... А другой увидал. Он, не раздумывая, должен броситься и спасти того.

— А ежели не умеет плавать?.. Он и того-то утопит... проваленного-то, забулдыгу-то...

Не сразу ответил Петр, задумался.

— Все равно надо спасать, — наконец сказал.

И тотчас же усомнился: «Да так ли? Для чего? Чтоб обоим пойти ко дну?»

— Ты, Федор, очень буквально, то есть — просто, понимаешь. Конечно, на подвиг, на явную опасность не всякий пойдет, а только смелый... А вот что, нет ли поблизости рыбацкой артели, вроде вашей? — неожиданно закончил Петр.

Федор не расслышал.

— А я бы стал спасать, — сказал он. — Сроду не плавал, а стал бы... Все ж таки живая душа, грех кинуть... Я бы жердья принес, досок... Я бы народ сгайкал.

Ему захотелось задать Петру прямой вопрос: уйдет или нет? Но душа не позволяла.

«Нет, не уйдет. Ежели б хотел, нешто стал бы с нашим братом няньчиться?.. С дерьмом...»

— А ты, Петрованушка, спас бы утопельника-то?

— Нет, — твердо сказал Петр и сердито укрылся с головой.

Ему вспомнилась запись в дневнике. Да, теперь ясно. Если б Петру поменяться судьбою с Федором, этот мужик никогда бы не бросил Петра в несчастьи.

«А я бы стал спасать», — отчетливо звучало в голове Петра только что сказанное больным рыбаком. Да, да, да... Так оно и есть.

Очень долго длилось напряженное молчание. Тихо в избе и за избою. Только голодные песцы где-то взлаивали по-собачьи и завывали жалобно.

— Бабка, — едва слышно прошептал Федор. — Надо молиться богу-то... Уйдет!

— Уйдет, — прошептала Марья. — Как не уйти, конешно, уйдет. Чего ждать-то?

— Умрем ведь. А?

— Ох, умрем!..

— С голоду умрем, бабка...

— С голоду, с голоду...

— Лучше пусть застрелит...

— Ой, ты! — завизжала Марья. — Боюсь я! Чего стращаешь? Боюсь!

Петр откинул шубу:

— Что ты кричишь?

— А ты не стреляй, — дико заговорила женщина. — Пошто стреляешь? Нешто я медведь? Я не медведь...

— Цыть ты, — цыкнул Федор. — Ботало коровье! Замо-ло-ола!

Вновь все успокоилось. Петр лежит в тишине, во мраке. Небо неподвижно, не светит месяц, густая ночь.

Петр слышит — плачут рыбаки. Петр быстро приподнялся на локте. Да, плачут, сморкаются, всхлипывают. Он вдруг почувствовал на своих ногах несуществующие раны, струпья, что его десны кровоточат и ноют, как у тех двоих, Федора и Марьи, он испытывал физическую боль, словно он сам тяжко захворал. И его внезапно охватила большая человеческая жалость к ним, их стало жальче, чем самого себя.

Это небывалое чувство любви к человеку насытило все существо Петра каким-то светлым ликованием, оно твердо влекло его на подвиг.

Нет, не уйдет он, не уйдет! Сейчас же встанет и бесповоротно объявит им, принесет клятву.

Ему хочется крикнуть: «Не плачьте, други!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Настало новое утро. Петр обрядился во все теплое и взял ружье.

— Кормилец, куда ты? Куда ты?! — взмолился вдруг Федор, будто выдохнул последний стон, и упал Петру в ноги. — Марья! Бабка! — кричал он, хватаясь за Петра. — Уходит! Ой, ты, батюшки!.. Отцы-заступники!!

Сорвалась с кровати и Марья. Петр растерялся:
— Что вы, чудаки? Я ж не уйду!.. Что вы?
— Уйдешь, уйдешь!
— Что ты задумал?!. Петрованушка!.. Андель божий! Погубитель...
— Я на охоту. Запасы кончаются... Вдруг свалюсь. Что тогда? Пойми ты это!
— Ой, не уходи!.. Христом прошу!
— Пока здоров, медведя убить надо... Крови надо. Ну, пусти же меня! Пусти!
Петру хотелось сумасшедше взвыть. Но тот, лукавый, научал:
«В зубы, в зубы! Двинь ногой!»
Петр к двери, за ним, на коленях, причитая, рыбаки.
С чувством отчужденной жалости он жестко смотрел на их скрюченные, опухшие в суставах кисти рук, на их исковерканные отчаянием дряблые лица.
Но что ж ему делать?! Что делать ему с самим собой?! Внезапно вспыхнувшая искра любви к этим людям была только слабым отблеском чего-то большого, она не разгорелась в пламя и готова была погаснуть. Она не более, как ловкая увертка умствующего разума. Нет, нет! Вид этих рыбаков едва переносим.
Марья ползла, вывертывая ноги, как тюлень ласты. Федор норовил вцепиться и удержать его. Капали на пол слезы, жутким стоном стонала изба.
— Приду!
— Стой! Сто-ой! Мила-а-й!
С облегчением он потянул ноздрями морозный воздух. Лицо приятно защекотал колючий холод. Чуть поднявшись над хребтом, тусклым шаром леденело солнце, был полдневный час.
— Солнце, солнце! Молодчина, Петр: ты поборол пространство, ты поборол бурю, наконец полярную ночь покорил ты! — брызнул ключом радостный крик и сразу высох.— Чорт! Весна идет... А я все здесь!..
Петр знал, что инородцы севера после полярной ночи встречают первый луч солнца веселым праздником, и с горечью сказал:
— А мы проспали.
Заструги сугробов плотны и блестящи, но меж ними рыхлый снег. Петр надел лыжи и стал ходко подаваться к океану. Безмогильный погост кругом, немая смерть.
«Хоть бы собачонка была — все повадней», — подумал Петр.
«А я-то, — сказал Васька, — я тебе сейчас оленя пригоню, жирну-ущего!..»

Он скользнул за Петром, но тот не оглядывался — знал, что нет никого, — только слушал.

Петр пригнулся и, ловко извиваясь меж выступами скал, спустился с кручи на белый ледяной простор. Васька, видимо, отстал. Петру стало свободней. Закованный льдами океан напомнил ему тундру, сердце ёкнуло и затрепыхало, как птица в клетке, увидавшая родные леса.

«Эх, туда бы!.. Домой бы!.. К Филиппу!»

О далекой, но такой близкой, родной Наташе в этот холодный день мысль не зачиналась. Скользом мимолетно мелькнул темный локон и пропал. О другом думалось, другое угнетало дух — белое, мертвое, что было перед глазами. Плавали вдали туманы, скрывая грань небес. И солнце было заткано туманами, жалкие лучи скупо освещали студеный воздух.

«Эх, домой бы!..» — все настойчивей просилось с языка.

Петр повернулся к зимовью и, с ненавистью ударил взглядом по роковой скале, к которой приковал себя проклятой цепью.

«А вот возьму да порву!»

«Ну, ясное дело!.. Хи-хи-хи!»

Петр вздрогнул, пошел вперед, по привычке вынул трубку, чтоб закурить, но опять спрятал: не было охоты.

Хрустальные ребра исполинских льдин играли несмелыми огнями, снег отливал легкой синью и на ветробойных местах искрился. Какой хороший день — морозный, тихий! Но почему нет радости, почему так дрожит и бьется душа?

«А ну-ка, Петр, тряхни!»

Он налег на лыжи, зашуршал нетоптанный снег, засвистел в ушах ветер, замелькали торосы льда. Еще, еще, сильней! Все осталось позади. Петр остановился. Отер потное лицо. Дыханье было короткое, сбивалось сердце.

«Фу-у!.. До чего изнемог!.. Где ж ты, силушка?»

Он теперь еще более уверился, что болезнь цепко его забрала, и раскаивался, что вышел на холод.

Рука сама собой потянулась за биноклем. Приставил к глазам. Поводил вправо, влево и весь затрясся: верстах в двух, над полыньей, стоял белый медведь, ушкуй. Щеки Петра вспыхнули, и рука сладострастно скользнула по ружью. Огромный медведь, раскачиваясь, смотрел в черный провал меж льдов.

«Караулит рыбу или моржа».

К нему легко подкрасться из-за тороса, высокой грядой, как дамбой, опоясавшего в этом месте океан. Под защитой гряды Петр бойко двинулся вперед. И единая мысль была: «Как бы не ушел!» Единое желание — напиться крови, влить в холодеющие жилы звериного вина.

«Крови, крови!...» — как сухая губка, жадно жмыхало сердце, требовал потухавший взор. И уж все алело перед глазами: солнце, снег, холмы облаков, взбуровленные льды. И вода в полыньях закровянела.

«Крови, крови!» И, глотая обильную слюну, забыв усталость, бежал вперед. Сжавшись, с ухваткой хищника, прокрался ущельем меж глыб мертвого льда. «Здесь!» Нет, все еще далеко: рука дрожит, пуля обманчива, надо ближе.

Дул встречный ветерок — радость охотника, — медведь не учует. Петр пал на грудь и пополз, не спуская с медведя глаз. Медведь обернулся, Петр замер. Медведь подался к полынье. Петр, как крокодил, подползал к нему. Близко. Из ноздрей зверя бьют струи пара, ему жарко, курится белая с желтым отливом шерсть. На белой морде три черных точки: два глаза, нос.

«Пора!»

Сердце упало, остановилось. «Вот он, царь льдов!» Блеснул смертоносный ствол ружья.

«Спокойствие!» — приказал себе Петр и взвел курок. Досадно дрожат руки, в глазах стоит слеза, все дробится впереди и пляшет.

«Спокойствие!»

Петр взял под правую лопатку: «Кажется, так».

Хлопнул выстрел. Медведь торкнулся носом, перевернулся, пал навзничь. Потом вдруг всплыл на дыбы. Петр мчал к нему. Медведь испуганно, хрипло рявкнул, заметался и полным ходом пошел наутек.

— Ах, дьявол! Обнизило! — неистово кричал Петр, несясь за медведем. — Врешь, ушкуй, поймаю!.. Врешь!..

Васька то бежал сзади, то, нагоняя, похихикивал и хлопал в рукавицы. Но Петр не слышал.

— Врешь, нагоню!

Он вдруг остановился, бегло поймал зверя на мушку и спустил курок. Осечка.

— Тьфу!

«Хи-хи-хи!»

Петр бросил ружье, выхватил кинжал и по окровавленному следу еще быстрей ударился вперед. Медведь уходил. Петр напряг все силы. Но сердце разрывалось, захватывало дух. Ноги стали заплетаться. Петра качнуло, он схватился за голову.

«Наддай, наддай!.. Еще маленько!..»

«Ух! Не могу!..»

Заколебались, зазвенели льды, закружилось, рассыпалось черным огнем солнце. Петр взмахнул руками и упал.

«И я прилягу... Я тоже, брат, замаялся», — послышался васькин голос.

Петр недвижимо лежал. Не было сил пошевельнуться, легкие работали во-всю, со свистом втягивая и выбрасывая воздух. Дурманно пахло звериной кровью, оросившей снег.

— Ух!..

«Пойдем в горы... Я тебе, по крайности, оленя пригоню... Ей-богу, право! Телятины... Хересу! Коньячку! — молол лукавый Васька. — А ушкуй твой в полынью нырнул!»

Петр закрыл глаза. Погруженный в снег затылок так приятно отдыхает, успокаивается сердце, светлеет в голове. Но галлюцинация не прекращается: Васька продолжает выборматывать:

«Ну их к чорту!.. Беги, бросай их! В оперу пойдем, в театр. А то — убей!»

— Ладно убью, пожалуй, — раздумчиво сказал Петр. И твердо: — Убью!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Хворает Петрован-то, — прошептал рыбак. — Всю ночь бредил. Слышь!

— Ну-к што... — отозвалась Марья. — Слава богу!

— Балаболка ты! Короток твой ум, баба! Что ж мы, трое пластом будем валяться, что ль! В неделю ноги вытянем, чучело этакое! Тьфу!

Было утро. Голубел в окнах свет, гнал свет из углов остатки ночи. На лавке лежал Петр.

— Спит. Помолиться надо. Молись, ешметок.

— А мне чего?

— Кончается жратва-то, полудурок!.. Вот те и чего!..

Охая и тяжело ступая на больные ноги, сгорбленный болезнью, Федор стал разводить печь. Движение утомляло его, он то и дело присаживался на сутунок и слезящиеся глаза свои, жалуясь и умоляя, обращал к образу Спаса.

— Суси сладчайший, Суси!.. — Слезы капали на грудь, на холодный пол. Бог не давал облегчения телу. — Андель божий!.. Петро-Павлы апостолы! — И не посылал на укрепу своего утешающего ангела.

Федор согнулся в дугу, сидит, покачиваясь, обхватив руками голову.

Петя открыл глаза, потянулся.

— Странно, — громко, бодро сказал он. — Ты все, старик, плачешь? И Марья плачет?

Федор мотнул головой, смутился.

— Плачем, Петрованушка!..

— Плачем, отец!..

Замолкли. Петр неприязненно вздохнул. Вздохнули и те двое, и вся изба, и мутный сумрак за окном.

— Ты и по ночам, Федор, плачешь? Слышал я.

— Чего поделаешь?.. Плачу, Петрованушка, плачу!

Федор скривил рот, заутирался кулаками и, всхлипывая и надсадно приседая на каждом шагу, поплелся к кровати.

— Старик, не плачь! Не надо, старик! К чему?

— Боюсь, Петрованушка, боюсь!

— Чего?

Федор ответил не сразу, потеребил бороденку, помигал, его лицо передернула судорога.

— Смерти, смерти боюсь я!.. Господи Суси!.. Ох!

— Смерти? Плюнь! Не бойся, друг! Она не так страшна.

Голос Петра густо гремел, а Федор говорил тихо, хныкал, давился слезами. Петр стал поспешно умываться. Вчерашняя переделка во льдах не могла сломить стального организма, она лишь взбодрила кровь, начавшую истлевать в этих безрадостных пустынях. Однако глаза его беспокойно блуждали.

«Да, конечно. Так и будет. Иного исхода нет», — твердо, как гвоздь в колоду, вошло в его голову новое крепкое решение.

А сердце все-таки по-детски тосковало:

«Солнышко! Где ты? Спасенье в тебе одном!»

Петр весело сказал:

— Все будет хорошо! Вечером устрою вам праздник. Слышь, старик?

— Ох, батюшка ты наш!.. Как не слыхать?.. До праздников ли?

— У меня есть спирт, старик... Есть вино для Марьи. Выпьем... Больше, чем полагается! Идет?

Рыбак опять заплакал. И не понять было Петру эту причину его слез.

— Жратвы-то мало... вот чего!

— Не бойся... все будет хорошо. Верь!

— Спаси тя бог!

— Конешно, конешно, — жадно подтвердила старуха, следя, как Петр крошит в котелок ржаные сухари.

Чай пили молча. Петр был задумчив. Иногда сдвигал брови, судорожно схватывал заросший волосами подбородок и сидел так в немом оцепенении несколько мгновений. Зорко следивший за ним Федор пугался, ставил чашку и, вздыхая, осенял себя крестом.

Марья сидела-сидела, вдруг хихикнула.

— Мишка приходил... племянничек... Во снях это. А то, может, не во снях... было — не было... «Я, — говорит, — раб божий Мишка... А это, — говорит, — раб божий Андрюшка...

А ты, Машка, дура!..» Троица, Христос воскресь... Было — не было.

— Пей, чего мелешь! — крикнул Федор и ткнул ее в бок.

Марья посмотрела на него тусклым, как льдина, взглядом.

— Умрем мы, — и заплакала.

Рыжие с проседью волосы ее растрепались, свисли на лоб сосульками.

Большая скука была в избе. Жизнь отсутствовала. И трудно было ее создать. Петр дал рыбакам по глотку спирту, выпил сам.

Время спросить Федора о той загадке в ночи, там, в сенцах с мертвецами. Нет, лучше отложить до веселого вечера. Если не подымется пурга — вечер будет веселый, последний вечер перед днем...

Петр взял топор и вышел. Морозный с туманом день. Серый, безрадостный свет, мертвая тишь.

«Это хорошо, — подумал Петр, — погода установилась надолго».

Принюхиваясь, поджав лапу, стоял на дыбках у камня песец и сторожко смотрел на человека. Петр обрадовался, посвистал, поманил его, как собачонку. Песец оскалил зубы, заворчал и по-собачьему тявкнул.

«Жалко мне тебя, бесенка... голодный».

Ему вдруг захотелось поймать зверька, чтоб приручить, но затея показалась бессмысленной: «Поздно!»

И враз выстрелил из револьвера. Песец кувырнулся, а два других скакнули из-за камней, хищно взлаяли и, поджав хвосты, бросились бежать. Петр поднял за шиворот мертвого песца. Белый, с голубым отливом, крупный.

— Дорого бы, парнишка, взял за тебя! А теперь на кой ты прах? Лежи! — и швырнул его.

Потом сел на камень, закурил трубку. Табак показался противным, бросил. Встал и долго ходил перед зимовьем взад-вперед, заложив за спину руки, повесив голову. Колени тряслись, шумело в ушах, ломило где-то внутри, под глазами.

«Авось выдержу... Три-четыре дня. Авось найду...»

Взглянул со скалы направо. Туман осел, даль была прозрачна. Внизу лежала равнина покрытых снегом льдов. Вновь поднял песца, пытливо всматривался в мертвые, с молочным налетом, глаза его.

— А ну, парнишка!.. Голодная божья тварь! Сердишься на меня? Или рад? Скажи! Я думаю — рад. — Он прижал к лицу пушистый мех зверька и, улыбнувшись, вздохнул: — Прощай, брат! А верней всего — до свиданья!

Робким светом кой-где замерцали звезды.

Косясь на окна избы, Петр бесшумно выкатил нарту, смазал салом полозья, проверил постромки. А сам загадочно улыбался и все потряхивал насмешливо головой:

— Плюс — минус... Маятник раскачивается... Надежды на него нет... Камень всегда падает книзу, определенно... Комик... — и еще какие-то странные ронял слова, сам того не замечая.

Когда кончил с нартой, снял шапку, огляделся. Хорошо кругом. Все небо усыпано звездными огнями, ночь будет тихая, волшебная. А если выплывет на вольный простор месяц — заголубеет божий мир, и все пути посеребрятся.

— Плюс — минус... Бесконечность... Единица, деленная на нуль. Пять патронов... Довольно! Праздник... Миф.

И с этим осколком мысли пошел к больным.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Ну, други, свету не жалей! Свечей наделал много. Открываем вечорку. У вас как — вечорка называется?

Петр зажег четыре свечи, расставил их в самодельных из чурок подсвечниках по углам избы, а три свечи привязал на равном расстоянии к веревке, протянутой под потолком из угла в угол.

— Чисто лиминаций, — взбодрился Федор.

— Заутрень!.. Христос воскресь, — перекрестилась Марья, острое, сухое лицо ее расцвело.

Петр бросал в горящую печь дрова:

— Эх, братцы мои, братцы! Хоть раз плечами тряхнем, забудем горе... Радости нет в нашей жизни... Эх, возрадуемся хоть раз!

Рыбаки не приметили отчаяния, прозвучавшего в беспечном выкрике Петра. Он развел спирт водой до вкуса водки и поставил на широкий, придвинутый к рыбакам, стол.

Появилась крутая горячая каша, появилось варево из копченого мяса с луком, перцем. Вкусный пар клубился над котелками.

Рыбаки глотали слюни, глаза их блестели, бегали от яств к вину.

—Выпьем! — скомандовал Петр. — Я сегодня в ударе: буду много говорить. Я все покорил: пространство, стихию. И последнее испытание мне дано. А какое — узнаете сами...

Рыбак проглотил водку, забодал взъерошенной головой и, гогоча, потер грудь:

— Быдто Христос проехал!.. Кхе!

Марья смачно сосала вино, причмокивая языком:

— Еще, Петрованушка, еще!.. Скусно!..
— Выпьем, други, за радостную встречу!
— Андель божий, спас ты нас!
— Выпьем за встречу... Я чорт, не ангел! Не пугайтесь, не пугайтесь! Я человек! Я — Люцифер!
— Хы-хы-хы, веселый ты парень! Ей-богу, право! — пододвинул чашку Федор. — Плесни-ка... дюже обжигает.
— Выпьем за Люцифера! Я — Люцифер, носитель света. Я был с богом. Хочу восстать. Бог и природа для меня — одно.
— Одно, батюшка, одно!
— Впрочем, вы ничего не понимаете. Говорю не для вас. Говорю для своих ушей, а оттуда... по ниточкам в сердце, в мозг. От языка в мозг, поняли? Обратный ход. Это разве нормально? Пей, старик, пей! Значит, кто-нибудь другой говорит, тот, кто во мне. Вдвоем, значит: я и он. Поняли? Эх, ни чорта вам не понять!.. Пей, что ли!
— Хы-хы-хы!.. Дремучие твои речи.
Похлебку с луком ели алчно, кашу чавкали старательно, но все еще десны болели, зубы шатались, рыбаки стонали, охали.
— Пей, старик! Марья, пей! Будем громко говорить. Надо орать в тыщу глоток в этом крае молчанья, надо песню ударить, да так, чтоб чертям было тошно!
— Хы-хы-хы!.. — скрипел старик.
— Хе! — понравилось и Марье: — Чертям тошно!
— Ну, послушайте, спою вам красивую песню. Поет ее варяжский витязь, богатырь... это в Питере, в театре, в опере. Слыхали про театр?
Торопливо и кратко передал им сказку про Садко, вышел на середину и, представив из себя варяжского витязя, запел:

О скалы грозные,
Бушуя, плещет море...

Грустно, плавно катился голос из широкой груди Петра. Рыбаки разинули рты и замерли.

Но крепки серые утесы,
Выносят волн напор,
Над морем стоя...

Пламя ближних свечей заходило, заколыхалось. Рыбаки начали приподыматься, опираясь о кровать, а их удивленные глаза готовы были впрыгнуть в гремевший рот певца.
Когда загрохотал на верхах и грянул громом его голос: «Отважны люди стран полночных!!» — звякнули, затряслись стекла, а Федор лягнул ногой и с хохотом опрокинулся на кровать, заткнув пальцами уши. Марья замахала руками, залилась безумным смехом.
Петр оборвал.

— Животные! — пробурчал он под нос, сел за стол и сердито облокотился.

«А ты думал — люди? Вшн!..» — прошипел под столом Васька.

Рыбак поднялся и, утирая с гноившихся глаз смешливые слезы, сказал:

— Вот так это глотка!.. Ну, и орешь! Вот так же у нас дьякон, отец Вострофуил... Нажрется, бывало, пьяный и начнет рявкать. Так от водки и подох... Вострофуил-то...

— Подох, царство небесное, — перекрестилась Марья.

Петру хотелось рвануть, опрокинуть стол, но во-время сдержался.

— Ну, друзья-приятели, выпьем еще! Чего нам не веселиться? Все равно!

— Пить — так пить, а не пить — так не пить, — скаля гнилые зубы, засмеялся подвыпивший Федор. — А вот ты нашу послушай, мужичью. Машка, зачинай!

— Язык толстый... Больно мне...

— Полудурок!..

Кабы бабе киселя, киселя,
Стала б баба весела, весела...—

нутряным ржавым голосом заскрипел рыбак, пристукивая в пол пяткой.

— Машка, подхватывай! Петрованушка, вали громчей!

Кабы бабе молока, молока,
Стала б баба молода, молода,
Кабы бабе сапоги, сапоги,
Заплясала б в три ноги, в три ноги...

Потом все трое запели протяжную, проголосную:

Ты подуй, подуй, бурь-погодушка,
Да с самой сиверной сторонушки...

Петр тихонько гудел низким голосом, тревожно прислушиваясь, как кто-то четвертый подтягивает и страшно врет.

«Васька это!»

Петр смолкнет — и Васька оборвет. Загудит Петр — заведет и Васька. Петр стал озираться, отыскивая Ваську. Должно быть, он возле печки на сутунке. Выждав время, Петр быстро оглянулся, но Васька сигнул в печку, только пятки мелькнули. Петр ухмыльнулся.

«Занятно все-таки!»

Он подбросил дров, мрачно нахмурил брови.

А рыбаки, обнявшись, выводили:

Ты ра-аздуй-ка, раздуй, бурь-погодушка,
Да э-эх, калину во са-а-ду!..

— Ну, ладно, замолчите, — желчно, с болью крикнул Петр. — Слышите! Я буду много говорить. Я вам скажу, кто

я есть, с кем борюсь, кого должен победить. Эй, вы, рабы божие, черти! Я, кажется, схожу с ума!

Те, отмахиваясь руками и утирая слюнявые, в плесени, рты, пьяно плакали, взасос целовались.

— Други-братья! Выпьем еще! Эх, жаль мне вас! Скверно вы, люди, живете!.. Все мы по-звериному живем, лучше не можем, не умеем... Эх!

Петра тоже одолевало вино. Голова тяжелела, в жилах вместе с кровью плыл холодный жар, всего знобило.

«Я себя должен победить... Себя!»

Когда рыбаки захрапели на кровати, душу Петра враз ослепил глубокий мрак. Он выдохнул весь воздух и упавшим голосом сказал притаившимся стенам:

— Ну, вот... и все.

Он остановился среди избы и, покачиваясь, прислушался к себе. Грозный кошмар накатывался, внутри сгорало самое дорогое — дороже, казалось, жизни, то вновь рождалось, крепло и росло: «Делай, что задумал».

«Знаю...»

Проносятся в голове вихри, вихри крутят, сатанеют. Стонет сердце, стонет, мучается естество.

«Пурга...»

«А все-таки я над собой хозяин!— Петр открывает крепко зажмуренные глаза. — Доказательств? Ты требуешь доказательств? Будут!» И начинает грузно ходить из угла в угол. Висевшие на веревке свечи роняют капли сала. Одна, привязанная за середину, потеряла равновесие, перевернулась вниз пламенем, чадит.

«Догорели огни, облетели цветы», — вспоминаются трогательные слова, царапают душу.

«Нет, еще не догорели... Сейчас погасим свечи и... погаснем сами... ха-ха-ха!..»

«Хи-хи-хи! — прячась в углу, подло подхихикивает голый голос. — Кончай скорей!»

«Ладно».

Петр оделся, с отчаянием вздохнул: душа неистово в нем кричала. Твердо подошел к спящим рыбакам:

«Ну, вот... Сейчас, кажется, все-таки убью вас!..»

Те крепко спали. Тихо было, одиноко, пустынно. Только лунные окна припали к полу, как хищники, сощурились, выжидающе открыли рты.

Петр вынул револьвер.

«Сначала вас, потому что я слаб... Потом — себя, потому что я силен».

За окнами топтался кто-то, шептал, слушал, дышал в

стекло. Скрипели в сенцах половицы. Петр вздрогнул, взвел курок. Ствол очень холодный, очень горячий. Петр прицелился в потный, с плешью, череп рыбака. В сенцах шарят дверную скобку. Петр встряхнул головой, перевел ледяные глаза на свечи. Свечи плакали, и пламенные хвостики, омываясь в чаду, дрожали.

Перед взором Петра вдруг вспыхнул свет, и словно кто ударил его в сердце. С великой жалостью он взглянул на рыбаков, отшвырнул револьвер и — точно кто пригнул его — земно им поклонился, первый раз земно поклонился человеку — маленьким стал, проклятым стал, жалким стал.

«Проклятый — кланяюсь вам! Сильный — хочу спасти вас! Поборю — спасу! А вас поборет, приходите за мной — дам выкуп!»

Сон ли, явь ли? Нет, явь. И хмель как будто прошел, и Васька уже не смел пикнуть, показаться, — сдох. Все прояснилось, получало новый смысл. Но голова на плечах — не своя: шумела в ней пурга, взвизгивали вихри.

Не своими ногами встал, не своими вышел вон, погасив огонь. Озноб трепал его.

«А что же я?» — вдруг замер он.

До жуткой боли захотелось, наконец, узнать, кто же был тогда, в ту подлую, сумасшедшую ночь, там, в сенцах? Кто наваливался на него, кто сдернул одеяло и коснулся ледяной рукой его лба? Михайло? Но он мертвец. Федор? Но он пластом валялся на кровати.

«Разбужу, спрошу».

— Поздно, — упрямо сказал Петр. — Какой смысл знать все до конца? Да и есть ли конец? Всякий конец — начало.

С болезненным кряхтением он впрягся в легкую разгруженную нарту с небольшой поклажей и утонул в голубой, с трескучим морозом, ночи. И слышит Петр, как скрипят, надрывно стонут нарты:

«Ты погиб... Ты бросил людей... Ты погиб, погиб...»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На четвертый день работники ближней рыбалки встретили изнемогавшего, полуживого человека.

То был Петр Лопатин.

Сначала приняли Петра за выходца с того света, за гостя из заклятых пещер, где лежат черепа «белоглазой чуди», — до того необычен был вид его.

Не вдруг артель добилась от Петра, кто он. Его слова были сбивчивы, взгляд мутен. Но мудрый старец Данило взял

его лаской, своим спокойным, тихим голосом. Напоил крепким чаем, дал перцовки, обогрел...

— Идите скорей, не медлите... — проговорил очнувшийся Петр. — Там погибают!

— Где?

— На-ка, прими фины... Эй, милый! — Данило лил ему в рот разведенный хинный порошок. — У нас, брат, всяка стремлюдия по этой части есть. А главное дело — фина. Вот когда кровища заиграет, хлобыснешь чуток это фины-то, оно и легче. Легче да легче, так и оклемаешься.

Петр крепко заснул.

Когда проснулся, не мог сообразить, где он, кто эти люди, вдруг захохотавшие.

— Вот как, брат, поспалось тебе!

— Долго? — спросил Петр.

— С полден завалился, да еще день продрых, а теперича уж другой вечер. Вставай ужинать.

Но Петру не до того.

— Ушли?

— Кто, ребята-то? Знамо!

Артель веселая, молодая. Единственный старый человек — артельный уставщик Данило. Сухой, высокий, с ключом за поясом, долгобородый.

Он сел у ног Петра и сгорбился:

— Четверо туда ушли, с припасом.

Петр растрогался. Ласково поглядел на старика.

— А то как? — поднял тот голову. — Люди — человеки. Жаль. Сам хотел ползти, да стар: ноги в дураках оставят.

— Они спали. Я разложил перед ними все свою еду... Сам голодом шел, три дня шел... Три года. Наугад. Думал — безлюдье, нет никого... Вот вы...

Петру говорить трудно. Дыхание его горячее, язык распух, ныли десны.

— Огневица у тебя, родной... На-ка фины.

Петр поймал руку Данилы и крепко, благодарно потряс ее.

— Ты чего?

Петра вновь одолевал сон. Приходили звери: белки, горностаи, волки, барсуки. Переговаривались друг с другом человеческими голосами. Песец примчался, тот самый. «Здорово, Петруша! — сказал он, потешно крутя острой нюхалкой. — Вот и я, Петруша! До свидания, брат! До скорого свида-а-а...» Так и не кончил, ускакал.

Петр, застонав, открыл глаза. Склонившись, любовно смотрел на него Данило.

— Ужо утречком я те узвар сварганю, сорокапритошник

у меня такой есть, от сорока болезней, от сорок первой смерти... Ххы!.. Зелье по всем статьям!

Петру приятно было слушать Данилу, потому что Васька тогда молчал, но едва Петр закрывал глаза, назойливый васькин голый голос начинал его корить. Петр взглянул к двери. На краю скамейки, прислонясь к косяку, маячил в полумраке чернобородый.

— Кто это у двери?

Данило оглянулся:

— Никого быдто нет. А что?

Петру страшно зажмуриться и страшно отпускать Данилу, но старика одолевал сон.

«Да-да-да-да... О-х-ох!»

— А я спасу!.. Федор да Марья... Спасу!.. А те — покойники.

«Кто? Андрей да Михайло-то? Что в сенцах-то тебя хороводили?»

— А откуда ж ты знаешь? — прошептал Петр, борясь со сном.

«Я все-о-о-о знаю-перезнаю! Хи-хи-хи...»

Петр приподнялся. Данило смирно сидел, как нежить. Петр с дрожью смотрел на его огромную белую, вдруг почерневшую бородищу.

— Уходи! Уходи! Кто ты? — и опрокинулся на изголовье.

Три дня прошло, три ночи. Болезнь сломилась.

Но омраченный дух Петра не прояснялся. Замкнутый, угрюмый, Петр лежал на кровати или шагал из угла в угол, то и дело жадно приникая к окну.

Взор тщетно щупал сизо-белую мертвогладь: смерть или воскресенье? Но пустынная даль была пуста.

В душе такая же холодная, белая, в снегах, пустыня. Посреди нее черный столб, на столбе черный ворон. Неустанно ворон каркает:

«Враг, враг!..» — накаркивает ворон.

Душа мечется, душа ноет и болит.

«Смерть или воскресенье?..»

Веселые парни потрошат тюленей: полосуют ножами животы, вырывают внутренности, сдирают бархатную шкуру, гогочут. Руки у парней в крови, ножи в крови, лица вымазаны кровью.

— Еду я, еду, — повествует Данило, взглядывая на Петра, будто для него рассказывает. — Ночь — хоть в глаз ткни, а гром так и гудет, молонья полощет. Вот и деревня близко, скоро лесу конец. Только слышу это я...

«Враг, враг!..» — накаркивает ворон.

Петр сел к окну, согнулся.

— А ты молчишь да молчишь?.. Чегой-то ты? — кликнул Данило.

Петр не ответил.

Весь угол завален тушами тюленей. Они смотрели на Петра черными глазами, жалели. Петр не выносил их взгляда. Начинало казаться, что они все знают и хотят ему все сказать. А когда он в мрачной думе сел к окну, подполз тюлень, приподнялся и, положив круглую голову на его колени, ждал. Глаза животного в слезах, вздыхает. Петр дал ему в нос щелчком. Тюлень обиженно посмотрел на него и пополз обратно, оставляя распоротым брюхом кровавый след. За этим тюленем подползли другие, много... А Петр — щелк да щелк. Уползали обратно обиженные, кровавые.

Данило толкнул локтем соседа — парня и спросил Петра:

— Ты кого это пощелкиваешь?

Петр смутился.

Данило что-то веселое отмочил. Все захохотали. Данило соврал погуще, чтобы развеселить Петра. Хохот захватил всю избу. Хохотали и тюлени. Только Петр молчал. Молча и обедал. Весь день молчал. Молчанкой и спать лег.

Но сон видел сияющий и беспечальный.

Будто плывут они, четверо, в расписной гондоле по голубым шелковым волнам. Солнце, птицы, берега в цветах, цветы в гондоле, на коленях Наташи, в руках Марьи, кругом цветы. А Федор, что у руля, щедро разбрасывает их в волны, в воздух. У него целая корзина гвоздики, нарциссов, алых роз. Наташа смеется, Марья радостно всплескивает руками — вся в белых канифасах. «Вот где царство небесно-то», — говорит и крестится. — «Всем морям море», — улыбается Федор. — «Море это — Средиземное», — поясняет Наташа. По краю ее одежд вишневой обнизью шли бусы. Петр умиляется, хочет всех обнять, приласкать, утешить. «Братья», — шепчет он. — «Спасибо тебе, Петрованушка, спасибо!» — говорит Марья. — «Экое царство небесное!..»

И Данило:

— Царство небесное!..

Петр тяжко открывает глаза. Эх, сон! Все пропало. Темно. Нет нарциссов, алых роз, отшумело голубое шелковое море.

— Царство небесное... Надо бы, ребята, помолиться! Что ж, все там будем!..

Копошатся в сумраке люди. Один за другим лениво загораются огоньки и плывут толпой в передний угол, к образам. У иконы тоже три огонька качнулись, закланялись — осиянная божья матерь младенца в руках держит.

— Как их звать-то? Спросить надо человека-то. Эй, Пётра!

— Федор... Марья...

— А тех-то как? Вставай, чего лежишь?

«Умерли, умерли... — стучало сердце, как в скалы-льды.— К чему вставать? Умерли».

— Значит, умерли? — несмело спросил он.

Артель стояла на коленях, пела:

«Со святыми упокой...»

Пугливо, зябко колыхались огоньки, нескладным стоном стучали в уши трогательные слова напева, богоматерь кротко поглядывала вниз. Зачадило, запахло гарью. Затрещали светильники, огоньки кончали жизнь свою, изба уходила в могилу, в ночь.

«...но жизнь бесконе-е-е-чная...» ныл, как скрип мачты, стариковский голос.

«Это все сон, все сон. Вот проснусь», — обманно шуршало в ушах, но могила глубже, глина вязче, камень тяжелей.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Наташа!.. Милая, бедная моя!..»

Петр шел белой равниной. Он еще не знал, куда идет, не знал — зачем: он шел казнить себя.

«К ним!.. Они погибли. Смерть была мучительна... Возле хлеба умерли с голоду! Старик изгрыз себе руки».

— Эх, жалко! — с тягостной болью воскликнул Петр.

Сумрачный день угрюмо сторожил его и разнес по ветру: «Жалко...»

Петр закрыл глаза и шел так несколько минут, чужой себе. Взмахнул ветер седыми рукавами, как холщевым саваном покойник, вздыбились, заиграли козлом белые вьюны.

«Скоро ударит, — подумал он про надвигавшуюся пургу. — Надо приготовиться».

Петр горько ухмыльнулся. Вот он, больной и немощный, ушел тайком из рыбачьей артели, от этих милых, ласковых парней, от добродушного Данилы. Наверное, спохватились, ищут его. Пускай!

Он присел отдохнуть на твердый бугор снега, устало взглянул мутными глазами в южную сторону, и вновь вспомнился ему Филипп.

«Дружище!.. Может, когда-нибудь и прочтешь?..»

Он вынул из куртки книжку и нетвердой рукой написал:

«Природа! Я тебя люблю, но я тебя и ненавижу; ты моя любовница, и ты — мой злейший, заклятый враг!»

Он некоторое время сидел в раздумьи.

Ему еще раз захотелось попытаться приковать себя к земле, но он чувствовал, что цепь жизни тонка, как паутина: душа его сложила крылья и, словно умирающий, забившийся в ущелье коршун, ожидала свой предел.

Он видел одряхлевшим взглядом: снег, мороз, холодное солнце и эти льды.

«Лед, лед, лед, — повторил он в мыслях. — Все лед, и нет нигде жизни!» Но кто-то, перебивая его думы, назойливо кричал ему: «Жизнь, жизнь, всюду жизнь! И в льдине жизнь, движение. Двигайся, двигайся, двигайся!»

Петр быстро встал, встряхнул плечами. Да, надо двигаться, надо итти. Но куда, куда?!

Ветер креп. Седые вьюнки предательски ласково лизали его ноги. Простор мутнел.

«Как я слаб!.. Жар... Озноб. Прилечь бы, уснуть!»

Все кругом было прозрачным, призрачным, стеклянным, все позванивало, струилось потоком белой мглы. И не стало ни человека, ни мира вокруг него.

Бушует над неоглядной тундрой, злобствуя, бесится пурга.

Шел человек белым полем, пропал человек. На тысячу верст разметала пурга лохмы, воет:

«Я белая, шальная, я стра-а-аш-шш-ная! Зачем пришел?»

Шел человек белым полем, пропал человек, погиб.

Воет пурга, белые поминки правит, торжествует.

Но человек живуч и жив, он спрятался, укрылся: снежинка за снежинкой, пласт за пластом пурга одела его пуховым белоснежьем. Жив человек!

Он в яме, он давно залез в нее, в это надежное прибежище, как в гроб. Снег снизу, снег с боков, со всех сторон, над головой...

Пурга разразилась безморозная, сырая. Приминая липкий снег ладонями, Петр лепит свод, утаптывая дно, ровняет стены. Убежище готово. Темно и влажно. Петр в снеговой пещере, как в скорлупе орех. Сознанье Петра напряжено, чтоб не заснуть: заснешь — умрешь! Он сидит, поджав ноги, держится за шест. Толстый шест уперся в дно, проткнул пустоту пещеры, проткнул лежащий над головой сугроб, вылез на поверхность, сторожит пургу. К концу шеста привязана черная котомка: авось приметит ее случайный путник. Надо безостановочно вращаться вокруг шеста, как на карусели: вправо — вправо — вправо, влево — влево, чтоб не кружилась голова.

Время от времени, когда не лень, Петр чуть приподымается и, уткнувшись затылком в снеговой свод, начинает воль-

ным концом шеста разбалтывать надмогильную дыру. Насторожит прожорливое ухо, слушает: воет пурга, поминки над ним правит, выше нагребает, охорашивает могильный холм. Когда же ей придет конец?

«Ну-ка, подвинься», — сказал чернобородый и сел рядом.

«Васька, ты? Почему же ты в сюртуке? Мужик, а в сюртуке?»

«Потому что надо», — улыбнулся Васька по-хитрому.

Петр, не раскрывая дремотных глаз, молча, сквозь веки рассматривает Ваську: красный галстук, белый высокий воротник, в бороде — дрянь какая-то.

Он взял руку Петра: «Ну-ка, пульс, я — доктор». Открыл свои золотые часы, шевельнул черной бородой, сказал с нахальцем:

«Очень хорошо. Скоро сколеешь».

— Врешь! Я жить хочу. Жить! — отчаянно крикнул Петр. — Пшел вон!

Васька смолк, пропал.

«Плохо, очень плохо... Бред», — подумал Петр и нащупал в кармане револьвер.

«Что ж ты молчишь? — голый раздался васькин голос. — Ты зверь, ты прах, ты говядина...»

«Я сильный...»

«Ха-ха... Сильный?! Чем? Брюхом-то, мясом-то? Просторы покорил, пургу покорил, полярную ночь покорил? Так, по-твоему? А себя покорил, зверя своего посадил на цепь? Ха-ха...»

«Не смейся, чорт! Молчи!»

«Молчу. Пузом все покорил, как же! Воевода, богатырь! А вот внутрях-то у тебя заслабило, схлюздил... Вот подсунули тебе двух стариков сопливых: а ну-ка, Петя, экзамен сдай, — ты — тюх! — и провалился. Факт, факт, факт!»

«Неправда... Я их...»

«Знаю, знаю... — замахал Васька руками. — Ты сейчас скажешь: «Затем их и бросил, чтобы спасти их...» Враки! Юлишь, Петруша. Туман наводишь. Ты их возненавидел. Ты себя спасал, не их. Шкурник ты! Убийца! Факт!»

У Петра сжалось сердце. Он отодвинулся от Васьки и, опасливо поглядывая через тьму в его глаза, сказал:

«Я же не убил их...»

«Убил, — как пилой по железу царапнул Васька. — И их убил, и себя убил. Так тебе и надо: не бросай. Ты думал: люди — вши. Ан ты вошь-то оказался, гнида. Факт, факт, факт...»

«Молчи!»

«Молчу...»

И видит Петр: обнявшись с Васькой, сидит старик Данило, рыбачий уставщик.

«А ты зачем? Ты тоже судить меня пришел?»

«Судить, судить, — враз ответили Васька и Данило: — Эй, Федор, Марья! Выходи!.. Требуй выкуп!»

Петру стало нестерпимо душно. Все тело палил испепеляющий огонь. Петр рывком расстегнул парку, рванул ворот рубахи:

— Жить!.. Воздуху!.. — он глухо кашлянул, открыл полумертвые глаза.

Пусто. Влажный и темный склеп.

«Неужели умираю?» — с каким-то отупелым безразличием подумал он.

«Чего рубаху портишь? — вновь прозвенел голый васькин голос. — Ты рубаху не рви, ты скорлупу проклюнь».

«Какую скорлупу? — лениво удивился Петр, смыкая глаза, и, лишь зажмурился, увидел Ваську. — Какую скорлупу?..»

«Как — какую! Ты же цыпленок. Проклюнь и выскочи. А потом кукареку-у-у-у! — и все узнаешь. На вот, револьверчик, держи... Проклюнь».

«Я тебе башку проклюну!» — и Петр с яростью вцепился в Ваську.

«Стой! Ты в меня стрелять?!— рванулся тот.— Дурак! Себя убьешь...»

«А, дьявол!»

Петр схватил мужика за бороду и с освобождающим злорадством выстрелил ему в висок.

Васька изумился, захохотал, заплакал, тихонечко сказал: «Иди».

Все так же было прозрачно, призрачно, стеклянно, все позванивало, струилось потоком белой мглы.

Пурга зарыла человека в хладную могилу и в вое, в хохоте оплакивает его. Белая, безглазая пурга умеет только выть и плакать.

Шел человек белым полем, пропал человек.

На тысячу верст разметала пурга лохмы, воет:

«Я белая, шальная, я стра-а-аш-шш-ная... Зачем пришел?»

Очнулся Петр у тех же рыбаков. Он недалеко ушел от их становища. Рыбаки нашли его по берестяной котомке, привязанной к шесту, которым Петр предусмотрительно проткнул снеговую свою могилу.

Возле него все тот же уставщик рыбачьей артели Данило-дед, ласковый, внимательный.

Надвигалась весна, стало ярко светить солнце, у Петра быстро нарастали силы. Ненавистная «пурга» в его душе кончилась, и прежнего удрученного настроения как не бывало. Он снова бодр, отважен, весел.

Да, поистине, он поборол смерть и, как внезапно спасенный от погибели, радовался жизни.

Он остался в артели, чтобы своим упорным, умным трудом отблагодарить рыбаков за их высокий, по отношению к нему, человеческий подвиг.

Миновало три месяца, солнце быстро согнало снег, и вдруг влетела в голову Петра обольстительная мысль о вольной воле. Да! Пусть закадычный друг Филипп пользуется его избой, до свидания, милые товарищи по ссылке, Петр не возвратится к вам.

Вскоре, одна за другой, прибыли три норвежских шхуны. На одну из них Петр устроился матросом.

Написано в 1916 г. Обработано в 1926 и 1938 г.

АЛЫЕ СУГРОБЫ

Есть на свете такая диковинная страна, называется она — Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли, или еще где-то. Скрозь надо пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница сама собою круглый год растет — ни пахать, ни сеять, — яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравьи без конца, без счету стада пасутся — бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна — диковинная.

Молола бабка Афимья — безрукий солдат при медалях ей быдто сказывал: «Беловодье под индийским царем живет».

Врет бабка Афимья, врет солдат: Беловодье — ничье. Беловодье — божье.

I

Когда-то, и не так давно, жили в селе Недокрытове два закадычных друга, Афоня Недокрытов да Степан Недокрытов, так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, молодые, только по обличью не схожи.

Афоня — мужик как мужик, обыкновенный: запах от него крепкий, речь нескладная, весь он какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сляпан. Степан же — угрюмый, черный, присадистый, голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке. Степан—чорту брат: повстречается медведь-стервятник — хвать ножом, как пить даст. Степан самый заправский охотник, медвежатник, Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.

И этих-то разных по виду людей судьба скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чистое поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги — «иди!»

Дело случилось так:

— Ну, так вот, с богом, ребята, со Христом, — сказало все согласье села Недокрытова. — Не жизнь нам здесь, а гроб. Эвот, поглядите-ка, что покойников-то на погосте: крестов, что в лесу деревьев, сами понимать должны. А земля наша — сквозь песок. А дождей который год нету, сами знаете... Чистая смерть, господи помилуй...

— Еще вот что, ребята, — сказал староста Нефед, ласково посматривая на Афоню со Степаном из-под широкополой жеваной шляпы. — Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас. Ей-бо... переселимся и работать не дозволим: сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками да малину с медом кушайте. Ей-бо.

Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и — в дорогу.

Степан еще раз попросил мужиков:

— Не забывайте баб-то наших. В случае чего так...

— С богом! Езжай без сумленья. Сказано — поможем.

Их жены разливались слезами, выли ребятишки.

Мать Афони, сморщенная, маленькая, прытко бежала за сыном, заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться, но глаза захлебывались горем, в глазах качался, вянул белый свет.

— Буди благословение мое... буди благословение...

— Не плачь, мамушка, брось... Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу.

Долго крестила иссохшая старая рука взвившуюся на дороге пыль. Поворот, пригорок — и всадников не стало.

II

Сначала в седле тряслись, потом на пароходе Волгой плыли — вот так река! До чугунки добрались, — как пошли отмахивать да как пошли крутить, Урал — вот так это горы! А там и Сибирь — плоская, ровная, а дальше опять река, да не река, речище — Обь... А за речищей опять горы начались, не горы, а горищи — сам Алтай! Господи помилуй, господи помилуй, этакие чудеса на свете есть.

— Куда же это ваш путь принадлежит? — спросил их в селе Алтайском дядя сибиряк-чалдон.

— Правильную землю ищем, Беловодье, — робким Афоня ответил голосом.

— Беловодье? — переспросил сибиряк и насмешливо при-

свистнул, нахлобучивая картуз на брови. — Это сказки. Старухи на печи сказывают. Беловодья, братцы, нет. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда... езжайте вы прямым трактом в Онгудай, такое село есть. А там покажут — куда. Много вашего брата, самоходов, в тот край прет.

Долго ли, коротко ли ехали — горы, речки, луга, холмы — и всех встречных спрашивали:

— А скоро ль Возгудай-то?

— Какой Возгудай?

— А этот самый... как его...

Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козел ревел на сопке поутру. А ночью в густо-синем небе — звезды. Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет.

— Степан, господи Сусе... Степан? Глянь-кось, глянь-кось.

Степан едет передом в седле, угрюмый, гложет на ходу баранью кость.

— Степан!

Но всему бывает свой черед: за рекой Катунью засерело на пригорке Онгудай-село. В Онгудае их снова опахнули холодком.

— Где это видано, чтоб такая земля была: реки молочные, берега кисельные. Эх, вы, лапотоны! Ничего вы, лапотоны, не смыслите. Эх, Расея-матушка!

Афоня было в спор, турусы начал разводить. Степан же отсек сразу:

— Киселей нам не надо никаких. Мы добрую землю ищем.

— Так и толкуй, — сказали сибиряки-чалдоны. — Добрую землю вам покажем. Это надо за Кемчик итти, в Урянхайский край.

— Чей же это край? — спросил Степан.

— Не то китайский, не то наш. Попросту сказать—ничей.

— Слава те Христу,— перекрестился Афоня.— Его-то нам и надо. Это самое Беловодье-то и есть. Оно!

Прожили в Онгудае путники целую неделю. От Онгудая через горы, сказывают, суток шесть пути; они заготовили провианта вдвое: сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких, их и ковать не надо: сталь, а не копыта.

Хозяйственный Степан суров, смекалист, быстр. Афоня же так... все про пустяковину: а красива ли дорога? а какого, мол, цвета горы? а какие распевают там птицы, громко ли грохочет гром в горах? Даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом, — сказывала, мол, бабушка Афимья.

Только на прощанье по-серьезному проговорил Афоня:

— Ну, а ежели заблудимся да погибать начнем?

Ему ответили:

— Тогда — аминь. Кругом безлюдье.

— Ни-ничего, — бодро протянул Степан. — Несчастья бояться — счастья не видать.

Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх, гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку, еще чуть-чуть — и нет его. Степан как гикнет: «Айда!» — как вытянет коня нагайкой: гоп, гоп! Глядь — солнце опять над сопкой, снова светлый день.

Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно.

Остановились на ночлег в горах.

— Вот так это горы! — радостно, таинственно говорил Афоня, сидя у костра.

— Настоящих-то гор еще и не нюхали, — возразил Иннокентий. — Что буде завтра.

Утром выбрались путники на самый перевал. Глянул Афоня — и все внутри его заплясало: весь Алтай всколебался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ, высились над землей: ближние—в ярко-зеленой щетине леса, на ободранных боках кровавые подтеки; а там — черные ребра обнажились, там — осыпь серых камней — курум. Дальше же яркая зелень блекла, голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный афонин взор, — было синим-сине. Налево лежали хребты нагие, словно звериные спины облысели от времени, или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса.

Все они вздымались серой массой, с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что это тени плывущих в небе одиноких облаков.

А небо было голубое, спокойное, солнце недавно поднялось из-за хребтов и... что это там впереди блестит — больно глазами глядеть?

— Снег! — вскричал Афоня. — Гляди-ка, Степан, снег!

— Это вечные снега, вечные льды. Спокон веку так, — внушительно сказал Иннокентий. — По-нашему называется— белки.

Весь горизонт уставлен белыми хребтами, только ниже склоны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлестали глаз резкой белизной.

— Через эти снега вам придется итти. Ничего, не бойтесь. Вот эту сопочку-то видите, — эвот, эвот, чернеет?..

Иннокентий толковал им целый час, все обсказал подроб-

но, куда итти, в какой балке ночевать, какие речки вброд переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то. Ну, прямо, отпечатал.

— Самое трудное вам—до белков добраться,—сказал сибиряк.—Как белки перевалите, близехонько и Беловодье ваше.

— До этих белков мы, поди, завтра же и доползем, чего тут, — проговорил Афоня, поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. — Рукой подать.

Сибиряк с презрением посмотрел на него, — он видел в нем человека никудышного, — сказал:

— Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них.

— Да ты сдурел! — крикнул Афоня.

Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул.

— Нет, паря, не докинешь.

Афоня стал сибиряка просить.

— Иннокентий, проводи нас, чего тебе.

Тот сверкнул глазами, как ожег:

— Каждого провожать — подохнешь. Поди, хозяйство у меня. Эт, ты, лапотон, чего сказал. Башка с затылком!

Степан сурово тряхнул головой:

— Не хнычь! Найдем и сами. Не в таких местах хаживали.

Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня — в разных переделках бывал Степан, жизнь Степана для Афони сказка, Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.

III

К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что, казалось, некуда итти: вот залегла едва приметным стежком их узкая тропа, а там упрется в стену и — шабаш. Громады каменных хребтов, клок неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит: две козявки еле движутся внизу. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза. Зачем? Орлу — простор и высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце, воля!

А в глубокой котловине сырой, обманный сумрак, остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер.

Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков.

— Степан! А где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой.

Степан только улыбнулся.

— Настоящий ты Афоня.

Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взорам был не заказан мрак и свет.

— Он ви-ди-ит, — улыбнулся и Афоня, подморгнул парящему в выси орлу.

Афонин чалый конь след в след шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрым конем своим одно. Он внимательным взглядом щупал все кругом, он чутьем охотника угадывал, куда вильнет тропа и что таится вон за тем зубчатым черным мысом, будет ли завтрашний день ясен и погож. За широкими плечами — наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, конь гриваст.

Афоня же сидит мешком, ссутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплевывает, мечтает. Новизна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропка крутым взлетом вверх и вправо — ахнула душа Афони: все не узнать, все стало по-новому, занятней, краше.

И кричит Афоня:

— Степан! Степан! Чего это?

Отдаленный шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все креп и надвигался этот гул, все мрачней, непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыхание. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину, всадники враз повернули вправо головы и остолбенели: с поднебесной высоты возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Падучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями: вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки, плавно повертывают в сторону и манят за собой куда-то вдаль, в волшебную долину между гор. И вновь, и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения, их зрак и все кругом в тумане, крутая радуга мягким кольцом обхватила все, призраки преклоняют головы с разметавшимися волосами, осторожно опускают крылья, чтоб не коснуться самоцветной радуги, плывут в неведомую даль и исчезают. Водопад кропил всадников золотой, в блестках солнца, пылью, их лица были мокры, алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет, от земли до солнца. От грохота колыхались горы и, казалось Афоне, тряслась земля.

— Степан, голубчик! — что есть силы заорал он. — Вот так чудо!

Но голос его умер, грохот сдавил горло, запечатал слух. Афоня перекрестился.

— Ой, ты, чудо-то какое, — бормотал он. — Вот так диво!

Он не мог и не пытался понять, что в нем творится, он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо и словно во сне он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку, и вновь его душу охватывал непереносимый трепет, тяжкая радость мешала ему дышать.

— Ой, смерть! Ой, поедем скорей, господи! — карабкался он на коня.

И долго озирался на радугу, на встающие в тумане уплывающие призраки; грохот глуше, глуше, и когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо, безмолвная стояла ночь.

IV

Прошло три дня. Конь Афони рассек камнем ногу, стал хромать. Степан встревожился, Афоне нипочем. Он все мечтал о Беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой, по привычке размахивая руками, иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур: запасы убывали, дичь не попадалась на пути, а главное, чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он.

Теперь ехать поневоле приходилось шагом. Да и тропа стала капризной, озорной: как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх, на уступ скалы, чтоб вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях курума.

Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая — человеку враг.

— Ну, Афоня, теперича держись.

— Держусь.

Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, лицо бледное, напряженное, взгляд растерянный и странный.

Солнце в горах садится рано: горный дух Алтая любит прохладу, одиночество и мрак.

Солнце садилось. Гребни гор обрамлялись золотой чертой заката. Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бомом. Внизу гремела речонка. Вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий к речке выползал туман.

— Степан, чего-то боюсь я.

Путники были на большой высоте.

— Гляди мне в спину, не гляди вниз, — не поворачивая головы, проговорил Степан.

Горы на западе стали черными, туман поседел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб — вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду.

Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным, созданным природой, выступам, а скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажень и больше — кони шли вольготно; то она суживалась до аршина — тогда даже Степана кидало в оторопь, сердце же Афони обмирало, он холодел, дрожал. Чтоб не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли внаклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка — сиди, не шелохнись, не мешай коню; всадники сидели смирно, Афоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали; напряженный шаг их осторожен, точен. А тропа забирала выше, выше.

— Повернем назад, — слезно взмолил Афоня.

— Дурак, — ответил Степан. Голос его сердит, безжалостен. — Как же назад, ежели коню не оборотиться?

Афоня понял, что обратно повернуть нельзя.

Кони всхрапывали все чаще, в горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали о камень резко. Резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже зачиналась ночь.

Афоня боялся глянуть вниз, но круча под ногами тянула неотразимо. Афоня вскидывал голову, искал в небе звезды, ощупывал глазами широкую спину Степана, но все нутро кричало, орало: взгляни вниз! — и не было мочи противиться. Афоня видел внизу серую мглу: то наползали на речку туманы. И еще он видел, не глазами, а чем-то другим — видел такое, что...

— Ой, Степан, я слезу... Я пешком пойду.

Степан молчал. Степан сам был не в себе. Темнота сгущалась, а где конец тропы?

Конь его идет ощупью, дрожит, прядет ушами. Ступь все медленней, все осторожней. Сорвался из-под копыт камень, гулко покатился вниз, задняя нога коня скользнула. Степан ахнул и враз облился холодным потом, едва удерживаясь в седле. Он быстро обхватил коня за шею. Коню передался ужас всадника, он всхрапнул и, остановившись, привалился боком к скале. Степан не знал, что делать. Охваченное мра-

ком пространство как бы исчезло: стало совсем темно. А сзади молил Афоня:

— Степан, голубчик! Погибель наша.

— Стой, дожидай! В потемках куда, — дрожащим голосом проговорил Степан.

Афоня вплотную подъехал к нему, но тот боялся повернуть голову: ухнешь с конем в пропасть.

Впервые в жизни Степан почувствовал полную беспомощность. Он ясно понял, что весь его жизненный опыт, отвага, сила — ничто. Может налететь ночная птица, может сверху оборваться камень — конь вздрогнет, неверный шаг и — смерть. Конь стоял смирно. Степан не смел понукать его. Но как же быть? Дожидаться до утра в седле? Задремлешь. Слезть с коня? Опасно: тропа в этом месте так узка, что четыре лошадиных ноги едва умещаются на ней. Степан терял присутствие духа.

Он уже ничего не мог различить перед собою: горы сгрудились вместе, враждебно придвинулись к путникам, черные, немые. Обложенное облаками небо мрачно. Слева едва серела скала, в холодный гранит которой упирался дрожащий локоть Степана. Мысль работала напряженно, она вся без остатка увязала в этой тьме, выхода не было, и Степан, зло сопя, скрипел зубами:

— Будь оно проклято, это дьявольское Беловодье.

И неизвестно, шло или остановилось время. Степан перестал чувствовать коня под собою, не ощущал земли, не знал, жив он или нет. Мрак убил его, он как в могиле, весь холодный, недвижимый. Грудь переставала дышать, мысль пресеклась, он — мертвец.

«Фу ты, леший... Неужто смерть?» — вдруг вздрагивала вся его душа.

Степана бросало мгновенно в жар, волосы на голове шевелились, сердце ударяло полной силой. Степану тогда представлялось, что кругом пусто: ни земли, ни неба, одна тьма, и что он среди этой тьмы подвешен на гнилой веревке, в пустоте. Один, совсем один. Веревка вытягивается, потрескивает, еще минута — и веревка лопнет: враз засвистит в ушах ветер, обомрет дух, тело будет падать, падать, падать—хрясь!

— Ох, ты...

Вот раздался грубый трубный звук. Тьма откликнулась и замерла. Это ревет горный козел. На душе стало легче — не умер, жив.

Афоня хныкал, бормотал:

— Экие страсти, батюшки мои... Голова чего-то у меня кружится.

— Ну?..

— Тово гляди, сорвусь.

— Держись. А то костей не соберешь.
— Пресвятая ты моя богородица... заступница...
Вдруг облака стали серебриться.
— Никак месяц, — радостно сказал Степан.
Из-за хребтов взнялась луна, облака разорвались, пространство посерело, потом вдруг наполнилось ровным голубоватым светом. Столпившиеся горы враз отпрянули на свои места, внизу засверкала серебристым шнуром речка, из мрачных провалищ плыл туман.
— Батюшка Степан... Сорвусь!
— Завяжи глаза.
— Страшно шевельнуться.
Степана покоробило. Он чувствовал, что Афоня вот-вот опрокинется в пропасть, и не было силы помочь ему. Степан шевельнул повод, лошадь вздохнула и осторожно двинулась вперед.
— Поезжай полегоньку. Ежели страшно — защурься! — крикнул Степан и привычным ухом поймал, как сзади цокают о камень копыта.
Тропа быстро пошла книзу, стала шире, от сердца Степана отлегло. Облака то наплывали на луну, то разлетались. Тропа чуть поднялась вверх и круто стала спускаться. Речка здесь разлилась широко, была молчалива и тиха: рухнувшие скалы подпирали ее течение. При лунном свете Степан ясно различил над ее поверхностью мокрые, блестящие лысины камней.
«Слава богу, выбираемся», — облегченно вздохнул он.
Но, вот его лошадь приостановилась, подобрала все четыре ноги в одну точку и скакнула вниз. Степан едва усидел, схватившись за шапку.
Еще прыжок — Степану больно стукнуло ружье о спину.
— Эй, держись! — закричал он Афоне.
Но в этот миг что-то загрохотало сзади. Степан круто обернулся, обмер: лошадь Афони сплоховала — всхрапывая и цепляясь передними ногами о край скалы, она грузно сползает задом в пропасть.
— Афоня! Афоня!
Еще мгновенье — и, высекая копытами искры, лошадь со ржанием покатилась вниз.
— Афоня!!.. — чужой, отчаянный крик вылетел из груди Степана. Он соскочил с коня и бросился к краю пропасти. — Афоня, где ты? Эй!
Лунный сумрак молчал. Только разрывало сердце смертельное лошадиное ржанье внизу, сменявшееся тяжким кряхтеньем и почти человеческими ее стонами. Конь Степана тревожно ржал в ответ и бил копытами о камни.
— Степан, умираю... Степан... — слабо раздавалось возле Степана, немного ниже, во тьме.

Степан, как лунатик, стал осторожно переступать с карниза на карниз. Он не думал об опасности, его кто-то вел, указывал, куда ступить, он сделался легким, бездумным, странным, ноги враз как бы прозрели, руки к скале — магнит к железу, крылья опасности поддерживали его над бездной.

— Помоги... Ради Христа.

Степан склонился над Афоней. Тот завяз в расселине скалы. Степан догадался: на том проклятом месте Афоня не усидел, упал и этим сразу нарушил точно рассчитанный прыжок коня.

— Руки, ноги целы? — спросил Степан, ощупывая старавшегося приподняться товарища.

— Кажись, целы... Бок зашиб, голову.

— Сиди. Дожидай...

Степан, так же по-кошачьи карабкаясь, стал быстро спускаться к лошади.

Он не знал, долго ли и как спускался, — он был не свой, не здешний, тело подчинилось духу, дух спустил его, ослепшего, в пропасть и открыл глаза.

Степан увидел, содрогнулся. Чалая лошадь Афони, падая с огромной высоты, напоролась животом на остро торчавший ствол сломленного крепкого деревца. Она упиралась в камни передними ногами, зад же лошади, подпертый пронзившим ее стволом, висел в воздухе. Она ржала мучительно, с смертельной тоской, била задними копытами по воздуху и крутилась, стараясь освободиться. Но крепкое острие все глубже уходило в распоротый живот. Рот ее был оскален и покрыт пеной, голова бессильно моталась во все стороны. Степан смаху ссек топором лесину, лошадь стала на все четыре ноги — и зашаталась. Степан потянул из живота ствол — вместе с хлынувшей кровью вывалились внутренности, как кольчатые змеи. Лошадь протяжно охнула, опустила голову и застонала по-человечьи; задние ноги ее отказывались служить, подгибались, словно она собиралась сесть. Степан засопел. Лошадь повалилась на бок. Шатаясь и скривив рот, Степан зашел спереди, опустился на колени и обнял лошадь за шею.

— Миленькая моя... Лошадушка... Детишка моя, лошадушка... Лошадушка!

Он целовал ей глаза и лоб. Глаза ее были влажны и под луной блестели умоляюще. Она вся затихла, чего-то ожидала покорно.

— Миленькая, лошадушка.

Степан глухо крякнул, перекрестил ее, вскинул ружье и выстрелил ей в ухо.

Глухо, перекидисто загрохотал в горах выстрел, долго перебрасывался от горы к горе, и последние отзвуки его где-то зарылись в туманах.

V

Теперь приятели плелись пешком, степанов конь тащил на себе весь груз. Торбы с хлебом и сухарями стали тощи, а сказочное Беловодье не подавало о себе никакого голоса. Путники приуныли. Афоня шел с обмотанной головой, припадая на правую ногу. Тяжкая дорога и ушибы мешали ему молитвенно настроиться, но он все же молился молча и за убившуюся вчера лошадь и за свое спасенье. Шли ровными лугами, блестело утреннее солнце, красовались цветы в траве, от самоцветных гор веяло теплым, смолистым запахом. Вчерашний ужас еще не иссяк в глазах Афони, бледное, постное лицо его сосредоточено, думы там, среди мрака ночи, и слух наполнен липкими звуками предсмертного ржанья. Он не видел солнца, не замечал росистых трав кругом.

— Хоть бы чорт повстречался, — буркнул Степан.

— Что ты такое слово вымолвил! — ответил Афоня и взглянул в хмурое, озлобленное лицо Степана.

Степан сказал укорчиво:

— У тебя ведь душа коротка. Ты все над землей привык порхать, по-птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать, а не... Я знаю, о чем ты думаешь... Вот ужо тебя богородица или андел божий на крыльях прямо в Беловодье, к кисельным берегам, нате, кушайте, Афанасий Митрич. Хы! А своими ногами не хочешь пошагать?

— Вовсе даже не об этом я думаю, — печально молвил Афоня и, помолчав, спросил: — Степан, отчего Чалка так ржала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее.

— Ничего не ржала. Тебе погрезилось... сразу насмерть зашиблась.

— Пошто ты выстрел дал? Пристрелил?

— Ничего не пристрелил. Козла увидал, да промазал.

Афоня вздыхал, испытующе посматривал в притихшие глаза друга.

Обедали у ручья, в тени густого кедра. Степан набрал грибов, хлёбово было вкусное. Афоня повеселел, взор вновь окрылился сказкой, мысли отлетели от земли. Но Степан отрезвил его:

— По расчету, вчера на месте должны быть, а еще и белков не видно. Шестые сутки путаемся. Поколеешь тут.

— В Беловодье отдохнем.

— Плохой ты товарищ. Беловодье... Кажись, сказано тебе ясно, что Беловодья на свете нет! — отрубил Степан.

— Куда же оно девалось? Есть. Мне видение было, сон. Вот уснем в беде, а проснемся у молочных рек.

Степан насупил брови и махнул рукой.

Тропа опять ударилась в горы. Шли каменистыми россыпями. Путь труден, неподатлив. У коня из сбитых ног сочилась кровь.

Вдруг на повороте внезапно вырос всадник. За ним шла в поводу свободная, незаседланная лошадь.

Мрачные морщины на лбу Степана разлетелись, лицо ожило. «Ну, теперя доберемся, — подумал он, с надеждой посматривая на приближавшегося всадника. — Кровь пролью, а лошадь будет наша».

— Куда? В Урянхай, что ли? — зычно спросил всадник, поровнявшись. — За хребты?

Путники рассказали ему все. Афоня захлебывался от радости, умильно посматривая в свинячьи глазки великана-всадника, и юлил перед ним, как повстречавшая хозяина заблудившаяся собака.

Всадник пудовой горстью огладил круглую бороду, сказал:

— Вертайте, самоходы, назад. В белках вам крышка.

— Выберемся, — возразил Степан, оглядывая огромную фигуру мужика. — Взад оглобли поворачивать не рука нам.

— За смертью идете, — угрюмо проговорил мужик. — Вьюга была, путь в снегах перемело.

— Продай, пожалуйста, коня, выручи нас, — стал просить Степан, чувствуя, как в сердце закипает неприязнь.

— Ты умен, — раздраженно ответил всадник. — Для себя его купил, эвот какую путину сломал.

— Продай! — решительно отсек Степан, глаза его сверкнули.

Мужик, не ответив, тронул коня.

— Продай! — с отчаянием заорал Степан, хватаясь за ружье.

Мужик обернулся и, вмиг сорвавшись с седла, в два прыжка был за выступом скалы. Щелкнул затвор ружья, дуло нащупало степанов лоб.

— Бросай ружье, язви тебя! Убью!!! — взревел из-за скалы медвежий голос.

Афоня пал на колени, взмолился:

— Дядя! Дядя!!

Степан подался назад, заскрипел зубами и покорно повесил ружье за плечи. Его била дрожь. Лицо налилось желчью и подергивалось.

Мужик вперевалку подошел к Степану и спокойно сказал:

— Мой совет — назад. Упреждаю. Было бы сказано. Садись на мою лошадь — и айда... А промежду прочим... Знаете дорогу?

И опять подробно рассказал им, как итти. Сел на коня и, не оборачиваясь, поехал.

Афоня кричал ему вслед:

— Ежели погинем, на тебе ответ перед богом!

— Всяк сам за себя ответчик! — гулко бросил тот.

Степан с ненасытной злобой сек взглядом широкую удалявшуюся спину, руки чесались пустить вдогонку пулю, но мощь и звериное бесстрашие всадника были защитой ему.

— Ну и дьявол... — скрипел Степан зубами.

Афоня проговорил:

— Господь с ним.

— А подь ты к праху, фаля! Тьфу!!

VI

На следующее утро, пробудившись, Афоня закричал спавшему товарищу:

— Степан, Степан! Глянь-ко, белки!

Степан приподнялся из-под шубы. Перед ними, совсем близко, высились громады гор, их подол и взлобки опушены густым лесом, выше — полоса леса обрывалась, обнажая серые, исчерченные черными ущельями склоны, а вершина хребта придавлена пластами снега, приветливо розовевшего в нежных потоках утренней зари.

Афоня был в одной рубахе. Не чувствуя холода, он дивился на вознесенные к облакам снега. Все гуще алели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах, в ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом.

Афоня сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь:

— Господи, господи, снег-то какой... красный... Так бы и погулял там.

— Может, там смерть наша сидит,—сурово сказал Степан, разжигая костер.

Но Афоня не слышал, не замечал его. Афоня опустился на колени и гнусаво, по-старушечьи, запел:

— «Заступница усердная, матерь господа выщая».

— Выщая, выщая, — брюзжал Степан. И крикнул: — Где у тя чайник-то? Ишь замерзла в нем вода-то. Оболокись [1], заколеешь!

Степан знал, что эта видимая близость белков — прямой обман, дай бог хоть на вторые сутки дойти до снегового перевала. Сегодня путникам придется пересекать топкое болото, отделявшее их от грани лесных трущоб, и сегодня же последний сухарь будет съеден.

Степан угрюм и молчалив, Афоня радостен.

---

[1] Оболокись — оденься. *(Прим. авт.)*

— Ты не беспокойся. Вот помяни мое слово: как в лес вступим, живность найдем — рябков либо зайчишек...

— Мерблюда на сосне, — буркнул Степан и почувствовал, что желудок его пуст.

Шли каменистым болотом целый день. Ноги вихлялись на кочках и проваливались по колено в воду. Сапоги текли, промокшие ноги зябли. Болото местами покрыто вереском, баданом, клюквой и брусникой: для куропаток — рай. Степан держал ружье наготове, но — странное дело — кругом мертво.

Тропа то пропадала, то обозначалась снова, были видны следы лошадиных ног, путники двигались уверенно. К вечеру тропа исчезла. Искали, искали — не нашли. Решили ночевать на сухом взлобке: что скажет утро. Разделили остатки сухарей, пустые мешки разорвали на онучи. Афоня целую шапку прошлогодней клюквы набрал:

— Птица век ягодой кормится.

— А ты птица, что ли?— возразил Степан.— Сдохнешь...— Голос звучал печально, как ни старался бодриться Степан.

— А ты верь, ты верь! — выкрикнул Афоня, ударяя себя сухим кулаком в грудь; голубые глаза его вспыхивали, и белая бороденка хохолком тряслась. — Тогда, Степанушка, все будет хорошо.

Степан поднял на Афоню тяжелый взгляд, собираясь ударить друга злобным словом, но чувство нежности, поднимавшейся от самого сердца, останавливало его. Он только вздыхал, дивясь беспечности товарища.

Утром моросил дождь, и белки задернулись тучей, голодные путники вновь принялись отыскивать тропу. Все выползали, вынюхали — нет.

Степан сел верхом и взад-вперед ездил по опушке леса — нет. Поиски длились очень долго, неудача злила Степана, плевки и ругань летели из его уст.

Весь мокрый, от неудачи позеленевший, Степан подъехал к Афоне. Тот приподнято сказал ему:

— Идем! Я знаю. Идем скорей.

Тайга разинула колючую пасть и поглотила их. И в яркий-то день в тайге живет сумрак, теперь же все небо в тучах: путники подвигались наугад, вслепую. Степан то и дело припадал к земле, шарил мох, пушистый и мокрый, — не было никаких следов.

Прошел вечер, прошла ночь.

Кружили еще целый следующий день тайгой и закружились окончательно: снеговые хребты пропали. Дождь все моросил.

— Надо солнца ждать. А то... — не докончил Степан и, отвернувшись, засопел.

Сделали шалаш из хвои. Лежали рядом с закрытыми глазами. Не спалось. Думали каждый о своем. Глухая ночь.

— Ты спишь? — спросил Афоня.

— Нет.

— Я все думаю. Деды-прадеды эту землю-то праведную спокон веку, сказывают, искали — не нашли. Вот уж, кажись, тут и есть, уж звоны слышны колокольные. Только бы войти — ан нет, лукавый сомустил: грех вышел, перегрызлись деды и — прощай, земля святая! Идут назад ни с чем.

Помедлив немного, говорит Степан:

— Я звонов твоих колокольных не ищу.

— А что ж ты ищешь?

— Чернозем. Да всякое угодье чтобы... Пущай мужики на землю крепко сядут. Отъедятся хоть.

— Эх, брат, брат... Ты все о брюхе...

— О чем же еще?

— А ты о душе бы...

— Душа попу нужна.

— Ведь в той земле живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушко во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор соловьев ловить, да и думаешь... Я люблю думать по ночам...

— Ночью спят, днем работают, — попыхивал трубкой Степан, — а ты все в розмыслах каких-то бабьих... Анхимандрит...

Афоня вздохнул и проговорил негромко в нос:

— Какие вы все обидчики!

VII

День был пасмурный, накрапывал дождь. Степан тщетно искал с ружьем в руках добычи, принес к обеду только двух малых дятлов. Тайга на всем пространстве покрыта мохом и лишайником, бока у лошади от бескормицы ввалились.

Беспокойство в душе Степана все нарастало, сердце ныло нехорошим предчувствием. Ослабевший Афоня дремал в шалаше и сквозь дрему посматривал на друга, как больной ребенок на отца.

Степан начал перебирать вещи в мешке. Ему нужна коробка с пистонами и пороховница. Сначала движенья его были неторопливы и уверенны, потом стали быстрей и суетливей, потом... Дрожащие руки его судорожно хватались за тряпье, как за раскаленное железо: трепал, встряхивал, швырял, об-

шарил все карманы, вытряс сапоги, шапку, сорвал с себя и перетряс всю одежду, вновь кинулся к мешку. Лицо сделалось мертвенно бледно, волосы прилипли к запавшим вискам, в глазах безумный страх.

— Что ищешь? — тоскливо спросил Афоня.

— Ножик, маленький такой,—помедля, дрожащим голосом проговорил Степан.

— А эвот он, эвот...

Степан сел на пень, под морду лошади, обхватил колени и весь согнулся. Долго глядел в землю, потом сердито плюнул, кого-то ругнул с плеча и завалился спать. Сон его был глубок и крепок.

Афоня охал, бредил, звал мать с женой.

На другое утро засияло солнце.

Степан поднялся нехотя. Глаза его были потерянны, пусты, но рассеянный Афоня не прочел в них ничего.

— Жрать, Афоня, жрать, — хриплым басом буркнул Степан в бороду и приподнялся, большой и крепкий, как медведь.

— Нету, — уныло вымолвил Афоня. — Вот заячьей капустки, травки кисленькой пожуй.

Молчаливо, отчаянно пили пустой чай. В животе бурлило. Пошли на восход, чуть левее солнца.

— Солнышко красное, укажи путину верную, — приговаривал Афоня.

Шли прямиком. Попадались огромные скатившиеся с гор обломки скал и в три обхвата валежины. Ругаясь, обходили. Сапоги истрепались вдрызг, одежда о сучки трык да трык— в клочья.

Начался пологий подъем — тянигус. Афоня охал, хватался за бок, отставал. Он весь сделался каким-то шершавым, взъерошенным, согнулся и походил на старика.

Степан бодрым, но вкрадчивым голосом спросил:

— А не попала ли к тебе коробочка с пистонами? Да порох еще?

— Куда мне? Не брал.

Ну, да, дело ясно, значит, обронили на прежних стоянках. Только чудо могло спасти их теперь. Но Степан в чудеса не верил. В усах и бороде его едва промелькнула язвительная улыбка.

— Да, Афоня, любезный друг, — начал он тихо и подавленно. Его поджигало брякнуть сразу всю страшную правду, чтоб ошеломить Афоню, но опять кто-то заградил уста, и сердце Степана облилось последней любовью к другу. — Теперича мы, Афоня, оживем... лишь бы снега перевалить.

Вдруг Степан бросил повод:

— Козел... — и быстро пал за валежину, взводя курок.

Афоня взметнул глазом на высокую, торчавшую поверх сосен скалу. На остряке прямо и неподвижно стоял круторогий зверь, подставляя грудь. Степан волновался. Решалась судьба. Руки дрожали.

— Не торопись, промажешь, — шепнул Афоня, устремленное к скале лицо его вытянулось и застыло.

Раскатился выстрел, хохочущий, нахальный. Козел подпрыгнул и кувырнулся рогами вниз.

— Готов, готов! — закричал Афоня и, забыв про ушибленную ногу, побежал к скале.

Степан же сердито поднялся, сорвал с головы шапку и бросил оземь. Лицо озверело, рот плевался и шипел:

— Анафема. Пропастина... Змей.

Он видел: пуля ударила возле козла в скалу, от камня брызнула мелкая пыль осколков. Остался единственный дробовой заряд. И неизвестно, для чего теперь его беречь.

«Для себя. В рот», — без всякой жалости подумалось.

Афоня возвращался медленной, вихлястой походкой, сгорбившись, обхватив живот.

— Сам видел, как он мякнулся. Все обползал — нету, — сказал Афоня скрипучим, задыхающимся голосом.

— Целехонек. На рога пал да и умчался. Они завсегда на рога кидаются.

Афоня лег на траву и прикрыл глаза рукою.

— Измаялся я, Степанушка... Тяжелехонько мне.

— Пойдем, валяться некогда.

На ходу Степан поддерживал его. Голод морил их, высасывал соки, как жоркий клещ. Афоня опустил голову, шагал нетвердо, враскорячку.

— Трое суток не ели мы с тобой.

VIII

Лишь к позднему вечеру истомленные путники выбрались на край тайги, к густому большетравью. Впереди было мрачно, взор упирался в серый склон хребта, заслонявшего почти все небо.

Вот он, хребет со снеговой спиною: перевали его — и вступишь в теплый, безмятежный край. Надо бы радостно кричать и целовать камни, скатившиеся с заоблачных высот, но путники угрюмыми, почти враждебными взорами встретили эту мрачную твердыню: в них все приникло, ослабело, съежилось.

Степан лениво и вяло, двигаясь как во сне, стал разводить костер. Афоня в бессилии лег, укрылся шубой, у него звенело в ушах, ныла грудь, дрябло трепыхалось сердце. Хо-

телось напиться холодного, кислого. Он взглянул в сторону хребта и порывисто повернулся к нему спиною, как к врагу.

Думы Степана были тяжелы и черны. Ему казалось, что смерть ходит по пятам за ним. Но кто же накликал ее? Он — Степан.

Он так загряз в этих думах, что, обрубая сучья, ударил себя топором по руке и долго сосал липкую кровь из пальца. Афоня застонал. Степан покосился на него.

«Афоня, друг... Желанный мой...» — мысленно прошептал Степан и засопел. Он подошел к спящему товарищу, пощупал его голову: голова пылала.

— Сидеть бы тебе дома, с бабой, а я, чорт, дурак, сманил тебя — пойдем, мол, чужие края усматривать... да в могилу и завел, — вслух думал он. — Э-эх!

Едва нашел воды, вскипятил чаю, а в другом котелке сварил какую-то бурдамагу: ягода, трава, неизвестные коренья и грибы. Есть хотелось неимоверно, «аж от голодухи пупок к спине присох». За эти дни он очень исхудал, плотно пригнанная к его фигуре синяя поддевка висела мешком, ноги дрожали, руки обессилели, и весь он одрях, словно разбитый хворью старец.

«Хоть бы ломоть хлеба черствого, покрытого плесенью! Неужели больше не суждено досыта наесться? Мяса бы, мяса вареного, с желтым жиром!»

Степан сплюнул и вытер рукавом свисавшие в бороду усы.

— Нет, врешь, — бодрясь, шептал он, помешивая бурдамагу. — Авось фартанёт. Жизнь — штука темная, словно лес в ночи.

Но сердце не верило обману слов, сердце мучительно сжималось, и Степан рычал, как раненый зверь, уносящий в себе пулю.

«Вот и обед, ха-ха! Будить иль не будить?»

Афоня подал голос:

— Я кусочек съел бы. Дай мясца. Горяченького. Козлятинки...

— Нету, браток, нету, милячок.

— А? — поднялся на локтях Афоня. — Ты чего, Степанушка, сказал?

— Нету, мол. Какая козлятина? Вот суп без круп.

Афоня сбросил шубу, сел:

— А козел? Я нашел. Я притащил. И спереди и сзади по башке... А рога в сапогах... Э-эвот какие!..

Он снова повалился, почавкал пересохшим ртом, сказал:

— Пить...

Степан вытаращил глаза и на четвереньках подполз к нему:

— Ой, ты... Никак огневица. Заговаривается... Афоня, Афоня!

Больной лежал с закрытыми глазами, будто спал, на пылавшем лице улыбка, губы шевелились, вытягивались, искали чего-то. Льняные волосы нависли шапкой на белый потный лоб.

— Вот грех... — горько сказал Степан, вздыхая.

Потом помочил в холодной воде утиральник, обмотал голову товарища.

Бурдамага была отвратительна. Но Степан жадно пожирал, по-волчьи, горькие коренья и грибы глотал целиком. Достал бутылку с водкой и, разглядывая, повертывал ее перед пламенем костра. Водки было немного, она искрилась желтым и синим.

— Чортово пойло... А?

Он берег ее для перевала чрез снега, но соблазн огромен: скулящая тоска и голод требовали дурмана. Степан задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил. Последний глоток долго задерживал во рту: было жаль расстаться. Зажал в горсть бороду, искоса посматривал на костер, не видя его, и прислушивался к себе, ждал волшебства. Как будто стало легче, веселей, но эта веселость не настоящая, она обуяла лишь голову, а там, на сердце, в исподе, все так же одиноко, мрачно.

— Только разбередила... Тьфу!

Где-то надрывно стонала выпь, поухивал филин. Над головой теплились звезды, крупные, четкие. Выплыл месяц. Склоны хребта стали видимы сквозь сизую мглу ночи, от каменистых гребней и деревьев пала густая тень.

Степану показалось, что воздух вдруг похолодел, а жаркое дыхание костра ослабло. Он уставился на месяц и начал вслух думать, роняя бессвязные слова:

— Эвот ты куда взобрался, месяц-батюшка, какую высь. Поди, и деревню нашу видишь? Известно. Вот и скажи, крикни нашим-то, ведь рот у тебя, и глаза, и нос... Усмотрел, мол, я человека у костра, прозывается Степан Недокрытов, не вашей ли деревни он?

Степан помахал месяцу шапкой, силился улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, плаксивая, язык заплетался, в отуманенной голове пляс и чехарда.

— Да ты ничего, понимаешь, такого не сказывай. Эй, месяц! Все, мол, честь-честью... очень примечательно... Любови Офросимовне скажи, хозяйке моей... Сидит, мол, твой супруг, Степан Недокрытов, у костра, жив, здоров, и таковы ли радостные думы у него во всех мозгах... очень даже радостно у него на кипучем сердечушке... Так все чередом, брат, и обскажи... Могилкам тоже посвети, батюшке с матушкой. Пускай не дожидаются гостя во сыру землю, пускай

одни полеживают... вот, вот... А ты зубы-то не скаль, знай слушай!

Степан огляделся кругом и зябко повел плечами: ему почудилось — живая тень бродит меж деревьев, прячется. Не медведь ли стервятник? Пусть, Степан не струсит. А может, леший-лесовой?

— Эй! — вскочил Степан, в сердце его бурлило. — Чорт! Леший! Бери душу! Продаю! Отрекаюсь! Себя не жаль, товарища жаль... Бери! Только укажи дорогу. Брось водить. Не озоруй... Бери душу! Чорт, сатана с хвостом! Кажи харю! Эй!!! — и Степан по-цыгански свистнул.

— Степан, Степан! — резкий раздался афонин голос. — Какие слова мелешь... Окстись!

Степан покачнулся. Словно проснувшись, он сразу отрезвел, пнул ногой пустую бутылку, подошел к Афоне и присел возле него на корточки.

— Тяжело чего-то стало, — тоскливо сказал он. — У души ноги ослабели, Афонюшка, не держат, в шат пошли.

— Надо ангела божьего просить...

— Возле нас чорт... Чу, гайкает.

В голубоватых зыбких далях посвистывало, пересменивалось, пискливо завывало.

Афоня заохал, с боязнью перекрестился.

— Ну, как? — спросил Степан.

— Плохо. Порешился я весь.

Степан долго не мог заснуть. Месяц укатился за горы, Сохатый [1] перекинулся вправо. Степан лежал у потухшего костра, не смыкая глаз. Чортово гуканье затихло, тягучая настала тишина. Степан ворочался, приподымался, жадно затягивался трубкой, валился вновь. Он не находил себе покоя. Все внутри ныло, тосковало страшно. Хотелось схватить нож и разом покончить неодолимую тоску. Такого душевного состояния он сроду не знавал. Впрочем, года три назад его мучил сгнивший зуб. Степан бросался тогда от боли на стену, брал в рот ледяную воду, — боль вдруг стихала, но через мгновенье с удесятеренной силой валила его с ног. Потом, помнит, загнул железный гвоздь, вбил его под корень зуба и вырвал наболевшую гниль вместе с куском десны. Страдание кончилось.

— Ничего не остается, — сказал сам себе Степан, и рука его крепко сжала нож.

«Не смей», — ясно отпечаталось в самых ушах его.

Он боднул головой и стал напряженно вслушиваться. Было тихо. Над лесом тянули птицы, крылья их торопливо свистели в ночном воздухе. Отфыркивался конь.

---

[1] Сохатый — Большая Медведица, созвездие. *(Прим. авт.)*

— Матушка, матушка... Родимые мои детушки... Женушка ненаглядная, — шептал из-под шубы Афоня.

Степан различил ухом, как Афоня плачет, и настороженная рука Степана выронила жадный до крови нож.

IX

Утро было теплое, яркое, веселое. Степан встал бодрый. Отчаянье перегорело в нем и провалилось вместе с ночью в тартар. Он верил в настоящий день — будет удача; в жилах гуляет взбудораженная кровь, в небе горит солнце. Светло, тепло. День будет удачный, верный.

Степан выпил ледяной воды, взял ружье с последним зарядом дроби и, посматривая на сверкавшие снега перевала, уверенно зашагал сквозь лес. Он сейчас принесет козленка, либо зайца, либо большую птицу.

Последний выстрел будет смертелен.

Чтоб не заблудиться, он делает на деревьях затесы топором. Вот только мучает голод, подтянуло живот. Ничего, сейчас. Горячее варево, парное мясо. А пока он обламывает молодые нежные верхушки у приземистых елок, очищает их и с аппетитом ест.

Полянка, мох. Степан бросил взгляд в можжевеловый облитый солнцем куст и замер. Под кустом кормилась крупная тетеря с цыпленком. Сердце заработало безостановочно, буйно. В глазах засверкали мухи, по пищеводу прокатилась судорожная волна, рот наполнился слюною.

«Афоня, Афонюшка, голубчик», — и, припав к земле, Степан, как ящер, стал красться к добыче.

Тетеря совсем близко. От нее наносит ветерком вкусный дух. Так, так. Сейчас зажарят и съедят.

Хрустнул под коленкой сук, тетеря сорвалась, заклохтала и, описав круг, вновь села к тетеревенку. Сзади чуфыкнул тетерев-черныш, тетеря чуть растопырила крылья и завертела головой. Степан, вновь вминаясь в мох и не дыша, ползет все ближе, ближе. Осталось шагов десять... Пора.

Цыпленку захотелось поразмяться: он вытянул одну ногу, потом другую и весь встряхнулся, как молодой щенок. Тетеря позвала его: «клу, клу», и клюнула ветку с кровавыми ягодами.

В Степане ожил голодный хищник, но от волнения, бессонной ночи руки тряслись, и направленное в тетерю ружье ходило, как солома в ветер. С пихты, под которой притаился Степан, вдруг посыпалась хвоя: над самой головой его предупреждающе крикнул подлетевший тетерев. Тетеря тотчас отозвалась и приготовилась сорваться.

«А ну!»

Степан спустил курок и вместе с грохотом кинулся вперед. Тетеря снялась с места и полетела низом, в чащу, маня за собой тетеревенка. Тот с испуганным криком носился меж кустов, удирая от настигавшего его врага.

«Врешь, не уйдешь!.. Стегнуло!»

Степан пал на него, он выскочил, понесся, Степан за ним.

«Ага! Папороток перешиблен!.. Папороток!»

Тетеревенок взлетел на сук, отдышался и, перепархивая с дерева на дерево, улетел на зов матери.

Степан, сжав кулаки, долго смотрел им вслед. Рот его был полуоткрыт. Потом свирепыми прыжками бросился к ружью, сгреб его в обе руки и, рыча, со всех сил стал бить им о дерево. Ложа — вдребезги, ствол изогнулся в колесо. Он отшвырнул изувеченную сталь и привалился плечом к сосне. Закрыл ладонями свое крупное бородатое лицо, ссутулил широкую спину, съежился и стал жалок видом. Крепкий, своевольный мужик не мог сдержать малодушного стона. Чтоб заглушить его, Степан то до боли стискивал зубы, то хрипел и плевался. И вдруг сразу захотелось выкричать все, что накопилось внутри за сорокалетнюю жизнь его.

Тут представилась вся его каторжная участь, с малых лет и до последнего месяца, вся русская мужичья жизнь. Безземелье, голод, нищета. А кругом болезни, смерть, тяжкий, черный труд впустую, из-за корки хлеба. И единая радость— царев кабак. И единая радость — на шею петля. Для чего ж родился, для чего он жил, слепой и темный? Ведь вот другие люди, в городах, — те все знают, им многое дано, вся мудрость жизни у них как на ладони.

«А мы кто? Ни зверье, ни люди... Эх! Скотинка, тварь...»

И лишь одна особая мысль кружилась над сердцем Степана. Издали, намеками, она хотела ему открыться — и не открывалась, не могла: так ласточка среди бушующего океана безнадежно ищет, куда присесть.

«Жалеючи шел. Для миру старался. Мужиков жалел...»— скользнуло было в сознании и пропало. Самое главное, огромное. И не осенило большим светом, и не оправдало: слишком темна была ночь в душе.

И вновь на маленькое, ничтожное, внутрь себя, внутрь своей личной жизни: тетеря, потерянная коробка с пистонами и порохом, неудачи.

Ноги его подгибались, плечо скользило по древесному стволу, он присел к самым корням и, стиснув голову руками, выл. Вой был темный, страшный, необузданный: все человеческое, все вечное тонуло в нем, оставалась одна земля, один допотопный зверь.

Потом быстро встал, вздохнул, отмахнулся рукой — разом

все свалилось с крутых плеч — и твердым шагом пошел к костру. Был в душе холод, мрак, яркая ненависть к самому себе. Будь что будет, но он расквитается с собой. Он отрубит свою проклятую, предавшую его руку, он выткнет себе оба глаза. Он... О, погоди, погоди!

Афоня лежал с открытыми глазами.

— Что, милячок, каков? — спросил Степан ласково.

— Неможется мне.

— Ничего, как-нибудь. Недалечко теперь. Да и солнышко...

— Степанушка, мне плохо.

Губы Афони белы, лицо желтое, скуластое, щеки ввалились.

— Ничего, как-нибудь, — утешал его Степан. Свернул шубы в торока и навьючил лошадь. — Пойдем.

— Не выдюжить мне... Я бы тут подождал тебя.

— Пойдем!

Афоня повиновался. Степан взял его под руку, Афоня пошатывался, охал. Степан ощущал через свою рубаху, как от тела друга пышет жаром.

— Как же мы с тобою в снегах-то поплетемся? Афоня, друг...

— Не знаю. Заслабел я шибко.

— А там, за хребтом, — кисельные берега, радуги, петухи индейские, калачи крупичатые на берегах...

Степан говорил, как сказку сказывал, улыбаясь, заглядывал в его глаза. Афоня не говорил ни слова. Степан недоумевал: почему Афоня не спросит — где ружье?

Вот луга кончились, пошел крутой подъем, усеянный обломками скал и крупными скатными камнями. Начинался взъем хребта. Афоня едва переставлял ноги. Степан выбивался из последних сил, в глазах от голода темнело, голова кружилась, позванивало в ушах.

По пути в полугоре одинокая приземистая сосна. Она словно вышла из лесу прогуляться да тут и расселась лениво: крут подъем. Афоня со стонами повалился в ее тень.

— Не пойду... хоть зарежь... — и заплакал.

Солнце палило. С хребта струились по склонам ручейки — дозорные вечных снегов. Над разогревшимися камнями дрожал, переливался воздух. Под ногами Степана прошмыгнула зеленая ящерица. На соседний камень вскочила маленькая зверушка и посвистывала. Ей откликались другие свистунки.

Вверху, под бледноголубым небом, кружился орел. Он видел холодные снега, тайгу, край неба, еще видел за хребтами — вот тут и есть, рукой подать — жилища людей, табуны, зеленое приволье. А вот и эти две серые, припавшие к земле козявки... живы! Раскидистым винтом, плавно орел

спускался, орлиный клекот слетел к земле. Свистунчики стремглав, вниз головой, — за камни.

— Орел, — сказал Степан, подымая к небу взгляд.

Афоня молча лежал с открытыми мокрыми глазами.

— Как же быть, Афонюшка? Надо итти.

— Силушка кончилась. Нету силушки.

— Ты сам посуди, милячок: назад итти — об одном коне, без корму, ближний ли свет? И помыслить страшно. Не́жить кругом, безлюдье.

— Ку-у-да тут, — уныло протянул Афоня.

— А тут, может, два шага — и жительство. Сказывал крестьянин, снега не широко лежат. Авось как ни то... А может, и повстречается человек какой, как знать?

— Может, и повстречается.

Степан говорил ровным голосом, улыбался через силу: хорошо он знал, что снеговой путь — убойный и человека встретить — не придется. Степан понимал, что с полумертвым другом далеко не уйдешь, что их жизнь оборвется скоро. Но не лечь же под сосну, вот тут, да скрестить на груди руки, ждать конца. Нет, Степан со смертью еще поспорит.

И вдруг:

«Убить коня».

Лицо его сразу прояснилось, глаза загорелись. Вот оно! Отъедятся, отдохнут, а там разыщут путь: с сытым брюхом куда угодно: вперед, назад.

— Посади ты меня на лошадь, — скрипуче заохал Афоня, — может, усижу.

— Дело, — согласился Степан, и мечта его камнем в омут.

«Нет, действительно, не гоже... Назад без коня — голод замучит, вперед пешком — прямая смерть в снегах».

Едва хватило сил посадить в седло безжизненного Афоню. Степан задохнулся от натуги, присел на камень, обливаясь холодным пòтом. Мучил голод, ни на что бы не смотрел. Заморенный в тайге конь тоже обессилел: велик ли груз — высохший Афоня, а коню в тягость.

Подъем делался все круче, израненные ноги лошади отказывались служить. Пойдет, пойдет да станет... Степан понукает — стоит, дерет — стоит, только глазами говорит Степану: «Пожалей».

— Зарезать падину, съесть! — кричит Степан...

— Да я лучше на осине удавлюсь... Что я, турка, что ли? Тьфу!

Согнувшись в три погибели, обхватив лошадь за шею, Афоня был как мертвый, голова моталась.

— Привяжи! Свалюсь я... Ой, смерть... — как сквозь сон, тянул Афоня.

Становилось холодно, из балки, по которой подвигались, несло зимой.

Измученное тело Степана тоже требовало покоя, но пока солнце высоко, надо залезть на хребты: авось сверху что-нибудь и досмотрит глаз. Авось...

X

Вот и снега. Белый, ослепительно сияющий погост. Степан щурится, едва перенося резкий свет, у Афони глаза прикрыты тряпкой. Вначале, по северному склону, плотный наст снега вздымал коня, но лишь перешли на солнце, конь сразу увяз по брюхо. Больших трудов стоило освободить его. Степан стал искать твердого места, но и сам провалился: снег раздрязг от солнца. На Степана напало равнодушие и желание все это разом кончить. Ему припомнилось предостереженье мужика — не сворачивать с тропы: путь опасен, в ледниках встречаются огромные трещины, обманно перекрытые снегом: шагнешь — могила. Уж если сбились, надо друг с другом связаться веревкой, итти гуськом. Где она, тропа? Где веревка? Скорей бы провалиться.

А солнце снижалось, может быть, ночью станет твердый наст, но разве можно дожидаться ночи? Куда во тьме пойдешь, как заночуешь без огня?

Афоня совсем стал плох. Он стонал, хныкал, валился с лошади.

— Погубитель, погубитель... Что ты со мной делаешь? Куда завел? — бессвязно шептал он и, сорвав с глаз повязку, позвал шагавшего рядом Степана.—Степанушка, где ты? Не давай ему, не давай...

Степан шел, увязая вместе с лошадью, безжалостно хлестал ее по глазам плетью и не откликался. Лошадь вдруг ухнула передними ногами, смаху ударившись мордой о камень. Из рассеченной губы лилась кровь, лошадь вылизнула два выбитых зуба. Степан изозлился, исстегал ее. Выдираясь из густо рассеянных, прикрытых снегом камней, она оборвала себе все копыта, щурила поврежденный плетью глаз, поджимала больные ноги. Степан плюнул, бросил плетку, сел. В душе пустота: ни одного желания, ни одной мысли. Лицо его вспыхивало и бледнело, белки глаз покрывались желтым налетом. Он перестал себя чувствовать, обратился в пень: дерево срублено, пень будет торчать серой кочкой, пока метель не навеет над ним сугроб.

Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу.

Вечерело. Лучи солнца косо ударяли в снег. Все заалело

кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю ложились голубые тени, алмазы горели в снегу огоньками. Разливался зимний холод. Лошадь дрожала, от нее клубился пар. А позади, внизу, было лето, зеленела тайга, шумели травы.

— Мороз на дворе, зима... На печку бы...

Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу.

— Степан, — тихо позвал он, очнувшись. — Поди ко мне...

Степан взглянул на солнце:

— Ого! Фу ты, чорт... Вечер! — и подошел к Афоне.

Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах.

— Вот и отходили мы с тобой, Степанушка. Беловодью конец. Умираю. Трудно. Дух сперло.

«Баба... — подумал Степан. — Из-за тебя гибну», — и колючим взглядом в Афоню, как стрелой. Потом сказал, кривя губы:

— А ты верь. Что же ты хнычешь?

— Верю.

— Верь, верь. Авось, бог валенки тебе пришлет, ангелы в баню поведут: парься! Эх, дура!

Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос:

— Смерть так смерть... Когда-нибудь надо же... За мир старались.

Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто.

Степан стоял в одеревянении.

— Жене моей кланяйся, батюшке кланяйся... — Афоня замотал головой.

— Отец твой давно померши. И жена также.

— Все равно, кланяйся.

Степана что-то ударило в сердце.

— Скажи им, скажи...

Тут полились у Афони слезы, и лицо его исказилось.

Степан сказал:

— Пойдем.

— Закрой шубой, перекрести... Ступай.

— Пойдешь или нет?

Афоня молчал. Алые снега и небо вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны.

— Коня бросим. Я тебя поведу, пойдем. Я тебя, Афоня, на закукрах. Слышишь? Солнце закатится. Слышишь?!

Афоня заметался:

— Домой, домой! Я вперед тебя... Ковер какой — жар-птица... А ты верь, Петрованушка, Петрович... Ваня...

Степан снял с себя полушубок и сел перед умирающим на

корточки. От Афони шел жар, дыханье вылетало хриплое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо, влево и в одной рубахе неторопливо пошел вперед.

Итти было недалеко: громадная трещина саженной ширины пресекла путь. Она удалялась от Степана в обе стороны, и не видно ей конца-краю. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обсеченные, грани льда отвесно спускались в бездну, они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло.

Степан боялся подойти к обрыву: скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком, смотрел вниз пристально, долго. Тьма. Стало жутко. Вздрогнул и—ползком назад. Руки закоченели. Всего облепило холодком, сжало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по спине, чтобы согреться. Из груди мужика помимо его воли рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно: это он скулит, его замерзающее тело мечется, требует: спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило, все, что было позади, все вспомнилось. Назад бы, в жизнь бы! Глаза Степана расширились: «Помоги-и-те!» И вслед, в самое ухо: «Так тебе, чорту, так... Торчмя башкой... Ну!»

— Помоги-и-те!!

Резкий, отчаянный голос упал тут же, в ноги, и подхлеснул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:

— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу... Выручу, выручу, выручу...

Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровянилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.

Степан перевел дыхание: «Сыт».

Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.

— Афонюшка, товарищ... Повремени чуть-чуть, запри дух... Выручу, не умирай.

Осторожно стащил с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:

— Айда! Ррр-работай!

И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит внизу:

дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям: «Братцы, спасайте человека! Человек замерзает, Афоня... Братцы!..» И чувствует, как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от усталости. Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка... Дьявол!

И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.

— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан.

Но всадник не остановился.

— Эй! Стой! Стой!

Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи вьюгу. Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивал узкое место, чтоб перескочить.

— Стой!.. Стой!.. Стой!..

Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить... Уйдет, уйдет...

Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!» — перекрестился:

— Эх, пропадай, душа... — и взвился над провалищем.

Страшный, смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.

XI

Сугробы алели.

Афоня подходил к нездешней, райской земле. Он шел по облакам, по тучам.

Пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» — «Туда». А тут медведь с исправником в орлянку бьются. «Поддайся, мишка, я исправник». И Афоня: «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, — в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. — «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру». Поля, поля... Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, налетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет: «Радуйся, Афоння, великий чудотво-о-рец!» — «А я ведь земли-то, братцы, не нашел... Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите! Эй, посторонитесь!» — взрявкал медведь.

В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, койгде лишь огоньки.

XII

— Нишяво, нишяво, лежи...

Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке, ласково смотрел на него.

— Помогать надо друг дружке, жалеть надо.

— А где товарищ мой Степан?

— Какой товарищ? Нету товарищ.

Едва шевеля языком, Афоня объяснил.

— Яман дело... Совсем наплевать... Уж десять дней притащил тебя... Давно... Нишяво, нишяво, лежи. Мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.

— Он за меня душу положил, Степан-то мой, — проникновенно, горестно сказал Афоня. — Сам загинул, а я живой... Собака я, — он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.

— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши, — дружески сплюнул татарин. — Шибко хорош, ой, какой хорош!..

— Из-за меня он... Собака я... — замотал головой Афоня. — Сидеть бы мне, собаке, дома.

Татарин опять сплюнул и сказал:

— Земля шибко якши тут... А-яй, какой земля, самый хорош. Работать мало-мало можна, деньга колотить можна.

Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому скуластому человеку, что спас ему жизнь, и плакать, плакать.

— Нишяво, лядна. Конь твой кидать надо, махан, мало-мало помрил, горлам резал. Двух коней тебе дам: все равно зверь, все равно ветер... Вот какой. На̀! Денга не надо... Помогать надо. Вот-вот.

Афоня увидел на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами... Как?! Значит, они были у него, у Афони?! А где ж ружье? Но не спросил.

Опять вспомнился Степан, вспомнился белый погост в горах. Но волна ликующей животной радости, все побеждая, гулко била в сердце.

1925

ТАЕЖНЫЙ ВОЛК

I

Я познакомился с ним в предгорьях Арадана, на верхнем Енисее.

Звать его Леонтий Моисеевич Бакланов. Он среднего роста, мускулистый, коренастый, ему шестьдесят два года, но седины мало. Борода большая, нечесаная, в крупных кольцах.

— Я гребень не ношу с собой: бороду мою хвоя чешет.

Его знают кругом на сотни верст. Одни уважают в нем человека справедливого, верного, искателя правды, другие, в особенности женщины, чтут его, как вещего старца, колдуна. Его зелено-голубые глаза с мудрым лесным огоньком светятся из-под густых бровей весело и лукаво. Впрочем, иногда они становятся сосредоточенны, строги, и если он в упор взглянет на человека, вдруг почему-то сделается неловко, жутковато. Он, видимо, обладает большой гипнотической силой. Говорят, ежели он положит человеку руку на плечо да поглубже уставится в глаза, — человек уснет.

Однажды, после лесной прогулки, я пил в его опрятном доме чай. Пришла женщина с ребенком, ребенок плачет, криком кричит.

— Ты выйди не надолго,—сказал мне старик Бакланов.— Надо ребенчишка попользовать.

Вскоре действительно ребенок затих, мать ушла радостная.

Бакланов, смущенный, с неспокойным взглядом, какой-то весь взвинченный изнутри, опять присаживаясь за восьмой стакан чаю, сказал мне:

— И сам не пойму, что это делается со мной. Вот придет баба. И воды в миску нальешь, и чертовщину всякую пле-

тешь над водой, вроде — наговариваешь для виду. Ведь сам не веришь, а на ребят действует... На человека.

Во время чаепития пришел его сын Степан, парень лет шестнадцати, такой же краснощекий крепыш, как и отец. Он молча повесил ружье, поздоровался со мною и сел к столу. Его мать, моложавая, с красивыми крупными глазами, придвинула ему кринку с молоком.

— Убил чего-нибудь? — спросил Бакланов сына.

— Нет, папаша. Ходил-ходил — нету ничего. Глухаря, тетерева видал.

— Дак что же, — проговорил Бакланов. — Ты бы показал ему, как надо падать.

При этом старик взглянул на меня, как бы ожидая одобрения за картинно сказанную фразу.

Я прожил у таежного отшельника пять дней. Не раз хаживал с ним на охоту. Бакланов всегда с топором сбоку, в особых скобках, у ремня, и с ружьем. Если нужно сходить в амбар или в сеновал на гумне, всегда берет с собой ружье.

— Без ружья нельзя, — говорит он. — Наше дело лесное, таежное. Как-то посылаю я сына Степку на ключик за водой, а он мне: «Да сходи, папаша, сам». Вот пошел я без ружья и только стал к воде спускаться, глядь — с той стороны ключа, в кустах, сохатый воду пьет, смотрит на меня. Потом как взовьется — марш! — только земля заохала. Обидно стало. Пришел домой, стукнул Степку чайником по башке. С тех пор за лучиной иду — ружье беру.

И вот собираемся мы с ним в тайгу. Едем на лошадях верхом. Конь его Бурка — нечесаная грива чуть не до земли, сам круторебрый, пузатенький такой, и ноги неуклюжие, но копыта, как кремень: Бакланов никогда не подковывает своего коня, а горные пути Бурки зачастую сплошной камень.

Своей сноровкой, сметливостью и повадками Бурка не менее замечателен, чем и сам Бакланов. Во-первых, удивительная его привязанность к хозяину. Где не проехать конем, хозяин слезает, пригибается и пролезает меж стволами под гущей хвои, а конь пробивается за ним, идет след в след, как умная собака.

Медведя Бурка не боится: учует звериный дух, запрядет ушами, всхрапнет и морду повернет в ту сторону. Хозяин к медведю — и конь за ним. На бегу конь боек. Бакланов относится к коню по-дружески, почтительно, любовно, даже больше того — как к равному себе. Значительную долю своих охотничьих удач он приписывает Бурке, и, рассказывая о каком-нибудь таежном эпизоде, Бакланов всегда говорит: «мы» и «мы с Буркой». Или так:

— Не укараулим зверя — так выследим, не выследим — так догоним.

Бурка знает тайгу великолепно, зрительная память у него на диво. Едем с Баклановым таежной тропой.

— Эту тропку я называю — Козлиный прошпект: козлы ходят тут на водопой.

Вдруг Бурка сворачивает, идет напролом в тайгу. Моя лошаденка послушно за ним.

— Что такое? — спрашиваю я.

— Сам не знаю. Погляжу, — отвечает Бакланов.

И вскоре, едва выбралась на прогалинку, Бакланов радостно кричит с коня:

— Батюшки-светы! Да ведь мы с Буркой в третьем годе пятеро суток на этом самом месте прожили. Вот и шалаш, и головни, и щепки.

Мы вновь сворачиваем на тропу и вскоре спускаемся к потокам шумной каменистой речки.

Блистал солнечный знойный день, в глухой тайге стояла духота, но здесь, в речной долине, была прохлада: резвясь, сквозные шалили ветерки. И назойливых комаров как не бывало.

— Стой, Леонтий Моисеич! — крикнул я и соскочил со своей лошаденки.

Среди окатных камней горел под солнцем ослепительно белый камень — кварц с золотыми блестками.

— Не золото ли? — сказал я и стал вкрапленные в кварц блестки выковыривать ножом.

Бакланов, не слезая с Бурки, глядел на мою работу сверху вниз. И я услышал укорчивый его голос:

— Брось. Не затем, дружок, в тайгу идем. Зверя промышлять идем. Пусть за золотом другие люди ходят.

Эти слова его показались мне вескими, мудрыми, и, подчиняясь ему, я подумал: «Видимо, у Бакланова все предусмотрено, каждый шаг рассчитан, и жизнь свою он разыгрывает как по нотам, не сворачивая в сторону от раз намеченного пути».

Но в дальнейшей дороге, когда я высказал Бакланову свои мысли, он сразу же меня разбил:

— Какие такие планты могут в лесной жизни быть у человека? Как вступить, да как шагнуть, да где ночевать будешь. Нет, дружок. Вот мы мекаем с тобой рассесться да чайку всласть попить, а взовьется ураган да хлобыснет на нас дерево стоячее, тут и гроб нам. Нет, дружок, тайга все планты человечьи может перепутать, с толку сбить. Идешь в тайгу — помалкивай в тряпочку; только звериный нюх имей да сам зверем притворись, забудь, что ты есть человек, а зверь и зверь, только по-лесному умный, в сто разов умнее человека.

И, повернувшись ко мне, по-крепкому добавил:

— Только таежную правду надо помнить, она превыше всех небес.

Он видел во мне человека хотя и хорошего, но городского, для таежной жизни никудышного, не смекалистого, темного и, пожалуй, глуповатого. Над таким чудаком не грех и подшутить и даже слегка поиздеваться: ничего-то он не знает, ничего не подмечает, ни во что не верит, ни в таежные приметы, ни в леших, может заблудиться в трех соснах, может ни за нюх табаку погибнуть. Да разве это человек?!

Однако ироническое отношение ко мне сквозило лишь в его зелено-голубых глазах да в едва уловимых нотках голоса. Когда я нес какую-нибудь, по его понятиям, очередную околесицу, он только крякал или тихо посмеивался в бороду и презрительно крутил носом.

Впрочем, искоса взглянув на меня и улыбнувшись, однажды он сказал:

— Это очень хорошо, что у тебя шляпа белая и новая: пусть медведи да олени подивуются на настоящего питерского франта.

Я не мог в данной фразе подметить желание обидеть меня, поиздеваться, нет. Это была просто приятельская шутка.

Иногда он любил поразить мое воображение своей дьявольской таежной наблюдательностью. Например, едем высокой, выше коня, травой. Он всматривается в траву, говорит:

— Гляди, недавно медведь прошел. Нет, — вглядываясь пристальней, поправляет он себя. — Нет, не медведь, а кони шли некованые и люди.

— Почему?

— А разве не видишь? Как раз вровень с лошадиной мордой трава кой-где общипана, лошади на ходу срывали. — Он осмотрелся по сторонам и, указывая вправо, сказал: — Значит, вот на том пригорке они делали привал: больше негде — кругом болото. Вот и мы там каши сварим.

Действительно: пригорок, полянка, потухший костер.

— Человек пятнадцать было в артели, — говорит Бакланов.

— Почему?

— А разве не видишь? — И он, играя глазами, вопросительно смотрит на меня, как на простофилю.

Я со всех сил стараюсь разгадать секрет, насколько возможно проницательно ощупываю смущенным взором головни, пепел, землю, небо, облака и никак не могу постигнуть тайны следопыта.

Бакланов, попыхивая носогрейкой, берет меня за рукав и начинает поучать, как тупого школьника:

— Гляди... Четыре дырки вокруг костра, значит, четыре палки — тагана — были воткнуты в эти дырки, на каждом

тагане по чайнику висело, каждый чайник на троих, на четверых, вот тебе четыре раза по четыре — сколько?

Я быстро сделал удовлетворившую его арифметическую выкладку и, краснея, спросил:

— Когда же они были? Сегодня, наверно?

— Ха-ха... Вот так угадал! — Бакланов разгреб сапогом пепел, пощупал землю. — Три дня назад, вот когда.

— Тоже, скажешь, — засмеялся и я. — Подумаешь, какая точность. Может, пять дней, может, четыре... — Может — месяц.

— Нет, в точности три дня. Земля под костром холодная, значит — не сегодня. И не вчера, потому что на углях седой налет сдуло. А три дня назад шел дождь. Если бы до дождя чаевали здесь, пепел смыло бы, значит—после дождя. Понял?

II

Однажды я приехал к Бакланову ранней весной. Отправились в тайгу. Еще кругом снег лежал, лишь на оплешинах и взлобках бурела прошлогодняя трава.

Нашу охоту прервала жестокая метель. Мы залезли в палатку, а лошадей пустили в тайгу на волю.

Прошло добрых часа два, метель не унималась. Бакланову наскучило безделье, он взял ружье и вылез из палатки:

— Жди. Я лошадей погляжу.

Да и пропал. Ждал-ждал я, сил не стало. «Куда,—думаю,— в такую метелицу ушел?»

Хоть не хотелось выбираться наружу, однако какое-то тревожное чувство заставило меня покинуть походную, такую уютную в непогодь, палатку. Ветер унимался. Снег сыпал густо, не спеша, большими влажными хлопьями. Было мутно кругом и тихо. Очертания тайги за поляной неясно серели, и не понять — лес это или горный кряж? Где ж, однако, Бакланов? Неужели заблудился? Часы мои показывали ровно семь. Еще немного — и ночь прикроет тайгу и небо мраком. А вдруг Бакланов не выйдет вовсе? Вдруг его задрал медведь или сломал он себе ногу и умирает где-нибудь от нестерпимой боли и отчаяния?

И мне стало жутко. Мне ж не выбраться одному отсюда. И, конечно же, я должен погибнуть голодной смертью или пасть жертвой своей неопытности, поставленной лицом к лицу с неотвратимым случаем. Спускавшийся сумрак ослеплял мои глаза и мозг. Сердце мое дрожало, голова пламенела, охваченная роем малодушных предположений.

И вдруг... Сначала послышался родной такой, милый го-

лос, затем показался и сам Бакланов: вот он, едва видимый сквозь испещренный снежной сетью сумрак, движется на меня, желанно отделившись от загадочной опушки леса.

— Бакланов! Бакланов!—кричу я весь в радостном каком-то ослеплении.

— Ну, как?—слышу его ответный голос, бегу ему навстречу, поскользнувшись, падаю, вскакиваю...

Но—Бакланов исчезает. Что же это галлюцинация?

— Бакланов! Бакланов!!—надрываю глотку.

Но Бакланова не было и нет. Галлюцинация.

Я возвращаюсь обратно в палатку, выпиваю вино; руки мои дрожат, и тело в легком ознобе. Выхожу. И вновь вижу Бакланова, идущего емким шагом прямо на меня, и вновь это не человек, а призрак, сотканный из ничего моим взбудораженным воображением.

Когда, наконец, вышел из тайги настоящий, живой Бакланов, с ног до головы запорошенный снегом, и двигался на меня плывущей тенью, я тоже принял его за призрак, но все-таки окликнул:

— Бакланов, ты?

— Я самый.

— А костер погасает, чай остыл,—проговорил я спокойным голосом, стараясь скрыть недавние свои страхи.

— Костер погас — это не беда, — сказал Бакланов, отряхивая снег с себя и сдирая для огня бересту. — Костер живо запылает, а вот я сам едва не погас, вот это да!.. За оленем шел, за оленем бежал... Я бы выстрелил, да боялся: Бурку ушибешь; он возле меня все крутился и теперь за мной пришел... Эй, Сивка-Бурка!.. Один раз все-таки выстрелил, не утерпел, знал, что не попаду: темно, — а чтоб олень помнил, что я с ружьем хожу. На костер твой вышел—дымком наносило; ежели бы не костер, заночевать довелось бы в тайге. «А ведь дружище-то мой чай кипятит»,—думаю, да ну шагать. Так и выбрался. Все рассчитывал, что ты гул сдогадаешься ружьем подать. Ну, ладно.

Костер вновь буйно разгорелся.

Бакланов спросил:

— Ну, а что б ты стал делать, ежели я совсем пропал бы? Как ты стал бы выбираться отсюда?

— По балке я прошел бы, — говорю я, — и по горе прошел бы, и в Тетерью-речку спустился бы, а как с речки выбраться, пожалуй, не сумел бы. Впрочем, я на Бурку твоего сел бы... А он...

— Нет, дружок, — перебил меня Бакланов. — Мой Бурка только меня принимает да разве сына, Степку, когда бочка с водой запряжена. А вот и вода вскипела. Кроши чай.

III

Как-то в разгаре лета мы предприняли с Баклановым длительное путешествие в нагорную тайгу.

Нет ничего приятнее, как после страдного, наполненного приключениями дня вольготно расположиться у костра на отдых и, попыхивая трубкой, слушать певучую речь Бакланова.

— Годы мои длинные, — обычно начинал он, — а жизнь короткая: нечего и рассказать тебе.

На эту излишнюю его скромность я только улыбался: еще до знакомства с ним слыхал я, что он рассказчик замечательный, что жизнь его богата опытом, событиями, встречами. Но надо же Бакланову немножко поломаться. Наконец он начинает издалека вспоминать.

Однажды, много лет назад, к его таежному жилищу подъехали верхами знатные люди: это экспедиция Академии наук. Его наняли проводником; да кого же еще и нанять, раз Бакланов знает всю округу на большие сотни верст? Недаром его зовут — таежный волк.

— Сто рублев на месяц положили, — гордо говорит Бакланов. — Сто рублев! Правда, харч мой. А какой у меня харч — табак да спички! Мой харч в тайге гуляет: стрелил — вот и харч. И был в этой самой экспедиции человек один, Зологов назывался. Хоть бы путное чего, а то вот этакенькую букашку ловил. Всякую. Смешной этот человек — Зологов — никудышный.

— Не Зологов, а зоолог, ученый, — поясняю я.

— А тут вот еще что-случилось,—вспоминает Бакланов.— В экспедиции планщики ходили, планты плантовали. А главный-то — полковник. Натакались как-то его солдаты на медвежий след. «Вашескородие, — сказали они полковнику, — разрешите облаву на зверя сделать». Узнал я про это, подумал: «Что за облава за такая может быть? Нешто порядок это: на одного беззащитного зверя двадцать мужиков с винтовками?.. Кощунство это!» Говорю набольшему: «Допусти меня, твое благородье, одного: оглянуться не успеешь — медведя тебе доставлю, двадцать пять рублев жалованья тебе в залог кладу». Через час медвежье сердце теплое притащил, говорю: «Васкородие, попробуйте с е р д е ш н о г о».

Мы с ним только что аппетитно пообедали, пьем кирпичный чай. Его Бурка и мой конь траву у дымокура щиплют: комары не любят дыма, злобным облаком толкутся в ожидании.

Мы на мягкой, покрытой зеленовато-белым мохом прогалысинке, кругом тайга. Солнечный день, и лес сегодня тих, задумчив. Я пристально взглянул на ближайшую сосну, удивился: ствол этой сосны, от земли аршина на два, блестел на солнце огненно-красными рубинами.

— Это комарьё, — сказал Бакланов. — Насосались лошадиной кровушки, пока ехали мы, а вот теперь от дыму и тово... Ужо-ка я камедь устрою, — он улыбнулся, вскочил и пошел шнырять по тайге.

Я приблизился к дереву. Как спелой брусникой, ствол унизан набухшими кровью, готовыми лопнуть, комарами. Я шевельнул одного-другого комара: ни с места, не летит — пьян иль сладко дремлет.

— Ужо, ужо,— подошел Бакланов и посадил в комарное алое стадо двух головастых муравьев.

Те осмотрелись, подбежали к соседним комарам, тщательно ощупали вздувшиеся их брюшки, деловито ознакомились с топографией населенного поживой места, произвели приблизительный учет скоту, сбежались вместе, лоб в лоб, посоветовались усиками и пустились вниз головами в бег к земле.

— Сейчас начнется, — сказал Бакланов, щуря на солнце свои веселые глаза.

Через четверть часа к комариному стаду пробирались организованные отряды муравьев. Немедленно началась горячая работа. Муравьи попарно подползали к пьяной комариной туше, ловко подхватывали ее передними лапками и клали на загорбок третьего муравья. Тот, пыхтя и придерживая комара за лапки, пер его, как пьяного мужика в участок. Упарившись — это уже на земле — муравей сбрасывал с себя кровопийцу и, покачиваясь, стоял на месте. Двое других муравьев клали ношу на загорбок третьему, свежему своему товарищу и — дальше. Вскоре сосна была чиста.

— Доброе дело сделали, — заметил Бакланов, — подлый гнус умной скотинке дали — муравью. А раз добро с тобой мы оказали, значит, и нам добро будет: козулю ухлопаем, а нет — марала. Ты что, не веришь в это самое? Напрасно, мил человек, напрасно! — Он снял шляпу, положил широкую ладонь на мое плечо и, обдав меня ясным взором мудрых таежных глаз, сказал внушительно: — Человеку ли, зверю ли, ничтожной твари ли какой — все единственно — сделаешь добро, тебе так же будет. А зло — и тебе злом обернется. Запомни, милый друг. На этом вся видимая жизнь стоит. Если б принял человек в свое сердце эту заповедь хорошую да по поступкам поступал, тогда рай на землю снизошел бы. В это я крепко верю. Я в розмыслы люблю башкой уйти; время здесь в тихости плывет, не торопясь, не то что в городах больших: думай себе на свободе, прикидывай так и так, умствуй. Начальник экспедиции, бывало, говаривал: в книге мудрость; а я говорю: в природе мудрость. Только не вдруг ее, природу-то, поймешь. И пытать природу надо благословясь, да с толком, а то в дураках оставит тебя природа, в

такую душевную пропасть заведет, как липку тебя обворует, всю душу разденет догола, в глаза тебе насмеется, плюнет. Щенком заскулишь тогда, удавки себе попросишь, какого ни на есть конца. А ты верь, милый человек, верь в добро, тогда и благо тебе будет. Верь!

Как любимого сына своего, шершавой, мозолистой ладонью он гладил меня по голове. И свет из-под нависших его бровей пронизывал меня, взвешивал, пытал, дорого ль я стòю. И показалось мне, что передо мной не человек, а одухотворенная скала, древняя и мудрая, и что не человечий детский взор, а лучи древнейшего от века солнца окутывают меня таинственной и нежной лаской, как любимого сына своего.

— Например, послушай, парень, как я одну зверюгу пожалел, джайрана[1]. Такой случай со мною на Кавказе был.

— Как же ты, Леонтий Моисеич, попал туда, на Кавказ-то?

— Долго сказывать. А впрочем... Отдал меня батька, донской казак, по обещанью в монахи, в Старый Афон, место свято. Одначе, как подрос там, бежал оттуда, через Турцию в Персию пробрался, из Персии на Кавказ. На Кавказе с горцами в дружбу вошел, охотой промышлял с ними. На двадцать шестом году оженился, а как стукнуло двадцать шесть, сказал жене: «Пойдем в Сибирь-землю слушать, как тайга шумит, усматривать, как дикий зверь рыщет». И перебрались мы сюда, к великой Енисей-реке. Вот и все житье мое. Теперь слушай. Охочусь это я на Кавказе, иду карнизом по высоченной горе. И такая тропочка случилась, в аршин шириной: слева — стена в небо, справа — пропасть. Гляжу — встречь мне джайран осторожненько бежит. Остановились оба; он на меня взирает со страхом, я — на него. А разминуться нам никак нельзя — узко. Обратно ему тоже никак нельзя: собака настигала, взлаивала где-то под горой. Хотел я застрелить его либо в пропасть спихнуть. А он возьми и взмолись ко мне глазами: «Дядя, уступи дорожку, не убивай, спаси меня!» И повернула меня какая-то сила назад. «Иди, — говорю, — дурачок, иди!» Выбрался я обратно на широкое местечко, гляжу — и джайран мимо меня стрелой стегнул да в лес. Вскорости собака промчалась, за ней — охотник верховой. Радостно мне стало: спас животную. А день жаркий: над камнем воздух колыхался, камень теплом дышал. Разомлел я, прикорнул возле тропки под чинарой в тень. Закрыл глаза, сон на меня напыхом пошел. И как теперь слышу — где-то внизу струи говорили. Лежу, думаю: «Вот

---

[1] Джайран — козуля. *(Прим. авт.)*

хорошо, доброе дело сделал. Пусть живет джайран и пусть живет Бакланов. Хорошо, шибко хорошо!» А сон уже, чую, навалился на меня совсем, могильной пеленой закрыл. И вижу мертвым глазом — тропинкой мышь, словно комочек, катится. И слышу мертвым ухом — звенькнуло что-то на каменной тропе. «Эге! — вынырнул я из сна, как поплавок. — Эге! А ведь этот самый мыш какую-нибудь серебрушку обронил». Я знал, что мышу серебрушка дорога, все к себе в норку тянет. Стал я ползать по тропе, искать-искать: не наших времен денежка серебряная. Давай я норку мыша отыскивать. Норку не нашел, а еще четыре денежки нашел. Ну, думаю: «Клад поблизости». На другой день привел двух товарищей своих. И верно: на пещеру натолкнулись, разворотили камни, а там два гроба из плитняку. В одном гробу великан лежит, кости одни, и через весь гроб — меч громадный. В другом гробу — женщина-покойница в парче: два браслета золотых, серьги, кольца, разные висюлечки, на лбу обруч, все золотое, в каменьях дорогих. И черная коса, длинная, густая. По такой косе — писаная красавица должна быть эта женщина, княгиня либо кто. Взять мы ничего не взяли — кому продашь? — сразу влопаешься, — а заявили в городу ученым людям. В награду нам дали триста рублей...

И в ту же ночь, как получил я деньги, сама княгиня явилась мне во сне. Будто сидит княгиня возле меня на камушке во всех нарядах пребольших и моего мыша на ладошке держит. Мыш встал на дыбочки, свистнул, джайран явился, тот самый, мой. А княгиня будто вся голубая сделалась: и улыбка ее голубая, и голос голубой. И все заголубело вдруг: мыш, джайран, княгиня, вся земля, все небо, и сам я голубой. И уж ничего не разобрать: все мчится, крутится, словно вихрь-метель. И через голубую вьюгу чую голубые короткие слова княгини черноокой: «Смерть, джайран, мыш, я, золото, жизнь. Купи коня, бери жену, иди за Урал, в жизнь. За благо — благо». И вот все голубое сложило крылья, чезнуло, как чезнет туман от бури, все сгинуло, нет ничего: ни неба, ни земли, и меня нет. Чисто.

Долго-долго я после размышлял над этим, и по сей день случай тот с ума нейдет. Так и сяк мекаю, ищу ключ от двери потайной, от сна. Смерть, жизнь, мыш, джайран, княгиня, я, золото, земля и небо, словом, все, — не едины ли мы в видимостях разных? Так полагаю темным розмыслом своим — едины. Ну, почему ж мы все заголубели, заструились, как пар, как дым? Так полагаю коротким розмыслом своим — вся видимость из единого месива сляпана. И месиво то — воздушная пустыня. И все, весь мир голубой — воздушная пустыня, дух. Только нам по-настоящему смотреть не дадено. Да и слава те, Христу! Ежели б могли мы по-настоя-

шему на богов мир взглянуть, вчистую, без обмана,— с ума бы спятили, сдохли бы, как льдинка на огне. И выходит, что все умственно подведено. И выходит — нечем и незачем гордиться человеку. Человеку, цветку, букашке, камню, по-моему, одна цена. Бесценная, великая цена.

Как всякий зверолов, как всякий бродяга или странник, Бакланов — поэт в душе. Но поэзия его не от Старого Афона: она дочь азиатских просторов, гор, тайги. Сидя у костра или попыхивая неугасимой трубкой где-нибудь на обрыве, откуда открывается дикая картина угрюмых гор, он любит всласть помудрствовать. Его речь то плавна, то бурлива, как поток, но всегда звучит убедительно, красочно, певуче; может быть, уклад древнего монастыря еще с юных лет заковал его речь в грань напевных берегов, и поэт-бродяга даже в старости воздает всему осанну. Мудрость его проста и трогательна: «Люби все, люби всех. За правду умри».

Он недоверчиво относится к человеческому разуму. Он говорит:

— В башке у человека темный мясной умишко. Над башкой ум. Над умом умище. Умишком жить — носом по земле елозить, хвостом звериным к правде. Умом жить — на корячки встать, мордой человечьей к правде. Умищем жить — на ноги подняться, за сегодняшний краешек сегодняшнюю правду взять. Как это, почему? А очень просто. Людская правда — круг, на оси крутится, как колесо. Идет колесо — хватай! А через сто лет другую правду схватишь; а та правда, старая, уж кривдой будет. А колесо крутится, вертится тихо-тихо, и через тыщу лет старая кривда опять в правду обернется. И поймают людишки старую правду-кривду и снова правдой назовут ее, и за новую кривду-правду большую кровь прольют. Понял? Все на свете крутится, все на свете повторяется: из жизни смерть, из смерти жизнь. А настоящая-то, не межеумочная, не сегодняшняя правда не на колесе скользящем, а на оси незыблемой. Только не дотянешься до той оси, ось ту солнце стережет: глазыньки от света лопнут. Значит, до всамделишной правды человеку и не дойти вовсе, не дадено человеку это.

Так мрачно заканчивает он лесную, первобытную философию свою и, чтоб развеять одолевающее меня беспокойное смятение, говорит мне:

— Ну, ладно, голубчик... Ничего... Не желаешь ли, происшествие одно расскажу тебе? Знатнецкий случай был со мной: правда на правду наскочила. Хочешь?

Я выразил согласие, и Бакланов, попивая послеобеденный кирпичный чай, начал.

— Лютая зима была. Солнце в рукавичках вставало, потрескивали от мороза деревья, скалы. Вышел я из зимовья,

за плечом медвежье ружье — бердан — да малопулька: белок пострелять пошел. И только выбрался на взлобок — глядь: под угорчиком человек сидит в сугробе, голову вниз, воротничишко кверху, сжулился, и лыжи вовле.

Подошел я, гляжу — незнакомый человек; толкать-толкать его: замерз. Опрокинул покойника на бок — он так калачом и лег, застыл. Возился я над ним изрядно, покуда в чувство его привел. Дотащил до зимовья, подкрепился он спиртом да пищей горячей, уснул. На другой день жив-здоров. Как оклемался, говорит мне:

— Я, — говорит, — села Перевального житель, девяносто верст отсель. А сам я портной, тридцать три года от роду, Гарасим Яфимыч Карпов. И надо было мне в Минусинске кой-какой прикладишко купить: уряднику новый мундир я шил. В нашем селе почтарь знакомый, он каждые две недели за почтой в Минусинск на лыжах бегает. Прошу его Христом-богом: купи приклад. Он не хочет. «Пойдем, говорит, на лыжах вместе: и приклад купим, и погуляем там — наливочки попьем, пивка, того-сего...» Я говорю: «Нет, я не могу итти, я не привычный на лыжах, сам замучаюсь и тебя задержу». А он — «пойдем» да «пойдем», — чуть не насильно меня тянет: «Я, говорит, не шибко пойду. Устанем — отдохнем. Пойдем!» И сунул чорт меня пойти. За первый день шестьдесят верст прошли. Я совсем из сил выбился. А еще верст сотни две итти. На другой день ноги у меня задрыгали. Говорю ему: «Потише, куда ты вмах?» А он: «Иди, иди, не отставай!» К вечеру отобрал он у меня топор, спички, сухари, сказал мне: «Ты шоркай потихоньку по моей лыжнице, по следу, а я за горку вон за ту спущусь, костер налажу, пожрать сготовлю, отдохнем там». Я поверил, отдал все. А сам потихоньку в путь. Почтарь мой живо из виду под горку скрылся. Подымаюсь я на гору. «Вот, думаю, перевалю — и сразу к ужину». Поднялся, глянул, а он уже на следующую гору вздымается, верст за десять от меня. Взобрался да как приурежет с горы, только я его и видел. Внутрях похолодело у меня, волосья от ужасу зашевелились. И догадался я, что почтарь меня бросил, что неминучую смерть дал мне. Слеза меня прошибла: как есть один, помощи ждать неоткуда, того гляди волки разорвут. И решил помирать. Попробовал спускаться — упал, да так уж и вставать не захотелось. А тут кто-то в гармошку заиграл, девки запели, будто баня теплая и будто пьяные олени лесом с вениками шли... А ты, отец, спас меня.

Рассказывает так, а сам горько плачет. Говорю ему:

«Не горюй. Я выдам тебе подорожную, укажу до ближайшей заимки дорогу, верст пятнадцать будет».

Бумаги у меня, конешно, не было, а содрал большой

пласт бересты белой, камень нашел и написал острием камня так:

«Этому человеку всякую помощь оказывать. Я его от смерти спас замерзшего. Лошадей давать задаром, кормить задаром. Перевозить его от жителя к жителю, до самого Минусинска».

И расписался: «Леонтий Бакланов, таежный волк».

Наградил его всем, вывел на короткую дорогу, и он ушел. Летом дознавался я: приказ мой чалдоны выполнили в аккурате, потому — всяк уважает меня за то, что я всю тайгу наскрозь прошел, что закон тайги держу.

Ну, вот. Теперь слушай, милый друг, дальше.

После этого стал я почтаря поджидать, погубителя. Знаю, этим же путем побежит обратно. И знаю, в какое время. В конце пятых суток вышел я на пригорок, жду. Помню, под осиной встал. Тихо было. А на осине прошлогодний листок сухой холпит-шевелится. Что-то шепчет мне. Кругом бело, только лес по горам чернеет, небо тоже белое, солнышко сквозь туман глядит, книзу путину свою правит.

И час, и два я жду — нейдет почтарь. Злоба копится к нему: прислушаюсь, прислушаюсь — кипит в грудях! А осиновый листок сухой холпит-шевелится, по-доброму опять-опять что-то шепчет мне. Не слушаю его: «Отстань»,— твержу. Тут летучий ворон возьми и крякни надо мной: «Почтарь!»

Ага, вот он — он! Приструнил я себя, встряхнулся. А тот прямо на меня спешит. Снял я бердан с плеча. Только он ко мне — я:

— Стой!!!

Он остановился шагах в тридцати, взором выпить меня хочет, рыжая бороденка в куржаке, из-под оленьей шапки глаза чернеют.

— Бакланов, ты никак?

— Я самый. А где товарищ твой, Гарасим Яфимович Карпов, портной?

— Он в городе остался, подбирает приклад себе...

— Врешь! Зачем ты врешь? Ты бросил его вот на этом самом месте!

Почтарь шапку снял, от потной головы дым пошел, опять нахлобучил шапку. Говорит мне, и слышу: в голосишке овечий хвост дрожит, как перед волком. Говорит почтарь:

— Ты все, Бакланов, знаешь... Колдун ты! Да, действительно, он от меня отстал. А мне невозможно было ждать... Неужто умер?

— Умер. Сейчас и ты умрешь.

— Бакланов!.. Что ты?! Леонтий Моисеич..

— Стой, не шевелись, — сказал я и вложил патрон в бердан.

— Бакланов! Бакланов!.. Нет моей вины!..

А я ему:

— Ты у него топор отобрал, спички отобрал, харч весь отобрал обманом. Убивец ты!

Поднял я бердан, взвел затвор на выстрел. А он на корячки хлоп, ползет ко мне по сугробу, кричит последним голосом:

— Не губи, не убивай!

— Стой! — кричу. — Нешто не Бакланов я? Нешто не должон я правду таежную исполнить? Погубитель ты. Молись, варначина, богу: застрелю, как волка бешеного, и в снег не закопаю.

Прицелился я из бердана прямо в башку ему: шапка евоная свалилась, дым от башки идет, а сам он, словно пес, на четвереньках.

Слышу — взвыл:

— Слово одно!.. Бакланов!! Не губи! Одно слово в оправданье... Тогда поймешь..

Опустил я бердан:

— Ладно. Говори слово. Только умное!

Подошел я к нему. Кровь в его лике сменилась: лико — быдто снег. И сам дрожит. А глаза пытают меня: по-доброму или по-злому подошел к нему? Выпытали нужное, обмякли, надежный огонек засветился в них, обмороженные щеки задрожали: всхлипнул мужик. И с той самой минуты чезнула во мне злоба, и подкатился под наши ноги — ковер не ковер, а что-то теплое, может, шкура парная медвежачья, может, еще чего. И в душе сразу оттеплело: вижу — ушибленный человек передо мной.

Только мне не захотелось показаться добрым, строго спросил его:

— Ну?!

Он и говорит:

— Ослабел, — говорит, — я со страху, как ты бердан навел. Большой ужас, говорит, смерти в глаза глядеть.

— Ах, тебе ужас, а ему не ужас?!

Смолчал он, морду отвернул, мигает. Зажег я кострище из валежника, из смолистой пихты. Усадил его:

— Ну?!

— Жена у меня имеется, супруга законная,— говорит он.

— Как звать?

— Любаша.

— Хорошее имя. Складное. А к обличию подходит?

— Подходит вот как: очень даже пригожа из себя. С Николы зимнего двадцать второй год пошел.

— Любит тебя?

— Любила.

— Его любит?
— Да. Его любила, царство ему небесное.
— Про царство помолчи, — говорю ему. — Вместо царства ад, может.
А он и говорит:
— Ежели ему ад, мне — царство: может, Любаша опять ко мне приклонится.
— Твоя Любаша при нем жила?
— Нет, при мне. Бегала к нему. Я накрыл. С того дня грех пошел.
Спрашиваю его:
— Кто ж виноват в том грехе, по-твоему?
— Знамо, он, будь он проклят... Царство ему небесное... Портной этот самый! Гараська Карпов.
— Нет, — отвечаю, — пустопорожние твои слова. Не он, не баба твоя. Ты всему виной: укрепу ослабил, чем ни то оттолкнул жену.
— Бабу за подол не удержишь.
— По согласью, по любви за тебя шла?
— Обязательно по любви... То есть... Эх!..
Говорю ему:
— Иной раз птица на зерно идет, да в силок попадает. А из силка в котел.
Прикинулся он, что не понял, вздохнул, а в глазах злобная хитринка. Открыл сумку, вытащил шерстяной отрез.
— Вот, — говорит, — это Любаше своей несу... подарок.
Насупился я, прощупал его из-под бровей взглядом, говорю:
— Не поможет, — говорю ему, — опоздал. Уйдет от тебя Любаша. Укрепы нет.
Тут он у большущего костра в дрожь пошел, опять кровь сменилась в лике. Мотнул головой, закрыл рыло ладонями да в хлипки, в хлипки.
— Ты не знаешь, — говорит, — ты не знаешь, Бакланов, до чего она приятна мне! Дня не прожить без нее. Куда бы ни пошел, она все возле меня. Иду, иду — со мной! Вот и сейчас возле нас сидит... Любашенька, Любаша, солнышко!!
И ткнулся он, дурья голова, рылом в снег, точно его кто по шее съездил, и пополз на коленях, шапку в костер бросил, волосы рвет на себе, воет, и лик нехорошим стал.
— Стой! — кричу, — стой, опомнись!! Ежели слова умного ты не мог сказать, зато дорогую слезу пролил. Иди! Твою пулю медведю в сердце подарю. Иди с богом.
Разрядил я бердан. Почтарь слезы вытер, на спокойствие себя поставить хочет, а морда нет-нет да и взыграет, скуксится, белые зубы из-под усов сверкнут.

— Иди. Перед слепой человечьей правдой прав ты. Сумей оправдаться перед правдой светлой.

Вздохнул он, стал на лыжи, повязал башку шалью, распрощался со мной, пошел. Вот обернулся, вот спросил:

— А где ты похоронил его, царство ему небесное? — сказал он и перекрестился.

Не сразу я ответил. Подумал и сказал:

— Нешто поп я? Спроси у мороза да у вьюги.

Он опять перекрестился, отвесил мне поклон, крикнул:

— Бакланов, батюшка! А ты, чур, молчок! Про что мы знаем с тобой — тому гроб, могила... И чтоб больше ни единая душа...

— Гроб, могила! — крикнул я.

И эхо отозвалось в лесу: «Могила!» И ворон каркнул: «Гроб!» А почтарь все дальше — меньше, дальше, скрылся.

Мы с Баклановым снялись с места, двинулись. Нам надо засветло перейти вброд таежную речонку. Вступили в болото. Подошвы наши скользили по ровному и белому, как мрамор, дну: июльское солнце еще не растопило донный лед. За болотом мы сели на коней. Комары преследовали нас. Бакланов сделал два свежих веника, и мы без передыху отбивались от назойливого гнуса. Из глубокой балки, где сгущался вечерний мрак, подуло ветром. Комары исчезли.

Я спросил Бакланова:

— А о дальнейшей судьбе почтаря ты, Леонтий Моисеич, ничего не можешь рассказать?

Бакланов натянул поводья, остановился.

— Тпру... Я ведь даве молвил тебе: гроб, могила. И слово мое верное: недаром дураки колдуном меня считают. Натакался на почтаря, вскорости же после моей расстани с ним, один зверолов, товарищ мой. Мертвого нашел. Медведь почтаря задрал. На моих памятях отродясь такого случаю не было, чтобы зимой медведь мог человека заломать безоружного. А было по всем видимостям так. Как распрощались мы с почтарем, сиверко подул, буран зачался. А тут ветролом в тайге ударил, лес корежить стал. Вот и грохни сосна, да прямо по берлоге. Всплыл медведь, а почтарь-то тут как тут. В одночасье ему и карачун пришел. Я полагаю, что именно так могло случиться это все.

Бакланов понукнул коня и убежденно добавил:

— Как хошь, так и мекай. Бакланов оправдал, медведь не оправдал. Одно только наверно знаю: ту самую пулю, что на почтаря готовил, вогнал-таки в медвежачье сердце — невзадолго разыскал я этого зверя и устукал, благословясь. На!

День сегодня простоял жаркий. С горных белков натаяло много снегу, и речонка вспенилась, шумела. Наши кони, переходя речку вброд, наваливались тугими боками на сшибавшую их воду, пофыркивали и храпели. А дальше, за речкой, зверючья тропа в кедрач вошла. Кудрявые кроны великанов-кедров давали густую тень. Смолистая, теплая тишина стояла.

— Леонтий Моисеич! — заговорил я. — А ты всерьез хотел застрелить почтаря-то?

— Нет, — ответил Бакланов, оглаживая русую бороду. — Только острастку ладил дать. Чтоб на всю жизнь зарубина осталась в сердце. Человека убить — себя убить. Слезавай — приехали.

IV

— Я над всем этим краем властитель. Не в похвальбу, а так оно и есть. И глянь, ты только глянь, какая красота кругом, премудрая красота, великая красота! От этой красоты господней, от природы, — вот взглянешь — замрет, замрет сердце, и слезы потекут. Я тридцать два года здесь, в горах, в тайге. Да пусть скажут мне короли земные, вельможные правители: «Бакланов, владей всем нашим богачеством, дворцами, городами, пей, гуляй, писаных раскрасавиц хороводь, спускайся с гор, иди к ним, властвуй!» — «Нет, — скажу я, — нет, ваши царские величества, покорнищи вас благодарим: околдовала меня мать природа, угрела, осветила солнцем, обвеяла белыми туманами: здесь родилась новая душа моя, некуда отсель итти и незачем. Здесь смерть приму. Аминь!»

Бакланов Леонтий Моисеич по-настоящему чувствовал природу, понимал, любил ее. И складные его слова были кротки и страстны, как псалмы. Голубые с прозеленью глаза старика блестели молодостью. В их лучистом, то серьезном, то улыбчивом взгляде чувствовалась большая мощь. Ими он мог повелевать, ими же мог согреть, умягчить чужую озлобленную душу.

Мы едем с ним верхами по карнизу полутораверстной кручи. Приземистый, но могуче сложенный, он с конем — одно. Он останавливает своего Бурку и говорит мне:

— Слезавай! Иди за мной.

Я повинуюсь — старик не зря зовет меня. Вот мы на свободном от хвойных зарослей обрыве.

— Гляди, — сказал Бакланов и властно повел по горизонту рукой. — Можешь понять, восчувствовать? — не обертываясь, сказал он тихо.

Мы были на страшной высоте. Прямо перед нашими гла-

зами высилась плавно очерченная цепь гор, прорезанная темными балками. И дальше, поскольку хватал наш жадный взор, вся земля всколыбалась и вскоробилась: горные хребты застыли в волнообразном беге к горизонту и, постепенно понижаясь, тонули там, окутанные голубоватой пеленой воздуха. Лишь на самом краю земли, приподнявшись над всем миром, ослепительно сверкали вознесшиеся к небу нетленные вечные снега. Это пики Араданских гор и далее главный массив — Саяны.

— Просторы вы мои, просторы, — упоенным, мечтательным голосом шептал Бакланов.

Под нашими ногами бурно пенилась река. Ревом ревели пороги, но на нашу высоту звук не долетал. И сквозь неподвижную тихость воздуха, ежели взглянуть влево, вниз, можно видеть: верстах в пяти от нас врезано в горы зеркальное альпийское озеро. Ясноголубая поверхность его, как нежный с лоском шелк, очаровывала зрение: хотелось лететь на крыльях к этой таинственной волшебной глади и окунуться в нее, и плавать в животворных, очищающих водах.

Пока мы стояли, умиленные волнующим очарованием, картина менялась. Солнце уходило за горы, ясность воздуха стала еще больше, тени в провалищах и безднах — резче; серые, желтые, красные тона горных обнажений и все краски ландшафта освежились, ожили, заулыбались какой-то задумчивой, мудрой и благостной улыбкой. А седовласые великаны на горизонте надвинули по самые бороды свои снеговые шлемы и, замыкаясь в глубь себя, готовились к сторожевой дреме. В этой памятной картине великая искусница природа, казалось, щегольнула всеми красками видимого спектра: от сверкающей белизны до чернильного мрака преисподней. А над всем этим — бесстрастная, глухая тишь небес.

— И глянь, ты только глянь, какая красота кругом!.. Великая красота, премудрая красота!..

Мы спустились на ночлег в долину, развели костер.

За чаем Бакланов стал повествовать. Его жесты характерны, широки. Голос в меру звонок, плавен, выразителен, речь певуча.

Когда он молчит, его скуластое лицо обыкновенно, буднично: крепкие, загорелые, в мелких морщинах щеки, глубоко сидящие глаза, широкий толстогубый рот, пепельно-русая, в крупных кольцах борода. И какое-то дремотное, обращенное внутрь себя, созерцательное выражение.

Но вот он начал свой рассказ, взнуздал, пришпорил память, и, сдерживая страстность речи, он весь преображается. Лицо становится живым, светлым, вдохновенным, глаза горят мудрой веселостью, и хмурые нависшие брови в напряженном движении.

Слова его просты, но убедительны, и все на своих местах; он знает толк в словах, прислушивается к ним, ясно понимает, что даже за пустяшным словом стоит большая сущность, и поэтому в его речи они начинают светиться внутренним огнем, приобретают значительность и вес. В моменты душевного подъема его голос становится жутким, и вещим, и сам он — как пророк. Он начинает.

— Десяток лет тому случилось это, втапоры я еще самосильным был. Сказывал тебе, что я властитель этому месту, один я здесь на сотни верст.

Помню — голубое глазастое утро было, глубокий снег лежал. Месяц ноябрь кончился, скоро Николин день. А к Николину дню надо пушнины добыть изрядно. В Николин день две ярмарки живут, одна в Минусе, другая в Усинском. Вот туда и надо пушнину доставить, долг сквитать: должен я был Абдулу Мехметову, богатому купцу, близко к тысяче. А Абдул Мехметов — человек крутой; не оправдаешь себя — туго тебе будет.

Вот вышел я зверовать на промысел. Перво-наперво лег на новом месте спать, в зимовье своем, и видел сон — будто белки через реку плыли, хвосты вверх, трубой. Хороший сон: добыча будет добрая.

Ладно. Выхожу на поляну. А дело к вечеру, солнце книзу клонит, тени от деревьев в синь пошли, бегучие огонечки по снегу полыхают. Глядь — две лыжницы, две дороги от лыж, в нетоптанном снегу моем. Как так?! Кто мог осмелиться мое царство опоганить?!

Вскозырился я весь, упрямая кровища заиграла в жилах. Следить, следить: лыжницы под горку. И видно мне с горы — два черных человека: один сидит, этак колени обхватил, будто задумался, другой поодаль на боку лежит, лыжи валяются в сторонке. Смотреть, смотреть: не шевельнутся, будто мертвые.

Вот так раз — да ведь это купчина мой, Абдул Мехметов! И в мыслях твержу себе: «Ну, Бакланов, действуй, людишки погибают!» И стал лыжи укреплять.

А чорт и говорит мне:

«Ты погоди, куда ты?»

«Как — куда? Ты вчера родился, что ли? Ведь люди там».

А чорт мне:

«Нешто это люди? Один — купец Абдулка, другой — его поводырь-дурак»

«Нет, — отвечаю, — нельзя... Закон тайги не дозволяет. Надо спасать людей».

А чорт и говорит:

«Эх, Бакланов, Бакланов!.. Закон тайги обормоты выдумали. Одной правдой не прожить. Не ходи, Бакланов! Обожди немножко, ну немножко!!. Стой!»

«Нет, пойду».

«Кого ты спасать хочешь?! Ты ему тыщу должен!.. Ведь он грабитель. Ведь сколько он на тот свет народу сплавил, сколько народу помиру пустил! Его все клянут, а ты спасать хочешь. Дурак ты! Ведь он на ярмарку идет, пять тысяч у него в сумке, — все твое будет. Ты только стой на месте, все без тебя сделается. И уж скоро, совсем скоро будет так, как надо. И не будешь ты горе мыкать, в Москву уедешь, сладкая жизнь твоя пойдет. Ты только слушайся меня, стой...»

Огляделся я — туда-сюда глазами шарю, голоса лукавого ищу; пусто, только те двое чернеют в сугробах, да от солнца по снегу алые полосы пошли.

Говорит мне чорт:

«Он дочерь твою изобидел, он брата твоего в могилу свел, он и тебя за братом в гроб загонит. Ведь он же враг твой?»

«Враг».

«Пошто ж ты хочешь спасать его?»

«По то, что враг он мне. По этому самому. Друга всякий будет спасать, это не диво. Врага трудней».

«Ум твой пустой, Бакланов. В душе твоей гордыня, Бакланов. И ты только вспомни, что святые отцы рекли: гордыня — дочь дьявола. Убей в себе гордыню, Бакланов, дай околеть купцу».

«Нет! Будет жив, может, добрые дела окажет».

И плюнул тут чорт:

«Тьфу! От змеи не родится голубя. Неотмолимый грех тебе, ежели змею не изничтожишь».

Взяло меня за живое, говорю в думах чорту своему:

«Не раз и не два сказывал мне родитель: жил в тайге пакостник один, забеглый каторжник, варнак. И так он насолил крещеным — замыслили крещеные убить его. А тут совесть в нем голос подала: противна варнаку жизнь стала — в крови, в злодействе. И порешил он на себя руки наложить. И только голову в петлю вставил, чтоб глотку затянуть, — бегут тайгой мужики: «А, злодей!» А варнак и говорит им: «Моченьки не стало жить так: совесть мучает меня». А мужики ему: «Ежели перестанешь злодеем быть, тогда живи, запрету от нас нет, живи!» Заплакал в ответ варнак. И сказывал мне родитель не раз, не два: стал с тех пор варнак самым желанным человеком, вся округа узнала о его жизни праведной, вся округа ходила к нему за поучением. И стал

варнак — святым. Вот так же и с Абдулкой может приключиться».

Примолк чорт, не вздышит, видно, слюни на клубок мотает. Только кончил я раздумье, он и говорит:

«Чудак ты, Бакланов, ей-богу, чудак! Абдулка твой злодей неисправимый. На душе у Абдулки до самого донышка копоть одна, грязь».

«Нет, скользки твои речи, увертливы, — отвечаю я чорту своему. — Ежели дождь неделю поливает, не верь, что солнца нет: скатятся тучи, вот оно, солнышко-то, вот! Так и душа чужая: мрак, мрак и вдруг — светло».

И не знал чорт, что ответить, только дыхнул в душу мне:

«Убей змею!»

«Нет! — говорю я. — Не возьму на себя треха».

«Бакланов, друг! — убеждает меня чорт. — Ради бога не страшись греха... Ведь дело твое будет бескровное: крови ты ни капли не прольешь, руки своей не замараешь кровью».

«Совесть замараю...»

«И совесть твоя будет бела, как снег. Ты только обожди, ну, обожди, Бакланов, прошу тебя, умоляю, не ходи! Сейчас они замерзнут».

«Прочь с дороги!» — ударил я голосом и зашагал на лыжах.

А чорт всхлипнул, и чую — сзади меня идет, дышит в затылок жаром, темные искры рассыпает передо мной и сердце мое чавкает, чавкает песьими зубами: больно сердцу, и душа дрожит. Вот-вот схватит меня, вот-вот схватит. И уж схватил, окаянная сила, поймал, за ногу поймал, стоп — левая нога, стоп — правая нога, и я сам — стоп! И стал крутиться чорт в моей душе: опять ласковым прикинулся, сердце лижет, из моих дум каинову удавку хочет вить.

И подумалось мне тут: «Зачем же это я всамделе хочу своего врага спасать?» Стою, умствую в гордыне.

А чорт и говорит:

«Вот и спасибо тебе, Бакланов! Ведь я люблю тебя, ведь я и не требую от тебя: поди, мол, стукни топором по черепу, убей! Раз ты греха боишься, я на убийство тебя не подстрекаю. И крови ты ни капли не прольешь, и руки своей не замараешь, дело твое будет бескровное. Ты только закури трубочку, Бакланов! Пока куришь, все без тебя окончится: разве не видишь, уж к ним смерть идет».

И верно. Гляжу я: белым пыхом смерть по сугробу вьюнком перевивает: вьет, вьет, вьет — и прямо к людям. Обличья у смерти нету, а сила есть.

«Врешь!» — крикнул я да — ходу.

Шорк-шорк на лыжах, и сразу скатился с горы к Абдулу Мехметову, купцу.

Сбросил свою куртку из собачины, давай пыхтеть над человеком. Возился, возился — фу ты, мать честная! Умер человек! Стою над трупом отошедшим, и чорт примолк. Передохнул я мало-мало, давай опять над покойником пыхтеть, изрядно ему в рот спирту влил, да ну его, как чурбан, катать взад-вперед, мять, руки, ноги разводить. Чую, покойник дух перевел и мертвые глаза открыл.

«Слава тебе, господи!» — перекрестился я и за другого человека принялся.

И возговорил Абдулка мертвым голосом:

— Бакланов!.. Неужто я живой?

— Живой, — говорю, — Абдул Мехметыч, самый живой теперича доспелся...

А он и говорит, и вижу — слезы градом. Говорит купец:

— Тебе ли, Бакланов, было спасать меня? Ведь я враг твой!

— Враг...

— Дочерь твою я изобидел.

— Дочерь изобидел.

— Брата твоего в могилу свел!

— Верно, в могилу свел.

— И все-таки ты спас меня? Ты?! Ведь помри я — долг бы твой насмарку. И всеми моими деньгами завладел бы ты. Ведь десять тысяч денег при мне.

— Совесть мою в мильоны не складешь.

— Верю, Бакланов, большущей совести твоей. Теперича, Бакланов, ты мой самый главный друг. Больше отца, матери!

Тут спросил я купца Абдула:

— Как же это ты, скажи на милость...

Отвечает купец:

— Чорт попутал меня, шайтан! Мало-мало скупой я сделался. Просил с меня хороший проводник до Усинска дотащить тридцать пять рублей. А этот трухомёт, кобыла, за пятнадцать согласился. Я деньги жалел, его брал. А он, чалдон, и меня погубил, и сам околел, собака! Бросай его!! Подох, и ладно!

А чорт и шепчет мне:

«Вот видишь, Бакланов, кого ты спас: не сердце у Абдулки, — камень!»

Слава тебе, тетереву: оживил-таки и этого покойника — проводника. Костер развел, чаю вскипятил.

Развеселился купец за чаем, распарил брюхо, говорит:

— Ну, Бакланов! Чего хочешь, проси, все дам тебе... только сведи меня на ярмарку, в Усу. Сколько долгу за тобой?

— Семьсот тридцать два рубля восемь гривен, — отвечаю.

— Будешь должен шестьсот тридцать два рубля восемь гривен. Только веди. Согласен?

— Нет, — говорю, — хозяин, не могу тебя вести. Ты сам знаешь, мне надо весь долг сквитать да еще заработать на прожитье. А мои деньги в лесу бегают. Потащу тебя — деньги убегут: теперича — самый лов зверю, ты сам, хозяин, отлично понимаешь. Обожди недельку в зимовье у меня, тогда задаром доведу.

— Да ведь мне каждый день дорог. Вот-вот ярмарка.

— Тогда прибавь.

— Нет, не могу. Сто рублей — цена. Ни гроша больше.

А чорт и шепчет:

«Вот видишь, видишь, какую змею ты отогрел? Да разве это человек?!.. Убей его! Двинь по башке колом!»

Эх, засверкали у меня глаза: «А ведь чорт дело говорит...» Одначе сдержал шальную кровь свою, сказал:

— Тогда до свиданьица, прощай, Абдул Мехметыч. Путь укажу тебе верный: дойдешь с проводником, — сказал я и в лыжи стал.

— Стой, Бакланов, стой! Еще полсотни долгу скощу тебе... Тащи!

Встряхнулся я, подумал, говорю:

— Согласен. Может, чрез это гибель мне самолично приключится, а все ж таки... Согласен, ладно!

Спать в зимовьё ушли. Купец спал крепко, на особицу храпел. Проводник, мужичонка лядащенький такой, все хныкал, лежа, — похнычет, похнычет, перекрестится: — Спасибо тебе, добрый человек, из могилы меня выкопал, от смерти отнял!

А с полуночи я видел сон. Будто чорт со мною бьется. Чорт весь серый такой, надутый, словно из резины. Лика никакого нет, ни рта, ни глаз, просто мешок тугой, в середке — гадость, гарь. И словно сижу я на пенышке, пригорюнившись, и слезы капают. Чорт кэк надлетит, кэ-эк хвать мне в темя, чтобы, значит, совесть приглушить. Бьет и бьет с налету. А я ни рукой, ни ногой шевельнуться не могу. «А ведь приглушит мою совесть-то», — подумал я. И только я подумал — встал Абдул. Вот вижу: встал Абдул и зачал в кишку чорта надувать. И вижу: чорт стал раздуваться, раздуваться, Абдул — хиреть. И сделался чорт с корову, Абдул с белку. «Эй, проводник! — запищал по-беличьи Абдул. — Дуй мне в кишку, я — в чорта. Лопнет!» Вскочил мужик, стал в кишку Абдула надувать. Мужик Абдула надувает, Абдул — чорта. И стал чорт с гору, Абдул с корову, мужик с белку.

«Ай, батюшки! — заверезжал по-беличьи мужик. — Ежели чорт лопнет да купец лопнет, тогда и мне не сдобровать: в собачью блоху обернусь, подохну!»

Тогда я самолично встал, давай мужика надувать в кишку, мужик — Абдула, Абдул — чорта. Дули, дули — чорт выпучил глаза, вывалил язык и лопнул. И как лопнул чорт, всю местность серый дым окутал. И как окутал всю местность серый дым, мы все вскочили, выбежали из избушки, глядь: всю местность серый дым окутал, мороз стоит, утро зарождается.

Бакланов сделал перерыв, задумался, как бы припоминая, что повествовать. Я уверен, что рассказ, который он не однажды повторял, Бакланов всякий раз ведет по-новому, прибавляя что-то от себя, углубляя смысл отдельных выражений, шлифуя форму: он творит. Его слушаю не я один, его слушают ночь, тайга, костер, небо, вся земля, вся тварь. И, зная это, Бакланов благовествует в молчаливое пространство, как признанный поэт, которому рукоплещет многолюдный зал.

Ночь наседала на землю, разрасталась. От тьмы стало тесно у костра. И ничего кругом не видно. Но я чувствую, что Бакланов видит все. Он и во мраке не заблудится, пройдет неведомым путем, он сумеет отвести душу разговором со встречным деревом, с камнем, со звездой, а если попадется чорт — и с чортом. Ему все знакомо, все понятно, даже смерть.

— Бедному умереть легко, стоит только защуриться, — мудро изрекает он.

— Ладно. Тихо к утру сделалось, — стал продолжать Бакланов. — И как слиняла восточная звезда, стал людишек своих будить.

— Что ты? — говорит Абдул. — Еще только два часа ночи. Рано!

— В небе-то рано, да в сумах то у нас поздно, — отвечаю я. — Харч на исходе, а в зимовьё бежать — далече очень.

И вот пошли.

Проводник на лыжах кой-как тараканьими ногами сучит, а хозяина я на себе тащу: в нарты посадил его, тащу, совсем ослабел хозяин. А шагать поболе сотни верст, еще взад такая же охапка. Да главное дело — надо перевалить Араданские хребты, а там всегда пурга живет. Когда вернусь?!

Весь день без передыху шли. Абдул Мехметов — грузный: нарты глубоко врезаются. Сто потов я согнал с себя, небо с овчинку показалось. И нет укороту чорту моему, опять надо мной изгаляться стал:

«Тащи, тащи!.. Бог, ха-ха, заплатит! Бог любит дураков!»

Остановились не надолго, погрызли всухомятку сухарей, айда вперед. А проводник плелся, плелся, да и заныл:

— Смерть моя, боле не могу! Задави меня, собаку, брось!..

Брякнул я его с сердцов на нарты: «Садись, анафема!» — и двоих повез.

«Ну, — думаю, — аминь, решу себя, аминь. Все втроем загинем. Да спаси бог, ежели пурга ударит, выога»! А уж на Арадан-хребет вздымаемся.

Только так подумал — взикнул поземок понизу, и деревья плечами, головами замотали. Батюшки, пурга, погибель, смерть!

— Ребята, — говорю, — верная наша смерть идет! Пурга!

Взмолились мои людишки:

— Бакланов, батюшка, Леонтий Мосеич, отец родной!

А чорт хихикает мне в ухо:

«Что, дурак паршивый, влопался?! Теперь уж вези, раз продался, спасай людей, лесную правду выполнишь! Ха-ха...»

Сглонул я нутряные слезы, говорю людишкам своим:

— Вставайте, окапываться будем. Ежели пурга покроет нас, может, неделю под снегом придется жить. А где еда? Еды — раз пожрать и нету.

Как полоснет ветрище, как посыплет сверху сизый мокрый снег; вот она матушка-пурга: ложись — выдюжит сила, будешь жив, а нет — аминь.

А чорт и говорит мне:

«Бросай их! Беги домой, жив будешь. Место заприметь, потом вернешься, богат будешь».

Сжал я на чорта кулаки, остервенел.

А пурга так и крутит, мокрым снегом свет белый замутило. Вдруг слышу — ну, как во сне услышал, ветер поднес к ушам — слышу: бубенцы взбрякали где-то недалечко, и храпанули кони. Навострил я лыжи — дуй, не стой!

Глядь — дорога, редко кто этой дорогой ездит; глядь — казаки в Усинское возвращаются: сбились с тракта, сюда попали.

Кричу им:

— Станичники, здорово! Узнаете, нет?!

— А-а, Бакланов!.. Ребята, это Бакланов, зверолов! Садись, Бакланов!.. Папаша, к нам! к нам!..

— Вот, ребята, — говорю им, — живность у меня имеется, захватите-ка в Усу!

Словом, коротко сказать, устроил я горемык своих на подводах, сказал казакам:

— Живность чтоб доставить в аккурате, правильно. В Усе

с рук на руки сдадите мне. Бакланов вам это говорит, таежный волк.

А сам опять дуй, не стой — на лыжах. Пурга меня любит, будто путь расчищает мне; припустил полным ходом с Араданского хребта — пошел чесать.

Лошадиная дорога вихлястая, соколиная дорога впрямь идет; бегу по птичьему пути, налегке бегу, без груза, а в сердце радость, и вольные ветерки в спину поддувают. В лес вступил — воет тайга верхним воем, вьюгу над вершинами несет, а внизу тихость. И темная темень растеклась. Только, чур, Бакланова тьмой не удивишь, чортовым посвистом не застращаешь: сгикает, допустим, чорт, а я его, нечистую силу, — матюгом!

Переть, переть — посветлее в тайге сделалось, месяц встал. Переть, переть — кончилась тайга, кончилась пурга, небо в бисере, и Усинская станица на виду.

Пру, пру, пру, надрываю силы, и уж не телом путь держу — телу давно бы подохнуть надо, — душа ведет вперед, как в машине пар.

— Здорово, хозяюшка! — крикнул я молодице Матрене Митревне, — постоялый двор она содерживала. — Становь самовар большой, скоро к тебе гости будут, а я на печку!

И как залез в тепло, сразу захрапел. А время к утру. Храплю, а сам все чувствую: прозвени струна, прошурши цветы, подай птица свой голос свиристельный, — враз услышу: на моей башке, на самой на макушечке, глазастое ухо такое есть — во тьме видит, во сне слышит, сторож недрёманый такой.

Слышу — в сенцах медвежьи лапы затоптались, слышу — дверь скрипнула, вижу через закрытые глаза — Абдул Мехметов ввалился, с ним проводник-чалдон, казаки.

— Хозяйка! — загремел купец. — Все давай на стол: самовар давай, всякую еду давай, водки давай. Через часок-другой должен знатный гость прибыть, мой спаситель!

А я и кричу ему:

— Твой спаситель давным-давно на печке дрыхнет, третий сон видит.

— Бакланов, ты ли это?.. Отец родной!.. Да как ты?! Ведь мы на лошадях, почитай, вмах гнали.

Ну меня целовать, ну миловать да в ноги кланяться.

Разогрелись чаем, снедью подкрепились, водочки подвыпили, в пляс пошли. И хозяйка каблуками брякала, молодица Матрена Митревна. Эх, и хороша бабенка, язви ее в пятку! Вперед грудью ходит, глазами поводит. Э-эх!.. Ну, ладно... Было делов порядочная сумма.

И как стал Абдул Мехметов вполпьяна, вынул охапку денег:

— Вот тебе, отец родной, Бакланов, сто пятьдесят по договору. А это вот тебе четвертной билет за скорость за твою. А как спас ты меня от неминучей смерти — половина долга прочь! Убыток свой с других возворочу.

Взял я деньги, говорю:

— За то, что вел тебя, — принимаю деньги, за скорость тоже принимаю. Но за то, что спас тебя, — не могу принять. И как можно жизнь человеческую на деньги оценить! Да знаешь ли ты, что такое означает человек? Подумай-ка погуще об этом самом, Абдул ты мой Мехметыч, милый! Может, и ты тогда ко всякому человеку с правдой, с ласковостью подойдешь.

И как ни упрашивал меня, в ноги двадцать разов бухал, — уперся я, стал на своем: ни-ни.

И вот в обратный путь приближаюсь я к своему зимовью.

А чорт и говорит мне:

«Ах-ха!.. Велики эти деньги!.. Грош нашел, тыщи потерял... Дуррак!»

Плюнул я ему в безмордую морду, подлецу! И прямо пошел в обход — кулемки, слопцы, плашки проверять. И что б ты думал, милый человек? Тридцать два года промышляю здесь, такого фарта мне сроду не было: пока таскал купца, девять соболей попалось в ловушки, двенадцать лис, без счету хорьков да горностаев! Да полторы тыщи за десять дён сиводушных белок взял: стадом белки по вершинам шли. Коротко сказать: не токмо долг сквитал, а еще капиталишко нажил. И уж чорту нечем меня крыть. Молчит. Тогда сам я начал выкликать его. Молчит.

«Ну, Чорт Иваныч, — кричу ему, — кто прав: я или ты?! Отвечай, нечистик!»

Молчит.

«А может, вернуться, может, поступить в проводники к Абдулке да пришить его? А? Богатым буду, знатным буду, в Москву поеду... А?!»

Молчит чорт, словно сгинул.

Тут сдогадался я, что чорт — во мне, что чорт — совесть моя черная. И завернул я ему, окаянному, гайку туго-натуго: до сей поры молчит, хоть бы раз свой голос подал — молчит, как в рот воды.

Кончил Бакланов.

Костер угасал. Груда умирающих углей в предсмертных переливах: ярко-голубых, красноватых, тусклых. Вот проблеск жизни на мгновение прожег серебряный зигзаг в костре, все вскоре замутилось, обросло седым пеплом, словно инеем, и тьма медленно легла пухлым брюхом на костер.

Стало кругом холодно, пустынно, пусто, и мою душу охватило какое-то томление, тоска о недосказанном, о том, что человеку, может быть, и не нужно знать.

Но я все-таки спросил:

— А как же?..

— Что? Ты про Абдула? — сразу поймал мою мысль Бакланов. — Изволь. Деньги все-таки угробили его, загиб. Деньги — пот людской да кровь, грех в них. С ярмарки в позапрошлом году он ехал, из Минусинска-города. Да как переезжал зимним временем чрез Енисей-реку, зарезали его разбойники: нож в горло, лошадей угнали, а Абдула привязали к саням, под лед спустили. А как взыграл Енисей весной, всплыл мокрый покойничек во всей сбруе и с санями вместе. И хоть мертвецким темным оком опять все-таки довелось ему по-холодному на белый свет взглянуть. Да снова навеки в землю.

Бакланов вздохнул, замолк и опустил на грудь кудластую голову свою. Тьма придавила безжалостно последний уголек в костре.

И из тьмы, откуда-то снизу, откуда-то сверху, усталым проблеском просветлели через мрак последние слова Бакланова:

— И остался я купцу должен три рубля. И захотелось мне чистым быть: заказал священнику, отцу Панфилу, по Абдулке панихиду. Может, абдулкиной душе это наплевать, зато мне спокой. Аминь.

V

Наверное, читателю интересно знать, как Бакланов отнесся к революции? Меня, признаться, такой вопрос очень занимал. Мне казалось, что этот активнейший, с сильной душою человек, вся жизнь которого — сплошные поиски правды-справедливости, не мог не отозваться на охватившие страну мятежные силы народа. По самому складу своей природы Бакланов должен был встрять в дело революции и положить мятущуюся свою душу за благо родины.

Я несколько лет не получал от старика вестей и готов был с горечью вычеркнуть имя его из списка живых своих знакомцев, как вдруг — и совершенно неожиданно — пришло от него нацарапанное порыжелыми каракулями письмо. Оно было вложено в самодельный конверт, неумело заклеенный жеваным черным хлебом.

Вот это письмо:

«Милай живой ли ты приезждяй в гости много расскажу обо всем. Богу угодно было таежную правду чрез меня выполнить. Левой рученьки не стало глаз выколот стариком

исделался чрез то а за правое дело стоймя стоял сначала за Колчака по глупости ишел опосля тово супротив Колчака повел дружину партизанскую все по горам да по лесам. Много было делов кровавых а всё на пользу сирых людей приеждяй.

А писал в 1923 году в марте самолично Левонтий Бакланов однорукой».

1926

ЧЕЛОВЕК ИЗ ГОРОДА

Не знаю, как вы... А я, лишь стукнет май в окошко, пройдет река, зазеленеют поля, леса и рощи, запоет прилетная птичка свои песенки — ну, прощай тогда покой. А тут еще ночи надвинутся теплые, со звездами... Ворожат звезды, хороводами по небу ходят, а земля млеет под их лучами, дышит... Новые жизни творятся, рождаются в ее недрах...

Скорей тогда, скорей из душного, тесного города в степь, в леса, в горы... Ближе к солнцу, к небу... Скорей!..

Прощай, город! Прощай, суета сует, пыль и гам шумных улиц, прощай, полицейский с большими усами, и звон колоколов, и звуки шарманки, прощайте, кабаки, рестораны, панели с подкрашенными девицами, прощай, кладбище — жилище мертвецов. Пока прощай!

И вот я в поле, в лесу, в горах... Светит солнце, поют птицы, стрекочут кузнечики. Веселей начинаешь смотреть на мир, помолодеешь сразу на добрый десяток лет и чувствуешь, как мякнет сердце, как с каждым днем копоть души, словно змея, выползает наружу. Забудешь город, не помянешь его добрым словом, забудешь все, кроме солнца, молчаливых и полевых цветов. На долго ли?

Здравствуй, степь, здравствуй, лес, горы, озера и реки, здравствуй и ты, вольная волюшка! Эх, хорошо! Душа ходуном ходит, хочется всю жизнь «козерогом» поставить, плакать хочется...

Взойдешь на гору, — воздух свежий, бодрящий, холодком веет... Вскинешь вверх голову — в небе облака бегут себе, бегут... Куда? Не все ли равно... Орлы плавают...

— Эй, орел! — задорно и радостно крикнешь вверх. Но упадет обратно слово, и орел не услышит его.

— Здравствуй! — громче крикнешь, — здравствуй! Вот я, человек... из города... Здравствуй, орел!

Ляжешь на землю, руки забросишь за голову и чувствуешь: мало-помалу, волна за волной льются в сердце звуки тихие, нарядные, торжествующие, и еще чувствуешь — простор окутывает душу и шепчет ей голосом внятным, но без звуков и образов, тихое такое шепчет и важное... И беспредельность в том шопоте, и своя земная правда, и тлен земной, и еще многое, что не вмещается в сердце человеческом.

Комара увидишь:

— Здравствуй, комар! — и улыбнешься, не зная чему. — Вот я, человек... из города...

А из сердца, из потайного окошечка, уж подымается что-то хорошее и, не торопясь, по каким-то таинственным путям льется, ползет, полонит душу...

Видишь: божья коровка по рубахе ползет, и с ней поздороваешься, и ей точь-в-точь теми же словами скажешь:

— Вот я, человек... из города...

И все замечаешь, на все ласково смотришь, со всеми поговоришь, как с родным, самым близким другом.

А душа все больше и больше переполняется истомой сладкой, уж теперь не сопротивляется, и чувствуешь, как растет она, и видишь: тесен ей плен, на простор вырывается, темницу будней раздвигает, незримо оковы рвет.

— Эй, держи!!

Разве удержишь душу, вечную странницу? Где тебе, человек?! Зачем? Растет душа, растет... Тянется ввысь, туда, где серебрятся вершины гор, где орел плавает, где бегут игриво облака. Нет, выше, выше!..

К месяцу: видит она месяц днем. К звездам: видит она звезды днем.

И все замечаешь, на все ласковое слово приготовлено, приголубить все хочешь, как первого друга своего...

Только одного не заметишь: слезы подкрались, без боли, без радости... Да, да, слезы... Вскочишь тогда, быстро окинешь все взглядом и закричишь голосом. Сам ли кричишь — не знаешь... Душа ли песню поет — уяснить не можешь. Всплеснешь руками, на колени опустишься, припадешь головой к земле:

— Вот я, человек... из города!

И тело вдруг хрустальным станет, и все, что кругом, со всех сторон вливается в него, целый рой впечатлений бытия и радости, и беспредельного простора — и вытесняет жизнь земную, тоскливую, и печаль, и грусть, и заботы, и боль — все гонит прочь, как утренний рассвет сжигает мрак... И каж-

дый цветок полевой, и бабочки, и букашки, и вон тот маленький мужик с игрушечной лошаденкой, что внизу новь вздирает плугом, — все родное, все близкое...

И каждый круглый, и каждый угловатый камушек — красный, синий, желтый, — все мило, дорого. Поднимешь, встряхнешь на руке бережно, поцелуешь его холодные грани и осторожненько положишь на землю, словно боишься ушибить его:

— И в нем жизнь...

Пролетает время, заря с зарей начинает сходиться, ночи белые опускаются на землю, а тело изнемогло от восторга — где ему! И в крыльях души неверные взмахи, точно пугают ее и заоблачная высь, и простор, и далекий, безгласный говор бледнозолотистых звезд.

Спускаешься тогда с горы в долину и чувствуешь: рвется в сердце струна.

— Ничего... пускай... Их много еще... — а сам с грустью на гору оглядываешься: осталось там что-то огромное, что не вместилось в сердце.

По долине ходишь, опустив низко голову, собираешь цветы, к реке подойдешь. Ветерок откуда-то вспорхнул, пал на зеркальную голубую скатерть и брызнул по ее глади, играючи серебристой, как панцырь, чешуей. Поиграл и скрылся. А река течет тихо, плавно, спокойная, перешептывается с камышами и течет дальше без мысли, без ропота, за волной волна...

Солнце еще высоко. Почему так медленно катится солнце? Почему нет прохлады и растаяла в ярких лучах от деревьев тень? Вот настанет вечер, заря расцветет на горизонте, бирюзой и сиренью небо окрасится, а на поля неботканным саваном падет прохлада. Скорей бы, скорей! Ах, зачем так лениво катится солнце?

Ночь придет, душная, с кошмарами, земная ночь. С востока, лишь угаснет предутренняя звезда, вновь появится день.

И снова цветы, птицы, бабочки, ветер набежал, река — чешуйки серебристые, говор камышей... Нет, не то, не то...

Подойдешь к мужику:

— Пашешь?

— А нешто не видишь? Ха! Чуда-ак...

И думаешь: надо выведать, надо все узнать.

— А ты любишь зори?

— Заря, она будит нас...

— А ночь любишь, тихую, звездную?

— Ночью мы, брат барин, спим. Ночь и ночь... Чего в ней?

— А дни весенние?
— Днем работаем, спины не разгибая... Каждый день так.
— Ну, серебристые ручьи, водопады, цветы полевые? Ведь любишь?
— Нам не до этого, чтобы ежели...
— Что ж ты любишь-то?
— А что нам любить?.. Вот поживешь-поживешь, да ноги вытянешь. Вот те и вся-недолга. Зароют, и крышка...
И уж вдогонку закричал, смеясь:
— Водочку я люблю!! С устатку ежели...
И опять в сердце струна порвалась.

Толстобрюхий детина идет навстречу, в красной рубахе, и три ключа висят сзади за поясом.
— Ты что, Максим, любишь?
— Всех люблю.
— Всех?
— Обыкновенно всех... Вот только меня-то никто не любит...
— Как так?
— Одно званье мое: кровопивец... А того не понимают, что Иван попросит хлеба — даешь... Мавре — даешь... Всем даешь, потому — жалость имеем, бога помним... И поэтому дом у меня — полная чаша. А они что? Выжиги, шишиги и больше ничего!.. А тоже орут, поджечь сулятся...
— Так, так, — отвечаю.
И чувствуешь — сердце тоской занялось.

Все чередуется в природе, катится одно за другим, по раз начертанному закону.
Уж не целуется заря с зарей, короче стали дни, темнее ночи.
Гром устало и изредка где-то вдали погромыхивал, зарницы хлеб зорили, и перестали петь соловьи.
Ползла в сердце боль, что-то сжимало его, и если прислушаться чутким ухом, различишь в нем одно только слово:
— Город-город... Город-город...
Под елью старик сидит, корку хлеба жует на единственном зубе.
— Кого любишь, дедушка?
— Все-ех люблю, батюшка... Я всех люблю... Для меня все свято, все дорого... Странник я... Ничего меня не держит, ни к чему привязки нет: вот сумка да костыль. И всех

я люблю поровну. Все мне в божьем мире дорого, все мне радостно, все приветливо.

. . . .

Отчего это? И степь наскучила, и наскучило солнце с голубым небом, и наскучили горы, вздымающие в высь скованные серебром вершины, и леса, и реки, и водопады наскучили... Отчего это? Потянуло в город, огромный, пыльный, загадочный.

1912 г., Томск

АЛЧНОСТЬ

Страничка прошлого

Торговый человек Афанасий Ермолаич Раскатилов гремел на весь уезд. В каждом большом селе у него по лавке, богатей был, но в рост денег не давал, не маклачил.

У купца служил с малых лет Григорий Синяков. Когда Григорий осиротел, купец взял его в лавку мальчишкой на посылках.

— Присматривайся, Гришка... Человеком будешь, — сказал купец и потрепал по щеке. — Грамоте-то знаешь?

— Мало-мало кумекаю, — расторопно ответил мальчик.— Рифметику учил, еще хрестоматию, о рыбаке и рыбке наизусть...

— Про рыболовство, что ли?

— Нет, про старуху про одну. Называется — стихи.

— Ну, это ерунда. Нашему брату ни к чему твои стихи. А сколько семью пять?

Гришка замигал.

— Вот, сопляк, и не знаешь. И выходит: твоя наука — тьфу.

Афанасий Ермолаич старился. Григорий рос. Кудри купца засеребрились, его жена легла в могилу на долгий отдых. Смерть близкого человека и полное одиночество заставили купца пристально всмотреться в прожитую жизнь свою, вспомнить все обиды, которые вольно или невольно причинял он ближним, подвести всему итог. Купец с особым тщанием припоминал и добрые дела свои, когда человеческое сердце источает к людям свет любви... Но добрых дел осталось мало в памяти купца, и душа его скорбела.

Чтоб иметь оправданье своелюбивой своей жизни и успо-

конть прозвучавший голос совести, купец решил вывести Григория Синявина в люди.

«Под конец дней и я должен возжечь свою свечу перед господом».

Из мальчишек Григорий стал подручным, из подручных — приказчиком, потом на отчет сел, в конце же концов заделался главным доверенным хозяина.

Время шло. Григорий женился на тихой Даше и припеваючи жил себе у тестя-мельника. Хотя новый доверенный отпустил русую бороду, обзавелся двумя детьми, но хозяин, по старой памяти и на правах благодетеля, все еще Гришкой его кличет:

— Гришка, слушай-ка! Съезди-ка, брат, в Княжево, турни там доверенного в три шеи: жулик, чорт.

Григорий Иваныч ехал и вершил суд с расправой.

— Эй, Гришка! Одначе пора доходы собирать. Айда-ко благословясь.

И ехал Григорий Иваныч по всем десяти лавкам проверять кассы, производить учет, отбирать выручку.

Однажды, глубокой зимой, в ночь перед отъездом, Григорий увидел скверный сон. Будто в лесу он наткнулся на лешего. Сидит леший в сорокаведерной бочке из-под спирта, выгребает лопатой деньги: золотые червонцы горьмя горят, как угли, и соблазнительно позвякивают, ну такая от их звона по всему лесному царству музыка идет, всю жизнь прослушал бы. «Дай и мне», — не утерпел Григорий. — «Бери, — ухмыльнулся леший, — только смотри, как бы не того... не этого...» — да и не докончил. Григорий целую шапку червонцев наложил. И с тем проснулся.

— Ох, и худой же сон, — вздохнула его жена Даша.

Старуха тут толклась, горчички пришла занять, уж очень вкусно с горчицей студень кушать. Та — то же:

— Будет тебе, родимый, испытание. Мотри, гляди в оба. С опаской поезжай, благословлясь.

Тесть-мельник успокоил:

— Ты не слушай баб. Снам петух верит. Ну-ка, выпьем на прощаньице...

Однако, когда расставался Григорий с Дашей, сердце напоминало ему о том, чего нет, но будет.

Кругом белели обильные снега, морозы стояли с дымом, и зыбучая, вся в выбоинах, дорога, как волны в море.

На холоде Григорий Иваныч забыл свой темный сон, знай нос три чаще, а будет мороз одолевать, выскочи из кошевки да дуй во все лопатки рядом с Пегашом. А купеческий Пегаш — рысистый полукровок, ехать на таком коне не скучно,

да ежели и злой человек умыслит в ночное время пакость сделать, Пегаш не выдаст. Только крикни: «Грабят!» — рванет Пегаш, полозья в визг, снежная пыль столбом и ветер свищет.

Да, впрочем, Григорий Иваныч и не очень-то боялся нападений: денег в бумажнике немного, для отвода глаз, вот разве шубу снимут или топором по черепу. Ну, что ж, судьба. А вот хозяйских денег разбойникам сроду не найти: в березовых полозьях кошевки продолблены потайные глубокие пазы, в них вся казна лежит.

Пока объезжал епархию, время стало к весне клониться. Пожалуй, можно и домой путь править, а то рухнет дорога — плохо. Солнце припекает крепко, старики пророчат дружную, раннюю весну.

«Авось с недельку еще продержится,— утешал себя горячий на работу Григорий Иваныч Синяков. — Авось морозец ударит, утренник».

И он решил в последний пункт завернуть, в торговое село Кринкино. Подъехал он в сумерки к реке Прибою, только бы перебраться на тот берег — тут и Кринкино, слышно, как собачонки брешут.

Лишь стал коня на лед спускать, вдруг:

— Стой, паря! Ты сдурел! Переночуй добром. Вишь, темно.

Оглянулся Григорий Иваныч — старик возле него, дедка Арсений, бородой трясет. Послушался умного совета, ночевал у старика.

А ночью дождь пошел, к утру ручьи забурлили, дождь пуще, пуще.

— Переночуй еще, — сказал дед Арсений. — Ежели не выведрит да как след быть не подкует морозцем, придется тебе, паря, домой ехать, в обратную. А то, чего доброго, мырнешь да и не вымырнешь.

Еще ночь переждал Григорий Иваныч. Действительно, морозец пал.

— Ну, благословляй, дедушка Арсений.

— А ты вот что... иди-ка через речку пешком... Вишь, ледто посинел... Пегаша не сдержит.

— Сдержит... Без саней никак невозможно мне.

Народ стал подходить. Какая-то старуха пробиралась осторожно по льду: к обедне благовестили, шестая великопостная неделя шла. Показалось солнце, стекла в церкви на том берегу загорелись мертвыми огнями, воробьи на прясле гомон подняли.

Григорий Иваныч забрал в горсть вожжи, стал спускаться.

Возле самой закрайки — лавина. Пегаш всхрапнул, перескочил, кошевка стукнула, брызги фонтаном вверх. А сзади крик:

— Правей! Правей держи!!

Лед синий, жухлый, весь сопрел. Чувствовалось, что река напружилась, выгибала закованную спину: вот-вот треснут льды и поплывут.

— Назад! Вороти назад!

— Стой! Стой!!

Грузный Пегаш опять всхрапнул и пугливо поводил ушами: лед оседал под ним. У Григория Иваныча захватило дух: впереди погибель, сзади смерть. И вдруг его ослепил огонь решимости. Он вытянул коня:

— Малютка, грабят!

Пегаш рванул вперед и вбок, лед вмиг расселся, конь ухнул передними ногами в полынью, лягнул задом и...

По берегу пронесся отчаянный многогрудный крик. А дальше Григорий Иваныч ничего не помнил.

Пахло квашней, пылали огнем дрова в печи, было темно, угревно. Григорий Иваныч обвел каким-то отчужденным взглядом незнакомую избу, посмотрел на старуху в пестрядинном сарафане, валявшую на столе хлебные караваи, громко вздохнул.

— Очнулся, болезный мой, — ласково сказала старуха.— Ну слава те Христу. Ужо соченек тебе свеженький спеку да яичко дам освященное: второй день пасхи ноне.

— А где же это я? — робко спросил Григорий Иваныч.

— У Демьяна... вот где. В Кринкине, в селе. Вот, вот. Выловили тебя, болезный мой. У Демьяна ты. У него, у него. А я двоюродной бабкой им прихожусь. Бабкой, батюшка, бабкой.

Григорий Иваныч хотел спросить про Пегаша, про сани, но все это стало ненужным, мелким, все куда-то отодвинулось во тьму, и только мысль, что он жив, охватила светлым ласкающим потоком все существо его. Тяжелой, непослушной, будто чужой рукой он прикрыл глаза.

Но чей-то колкий, с ухмылкой, голос крикнул ему в ухо: «А как же деньги?!»

И Григорий Иваныч почувствовал, как холодеет его тело. Он сразу вспомнил тот темный сон: лесная трущоба, леший, золото, — вспомнил опасенье жены и старухи: «Будет тебе испытание...» Звонким переливом звякали червонцы в ушах, охватывало смертной тоской сердце.

«А как же деньги, хозяйский капитал, Пегаш?»

Но горячечный сон в бреду, провалах, вспышках положил всему предел.

И снова... Что-то бубнило — рассказывала старуха, пожмыхивая тестом, кто-то грузно вошел и сказал:

— Здорово-те живете... Христос воскрес!.. Ну, каков болящий?

— Христос воскрес, и болящий воскрес... — ответила бабка. — Голос свой подал, оклемался. Вот она, жизнь-то наша...

Но Григорию Иванычу хотелось лишь покоя. Целую неделю пролежал он влежку. Настроение было мрачное, угнетенное: утонул Пегаш, унырнули под лед сани. В десятый раз вынимал он чудом уцелевшую книжку и едва различал растекшуюся от воды запись, подводил итог погибшим собранным деньгам.

«Девять тысяч двести».

— По какому случаю на чужой подводе? — встретил его хозяин Афанасий Ермолаич и грозно насупился. — А Пегаш где?

— Несчастье со мной стряслось. Едва не погиб. И деньги все потонули... Извините ради Христа.

Купец откинул с глаз серые лохмы, открыл рот и попятился:

— Сколько же?

— Да девять тысяч с лишком.

В груди купца захрипело, глаза выкатились, большое бородатое лицо закровянилось.

— Жулик! Разбойник! Грабитель!

Григорий Иваныч вздрогнул, сгорбился, прильнул плечом к стене, чтоб не упасть.

— Что вы, Афанасий Ермолаич... Помилуйте... Сколько лет верой, правдой...

— Вон!! — затрясся, затопал купец, ударил дряблым кулаком в столешницу. — Ты мне больше не слуга... Чтоб духу твоего не было! Вон, вон!!

Шатаясь, выходил из комнаты Григорий Иваныч, в глазах темно, а вдогонку каменным градом убойные слова:

— В тюрьму сукина сына! В острог! Я те выучу!

Купец, задыхаясь, грузно, как большой медведь, сел в кресло. С озлоблением поглядывая на уставленный иконами кивот, где теплились две серебряных лампадки, хрипло жаловался богу:

— Вот и спасай с этакими дьяволами душу: сами в ад лезут и тебя туда же тащат. Тьфу!

Григорий Иваныч, после болезни худой и бледный, растерянно вошел в свой дом.

— Тятенька приехал, тятенька!.. — закричали обрадованные ребята. — Христос воскрес, тятенька!

— Воистину воскрес, — сказал Григорий Иваныч, поцеловал жену, детей и заплакал.

Григорий Иваныч постепенно впадал с семьей в нищету. Мельник-тесть, на шее которого они сидели, стал с зятем груб, придирчив. И как-то с его языка сорвалось:

— Ежели ты украл деньги, пошто ты их не оказываешь?.. Дармоед, чорт паршивый.

Григорий молча терпел.

Весна кончилась, наступило лето. В купце начала пробуждаться совесть. Хотя алчность глубоко въелась в его душу, однако мысль о приближающемся смертном часе, о том, что к концу дней необходимо стать чистым и безгрешным, надо все понять и всех простить, — эта тревожная мысль заставила купца, через упорную борьбу с самим собой, протянуть руку помощи опозоренному приказчику. И он призвал Григория Иваныча к себе.

— Вот что, Гришка, — сказал купец. — Хотя ты без малого и разорил меня, ну только что чорт с тобой, прощаю. Посажу тебя на отчет. Езжай в Гриблянку, торгуй.

Расстался Григорий Иваныч с родным своим селом, забрал семейство и переселился на новые места. Из кожи лезет, большой оборот купцу сделал, все норовит загладить невольный грех. А обида от купца давно исчезла в его сердце: русский человек памятного зла носить в себе не может.

К Михайлову дню по первопутку прикатил к нему купец-хозяин. Произвел учет, — все в должном порядке было, — и, по приглашению Даши, пошел к приказчику откушать. Купец поесть горазд: угостили его наславу. Ну, была, конечно, и подобающая выпивка.

Размяк, рассолодел купец, похлопал опального человека по плечу, сказал:

— Ну, Гришка, будь опять главным у меня. Езжай по епархии деньги собирать, как поп ругу.

У Григория Иваныча задрожали руки, поставил стакан с чаем, в глазах зарябило: прихлынуло такое к сердцу, что и не скажешь.

— Ведь кто тебя знает, Гришка... Может статься, и все девять тысяч водичку хлебают, а может... — и купец двусмысленно подморгнул приказчику осоловелыми глазами.

— Что? — растерянно замигал приказчик. — Все еще подозреваете?

— Всяко бывает, — хихикнул по-пьяному купец. — Человек, скажем, не ангел. Да...

Очень обидным показалось это Григорию Иванычу. Эх, дать бы купцу по благочестивой роже! Но пришлось стерпеть: у него не было доказательств правоты своей.

Пьяное лицо купца покрывал пьяный елей. Он набожно

перекрестился, поцеловал Дашу, поцеловал Григория Иваныча и, рыдая на его плече, сказал:

— Душе своей я не враг. Ты чуть не опанкрутил меня, а я тебе прощаю. Вот сколь я угодный богу человек.

И вот...

Поют полозья легких санок-беговуш, весело работает резвыми ногами гнедой, в яблоках, жеребец; из села в село мчит Григорий Иваныч купеческую прибыль собирать.

Не в потайных полозьях теперь прячет он деньги, а за рубаху, в кожаный кисет, разбойные места проезжает засветло, всегда держит наготове о пяти зарядах револьвер.

И случилось ему пересечь низовье все той же памятной реки Прибоя, смертельной купели своей. А тут с полден буран поднялся, метелица. Надо переждать — чего доброго, дорогу потеряешь, средь поля поморозишься.

Вот и деревенька Легостаева к Григорию Иванычу задом повернулась. Через огороды, гумна, огуменники стал в улицу прогоном пробираться. Глядит — у прясла, подле риги, кошевочка аккуратненькая стоит в снегу, и по размерам точь-в-точь его, тогдашняя. Однако никакого внимания Григорий Иваныч не обратил — кошевка и кошевка, они все на одну стать, как галки в поле. Так, мелькнуло в мыслях и пропало.

Попросил в избу обогреться.

— Милости просим... Залазь, добрый человек, — сказал мужик Никита, суетившийся, сухопарый, с острыми неприятными глазами. — Вы кто такие будете?

— А по лесной части я, из города, — соврал Григорий Иваныч.

— Так, так... Это ничего...

Сели чаевать, железную печку баба затопила, быстрое тепло туго набило избу, а за окном буран крутил. Григорий Иваныч пьет чай, а сердце стукочет, надрывается, и леший в уши червонцами звенит, — ну, неудержимо хочется Григорию Иванычу осмотреть кошевку.

«Ерунда какая... Вот ерунда...» — возражает сам себе. А ноги встали и к двери понесли его.

— Куда?

— Я на минутку... Коня проведать...

Да бегом, через буран, через вьюжную воющую непогодь — к овинам.

Глядь: его кошевка. Ей-богу же, его... Его! Надолба, винтики, планка потайная.

«Она!»

Вернулся в избу, дрожмя-дрожит, губы прихватил зубами, не держат зубы, чакают.

— Ты что?
— Замерз очень.
— Грейся.

А в избе, как в бане. Разморились все, сон стал одолевать: наскоро поужинали, почивать легли. Ветер бил с налету в стены, избяное высасывал тепло. Тетка Матрена завернулась в шубу, захрапела. Хозяин же и гость, попыхивая трубками, мигали во тьму.

— Спишь?
— Нет.

И путаной околицей Григорий Иваныч хитрую речь повел:

— Слушай-ка, дядя Никита, — начал он, приказав голосу быть твердым, сердцу тихим. — Это твоя рига-то на задах?

— Моя... А что?

— Добрая рига схлопана. Бревнища-то семивершковые, кондач.

— Рига добрая.

— Видать, хозяин ты справный. Корова, кажись, ярославка. И коняга круторебрый, бабка в ноге широкая...

— Мерин добрый... Только ленив, лешева ноздря...

Помолчали.

— Хозяин ты хороший, а вот кошевку возле риги без призора бросил... в снегу валяется.

Никита повернул к гостю голову и, ухмыльнувшись тьме, вяло ответил:

— Кошевка эта приблудная. Сказывали, быдто нонешней весной, в Кринкине-селе, сто верст отсюда, раскатиловский приказчик в воду умырнул вместе с конем. Все думаю — его. После половодья, как вода ушла, у меня на покосе оказалась эта кошевка-то.

Сердце Григория Иваныча остановилось и вдруг с такой силой заработало, что на висках напряглись жилы и где-то позади глаз стали постукивать тугие огоньки.

— Нет, — сказал он, и голос его поскользнулся, дал нырка. — Нет, я раскатиловскую кошевку знаю... У той задок белой жестью обит. Давай сменяемся...

— Нет, паря, не стану. Самому нужна. А тебе пошто занадобилось меняться? Твоя лучше.

— Ну, вот и давай. Твоя легче.

— Нет, — уперся Никита.

— Я придачу дам.

— Сколько же?

— Три рубля дам. И бутылку спирту на могарыч.

Проснулась Матрена, сквозь позевки закричала:

— И не думай меняться! Что ты!.. Да нешто можно? Находкой меняться — счастье свое из дому гнать...

— Спи знай! Сча-а-стье... — передразнил Никита жену свою. — Бабьи глупости... стану я тебя слушать... как же. А вот что, гостюшка желанный: давай пятерку и две бутылки. Идет?

— Идет, — мысленно перекрестился Григорий Иваныч.

— Бери... Пользуйся моей простотой, — алчно прищурился Никита и поскреб когтем лопату-бороду.

— Эт ты чурбан, чурбан! Башка телячья, — заверезжала с печи баба.

Гость и хозяин, как по уговору, гулко захихикали в ответ.

Ранним утром, едва отъехав за поскотину, Григорий Иваныч остановил гнедка, опрокинул кошевку вверх полозьями и прыгающими, любопытными руками принялся отвинчивать гайки.

«Неужто Никита догадался, выгреб золото?»

Кровь в лице то холодела, то вскипала. И вдруг...

Сорвал Григорий Иваныч с головы шапку, пал на колени в снег, крикнул:

— Царь небесный, батюшка! Даша, ребята, Афанасий Ермолаевич!!

Гнедко всхрапнул и покосился на него. И неизвестно, на крыльях какой волшебной птицы летел Григорий Иваныч в свое село, к купцу-хозяину:

— Тпру!

Легким пухом, с легким сердцем впорхнул он в хозяйские хоромы и облегченно, как гиря с плеч, крикнул во все легкие:

— Афанасий Ермоланч, вот! Вот выручка, а вот девять тысяч двести... Те самые... Вот!

И швырнул на стол скрученные в трубочки, чуть проржавленные с краев кредитки — потайные проемы в кошевке были пригнаны плотно. И швырнул два звонких столбика червонцев, — звякнуло золото, заиздевалось: «Сколько, сколько, сколько я испортило вам крови?..» И последний раз устрашительный леший всхохотал, последний раз побренчал обманным золотом и — в чащу. Темный сон окончился, ядреное солнечное утро было, золотые зайчики играли в серебряной бороде купца-хозяина.

Хозяин, так же как и в тот далекий несчастный день, широко разинул рот и выпучил мутные глаза. И, пока пересчитывал девять тысяч двести, все головой крутил, чмокал, улыбался. Потом сказал, покаянно всплеснув руками:

— Ну, Григорий Иваныч (первый раз в жизни приказчика по отчеству назвал), прости меня, старого дьявола, Григорий Иваныч! Вот, пока что, тебе в награду двести золотом. А эти вот три сотенных бумажки, — они шибко проржаве-

ли,— обменяй в городе, в банке. А ежели, допустим, не обменяют, по причине порчи, пожертвуй их в Богоявленский монастырь отцу Исидору на вечное поминовение родителей моих. Я бы сам поехал в город, да болен, понимаешь, спина гудит.

— Ну, а если обменяют в банке, жертвовать в монастырь все три сотни?

— Нет, что ты! — испугался купец и повернул к иконам спину. — Сотнягу сунь... Будет заглаза.

Купец в волнении тяжко дышал и расслабленно сел в кресло:

— Плохое мое здоровье стало, — сказал он. — Ноги пухнут.

Григорий Иваныч переминался у стола, поглаживая ладонью скатерть. Скатерть грязная, в яичнице, в жирных пятнах от щей, от сала, в красных пятнах от вина. В комнатах неряшливо, одиноко, скучно; пахло ладаном, чадом восковых свечей, лампадным маслом, по грязному полу черный таракан бежал, и солнышко нехотя красило выцветшие мрачные обои на стенах.

— Одышка, — сказал купец; лицо его было испуганно, печально.

Григорию Иванычу стало жаль купца.

— Вам бы полечиться, Афанасий Ермолаич, да отдохнуть...

— Отдохнуть? — захрипел купец. — А кто будет делом заправлять?

— Дело — бог с ним. Здоровье — главное.

— Не ты наживал, не тебе и учить меня... Ну, ступай, милый, с богом... Ступай, Григорий Иваныч...

Тот пошел и сказал от двери:

— Вот вы меня наградили, монахов хотите наградить. А как же мужик Никита? Надо бы и его поблагодарить...

Купец поднялся, крикнул:

— За что? За то, что счастья своего не мог удержать? К чорту!

— Тогда я из своих. А то неловко, — и Григорий Иваныч вышел.

На другой день купец все-таки велел Григорию Иванычу отвезти Никите двадцать пять рублей и лошадь.

— Понимаешь, сон я видел... Будто Никита душил меня: «Подай, Кощей бессмертный, деньги». Вот сволочь какая... Отвези, чорт с ним.

На той же неделе, утром, Григорий Иваныч радостно въехал в никитин двор.

Сухопарый Никита выслушал, распрямил сутулую спину и побледнел, как полотно. Деньги и лошадь, однако, принял. В избу Григория Иваныча не пригласил, только сказал на прощанье жестким, ледяным голосом:

— Девять тысяч... Ну, ну... А что же ты, пес пархатый, говорил, что по лесной части?.. Эх ты, жулик, жулик. Жаль, что я тебе топором башку тогда не ссек.

На Никиту навалилась смертная тоска. Золото скрежетало в его душе, дразнило, отняло покой. Никита запил горькую. Он никому не обмолвился про свою обиду, пил ожесточенно, одиноко. Вся деревня диву далась—мужик был трезвый. Жена и к попу, и к колдуну—напрасно. После молебна с водосвятием Никита пуще запил. В припадке бешеного буйства он выстегнул глаза подаренному коню и разворотил ему ножом верхнюю губу, конь едва кровью не истек.

Под воскресенье крепко Никита уснул. Матрена обрадовалась:

— А ведь, гляди, помог колдун-то...

А утром нашли Никиту в риге. Над самым тем местом, где когда-то стояла купеческая проклятая кошевка, висел на вожжах его труп.

Афанасий Ермоланч Раскатилов, узнав об этом, перекрестился и, позевывая, назидательно сказал:

— Дурак, царство ему небесное... Правильно в церкви-то поется: «вижда имений рачителю, сих ради удавление употребивша...» Эх, жизнь, жизнь: пообедай да и спать ложись, — он опять зевнул, закрестил рот, пошел в опочивальню.

И в ночь купца не стало. Купец валялся в спальне на полу. В левой горсти крепко зажаты червонцы, в правой — костяные старенькие счеты, на столе кучки золота. Остановившиеся глаза на темном лице выражали страх и удивление.

Отец Михаил, священник, покивал головой и, горестно вздохнув, сказал:

— Вижда имений рачителю.

1927

ОТЕЦ МАКАРИЙ

I

Декабрь. Я сижу на берегу Черного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно, возле Новороссийска, вырвался из-за гор ярый освежающий норд-ост, кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом Сухуме, — лишь отзвук шторма. Но море все-таки гудит.

Здесь тепло, здесь и в декабре лето: всюду цветут розы, дозревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я: это не в море злятся волны, а гудит вершинами тайга, такая же безбрежная, такая же таинственная, как море.

Я гляжу вперед, к анатолийским берегам: вдали, култыхаясь меж валов, блуждает одинокая, в белых парусах, фелюга. А мне грезится, что это бродяга идет по таежным сугробам, какой-нибудь варнак, убивец, Ванька Конокрад.

Ветер ходит над тайгой, гнутся пихты, стонут сосны, и если взлететь на крыльях, — зеленые валы хлещут по тайге. Но кругом зима, декабрь, у бродяги нет крыльев, туго приходится ему, и он спешит к жилищу.

И припоминается мне таежный рассказ. Кто сказывал его — не помню. Может быть, медвежатник дядя Пров за кашей в зимовье, может быть, тетка Акулина, а то какой-нибудь варнак — со многими из них я куривал трубку табаку за время многочисленных своих скитаний.

2

Ветер ходит над тайгой, гудит тайга, как море. Вихлястой снеговой тропинкой плетется сутулый человек. Бороденка, длинные волосы, постное, со втянутыми щеками лицо, монашеская скуфейка колпаком, за плечами котелок и торба. Одет человек в рванье, в тлен.

Морозный вечер. Холод сушит щеки, знобит глаза.

Бродяга вдруг заулыбался: близко протявкала собака, понесло жилым дымком.

Семейство старого Вавилы садилось ужинать. Вошел странник, сдернул скуфейку и закрестился плохо гнувшейся, онемевшей на холоде рукой.

— Проходящий, что ли? — сурово, по-лесному, спросил Вавила.

— Стра... странник я, — выдохнул пришелец намерзшие слова. — Так точно, милостивец... Странник.

Вавила заслонил глаза от света, крепко прищурился на пришедшего, сказал:

— Ночуй.

За ужином жаловался Вавила человеку:

— Так что совсем без попа, словно собаки. Два года как опился вином отец Семен, превечный покой его головушке! На моих памятях пятый поп спивается у нас. А теперича к нам в такую глушь ни один священник не пожелал пойти. Кругом лес, трущоба, до ближнего жилья больше сотни верст. Сами кой-как женим, кой-как крестим да хороним, гаже некуда, помахаешь кадилом да поорешь, что в башку взбредет,— ну, и ладно. Все думаем: вот ужо новый поп объявится, все осветит, всю чертовщину нашу божественную, и похороны, и свадьбы. Какие мы, к лешевой бабушке, попы!.. Да... А я в церковных старостах хожу... Эх, стрель тя в пятку!.. Грехи!..

Блеклые глаза прохожего заострились шильцем. Поерошил пятерней длинные лохмы, елейно, назидательно сказал:

— Что же, православные... Будем так говорить, к примеру: я, к примеру, божий иерей, хотя и плохонький, а поп. И к примеру, изгнан бысть на поселение по ошибке. Но, по благости божьей, коль скоро та судебная ошибка обнаружилась, аз, многогрешный, возвращаюсь домой, питаясь подаянием.

Восемь ложек дружно опустились, и все семейство старого Вавилы уставилось изумленным взглядом бродяге в рот.

— Я, известное дело, не навязываюсь. А послужить мог бы в сане иерейском. Ежели понравится вам служба моя, оставите меня попом, ежели не понравится — дальше двинусь.

На другой день расторопный Вавила метелицей носился по селу:

— Мужики, на сход! Поп объявился! Батюшка...

Сход недолго думал: оглядел священника, обнюхал, постановил:

— Взять на пробу.

Только поперечник — парень Тимоха — сказал с насмешливой ухмылкой:

— А пусть-ка взрявкнет многолетье погромчей, чтоб оглушительно!

Но Вавила сразу парня оборвал:

— Цыть! Засохни! Всяк щенок в собаки лезет... Дурошлеп!.. — И, обратясь к священнику, спросил: — Дозвольте узнать, батюшка, как святое имечко ваше будет? Отец Макарий? Так-с. Очень даже подходяще.

Мужики сдернули с голов шапки и — под благословение. Священник залился краской, благословляющая длань его дрожала.

В воскресенье — проба. В церкви густо, духовито, как в квашне. Отец Макарий взывал к богу благолепно, со слезами, старухи плакали, бабы сморкались, мужики сопели, отирая пот. Многолетие батя дернул с треском — за всех православных христиан, за приютившее его село Сугродное, за всечестного старосту, благочестивого Вавилу Карнаухова. Староста Вавила за казенкой приятно улыбался, и белая борода его ползла по тугой синей поддевке, как снеговой вьюнок. Служба кончилась быстро, весело, не как у прежних попишек-пьяниц. Радостные прихожане под трезвон колоколов всей гурьбой повели отца духовного водворять на жительство в обширный церковный дом.

— А есть ли у тя матка-то, кормилец? — участливо спрашивали бабы.

— Увы! — И отец Макарий с великим сокрушеньем возвел очи к небесам. — Увы, дошел до меня слушок, попадья изменила мне, обретя вздыхателя.

— Ах, ах, ах, — закрутили носами бабы. — Мысленное ли дело — попу без матки жить!

Село три дня на радостях предавалось пьянству и гульбе. Отец Макарий хотя и выпивал, но в меру.

— Мы тебе, батя, солдатку пока что командируем, Анисью. Бабочка она молодая, чистоплотная. Мужа ейнова убили на войне. Бабочка подходящая, ничего.

Отец Макарий смиренным голосом сказал несмело:

— Собственно, мне по сану надлежит в супруги целомудренницу брать...

— Каку таку целомудренницу? Девку, что ли? Навряд

которая пожелает, — подмигивали друг другу, смеялись мужики.

Солдаточка Анисья повела поповское хозяйство превосходно. Мужики вразумляли ее:

— Смотри, не подгадь, Анисьюшка! Ублажай попа всячески... Золотой нам достался священник! Прямо — клад.

И потекла попова жизнь в довольстве, в холе.

Так прокатился длинный год, опять легла зима. Отец Макарий отрастил изрядное брюшко, стал осанист корпусом и взглядом. У Анисьи Иннокентьевны от сладкой, сытной пищи тоже округлилось чрево, и бог даровал ей дочь. Крестьяне отнеслись к ней с полным уважением, начали без ухмылки величать Анисью «матушкой».

Священник проводил дни в больших трудах, достатки его незримо множились.

Как-то матушка расхвасталась бабам про попа:

— Он шибко набожный, он даже чудо может сделать. Чирий у меня, родные мои, повыше коленки был; поп благословил, дунул, плюнул — и прошло.

Бабы сразу поверили, и отец Макарий действительно с тех пор начал помаленьку чудеса творить: у кого живот дуновением излечит, у кого зуб заговорит, лихоманку снимет, из трех же кликуш, трех толстобоких теток: Дарьи, Марьи да Лукерьи, что в церкви кукарекали, великими молитвами изгнал дьявольских нечистиков.

И все больше укреплялась вера в отца Макария, все туже становился кошелек его, а матушка, осиянная славой своего владыки, вновь принялась усиленно полнеть. Валом валило счастье отцу Макарию. Но враг рода человеческого, как известно, никогда не дремлет, он рыщет на земле, «иский, кого поглотити» вместе с сапогами.

И вот на рождестве, после обедни, когда праздничный народ разошелся по домам, последним вышел из храма и отец Макарий. Когда, постукивая посохом, священник величественно пересекал сумеречную паперть, вдруг словно громом:

— Стой!..

Священник вздрогнул и остановился. От мрачной, сырой стены отделилась огненного цвета борода, широкие плечи, два жадных, с волчьим блеском, глаза, и все это вплотную придвинулось к священнику. Отец Макарий обмер, словно мертвеца увидел перед собой.

— А, батя! Здравствуй, с праздничком...

Отец Макарий отпрянул и затрясся так, что дрожал весь пол, и паперть от его дыхания гудела.

Был предрассветный час. В мглистом небе звезда стояла.

Проснувшийся на березе ворон каркнул, взмахнул крылом, и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак.

Рыжий верзила, страшный, обо̀рванный, сутулый, емко шагал рядом со священником, поскрипывая снегом. Фигура отца Макария стала жалкой, пришибленной.

Оба заперлись в комнату. О чем там говорили — неизвестно. Анисья Иннокентьевна слышала лишь сиплый озлобленный кашель бродяги.

Три дня, три ночи прожил верзила в доме священника. Он сидел под замком, в каморке, жрал водку, орал песни, скверно ругался. Отец Макарий был мрачен, удручен.

В третьей ночи, когда Анисья Иннокентьевна крепко почивала, отец Макарий звякал ключами, вынимал из сундука накопленные деньги, долго считал их, пересчитывал. Утром верзила скрылся.

— Кто это был? — спросила Анисья Иннокентьевна.

— А это... это брат наш во Христе... Нищий, к примеру.

Отец Макарий повеселел, но не надолго: ровно через две недели верзила ночью постучал в окно.

— Не рад гостю? — прохрипел он, обнажая широкие гнилые зубы.

— Нет, отчего же... рад, — по-злому сказал священник, и желчь заклубилась в нем.

И опять шептались тайно. Жил верзила целую неделю, теперь уже на свободе, в светлой комнате. Священник же свою с супругой спальню крепко запирал и в головы клал остро отточенный топор.

За эту неделю священник пожелтел, как тыква в сентябре.

Однажды ночью... Впрочем, и на этот раз все обошлось мирно: бродяга ушел. Отец Макарий отдал бродяге последние деньги, часы, серебряные ложки, шубу, самовар. Верзила скалил свои лошадиные зубы, что-то бормотал, плевался и, кривоплече сугорбясь, вышел вон. Сказывали потом, как он нанял лошаденку и уехал.

3

А время подвигалось. Подули теплые ветра. Тайга шумела по-особому, шелковым шелестящим шумом. Зима снимала с земли горностаевый полысевший мех. И вот журчат ручьи, чернеют пашни, тайга оглашается весенним ревом сохатого, дробным стуком дятла, посвистом печальной иволги.

На страстной, в четверг, после стояния, в поповский дом вновь припожаловал бродяга. Лицо его горело пьяным огнем,

нос разбит, глаза разбойничьи. Как разбойник, вломился он в дверь, крикнул: «Деньги, сволочь!» и, бросившись на отца Макария, стал его душить. Анисья Иннокентьевна с визгом — на улицу к соседям.

Священник отшвырнул пьяницу, схватился за топор. В руке верзилы сверкнул нож. Вооруженные враги яростно стояли лицом к лицу, как змеи на хвостах. Крутя ножом и наступая, верзила скрежетал:

— Убью!.. Деньги!!.

— Нету денег, кровопивец!.. Все отдал тебе, мучитель мой!..

Верзила с рычаньем прыгнул на врага. Священник увернулся. Нож разбойника с размаху вонзился в стол. Миг — и злодей опрокинулся плашмя на пол; его глотку намертво стиснули костистые поповы пальцы, бродяга закатил выпученные стеклянные глаза и захрипел.

Вдруг:

— Вставай, злодей! Идут!

За окном густые, угрожающие голоса, топот в сенцах, ввалился вместе с Анисьей Иннокентьевной народ. Верзила и священник, шумно дыша и стуча зубами, мирно сидели за столом. Верзила зажал в горсть свою раненую руку: по штанам, по сапогу бежала кровь.

— Вяжи его, варнака! — заорал старик Вавила, потрясая ременными вожжами. — Айда в каталагу!

Народ двинулся к столу. Но отец Макарий, бледный, желтый, еле переводя дух, сказал:

— Остановитесь, православные... Это так... Это он выпивши, мало-мало пошумел. Он мой гость... Христос велит принимать странников... Идите с миром по домам...

Крестьяне удивленно, открыв рты, мигали, и у всех радостная мысль: «Ну и батя наш!.. святой!» Однако раздались сверкающие гневом голоса:

— В случае чего дай нам весточку. В землю втопчем варнака!

Народ ушел. Священник с ненавистью взглянул на верзилу:

— Слыхал? Пока цел, убирайся вон!

Верзила встал, подошел вплотную к быстро поднявшемуся священнику, покачался, попыхтел, густо плюнул в попову бороду и, ругаясь, вышел.

Священник теперь по ночам не спал. Он часто выходил с топором во тьму, дозорил сеновал, амбары: боялся, что варнак пустит красного петуха и все предаст огню. Не раз отпирал сундук, оглядывал опустошенный кошелек и, перхая, плакал...

4

Пасхальную заутреню совершал поп благолепно и по-своему: прихожане сроду не видали такой службы. Все исцеленные старухи, бабы: Марья, Дарья и Лукерья и с ними дедка Нил — молились впереди. Лица их сияли. Сиял галунами и прибывший из волости урядник. В маленькой церкви духота.

Весь в огненных парчах отец Макарий третий раз поднялся на амвон с курящимся кадилом.

А верзила меж тем невидимкой карабкался с улицы в алтарь, через окно, открытое для воздуха.

— Христос воскрес! — торжествующе возопил священник, кадя и осеняя всех крестом.

Тут, как из-под земли, вырос верзила, он развернулся, ударил попа в висок и крикнул:

— Воистину воскрес, Ванька Конокрад!

Поп бревном повалился на пол.

— Дурачье! — хрипел верзила, жег взглядом ошалевшую толпу. — Какой это Макар! Это Ванька каторжник, со мной на Соколином острову сидел, варнак, убивец!

Народ оцепенел; каждый думал, — это сон. Вдруг, опомнившись, с гвалтом хлынули вперед, смяли кричавшего урядника, настигли обнаглевшего верзилу и тут же растерзали. Умирая, он шептал:

— За правду погибаю... А поп ваш два семейства в Россеи вырезал...

Отец Макарий, он же Ванька Конокрад, в свалке скрылся. Крест и кадило валялись на полу. В исцеленных старух и баб снова мгновенно вселился бес: катались клубком, выли, лаяли, кукарекали, у двух теток живот схватило, у дедки Нила сразу пересекло в поясах.

Ванька Конокрад пропал бесследно. Анисья Иннокентьевна горько плакала: из почтенной «матушки» она снова превратилась в несчастную вдову. Православные проклинали попа-прощелыгу, искали убить его, но не нашли.

5

Спустя месяц староста Вавила ездил в город. Там составили бумагу и отправили в синод, в Питер. В бумаге говорилось, что беглый каторжник, под видом священника Макария, свадьбы правил, грехи отпускал, хоронил, крестил, — дак как же, освящено все это или проклято?

Из синода пришел ответ: «Освящено — по вере вашей».

Мужики на радостях устроили всем селом русскую широкую гульбу.

А растерзанный верзила (уряднику взятку дали) был тайно погребен в кедровнике. На его могиле белел среди сугробов крест. Старый солдат с березовой ногой сделал на кресте надпись. Солдат очень старался: пыхтел, сопел, кряхтел. Надпись гласила:

«Святы боже святы крепки святы бессмертны спи новопреставленный неизвестный проходящи за веру царя и отечество живот свой положивши а паршивый Макарка приблудный поп будь он трижды анафима проклят! Аминь!»

Сухум 1925 г.

КАТОРЖНИК

Однажды летом я взял ружье, припасы и сплавился верст на двести вниз по таежной речке, в самые глухие, трущобные места.

Оставшееся позади село, куда забросила меня судьба, было последним жилым местом. Поэтому, очутившись в медвежьем царстве, я боялся заблудиться и все время, шатаясь по тайге, держался едва приметной промысловой тропы. Но, ударившись за промелькнувшей передо мной лисицей, я потерял тропу и, проплутав весь день, заночевал на берегу какого-то озерка. Я разложил большой костер, пожевал ржаных сухарей и, до-нельзя утомленный, завалился спать.

Разбудила меня песня. Я открыл глаза и долго не мог сообразить, где я. Весь в белом молоке тумана, я прислушивался к таким странным среди безлюдья звукам песни, а на меня устало глядел сонный глаз костра.

«Не ржавчина на болотинке да тыра... ай, да траваньку съедала... — выводил надо мною тронутый временем голос.— Эх, да как змея-тоска меня сокруша-а-ала...»

Пел, несомненно, старик. Но, надо признаться, мастерски пел. Я с интересом стал вслушиваться в унылый мотив и грустные слова песни, тихо плывшей в туманной мгле.

— Эй, любезный! — крикнул я, когда кончилась песня.

Мой голос замер и остался без ответа. Я быстро вскочил, схватил влажное от росы ружье и, вскарабкавшись по откосу, проворно пошел туда, где только что замолк певец.

— Эге-гей! — кричал я, боясь упустить человека.

— Кто таков?—раздалось под самым моим ухом.—Ежели добрый человек — заходи на перепутьи, а злой — уноси ноги, пока цел.

Я шагнул ему навстречу.

— Здорово, дядя!..

Передо мной стоял высокий, сутулый старик и пытливо меня рассматривал. Он был в серой холщевой, вроде балахона, неподпоясанной рубахе и пестрядинных штанах, заправленных в рваные, стоптанные чирки.

Во всей его угловатой, крепкой, чуть сгорбленной фигуре было что-то дремучее, лесное: будто корявый пень поднялся из таежных мхов и бурелома и глядит большими удивленными глазами на божий свет.

Он, не шевельнувшись, расспрашивал меня тихим, низким голосом, — кто я, откуда, как попал сюда?

— Ну, что же... мы рады... Человек в нашей тайге — редкий гость. Ну, залазь в мою фатеру... ничего, залазь... — наконец сказал он, улыбаясь, а его суровые глаза ласково блеснули.

Я попросил его согреть чаю, а сам пошел с ружьем к озеру.

* * *

— Человек... о-о-о... зверюга душевредная... Я, милый, весь свой век по тайге мыкаюсь... насмотрелся на людишек... Всячинки было...

Каторжник Иван Безродных, мой новый знакомец, бросил в угол починенный сапог, поправил на лбу ремень, поддерживающий седые, лохматые волосы, и лениво повернулся ко мне. Он сидел, вдвое согнувшись, на сосновом сутунке и растирал рукой замлевшую спину.

— Одначе дождь хватит... поясницу пополам пересекло.

Землянка Ивана Безродных вырыта на обрывистом речном берегу. В ней даже в яркий солнечный день пахло могилой. У сырой, покрытой плесенью стены стояли нары, как в склепе гроб. В углу дымилась сложенная из булыг каменка с поставленным на ней чайником. Хвойный запах тайги проникал в оконце, и от этого казалось, что на каменке тлеет ладан и голубыми струйками стелется по землянке.

— Дак вот я и толкую... человек, мол, поопасней медведя-то, али волка... Медведь—что... он без хитрости, мужик простой... Ежели он прет на тебя, обязательно рявкнуть, упредить должон: «а ну-ка», — дескать... Теперече ежели взять человека... я так полагаю, что пакостливей его нет... Другой прельстится к тебе, примажется, в душу влезет, а опосля того уж и за глотку сгребет.

Иван Безродных достал с колышка дратву и стал крутить.

— Хоша, промежду прочим, тебе скажу, с человеком надо умеючи. Мудрящая штука человек... Да вот я тебе сделаю пример... Ничего, послушай... не во вред...

Старик покряхтел, потер простуженную коленку и откашлялся.

— Человеку, молодчик, во все вникнуть надо, что к чему... Ну, вот, значит, и слушай... Был у меня, можно сказать, закадычный друг... Нет, стой ужо... Не с того конца начал...— Старик улыбнулся и, перекусив дратву, сплюнул.

Я заглянул в оконце. Туман давно исчез. Внизу лениво плескалась речушка, и в черемуховых кустах по ее берегам звенели птичьи голоса. Красноватый глинистый обрыв, где была землянка, шел прямо к воде; утоптанная тропа змейкой сбегала вниз к лежавшему через речку, поваленному бурей, дереву. За речкой зеленела тайга, такая свежая, омытая росой, такая нарядная в сияньи солнца.

Чайник на огне стал поплевывать и фыркать, раздраженно дребезжа крышкой.

— Ага, вот и пойло сготовилось... — Он по-медвежьи, вперевалку задвигался от огня к столу, от стола к полке с чашками.

— Ну, пей, да слушай не то... А насчет сахару у меня плохо, брат.

Он примостился у стола на сутунке и с прохладцем принялся за чай.

* * *

— В тайге смекалка — первое дело. Ну, да она, впрочем сказать, нигде не вредит. Вот, хорошо. Как отбыл я каторгу, осел в маленьком таежном поселке на Соколином [1] острову. Не захотелось мне на материк плавиться — на острову сытней.

Ну, народ там был все аховый, сорви-башки, на ходу подметки резали, прямо будем говорить — ворье. А чуть что, так и на тот свет — фьють! — как не бывало.

У меня своя хатенка была небольшая. А супротив, через улку, вольная бабочка жила, хлебы на прииски стряпала, ну, еще кой-чем занималась сподтишка, грешным делом, по малости побаловывала. А я был ей шибко по нраву, мне она завсегда уваженье делала, ну, вроде моей милашки... Да... что же, дело молодое...

Вот пришел я раз в ноябре, после Михайлова дня, из тайги с промыслу и принес десятка два хороших соболей да шесть лисиц сиводужных. Выбрал пару соболей добрых да лисичку, понес ей, значит, крале-то, для уваженья.

— Вот что, Иван, дай мне всех соболей да лисиц-то, я в сундук запру...

Я этак прищурился на нее сбоку, подморгнул:

---

[1] Остров Сахалин.

— Не-е-т, сватья... я тебе не дам, — говорю ей. — Я тебе отсчитал, что полагается: владей, Фаддей, а остальные—мои.

Она поджала губы, вздохнула.

— Как бы тебя не обидели, — говорит мне, — подслушала я вчерась ночью лихой разговор... вот чего.

— Вот чего, да вот чего: парень девку потчевал... Нет, сватьюшка: еще такого человека на земле не уродилось, который ежели меня изобидел бы...

— Ну, гляди... — сказала баба и ушла.

Я перетряс в сундуке пушнину, все ружья зарядил. Работаю так, а сам все про себя вроде улыбаюсь. Погоди, думаю, черти. Заглянул в окно: пора, дюже темно стало. Приоткрыл я окошко, поблагословился эдак, в мыслях, вылез на улку, а окошко опять призакрыл. Потом дверь снаружи запер на огромаднищий замчище.

Вот, отлично. Вышел я середь улицы, заломил на ухо картуз, да и заорал во всю глотку песню. А сам вдоль деревни нарошно мимо самых главных ворищев пру. Дошел до краю, да как шаркну в переулок, да ну по задам к себе тесать.

Подбежал к окошку своему, влез в хату, запер окно на ставню, ружья проверил, притаился, жду. А уж наверняка знаю, что обязательно придут гости: потому, ежели кому надо, услыхали мою песню, подумали:

«Ишь, мол, Ванюха песни орет, гуляет... пьяней вина...»

И верно, брат. Не надо и к ведуну ходить. Подошли тихо-смирно к двери, стали возле замка пыхтеть.

Я осторожненько винтовку с гвоздя стянул, встал в спозицию, ожидаю поступков. А сердце под рубахой: ту-ту-ту...

— Прочный, — говорят, — замок-от... давай лучше дверь с петель сымать...

Я всех троих узнал по голосу: закадычный дружище мой, кузнец Филя, да Трошка парень, да еще мужичок один — Оса. Ну, стали они лом меж косяком да дверью закладывать. Дверь сдавать начала.

Я как гаркну:

— Не ошибитесь, варначье! Дома я! — Да как царапну пулей в дверь.

Батюшка ты мой! Дак они — ха-ха!.. как кони, прочь затопотали, аж земля затряслась.

Я в окно — прыг, а вслед им из двухстволки: раз! раз!

— Я вам покажу, как грабить. Я вас уважу...

Тут соседи прибежали:

— Ты чего воюешь?

— Нападенье было... смертоубийство...

— Кого убили?

— Меня чуть не кончили.

Фонари зажгли. Глядим: лом, шапка, рукавицы. Я сразу признал, чье добро.

— Ребята, знаете, чье? — спрашивает сотский.

Я смолчал.

— А ты, Иван, знаешь?

— А кто его знает... нет, не знаю... — ответил я.

Так их и не накрыли... А надо бы...

* * *

Иван Безродных налил себе четвертую чашку и, покрутив головой, ухмыльнулся.

— Хе-хе... с тех самых пор Филя-кузнец ко мне ни ногой, как отрезало... А первые, можно сказать, собутыльники были... Потом, гляжу, по весне приходит ко мне Филя. Приходит и говорит:

— Возьми, — говорит, — дядя Иван, меня с собой в тайгу на промысел. — А сам закраснелся весь, хвостом крутит, будто блудливая сучка.

— Ну-к чо... пойдем...

Он этак носом пофыркал, переступил с ноги на ногу, а сам нет-нет, да исподтиха на меня и взглянет, быдто выведать хочет: знаю я, или нет.

— А ты бывал в тайге? — спрашиваю его.

— Сроду не хаживал... А что?

Собрались мы с ним, пошли. Вот неделю ходим, вот другую. Чую, не в себе мужик, мучит его, видно, совесть. Сидим как-то у костра ночью, он и говорит:

— Дядя Иван... А ты ничего не знаешь? Что я тебе сказать хочу.

— Знаю...

Он заерзал, понатужился было, нет, опять замолк, только краской залился, как сейчас вижу. А я, знай, молчу, никакого вида ему не оказываю. Еще неделю протаскались. А по тайге без привычки ходить, ох, как трудно, хуже каторги... Филя мой свету не взвидел, все ноги в кровь истер, еле ползет:

— Замучил ты меня, Иван... силушки моей нет...

— Хе-хе, друг... Нет, брат... Это еще цветики... Ты думал, сладко соболей-то бить, вкусно?

— Будь они трижды прокляты.

Идет сзади меня, сопит.

— Иван...

— Ну?

— Можешь ты меня ежели простить? Это я тебя осенью-то... попугал... Извини, друг...

Я этак остановился, зыкнул на него:
— Рыжий ты чорт! И тебе не стыдно?
— Стыдно... Прямо извелся я весь... Извини...
— Ну, бог с тобой...
Гляжу, мой Филя и рот скривил, трясет бородищей, слезу кулаком обирает:
— Ведь ты знал, Иван...
— Неужто нет... Чей лом-то был? Известно — твой...
Филя бултых мне в ноги:
— Ввек не буду...
И стали мы с ним опять друзьями пуще прежнего. Вот оно как!..
Луч солнца ударил в открытую настежь дверь, освещая край стола и опрокинутые на нем чашки.
Я встал.
— Ну, Иван, прощай... Спасибо...
— Эх, друг... А ты бы погостил...
Старик сказал таким просящим голосом, что я, подумав, решил остаться.
До седого вечера мы с ним бродили по тайге. Он показывал сохатинные ямы, настороженные на горностаев плашки и искусно сделанные для ловли медведей кулемы.
— Медведь — зверюга умная... Его не скоро обманешь...
— Не боишься их?
— Кого? Зверя-то? Я его в страхе держу. Ежели хочешь цел быть, не робей: встрелся невзначай, взглядом бери. Вскинь на него напыхом глаза, да гаркни: рявкнет с перепугу, уши подожмет и драло... Вот оно как.

* * *

На другой день старик взялся проводить меня до места.
Шли мы извилистой тропинкой, направляясь на юг. День выдался ясный, солнечный. Синева небес была спокойна. Тайга жмурилась от тепла и света, насыщая воздух запахом хвой и пьяным ароматом спелого хмеля. Над нами кружилось облако комаров, но, закрытые сетками, наши головы были неуязвимы.
— Добро по тайге бродить, — сказал Иван, — только теперича — ау... Был конь, да чезнул: в Покров семь с половиной десятков стукнет... Вот оно как!..
Часа через три мы были на лысой сопке, которую обдувал со всех сторон вольный ветерок.
— Давай чай пить, — сказал Иван, — комар нас в ветер не потрогает.
Живо запылал костер. Тайга легонько шумела. Внизу журчал ключик. Пахло смолой и полынью.

— Да, дружок, — начал Иван Безродных, — много со мной бывало всяких делов... А одно дело... лучше бы его и не было... — Дед вздохнул. — И вспоминать стыднехонько... А впрочем... ежели не заскучаешь — слушай.

— Зверовал я как-то перед весной, по насту, на Соколином острову.

Вот настало времечко и домой брести. Пошли мы с Копчиком. Нес я с собой тридцать пять соболей, да восемь выдр, да лисичек сколько-то. Соболи там ценились рублей по двадцати. Ну, словом, на тыщу, само-мало, нес богатства.

А надо тебя упредить, друг, что мы, когда с промыслу ворочаемся, домой с опаской идем: в темноте спать ложишься, до свету уходишь. А то, того гляди, лиходей какой высмотрит, накроет сонного, как пить даст.

— Кто?

— А уж есть такие... Из поселенцев же, из тамошних крестьян, которые навроде меня каторгу отбыли.

И вот, брат ты мой, заночевал я как-то в зимовье, в промысловой избушке; да таково ли здорово меня разморило с устатку, страсть долго спал: проснулся — солнце высоко, некогда и чай пить.

— Пойдем-ка скорей, Копчик... — говорю своему кобельку. Он псина умная, хвостом виль-виль, а сам на мешок усмотрение имеет: «Дай, мол, Иван, хошь корочку!»

— Нет, — говорю ему, — Копчик, а вот дойдем до речки, там мы с тобой справим все дела.

Пошли. Гляжу, собака куда-то скрылась. Я покликал — нету. Я посвистал — молчок. Я выстрел, я — другой: словно сгинула... нет, да и на... Ну, думаю, неспроста это; потому — Копчик у меня послушный. И вступило тут мне в голову сумленье. А тайга такая кругом, что ужасти: стена-стеной, самое глухое место. Остановился я, осмотрелся. При мне два ружья было: дробовик двухствольный да винтовка. Дробовик — дурак, для обороны — тьфу! — им сквозь лесину не прохватишь, а винтовкой можно ловко достать и из-за дерева.

Я по этому самому дробовик, значит, за плечо, винтовку наготове держу: пошел потихоньку вперед, а сам, как сыч, озираюсь во все стороны, ухо держу востро.

Вдруг, брат ты мой, слышу, — стукнуло. Будто собака хвостом за лесину задела.

Я — стоп! — как вкопанный. Туда-сюда смотрю, и прилягу, и на цыпки подымусь... Всяко норовлю глазом поймать, не промелькнет ли по снегу меж дерев какая оказия... И ровно бы сердце-то мое не испужалось, только, чую, зубы чакают, и винтовка в руках ходуном ходит. «Крепись, Иван»,— сам себе говорю...

И словно вот, скажи на милость, кто меня лихим глазом сверлит. А откуда, не знаю: то ли сзади, то ли спереди, али сбоку. Ах ты, дьявол!.. Грохнет, думаю, пулей — и аминь... Думаю, надо наземь лечь. Худо мне стало... один...

И вдруг... быдто кто мне по душе кнутом... Вскинул я голову, гляжу: рожа на меня из-за дерева пялится. А глазища, как угли, — огнем пышут.

«А-а-а, голубчик... вижу!..»

Сразу вся робость прошла, взъярился я, на дыбы всплыл. Соболей долой, сухари долой, винтовку взвел.

— Эй, ты! — кричу. — Тебе что надо?

Молчит, глазами слопать хочет.

— Отпусти мою собаку... Не то убью!

А он в ответ как хлобыснет: та-та-та! Так вся картечь и впилась в мой кедр.

Во мне удали еще подбавилось. Окинул я тайгу взглядом, думал, он не один, жди пули сбоку. Никого не заметил, выскочил из-за кедра:

— Выходи! Все одно убью...

Он опять как вскинет ружье, я нырк за кедр, — как пустит... взз! — возле самой головы картечь вспела. Приложился я: — Не замай!.. простись с белым светом! — У него плечо чуть из-за дерева выглядывало... Да как порсну пулей сквозь дерево. Он — кувырк.

«Ага!.. готовый...»

А в это самое времечко, сбоку от меня, как затрещит валежник: глядь, другой человек кинулся. Я за ним:

— Стой!.. — кричу.

Куды тебе... Выскочил он на речку, я за ним, да вдоль речки-то по снегу и лупим. А у него в руке ножище в аршин сверкает.

— Стой, дьявол! Убью!

Убить — жаль, все едино мой будет, дай, думаю, постращаю. Ну, пустил я возле его башки пулю. Было носом, окаянный, торнулся, бросил нож, дальше чешет. Речка в скалы вошла, тут ему и погибель. Бежит, леший, сильно бежит. Я отставать начал.

Приложился я, взял на полвершка повыше евоной головы: ежели сам набежит на пулю, туда и дорога, — да как резану. Он — стоп! Видно, в шапку попало, а шапка у него огромадная, из собачины — припрыгнул на месте, взмахнул рукой, повернулся ко мне рылом.

— Ну, теперича, миленький, дожидайся! — кричу, а сам стал, не торопясь, винтовку заряжать. Нарошно не спешу: пусть... Зарядил это я, взял ее, матушку, наперевес, подхожу тихонько, ножище его на дороге подобрал. Подошел шагов

на пятнадцать. Молодой, гляжу, с бороденкой, белый, будто снег, стоит, трясется. Остановился я, достал трубку, закурил.

— Ну, миленький, ложись.

Лег.

— Рылом вниз ложись.

Мужик перевернулся. Докурил я, не торопясь, трубку, подошел к нему вплоть:

— Хоррош, дьявол.

— Прости...

— Я те прощу... вот те сейчас так прощу, что закашляешь.

Он пуще задрожал, захныкал, бормочет что-то. Меня тоже всего забило. Ну, только что сборол себя.

— Вот я отойду к сторонке: ну, ты не шевелись. Помни: я соболя в глаз бью...

— Ой, ты... неужели застрелишь?

— Мое дело...

Пячусь от него этак задом, а винтовка наготове.

— Вас сколько, мазуриков, было?

— Дво-о-е...

— Не врешь?..

— Вот те Христос, двое...

— Ну, лежи...

Допятился это я до ельнику, срезал вицу. А уж оттепель была, молоденькие елочки отволгли, гнутся хорошо. Подхожу я к нему с вицей.

— Ну, вот, ежели ты что вздумаешь такое-этакое—видишь, нож? — знай, парень: я в спину всажу, к земле пришью сразу... Ну, давай сюда руки...

Подал он поверх спины руки. Как притянул я их друг к дружке вицей локтями вместе, он у меня и взвыл:

— Дядюшка, больно...

— А-а-а... теперича дядюшкой тебе стал, а даве, язви вас, как собаку убить хотели?

Без опаски уж отошел от него, еще вицу вырезал, ноги крутить начал. Он заплакал, понял, видно:

— Ноги-то пошто? Смилуйся... Робят у меня трое... Баба на-сносях.

Взял я его, связанного-то, в беремя, как барана, отнес под дерево, — стонет, слезно умоляет: понял. Ну, я окреп духом: врешь, думаю. Прикрутил его накрепко к дереву.

— Лежи, — а сам пальцем грожу. — До та пор лежать будешь, покуль тебя птицы не склюют,— отрубил ему строгим манером да и пошел с богом прочь... Дак он дурью заревел, все одно — свинья под ножом, потому — глушь, тайга, уж тут никто тебя не выручит. Аминь.

Пришел я, значит, на старое место, соболей подобрал, на-

греб в котелок снегу, чтобы чаю вскипятить, сухарей вытащил из торбы. Ну, только что не лезет кусок в глотку, да и на.

А уж другой день росинки маковой во рту не было. Взял сухарь, положил в рот—трава-травой. Чую—неладно со мной. Огляделся я — тайга стоит молчком, нахохлилась, надулась, быдто рассерчала. А надо мной воронье каркает. Защемило мое сердечушко. И взяло меня тут раздумье. Вот, думаю, сижу я живой, невредимый. А рядом мертвый человек валяется, а на речке другой человек судьбу клянет, казнится. Тяжко мне стало. «Так ли, — думаю, — ты, Иван Безродных, распорядился? верно ли?» Сижу так, умствую у костра. Вижу: снег белый повалил сверху. «Нет, — опять же думаю, — неправильно твое, Иван, дело». Приподнялся я, вытянул шею, гляжу: лежит ирод-то, застреленный-то, обутки из лесины выглядывают. И словно бы вихорем меня подбросило, подбежал к нему, плюнул в морду: собаке собачья смерть.

...И тут, друг милый, закружилось у меня все в башке и смешалось. «А, вороги... а змеи... меня убивать?!» Уж и не помню, как ружье поймал, точно бес всунул. А воронье—карр-кар... И закипело во мне сердце бежать и пристрелить скорей того злодея. Злоба такая подкатила, аж по-медвежьи рявкать стал: ну, прямо свет не мил. Как порсну по котлу ногой, как поддену костер: — Нна!! — аж головни во все стороны. А тут чорт Копчика подвернул: выскочил откуда-то, ко мне кинулся, хвостом крутит, весь, словно змея, вьется. Резнул я его сапогом в бок, взвыл мой Копчик... — А-а, дьявол! хозяина продавать?! — приложился, да раз ему в затылок, тот — брык. Потемнело у меня в глазах. — Копчик, — кричу, — батюшка ты мой! — Бросился к нему, припал на снег, у того кровь из загривка по снегу хлещет...— Пес ты мой верный... Копчик!— да ну целовать его в морду... Где тут... хрипит собака... Сел я, закрыл рыло рукой, задумался. И потекли у меня слезы, а злоба схлынула... И отчего заплакал, сам в толк не могу взять... Вот и теперича не сумею тебе объяснить... какое-то такое случилось в середке, леший его ведает... То ли Копчика жаль сделалось: уж очень умный пес был, только что говорить не мог; то ли оттого, что душу свою человечьей кровью замарал, — ну, только что баба-бабой сделался... А может статься, тайга меня ошеломила: шум пошел по тайге, ветер... «Эх, — думаю, — подлец ты: гляди-ка, тайгу разгневал... Прости, тайга-матушка...» Вдруг слышу:—Ой-ой-ой,—кричит мой мужик, ветром наносить стало. Закачалось у меня в душе. Э ты, чорт тя дери... Гибнет человек, мается... Ведь не подойди я — околеет... Семья у него, робята... А велик ли мне от того прок, что он пропадает, как тварь последняя...

А он опять: — Ой-ой-ой! — Так меня всего и повело с макушки до самых пят... «Ну, иди, Иван, обрадуй человека...

Прощай, Копчик! прости христа-ради». Забрал свою сбрую, перекрестился, пошел.

— Ну, как, земляк? — кричу ему издали.

Так веришь ли, друг, до чего он обрадовался: аж обмер весь, аж языка лишился, а слезы градом.

— Ну, ладно... — говорю, — убирайся к лешему... Да смотри, зарок дай, чтоб охотников не забижать. — Развязал его, отобрал пяток соболей.

— Вот, на тебе.

Он в ноги; валяется, слюнявит мои обутки.

— Свет ты мой, отец ты мой родной...

— Пшел, сволочь!.. Негодяй... Другой раз— убью.— И пошагал от него прочь. Вдруг слышу, ревет:

— Добрый человек! как имя твое? За кого мне денно-нощно бога молить?

Махнул я рукой, потому время подходило к вечеру.

Иду это я, иду... И никаких во мне мыслей, быдто ветром вымело... и начало меня в сон ударять... Одначе креплюсь... Опосля того, глядь, бежит мой Копчик возле тропы по лесу. Остановился я, огляделся — нету. Опять пошел... А сам озираюсь, и чего-то жутко мне стало. Глядел-глядел — бежит. Он самый, черный, ухо белое.

— Копчик!— Ни гу-гу... Опешил я...— Копчик!— А он как заскулит, да — гаф!

Я бегом на голос, звал-звал — нету. Ах, стрель тя в пятку, что за чуда такая. «Надо назад вернуться... Неужто ожил? Нет, — думаю, — не может быть... Это просто мне мерещится, блазнит...» А уж поздно становилось, над тайгой звезда взошла. Сел, приложил к голове снегу: голова горит, во рту пересохло... Да еле до зимовья дотащился, должно, с неделю прохворал там, чуть не пропал. Потому — один... Вот, брат, какая история могла стрястись.

Весь свой рассказ Иван Безродных вел с молодым задором, будто с его плеч свалилось добрых тридцать лет. Но, кончив, — он вдруг стал меркнуть. Время вновь насело на стариковы плечи, ссутулив спину. Брови его насупились, лоб избороздили складки, усталые глаза, казалось, сосредоточенно о чем-то вспоминали.

* * *

Мне не хотелось покидать старика. По его глубоким вздохам и по задумчивому взгляду я догадывался, что у деда в душе неладно. Надрыв какой-то, разъедающая сердце скорбь чувствовалась даже в бодрых его словах. И еще чувствовалось, что он томится желанием до конца открыть мне свою душу, но что-то его удерживает. И мне вновь припомнилась его полная грусти песня:

«Эх, да как змея-тоска меня сокрушила...»

Я не знал, кто он, этот таежный анахорет, за что попал на каторгу, чье змеиное жало напоило отравой его душу?

— Я, старина, останусь с тобой до завтра...

— Да ну? ах, милый... — улыбаясь, радостно выговорил дед, и голос его покрыли слезы.

День прошел быстро. Ходили мы к озерку, где взяли пару уток. Вечером, перед закатом солнца, повел он меня на высокий обрыв реки. Долина ее широко здесь развернулась и поросла черемошником, а тайга отодвинулась в стороны и дала простор глазу.

— Зори... эх, зори!.. ты только погляди, друг...—притаенно промолвил дед и указал рукой в сторону пылавшего заката, на котором четко так рисовалось черное кружево тайги.

— Да, люблю я, милячок, вот так, один на один, посидеть об этом месте да послушать, как молчит мать-тайга... особливо на заре... Дюже славно... Хорошо умеет тайга молчать...

Действительно, кругом была необычайная тишина, и дед, словно боясь вспугнуть ее, говорил почти шопотом.

Я любовался и озаренным небом, и ярко вспыхнувшим зеркалом речки, и всей той благодатью, которая нависла над тайгой.

Дед, весь в сияньи зари, словно умывшись ее животворными брызгами, молча сидел, охватив колени, и восторженно улыбался.

— Дюже хорошо молчит тайга...

Я загляделся на него. То каторжника перед собой я видел, сутулого, с жутким, исподлобья, взглядом, с крепко стиснутыми челюстями, с печатью злодея на запавшем лбу; то—удивительное дело — передо мною вставал образ ушедшего от мира старца, готового тянуться трясущимися руками к заре, чтоб поцеловать край неба.

* * *

Ночевали мы с ним под ситцевым пологом. Ночь была теплая — большая в тайге редкость.

Спать было очень душно. Но полог — единственное убежище от таежного гнуса: мошки и комара. Мы лежали с дедом бок о бок и не могли сомкнуть глаз. Сквозь ситцевые стенки полога мутно мерцал разложенный возле большой костер. Над пологом столбом кружились комары, попискивая и не желая улетать.

— Дедушка, — наконец решился я, нервно позевывая и подыскивая слова, чтоб не обидеть его. — Как же ты в каторгу попал? Наверно, понапрасну?

Вспомнив многократные свои разговоры с поселенцами, я ждал утвердительного ответа: «да, понапрасну, мол». Но, к моему удивлению, старик сказал:

— Нет, друг... Мало еще меня мучили... Знаешь, кого я хлопнул?

— Кого?

Он чуть приподнялся, облокотившись на землю, и несколько мгновений в упор смотрел на меня.

— Отца.

— Что?

— Отца, говорю... родного отца кончил. Вот я кто...

Он опять повалился на спину и, показалось мне, застонал.

Я долго ждал, пока он начнет, и, потеряв надежду, спросил:

— Как же это ты, дедушка?

— Ну, что ж, друг... Долго рассказывать... да и не к чему... Завладал тогда моей душой дьявол — ну, и... Без обиняков, коротко тебе скажу: женили меня по восемнадцатому году, а молодуху взяли — ай, люли, репа. Ну, батька к ней: здоровенный был, кряж. Народ узнал, засмеяли меня, затуркали. Жизни не рад стал... Как-то о празднике ночью застал их в бане: спят. Ну, я тут обухом отца по темю... Вот и все...

Мы оба помолчали. Потом дед прыгающим голосом едва внятно докончил:

— Родителя-то ничего... А вот того-то... самое главное — того. Тяжко...

Костер угас. Была глухая ночь.

Я почти до зари не мог заснуть. Да, кажется, не спал и дед. Он что-то шептал во тьме, вздыхал и бредил.

* * *

Мы пробудились поздно. Солнце жарило во-всю. Под пологом — как в бане. Взмокшие от жары, мы сорвали полог и полной грудью стали жадно вдыхать бодрящий хвойный воздух.

Освежившись ключевой водой, стали готовить чай и варево из убитых вчера уток.

Дед был молчалив и грустен. Он избегал моего взгляда. Мне хотелось сказать Ивану что-нибудь хорошее, подбодрить старика, но слова шли не от сердца. Это раздражало меня и еще более угнетало деда.

Чай пили молча, торопливо. Старик вздыхал, тайком поглядывал на небо и что-то шептал.

— А пора бы уж... — наконец проговорил он.

— Посиди, куда спешишь.

— Я не про это... Подыхать, мол, пора бы... стар... — ска-

зал Иван задумчиво и строго.—Ну, ты подумай, мил человек, куда я? Один... А кругом тайга, жуть. Жилья на двести верст нету. Тоже лютой смертью никому умирать не хочется. Вот, кабы сразу, ну, хоша бы громом, что ли, стукнуло. А то как хворь насядет — ни встать, ни сесть, — тяжко тогда, мил человек... водицы некому подать будет...

— Иди в деревню.

— В деревню? Нет... Я уж со зверьем как ни то... в тайге... чего там? Ежели попа — мне не надо. Не верю я попам, ну их.

— Мужики приютили бы, пригрели...

— Нет, я здесь, в тайге должон...

— Помаялся, довольно.

— Мало! — отрезал Иван, обхватывая колени руками. — Мало, сударик, мало... Ты думаешь, шутка человека убить? Нет, брат. Кровь человечья, она — ого-го... А я вот и сейчас не могу забыть... Как вспомню про того человека, аж злом всего охватит.

— Про отца, что ли?

— Ничего не про отца... — октавой буркнул дед. — С ним у нас расчет покончен в аккурате... значит, квит на квит. А главная суть в том, — уверенным голосом и придвинувшись ко мне, продолжал дед, — не знаю, как по-твоему? Само главно, вот что: родитель передо мной виноватый был по самую маковку, а перед этим я... Чуешь?

— Как так? — удивился я. — Этот нападал...

— Нападал? — строго взглянул на меня и весь ощетинился старик. — По-молодому-то я, вроде тебя, тоже думал, а теперича — не-е-ет. Пошто он, спросить тебя, нападал-то? а? Кабы я вровню с ним был, неужто бы напал? Я богатый — он богатый, я бедный — он бедный, — неужто бы напал тогда, а? А то ежели на мне тыща висела, а он, может, неделю не жравши с семьей жил. Нет, друг, не спорь. Сам я в этом разе причинен был: ишь ты, богатства захотел, соболей надобывал, лисиц. А куда мне богатство-то? Все одно прожрал бы на винище... А я вот-на! всадил-таки в человека пулю. Понял? Ну, так и не спорь.

Тайга чуть шелестела. С плешивой горки она казалась мягким зеленым ковром, уходившим во все стороны и сливающимся с голубоватою далью. На западе собирались облака.

— Смолоду-то мы все ершисты, а вот как подыхать время, дак и... — сказал, вздыхая, старик и уставился глазами в землю. — Не хочется тоже, мил человек, черным в могилу-то ложиться. Вот я вечор говорил тебе про зори. Ведь я кто? Злодей, убивец... вот я кто. Так бы мне и подохнуть, на манер паршивого пса. А вот ушел в лес, да как почувствовал зарю

небесную, так во мне все и всколыхалось. — Старик поднял голову и, наморщив лоб, взглянул поверх тайги. Потом скользнул по мне тоскующим взглядом и покачал головой.

— Жаль мне разлучаться с тобой, человече... Вот уйдешь, больше уж не увидимся. Опять один останусь. Я, поди, с год человека-то не видал... Эх ты, жизнь!..

Иван Безродных, охая и кряхтя, поднялся.

— Ну, прощай, друг милый. Счастливой тебе дорожки. Прощай, родимый, прощай...

И мы навсегда с ним расстались.

Я долго смотрел ему вслед. С мешком за плечами, чуть покачиваясь, старик шел в свою, похожую на могильный склеп, землянку.

1916

КРЫЛЬЯ

1

Модест Игренев — заправский кузнец. Он сделан на цыганский лад: черномазый, курчавый, глаза большие, цыганские — мечтательность в глазах, — и речь отрывистая, насмешливая, жилистый, высокий; в плечах и узок, но лапы по силище железные, по умению — золотые. Чего там о подковах, о жнейках толковать — пара пустяков. Он ружья медвежачьи делал, «молоканку» изобрел — сливочное масло бить, и на самодельном самокате к куму чай пить за семьдесят две версты ездит.

— Мериканец, — говорили про Модеста мужики.

— М-да, мозга в башке густая...

Так и укрепилась за ним слава. И если бы, прости господи, не окаянный леший, быть бы «мериканцу» первейшим человеком во всей округе. Ан тут-то вот и сорвалось. Тихомолком снюхался Модест, как говорится, с нечистой силой, да такое выкинул, что все крещеные ахнули.

А случилось дело так.

Сидел Модест поздним вечером на обрыве, вблизи своей заимки, курил трубку и мечтал, поглядывая на золотые облака.

— Другие говорят, что облака — кисель, — рассуждал сам с собой Модест. — Кисель, а не валятся. Опять же взять птичье перышко: порхает в воздухах... и никаких огурцов. Али паутина... На что уже летяга — белка, и та может с дерева на дерево, вроде птицы. А вот человеку не дано... Обида вышла... Ангелу дано, чорту дано. Летяге дано... Пошто же человеку не дадено? Полный непорядок...

Дальше — больше, сидит мечтает. Голова от дум огрузла,

и уж стало богохульство на ум взбредать. Модест крепился, говорил:

— Грех... не надо. Имеется в наличности у человека башка... Ну, стало быть, кумекай так и так, мозгуй.

Его заимка была на опушке густого сосняка. Он глядел на расстилавшуюся даль. Солнце село. Из-под земли тянулись кверху огненные мечи. Они пронзали подрумяненные груды облаков и гасли в поблекшем небе.

— Врет, поди... брешет. А может, и так... Оно, конечно. Гаврило Осипыч человек пьющий, хоть и кум. Заклинаю тебя, дурака, богом святым — летают... И машины такие есть — ирапланы. Ну, мало ль, что он спьяна-то... Да и какой он, к свиньям, учитель? Одна видимость. Из солдатишек... Буки аз-ба-ба... Аз пью квас, увижу пиво — не пройду мимо... Эвона с масленой...

Но Модест вновь повернул себя к мечте:

— А хорошо бы, чорт... Порх-порх и там...

От обрыва на целую версту шло мокрое, поросшее осокой болото с круглой озериной; за болотом, на берегу речки Погремушки, виднелась его собственная пасека.

— Прямо не пройти, а обходить взад-вперед сто верст. А ежели бы крылья... взобрался на обрыв — порх — и там!..— Модест улыбнулся и засопел.

Он просидел здесь до поздних петухов, а лег спать на повети и, не смыкая глаз, провалялся до зари: в голове суматоха, — позванивали, поблескивали огоньки, взмахивали крылья птиц, без конца, без начала вспыхивали мысли. «А вот захочу... Модест Игренев... башковитой человек. Захочу и полечу».

II

Целую неделю он был в тревоге, в возбуждении. Молот расеянно бил не по тому месту, железная сварка ломалась, дрель насмешливо визжала и сверлила дыры не там, где надо:

— Ты что это, как сонный, мериканец? Аль округовел? — сердились заказчики. — Не сатана ли тебе приснился?

— Он самый.

Даже жена, круглобедрая Палаша, удивлялась:

— Иным часом рад целого барана стрескать, а тут так... Ешь!

— Постой, погоди ты, — отодвигал он миску с пельменями, отворачивался к окну и смотрел вдаль, как помешанный.

А через неделю, в праздник, утром, он сказал жене:

— Становь самовар. Тащи оладьи... А я за медом слетаю, живо обернусь...

Палаша знала, что муж вернется с пасеки только к обеду — туда-назад верст шесть, — и подала ему узелок с едой:

— На, там закусишь...

— Говорят тебе, через полчаса слетаю...

Палаша долго смотрела ему вслед, у ней опустились руки, а сердце захолонуло.

* * *

В это время к заимке подъезжал верхом на своей замухрастой лошаденке Гаврила Осипыч Воблин, кум.

Он сначала свернул в кусты, очистил от пыли блестевшие на солнце сапоги, венгерку со шнурами и стал прихорашиваться перед карманным зеркальцем: ловким зачесом прикрыл лысину отрощенными над правым ухом волосами, поставил вверх свои военные покрашенные линючей краской усы, ласково провел по гладко выбритому подбородку с ямочкой и надел гутаперчевый, резко сияющий воротничок номер сорок пять. Пыхтел, сопел, кряхтел: было очень жарко, и воротничок — дань моде — впивался в красную шею острыми краями.

— А-а... Пелагея Филимоновна! Сколько лет! С праздничком!.. — вскричал он, входя в гостеприимный двор.

— На уж, целуй... Чего тут... Прохиндей. Привык по-благородному-то? — весело встретила его хозяйка и протянула к толстым враз оттопырившимся губам кисть руки, пахнущей луком.

— Хе-хе... С праздничком, пряник мятный!.. — Чмок-чмок, — с воскресным днем, достопочтенная Пелагея Филимоновна...

— Чего уж, — засмеялась та в кончик ярко-красной головной повязки, которая так ловко оттеняла ее миловидное синеглазое лицо, — чего уж церемониться-то... Зови Палашей... А при нем ежели — Филимоновной...

— А их нет?

— Кого это их?.. Мериканца-то?.. Да с ума, видно, спятил... На пасеку улетел. Я, грит, не пойду, а полечу, как гусь.

— Тоись как?

Через минуту, в одной взмокшей рубахе, Воблин, раскорячившись, умывался во дворе. Палаша рассматривала его плохо закрытую лысину, лила в широкие пригоршни ключевую воду и дразняще посмеивалась:

— Ну и кобыленка у тебя... Чисто коза. Хи!.. И как это она под тобой, под толстомясым, дюжит?

— Подо мной-то? Ф-фу... — отфыркивался Воблин... — Подо мной даже приятно... Я б те сказал... да боюсь — ковшом по маковке ерыкнешь...

* * *

Самовар пускал пары. Сидели друг против друга. Скатерть белая, кирпичный чай с топлеными сливками душист, блины, оладьи, пирожки с начинкой вкусны.

Учитель скатывал в трубочку враз три блина и, обмакнув в растопленное масло, отгрызал. Отгрызнет, да опять потычет. Вкусно. То же проделывала и хозяйка. Так макали они в общую масляную чашу, смачно чавкали, облизывая губы.

Воблин жадно все пожирал, как крокодил.

— Протрясло дорогой-то. Семьдесят верст ведь.

— Ешь во славу, чего там... У тебя торба-то эвон какая, полвоза сена вбякать можно.

— Хе-хе... Чего-то в голову вдаряет. Рюмашечку бы...

— А ты расхомутайся, — повела она бровями на воротничок.

— Нельзя-с, Палашенька. При даме сердца-то? Нельзя.

— Чего нельзя. Все можно.

— Можно? Ну, в таком разе... — он вдруг вскочил. — Повоенному! — и как петух на курицу, налетел на подавившуюся сахаром Палашу... Чмок-чмок.

— Чтоб тебя... Пусти!.. Мериканец идет!.. Пусти!..

Скрипнули половицы, отворилась дверь:

— Здрасте-ка, приятно кушать.

Большой сухопарый старик, бородка клинушком, крестился на иконы.

— А-а, старшина... Начальник!.. — раздувая ноздри, вскричал Воблин и стал закручивать буравчики-усы.

— Садись-ка, дедушка... — вспыхнув маковым цветом и оправляя красную повязку, сказала Палаша. — Поди, устал с дороги-то. Дальний гость.

— А где ж хозяин-то?

Выпили два самовара, а Модеста нет как нет. Пошли к обрыву.

III

Сначала шли рядом.

Старшина, по прозванию Оглобля, сутулый и высокий, шагал, как журавль, Палаша плыла утицей, а Воблин катился брюшком вперед, незаметно чиркая большим оттопыренным пальцем, как по спичечнице, по крутому бедру соседки. Та точно так же незаметно била по руке и томно замирала, потом вдруг ойкнула. Воблин отдернул блудливую руку, схватился за усы и крякнул. Журавль ткнул в Палашу носом:

— Эк тя родимчик-то!..

На самом обрыве лежал вверх бородой бродяга Рукосуй, сосал трубку и поплевывал в небо.

— Помогай бог дрыхнуть! — шутливо крикнул Оглобля.

— Я работаю, — сказал сквозь зубы Рукосуй и лениво повернул к старшине черное от копоти лицо.

— Хм... Что же ты, паря, работаешь?

— Брюхо на солнце грею... — сипло сказал бродяга. — Да еще соловья в кустах слушаю... Чу!.. — и загоготал барашком.

Из кустов раздался стон:

— Эй, ну-ка сюда, что ли...

— Мериканец!.. — крикнула Палаша и, вздымая облака песку, кинулась по откосу вниз.

Модест, весь мокрый, дикий, неузнаваемый, сидел, как свая в земле, по пояс в болотной гуще.

— Кум! Товарищ! — всплеснул руками Гаврила Осипович, укрепившись на твердой кочке.

— Тащите... Зашибся, кажись... Подвела, анафема... попортилась.

— Кто?

И тут только заметили крылья, как у огромного нетопыря, хитро прикрепленные веревками к туловищу мериканца...

— Батюшки, са-атин... Сатине-е-т мой, — заквилила Палаша. — Моде-ест, да ты сдуре-е-л...

— Тьфу, твой сатин!.. Ступа этакая... Я, кажись, ногу повредил.

Учитель Воблин деловито засуетился:

— Ну, старшина, командуй!.. Пелагея Филимоновна, пожалуйте, удалиться в отдаление... Потому — болото, мужской пол окажется без всяких яких... вообще дело грязное... — закончил он витиевато, как всегда на людях, уселся на сухую кочку и, страшно пыхтя от напряжения, стал проворно раздеваться.

После усиленной работы мериканца извлекли. Кости и суставы оказались целы, лишь было оцарапано лицо и чуть надорвана ноздря.

Крикнули хозяйке, чтоб убиралась во-свояси, а сами в голом виде, похожие на арапов, пошли обходными путями к воде, чтоб смыть с тела густую грязь, уже подсыхавшую на солнце

— Тебе бы надобно пуще махать... Чего ж ты оплошал-то?

— Сильно махал... Саженей десять пролетел. А тут сердце зашлось, я — хлоп!..

— Это тебе, кум, неераплан. Хорошо, что не башкой воткнулся... Век бы в такой трясине не найти.

— Ку-уда тут...

— Хы! Вот это лета-а-тель. Так сильно махал-то, говоришь?

Гаврила Осипыч Воблин катился сзади, отколупывая с толстых холок лепешки грязи и опасливо озираясь на кусты: не подсматривает ли плутоватая Палаша. Передом шел мериканец — чорт-чортом — с крыльями. Непослушными от раздражения руками, злясь и дергаясь, он старался распутать узлы веревок. А Оглобля, как конь хвостом, что есть силы крутил в воздухе полосатыми штанами — уж очень донимали комары.

IV

С этого дня про кузнеца в народе такое пошло, что и не вымолвишь.

Усердней всех старался бродяга Рукосуй: он был чуть сумасшедший, и его частенько обуревала, особливо после перепоя, чертовщина и виденица. Рукосуй клялся и божился, что самолично усмотрел, как мериканец летал на какой-то птице, словно бы на индейском петухе, да откуда-то припорхнул, дескать, коршун, не иначе — из болотины рогастый чорт, клюнул индюка в бороду, ну, знамо дело, Модест и загремел.

Однакож бродяжей божбе веры не было, да и Рукосуй на другой день плел уже иное, до того несуразное, что даже сам удивленно выкатывал глаза и норовил подобру-поздорову скрыться.

Зато потрясучие старухи, эти заправские ведьмины дочери, жившие, по выражению Воблина, «на легкой ваканции у антихристовых слуг», стали открыто говорить, что мериканец спознался с лешатиком.

Ребятенки сильно начали его побаиваться, да, пожалуй, ни одна душа крещеная не решилась бы теперь пройти в лихое время мимо проклятущей кузницы, где еженощно до первых петухов светился адов огонь и раздавался грохот: кузница на самом обрыве высилась, а село-то под горой, оттуда хорошо видать.

* * *

Но вся эта несусветимая нелепица скатывалась с Модеста, как с гуся дождь, а неудача еще более окрыляла его.

Да и судьба к тому же: купил Модест третьеводнись добрую селедку, приказчик завернул ее в печатный лист с картинками. Дома глядь: «Ае-ро-план. Схе-ма-ти-че-ский чер-теж».

— Ха-ха!.. — закатился радостно Модест и поставил кружку с чаем. — Ну верно толкуют, что мне помогает чорт.

Палаша ничего не поняла, она вышивала по канве Гав-

риле Осипычу рубашку и в мыслях сравнивала его, «завсегда такого великатного», со своим долговязым, рехнувшимся хозяином.

И уж мечты ее шли дальше:

«А вот сбегу, да и все... Проклажайся один с нечистиками, коли так».

Но Модест, изрядно, впрочем, ревновавший ее к куму, теперь весь был поглощен иной заботой, и мозг его пламенел. Он не поинтересовался, для кого готовится подарок, да вряд ли приметил и Палашу: мимо него толпой неслися облака, свистел в ушах ветер, урчали струны «ираплана», а внизу расстилалась мглистым ковром земля, пестрели села, города, хибарки, серебрились игрушечные речки, жутко тянули в свою синь безбрежные моря... дальше, дальше, на сухое место, на твердое, в белокаменную Москву... Стоп, машина!

— Мо-о-дест...

Тот улыбался и, глядя куда-то в угол, грозил ей пальцем.

— Модест... ко-ормилец...

* * *

Мериканец круто повернулся с делами. Не долго думая, уехал в город и вернулся с целым возом меди, стали, проволоки.

Все село обрадовалось:

— Модест на точку встал... Айда, ребята, волоки в починку всякую стремлюдь.

Однако кузнец принял их не очень-то любезно:

— А подьте вы... Не до вас тут, — и заперся.

Покрутили мужики бородами, пощелкали языками, стали кланяться:

— Ради Христа, Модест... Дозарезу...

Мериканец в ответ нехорошо выругался.

— Ишь тебе имя-то христово до чего тошно. Ах, ты, окаянная твоя душа. Какую взял моду — летать!

— И полечу... Неужто с вами тут...

Но, погорячившись, успокоился:

— Оставляйте... Налажу.

День и ночь пыхтел, еще уже стал в плечах, нос вытянулся, только глаза горели, и что-то поделалось с ним нехорошее: бьет-бьет молотом, отшвырнет прочь, приложит ладонь ко лбу и стоит в оцепенении. Заказчик смотрит на него, дивится. А он — за дверь да и почнет шагать вдоль обрыва взад-вперед, взад-вперед, сам с собою разговоры разговаривает, потом встанет, упрется, как бык, в землю.

— Модест Петров! — окрикнет его мужик нетерпеливо,— да когда ж ты лемех-то сваришь?.. Ведь мне время пахать.

— Сейчас, сейчас... — грозит ему пальцем кузнец и говорит, разводя руками: — Ежели так, то будет этак... Сюда, допустим, шуруп. Ну, а втулку? Втулку, втулку... Вот она втулка-то, вот... Чорт... Наперекрест ежели струны?.. Нет, перетрет... Сейчас, сейчас, дядя Василий!

— Какой я тебе Василий? Обалдел? Иди, ради бога, — сердится старик.

— Иду, дедушка Ипат, иду... Механика, брат... — многозначительно подняв палец, говорит Модест, и вновь брызжут искры из-под молота.

* * *

Кузнец переселился на жительство в амбар, ключ от большущего замка держал за голенищем и что делал он в амбаре — никто путем не знал, но всяк догадывался: волховству предался мужик, загибла душа человечья.

А Палаша как бы овдовела вдруг: она беспечально стала бегать, по молодости лет, на игрища и домой возвращалась поздно. С досады, что ли? Непорядок в доме, недостаток. Кабы не золотые руки у Модеста, нешто пошла бы за него? За Палашу сватались люди настоящие. Нет, выбрала кузнеца Модеста девья дурная голова, ульстил чернявый. Вот, думала, поживет вольготно. Да, впрочем, и жила: в меду купалась, сафьяновые туфельки носила. А тут, ишь ты, на птичье положенье перешел: «Годи маленько, говорит, Палаша... Озолочу, говорит». Тьфу на его слова, вот что!

V

На деревьях золотились листья, трава шуршала по-особому, цветы иные, не весенние, печально глядели в облачное небо, а птицы стали деловиты, словно люди: люди жнут, птицы зерна подбирают, люди хлеб по дорогам повезли, птицы табунами носятся, галдят, высматривают путину необманную к морю-окияну.

Еще маленько — и потянулись птицы понемногу в дальний край. А за ними собрался и мериканец в свой губернский Камень-город.

— А я что же, без гроша буду? С голоду подыхать?.. Уйду я... вот что.

— Куда же это?

— Опосля узнаешь. Неужели с тобой горе мыкать? Да чтоб тя разорвало на десять частей и с летягой-то!..

Модест испугался.

— К кому уйдешь-то?

Защемило сердце. Зудили кулаки дать жене трепку, чтоб выбить дурь. Хотелось сделать ей больно еще за то, что... ну, как это?

— Хозяин старается, у хозяина голова трещит от дум... Ведь ежели я сделаю машину-то, ираплан-то... Эх, да чего с тобой, долговолосой, говорить!.. Тошно мне...

Пелагея заплакала, бабья колючая злоба полилась из сердца.

Модест смотрел на нее в упор, кивал головой укорчиво:

— Ты бы радоваться должна... Трепетать... что такой у тебя супруг. Халява!..

— Раа-доваться... В могилу... вот куда. Люди проходу не дают. Эвот вчирась: с колдуном, грит, живет... наверно у ней, ребяты, хвост. Ведьма, кричат. Вот сколь сладко жить!..

Модест крякнул, закусил губы, порылся в карманах, в кошельке: пусто. Достал со дна укладки часы — благословенье покойного родителя — подал:

— На, заложи кабатчику... Скоро вернусь, Прощай.

* * *

Дорогой говорил попутчику, глуховатому старику-солдату:

— Понимаешь ли, в чем резон-то?

— Ась? как не понять... Все до тонкости...

— Вот-вот. Я все эти самые машины — как свои пять пальцев... Ну, скажем, паровую молотилку. Сто разов разбирал... Плевок...

— Долго ль до греха... Ась? Я тоже топоришко прихватил. Не ровен час.

— А в городу, сказывают, есть самокатная лодка... У ней машина на особицу... винтом воду из-под себя вырабатывает. А мне надо воздух... Сто верст в час чешет.

— Да как же можно? — воскликнул, прихрамывая, солдат, и его тупорылое лицо с седым, давно не бритым подбородком, весело заулыбалось. — Вдвоем, али одному... Ну, скажем, он тебя сгреб за грудки... Ась?

— Вот-вот... Хочу рисунок срисовать.

— А я его обухом-то и лясну по маковке...

— Ну, да... А потом пожалуйте пакент. Сто тыш... Я опрошу. Просто, чтобы. У меня своя механика.

Так шли они протоптанной тропой, возле покрытой черным киселем дороги и рассуждали по-хорошему: старик был глух, душа Модеста — очарована.

У солдата костыль да пустая сумка да еще прожорливый толстогубый рот. У мериканца — руки. В первом же селе заработал двадцать целкачей. А на шестой день, когда в

тумане забрежил Камень-город, кисет Модеста туго был набит бумажками и серебром.

Солдат страшно попутчиком доволен, усердно качал мехи, похлопывал Модеста по острому плечу, бубнил:

— Экой ты парень золотой!

На постоялом дворе, в самом городе, после длинного пути угостились водкой.

Пьяный старичок-солдат, растопырив руки, торчавшие из широких сермяжных рукавов, то пускался в пляс, — но левая нога озоровала, не слушалась, — то бухался на грудь Модесту, весь захлебывался шамкающим смехом, бормотал:

— Лети!.. Мое солдатское слово — лети... Вот до чего ты мил. Нерушимое благословенье. И я с тобой... Хошь за хвост летяги дай подержаться... Ххxых!.. А бабы — дрянь. Не хнычь, сынок... Не стоящие званья...

— Дрянь, брат, дедко... Дрянь!

— Эн, бывало, мы... под Шипкой. Привели, значит, нас под самую эту Шипку. Тут мы и остановились. Да не хнычь ты. Да-кось скорей винца глотнуть. Я, брат, под Шипкой... Пей сам-то! Как хлопнем на размер души да селедочки пожуем с лучком, так и полетим.

Сначала слетел под стол старик, побарахтался там, помычал и захрапел оглушительно.

Модест был мрачен, почему-то сердце размякло, открылись, потекли слезы. И радость была в слезах, но больше было печали:

— Уж чего ближе — жена... Ну, самой дальней оказалась. Пле-е-вать!

Однако уснул Модест очень крепко. Только пред утром пришла Палаша и сказала ему: «Открой глаза. Смотри».

Модест открыл глаза и замер: внизу пропасть, черная вода шумит, в синем небе птица мчится, за ней другая, третья. «Ирапланы, ирапланы, — слышит крикливый голос, — ирапланы, ирапланы». Из пропасти поднимается, подбоченившись, Воблин, кум: сначала голова показалась, с зачесом, потом брюхо. Вот стало пухнуть брюхо, пухнуть, и уж закрыло оно все небо: нет белых птиц, ничего нет, одно брюхо непомерное и гнусавый крик смеющегося кума: «Ирапланы, ирапланы... Ха-ха-ха... А ты дурак...» Модест схватил горячие клещи и что есть силы стиснул ими кумов нос.

— Ой! Кто тут?..

Кузнец вздрогнул.

— Язви тя! Как ты меня сгреб, — закряхтел, закашлялся солдат. — Пошто за глотку?.. Ась? Кха-кха...

VI

Модест в городе замешкался. Он сдружился с машинистом моторной лодки «Молния». Пришлось спустить в трактирах и пивнушках все деньжата, зато машинист кой-чему Модеста вразумил: продал самоучитель прикладной механики, вместе разобрали, обмерили и составили чертеж машины. Кузнец быстро, цепко все воспринимал и приказал крепким своим пальцам чертить что надо. Сначала грубо, неуверенно, но с каждым часом точнее, чище.

— Это называется кроки, или эскиз. Потом набело переделаем, потом на кальку... — пояснял машинист, с удивлением следя за его работой. В конце концов сообщил о нем механику Образцову.

Тот после знакомства с чертежом расспросил Модеста об его затеях и сказал:

— Вы человек с размахом. Вы — самородок. Вот только... знаний у вас ни черта нет... Понимаете? Теории...

И сразу же начал читать ему лекцию:

— У нас существуют два принципа летательных машин: первый принцип — аппарат легче воздуха... Запомните. Второй принцип: аппарат тяжелей воздуха. Сообразно с этой теорией, или, верней, гипотезой...

— Ваше благородье, — перебил его Модест. — Я так полагаю, что без теории полечу... А теория у меня — вот, — он постучал себя по высокому вспотевшему лбу.

— Нет, товарищ... Это ерунда. Е-рунда! — безнадежно махнул механик циркулем. — Это бабьи сказки. Да вот увидите. Без теории не полететь...

* * *

Пока путался Модест с учобой, на заимке случилась оказия: в проклятущую кузню по ночам стал огненный змей летать.

Черным-черны ночи осенние — ни звезд, ни месяца, вдруг аж полымем все опахнет: хвостатый змей из лесной трущобы мчится.

Положим, что, кроме старухи Волосатихи, чортова знаменья никто и не видал, а Волосатиха, прозванная так за большие усы и бороденку, увидавши, рассказала миру да на другой день и померла. Толковали другие, что рыжиками объелась бабка, — солоща была до жареных в сметане рыжиков, — однако мир измыслил по-другому: змей, змей тому причина! А тут вскорости древнего старика грыжа задавила:

— Змей!

Тогда православные, после обедни в Успеньев день, приступили к духовному отцу:

— Вот что, батя. А ведь у тебя в приходе-то не ладно...

— А что такое, братия мои? — спросил ласково священник.

— Вот те и что... У тебя Модест-мериканец бывает на духу?

— Бывает.

— Гм... И баба евоная бывает?

— Каждый год. А что?

Тут все ему подробно обсказали, выложили все догадки, опасения, вспылили злобой.

Священник улыбался, спорил, доказывал, увещевал, ругал ослиными башками.

Но мир был крут, упрям.

Собрали сход, постановили: выгнать кузнеца и кузнечиху вон, кузню сжечь, дом с сараем сжечь и водрузить на сем поганом месте святой крест с водосвятием.

Проходившая старуха потрясучая остановилась, прислушалась, заверезжала.

— В небо взлетывать?.. Хе... Нет, брат... Человек не ангел... Без нечистика не полетишь.

— Бабка! Пшла в болото! — прохрипел откуда-то вынырнувший пьяный Рукосуй и, покачавшись, сел горшком на землю. — Дураки вы все, сопляки... чортовы подхвостки.

Он сидел, обхватив колени, грузный, длинноволосый, вымазанный сажей, носатый лесовик. А глаза смешливые, от пьянства выпученные, враскос.

Мужики не знали, вздуть его или дать досыта навраться.

Но бродяга был серьезен:

— И полетит, — сказал он убежденно, ткнув пальцем вверх. — Модест-то? О-о-о... Мериканец завсегда полетит... Свиньи этакие.

— Сорока на хвосте, что ли, принесла? — и мужики сердито засмеялись.

— Эх, вы, черти! — прохрипел Рукосуй и стал приподыматься. — Вы и тверезые, да вроде пьяных, я бродяга — и пьяный, да трезвей всякого. Потому — вольный казак, как птаха, а вы — грибы поганые, так тут и сгинете в своем лесу... Мухоморы, черти.

Миру было весело. Гаврила мигнул Степке, Степка — Петровану: соскочили с завалинки, ну загибать салазки Рукосую. Тот ругался, орал на все село:

— Я вам такое сделаю, что... Я знахарь. Всем килы наставлю... Всех обхомутаю!..

— Крапивы ему в штаны... Давай крапивы.

— Кара-у-ул!

— Ага-а-а!.. Вот те птаха-канарейка.

VII

Модест подъезжал к заимке глухой ночью. Лошаденка попутчика шла бойко; нужные закупки побрякивали в ящике.

— Не баба у меня, а мед, — говорил Модест в широкую спину возницы. — Натосковался я страсти как...

— Дело известное, — ответила спина. — Мало ль в ней всяких средствий... Для этого и сохнут по бабам-то...

Окна в модестовом дому были темные.

— Прибавь хоть четвертак... Вот, благодарим. Ну, до свиданьица.

Колеса затарахтели по кореньям, смолкли, а Модест все еще медлил входить в дом. На веревках висело палашино белье, белой шерсти чулки с черными полосками. Модест вздохнул. Сладко в груди заныло.

Вдруг кто-то пронзительно засвистал во тьме и, поперхнувшись, кашлянул.

«Рукосуй, — узнал по голосу Модест. — Что ему надо здесь?»

В окне колыхнулся свет, погас, вновь вспыхнул. Из дверей вышла Палаша.

— Ну, здравствуй, супружница... Каково живешь?

— Модестушка! Батюшка... Да никак ты! — в голосе испуг, тревога.— А у нас гость, только что прибыл, — вильнул ее голос хитроумно, на веселый лад.

— Кто же?

— Да кому же быть? Кум Гаврила Осипыч. Пьяней вина приехал... Дрыхнет. Чисто смех.

— У-гу...

Модест молча поднялся по приступкам. Половицы скрипели четко, дверь с силой грохнула о косяки, затрясся дом. Вырвал из рук обомлевшей Палаши огарок, окинул взглядом раскрытую постель, стены, печь. С печи торчали босые ноги гостя и раздавался мерный храп. Модест поймал вздрогнувшую ногу и с силой дернул:

— Эй ты, притворяйся!

Голос был крепок, нешуточен.

Гаврила Осипыч, всколыхнувшись животом, спрыгнул на пол и, оправляя сбившийся зачес, встал против Модеста, заспанный.

— Кого я вижу! Кум!.. — подхалимно улыбнулся усатый рот.

Модест притопнул и ударил кума в ухо.

— Ах, ты драться?! Ты, хамово отродье, народного учителя избивать?!.

Сцепились оба. Минута — Модест выволок кума на крыльцо и через хрустнувшие перила сбросил его в навозную кучу.

— Не расчесывай расчесы-то, чорт... — сказал он сквозь стиснутые зубы жене и захлопнул дверь. — Застегнулась?! Все ли застегнула-то? — Голос его был сиплый, глаза страшные, готовые на все. — Ну, спасибо тебе, Палагея.

Та, обхватив закутанную тряпьем, стоявшую у печки квашню, выла в голос:

— Инничегошеньки промежду нас не было. Кого хошь спроси... Да хоть измолоти его всего — не жаль... Ох, ты, моя головушка!

Модест порылся в своей походной сумке, развернул сверток; полыхнуло ярко-красным:

— Вот тебе подарок привез. Кашемир... На платье... Вот тебе тафта.

Он с размаху грохнул сверток о пол и, покрякивая, изрубил топором на мелкие куски:

— На тебе подарок! На! На! На!

Из-за двери слышалось:

— Модест Петров! Я околел. Выбрось хоть штаны да венгерку. Мороз ведь.

— Просвежись!

Потом открючил дверь, вышвырнул одежду, крикнул:

— Уходи, Гаврилка, покуда цел. Да и часовому своему скажи. Сочтемся.

Погасил огарок и бросился, не раздеваясь, на кровать.

* * *

Утром ударило в глаза Модесту солнце. Услыхал громкий говор под окном и прерывистые выкрики Палаши.

«Должно быть, заберут. Воблин нажаловался», — быстро сообразил Модест.

В окно четко долетало:

— И чего ты с ним маешься-то? Наплюй ему в шары, да и уйди.

Модест вздрогнул. Решительный, страшный, он вышел на улицу, чуть ссутулясь.

Стояла куча крестьян. Против них, прислонившись к стене, плакала Палаша.

— Вы что, ребята? — спросил Модест. — С обидой али с хорошими вестями?

— А вот, значит, приговор, — паскудно улыбаясь желтой бородой и блестевшими под солнышком зубами, сказал десятский. — Значит, вообче, как с нечистиками и все такое, окромя того огненный змей... Ну, в таком разе мир не согласен, чтобы значит... И убирайся на все четыре стороны, куда жалаишь.

Модест спокойно выслушал, закурил трубку, почесал за ухом, спросил:

— Вы, ребята, верите, что я колдун?

— Известно. А то как?

— Да, я колдун!.. Ежели хотите, можете пощупать хвост. Ночью у меня рога вырастают, а из ноздрей — огонь.

Модест говорил всерьез. Мужики стояли, разинув рты, с опаской смотрели на него.

— Ничего, выживайте, гоните меня в три шеи... Ну, только что!.. — Модест сурово погрозил пальцем, повернулся и ушел в лес.

Перепуганные мужики тихомолком побрели домой.

VIII

Опять стали видеть старушонки огненного змея, да еще будто бы какая-то «оборотка», под видом огромнейшей свиньищи, шлялась ночью из села да на гору, в гости к кузнецу.

И снова стали над Модестом изгаляться, все старались как можно больней лягнуть, уязвить его, обидеть.

— Ну, что, Модест, поди, скоро на пасеку-то летать будешь?

— Поди, теперича тебя нечистики-то вздымут.

— Ты бы свою бабу подковал: смотри, паря, как бы она наперед тебя не упорхнула. Хе-хе.

Модест яро сверкал в ответ глазами и плевался. А иной раз пускал с плеча:

— Дураки! Остолопы! Что вам от меня надо?

Тропа к его кузнице густо поросла травой: он окончательно забросил работу на односельчан. Разве страшна ему черная корка с ключевой водой, если впереди почесть и богатство?

— Я знаю, чем это пахнет.

Палаша ходила надувши губы, укоряла, плакала, ругалась. Но Модест был слеп, глух и нем, как рыба. Жена, скамейка, ель в лесу, криволапая сучонка Шавка — все одно. Мечта цепко обвилась вокруг его души, как дикий хмель возле рябины, приподняла его над житейскими делами, насытила мозг огнем, сердце — горячей кровью, глаза — безумием.

— Добьюсь!

День и ночь работал он в амбаре, иногда гасил фонарь, вылезал на волю и, взъерошенный, бесцельно шагал, словно лунатик, не зная сам куда.

* * *

Только один человек верил в летягу крепко — бродяга Рукосуй. Он двадцать лет на поселеньи прожил и родину лишь во сне видал, а как хотелось: глазком бы, на коротхую минуту! Вдруг как-то потянуло, сразу, ну легче в гроб! А тут как раз Модест. Эге! Пусть изобретает.

Рукосуй жил в заброшенной бане, на краю села.

Однажды ночью, лениво развалясь на полу, бродяга трескал водку. Баня была «по-черному»; сажа, копоть покрывали пол, потолок и стены. Курился огонек на камельке, плавал сизый дым, дверь — настежь, звезды видно. Бродяга чернее трубочиста, пьян. Он то хохочет, как пугач в лесу, то вдруг уставится глазами в мрачный угол, куда еле проникает свет от камелька, и бубнит серьезным голосом:

— Ежели ты лопата, стой в углу. Ежели не лопата — пей!

И тянет заунывно, бессмысленно:

В небе облаки, быдто яблоки,
Уж вы яблоки, быдто облаки...

У лопаты морда белая, широкая, блином. Облизнулась лопата, разинула хайло. Бродяга плеснул в хайло вином:

— Пей!

Лопата прорычала: Фррр! — и опять распахнула ртище. Рукосуй сам выпьет и лопату угостит. Говорит лопате:

— Ты хоть и ведьма, а дура... Я молодец. Улечу я. Вот те крест святой. Мериканца обману, укланяю, умаслю. Потому — дурошлеп он. И бабу от него сведу, как цыган коня. Ей-ей...

А Модест стоял невидимкой рядом, привалившись плечом к косяку открытой двери и рассеянно смотрел на сутулую спину пьяницы. Как попал сюда — не знает, ноги принесли. Шел, шел — глядит: в стороне огонек играет, взял свернул. Вот, стоит. Где стоит? Ничего не слышит, ничего не видит. Вот пойдет.

— Мне бы только взобраться на летягу-то, да ножки свесить,— бубнит бродяга,— взмахнул крылышками — прощай, Сибирь... Эх, ты, будь ты проклят!.. Прямо на Волгу-матку. Вот те хрест. Башку разобью об коренья, улечу... Пей, окаянная твоя сила, разевай пошире пасть-то!

Лопата облизнулась, сплюнула.

— Чего? Пей, знай... Воблин еще водки припрет. Воблин молодец, будь он проклят! Милуются как-то с кузнечихой вот об этом самом месте, Воблин и говорит мне: «Ты, грит, молчок, старичок...» А мне что, мне плевать, будь он проклят... И кузнечиха тоже... Убегу, грит... Ты чуешь? Эй, лопата!

Модест встряхнулся, вздрогнул, будто сонного ударили по голове, и впился железными пальцами в косяк.

— А я ей, это кузнечихе-то, Палашке-то... Беги! Ежели мериканец твой колдун, — беги, мол. Ты к Воблину, я на Волгу, прямым трахтом, порх-порх!..

Модест рванулся было в дверь, хотел схватить бродягу за ноги и торнуть косматой башкой в огонь. Но какая-то сила круто повернула его прочь.

— Эй, кто тут? — вскочил бродяга.

Кузнец шел молча, ноги вихлялись и ныли, словно тысячу пудов несли, из груди с хрипом вылетало дыханье.

«Так, так, так... Понимаю...» И высоко вскинутым кулаком он грозил проглоченной мраком бане:

— Сводничать?.. Вот узнаешь, какой я есть колдун!

IX

Раннее утро было ядреное. Травы крылись серебряной росой.

Прибежал в кузницу, запыхавшись, Рукосуй, слова вымолвить не может, только белками ворочает, на толстых оттопыренных губах слюна кипит.

— Модест!.. — начал бродяга хрипло и хлюпнулся горшком возле горна. — Модест, а ведь это ты летал ночью в паскотине-то! А? Вот те Христос, ты! — В глазах и во всей фигуре его было мучительное ожидание.

Модест поднял молот и медлил ударить по железу. Он смотрел на бродягу пристально, настороженно.

«Разве тяпнуть его, паскуду, по башке?..»

У бродяги сквозь сажу проступили на щеках красные пятна, а лоб и нос покрылись испариной.

— Я всю дорогу вмах бежал... Ух, батюшки!.. Ну, скажи, ради Христа, — ты?

— Я, — сказал кузнец и опустил молот.

— Ей-бог?! — Бродяга вскочил, подбоченился, встал против мериканца, а глаза его от радости плясали. — Ты?!.

— Пошел ты к праху! Не веришь, что ли? Какая причина врать?

— Верю!.. Сударик мой, верю!! Хы-хы-хы... Язви тя в пятку... Ну, и порхала. А я-то кричу: Модест, Модест!.. Да и подумал: высоко, будь он проклят, где услыхать... Хы-хы-хы... Ну, прощевай, Модест Петрович! Гуляй ко мне, угощу. Грибишки есть, рыбешка.

Бродяга пошел вон, но в дверях задержался.

— А не омманываешь? — он скосил глаза к переносице и

потряс поповской гривой, словно паралитик. — Омманешь, не спущу!

Кузнец шумно дыхал и с надсадой грохал молотом, косясь на Рукосуя. Тот вдруг ухмыльнулся, поскреб под широкой бородой и подхалимно сказал:

— А ты бы полетал, слышь, на народе... Ярманка скоро вот. Пущай мир подивовался бы... А? Будешь, мериканец?

— Буду! — сжал кузнец кулак и, стиснув зубы, шагнул к бродяге: — Вон?!

— Иду, иду... Прощевай, скорей.

Бродяга весело пошел в село, шлепая опорками по пяткам.

Встречному и поперечному кричал не своим голосом, размахивая руками:

— Полетит, будь он проклят!.. При всем народе... На площади... Об ярманке.

— Кто?

— Кто! Балда паршивая... Как это — кто?.. Кузнец!

Его слова гасили хохотом. Бродяга свирепел. Срывал с лохматой, беспросыпной башки сшитую из тряпок скуфейку, грохал ею оземь, брызгался слюной, лез драться:

— А ты не веришь, варначина, не веришь?! Убью, будь ты проклят!

В конце концов его изрядно отлупили и заперли в каталажку, «чтоб продрыхся».

Волгу во сне видел, золотое время, свою молодость. Высокий прибрежный взлобок, на нем белым кораблем церковь. Кругом поля, поля ржи шумят, травы цветистые к земле от ветра никнут, плещется Волга серебром, струги несет, а за Волгой яблони. Эх, в хоровод скорей, с красными девками позабавиться: «Жарь на гармошке, что ли!»

Бродяга проснулся, посмотрел на решетчатое окно, дотронулся до подбитого мужиками глаза и подумал, улыбаясь:

— Ни-и-чего... Теперича недолго. Недельки три и — ярманка.

* * *

Ночь была сырая, холодная. Под горой, над болотами туман залег, и месяц выплывал из-под земли плешивый, побледневший, мертвый.

Модест ночевал в избе. Собственноручно взбила Палаша мягкую перину и с мериканцем была очень обходительна. Но мериканцу не до ласк:

— Отстань, не юли. Дай мне спокой, — сказал он грубым голосом и отвернулся к стене, что-то зашептав.

В окно глянул месяц. Заголубела печь, блеснули лежавшие на скамейке клещи. Модест вяло, как в бреду, заговорил, язык его заплетался:

— То ли во сне приснилось, то ли нет. Ты была в бане с Воблиным? Бродяга плел.

— А ты веришь... Веришь?

Модест молчал. Палаша заплакала. Модест сказал:

— Притворство это.

Палаша заплакала пуще. Тоскливо в избе сделалось, жутко. Модест вздохнул. Хотелось жаловаться — наболело сердце — хотелось верного друга на земле сыскать.

— Как собаку изводят меня. Летяга да колдун — только и званья мне. Кому какая забота? Ну, делаю и делаю... То тот, то другой... Надоело мне. А тут еще канитель заводишь... Эх!..

Долго лежали оба молча. Печка стала серой, погас блеск клещей. Месяц глядел теперь мертвым ликом прямо на кровать, нашептывал. Уснули, что ли? Недолго придется, люди, спать. Пятеро гуляк идут, вот подходят, ближе, ближе, подошли. Эй, спящие, вставайте!

И вдруг загрохотали в окно, послышался хохот, пьяный крик. Модест круто нагнул руль вниз, спрыгнул на зеленый луг с крылатого аэроплана и проснулся.

— Модест! Подь-ка сюда.

«Кровать, чорт его знает, кровать! Печка, изба, Палаша. Где ж аэроплан?»

— Эй, мериканец! На пару слов. По делу!

Модест крепко выругался и со злобой пошел к окну. Толпа гуляк стояла.

— Что вас леший носит?

— Открой-кось.

— Ну?

— Слухай-ка, мериканец... Вот что... — в голосе говорившего копился смех, — вот прыснет, разорвется. — А вправду ли, что ты колдун? Что быдто полетишь? Покажи, на чем? Ха-ха-ха. На чорте, нет?!

— А баба-то твоя еще не упорхнула?

Модест плюнул в чью то широкую бороду, схватил молот и кинулся вон. Пьяные гуляки с хохотом и руганью сигнули в лес.

— Вы мне душу всю вымотали! Стрелять буду, собаки. Убью!! — истошным голосом, потеряв себя, орал Модест.

В лесу притихли.

Он вошел в дом, выставил в окно ствол дробовика и прицелился на вновь прозвучавший во мраке пьяный смех.

— Рукосуишка хохочет.

Мстительно грохнул выстрел. Хруст раздался в трущобе, оторопелый топот бегущих ног.

— Кажись, влепил, — с облегчением сказал кузнец и единым духом выпил большой стакан вина.

X

Ветер катит перекати-поле: куда ветер, туда и трава летит. Так и человечье ветряное слово,— покатилась по всей волости, по всему уезду весть: в осеннюю ярмарку, в селе Ватрушине, мериканец Модест, что на речке Погремушке держит кузницу, будет при помощи нечистой силы взлетывать по воздуху на какой-то на своей летяге («а может, и впрямь изобрел мериканскую стремлюдь»).

Докатилась эта весть и до его высокоблагородия, уездного исправника Урвидырова, человека крутого, до всяких новшеств неохочего: живи по старинке, кого надо — чти, шею держи согбенною, ходи на цыпочках и не фордыбачь.

Крутой приказ от него исшел, с крутым, очень страшным росчерком (надо быть, перо сломал), что так, мол, и так, становому приставу вменяется в непременную обязанность и прочая, и прочая. Словом, следить за мериканцем в оба и чуть что свершить по закону ущемление.

Становой дал строжайший наказ местному уряднику: «Сборищ не допускать. Пресечь. Летателя представить в город совместно с механизмом».

Урядник, человек больной, робкий, суетливый, поехал к учителю Воблину, в одном полку служили:

— Неясно мне слово «механизм». Растолкуй, Гаврило Осипыч.

— Механизм? Ха... Очень известно. Ужо-ко у меня где-то календарь был Гатцука... Механизм, механизм... Что-то такое знакомое, понимаешь, — приняв необычайно озабоченный вид и поправляя сбившийся зачес, он рылся в шкапу с посудой. Припахивало водкой, и вся комната была насыщена винными парами.

— Напишут же... Что бы просто... Нет! А ты тут вот бейся на тридцати рублях.

— Сейчас, сейчас... Именно, жалованьишко, что ваше, что наше — тьфу! Где же календарь-то? Агафья, не брала ли календарь? Ты все кринки, дрянь-баба, им покрываешь... Нашла? Ну давай... Механизм, механизм... Та-ак... Механизм...: Вот я едиализм знаю. Это, понимаешь, ну, такая, как бы тебе сказать... такая вещь, с дырьями... Понимаешь? — Он вытаращил глаза, сделал губы трубкой и уставился на урядника. — А верней всего вот: пойдем к попу!

— Верней-верного. Айда не то!

Они пошли. Дорогой Воблин спрашивал:

— В чем же суть бумаги? Кузнец? Модест? А-а-а... Вон как. Резон... Мужичонка вредный...

— А Па-а-лаша? — подмигнул урядник Воблину, игриво ткнув его пальцем под ребро.

XI

Работа Модеста шла успешно: к зиме аэроплан будет налажен, сугробы мягкие — не расшибешься, пробуй. Модест повеселел, подобрел, находился в каком-то сладостном угаре. Палаша? Воблин? Ничего, после, после. Рукосуй?

— А вот погоди. Расчет будет у меня. Всех умою!

Постукивает по остову машины молотком, натягивает крылья, сам с собой улыбчивый разговор ведет. Иногда заводит песни: одну затянет, собьется на другую, плюнет.

Работает больше по ночам. Сон не берет его и не тянет на еду. За последнее время в черных висках показалась седина, нос вытянулся, провалились щеки. Как-то взглянул ненароком в зеркальце, перетрусил. Он ли, нет ли? И очень сильно стала голова болеть, иной раз такая боль, ну, словно кто схватил глаза железными щипцами и выворачивает. Тогда Модест кричит в амбаре не своим голосом, Палаша отрывает от подушки сонную голову, крестится и вся трепещет.

* * *

Однажды в поздний час, осмотрев кругом всю свою усадьбу — чтоб ни одна душа не пронюхала — и выждав время, когда Палаша загасит свет в избе, Модест вытащил из амбара заветную летягу, погладил ее белые крылья и ну любоваться ею, как желанным сыном мать.

— Ты не жена... Не продашь, не изменишь...

Вплотную придвинувшись к заимке, стеной стоял безмолвный лес. Небо усеяно четкими звездами и там, верху, над головой Модеста, незримо мчались к югу журавли.

— Ишь ты, кургычут как... — прошептал Модест и сладостно вздохнул. Его окрыленный дух устремлялся ввысь, туда, за журавлями.

— Птица летает, сатана летает. Как это не дадено?!. Дадено и человеку. Прямо в облака, быдто небесный серафим божий.

Модеста вдруг охватила тихая, ласкающая радость. Он всхлипнул, снял шапку, поднял глаза к лучистым звездам и набожно перекрестился.

Из сумрака светились в этот миг два тайных глаза. На опушке леса, в отдалении, вытянув вперед шею и откинув руки, стоял бродяга Рукосуй. Дрожь трепала его, раздувались ноздри. Душа бродяги тоже была вся взбудоражена и видела во тьме, как днем.

— Летяга... — шептал он... — Ох ты, мать честная... Летя-а-а-га. — Больше ничего не мог сказать — внутри не дозволяло, захватывало дух.

Когда Модест запер амбар, Рукосуй, все так же дрожа и подергивая плечами, потонул в лесу.

— Приведи, господи, пособи, господи... — бормотал он, продираясь сквозь чащу. — Прилечу на Волгу, обещание дам: прямо в монахи, к отцу Серафиму Саровскому. Пропади я пропадом, ежели не так!

Кузнец и Рукосуй с одинаковым напряжением ждали ярмарки. Рукосую невтерпеж — свобода. А Модест... плюнет всем мужикам в лицо — не издевайся!

XII

Наконец ярмарка пришла. За день, за два, из далеких же сел и за неделю начал собираться крестьянский люд. Только и разговору было:

— Мериканец летит... Светопредставление.

Дороги развезло в кисель.

По обочинам и луговине емко шагали мужики и по пояс мокрые бабы. В руках батоги, за плечами котомки. Сивый старик, борода с расчесом, солдат-усач на деревяжке, всех степеней кавалер — грудь в крестах, карапузики, богатыри, уроды, парни, девки, ребятня.

Гомон стоял на дорогах день и ночь, сроду ничего такого не было.

— Это что, Лука, коровенку никак ведешь на ярмарку?

— Ее. Да мало горя, и не надо бы... да так уж... Мериканца лажу посмотреть.

— И я, брат... Чего-то он там накумекал.

— А слыхали, братцы, кузнечиха-то?.. Тю-тю!..

— Готово дело... Учительша теперича. Ха-ха!

Вольные поля лежали, поджидая снега. Скирды пшеницы высились горами здесь и там. Веселый, сытый народ шутил и, несмотря на хляби непролазные, хотя и с превеликой отборной руганью, хлюпал, не унывая. Только очень дальние, намучившиеся за длинную дорогу, обкладывали всяко и Модеста, и по уши обляпанных грязью лошаденок, и себя:

— Нелегкая-то понесла... Вот возьму, да и вывалю всех в грязь!.. Холеры.

Ребятишки оскорбленно мигали, куксились, бабы фыркали на мужиков.

Вот какой-то остановил лошадь и ну полоскать бабу по щекам:

— Летягу тебе смотреть?.. Летягу?.. Я те покажу летягу очень вкусную!

Та вырвалась и во весь рот заголосила:

— Вороти, коли так, назад! Не поедем! Вороти!!

— Как это — вороти?.. Здравствуйте!.. — остановился в недоумении мужик. — Эстолько места проехали да назад?.. Полудурок этакий... Садись, что ли! Ле-тя-а-га.

А народу прибывает, прибывает. Поскрипывают телеги, ругаются крещеные, свистят кнуты.

— Держи правей! Эй, шляпа!

* * *

Солнце в день ярмарки поднялось хорошее, красное. Загорелись золотом грязевые лужи, помолодела блеклая трава в полях, и недавний снежок на овражных склонах стал розовым. Угревно, тихо, от земли пар идет.

— Хы-х-хы. А Рукосуйшка-то, бродяга-то... Округовел, слышь! Две недели быдто бы не жравши высидел. Я, гыт, брюхо-то супонью стягивал, а то, гыт, летяга-то не вздымет... Барсук-барсуком теперя стал!

— А вот, все высмотрим... Хы, занятно, ерш те в хрен.

Кто припоздался, расположились под селом, зажгли костры, пшенную кашу варят, а другие — и баранину.

— Не прозевать бы. Где он взлетывать-то будет?

— Сказывают, с колокольни.

— Ну? А поп-то ничего?

— Из кынцыстории гумагу получил: допустить; и ежели удача — чтобы полный трезвон был и водосвятье.

— Ну? Эвона как обернулось!

И вскорости с луговины, из любопытствующего табора полилось по селу новое известие:

— Анхирей пожалал прибыть...

— Чего анхирей! Прокурат приедет с губернатором... Не говоря об анхирее.

— Вишь, в чем главная-то суть: золотая медаль выходит ему, мериканцу-то.

— Ври! Медаль, — гукнул чей-то бас, — разве чугунная, да пуда в три, вот это так.

— Кол ему осиновый в брюхо! Он всех чертей билизовал.

— И впрямь... Эвот сусекинского Митьку быдто опять лесовик водил.

— А в болотине, у кузни, леший кажинну ночь вроде как бык ревет, а нет — овцой. Чьи проделки?

Обедня на исходе, но в церкви негусто, боятся прозевать, возле топчутся большой бубнящей толпой.

Все нет и нет. Балаганы торгуют наславу; орехи, погремушки, пряники. А вот и с книжкой балаган: тоже народу куча.

Ударили во все колокола.

— Ишь, обедня отошла. Где ж он, чорт? В трактир бы чайку...

— Братцы! К кузне, к кузне!.. Начинается! — звенит неведомо чей голос.

— К кузне!!

— Как это к кузне? Сказывали, с колокольни быдто...

— Брешут! У кузни он... Штуку ладит...

Толпа, наступая друг другу на пятки и сшибая с ног, хлынула от церкви к заимке кузнеца.

Колокола весело трезвонили, светило ярко солнце. Кто-то взрявкал на гармошке.

— Ну, и веселая же жисть, братцы... Хи!..

— Чего веселей.

— Эй, бабка, брысь! Стопчу!

XIII

Весь яр у кузницы был покрыт народом, и внизу, под обрывом, до самых кустов стоял народ.

По осклизлому откосу, не жалея ног и одежды, карабкались любопытные. Все ближние деревья снизу доверху были унизаны голосистой детворой.

С обрыва видно озеро, кусты, кусок блестевшей речки, церковь и широкий луг от села с извивавшейся дорогой. Бегут, торопятся по дороге запоздалые. «Скорей, сейчас начнется!» нетерпеливо кричит им народ, посматривая то на кузницу, то на дорогу, по которой вот-вот примчится архиерей.

— Эвот-эвот, вылез!

— Выле-ез! Ааа... ооо!.. — загалдел, встрепенулся мир.

Из кузницы вышли Модест и Рукосуй. Кузнец волок по земле какую-то штуку, сеть не сеть, одежду не одежду.

Бродяга преобразился: усердно выскреб себя в жаркой бане, белый, неузнаваемый, как именинник, в продегтяренных чирках, в аккуратно заплатанной кацавейке. Брюха нет.

Модест был угрюм и мрачен. Кудластый, горбоносый, глаза — два угля, лицо в саже, рубаха ярко-красная.

— Чисто сатана... — отплюнулся кто-то, а старушечья рука перекрестилась.

Оба они уже были на плоской, покрытой дерном крыше. Под ними зиял обрыв.

Шеи бесчисленных зевак вытянулись, носы и бороды задрались вверх, к дьявольской кузне, рты жадно раскрылись, старики пустили слюни.

Модест ощупал толпу пристально тревожным взглядом. Палаша здесь, наверно здесь, в толпе — ведь сегодня разгульный ярмарочный праздник. Но его взгляд не отыскал

Палаши. И печальные, умилившиеся на минуту глаза Модеста вновь распалились угрожающим огнем.

— Чего, ребята, собрались? — зычно крикнул он толпе.

— Тебя смотреть.

— Меня? — его губы перекосила злобная, мстительная улыбка, ему хотелось выворотить с корнем стоявший вблизи кедр и ахнуть по толпе. — Меня? Ну, разглядывайте, когда не лень.

А бродяга, слезливо мигая, упрашивал:

— Дай, Модест, пожалуйста.

— Нет, не дам.

Бродяга кувырнулся в ноги:

— Дозволь ради Христа.

Толпа вся обратилась в слух:

— Гли-кось, гли-кось! Благословенья просит.

— Валяй, — едва заметно улыбаясь, сказал Модест суровым голосом. — Так и быть, лети.

Он быстро привязал ему крылья из бересты, надел какой-то балахон с четырьмя воловьими пузырями.

Толпа слилась в одно, застыла.

Лицо бродяги просветлело, белели зубы в изумленно открытом рту, грудь ходила ходуном, руки тряслись, и с ними трепетали крылья. Он повел глазом по горизонту.

— Садись вот на эту штуку, я привяжу тебя, — сказал Модест одеревяневшему бродяге.

Будь бродяга в твердой памяти, тотчас усомнился бы, на столь несуразную штуку он уселся — из каких-то салазок, корыта и двух лыж.

Уже к краю придвинул кузнец летягу — вот-вот и кончено.

Но в это время толпа заволновалась, загудела, голосисто загорланила:

— Стой, обожди! — все повернули головы к селу.

По дороге, нахлестывая лошадь, скакал верховой. Он раскачивался вправо-влево, словно пильщик, но держался крепко, — сильней летят брызги, ближе, ближе — машет шапкой, кричит:

— Стой, стой!!!

— Стоим и так! — захохотали веселые. — Эвона это кто. Старшина! Сам господин Оглобля!

— С гулеванья никак?!. Дернувши.

Весь запыхавшийся, длинный, худой, журавль-журавлем — старшина упал с коня на четвереньки, кой-как приподнялся и загрозил пьяными кулаками кузнецу.

— Стой! Не моги, слышь! Арестую!

Опять захохотал народ, захохотали деревья, улыбнулся и бродяга. Только Модест был суров и злобен:

— Расходись! Живо! Каки-таки узоры? Эй, где сотские, десятские? Расходись!

Пьяный крик старшины трещал и ломался, как лучина.

— Господин Оглобля, старшина... Ераст Панфилыч, — сдернул бродяга шапку, из-под шапки упал кисет. — Дозволь...

— Ты што за чертополох? — Оглобля был уже на крыше. — Рукосуишка, никак ты?.. Долой, мазурик!..

А толпа густо прихлынула к самой кузне и взывала неумолчно:

— Ераст Панфилыч, уважь. Дай свое разрешение.

— Ни в жизнь! — задирчиво крикнул старшина и, сильно покачнувшись, выхватил из-за пазухи бумагу: — От урядника... Эвот, приказ! Начальство я вам али не начальство?

Он самодовольно запыхтел, вдвое переломился над переставшим дышать бродягой, раскорячился и закинул руки за спину:

— Какое ты имеешь полное право, кобылка востропятая, а? Почему же это всяк сидит, к примеру, на твердом месте, а ты вдруг летать, а? — Он долбил Рукосуя длинным носом, журавлиные ноги дрыгали и гнулись, словно его дергали за хвост. — А ежели улетишь навовсе? А?!

Бродяга отчаянно захрипел:

— Я только кругом озерины раза три либо четыре облечу, да и сяду.

— Знаю я, куда ты сядешь-то... В Расею метишь, вот куда! По роже вижу!

И вновь загудел народ:

— Уважь, Панфилыч, для праздника-то — ува-а-ажь!..

А бродяга чуть не плача:

— Ты возьми, коли так, господин старшина, ружье, коли не доверяешь. В случае чего — стреляй! Поди, не утка я, как ни то, уцелишь.

— Десятский! — неожиданно крикнул старшина. — Завяжи ему, подлецу, в таком разе бельма! Чтобы видимости не было, чтобы в дальность расстояния, значит... Хы, занятно, пятнай тя черти...

И, махнув картузом, весело закричал на весь народ:

— Братцы! Так и быть, уважу. Ну, и вы меня, в случае ежели урядник, не выдавать чтобы!..

— Готово, что ли? — хрипит бродяга.

— Готово. Ва-ли-и-и! — ревет толпа.

Привязанный бродяга облегченно вздохнул и заерзал на своей летяге: вот-вот взлетит.

Оглобля цыкнул на него. — Стой! — скрива-накосо надел картуз, поелозил ладонями по сухопарым, забрызганным грязью бокам и обвел хмельным, помутившимся взглядом по-

терявшую терпение толпу. Потом, не торопясь, шумно высморкался и, махнув рукой, торжественно скомандовал:

— Пуш-ш-а-ай! Ну-ка-а-а!..

Бродяга размашисто перекрестился:

— Благословляйте.

Взмахнув раз-другой крыльями, бродяга турманом закувыркался под откос:

— Летит, летит! — во всю мочь закричал кузнец.

— И впрямь... Где?

Толпа заахала, заорала:

— Лети-ит!.. Летит!

Тонкими, пронзительными, как у галок, голосами загомонили деревья, ребятенки с гвалтом поскакали вниз:

— Где? Где? Дяденька, покажь! Это гагара; это птица. Он брякнулся!

— Лети-ит! — кричал кузнец, как сумасшедший, и тыкал рукою вперед.

И все до одного жадными глазами воззрились в небо, куда указывал кузнец, и всем явственно каза́лось: «Летит Рукосуй, летит».

— Дьява-а-ал!! Наза-ад!! — Обезумев от ужаса и подпрыгивая, как одержимый, бесился старшина. — Стреляй, ребята, стреляй! — Он выхватил у соседа берданку и грянул в белый свет. — Стреля-яй!!

Ребятенки и шустрые мужики с бабами мчались вдоль обрыва, дико орали: «Летит, летит!» — падали, сбиваясь в кучу.

— Стреляй еще... Пропала моя башка. Стреля-я-яй!!

— В кого? В тебя, что ли? Пьяный хрен!!

В это время диким чортом внезапно вырос на крыше Рукосуй. Весь в грязи, он держался за ушибленную шею, тряс башкой.

Толпа завыла, загудела, как в непогоду лес.

— Омманывать, сволочь?!

Бродяга, изловчившись, ударил кузнеца по скуле:

— Омманывать?!.

— Камедь?!. — взревел свирепо старшина и тоже хватил его ногой.

Модест сгреб их за опояски, приподнял, как набитые соломой мешки, перевернул вверх пятками: — Это за жену, это за издевку!! — и с раскатистым хохотом сбросил обоих под откос.

А на крышу карабкались меж тем, захлебываясь злобной пеной, одураченные мужики:

— Бросай его, братцы! Бей! Оплел нас всех...

— Прочь!! — цыганские глаза Модеста страшно выкатились. — Я вас звал сюда? За кой чорт лезли? Теперича квит!

У-ух, расшибу!!—он подпрыгнул и грохнул молотом по камню. Урча, брызнули в толпу осколки.

— Убил! Уби-ил!..

Мужики в страхе отпрянули и, словно большие лупоглазые лягушки, поскакали с крыши.

А внизу в тысячу глоток голосили:

— Анхирей, ребята!.. Эй, вы! Долой с кузни! Анхирей!

И толпа шарахнулась на луг, где действительно катила пара, певуче позванивали бубенцы.

Народ окружил взмыленных коней.

Сидевший в кибитке, весь желтый, с воспаленными глазами урядник простонал:

— По какому праву скопище?..

XIV

Модест сам не свой ввалился в избу. Ужасно хотелось есть. Обшарил все углы — пусто, ни корки хлеба. Посмотрел на кровать, на забытую Палашей коричневую с белыми цветками кофту. Грусть напала, непомерная тоска, досада. Он сел за стол.

— Поесть бы... — Безответный голос его звучал жутко, вызывающе. — Выпить бы...

Достал бутылку. Она была пуста. Размахнулся и грохнул ее об печь. Бутылка превратилась в соль. Модест оскалил зубы, захрипел. Схватил полено и со всего маху ударил в полку с посудой. С тревожным звоном, с жалобой звякнули-забренчали черепки.

Модест широко открыл глаза.

— Что же это я... Что же, господи? Зачем это?..

Он долго стоял, тяжело дыша и опустив голову.

Потом расхлябанной, усталой походкой направился к амбару. Дорогой говорил себе:

— Ничего, проживу... Поддаваться не след.

Когда откручил дверь и взглянул на крылатую свою машину, сразу полегчало на душе, а мало-помалу иссякла злоба.

— Родная... Настоящая моя.

Он внимательно и любовно осматривал каждый винтик, каждую струну. Вот у стены самокат, им изобретенный, вместо шин — тугие канаты. Взгляд его из растерянного и ожесточенного стал одухотворенным, сосредоточенным.

Осенний день еще не закатился, сквозь широкое окно в амбар вливался свет, кузница была за высоким сосняком, и что сейчас творилось там — Модеста не интересовало.

— Ну-ка, зачинай!

Он достал густо разведенный сурик и начал тщательно пришабривать поршень будущей машины. С жаром, с каким-то надсадным надрывом он принялся за работу: надо все смыть с сердца, надо вытравить, как ржавчину, всякую мысль о том, что было и прошло:

— Крышка!!

Под окном, на грубо сколоченном столе, навалены потрепанные, захватанные грязными руками чертежи, рисунки, вырезанные из картона шаблоны, чертежные инструменты, раскрытая книга «Механик-самоучка».

— Вот она, теория-то... И впрямь — без нее не полетишь.

Гордым взглядом посматривал Модест на всю эту премудрость, возносившую его над самим собою, а железные руки его безостановочно обделывали сталь. Кусок металла визжал и не давался, но упорство человека брало верх — капал пот с лица, и серебряным песком сыпались опилки.

* * *

Вдруг в дверь резко постучали:

— Эй, отопри-ка! Урядник требоват.

Модест через минуту, вместе с сотским, угрюмо шагал к селу. Ярмарка была там в полном разгаре: гармошка, говор, драка, шум. У балагана со сластями Палаша беззаботно пощелкивала орехи, Воблин чавкал пряники и сладко щурил на нее глаза. Толпа встретила Модеста враждебно. Гоготали, тюкали, оскорбительно посвистывали.

— Что, летяга, будешь народ мутить?

— Долетался до дела?

— Заместо неба-то — в острог?!

Модест сдвинул брови.

— Эх, народ! Темные вы души. — И с сердцем бросил, косясь через плечо: — Не с вами, горемычными, в небе летать!

XV

После жестокого оскорбительного допроса Модеста засадили в «чижовку», под замок.

Урядник ругательски изругал его, как последнюю собаку. «Ах, изобретать? А в бога веруешь? Знать, тебе в морду, подлецу, еще не попадало?!» Грозил судом, тюрьмой, и вот завтра угонят его по этапу в город: пускай.

Побуревшая кожа плотно обтягивала его скулы, в висках густо серебрилась седина, тело требовало покоя. Но дух Модеста был бодр, несокрушим.

— А все ж таки достукаюсь до точки, полечу!

Он лежит на усыпанных голодными клопами нарах. Его охватывает лихорадочная дрожь, щеки то вспыхивают, то холодеют, в ушах звенит, и стонет сердце.

— Нет, врешь! — грозит он тьме. — Модест Игренев полетит.

Там, на обрыве, его опустевший дом, холодная печь, овдовевшая кровать.

— Ничего, ничего... Это я стерплю, — спокойно сам с собой говорит Модест, но его сердце ноет пуще.

Ничего, ничего. Амбар. Крепкий замок железный. Под замком — чудо. Чудо! Вся жизнь Модеста, нет, больше — и жизнь и смерть!

— Господи ты боже мой, — по его лицу проплыла умиленная улыбка, вспыхнули глаза, он встал, шагнул к решетчатому оконцу и посмотрел в ту сторону, где сиротливо дремлет чудо-птица.

— Крылья! Эх, крылья! — он взмахнул руками и под напором охвативших его чувств радостно, громко засмеялся.

За окном глухая ночь темнела, и небо — в черных тучах. Но для Модеста был яркий день: светлая мечта сладко терзала его уставший мозг.

— Крылья!!

И грезится Модесту: огромная чудо-птица плавно поводит в воздухе белыми крылами, тугие струны гудят, поют. И уж не в силах Модест от радости вздохнуть, весь в огне, в порыве.

Вот он на высокой горе крутой, а внизу ждут не дождутся тысячи народа, настоящего, ученого: генералы, механики, заезжие немцы, купцы, кассиры, исправники и многое множество других людей. «Модест Петрович Игренев на собственной машине полетит, сам господин Игренев!» А сзади, там, где-то возле леса, сиволапая деревенщина торчит. «Ага, дружочки, что? Узнали?» А на отшибе, у зеленого кустишка... У-у, тварь! Нет, лучше не глядеть туда... Вот генералам невтерпеж: «Модест Петрович, господин изобретатель, нельзя ли поскорей...» — «Нельзя!» Модест нарочно медлит, красуется, пробует винты, оглаживает крылья: пусть ждут, он проморит их так весь день, всю ночь, пусть генералы ждут — не велика беда — ведь он изобретатель, знаменитый человек, он — на горе! Стойте, дожидайте.

И вот, когда Модесту самолично в мысли вступит, он расправит крылья белые, вспорхнет орлом и помчится навстречу всем ветрам небесным, круче, выше. И оттуда смачно плюнет вниз, на генералов, на купцов лихих:

— Тьфу вы все! Ползайте, рвите друг другу глотки, черти проклятые. Я — Модест! Русский большеголовый мужик! Я всё могу!..

Модест враз оборвал свой зазвеневший металлом голос и попятился: сквозь густую тьму ночи всколыхнулся отдаленный свет, там, на горе, у кузни. Ярче, шире, необузданней.

У Модеста сами собой подогнулись ноги, он грузно опустился на пол и застонал. Ему показалось, что сердце его пронзает острый, докрасна раскаленный нож, голова, как воск, плющится под ударами тяжкого молота, и кто-то гнусаво, заливисто хохочет ему в лицо.

— Горит... Амбар мой...

Он вдруг вскочил, высокий, страшный, и со всех сил загрохал руками и ногами в дверь, окрашенную отблеском пламени. Но мертво и глухо было, никто не отзывался, а дверь прочна: еще зимой крепко оковал ее сам Модест железом.

— Амбар... Машина моя... Что вы со мной делаете?..

И в первый раз за всю жизнь свою Модест Игренев заплакал горько, сумасшедше.

В это время, вольготно полеживая у костра на озерине, пьяный Рукосуй варил хлебово из украденного гуся и смотрел вверх, где полыхал во-всю горящий кузнецов амбар.

— Я те полечу, будь ты проклят, — ржал он нехорошим слабоумным смехом. — Я те полечу-у-у.

1919

ЧЕРТОЗНАЙ

— А вот честна компания, я весь тут: росту огромного, ликом страшен, бородища, конешно, во всю грудь. Я таежный старатель, всю жизнь по тайгам золото искал, скрозь землю вижу, поэтому и прозвище имею — Чертознай.

Ох, и золота я добыл на своем веку — страсть! Мне завсегда фарт был. А разбогатеешь — куда деваться? Некуда. В купецкую контору сдать — обсчитают, замест денег талонов на магазины выдадут, забирай товаром, втридорога плати. А жаловаться некому — начальство подкуплено купцом. Ежели с золотом домой пойдешь, в Россию, в тайге ухлопают, свой же брат варнак пришьет. То есть прямо некуда податься. И ударишься с горя в гулеванье, кругом дружки возле тебя, прямо хвиль-метель. Ну, за ночь все и спустишь. Конешно, изобьют всего, истопчут, с недельку кровью похаркаешь, отлежишься, опять на каторжную жизнь. Да и подумаешь: на кого работал? На купчишек да на пьянство. На погибель свою работал я...

Людишки кричат: золото, золото, а для меня оно — плевок, в грош не ценил его.

Например, так. Иду при больших деньгах, окосевши, иду, форс обозначаю. Гляжу — мужик потрясучего кобелька ведет на веревке, должно — давить повел. У собаки хвост штопором, облезлый такой песик, никудышный. Кричу мужику:

— Продай собачку!

— Купи.

— Дорого ли просишь?

— Пятьсот рублей.

Я пальцы послюнил, отсчитал пять сотенных, мужик спустил собаку с веревки, я пошел своей дорогой, маню:

— Песик, песик! — а он, подлая душа, «хам-ам» на меня, да опять к хозяину. Я постоял, покачался, плюнул, ну,

думаю, и пес с тобой, и обгадь тебя чорт горячим дегтем... Да прямо в кабак.

А было дело, к актерам в балаган залез: ведь в тайге, сами, поди, знаете, никакой тебе радости душевной, поножовщина да пьянство. А тут: пых-трах, актеры к нам заехали, был слух — камедь знатно представляли.

Захожу, народу никого, кривая баба керосиновые лампы тушит, говорит мне: камедь, мол, давно кончилась, проваливай, пьяный дурак. Я послал бабу к журавлю на кочку, уселся в первый ряд:

— Эй, актеры! — кричу. — Вырабатывай сначала, я гуляю сегодня. Сколько стоит?

Очкастый говорит мне:

— Актеры устали, папаша. Ежели снова — давай двести рублей.

Я пальцы послюнил, выбросил две сотенных, актеры стали представлять. Вот я пять минут не сплю, десять минут не сплю, а тут с пьяных глаз взял да и уснул. Слышу, трясут меня:

— Папаша, вставай, игра окончена.

— Как окончена? Я ничего не рассмотрел... Вырабатывай вторично. Сколько стоит?

— Шестьсот рублей.

Я пальцы послюнил, они опять начали ломаться-представляться. Я крепился-крепился, клевал, клевал носом, как петух, да чебурах на пол! Слышу: за шиворот волокут меня, я — в драку, стал стульчики ломать, конешно, лампы бить, тут набежали полицейские, хороших банок надавали мне, в участок увели.

Утром прочухался, весь избитый, весь истоптанный.

— Где деньги?! — кричу. — У меня все карманы деньгами набиты были!

А пристав как зыкнет:

— Вон, варнак! А нет, мы тебе живо пятки к затылку подведем.

Вот как нашего брата грабили при старых-то правах...

Одначе, что ни говори, я укрепился, бросил пить. Два года винища окаянного ни в рот ногой, золото копил. И облестила меня мысль-понятие к себе в тамбовскую деревню ехать, бабу с робенчишком навестить. Ну, загорелось и загорелось, вынь да положь. Сел на пароход, ду-ду-ду... — поехали. Через сутки подъезжаем к пристани, а буфетчик и говорит:

— Здесь село веселое, девки разлюли-малина. На-ка, разговейся. — И подает мне змей-соблазнитель стакан коньяку.

подает другой, у меня сердце заиграло с непривыку. — Золото-то есть у тя? — спрашивает.

— Есть, Лукич... Много. На, сохрани, а мне выдай на разгул тыщенку. — Отдал ему без малого пуд золота в кожаной сумке, суму печатью припечатали; отсчитал он мне пять сотенных, говорит: «На пропой души довольно».

Вылез я на берег, окружили меня бабёшки да девчата, одна краше другой, ну прямо из-под ручки посмотреть. А у меня все персты в золотых, конешно, кольцах, четверо золотых часов навздевано, на башке бобрячья шапка, штанищи с напуском, четыре сажени на штаны пошло, из-за голенищ бархатные портянки по земле хвостом метут аршина на два. Как вскинул я правую руку, да как притопнул по-цыгански: — Иэх, кахы-кахы-кахы. — Тут девки-бабы целовать меня бросились... Я расчувствовался благородным обхождением, пальцы послюнил, сотенную выбросил:

— Эй, бабы, парни, мужики, устилай дорогу кумачом. Веди меня к самому богатому хозяину. Айда гулять со мной...

Зачалось тут пьянство, поднялся хвиль-метель. Я требую и требую. А богач-мужик и говорит:

— Да чего ты бахвалишься?.. Есть ли у тя деньги-то?

Расчесал я пятерней бородищу, гулебщики под ручки повели меня, я иду, фасон держу, великатно на обе сторонки кланяюсь. А богач-мужик пронюхал, низкие поклоны с крылечка отвешивает, пожалуйте, мол, гостенек, разгуляться.

Вот ввалился я с дружками в избу, горланю само громко:

— Редьки, огурцов! Шан-пань-ско-ого!..

Я хлоп по карману — пусто, обобрали. Я — «караул, караул!» да в драку. Богач-мужик обозлился, выставил меня на улку. В крапиве проснулся я в одних портках. И пароход ушел, и золото мое вор-буфетчик с собой увез.

С недельку покашлял я кровью, да опять назад в тайгу. Долго после того я грустил, непутевую жизнь свою стало жалко. Эх, дурак-дурак!.. В одночасье голым стал. Ведь два года маялся. Два года! Хотел на родине доброе хозяйство завести, человеком сделаться.

И вот прошел в народе слух, будто бы на приисках какая-то советская власть желает укрепиться. Я опять заскучал. А вдруг, думаю, при новой-то власти хуже будет... Дай, думаю, с горя напьюсь да учиню порядочное безобразие. А уж зима легла.

Велел ребятам воз кринок да горшков купить, велел кольев по обе стороны дороги понатыркать, а на каждый кол по горшку надеть, как шапки. Взял оглоблю в обе руки, а сам в

енотовой, конешно, шубе, иду будто воевода к кабаку, да по горшкам оглоблей:

— Раз, раз! Эй, ходи круче! Сам Чертознай гуляет. Бей в мелкие орехи! Раз, раз!

И как закончилось мое гулеванье, очутился я в снегу, весь избитый, весь истоптанный.

Долго ли пролежал я, не знаю, только очухался в чистой горнице, тепло, на кровати на мягкой лежу, как барин, на столике разные банки с лакарствием, и башка моя рушником обмотана. И сидит предо мной душевный человек, и капает капли в рюмку, и подает мне:

— Пей.

Гляжу: лицо человека тихое, благоприятное, бритый весь, по обличию сразу видать — человек ума высокого.

— Пошто ты со мной валандаешься, — говорю ему, — ведь денег у меня нет.

— А мне твоих денег и не надо, — говорит.

— Врешь, врешь, приятель! Я-то знаю, раз у меня денег нет, ты меня выбросишь вон, здесь все так делают, человек хуже собаки здесь.

— Ну, а мы по-другому,— отвечает он,— советская власть рабочим человеком дорожит, рабочий — брат наш.

— А вы кто такие будете?

— Я секретарь, советской властью сюда прислан добрые для рабочего люда порядки заводить.

— А где же я, будьте столь добры, лежу?

— В моей комнате. Я тебя, товарищ, в сугробе подобрал, боялся — замерзнешь ты.

— Так пошто же ты подбирал-то меня?! Я уж сказал тебе: денег у меня нет, оглох ты, что ли...

А он только улыбнулся да рукой махнул.

У меня аж борода затряслась, слезы подступили: хотел вскочить, хотел в ноги ему бултыхнуться, да он удержал меня и говорит:

— Только пьянствовать, старик, брось. А то — гроб тебе.

— Брошу! — закричал я. — Честное варнацкое слово — брошу! Да оторвись моя башка с плеч! Ведь умирать-то дюже неохота, робенчишка жалко, робенок у меня на родине остался, Ванькой звать, матка спокинула его, с посторонним человеком снюхалась...

А он мне кротко:

— Поправляйся, ребенка обязательно выпишем.

«Ох, ты, ох, — думаю, — какие добрецкие люди на свете есть». А секретарь мне:

— Вот отдохнешь, становись золото мыть. Я слышал — ты большой этому делу знатец.

— Нет, — отвечаю, — ослобони, товарищ секретарь. Я на

золото шибко сердит теперь, чрез него горе одно видел в жизни. Да будь оно трижды через нитку проклято! Погибель моя в нем.

И оставил меня секретарь при себе: месяц прохворал я, потом стал вроде посыльного, стал струмент выдавать, да на кухне кой-какой обедишко готовить, ну и... по махонькой, конешно, выпиваю в тайности, а иным часом и подходяще дрызнешь. Секретарь придет, принюхается, я рыло в сторону ворочу, дышать норовлю умеренно, а он, миляга, все-таки приметит, что я окосевши, и учнет, дай бог ему здоровья, пропаганд против меня пущать, учнет стыдить меня, политике вразумлять. Да не одного меня, а всех. По баракам ходит, везде пропаганд ведет. От этого вскорости я в ум вошел, начал понимать, кто друг нашему брату трудящемуся, кто враг.

А работы уж развернулись на широкую, купчишки разбежались, везде порядок, пьянство на-нет сошло, золото в казну старатели сдают, харч хороший, словом — со старым не сравнишь.

И стал я подумывать, как бы мне советскую власть отблагодарить.

Полгода прошло. Лето наступило. Секретарь и говорит:

— На вот тебе получку, иди погуляй, культурно развлекись.

Я сметил, что секретарь проверку хочет мне сделать... Ох, хитрец... Я пальцы послюнил, пересчитал деньги, иду, не торопясь, поселком, иду, любуюсь: все наше, все советское. Кооператив торгует, десять новых бараков большущих, народный дом огромнейший под крышу подводят. Постоял, поглазел, поскреб когтем бороду.

И понесли меня непутевые ноженьки в кабак.

«Ах, — думаю, — что же это я, варнак, делаю. Ведь замест культурности я винищем, конешно, обожрусь». И начал сам с собой бороться. Вот схвачусь-схвачусь за скобку, да назад. У самого слюни текут, а все-таки борюсь. Ну, борюсь и борюсь...

Глядь — бригада комсомольцев идет на работу, батюшки — рогожное знамя у них. На рогоже буквищи: «П о з о р!» — и дохлая ворона повешена. Прииcкатели в хохот взяли их:

— Эй вы рогожнички! — кричат, присвистывают, изгаляются всяко.

Ах, мать честная! Жалко мне стало молодежь. Парни все работяги, совестливые. Посмотрел на них, подумал: вот ребенок мой приедет, подрастет, обязательно в комсомол определю. Увидели меня ребята, гвалт подняли:

— Дядя Чертознай! Опозорились мы. Бьемся, бьемся, а все впустую... Смекалки еще нет у нас. Помоги! Бригадиром нашим будешь.

А кобылка востропятая, прискатели, насмех подняли меня:

— И чего вы, рогожники, к Чертознаю лезете? Он забыл, как и кайло-то в руках держать. Будет землю рыть, ногой на бороду себе наступит.

Задели они меня за живое, осерчал я, выхватил рогожное знамя, взвалил на плечи, скомандовал:

— Комсомо-о-лия! Айда за мной, малютки.

И повел прямо в тайгу, хотелось мне сразу их на золотое место поставить, было у меня на примете такое местишко сильно богатимое, да с пьянством забыл я — где оно.

Вот придем-придем, начнем шурфы рыть, я покрикиваю:

— Давай-давай-давай, малютки!

Парни до седьмого пота преют, языки мокрые. Нет, вижу, что не тут.

— Айда на новое место! — командую.

Так и бродим по тайге, ковыряем породу, а толку ни беса лысого. «Ах, — думаю, — старый дурак, пропил память». И ребята приуныли. Ну, я все-таки подбадриваю их:

— Солому ешь, фасон не теряй, малютки!

И стал я, братцы, с горя сильно пить, у спиртоносов водки добывать. Ой, грех, ой, грех... Так протрепались мы по тайге почем зря боле месяца.

И случилось, братцы мои, вскорости великое чудо-чудное. Как-то выпивши лежу ночью под елью, малютки храпят, намаялись, сердешные, а мне не спится. Вдруг, как в башку вложило, вспомнил. Ну, прямо вижу явственно: вершинка Моховой речушки, огромадный камень-валун, да кривая сосна развихлялась в три ствола... Вскочил я, загайкал, как лесовик:

— Го-го-го-го!.. Вставай, малютки, пляши! — И припустился возле костра в пляс. Комсомолия продрала глаза, спросонья закричала:

— Батюшки! Чертознай с ума сошел.

Одним словом, мы чем свет то место разыскали: вот он камнище, вот вихлястая сосна.

Я наклонился, рванул мох, — золото!.. Наклонился, рванул, — золото! Ребята принялись, как копнут где — золото!..

Вот ладно. Оставил их, говорю:

— Шуруй, малютки. Обогатим советскую власть. Давай-давай-давай! — А сам, дуй на стой, на прииск.

Секретарь повстречал меня:

— Чертознай! Куда ты запропастился? Скоро торжество у нас, народный дом открываем.

— Молчи, молчи, Петрович, — по-приятельски подморгнул ему и спрашиваю. — А робенчишка-то моего выпишешь?

А он:

— Деньги посланы, ребенок твой едет.

Я возрадовался, да шасть в цырюльню. Командую цырюльнику:

— Бороду долой, лохмы на башке долой!.. Чтоб личность босиком была, как у секретаря... Катай!

Цырюльник усадил меня в кресло, а мальчонке крикнул

— Петька! Мыла больше, кипятку. Приготовь четыре бритвы! — И начал овечьими ножницами огромаднейшую бородищу мою кромсать да лохмы. Он стрижет, Акулька подметает. Я взглянул, батюшки! — целая корзина, стогом, да из этой шерсти теплые сапоги можно бы свалять. Оказия, ей-богу... И пыхтел цырюльник надо мной с лишком полтора часа. А как воззрился я в зеркало, ну, не могу признать себя и не могу. Дурацкий облезьян какой-то... Ну, до чего жалко стало бороды...

Цырюльник полюбопытствовал:

— Уж не жениться ли задумали?

— Нет, — отвечаю, — не жениться, а молодым хочу быть. Ведь я с комсомолией работаю. Не с кем-нибудь, а с комсомо-о-лией! К тому же скоро робенок должон ко мне прибыть.

— Ваш собственный-с?

— Да уж не твой же. На, подивись, — тут я вынул, конешно, из кисета карточку.

Цырюльник поглядел, сказал:

— Да это же совсем грудной ребеночек.

А я ему.

— Ну, теперь он подрос, конешно. А у тя ладиколон есть? Облей мне лысину, чтоб культурно воняло.

И вот, слушайте, братцы мои, начинается самое заглавное. Вот, значит, входим в народный дом. Кругом флаги, аплакаты, музыка. Народищу — негде яблоку упасть, на сцене за столом — начальство. У меня, конешно, рогожное знамя в руках, я команду подаю:

— Комсомолия, шагом марш! Ать-два, трах-тарарах. Ать-два, трах-тарарах. Ать-два. Стой!

Секретарь взглянул на меня, на облезьяна адиотского, удивился:

— Чертознай! Ты ли это? А где ж борода?

Я схватился было за бороду, действительно не оказалось, и сказал:

— Отсохла, Петрович! Ну, товарищ секретарь, а мы к тебе с подарком. Я свое место заветное нашел. Новый богатимый прииск. — Тут обернулся я к ребятам: — Комсомолия, вперед! Ать-два! Давай-давай-давай, малютки! Мишка, шуруй золото на стол!

И зачали мои парни золотые самородки на стол валить. Тут все в ладоши забили. А я залез на сцену, само громко закричал:

— Я всю жизнь, робята, хуже собаки маялся, купчишки обсчитывали меня, тухлятиной кормили, начальство по зубам било, и выхода мне из тайги не было. Не было! Я озлобился, пьяницей горьким стал, в сугробе едва не замерз, так бы и подох. А кто спас меня, кто меня в кроватку уложил, кто лекарствием отпаивал, кто уму-разуму учил? А вот кто: секретарь. Он первый... первый... за всю жизнь человека во мне увидел. Советская власть первая... на хорошую дорогу меня поставила. Да что меня — всех!

Опять все в ладоши стали хлопать, а я не вытерпел, скосоротился, заплакал. Утираю слезы кулаком да бормочу:

— Сроду, мол, не плакивал, а вот... от радости, от радости. Всю жизнь с великой печали пьянствовал, дурак... Ребра поломаны, печенки-селезенки отбиты... А вот зарок дал, не пью теперича...

Секретарь заулыбался, вопросил:

— Давно пить-то бросил?

— Вторые сутки не пью! Шабаш.

Народишко засмеялся, а секретарь и говорит:

— Товарищи! Давайте премируем Чертозная хорошей комнатой, шубой да часами, а бригаду комсомольцев знаменем почета. Как звать тебя?

— Чертознаем звать, — отвечаю.

— Это прозвище. А как имя, как фамилия?

— Забыл, товарищ секретарь.

— Как, собственное свое имя забыл?

— Вот подохнуть, забыл. Леший его ведает, то ли Егор, то ли Петруха. Тут слышу: в задних рядах ка-а-ак громыхнут хохотом, как закричат:

— Чертознай! Чертознай! Робенок к тебе прибыл.

И вижу, братцы, диво: посреди прохода прет к сцене лохматый, бородатый мужичище, вот ближе, ближе... Я воззрился на него, да так и обмер: ну, прямо как в зеркало на себя гляжу, точь-в-точь — я: бородища, лохмы, рыло, только на четверть пониже меня, сам в лаптях, и на каждой руке по робенку держит. А за ним краснорожая баба в сарафане... «Батюшки мои, думаю, виденица началась, самого себя вижу, ка-ра-ул...» А он, подлец, к самой сцене подошел, да гнусаво этак спрашивает:

— А который здесь Чертознаем числится?

— Я самый, — отвечаю. — А вы, гражданин, кто такие будете?

А он, подлец, как заорет:

— Тятя, тятенька! — да ко мне. — Я глаза, конешно, вытаращил, кричу:

— Ванька! Да неужто это ты?

— Я, говорит, тятя. Со всем семейством к тебе, вот и внучата твои, Дунька да Розка, два близнечика.

Я от удивления присвистнул: с пьянством все времячко кувырком пошло.

— Вот так это робено-ок — говорю.

А он, варнак, улыбается во всю рожу, да и говорит:

— Вырос, тятя, — и целоваться ко мне полез, ну, я легонько осадил его:

— Стой, робенок! Еще казенные дела не кончены. А не помнишь ли ты, Ванька, как звать меня?

— Помню, тятя. Вавила Иваныч Птичкин.

— Верно! Птичкин, Птичкин, — от радости заорал я.

А миляга-секретарь зазвонил и само громко закричал:

— Давайте, товарищи, назовем новый прииск именем Вавилы Птичкина, то есть — Чертозная. Почет и слава ему. Ура!

Тут все вскочили, ура-ура, биц-биц-биц, музыка взыграла, барабаны вдарили, а комсомолия качать меня принялась. Я взлетываю, как филин, к потолку, да знай покрикиваю:

— Давай-давай-давай, малютки!

1937 г. Пушкин

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

I

Осень. Лист поблек, наполовину облетел, и заря за рекой цвела холодной бледнозеленой сталью.

Сон еще далек, деревня вся в вечерних хлопотах: бабы доят коров — пахнет молоком, — запоздалые девьи руки торопливо доканчивают нудную работу — мялка деревянно стучит вот у тех ворот, и травянистые стебли льна превращаются в пепельно-серые волокна. Воздух свеж, стеклянен, и стеклянна река, на студеном стеклянном небе вспыхнули бледные точки звезд, и мутно-белый туман зачинается у померкших берегов. Через туман, через стеклянную гладь остывших струй тоскливо маячит на том берегу огонек. Это в бывшем барском доме, в конторе управляющего совхозом дали свет. Слышен призывный звон колокола: рабочий люд спешит на казенный ужин. В деревне неизвестно на кого, просто по привычке, лает собачонка. В избах зажигаются огни.

— Ванька, пей!.. Мишка, наливай.

Терентий пьет с двумя сыновьями самогон.

Время осеннее, хлеб есть, и червячище в брюхе сосет нутро. Мужичья душа о чем-то тоскует, и вот душе радость: пей.

— Ванька, наливай!.. Мишка, сыпь еще...

Терентий — нескладный, как медведь, нос у него большой, борода большая, рыжая с темным, и волосы на прямой пробор закрывают уши, он красен, крепок.

Жена Терентия, тетка Афросинья, хотя моложе его на пять лет, но в сравнении с ним старуха. Угловатая, сухая, сутулая, правый глаз в кровоподтеке, заплыл, левый — с ненавистью и неизъяснимой скорбью смотрит на гуляк.

— Не можете, пьяницы, загородки теленчишку сделать. Он перемахнул, да всю корову высосал. И жрать нечего будет, — брюзжит она на ходу.

— А-а, — надувается мужик. — Опять медведица из берлоги выползла?!

— Мамка! — кричит старший, Михаил. — Уходи, мамка.

— Уйду, уйду, — сморкаясь и кривя рот, уходит Афросинья с пойлом. — Должно, скоро уж на погост потащите.

Терентий с силой бросает ей вслед подвернувшийся молоток. За дверью слышно, как она скатилась с лестницы и воет в голос.

Пьяный пятнадцатилетний Ванька гыгыкает идиотским смехом и тянет:

— Мим-мо вд-а-рил... Мамку надо дуть... Ругается... — Его шелковые светлые волосы взлохмачены, под большими белесыми глазами темные круги. — Тятя... Тятинька... — бормочет он. — Я тебя люблю.

— И я, — шершаво говорит отец. Он приподымает Ваньку за волосы и целует в губы.

— А меня не любишь, тять? — грузно наваливается на них восемнадцатилетний Мишка и обнимает их за шеи. — Не любишь?

— Люблю... А ну, робенки, запоем.

И вот нескладно, вразброд громыхает пьяная песня. Кот открыл глаза и поводит ушами.

А за окном голубовато-желтый лунный свет... И через озаренные луной поля и перелески в этот чуткий и звонкий предночной час слышен ритмический далекий грохот железа о железо — свисток паровоза, и грохот на минуту смолк.

— Миш! А ну, балалайку... Сыпь!

И стены трясутся от топота пьяных ног.

Афросинье страшно итти домой, замерла, дрожит... Постояла в раздумьи, погладила корову и поплелась к брату за три избы. Брат сурово сказал:

— А ты не задирай... Ишь ты...

И покосился на сестру.

— Не знай, у кого и защиты просить, — захлюпала Афросинья. — В исполком ходила — погнали вон. К батюшке ходила — отступился. Как, говорит, я его пойду, бусурмана, улещать, раз он безбожник стал. К кому итти?

И голова ее затряслась.

— Домой, вот к кому! — крикнул с палатей брат.

Афросинья повалилась на колени:

— Братец желанный, одна ты защита у меня... Дай подмогу... Детей, изверг, науськивает: «Бейте, — говорит, — ее, ведьму, я в ответе». Вот он какой. Ой, руки на себя наложу. Нечистики меня смущают: как лягу спать, и почнет, и почнет... Ой ты, головушка моя...

— Не вой, Афросинья, ну тя к ляду...

И брат слез с полатей.

— Что они делают на самом-то деле? Опять били, что ли?

— Вчерась били. Как хлобыснул мне в ухо сам-то, о сю пору звон идет... Просто не слышу ничего, оглохла. И головушка трясется, остановить не могу.

— Эки дьяволы, — пробасил брат и полез в жарадок за горячим для трубки угольком.

Его жена месила квашню.

— Не ты первая, не ты последняя, — сказала она, обирая ножом с голой руки тесто. — А меня, думаешь, милует? Все они хорсши... Слышишь, Макар?!. Чорт... дьявол...

Голос ее звенел задирчиво, но Макар, повернувшись к ней спиной, чесал зад, рассматривая свою лохматую тень на стене, и спокойно попыхивал трубкой.

Афросинье от этих слов хозяйки сделалось легче: обида стала утихать, и звон в глухом ухе оборвался.

— Прощайте, — сказала она. — Поплетусь.

Придя домой, Афросинья осторожно отворила скрипучую дверь и на цыпочках прошмыгнула за занавеску к печке. Мишка и Терентий сидели за столом, обнявшись за шеи, и пьяными голосами орали друг другу в рот:

Ты-ываспо-о-ой васпой жи-аварооночи-ик,
Виесной си-идючи-и на-а прота-а-линки-и...

А Ванька валялся под столом и храпел.

Афросинья кое-как перекрестилась и устало легла на шубу к сундуку. Ужасно хотелось спать, и только закатила глаза: топоры, кровь, веревка, омут. Она творит молитву, крестится, но кулаки, бороды, оскаленные рты гогочут над ней, грозят, и плещет у берегов черная волна. «Эка жизнь тебе... Прыгай. Тут глыбко, глыбко...»

...Чи-ирез те-омный ле-ес...
Чре-э-ез дрему-у-у-чий бо-о-о-ор...

— Ангели, архангели, — шепчет в вязком, как глина, полусне Афросинья. — Не дайте нечистикам душенькой моей завладать...

Но петля в овине перекинута, и какой-то незнакомый зубоскал сам сует в петлю свою голову, смеется... «Видишь, очень даже легко. Чего ж ты?» Афросинья бежит прочь, отмахивается руками, и в красных сапожках, в красной рубахе, с красной рожей гонится за ней — земля дрожит, — «пей... отрава... так и так не жить тебе, сиротине», — и сует ей в горло холодную, как змея, бутылку, — «пей». Афросинья вскакивает и хватается за сердце.

«Пей!»

«Ага, не лю-юбишь?.. Гыгыгы... Тятя, наливай ему в рот...»

«Доржи! Разжимай. Ширше!..»

И тяжкий темный сон продолжается.

«Гыгыгы...» — ухает нечисть.

И та же ночь. Месяц, лес. В лесу стол, на столе покойник. «Это мой Ванюшка», — обомлела Афросинья.

«Гыгыгы...» — пугает нечисть.

А мохнатые пни замахали корнищами и с треском, вперреверт, к покойнику:

«Доржи... Ширше...»

«Гыгыгы...»

Покойник затряс головой, захлебнулся, открыл глаза. Открыла глаза и мать. Крикнула:

«Окаянные! Обопьется он. Отравите... Душегубы!..»

Пни взмахнули корнищами:

«А, медведица!..»

«Тятя!.. Мочаль ее...»

И петля, и омут, и тот краснорожий в красных сапогах:

«Бей!!»

Афросинья завизжала, грохнулась, отлетела в угол, поднялась на воздух, стукнулась головой о потолок, о дверь, дверь скрипнула:

— Это что... Отец! Брат!

Но она не слыхала.

Красноармеец сорвал с плеч торбу и шагнул к отцу.

— А-а, Петрунька... — попятился тот к стенке. — Здрасте... В побывку? Даже неожиданно...

Красноармеец сжал кулаки, разжал, сел на лавку, обхватил руками голову, вздохнул всей грудью.

И Любовь Даниловна сладостно вздохнула там, за рекой, в совхозе.

Над совхозом, над полями и над всей землей проплывала голубая ночь, туман над рекой сгущался, сгущалась у закрайков вода — утром зазвенит ледок; травы, крыши, камни пушнели инеем, как белым мохом, собачонка давно смолкла, погасли огни, и вот Любовь Даниловна собрала колоду карт и завернула лампочку. Она ляжет спать при лунном свете — все голубеет в ее комнате — и долго будет мечтать о нем, далеком. А далекий близко, здесь.

II

Дул свежий ветер, обрывая и крутя пожелтевший лист.

Солнце указывало полдень, и молодая светловолосая конторщица поставила самовар на белую скатерть.

— Так неужели вы совсем?

— Совсем, — сказал Петр Терентьич.

— Очень хорошо... Ах, как это хорошо. Ну, давайте чай пить!.. Погодите, я вас сыром угощу, ведь у нас в совхозе сыр делают.

Петр Терентьич огляделся по сторонам: так чисто, уютно в этой маленькой комнате; в золоченых рамах старинный портрет генерала, картины, трюмо, на лежанке канделябры.

— Это все казенное, из барского дома, по описи, — как бы оправдываясь, сказала она.

— Я знаю... Я только...

И он нахмурил лоб. Ему вспомнилась своя родная изба, темная и мрачная, пропахшая столетней деревенской вонью, вспомнилась вчерашняя встреча с отцом.

— Пейте, пожалуйста... Отчего вы такой грустный? Отец? Слышала, слышала... Это безобразие, какое пьянство идет по деревне. Скандалы, ругань, жен бьют. Наш заведующий хотел даже арестовать вашего родителя... Ну, расскажите, как вы? Как там, в Питере?

— Да что ж, хорошо, — невесело ответил он. — А главное, меня берет забота о матери...

— Да, конечно,— думая о другом, проговорила она, глаза ее были устремлены куда-то вдаль. — А в театры часто ходили? Ах, расскажите, Петр Терентьич!

— Да, ходил и в театры. Редко только... Я думаю, много неприятностей мне предвидится в моей семье.

— А какие же вы пьесы видели? Расскажите, миленький... Я так... я так здесь...

— Разные пьесы. И кинематографы. — Он взглянул с упреком в ее загоревшиеся глаза. — Я больше митинги любил да лекции... У нас в казармах, другой раз... Да... Уж вы простите, Любовь Даниловна. Я вот все докучаю... про свои болячки семейные. Уж извините...

— Пожалуйста, что вы, ведь я же вам сочувствую и понимаю вас.

— Боюсь за себя, — вздохнул он. — Как бы промежду отцом и мной чего не вышло. Очень крупно говорили мы... А мать моя совсем больная, за эти два года состарилась, едва узнал ее. Оглохла... Ах, как худо, Любовь Даниловна.

Они пробеседовали так очень долго. Она сказала ему, что теперь уж не до идей, она учительство бросила, чтоб не умереть с голоду: здесь все-таки паек и теплый угол.

— Может, и вы бы толкнулись к заведующему, — авось, местишко найдется...

Петр Терентьич взял у нее тургеневские «Записки охотника» и направился в бывший барский дом.

Управляющий, чернобородый, в очках, человек, встретил его радушно, обещал небольшое местишко.

— А ты вот что, Петр,— сказал он.— Ты семью свою как не то урегулируй. А то я возьмусь.

Петр Терентьич пошел по знакомым крестьянам.

Его крестный, высокий, крепкий мужик лет пятидесяти, расцеловался с ним и повел показывать свое хозяйство: вот эта корова Красуля получила премию на местной выставке— десять пудов жмыху. А это новый жеребец, свой, доморощенный.

Крестный схватил поводья и побежал с жеребцом по улице. Ветер трепал его бороду, крутил хвост и гриву гнедого жеребца. Жеребец бил в воздух задом или всплывал на дыбы, храпя.

— Тпрру!.. Видал, каков! На будущий год на выставку.

Хозяин весь сиял довольством. Лицо его было гордо и самоуверенно, голос громок, движения размашисты и быстры.

«Вот с таким Русь не пропадет», — подумал Петр Терентьич.

— А это что, пятистенок-то рубишь, для себя?

— Сына женю, — сказал крестный. — Ему. На хутор выделю. Сам тоже на хутор лажу. Вольготней. Нас артель, мужиков пяток, молодец к молодцу, непьющие... Хозяйственники. От этой сволоты, от пьяниц, надо дальше, дело будет... Тпрру, леший ты!.. Ну, как там у вас в Питере? Мозгуют? Войны не предвидится? А объясни, друг, что это за червонец за такой? Бумажный? Ха! Да пойдем в избу... Пойдем, убоинкой свежей угощу, боровка заколол...

Крепкий дом его весь обсажен деревьями, кругом чисто, усыпано желтым песком. Рдела рябина. Петр Терентьич подпрыгнул, отломил ветку и бросил целую горсть спелых ягод в рот.

Они подымались по лестнице, только что вымытой и покрытой домотканной дорожкой.

— Неужто все это будешь ломать, крестный? На хутор-то...

— Буду. Русь ломали, не боялись, раз добро предвидится. А изба — пара пустяков.

— Трудно.

— А руки-то на что! У меня два сына. Слушай-ка, крестничек... А что насчет каператива скажешь? Давай-ка хлопнем сообща!.. Ух, делов, делов теперя... Вот, бабы, крестничка привел... А ну-ка живой рукой на стол. Садись, гостенек дорогой... Теперича сказывай подробно, как и что...

III

Медведеобразный Терентий первые три дня по приезде сына впрягся в работу.

Он с утра уходил молотить с Мишкой и Ванькой, на ночь топил ригу. Обедали и ужинали все вместе. Афросинья лежала, ей подавали пищу на сундук. Отцу, видимо, было стыдно, не разговаривал с Петром, только вздыхал и оглаживал бороду. Молчали и братья.

— Отец, — сказал Петр за ужином. — Вот ты теперь трезвый. Предупреждаю: мать не бей.

Афросинья, должно быть, услыхала, всхлипнула и заохала.

— А что будет? — насупился отец.

— Будет плохо.

Отец засверкал глазами, бросил ложку, гневно сказал:

— Ежели всяка тварь учить начнет, лучше на свете не жить.

Петр смолчал. Сыновья улыбнулись. Петр сказал:

— А на вас-то, молодчики, расправа найдется у меня скорая.

— А что сделаешь нам, Петька? — спросил Михаил вызывающе.

— Мы тя вздрючим... Только полезь!.. — подхватил Ванька.

Петр опять смолчал. По лицу пробежала тень. Вилка тряслась в его руке и тыкала мимо картошки.

— Большевик, чорт, — пробубнил отец. — Приехал на готовенькое-то жрать. А туда же, грозит. Сволочь.

Чуть вздрагивая бровями, Петр сказал:

— С ваших хлебов я уйду. Не объем. А кто будет мать мою истязать, тому место за решеткой в городе приготовлено...

Отец сипло задышал и треснул кулаком в столешницу, но, взглянув в лицо сына, сразу осел: лицо Петра было бешено холодное, и стальные глаза, в упор и не мигая глядевшие на Терентия, полыхали мстительной решимостью. Лоб и щеки отца покрылись потом. Братья разинули рты. Петр стал бледен, как мертвец. Зубы его скорготали. Он поднялся, накинул шинель и вышел.

Его била нервная дрожь. Он быстро шагал через огороды к лесу. Всходила луна, опять тявкала собачонка. Пахло самогоном и начавшей подгнивать мертвой листвой. В соседней риге светился огонь, и слышался веселый смех детворы, собравшейся печь картошку. Но все это смутно проплывало в сознании Петра, он напряг всю волю в борьбе с охватившим его смятением. Чувство зверя, которое он ощутил в себе,

мучило его. Он понял, что его отец враг ему, враг сильный, железный, но его надо сломить.

Петр повернул к реке.

За рекой, как и всегда по вечерам, горел в заветном окне огонь.

— Простите, Любовь Даниловна, я к вам. На минуточку.

Девушка обрадовалась и, отложив шитье, сказала:

— Ах, как это кстати. Мне ужасно что-то тоскливо сегодня. Давайте читать. Присаживайтесь.

— Лучше давайте говорить, — сказал Петр. — Мне тоже скучно.

Сидели и молча глядели друг на друга. В сущности он пришел сказать ей, не согласится ли она быть его женой. Эта мысль пришла ему внезапно, в то время, когда он пробирался сюда сквозь заглохший барский сад.

— Наступает осень, — сказала она задумчиво, — и в деревне так грустно, особенно зимой. Я ведь городская. Революция загнала меня в ваше болото. Впрочем, вы знаете.

— Мне управляющий предложил место кладовщика, — сказал он. — Думаю, что справлюсь. А я вот о чем...

И он замялся.

Она поглядела в его открытое, с небольшими усами, лицо, на крепкие жилистые кисти рук и, ничего не угадав, спросила:

— Ну, как у вас в семье?

Он безнадежно махнул рукой и уставился взглядом в темный угол.

— Я категорически заявил отцу. Не знаю, что выйдет, — сказал он, помолчав. — И понимаете ли, Любовь Даниловна, вот сидишь дома, и как-то все не то, словно среди врагов. Вот, думаешь, вскочат и убьют...

— Ну, с чего это. Что с вами? Вы расстроены?.. Погодите, я вам валерьянки дам.

— Не валерьянки мне надо. Не валерьянки!

— А что же? Вы нездоровы, у вас озноб.

— Да, озноб, — проговорил он, весь передернулся и засопел. Нужное слово не сходило с языка, а надо было сказать очень просто и ясно этой городской девушке. А вдруг откажет, топнет, выгонит...

«Какой красивый, — подумала она. — Неужели на деревенской девке женится?»

И сказала:

— Слушайте, Петр Терентьич, а вам бы жениться надо.

— А кто за меня, за мужика, пойдет? — проговорил он насмешливо и раздраженно.

Она опустила глаза. Он видел, высокая грудь ее часто дышала под накинутой на плечи шалью.

— Любовь Даниловна... — начал он.

Но дверь отворилась, лохматая голова просунулась в щель:

— Товарищ Антонова, иди, мы собралися!

— Сейчас, сейчас.

Дверь захлопнулась.

— Пойдемте, — сказала Любовь Даниловна Петру, — я нашим комсомольцам историю читаю... Тут, в доме... Их человек двадцать. Наши рабочие. Есть и из крестьян трое. Пойдемте.

— Нет, я в другой раз. Я к домам... Прощайте, Любовь Даниловна. Многое хотелось вам сказать, да все как-то... Эх, чорт его знает... Плохо на душе.

Он провожал ее. Луна взобралась высоко. Кусты еще зеленой акации окаймляли площадку перед домом. В середине площадки — картина увядших цветов, колокол на высоком столбе и мраморная статуя, голубевшая под лунным светом.

На прощанье она умышленно крепко сжала его руку. Он сразу осмелел.

— Ах, хорошая!.. — проговорил он тихо и страстно. — Ежели буду жениться, тебя не обойду, стукнусь. Прогонишь?

Она задорно засмеялась, и полные щеки ее вспыхнули.

— Вот как! Ты?.. Да разве можно говорить барышне «ты»?

— Можно, ей-богу, можно!

— Товарищ Антонова! — с треском открылось окно. — Иди скорей!

Со скотского двора бежала через площадку босоногая девчонка с ведром.

— Погоди минуточку, Любовь Даниловна! — пропищала она. — Я только вот управляющему молоко снесу.

Петра опахнула тихая радость. Он, улыбаясь, шел сначала по темной, усаженной липами дороге, потом мостом, через реку. Ему хотелось смеяться и громко петь. Чорт знает, до чего просто. Ну, теперь-то он, конечно, будет говорить с ней напрямик. Улыбаясь и рассуждая сам с собою, он незаметно подошел к своей избе.

...Все-е люди-и-и живу-у-т,
Ка-ак цветы-ы цветут...

— А, Петрунька!.. Енерал! Дерьмо коровье, — расправляя усы и бороду, пьяно закричал Терентий. — Садись, пей! Тепленькая... Не пьешь?.. Ха!.. Рыло не дозволяет?.. Благородство?!. Кумунист, чорт... Робенки, пой... Пес с ним... Енерал, кисла шерсть...

А-а моя-а-а глава-а-а
Вввя-а-нит ка-ак тра-а-ва...

Братья подшибились ладонями и орали за отцом дико, крикливо.

Петр ровным шагом, по-военному, подошел к хмельному столу, взял чайник с самогонкой и выплеснул ее в лохань.

— Стой! Что делаешь?! — загремел отец.

— Спать, — сказал тихо, но хрипло Петр. — Пожалуйста, спать... Матерь больная...

— Самогон отдай! Он твой?! — и братья полезли с кулаками на Петра. — Мы те!..

Петр освирепел, развернулся, и Мишка, торчмя головой, вылетел в сенцы. За ним с воем и Ванька. Мать завизжала:

— Ой, Петеньку убивают!.. Ой...

— Ах, вот как ты, сынок?!

И отец с высоко поднятой скамьей кинулся на сына.

В твердой руке Петра блеснул револьвер.

— Прочь! — надсадно, звонко крикнул Петр. Скамья грохнулась на пол, отец выбросил вперед огромные, как бревна, руки.

— Не дури, не дури... — перехваченной ужасом глоткой хрипел он. — Убивать собрался?

— Да, убивать.

— Рука не дрогнет?

— Не дрогнет.

— Ловко... Хорош сынок... Ну, да и у меня гостинец есть.

Он схватил топор, потряс им и с силой всадил в дрогнувшую стену.

— Батька! Положь.

Отец рванул топор и загадочно сказал:

— Спи, сынок, да не крепко...

Он засопел, поругался в бороду и полез с топором на полати.

Вошли присмиревшие братья, пошептались у дверей, бросили на пол постельник и легли. Петр устроился на лавке, загасил огонь и под подушку сунул револьвер.

IV

И потекли день за днем, ночь за ночью, серые, настороженные. Отец ложился спать в самом углу полатей, рядом с собой клал топор. Сын — с револьвером. И ночи они проводили бессонно. При нужде среди густых потемок, отец осторожно слезал с полатей, в руках его был топор. Петр крякал и кашлял — «не сплю», — и рука его тянулась под подушку. Отец тоже крякал и шел на улицу. Возвращаясь, всовывал в избу голову, долго озирался, щупая, как филин, тьму. Петр крякал — «не сплю», — отец карабкался на полати.

Мать бессонно вздыхала, крестилась: «Спаси бог и помилуй Петеньку, кормильца, заступника».

Петр выходил тоже с револьвером, отец крякал — «не сплю», — чиркал спичку и закуривал. Только братья, безмятежно похрапывая, спали.

Проплывали ночи, и за темными стенами зрело событие— сокрытое от человеческого взора. Но вот пробегавшая в голубой ночи собака вдруг остановилась, посмотрела на черные непонятные стены избы и завыла вещим воем.

Ночи проходили в луне и звездах. На подстывших болотах, меж кочками, холодными зеркалами голубел молодой ледок, но река все еще текла на свободе.

И среди ночи, среди морозной тишины, вдруг промчится с отчаянным криком растерзанная, чуть не в одной рубахе женщина. За ней с колом мужик. Нашумят и скроются...

Очередной деревенский сторож, какая-нибудь солдатка Парасковья, побрякивая колотушкой в дырявую заслонку, все подмечает, что творится в деревне. И, наверное, завтра у колодца будет говорить:

— Изот опять Настюху хлестал. Вдоль улицы носились. И еще, девоньки, Митрий с Катериной цапались: он ее за косенки, а она его за бороду: он ее кулаком, она его ухватом. А тут свалил да и зачал сапожищами топтать. Остановилась я, девоньки, постучала. Жаль... На сносях Катерина-то.

Шел день за днем. Вот полетели белые снежинки, гуще, гуще, и на четверть — ослепительный ковер. Все стало чистым, загадочно торжественным и грустным, как на покойнике свежий вечный саван. Не скоро теперь дождется белая земля угревных дней.

Афросинья кой-как бродила. Как нет Петра, отец ругает ее и бьет. Норовит под вздох и в спину, чтоб не было знаков на лице. Афросинья плачет тихомолком, терпит, Петру ни слова. Голова ее еще больше стала трястись, душа скорбит, Афросинья просит у бога смерти.

Петр Терентьевич служит в совхозе кладовщиком. Он завел большой порядок в складе, против закромов прибил таблички, у него на учете каждый фунт. Прессованное сено с лугов отправляется в город. Клевер, по норме, идет датскому скоту — в совхозе тридцать пять племенных коров. Он свой восьмичасовой рабочий день давно похерил, работает по десять — двенадцать часов. И, беседуя с управляющим, старается ему внушить, что восьмичасовой рабочий день для совхоза гибель.

— Надо итти нога в ногу с мужиком, с зари до зари копаться. Иначе хозяйство всегда будет на шее у государства сидеть.

Управляющий Петром Терентьевичем очень дорожил и сделал его заведующим складом. Петр подумал: «Ну, теперь можно», — и пошел посоветоваться к крестному.

Его сыновья возили по первопутку на хутор сруб. Старик с крупной, краснощекой девицей, будущей снохой своей, пилили байдак.

— Бог помощь! — поздоровался Петр.

— Спасибо,— сказал крестный и улыбнулся.— Нешто возможно тебе бога поминать?.. Грех.

— С маленькой буквы — можно, — заулыбался и Петр.— А я к тебе, крестный, на пару слов.

Вошли в избу. Петр объяснил, в чем дело.

— Зря. Не советую, — сказал старик. — Руби дерево по себе. Бери попроще. Вот какая у меня сношенька-то, бог с ней... Как груздок в бору.

— Да что ж, крестный, я уж откатился от крестьянства... Ведь я перед революцией два года на фабрике работал.

— Смотри, — сказал крестный. — У нее ведь, болтают, было дите.

— Дите? — у Петра дрогнул голос, от плеч по рукам пробежали мурашки. — Чей же, от кого?

— А уж это ее спроси... Мой совет — плюнь.

Домой возвращался Петр раздавленный, желчный. Дома была одна мать.

— Вот, матушка, — начал он. — Присоветуй.

— А что ж, сынок... Дело доброе... Бери, бери, Петенька. Правда, что было у нее дите, в голодный год с управляющим сошлась, — ну, дак что такое? Жизнь не спрашивает. Когда цвету цвести — цветет; когда ягодке зреть — зреет. Мало ли что было. А раз теперича ее сердце все к тебе приклоняется — бери, благословясь.

Петр свободно передохнул, встал и обнял мать.

— Спасибо, спасибо, — растрогался он. — Вот ты какая. Даже удивительно.

Подбородок его дрогнул.

— А тебе, поди, тяжело, матушка?

— Нет, ничего, сынок милый, ягодка моя, Петенька... Ничего...

Она молча и стыдясь заплакала. Потом сказала:

— Вот уйдешь к жене жить, убьют меня.

— Пусть попробуют. Я с батькой перед уходом всерьез поговорю.

Это надвигавшееся событие в жизни Петра — женитьба — ничуть не изменило его отношений с отцом. Те же настороженные ночи, тот же топор и револьвер.

Петр приносил паек — продукты, да и урожай был недурен, отец продолжал пить, и работа не шла ему на ум.

Теперь он перенес свои гулянки к вдовой солдатке Василисе, толстобокой сильной бабище. У нее было неплохое хозяйство, которым она управляла вместе с дочкой своей, семнадцатилетней Грунькой. А на Груньку, чернобровую в мать, песенницу и работягу, «пялил глаза» Мишка, терентьев сын. Конечно, матери это не с руки, ни Ваньку, ни Мишку близко к дому не подпускает баба, а чуть что — со щеки на щеку кормит Груньку оплеухами — сама желает гулять с Терентьем, сама метит ему в жены угодить. И что та, окаянная сила, Афросинья, не здыхает!

Все знали на деревне, где гуляет Терентий, знал и Петр, но тайных его дум и тайных мечтаний краснощекой Василисы никто не знал.

Терентий часто приходил домой под турахом, в кураже, и вот как-то пьяный взлаял на жену:

— Когда ты подохнешь-то? Когда ты мою головушку-то ослобонишь?

— А тебе, отец, зачем? — поднялся из-за книги Петр.

— Пошел к чорту! — топнул Терентий. — Тьфу!.. Дорого не возьму и разговаривать-то с тобой, с умником паршивым...

Он поискал топор и полез на полати спать.

Братья, как казалось Петру, остепенились, присмирели, но втайне они злились на мать и на любимчика матери — Петра. Однако Петр, когда не было отца, читал им по вечерам книги, беседовал с ними, иногда водил Ваньку на собрания комсомольцев, которых он обучал политграмоте. Братья хитрили, подчинялись Петру, надеясь в душе, что Петр идет в гору и что им в конце концов с коммунистом-братом будет неплохо.

Однажды Ванька сказал отцу:

— Я в комсомольцы запишусь. Петруха наш полуграмоте обучает там.

— Что?.. Против бога?!. Полуграмоте?!. — цыкнул на него отец.

— Ишь ты! — закричал и Ванька. — Тебе только самогон у вдовухи жрать... А я запишусь...

Отец схватил его за шиворот и бросил носом в угол.

— Ванька, беги! — закричала, заголосила мать. — Убьет...— И побежала на улицу.

— Дьявол!.. — весь дрожа ощетинился Ванька. — Знаю, пошто мамыньку-то хочешь извести: на Василиске жениться ладишь... А я запишусь!

Терентий схватил кнут. Ванька сигнул в сенцы и с плачущей злобой крикнул:

— А я запишусь!..

Терентий успокоился, пошел к вдове. Был вечер. Подмораживало, и снег хрустел. Ванька разыскал Михаила и сговорился с ним бить отца.

— И Василису вздуем, леший их дери, — сказал широкоплечий Михаил. — Тогда Груняху я закоровожу обязательно.

— Грунька все об Петре об нашем... На посиденках только и слов, что о Петре.

Мишка запыхтел и сказал:

— Петруха управляющего милашку короводит... Слышь, Ванька, а не позвать ли на подсобу еще кого-нибудь?

— Сладим...

— Надо обождать... Пусть нажрется поздоровше...

Мать вернулась домой. А возле освещенного окна, заглядывая в окно, там, в совхозе, взад-вперед битый час ходила высокая девушка. Янтарные бусы желтели на ее синей душегрейке, красный шарф был повязан с форсом, концы его лежали вдоль спины, и между ними грузно падала тугая темная коса.

И там,— через занавеску и кусты герани — хмурый Петр. Любовь Даниловна ходит по комнате быстро, говорит. Вот она круто на ходу обернулась, сдвинула брови и развела руками, как актерка, а Петр встал из-за стола, простился и ушел.

— Петр Терентьич! — грудным певучим голосом окликнула его девушка.— Можно мне рядком? А вы, поди, не можете меня признать. Я — Аграфена, василисина дочка.

— Груня?.. Вот как выросла!.. Прямо невеста, — в его словах слышалось изумление и какая-то горечь.

— Что же это вы, Петр Терентьевич, к нам на девичьи игры-то не заглянете? Ай, загордились шибко?

Груня шла, покачивая на ходу круглыми плечами, и ее коса ходила по спине, как маятник. Петр что-то промямлил, глядя в ноги.

Вызвездило. И дорога через реку была вся в звездах. На том берегу белела в вековой дрёме церковь. Хвостатые дымки плыли к небу из почерневших изб.

— Нехорошо, Петр Терентьевич, чужих любушек отбивать. Ай, нехорошо!

И она звонко рассмеялась.

— Каких любушек?

— Ха-ха!.. Будто не знаете. Притворщики такие. А откуда идете-то? А я белье носила управляющему...

— Что ж, подсматривала?

— Очень надо. Я бегу, а вы выходите.

— Ну, да! Я к Любовь Даниловне по делу заходил.

— Вот она любушка-то управляющего и есть.

— Брось! — крикнул Петр. — Что тебе надо от меня?

— А нет ли книжечек почитать? Сказывают — есть.

— А ты грамотная?

— На вот те... — обиделась Груня. — Знамо, не такая грамотная, как твоя, а книжки читать люблю. Дашь?

— Дам... Пойдем.

Они поднялись с реки на берег. В избе, при свете лампы, Петр во все глаза глядел в лицо красивой девушки, и его сердце, наверно, дрогнуло. Груня почувствовала это. Она опустилась рядом с ним на колени, заглянула в сундук с книгами и жарко задышала ему в щеку.

— Какую ж тебе книжку? — взволнованно спросил он.

— Про любовь, — шепнула девушка. — Где целуются... Она запрокинула голову и закрыла глаза, улыбчиво поблескивая белыми ровными зубами. Рука Петра самовольно потянулась и обняла девичью талию.

С грохотом и ярой руганью вломился в избу Мишка. Все лицо разбито в кровь.

— А-а, эвон как!.. В обнимку!! — изумленно попятился он и выбежал в сенцы, с треском захлопнув дверь.

— Петр Терентьевич, проводи,—сказала Груня.— Боюсь я.

— Кого?

— Мишки, — сказала она тихо. — Нешто не знаешь, он ладит меня замуж взять.

— Парень ладный... Чего же ты?

— Подь ты и с Мишкой-то!—Она грустно улыбнулась, защурилась, закрыла лицо руками. — Э-эх!.. — и затрясла головой, бусы звякнули.

— Вот книжка. Очень занятная, — сказал Петр. — Только без любви.

Она взяла книжку, вздохнула:

— Ну, прощай... Так не хочешь проводить? — и пошла к двери, коса ее опять закачалась, как маятник.

Петр послушно направился за ней. Навстречу попался Терентий. Он выписывал по дороге вавилоны, пел песню и кричал, грозя кому-то кулаком:

— А-а, отца бить?! Родителя!.. Я тебе еще не так посчитаю зубы-то...

Петр и Груня свернули в переулок. Мишка с Ванькой замывали снегом разбитые носы и не смели итти в избу.

Петр сказал:

— Прощай, Груня. А то боюсь, как бы он матерь не тово... Отец-то.

Девушка быстро оглянулась — пусто, лишь она да звездный сумрак — швырнула книжку в снег и неожиданно поцеловала Петра в губы.

— Оставь! К чему это?.. — отшатнулся он. — Ведь ты знаешь, что я...

— Брось городскую! — обняла его за шею девушка. — Петя... Брось.

V

Был воскресный день. Солнце светило сквозь морозную пыль, отчего меж голубоватых теней и на ребристых увалах снег мутно алел.

Комсомольцы до обеда бегали на лыжах, катались с крутого берега на салазках и коньках, после же обеда они занялись учебой.

В окно обширной комнаты холодного барского дома глядели сумерки. Железная самодельная печь стояла враскорячку посреди комнаты и дымила. За широким крашеным столом сидело человек пятнадцать молодежи. Разговаривали, грызли семечки, курили, смеялись. Краснощекая скотница, дежурившая сегодня по наряду, убирала со стола остатки хлеба и недопитое молоко. Рядом — маленькая каморка. Там живет председатель коллектива, белокурый, болезненный на вид юноша Галкин, с умными серыми глазами. Он вчитывается в только что полученную бумагу из уездного отдела. На его жесткой — ящик и доски — кровати трое маленьких парнишек тренькают на балалайках.

— Петрунька, — говорит председатель. — Сбегай за Любовь Даниловной. Ждем.

Парнишка бросает балалайку. Но в дверь кричат:

— Товарищ Антонова пришла!

В зале дали свет, выплыли со стен плакаты: «Комсомольцы штурмуют небо», «Все под красное знамя союза», «Наука и религия несовместимы», — и председатель постучал по столу:

— Объявляю собрание открытым...

Шум смолк. И только в двух местах по-детски:

— Немножко внимания!

— Прекратите ваше дыхание!

Но вторичный стук по столу, и Любовь Даниловна, улыбнувшись, начала беседу.

— В прошлый раз я рассказала вам про нашествие татар, про татарское иго. Колько! — обращается она к маленькому парнишке-пастуху. — Как ты думаешь, если б Русь не оказала сопротивления татарам, что бы они сделали с Западной Европой?

Парнишка кривобоко ежится, поблескивает из-под огромной тятькиной шапки черными глазенками, пищит:

— Звестно, побили бы... Где, к свиньям, Европе устоять.

Поднялись оживленные перекрестные разговоры. Любовь Даниловну забросали вопросами. Время быстро летело, ее час кончился, а Петра Терентьевича все нет.

Петр Терентьевич запоздал — он никогда не опаздывает,— что же с ним случилось? Петр Терентьевич торопливо, чуть

не рысью, приближался к дому, вот заскрипела дверь крыльца, четкие шаги, и он вошел.

— Урра!.. Петр Терентьич!.. Петр Терентьич!.. — все выскочили из-за стола и окружили его.

— Тсс... На места, ребятки, на места. Пожалуйста, тихо... Оваций я не люблю. К делу!

Он говорил глухо и подавленно, очень крепко сжал руку Любовь Даниловны: рука его горяча, глаза лихорадочны и возбужденны.

— Вы больны? — спросила она вполголоса.

— Да, в этом роде...

— Я пойду поставлю самовар.

И не успел самовар вскипеть, как под окном флигеля с шумом и резким гвалтом пробежала молодежь, а в ее комнату вошел Петр Терентьич.

— Меня всего трясет, — сказал он и опустился на диван. Мужественное лицо его было бледно и подергивалось. — Опять дома неприятность у меня. Отец пытался мать бить... Я вступился. Отец выпивши... Эх ты, чорт!. И контузия эта сказывается... Изнервничался я. Чуть что, хочется плакать... Нет, так жить нельзя...

Он вынул платок и громко высморкался.

Любовь Даниловну тоже забила дрожь.

— Любаша... Уж ты прости... В таком вот... при таких вот нервах я уж тебя на ты, по-мужичьи, попросту.

Придвигая ему стакан крепкого чая и кусок жирного пирога с морковью, Любовь Даниловна взволнованно сказала:

— Сам виноват, Петр.

— Сам? Ну да, конечно: чужую беду руками, как говорится, разведу. Эх, ничего не знаешь ты, Любовь Даниловна!

— А если знаю?

— Что ты знаешь?

— Про отца да Василису? Знаю. Про Груню? и про Груню знаю.

— Что? — он положил обе ладони концами пальцев на стол и откинулся на спинку дивана. Загадочно хитрая улыбка на лице девушки стала быстро таять, лицо вытянулось и окаменело.

— Знаю, что ты хочешь жениться на ней.

— Я? на ней?.. — навалился грудью на край стола и опять откинулся. — Откуда вы взяли это?

— Слушок такой, разговоры... — мертвыми губами прошептала девушка. — А потом, помните, там, в проулочке?.. Помните, вечером? Еще Груня книжку-то вашу в снег бросила...

— Что? Что?
— А потом... вы целовались.
— Кто вам наврал?
Он поднялся.
— Мои глаза, — спокойно сказала девушка.
Петр стоял словно исполосованный плетьми. Часы пробили восемь. Он отхлебнул чаю и зашагал взад-вперед по комнате. Волосы на его голове топорщились. Он засунул руки в рукава и вздрогнул. Потом остановился и в упор посмотрел ей в лицо. Ее глаза расширялись и суживались.
— Да, — сказал он хрипло. — Вот в чем дело, Любовь Даниловна... я...
— Глупо! — перебила она и отвернулась. — Глупо так решать судьбу. Ведь я знаю: вы хотите жениться на Груне и переехать к ней, чтоб разлучить отца с Василисой. Но разве это выход из положения?
Она вдруг поднялась, положила ему на плечи ладони, оттолкнула, приблизила к себе.
— Сядь, слушай. Помнишь, говорил: буду жену искать, тебя не обойду? А что вышло? Петр Терентьевич? А? — волнуясь, говорила она укоризненно.
Наступило длительно-короткое молчание, он опустил голову и полузакрыл глаза.
— Да ведь я не смел... Ведь я же вижу разницу, так сказать...
— Что? Какую разницу? Слушай!—Она облизнула пересохшие губы. — Мой план таков. Ты знаешь, что заведующий соседним совхозом проворовался и его накрыли? Ты знаешь, что в городе на его место выдвинута твоя кандидатура?
— Ну?! Ей-богу?! — вырвалось из нутра, и белая комната вдруг порозовела.
— Я только что получила из города письмо. Вот оно. Итак, мы женимся с тобой, поедем туда, на новую службу. Я два лета слушала агрономические курсы. И думаю, что вдвоем мы справимся.
Стул под Петром закачался, самовар надул толстые медные щеки и весело запел. Петр схватил руки девушки и молча стал целовать их.
— А мать? Как же мать-то?
— Мать, ясное дело, возьмем с собой. Михаила женим на Груне. Я уже говорила с ней.
Петр дышал, как паровик, глаза его наполнялись радостью, но меж бровей, над переносицей, глубокая складка не распрямлялась.
— А вот... — начал он и поперхнулся.
— Что? Ну, ну!

— Дело в том... Ведь ты же... Вот наш управляющий, так сказать... Вдруг он не пожелает тебя отпустить. Очень извиняюсь, так сказать. Но я краем уха слышал, будто бы... ты... будто бы вы с ним...

Все поплыло куда-то вкось, вправо, самовар присел и смолк.

— Вздор! Вздор! — губы девушки оскорбленно скривились. — Вздор! Знаю, про что...

Но этот истерический крик прозвучал в душе Петра, как песня соловья весной: душа вдруг стала свободной, радостной.

— Я знаю, кто пускает эти слухи. Сожительница управляющего. Она зверски ревнива. Она ходит за ним по пятам. И при таких условиях... как я могла?.. Нет, это... это... И как ты мог поверить?.. Ты?!. — Она передохнула и схватилась за виски. — Эта мегера распустила слух и про ребенка... Будто бы я... А, мерзость какая!.. А сама живет с механиком с мельницы... Вот и путает других. Я действительно ездила в город, лежала в больнице. У меня даже свидетельство есть. Операцию делали, апендицит... Ты знаешь, что такое апендицит?

Но Петр ничего не знал, ничего не слышал. Все колыхалось в нем и пело. Он опять шагал по комнате и бормотал сам с собой:

— Удивительно. Удивительно. Все ясно теперь, все хорошо. Вот и не верь после этого в судьбу... Любовь Даниловна... Да ведь ты сокровище для меня...

Большой, широкоплечий, он повалился перед ней на колени, схватил ее белые руки и тряс их с каким-то ожесточением.

И вдруг там, за окном, в морозе:

— Петр!.. Петр!.. Петр!.. — ближе, громче, надсадней. — Петр!!.

Он вскочил и, в чем был, выбежал на крики.

— Отец мамку ищет... Скорей!

И вот оба с братом Ванькой мчатся по реке домой.

— Батька пьяный... мамынькин сундук изрубил, — еле переводя дух, хрипит на бегу Ванька. — А мамынька к дяде Макару убежала. Ой, убьет!..

Перед глазами Петра черный огонь, и нет под ногами земли, обрубленный полумраком месяц пляшет в небе, то взметаясь вверх, то падая до горизонта.

Страшный Терентий нашел жену на чердаке, у ее брата Макара, под вениками.

— А-а-а!.. — заревел он зверем.

Пьяный Макар сгреб мужика за горло, но Терентий с силой отшвырнул его. Афросинья катом скатилась с лестницы

и без памяти бросилась в избу, за ней — прибежавшие Ванька и Петр.

Терентий, пошатываясь, показался в дверях и, ничего не видя, кроме мелькнувшей за перегородку Афросиньи, загромыхал мертвым шагом к ней.

— Батька!..

Терентий боднул страшной головой и, как зверь на рогатину, полез грудью на Петра. Ванька с криком вцепился в батькин шиворот:

— Вяжите его, вяжите!

Хозяйка Степанида сгребла ухват.

И все завертелось, загрохотало по избе. Терентий то падал, то вскакивал. Степанида била его по голове, по спине ухватом, дико визжа. Посыпались горшки, кувыркнулся самовар, изба тряслась. Терентий выхватил из-под лавки топор:

— Прочь!.. Башку снесу!.. Могила!..

И все волной метнулись от него.

— Брось топор!.. — хлестко крикнул Петр, нырнул рукой в карман за револьвером — пусто — и сорвал со стены ружье. — Брось топор!

— Я те башку...

Раскатился выстрел. Изба подпрыгнула, упала, без чувств упал Петр, и со смертельным хрипом грохнулся Терентий.

Через мороз и лунный свет заполошно бежала, падая и вскакивая, Любовь Даниловна.

VI

Когда Терентия привезли в больницу, фельдшера не было — фельдшер где-то гулял на свадьбе. Терентий, не переставая, стонал, временами впадая в забытье. Заряд дроби скользнул по ребрам возле пазухи и вырвал мускул руки. Сиделка кое-как уняла кровь. К утру руку разнесло.

Афросинья всю ночь тряслась и плакала. У нее ночевала Любовь Даниловна. Они нашли под подушкой Петра револьвер и спрятали в сундук.

Ванька в волнении, до вторых петухов ходил по избе, бледный, потрясенный. Перед утром ему страшно захотелось есть: вынул из печи еще теплый горшок каши и съел. Потом ушел в больницу. Михаил в эту ночь тоже гулял в соседнем селе. Вернулся пьяный, с разбитой мордой и поломанной гармошкой.

Узнав о несчастьи, он удивленно произнес:

— Ну, неужто?!

Потом как-то беспредметно и вяло выругался в пустоту и лег спать.

Арестованный Петр провел за решеткой в клоповнике бессонную ночь. Ему казалось, что ум его мутится, все события спутались, перемешались. Только что прогрохотавший выстрел мерещился ему взрывом бомбы в тот роковой, на фронте, день. И лишь постепенно, в глухой ночи, все стало на свои места, голова дала отчет во всех делах, и душу его охватили непереносимые мучения.

Управляющий совхозом рано поутру выехал в город хлопотать о судьбе своего служащего, Петра Терентьича.

С утра дул ветер. С утра вся деревня только и говорила о случившемся. Сыновья подняли головы, отцы присмирели, и матери молчаливо радовались, почуяв новую нерушимую защиту.

Терентия никто из женщин не жалел:

— Так ему, разбойнику, и надо!

Старуха, бабка Áнна, говорила, как пророчица:

— Суд божий... Суд праведный... Спаси Христос...

Пьяницы ругались:

— На отца руку мог поднять... Да в каторгу его, злодея... К стенке!

Но в душе чувствовали, что их кулакам пришел конец.

Ветер креп, ветер взвихривал кучи седого снега. Небо было сердитое, вызывающее, и черные стены изб под взмахами вьюги — как в дыму. Бежавшая против ветра собачонка воротила морду в сторону, щурилась, у терентьевой избы она присела, тявкнула и побежала дальше. Ставни каталажки скрежетали противным скрипом. Петра пробирала дрожь, и когда одноглазый сторож Кила затопил печь, железные решетки покрылись холодным потом. В каталажке было мрачно, одиноко, как в душе Петра.

Приходили мать, братья, приносили еду, табак; пришла Любовь Даниловна. Они остались вдвоем. За окном крутила вьюга, сквозь сумрак золотились в печке угли, дрова сгорели все дотла, и Петру показалось, что вот так же сразу вспыхнула и сгорела вся его жизнь.

Петр протянул руку Любови Даниловне и заплакал.

— Что за нервы у тебя, Петр. Ты же мужчина, — сказала она, стараясь придать бодрость своему лицу и голосу.

— Жив? — спросил Петр.

— Жив. Но руку придется отнять, пожалуй. Фельдшер уехал на станцию за доктором. Операция будет трудная, пожалуй, умрет.

— Хотелось бы попросить у него прощения, — глухо сказал он, глядя в землю. — Мне тяжело, — он закусил губы; она заметила, как подбородок его дрожит.

— Петя, успокойся, — сказала она, — тебя возьмут на поруки, управляющий в город уехал, он имеет там вес. А тебя

оправдают наверно. Наши комсомольцы за тебя горой... Шумят.

Прикушенные губы Петра вдруг вырвались и заскакали.

— Ну?!. Шумят? — переспросил он улыбаясь.

А молодежь действительно шумела. Председатель Галкин собрал весь коллектив на экстренное заседание. Лица были возбужденны. Молодежь взъерошилась и готова была итти добивать Терентия. Даже сгоряча решили послать депутацию в каталажку с выражением соболезнования Петру, но передумали.

У пастушонка лицо все в саже — по зимам он качает в кузнице меха, глаза блестят. И сквозь галдеж прорывается его пискливый, как у цыпленка, голос:

— Разгромить каталажку! Разгромить каталажку!

— И то верно...

— Галкин! Становь на баллотировку... Айда освобождать Петра Терентьича.

Шум, ругань, крики. Галкин постучал по столу:

— Товарищи! Это не порядок. Кто сейчас обматерился?

— Васюков...

— Врешь! — запротестовал рябой, широкоскулый Васюков.

— Товарищ Васюков! — застучал Галкин, сердито боднув белокурой головой. — Стыдно!

— Я... только...

— Прошу не возражать... Товарищи! Я предлагаю по поводу случившегося несчастья устроить митинг с участием крестьян и всех вообще желающих.

— Правильно, Галкин! Митинг!

— Потому что это дело, товарищи, из рук вон выходящее, ударное, так сказать. Бытовое. Идем дальше. Наши отцы очень уж распоясались, бьют наших матерей. Такого позора не должно существовать. И если отцы не понимают, им укажут на это дети. Ведь дети, товарищи, всегда умнее бывают своих отцов, потому что культура идет вперед, как прогресс, что всеми доказано, иначе она шла бы назад. Этим я не хочу сказать, товарищи, что берите ружья и стреляйте своих отцов. Ни в коем случае. Мы должны действовать морально. Итак, я предлагаю митинг в будущее воскресенье, после обеда. Кто против? Принято единогласно.

Кто-то крикнул:

— Не пойдут мужики.

Молодежь обменялась мнениями. Да, действительно созвать будет трудно, крестьяне митингов не любят.

— Товарищи! А я знаю как, — высунулся вперед с широким веселым лицом курносый молодец и заулыбался. — Давайте, товарищи, удочку закинем и будем мужиков ловить, как щук. Например, допустим, так...

Он был в большущих валенках и в желтом овчинном полушубке. Он на каждой фразе взмахивал кулаком и приседал, голос его простуженный, сиплый и медлительный.

— Например, так. У нас в комитете есть табак для выдачи, махра. Так. Взять да пожертвовать полтора фунта махры. Чорт с ней! Вот, мол, ребята, по окончании митинга будет лотерея, можете выиграть лучший табачец. Тогда придут. На дармовщинку польстятся.

— А бабам? — пропищал пастух.

— Бабам? — переспросил курносый парень и встряхнул кудрявой головой. — Для баб у нас, правда, что нет ни хрена... Бабы табак не курят. Вот ежели молодые которые... — подмигнул он девушкам.

— Павел, без выражений, пожалуйста, — прервал его председатель. — Кончил?

— Хы! Не велишь говорить, так знамо кончил.

Девушки засмеялись: одна, с вишневыми глазами, шутливо ударила парня меж лопаток.

Заседание оборвалось само собой, потому что на мельнице испортился мотор и электричество погасло.

— Качать товарища Галкина! — Молодежь рада повозиться в темноте, председатель взлетел на воздух, а в углу — под плакатом «Комсомольцы штурмуют небо» — продребезжал чей-то писк и таящийся смешок: это, должно быть, кудряш неловко облапил девушку с вишневыми глазами.

Ветер стихал, в небо плыли остатки туч, мелькали звезды, и временами прорывался недолгий свет луны. Маленький пастушонок, аршин с шапкой, шагал враскорячку, дымил трубкой и говорил кудряшу:

— Мой батька тоже мамку полощет. Третьеводнись я ему затрещину в загривок дал. Он мамку бросил, да на меня, я убег, и мамка убегла. Ох, и зверь! Ему пропагандуй, не пропагандуй — хоть бы что.

В селе, куда они вошли, стояла тишина.

— А у попа огонь, — сказал пастушонок.

— Лампадка, — просипел кудряш. — Масло казенное горит, чего ему.

— Давай пустим палкой.

VII

На третий день к обеду вернулся управляющий, и приехал доктор.

Петра освободили на поруки. Он зашел к матери, к Любови Даниловне, и втроем отправились за версту в больницу.

Туда же собирался и священник приобщать умирающего Терентия.

В палате помещалось четверо: два старика, роженица с ребенком и Терентий. Пахло карболкой, стариками, плесенью и женским молоком.

Койка Терентия стояла возле окна, он лежал головой в угол, и лицо его было в тени; щеки, виски, глаза глубоко запали, большая, рыжая с темным, борода загнулась к плечу.

Все трое подошли к нему молча и молча остановились. Петр взглянул на огромную, как обгорелое бревно, голую, обезображенную руку отца, и в глазах его заметался ужас: Петр весь побелел, качнулся, его подхватила Любовь Даниловна, он опустился на колени и через силу сказал дрожащим голосом:

— Отец... прости меня.

У Терентия забулькало в груди, воспаленные, измученные глаза его с ненавистью остановились на сыне, брови сдвинулись к переносице, и здоровая рука стала шарить возле бока, ища топор.

— Мне тяжко... Прости, отец.

Усы и брови Терентия зашевелились:

— Будь проклят... Не прощу.

Мать с воем повалилась на вытянутые ноги Терентия:

— Терентьюшка, батюшка... Кормилец... Прости ты его, прости...

— Проклинаю.

В палату вошли маленький, седой священник и тучный, краснолицый фельдшер, весь проспиртованный, в белом, залитом иодом или кровью балахоне.

— Ну, уходи, баба, уходи, — подхватил фельдшер Афросинью под пазухи.— Что ты вопишь, как на погосте! Сейчас господин доктор в палату идут. Посторонних прошу уйти. Ах, Любовь Даниловна! Представьте, не узнал. Хи-хи-хи! Богато жить... А-а, Петр Терентьич!.. Какими судьбами? Ах, на поруки. Вот как... Печальный случай, печальный случай. Гангренус, по-ученому. Да-да... Батюшка, сделайте милость, приступите к отправлению религиозного культа. Ну-с, пожалуйте, граждане, в приемную.

Пришел доктор. Спустя полчаса через приемную протащили в большой металлической лохани мертвую, чугунного цвета, руку со скрюченными пальцами. Афросинья вскрикнула и упала в обморок. Петр сидел спокойно, с замкнутой на ключ душой: какое-то равнодушное отношение ко всему отуманило уставший его мозг.

Вскоре появился доктор в золотых очках и с рыжей бородкой. Сиделка на ходу снимала с него операционный

халат. Любовь Даниловна обратилась к доктору с вопросом.

— Сказать трудно, — ответил он, пожимая плечами. — Кто же его знает. Скверно, что во время ранения пациент был пьян. Ну, и... — он оглянулся назад. — Конечно, на роковом исходе может отразиться и отсутствие фельдшера в нужный момент. Больному все-таки пятьдесят шесть лет. Не знаю, не знаю... Может быть, и выживет... Но скорей всего — умрет.

VIII

Ванька с Михаилом мастерили сосновый гроб и переругивались: ни тому, ни другому не хотелось навестить умирающего отца, хотя бы для того, чтоб снять мерку.

— Я знаю, — сказал Михаил, — когда отец в шапке — в аккурат под матицу.

Ванька поставил на пол доску и сказал:

— Окоротали... Нехватит вершков двух.

— Ни хрена, — ответил Михаил, — в случае чего, ноги можно покойнику маленько расшарашить.

— А как же, Мишка, без руки-то отец в могилу ляжет? Говорят, руку-то его в печке сожгли, — спросил Ванька, долбя долотом проушину. — Как же на страшном-то суде без руки из гроба-то батька вылезет?

— А я почем знаю, — окрысился Михаил. — Ты комсомолец. Ты должен знать. А нет, у попа спроси.

— Поп задаром не скажет, — болтал языком Ванька, — пожалуй, заставит снег чистить у ворот. Ну, а как же Груняха-то твоя. Тю-тю, — и Ванька подмигнул.

— Груняху теперича, бог даст, тятя умрет, я закоровожу, Петр наш ей отпор дал. Петра Любовь Даниловна короводит. Ежели в острог не упекарчат его — женится.

Цепкая мужиковая жизнь восемь дней боролась в Терентии со смертью. И вот Терентий стал поправляться.

Из домашних ежедневно навещала его лишь одна жена. Когда она появлялась в палате, он сердито отворачивал лицо к стене и не говорил с ней ни слова. Афросинья повздыхает, поклонится в пояс и ни с чем уйдет.

Ни сыновьями, ни хозяйством, видимо, Терентий не интересовался; было похоже на то, что он непрочь и умереть.

Однако недели через две он ожег хныкавшую Афросинью взглядом и впервые сказал:

— Пусть придет Петька.

Афросинья сразу залилась радостными слезами и чуть не

рысью побежала домой, а оттуда в совхоз, где опять служил Петр:

— Сынушка, иди, свет, скорей. Отец видеть пожелал. Господи, хоть бы проклятье-то он снял с тебя...

Петр бросил все дела, накинул шинель и быстро зашагал в больницу. Что говорить с отцом, как вести себя и что выйдет из этого свиданья, Петр не знал и не мог сосредоточить мысли на нужном, главном. В голове и врасплох застигнутом сердце — неразбериха, туман. В большом смущении он вошел в палату:

— Здравствуй, отец...

Терентий опять насупил брови, опять зашарил возле бока, как бы ища топор, потом заскрипел зубами и, подняв руку, густо сказал:

— У меня осталась правая рука. И вот говорю тебе: и тебя убью, и матку твою убью... Убирайся к...

— Больше ничего?

— Уходи, сволочь!

Обратно Петр плелся нога за ногу, и дорога показалась ему в сто верст.

IX

Терентию нужно было лежать еще с месяц. Петр долго ломал голову, как быть. Видимо, урок прошел для отца даром, и разруха в семье не изжита.

Но вот помаленьку — одно к одному — все пришло в порядок.

Началось с того, что в сердце вдовухи Василисы, а затем и в ее дом вселился вдовый церковный сторож Захар Кузьмич. Он крепок на вид, — борода с проседью, — в свободное время лудит самовары, чинит сковороды, шьет сапоги, вообще прирабатывает. Он большой знаток библии и священного писания, очень благочестив и при всем том — пьяница, отчего правый глаз его полузакрыт, а нос сизый.

Груня, конечно, ругалась с матерью, мать кормила ее оплеухами и пинками. Захар Кузьмич — поучениями от писания. Груня плакала: и дома горе, и Петр Терентьич оттолкнул ее. Любовь Даниловна напрямки сказала, что у них с Петром решено вступить в гражданский брак, а ей, Груне, вся стать выйти замуж за Михаила — парень хоть куда, хозяйственный, красивый, крепкий.

Подумала Груня и сказала как-то Михаилу, махнув рукой:

— Ну, коли на то пошло — бери.

Ходили к Терентию благословляться.

— Что же ты, Мишка, отца подождать не мог? Али нын-

че не в почете калеки-то? — щуря большие глаза, сказал отец.

К тому времени Захар Кузьмич очень хорошо напрактиковался самогонку гнать — и груняшина свадьба была в большом хмелю. Даже Терентию отнесли, но фельдшер конфисковал:

— Рецидиву хотите получить в болезни?! — глотая слюни, заорал он.

Груня стала хозяйкой в доме Терентия, Афросинья не нахвалится, и Михаил в шутку щиплет себя за нос:

— Сон ли, нет ли?.. Груняха, а?..

А за неделю до выхода Терентия из больницы Петр, по хлопотам управляющего, получил новое назначение — заведывать совхозом «Смычка», за двенадцать верст от родного села. Конечно, перебрались туда все трое: он с матерью и Любовь Даниловна. Их отвез на паре сытых коней с бубенцами крестный Петра. Он тоже успел оженить своего сына и с весны перебирается на хутор.

Он сыт, румян, большеборрод. Потряхивая вожжами и почмокивая, он приглядывается к крестнику и говорит:

— А ты чего-то, Петрунька, скис и телом повытек? Это, парень, ни к чему. Ты про то не думай. Твой заряд на всю волость прогремел. Которые из мужиков попризадумались. И выходит, твой грех — как перед богом свечка. Во!

Терентий совершенно выздоровел. Он давно отвалился от сердца Афросиньи, как болячка; Афросинья больше не навещает его, и в больницу за отцом отправился Михаил. Когда он заткнул отцу пустой рукав за опояску и сказал: — Ну, тятя, пойдем домой... — Терентий засопел, вздохнул, рот и все лицо его вдруг скривились, но тотчас же выпрямились и застыли вновь.

Дома ничего его не интересовало, он лег на сундук и молча пролежал три дня. На четвертый — пошел к Василисе. Захар Кузьмич хотел чествовать гостя самогонкой, но Терентий мрачно сказал:

— Нет... Будет... Попито.

— Что ж ты станешь делать, сердешный, об одной-то руке? — сочувственно, покачав головой и почмокав, спросила его Василиса.

Терентий лениво поднял свой взгляд и заметил в красивых глазах Василисы тоску и какие-то поблекшие огоньки счастливых прошлых дней.

— Не знаю... Не знаю... — растерянно сказал он и, скосив глаза на пустой рукав, вздохнул: — Урод кому нужен... А было времечко, целовали в темечко.

В его глухом унылом голосе звучало отчаяние. И весь вид крепкого мужика был уныл и скорбен.

У бабы защемило сердце, она отвернулась к стене и часто замигала. Захар Кузьмич, согнувшись возле печки, постукивал молотком по чайнику, и его бородатые щеки подергивались от торжествующей улыбки.

Василисе не о чем было говорить, Терентию же ни о чем говорить не хотелось. Сидели молча, только ревниво молоток стучал.

Гость шумно вздохнул, поднялся, сказал: — Прощайте, — и, медленно переступая — будто гири за собой вез, — пошел к двери. Но дверь, как крышка гроба: за дверью мрак, погост. В глазах у Терентия зарябило, из пустого рукава вдруг высунулась рука с хмельным стакашком и исчезла. Он вздрогнул, обернулся, последний раз окинул избу долгим взглядом и трогательно, последний раз, проговорил:

— Ну, прощай, Василисушка. Прости, ради Христа.

— Проща-ай! — всхлипнула Василиса.

И дверь захлопнулась за ним, как гроб.

А Захар Кузьмич сердито бросил чайник и рванул из-за ушей очки.

Михайло с женой и Ванька понимали, что у отца не ладно на душе. Были с ним обходительны, ласковы.

— Тятенька, ешь, чего ж ты... Грунь, положи отцу еще.

Но Терентий отодвигал от себя миску и, уставившись в морозное окно, долго смотрел в немую даль.

По ночам он видел странные путаные сны, и чей-то голос звал его: «Пойдем». Проснешься — тихо, лишь похрапывает молодежь, да вьюга чешет крышу.

Однажды приехала Афросинья. Терентий, как в рот воды: молча лежал на сундуке или задумчиво, с опущенной головой, шагал от стены к стене.

— Ты не представляйся, Терентий!.. Глухой, что ли, ты... Али онемел, — приставала Афросинья. — Говорят, скоро судить вас будут с Петром. Неужели не простишь? Ты старик, а ему жить надо. Побойся бога-то.

Терентий вдруг осатанел. Он со всей силы задубасил кулаком в простенок между окнами, злобно рыча и ворочая глазами.

— Не прощу!.. Убивец! Анафема!.. Будь он проклят.

Приходил и комсомолец Галкин.

— Вот, дядя Терентий, вам повестка... Я в волости был. Через неделю будет суд. Мой совет — помириться с Петром Терентьичем. Ежели помиритесь, дело будет ликвидировано. Я говорил кое с кем.

— Иди, откуда пришел, — мотнул головой Терентий. — Всяк сопляк учить лезет. Тьфу!

Суд был в волости. Со всех деревень, побросав дела, спешил народ.

Приехавшие из города председатель и члены суда обратились к священнику:

— Батюшка, может быть, вы уступите церковь? Видите, сколько желающих послушать собралось. Разбор дела, надо ожидать, будет поучителен.

Седовласый поп снял очки, опять надел, растерянно улыбнулся и сказал:

— Приемлемо. Благодарствую за вежливость. Религии это не противоречит; ежели сидеть будете без шапок, чинно-благородно. И, разумеется, не курить... Уж очень буду настаивать на этом...

Из совхоза шумливой кучей пришли комсомольцы. Кудлатый парень нес плакат: «Долой пьянство и тиранов отцов». Приехали фельдшер, торговец из села Фомина, два мельника, заведующий совхозом, дьякон, доктор и начальник станции.

Баба Степанида, натягивая рыжий полушубок, кричала на Макара, своего хозяина:

— Иди, пьяница!.. Чего на полати-то забился... Иди послушай.

Комсомольцы дружно перетаскивали в церковь из школы скамьи, стулья, парты.

Был воскресный день, церковь небольшая, за обедней надышали «православные», да и печи натоплены жарко. Староста посоветовался с попом и полез зажигать паникадило. Стол для суда был у северной стены, народ — у южной, к алтарю плечом. Однако старики шипели:

— Оно будто... И неудобственно... в храме-то...

Макар был выпивши. Он икал, припав виском к холодному камню арки.

— Суд идет!

И все встали.

Батюшка размотал с шеи гарусный шарф, оправил наперсный крест и, шаркая валенками, проследовал в алтарь за мягким креслом. Народ сидел тихо, по-хорошему. Председатель же комсомольцев Галкин тревожно ходил возле паперти, то щурил, то таращил умные серые глаза, ерошил волосы, что-то шептал и вдохновенно взмахивал рукой.

— Речь зубрит, — пропищал пастушок кудряшу.

Галкин лишь время от времени бросал взгляд в сторону суда и краем уха прислушивался к отчетливо звучащему голосу председателя. У председателя высокий лоб, светлая остренькая бородка, пенсне, длинные волосы. Справа от него — два приезжих члена, простые рабочие с фабрики, лица их вдумчивы, сосредоточены; слева — два местных: лы-

сый крестьянин Ерофеев и рыжеусый кузнец из совхоза. Сбоку секретарь.

Пострадавший Терентий не явился по болезни. Решили его не тревожить.

Начался допрос свидетелей. Первой допрашивали мать Петра, Афросинью. Галкин присел на кончик скамьи, стал слушать. Но слушать было нечего: Афросинья хлюпала в слезах, сморкалась, бессвязно выкрикивала наболевшие слова.

Председатель мягким и внятным голосом сказал:

— Успокойтесь, гражданка, говорите... Расскажите всю свою жизнь.

— Ох, батюшка-кормилец, судья хороший!.. Какая же наша жисть... Вот оглохла, вот головушка трясется... Жисти не было.

Галкин стал шарить взглядом. Петр Терентьич сидел, согнувшись, руки засунул в рукава, низко опустил голову.

Любовь Даниловна бодрилась. Она кивнула Галкину и попробовала робко улыбнуться. Румяная Груня крепко уселась возле серого, неуклюжего Михайлы-мужа, успевшего отпустить кое-какую бороденку. Черная коса ее по-девичьи отброшена назад — пусть посудачат люди, — и желтые бусы медленно колышутся на груди. Она не спускает глаз с Петра, и глаза ее тоскуют. А впереди — сельская знать и седовласый поп; он сокрушенно, как мытарь, воззрился на алтарь, крадучись стукнул по тавлинке пальцем и под шумок запустил в нос аппетитную понюшку табаку.

— Верно-верно-верно! Правильно, — скороговоркой, с места подтверждает он показания свидетелей.

Вот вышел свидетель — крестный Петра Терентьича; он не торопясь, с достоинством поклонился председателю и судьям. Председатель протер пенсне и как-то по-особому ласково осмотрел его фигуру. От старика веяло силой мужицких полей и запахом ржаного хлеба. Он весь круто замешан и крепко пропечен — как сбит. Седеющая борода его в крупных кольцах, лоб высок, морщинист, нос широк, над ясными умными глазами темные козырьки бровей, как крылья.

— Какая, братцы, бабья жизнь к свиньям, — заговорил он густым, словно ржаное сусло, голосом. — Самая собачья жизнь.

— Верно-верно-верно! — поддакнул поп и визгливо чихнул, клюнув в колени носом.

По толпе прокатился дружный бабий вздох, и сотни глаз уставились в широкую спину старика-крестьянина.

— В девках с зари до зари работушка, — гудел старик, — выйдет замуж за пьянчугу — смертный бой. А ребят носить — шутка? Сегодня родила, а завтра иди коров обихаживать. От

этого самого баба в сорок лет труха. У мужика харя красная, а бабью личность в кулачок свело. Это надо помнить. Старух мы вырабатываем по глупости своей, вот кого. Взять Афросинью и взять Терентия. Нешто это факт? Вот и неприятности. А тут винцо. А в башке-то нет ни хрена, а сердце-то кошачье, с перцем. Обожрется винищем, страху над собой никакого нет, кругом погано, — кого бить? Бабу. «Держи рыло огурцом, а то ударю!» Хрясь по уху, хрясь по другому, да за косы, да об пол, и пошло...

— Верно-верно-верно...

Бабы завздыхали пуще, людской пласт шевельнулся, скамейки скрипнули. Председатель резко постучал в стол, народ смолк, словно умер, и паникадило прищурило огни.

— Вы спрашиваете личность Петра Терентьича, что, мол, за человек такой? Человек он, можно сказать, новой жизни. Дай бог нам побольше таких людей, тогда и мы человеками себя восчувствуем. Кто с умом ежели, тот видит — пришли новые права, а новых людей мало вовся. Другой и молодой, да старый. А крестник не таков. И напрасно вы, братцы, посадили его на подсудимую скамью. Сначала Терентия надо на скамью, да и других мужиков разбойных, пьяниц, с волости десятка два. Вздрючить их, сукиных детей, прости ты меня, господи, чтоб помнили до морковкина заговенья, чтоб не измывались над бабами, как над собаками.

Народ опять шевельнулся. Кто-то, крепясь, всхлипнул, чья-то рука перекрестилась. А в задних рядах закричала баба Степанида:

— Вот что, ребята! Вы моего мужика, Макарку, поганого, взбутетеньте по суду всем миром, намните ему, живодеру, бока. Вот он сидит. Чего в уголке-то притулился, кобель борзой?!.

— Гражданка, вы нарушаете...

— А ежели не дадите ему окорот, — пуще завизжала баба Степанида, — вот те Христос, топором зарублю!.. При всех объявляю. Тьфу, чтоб те холера задавила, — плюнула она Макару в бороду.

— Верно-верно-верно...

Перед ней вырос милицейский... А крестный Петра говорил, как молотом бухал:

— В одном, братцы, виню крестника, что промазал по зверю. В брюхо бы его надо стрелять, подлеца, мучителя.

Народ глухо охнул, мужики стиснули зубы и отхаркнулись. Петр быстро поднял голову, взглянул на крестного и поник опять.

Галкин не расслышал, что сказал председатель: председатель, кажется, пригласил старика сесть на место. Старик пошел, тяжко сопя и дергая кудлатой головой. На хо-

ду, высоко вскинув руку, он на всю церковь резко прогудел:

— Мое слово верное. Не бей жену! Жена благословляется богом не на бой, а на любовь. Погибнете, пьяницы, без любви. Собачьей ярью не прожить. Весь мир без любви погибнет! Знай!

Эти мужицкие слова в народ, как в рощу вихрь: все сорвалось, вышло из повиновенья, зашумело, и огоньки паникадила колыхнулись. Мужики крякали и кашляли, бормоча ругательства; бабы голосили, истерически выкрикивая: «Ой тошно! Ой, миленькие судьи православные, заступнички...» Две молодухи бились головами об стену, плакали навзрыд, визжа и громко отсмаркиваясь на пол; баба Степанида вскочила на скамейку и, перекосив рот, со всего маху бросила в голову Макара одну за другой свои собачьи рукавицы. Порченая Митрофаниха, с искаженным страшным лицом, корчилась в судорогах, рвала на себе волосы, лаяла по-собачьи, крича: «Уйди, уйди, уйди!» Она жевала язык, губы кровянились и кипели.

И в народ, в крики, разрывая гвалт, кричал председатель, кричали судьи, кричал поп, осеняя всех крестом. Но вихрь крутил, роща гнулась и гудела. Тогда на лавку вздыбил богатырем крестный Петра и сразу покрыл весь гвалт:

— Стой! Замолчь! Здесь церковь божия! Здесь человека судят...

Говорили еще свидетели, говорила баба Степанида, заведующий совхозом, фельдшер, вышел было жаловаться на жену непротрезвившийся Макар, но распоряжением председателя — пьяным в суде не место — Макара быстро удалили.

Показания фельдшера были не в пользу подсудимого: поступок уважаемого Петра Терентьича — поступок изуверский, прямо-таки разбойничий, ведь тогда перед подсудимым стоял родной отец. Неужели нельзя было принять предупредительных мер, называемых в медицине профилактика. Например, вместо того чтобы производить преступную вивисекцию из дробовика, не лучше ль было отца закатить в тюрьму заранее, не доводя его до буйного припадка, то есть аффектум спиритус.

Во время его речи доктор с председателем, конечно, улыбались. Комсомолец же Галкин — и другие комсомольцы — краснел, бледнел, кусал губы. Как! Не может быть, чтоб Петр Терентьич был виновен! Нет!

А показания замужней вдовухи Василисы и ее сожителя Захара Кузьмича были для подсудимого убийственны.

Подсудимый выпрямил спину, несколько раз приподымался, чтоб крикнуть «ложь», но под предупреждающим жестом председателя садился вновь. Любовь Даниловна нервно кру-

тила концы башлыка, вздыхала. У Груни прыгал подбородок, она скорбно глядела на Петра Терентьича, но перед ее глазами плыл туман.

Захар Кузьмич, поблескивая выпуклыми круглыми очками, правое стеклышко которых было склеено бумагой, и все время оглядываясь на свою грозную бабу Василису, монотонно, как над гробом, дудел, конечно, от священного писания, стараясь рыть подсудимому могилу. Поп и ему поддакивал: «Верно-верно-верно».

И грубо, нагло заверезжал голос Василисы:

— Убивец он, убивец! Вяжите его, окаянного, судьи-батюшки...

— Гражданка!

— Он, убивец, за Грунькой моей таскался, ладил в жены взять, вот те Христос. Сам, пьяный, похвалялся мне: «Не бывать тебе, Василиса, за отцом, убью отца». Вот те Христос...

Галкин схватился за голову. Председатель строго:

— За ложные показания, гражданка...

— Пошто ложные!.. Да чтоб распалась моя утроба... Да что мне... Он Груньку обманул, другую взял. Эй, молодчик, чего молчишь!

«Ага, ага!» — злорадно и язвительно заскакало по толпе. Кто-то слегка присвистнул.

Груня вся передернулась, затопала дробно в пол, всплеснула руками, повалилась на плечо Михайлы-мужа и заголосила. Но сразу же откачнулась от него с гадливостью и упала пластом к коленям беременной Катерины.

Галкин дрожал и холодел. Он сорвался с места и вновь крупно стал шагать вдоль ограды, судорожно запустив руки в карманы галифе. Что дальше говорилось, он не слышал. Все в его душе полетело кувырком. Вся речь, все, что он хотел сказать в защиту Петра Терентьича, сразу разлетелось в дым. Конечно, после показаний Василисы подсудимый густо влип, и пощады от суда его не будет. Но это ж не так, не так, неверно! Галкин знает, Галкин уверен в Петре Терентьиче, как в самом себе, Галкин докажет это. Но как, какими словами?

Галкин шагает взад, вперед, с отчаянием озирается по сторонам: иконы, народ, мужичьи встрепанные головы, как мшистые кочки на болоте, пар от дыханья, золотые хвостики мерцающих огней, и чей-то тягучий, скучный, будто лысое поле, голос.

Это доктор давал свои показания как специалист. Он говорил и полчаса, и час, говорил тихо, пересыпая речь мудреными словами, то и дело поправляя на носу очки.

Народ устало зевал, подремывал, пятеро крестьян пошли

в ограду покурить. Дремали огоньки, чадя, и в рядах шептались. А голос скрипел, скрипел...

Деду капнуло с паникадила на плешь. Он не спеша задрал бородищу вверх, не спеша вытер рукавом лысину и отодвинулся. А храпевшей с запрокинутой головой старухе восковая капля шлепнулась на самый кончик носа. Старуха схватилась за нос и, открыв сонные глаза, слюняво зашипела на прыснувшего в шапку пастушонка:

— Это ты, Колько̀, созоровал. Я те...

— Колько! Колько! — звали паренька. Он поднялся на цыпочки и видит: у судейского стола ораторствует Галкин.

— Товарищ преседатель и товарищи судьи, — говорит он, и голос его рвется. — Мы, комсомольцы, конечно, по возрасту, не имеем права вести во время суда дебаты иль дискуссии. Но мы ходатайствуем всем кругом, чтоб выслушали нас в защиту обвиняемого.

Председатель шепнул судьям справа, шепнул слева и, добродушно взглянув сквозь пенсне на побледневшее лицо Галкина, сказал:

— Пожалуйста.

За спиной Галкина, по два в ряд, топтались комсомольцы. Он стоял лицом к алтарю, на восток, и левым плечом к суду. Пред ним, перекинув нога за ногу и схлеснувши кисти рук в замок, сидел в солдатской вытертой шинели Петр Терентьич. Он спокойно глядел в растерянные, загоравшиеся глаза Галкина, и между ними, от сердца к сердцу, от души к душе прошел невидимый ток высокой человеческой любви. Петр Терентьич шире открыл глаза, едва заметно улыбнулся, и юноша радостно боднул головой, кашлянул и, одернув меховую куртку, начал:

— Мы, комсомольцы... Мы коммунистическая молодежь... Мы пришли сюда всем кругом для того, чтобы, так сказать, по всей правде... По всей чистой совести, так сказать, заявить о том...

Он волновался, переступал с ноги на ногу, проглатывал слова, вытягивал шею, как будто ему нехватало воздуху, и поворачивал болезненно-нервное лицо то к председателю, то в сторону народа:

По рядам прошуршало сбивчиво:

— Тише, братцы, Галкин говорит... Хи-хи-хи... Слухай.

— Дуть их надо, сволочей!

— Что? — и Галкин сразу поперхнулся. Ударив ладонью по столешнице, он уставился в пол, как бы ища слов и мыслей. Кудряш-комсомолец растерянно ковырял в носу, а девушка с вишневыми глазами, красуясь свежим личиком и ярко-кашемировой повязкой, улыбалась. Маленький Колько во все глаза разглядывал председателя и, подражая ему,

движением руки откидывал назад гладко стриженные свои волосы, поправлял на носу несуществующее пенсне, гримасничал.

— Я очень извиняюсь, товарищи. Я не могу сейчас гладко, как по-писанному, я устал и робею, все спуталось как-то, но это ничего, главную суть скажу по-своему, — овладевал собой Галкин, и голос его становился увереннеи и крепче. — Мы просим товарища председателя и судей, мы умоляем не верить некоторым ораторам, я не буду намекать на личности, а только скажу, товарищи, что толстая ораторша, она всем известна как самая скверная гражданка, которая торгует самогоном, поэтому веры ее словам нет! Это она все врет, взводя такое, прямо скажу, подлое обвинение на Петра Терентьича. А почему она может защищать пострадавшего Терентия Гусакова? Ответ, товарищи, ясен — он ее бывший сожитель от живой жены, которую он преступно истязал, как последнюю клячу, или хуже в десять раз, пороча новый деревенский быт в глазах света. Вот разгадка истины и опроверженье подлых слов. И обратите, товарищи, внимание, как деревня по старинке еще живет. Пьянство, разбой, поножовщина, непростительный разврат... Мужья калечат жен, отцы — детей. И это наша Россия, за которую, за благо которой пролито столько человеческой крови и всяких легло жертв!.. Может быть, старики принюхались, им ничего, по нраву, а нас от такой России, откровенно скажу, тошнит. Наше молодое... наша молодая душа, товарищи, такую Россию не желает. К чорту ее! Даешь новую Россию!! Даешь новую жизнь... К чорту пьянство, к чорту самогон, к чорту увечье женского...

— Стоп-стоп-стоп! — и священник, деревянно волоча отсиженную ногу, двинулся к оратору.

— Извиняюсь, батюшка... — пал на землю голос Галкина и опять взвился. — А Петр Терентьич всем известен. Он, товарищи, не покладая рук работал с нами, другой раз больной и расстроенный неприятностями с отцом. И много хорошего мы от него узнали, просветились, так сказать, и желаем просвещаться впредь. Да не одних нас! Расспросите настоящих крестьян — всякие разъяснения от него шли, всякая помощь. Да, таких людей, товарищи, не судить надо, а дорожить ими. Отстранять таких людей — это все равно, что вешки в чистом поле зимою выдергивать. От таких людей жизнь крепнет. И ежели вы, товарищ председатель и товарищи судьи, — Галкин повернулся к суду возбужденным лицом, и все комсомольцы повернулись. — Если вы, товарищи, не найдете полную возможность окончательно оправдать его — судите лучше нас, судите меня! — Галкин сильно ударил себя в грудь, лицо его скривилось, заморгало, голос сорвался.

— Судите нас, судите меня, ссылайте в острог!! — вне себя кричал Галкин, тряся головой и вскидывая руки.

Весь народ до одного замер, открыл рот и выпучил глаза. Паникадило вспыхнуло костром.

Юношу подхватили заведующий совхозом и девушка с вишневыми глазами. Он шел над землей, по воздуху, и всхлипывал, его грудь распирало чувство острого блаженства и умиротворения.

Колько слезно заревел, по-детски пуская пузыри. Его тоже душило какое-то непонятно большое и радостное чувство.

Галкин жадно глотал на улице рыхлый пахучий снег, прерывисто дышал и улыбался:

— По-моему, должны оправдать...

— Оправдают, оправдают, — сказал, дрожа, завсовхозом.

А там, за красным столом, предоставили слово подсудимому. Он начал тихо, без жестов, попросту:

— Да, я выстрелил в отца, но я спас жизнь матери. Товарищ доктор, защищая меня на суде, объяснил, что я был в то время невменяемым, — напрасно — я выстрелил в отца сознательно. Мне больше сказать нечего. Снисхожденья не прошу.

Суд совещался в сторожке. Пользуясь перерывом, батюшка пилил церковного старосту, рыжебородого косого мужика:

— Гляди, все свечи сжег!.. Вот и отвечай...

— Вы же, батюшка, сами приказали...

Поп понюхал табаку и крикнул, взмахнув клетчатым платком:

— А кто же их знал, этих товарищей!.. Вместо суда митинг завели. В воскресенье придется храм святить...

Суд совещался недолго.

Петр Терентьич Гусаков был оправдан. Он выслушал приговор спокойно, потом уткнулся в горячую ладонь и несколько мгновений был как в столбняке.

Первым бросился поздравлять его фельдшер:

— Честь имею... от всей души! Какое же могло быть сомнение...

И гнилозубое, одутловатое лицо его кисло-сладко улыбалось.

Любовь Даниловна взяла Петра под руку, что-то быстро говоря ему своим бодрым голосом. Афросиньи не было: она почувствовала себя плохо и ушла. Груня стояла далеко от всех в темном углу, упершись затылком в стену, и тихо плакала, сама не понимая — от горя иль от радости.

— Пойдем, пойдем... Распустила рюмы-то!.. Оправда-али... — звал ее Михайло-муж.

Гасили огни, батюшка обматывал шею шарфом, крестный Петра, встряхивая скобкой полуседых волос, гулко говорил:

— Спасибо, товарищ председатель. И вам, судьи-мужики, спасибо. Вышло правильно. Спасибо от всех крестьян.

В куполе сгущалась тьма, сквозь голубоватый сумрак едва поблескивала позолота царских врат, на улице тоже темнело.

Поздним вечером поднялся свежий ветер. По полям и дорогам полз белый туман, и коньки крыш курились. В ночь разыгралась метель. Терентий не спит. В избе темно и тихо, за стеной, по мужичьей широкой земле метельная тьма вся в визге, вся в хохоте, плаче.

Терентий слушает — глаза открыты, — и кто-то из тьмы темным тягостным шопотом зовет его:

«Пойдем».

А метель пуще, метель воет в трубе, плещет в окна, кому-то стелет в поле последнюю постель.

Зайцы притулились под елками и зарываются в снег, лисицы глубже лезут в норы, стая волков, потявкивая и скуля, правит свой путь к жилью. На знакомом пригорке стая садится, поворачивает морды на метель, обнюхивает крылья седого ветра — наносит жилым дымком и вкусным запахом хлевов... Волки отфыркиваются, ляскают зубами, как цырюльник ножницами, и поджаро бегут вперед, пуская слюни.

«Пойдем...»

Терентий встает. Он долго надевает тулуп, и дрожащая рука его неуклюже шарит по углам, разыскивая посох.

Свежий ветер с размаха бросается на избы, метет поля, взвиваясь до самых туч, и, ворвавшись в лес, набитый нежитью и лешими, валит с ног подгнившие дубы.

Терентий ушел.

1924

ПОДНОЖИЕ БАШНИ

Очерк

Весна. Играет музыка, чуть доносится мотив знакомой песни. Сегодня праздник. В календаре: черным по белому — «Апрель 18», но в душе мгновенно красным цветом расцветает «Первое мая».

Пролетарский праздник! Праздник обремененных и трудящихся, праздник всего мира, всей вселенной, идущей к престолу Красоты и Правды, через тернистые врата мучительных волнений.

Спешу на улицу.

Красные знамена! Взгляд прежде всего ловит этот облитый солнцем бодрый, манящий за собою цвет.

Колеблемые ветром красные паруса, расписные, шитые золотом. Словно корабли плывут из страны обетованной, нагруженные дарами солнца — светом и теплом.

...Эй, надувайтесь, паруса! Кормчий, прямо держи руль, смелой рукой веди корабли меж рифов и подводных скал, зорко высматривай маяк!

И уж после знамен взгляд ловит остальное: блестит на солнце медь литавр и труб, движутся бесконечные ряды народа, клубятся, пляшут, летят на золотых крылах радостные звуки марша.

Ряды проходят и проходят, волна за волной — бесконечный людской поток.

Зачинается песня, несмело, сдержанно. Народ подхватывает неуверенными голосами, путая слова, торопливо отыскивая их в листках развернутых книжек. Лица одухотворены, над головами рдеют знамена, глаза горят и отражают волнения души: совершается нечто великое, литургия труда, гимн свободе.

Идут войска без ружей, с ружьями, рабочие, работницы,

матросы, дети, вооруженная винтовками гвардия пролетариата. Вновь гремит оркестр, вновь льется песня, и, подталкиваемые ветром, плывут красные паруса.

И радостно становится сердцу человека: душа оттаивает, просыпается, чтоб бодрствовать до конца дней.

Граждане! вчера еще мы были рабами и, точно колодники, сидели в цепях. Наш дух, дух человека, рожденного для свободы и счастья, сотни лет был скован рабством. Не сами ли мы повинны в своем убожестве, не сами ли мы держали друг друга во тьме и порабощении? Некого нам винить, виноваты сами. Но положенный от начала предел пройден: слепец прозрел, поднялся на ноги безногий, услыхал вещие зовы и громко крикнул глухонемой от рождения. Встал богатырь во весь свой рост, тряхнул крутыми плечами, цепи звякнули и с лязгом упали к ногам его.

Разве не чудо, не сказка волшебная все, что свершилось, что протекает перед нашими глазами? Даже не гадая о том, что будет, а только воспринимая обострившимся чувством происходящее, душа каждого заражается восторгом, чистым и светлым, какой недоступен был человеку-рабу. И это ощущение свободы, многое обещающей, но и ко многому обязывающей, кропит людские сердца, как прохладный дождь истощенную засухой землю.

Поглядите кругом: многие не могут сдержать слез восторга. Всем радостно, каждый знает, что начинается новая жизнь, все приветствуют проходящих стройными рядами людей труда, тех безвестных работников, чьи руки создали и эти дворцы, и весь тот уют жизни, которым пользуется мир. Безвестные, безвременно сходящие в могилу — вот они свободны, они вышли на площади, они празднуют праздник труда и сулят миру счастье.

Вот седовласый старик, маленький, в поношенном пальто, с палочкой, длинные волосы выбиваются из-под шляпы.

Он прислоняет руку козырьком к глазам и всматривается в проходящие ряды людей. Выражение лица ласковое, он весь в любви к людям, ему хочется всех обнять, всех приласкать, ободрить. Он сам удивлен тем, что свершилось в его душе.

— Милые, хорошие... родные... — шепчут его губы, и трогательно вздрагивает жиденькая борода.

Он щурится на проходящую толпу женщин, ловит ухом их нестройные песни, видит их смущение, у них так плохо, не дружно, не празднично выходит, и говорит им отеческим голосом:

— Ничего, ни-и-чего... Кто как может... ни-и-чего... — и текут из его глаз дорогие слезы счастья, может быть, первые в его жизни.

— Господи, хорошо-то как! — восклицает старушка.

— Да, матушка, чудесно... Особая какая-то радость, знаете... особая... — подхватывает дама, вытирая глаза платком.

— В японской войне был, — объявляет бородатый солдат, — с немцами дрался, многие города скрозь прошел, два раза дома в побывке был... Нет слов, хорошо!.. Ну такого, значит, веселья не видывал...

— Тут веселья нет... Идут и идут куда надо, — прерывает его скептик.

— Ха! чудак-человек... Вот тут веселье, в сердце!.. — ударяет солдат себя в грудь. — Душа играет.

Да, если плакал кто в этот погожий день, то только слезами радости, и лишь чистые сердцем могли ронять такие слезы.

... Дальше и дальше движутся корабли, оснащенные красными парусами, и вот уж, чрез Троицкий мост, вплывают они на площадь.

В давние времена, когда Петербург был молод, это место называлось «Царицын луг». Здесь цвели тогда красивые, но дурманные цветы. Их запах угаром расстилался по всей земле русской и мутил головы, и отравлял души людей-рабов.

Впоследствии плац этот стал называться Марсовым полем в честь бога войны, жаждущего безвинной крови народа во славу и благоденствие власть имеющих.

И только ныне, в нашу российскую весну, вольный народ окрестил это место площадью Свободы. Здесь чутко спят в гробах народные борцы и в тихих снах своих видят, как веют над их могилами красные знамена.

Итак, от тьмы, от дурманных цветов красивых, через кровь братьев, принесенных в жертву богу войны, — к Свободе. Многотрудный, светлый путь.

На площади Свободы — людское море. Сюда впадают со всех концов столицы потоки людей и красные паруса-знамена, как в небесах заря, остановились над волнующимся морем.

На первый взгляд — здесь проза жизни, здесь музыканты настраивают оркестр. И вся эта разноголосица словесных скрипок, флейт и барабанов многих удручает, многим хочется задрать вверх голову и по-собачьи взвыть. Но есть умеющие всматриваться в даль: им ясно, что оркестр собирается исполнить величественную симфонию.

— ... Кого к нам отпускает Вильгельм кровавый? Безногих, безруких, ослепленных наших воинов, словом, тех, кто ему не опасен, а еще своих приятелей, вроде большевиков... Так ли, граждане?

— Ложь! долой... Вон!.. Большевики горячо любят свою родину...

— Где их родина?

— Долой! Долой оратора... Шляпа, говори!..

— Идеалы Ленина давно живут в народе... Поезжайте в деревню, прислушайтесь...

Вот с черным знаменем автомобиль анархистов. Черная туча с красной надписью. Молния сверкает, но грома нет, и никто не крестится.

Вот священник свободной церкви. Он в блестящем цилиндре. Его речь горяча, жесты внушительны.

Он недоволен временным правительством, отдавшим церковь в опеку неведомому Львову.

— Мы, все, радуясь, праздновали нашу общую светлую пасху на третьей неделе великого поста, но церковная пасха была для духовенства мрачной. Мы жаждем свободной церкви, чтоб священники и архиереи были выбираемы народом.

У некоторых зычные голоса, и их призывы раскатываются по всей площади. Они овладевают вниманием. Таких слушают, не придираясь к содержанию. Они рубят топором каждую фразу, и ядреные щепки слов летят во все стороны.

Но есть и такие, что лучше б не говорили. Их речь пересыпана мудреными словами, витиевата и запутана, и только выводы понятны, но неубедительны, как вытекающие из туманно сказанного. Но и таких слушают, очевидно, из деликатности, потому что, слушая, вздыхают и посматривают по сторонам.

— Граждане! Меньшевики тянут к буржуазии... Разве не замечаете, как они поправели? Разве...

— Позвольте, товарищ! Позвольте...

— Дайте кончить...

— Нет, позвольте... Еще неизвестно, с кем пойдет народ... Я полагаю — за Плехановым...

А в отдельных кучках происходят митинги, так сказать, «кустарного» качества.

— Ты на меня не наваливайся! — кричит армяк, нервно поправляя картуз с светлым козырем... — Чего ты на меня прешь, не даешь рта разинуть... Я дело говорю, а ты дурак... Вот ты кто...

— Товарищ! — возмущается обиженный, — теперь свобода слова... Нельзя же так выражаться... Говорите как следует, не горячась...

— Обидно! как же не воевать, ежели немец вот-он-он... Ррраз и мокренько...

В некоторых местах жестокие схватки. Голоса охрипли, глаза горят. Вот-вот схватятся за ножи.

Словом — народ гудит. Народ ищет правды, ищет вер-

ного пути. Пусть в разноголосицу настраивается оркестр, пусть воют собачьим воем малодушные: море все-таки должно шуметь и колыхаться, чтоб не покрыться плесенью.

— Братья! Первый путь пройден. Спустим шлагбаум, чтоб не вернуться вспять.

От Господина Великого Новгорода через тьму прошедших столетий, по могилам борцов за свободу, мы, ведомые просвещенными сынами человеческими, пришли к подножию башни, которую нам надлежит создать волею народа.

Достойные взять камень и положить его на крепком цементе в основание — бери и клади. Нерадивый, не мешай строить. Как тростник колеблющийся — встань под красные паруса, копи в себе силу и мужество, ибо каждый должен быть на учете: работа тяжела, но творчество сладко и упоительно.

Мы у подножия башни.

Спаянный высокой целью, одухотворенный мечтой о вселенской высоте, народ достигнет истинного во всем равенства: всплывут опустившиеся на дно жизни, сойдут в долины стоящие на ложных вершинах благополучия. И все встанут лицом к лицу. В глазах их будет гореть то стыд, то гнев, то радость. Но великая совесть вынесет приговор каждому, и тогда руки нежные и грубые, искусные и мозолистые сольются в пожатии крепком, братском.

Когда это сбудется? Завтра, чрез годы?

Какой мудрец ответит, если то, о чем едва мечталось, осуществляется внезапно, и события людской жизни стремительно мчатся, как блистательный поток падучих звезд.

Вот тогда, и только тогда, при непреложном, действительном равенстве, человек, владыка земли, никому не обязанный, закончит постройку высокой башни.

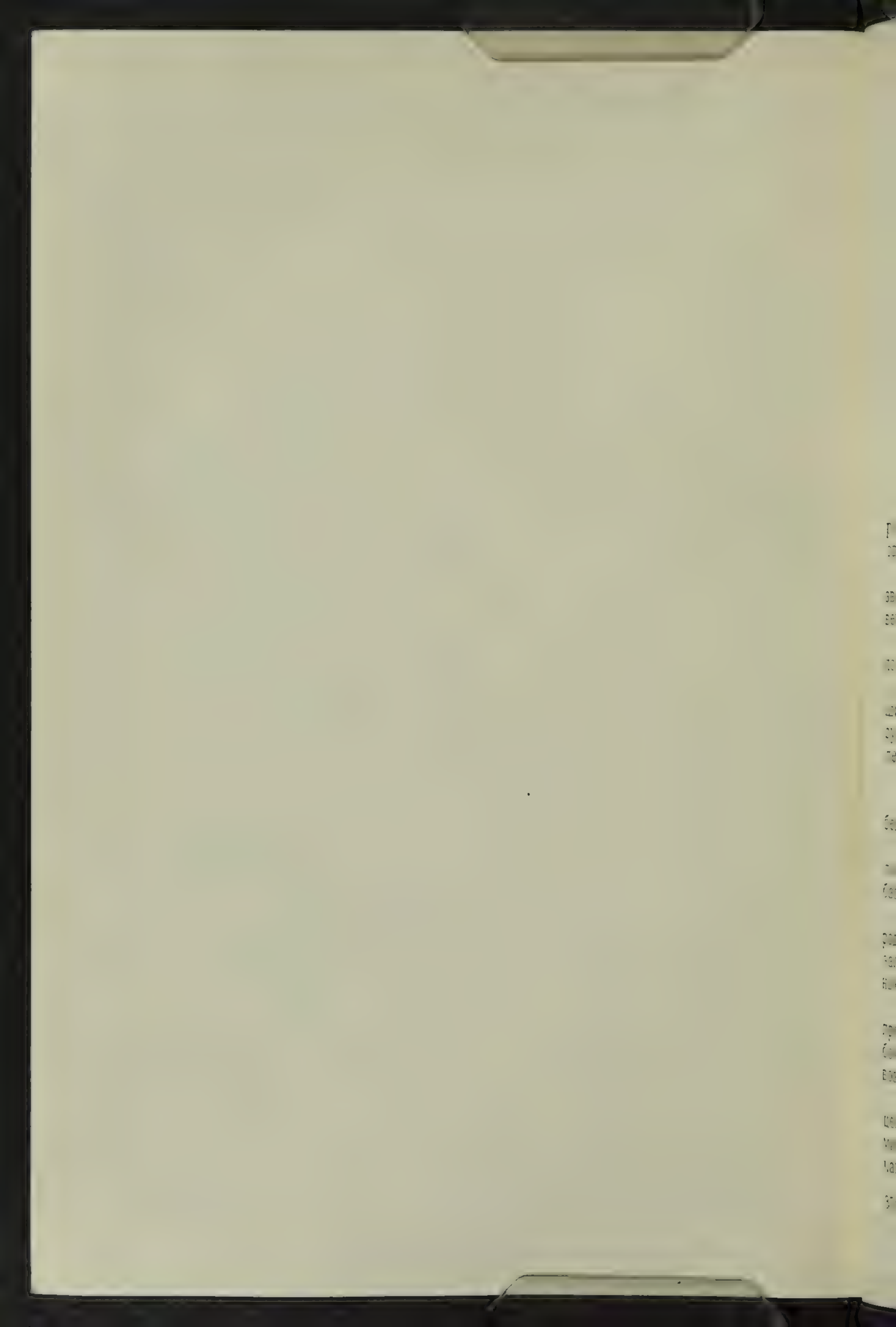
С вершины ее будут видны человеку все концы и начала. Он приблизится к тому, что так беззаветно искал, к чему стремился.

Правда станет его матерью, Наука — сестрой, Красота — невестой.

Но гений человека и тогда не уснет волшебным сном, не скажет: «Довольно, я человекобог, достиг недостижимого», — ибо пылающий факел Идеала будет всегда впереди него.

1917

ШУТЕЙНЫЕ РАССКАЗЫ



«НА ТРАВКУ»

Яков Мохов, наголодавшись в Питере, выхлопотал в фабричном комитете двухнедельный отпуск и укатил в Краснозвонск «на травку».

— Это ты правильно, — сказал ему товарищ. — Краснозвонский уезд завсегда был сытый. Народ справно там живет. Вот и мне картошки пришлешь.

Ехать было очень голодно: на станциях — хоть шаром покати, пустыня.

Но лишь сошел в Краснозвонске с поезда, какой-то шершавый дядя с кнутом вырвал у него восьмушку махорки, сунул в руку полкоровая хлеба фунта с два, а тетка за маленькую катушку ниток дала десяток вареных яиц.

Яков Мохов весь расцвел:

— Господи... Вот так чудеса! — сел на лавочку да все без запинки и скушал.

— Полный резонт... — сказал он самому себе и в веселом настроении пошел на рынок: день воскресный, как раз базар.

Зычно бухали колокола к поздней обедне — церквей в городе много; зеленели сады, ласточки с веселым гамом резали воздух; к базару тянулись подводы; лошади откормленные, гладкие, народ приветливый и сытый.

А вот за мостом, у собора и базар. Тароватый прасол продает целое стадо домашних уток, вот две большущих бочки масла, творогу, возы яиц. Хотя цены высокие, но у возов хвосты — всяк пить-есть хочет.

Местные жители на чем свет ругают приезжих питерцев, которые ходят гурьбой по базару, у каждого за плечами мешок, в руках сумка со всякой всячиной: чулки, брюки, чашки, часы, сукно, ситец.

— И чего их пускают сюда? Гляди, как набивают цены-то. Приступу нет.

— Захочешь есть, так... Поди-ка, побывай в Питере-то, нюхни-ка!.. Нужда гонит.

— У вас заработки. А у нас что?

— Заработки... Велики наши заработки.

Яков Мохов наблюдал все это издали, прислушивался, присматривался, наконец и сам принял участие.

Он подошел к рыжебородому, маленькому, похожему на колдуна, старичонке:

— А почем картошка?

— Картошка? — переспросил тот, хитроумно взглянув на покупателя, и поскреб под бородой. — Картошка у меня серебрянка называется, не скороспелка. Прямо с гряды. Вот какая картошка-то... Сахар! Триста целковых мера.

— Дорого.

— Дорого? — опять переспросил старик сердито. — Зато в городе. Не хочешь, не бери.

— Как это не бери? Я есть хочу!.. Чего тебе картошка-то стоит... Грош она стоит. Мародер этакий.

— Стой, стой! Ты не лайся... Ну, ладно, взял я, скажем, триста рублей с тебя, — а что я на них могу купить? Ну-ка, скажи! Три фунта соли. Понял?

— Верно, верно!

Кругом загалдели, собиралась толпа.

— Вот рубаху сейчас купил! — крикнул парень.— Пятьсот рублей. А она греет, что ль? Ситец!

— Лошадь — тридцать тысяч! Колесо — две тыщи. Коса, уж на что коса, и та шестьсот. Ха!

Яков Мохов улыбался, глаза его сверкали.

— Вот у тебя, я вижу, сапоги новые обуты, — задорно сказал старик-колдун и подбоченился. — Во сколько их ценишь? В три тыщи? А я кладу за них четыре рубля с полтиной, как до революции, а свою картошку — пятиалтынный мера. Это сколько же выходит? Тридцать мер? Так и есть... Вот получай тридцать мер, да разувайся, ежели на то пошло! Желаешь?

— Ха-ха-ха! Разувайся, товарищ, разувайся! — подзуживали ротозеи.

— Заплачешь ведь! — возвышая голос, чтоб заглушить поднявшийся шум и хохот, говорил Яков Мохов. — Спятишься, старый хрен... Ведь тридцать мер, ежели по три сотни — девять тысяч выходит, а я три прошу. Взвоешь ведь!

— Кто, я? Ничего не взвою. Разувайся и никаких!

— Не валяй Ваньку-то! До старости лет дожил, а дурак.

— Может статься, и дурак, да не дурашней сына твово батьки.

— Ха-ха-ха!..

— А где у тебя картошка-то? У тебя и картошки-то полторы меры.

— Поедем. Живо накопаю. У меня две девки!

— Где ему? — подзуживали зеваки. — Он только бахвалится. Поди, и сапоги-то не его, а для прогулу взял.

— Известно, не его! — подмигнул старик зевакам. — Ему и во сне-то не снилось таких собственных сапогов носить.

— Ишь, ишь, закраснел как!

— Едем, чорт тя дери, едем!! — крикнул взбешенный Яков Мохов и залез в телегу к старику.

Вышло чудно как-то и нелепо. Ну, для чего он продал сапоги? И куда ему тридцать мер картошки? Ему масла надо, крупы, яиц, хлеба.

Тьфу!.. Он с досадой посматривал на сутулую спину колдуна, на его хитрые, с прищуром, глаза, на клокастую рыжую, с сильной проседью бороду.

Но лишь только выехали за город, досады как не бывало. Кругом лежали желто-золотистые нивы и зеленые поля, виднелись рощи, перелески, то здесь, то там белели церкви. Воздух насыщен пряным густым теплом, солнце склоняется к западу, по пажитям чинно расхаживали грачи, а в выси все еще звенели песни жаворонков.

— Ух ты! Давно я не был в деревне. Я ведь тоже из мужиков.

— Так-так-так... Само хорошо, — живо откликнулся старик.

— А служу на фабрике в Петербурге.

— Так-так-так... Благодарим покорно... Оно и видать: краски-то никакой в лице нету... А кость широкая. Поди, харч плохой?

— Ну да... А после пасхи в больнице месяц вылежал.

— Так-так-так... И чего вы, ребята, например, все мутите? За дело бы надо. Нешто это жизнь?

— А тебе плохо? Наверно, помещичью землю поделили? А?

— Насчет землицы — это правда, землица отошла к нам от барина добрая. Благодарим покорно... И лесок есть, и сад, а яблоки — во! — в два кулака другой не уложишь, да еще пасека... Все под мужиком теперича!

Старик свесил с телеги ноги, покрутил головой и скрипуче засмеялся, его маленький круглый носик совсем потонул между толстых лоснящихся волосатых щек.

— Вспомнил штуку... Хошь, расскажу? Тут в пятом годе такая канитель вышла с помещиком-то нашим, что страсть. Погромишко, вишь ты, мужики-то устроили, то есть все по-

кострячили — дым коромыслом! А я поопасался ехать, как бы чего не вышло, думаю. Одначе баба забранилась: «Дурак, грит, ты... Эвот, люди возами добро возят. Грыжа, грит, ты собачья!» Оделся я, поехал. А там уж и взять нечего: что муку, что небиль, али платье — все расхватили, чисто под метелку. Нет, думаю, надо, что ни то и мне, а то — старуха глотку переест. Гляжу — чан большущий, дубовый, ведер на сорок, на боку лежит. Я его в сани, грузный чорт, аж становую жилу надорвал. Вот поворотил я с ним домой, да и подумал: «А на кой леший мне чан?» А сам глазом шарю, нет ли еще чего билизовать: значит, в антирес входить начал. Гляжу, кобель барский, тощий такой, согнулся в дугу, будто стрючок, шуба-то на нем короткая, а мороз. И стал я за ним гоняться, ну вступило в мысли поймать да и поймать. Чисто ошалел тогда. Тоись до того упрел, гонявшись, аж душа вон. Одначе изловчился, пал на него, а он меня цоп за нос! — едва не отгрыз. Скрутил я его кушаком да в чан-то и посадил, и сам туда залез, а кушак-то вокруг себя, чтобы, значит, не убег кобель-то. И поехали мы с ним, благословясь, домой, как сенаторы. Вот ладно. Вдруг, откуда ни возьмись, черкесцы — у соседнего барина, слышь, служили они, — за мной... Я как начал нахлестывать кобылу-то, они за мной. Ке-эк в это времечко дорога крутанула, сани вверх копыльями, все на свете перекувылилось, тут нас с кобельком чан-то и накрыл, двух дураков. Живым манером это черкесцы опять чан перевернули и почали меня плетками драть. Дерут, а мне смешно: кобелишко-то со страху кушак мог оборвать, да как сиганет, отбежал в отдаленье, да ну гавкать дурноматом. Тут и черкесцы засмеялись, ей-богу право, бросили меня драть-то. Я встал на ноги, один как порснет мне в морду кулаком, я опять слетел. Только было подымусь, как порснет по уху, я опять в снег башкой. Я караул заорал, взмолился. Бросили. Распрощался я тут с ними честь по чести и пошел ни с чем домой, потому кобыленки и след простыл. Иду да кровью отплевываюсь, зуб мне вышибли, самый клык.

Старичонка долго хохотал, подстегивая лошадь; грустно улыбался и Яков Мохов.

— Вот видишь, — сказал он старику. — Разве это порядок? А теперь кто тебя пальцем может пошевелить! Никто.

— Как есть — никто! — Старик помолчал и сказал раздумчиво: — Оно верно, что с этим уставом с теперешним можно было бы жить, кабы удовольствие... А то, вишь, никакого удовольствия: ни тебе сахару, ни чаю, ни гвоздя. Тьфу! Эвот селедка, уж на что дерьмо, и та в сотню въехала. А бывало на сотню-то две коровы да коня купишь. — Он ударил себя кнутом по голенищу, защурился и закрутил го-

ловой. — И деньжищ энтих теперя у всех крещеных — гибель! А впрочем, — что в деньгах? Бумага и бумага... А удовольствия никакого тебе нету. Да-а... Так-так... Ну вот, например, вы, фабричные — коего чорта, прости бог, не вырабатываете ситцы да сукно? Оглашенные вы этакие, будьте вы неладны! — вдруг переменив тон, крикнул старик.

Лицо его стало строго, но глаза смеялись.

Яков Мохов ответил не сразу. Долго глядел на него в упор, потом сказал:

— Темный вы народ, жадный. Вам бы только в брюхо все. Есть селедка в аршин величиной, есть ситный, вот мужику и хорошо. А что ежели его в зубы урядник лупцовал, да землишки было — кот наплакал, — это мужик забыл. Вот ты плачешь, что фабрики стоят. А где взять хлопка, угля, нефти, железа? Ведь все это тю-тю от нас! Поди-ка, повоюй, говорят.

— Ране было же.

— Так зато раньше и помещик был. Раньше и исправник был, и земли у тебя не было. Ну, что, ежели тебе дадут, к примеру, сто аршин ситцу, двадцать аршин сукна, пуд мыла, да пуд сахару и скажут: получай, только помни, все обернется по-старому, снова будешь не хозяином, а холуем последним. Согласишься?

Старик вздыхал, крутил головой, покрякивал, потом сказал:

— Нет! — и нахлобучил шапку.

— Ну а ежели водки еще в придачу? И бочонок самолучших сельдей? А? — улыбнулся Яков.

Старик захохотал и мрачно сплюнул:

— Благодарим покорно... Ха-ха-ха!.. Вот так загнул загадку. Водка! А?! Да у меня своя брага сварена, ей-богу право. Вот приедем, угощу. Эвот и село наше.

Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы — Дарья с Марьей, одна другой краше — наперебой потчевали гостя:

— С преснушечками-то, с соченьками-то... Уж не взыщите, мы по-деревенски.

И хозяин весело покрикивал:

— Намазывай толще маслом-то, не жалей, не купленное. Эй, Марья, а ну-ка в погреб, бражки бы похолодней!

С крепкой браги Якова бросило в краску, и в глазах замелькало.

«Этакая благодать, — подумал он, — вот бы пожить-то где», — и поддел на ложку густого пахучего меду.

— Живем, благодарю покорно, ничего... — громко чавкая и запивая брагой, сказал старик. — Только вот в чем суть:

бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем: я стар, а девкам одним не управиться... Вот беда-то...

Яков Мохов поставил на стол блюдце и несмело сказал:

— А что, ежели я бы? Насчет работы-то. Я могу.

— Да ну? — вскричал захмелевший старик. — Ах, ты, ясен колпак.. Яков Иваныч, друг... Неужели остался? А уж насчет жратвы мы тебя побережем, тоись так будем ублажать, ну прямо лопнешь по всем пунхтам. А девки-то девки-то у меня — малина!.. — он подмигнул на зардевшихся девиц и вдруг:

— А ты женатый?

— И не думал.

— Ну?!. Право слово? Девки, слышали?

Девки зарделись пуще и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе.

Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку:

— Раз! — выбросил он новые сапоги. — Первый сорт, со скрипом... Два! — выбросил другую пару. — Три, четыре, пять — это девкины! Нна! Уж насчет обувки — извини — вполне имеем. Ха-ха-ха! Уж извини. Тоись надул я тебя, Яков Иваныч, вот как... Тоись на рынке-то. Не сапоги твои, ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне: большой да широкий. Дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха! Благодарим покорно. Оно как по-писанному и обернулось. Чисто камедь... Ах ты, ясён колпак. Дарья, браги!! Марья, ходи веселей! Не зевай, девки, холостой ведь он...

Яков Иваныч улыбался.

1918

СМЫЧКА

Обозленный Пахом мотался из угла в угол, срыву совал в мешок нужное и ненужное, сердито выкрикивая:

— Я его, молокососа, вздрючу!.. Такую лупку дам, век будет помнить... Комсомолец... Я ему покажу комсомольством заниматься!

Тетка Арина, его жена, сидела в переднем углу и плакала, обтирая слезы сухим кулаком.

— Ой ты, мой Кузинька, зернышко мое, — скулила она.— Это его в Питере с пути сбили... Он смирёный у меня.

— Они все смирёные! — крикнул Пахом и поддел ногой кота. — Ежели они, черти, в деревне, при родителях, эвот какие штуки выкомаривают, пасху служат, рождество господне, а там и подавно вверх ногами ходят... Ну-ка, Мишка, прочитай снова писульку-то его.

Белоголовый паренек, младший сын Пахома, достал с божницы письмо и старательно прочел, водя пальцем и бровями.

— Как? Кто руку приложил? — подошел Пахом и наставил ухо.

— «Руку приложил небезызвестный вам комсомолец молодежи, ваш сын, Кузька Пряников», — ликующим голосом закончил Мишка.

— Ах, туды его... — тряхнул бородой Пахом и треснул Мишку по загривку.

Мишка заплакал, а мать крикнула:

— За что ты Мишку-то?!

— В задаток, — скосил на парнишку глаза Пахом. — Физиномордия его мне не поглянулась сегодня... Паскудная физиномордия... Я те пофырчу!

На другой день утром Пахом отправился пешком на полустанок. Арина вышла за околицу.

— Не шибко ты его полощи-то, — сказала она хозяину. — Дите ведь... Костей не повреди. Вожжой норови, вожжой, да за волосья. Слышь-ка, Пахом! Привези ты мне, ради Христа, какого ни на есть угодничка... Богов образок. А то святители-то наши позеленели: то ли от мух, то ли от тараканов... Лика нет, чернота одна. Поди, и молитва-то к ногам обратно валится...

— Угодничка прихвачу, ежели недорогой... Очень просто, — сказал Пахом и ходко зашагал вперед.

* * *

В Питер Пахом приехал к вечеру и едва добрался до писчебумажной фабрики, где работал по тряпичной части его Кузька, сын. Зашел в контору, оттуда в общежитие.

— Вот он здесь упомещается, их трое тут, — сказала беременная женщина, работница.

Пахом оглядел чистую, светлую комнату: на стенах портреты, на столе книги и какие-то диковинки. «Не по-нашему живет, дьяволенок», — подумал он и спросил:

— А где ж он, паршивец?

— Где, — в клубе.

— Это какая такая клуба? Чем же он там займуется? Тряпки моет?

— Нет, — сказала работница. — Сегодня Октябрь, день нерабочий, а у них там вроде вечеринки, что ли. Спектакль, что ли.

— Ага, против бога? Понимаю... — Пахом вынул из мешка ременные вожжи, сунул за пазуху, сказал:

— Барахлишко я тут оставлю, а пойду поучу его принародно, подлеца. Я его оконфужу: спущу штаны, все комсомольство с обоих концов выбью. Пыль полетит.

Пахом пересек площадь и поднялся во второй этаж освещенного корпуса.

«Надо сразу же парню острастку дать», — подумал Пахом и ощупал вожжи. Сердце его закипало, он рванул дверь и вошел, нарочно громыхая сапогами и не сняв шапки. Навстречу хлынул резкий свет многочисленных огней и чей-то знакомый голос. Пахом прищурился и, сделав руку козырьком, посмотрел вперед, на возвышение.

— Товарищи! Я обрываю... — вдруг прокричал говоривший. — Товарищи!.. вот мой отец из деревни неожиданно... Пахом Назарыч... Тятя!.. — и белоголовый румяный Кузька бросился к отцу.

И еще поймал Пахом ухом другой, басистый голос:

— Товарищи! У нас смычка с деревней... Вот случай почтить крестьянина. Ребята, качай!.. Урра!!

Мигом Пахом отделился от земли и взлетел на воздух.

— Будя! — испуганно орал он под потолком. — Стой, туды вашу!.. Не озоруй!! — и мягко падал на любовно-упругие руки столпившейся молодежи.

— Урра! Ура!.. Да здравствует Пахом Назарыч!.. Товарищи! Ведите его на возвышенье. На почетное место. Товарищи!!.

И вот Пахом за столом, ошеломленный. И Кузька кричит:

— Товарищи! Интернационал!

Все поднимаются, и складный напев гудит у Пахома в заросших тысячелетним мхом ушах, громче, торжественней, и Пахом снова как бы закачался в воздухе, как в колыбели, в этих звуках. Он сидел в шапке, а все стояли.

«Прилично, — подумал он, и морщины на его вспотевшем лбу стали распрямляться. — Придется Кузьку опосля выдрать, на фатере... Пока прилично».

Конец вожжи высунулся. Он поспешно запрятал его и снял шапку.

— Чаю! — кто-то крикнул. — Пахом Назарыч, кушайте, вот сухарики. У нас попросту... Митинг!

— Ничего, прилично, — сказал Пахом и стал придирчивым глазом водить по сторонам.

Но все чинно, благородно: разодетые девушки, чистяки парни. Сидят и слушают. А Кузька в пиджаке, в брюках, чего-то, сукин сын, очень складно говорит про мужика да про рабочего. Ежели, говорит, смычку устроить, так Русь первой страной во всем мире образуется... Только, говорит, сукин сын, надо крепче веровать да работать, как следовает быть...

Пахом слушает в оба уха, пегую бородищу гладит, думает: «Веровать... Насчет веры хорошо закручено. А все-таки вожжой придется для острастки разок-другой вдарить, стервеца», — но уже на губах Пахома играет улыбка, и глаза копят радость.

И еще выходили парни, много говорили приятного, указывали руками на Пахома, и всем залом кричали Пахому ура, били что есть сил в ладоши.

— Кланяйся, тятя, встань.

Пахом встал, закланялся, как в церкви, чинно, на три стороны, и борода его вдруг затряслась.

— Братцы! Ребятушки!.. — скосоротился он и засморкался. — Вот до чего на старости лет достукался я, бородатый гриб, до каких почетов... Могим поверить... Братцы!.. То есть, вот как... То есть вымолвить не могу... Спасибо, сто разов спасибо в оборот вам!.. А в бога, ребята, верьте, в господа... Это правильно. Ура!!

Все засмеялись, зааплодировали, а Пахом заплакал.

Грянула музыка, начались танцы. Пахом долго крепился, но вот, подобрав полы и с гиком:

— Эх, ты!.. Качай, деревня!.. — бросился вприсядку.

А когда кончил, ему какая-то барышня подала вожжи:

— Папаша, вот... это что же? Зачем?

— Это? — и Пахом зачесал под бородой. — Это называется вожжи... — растерянно сказал он, посматривая по-хитрому на сына.

— Товарищи! — захохотал Кузька, и все захохотали. — Сдается, тятя приехал меня драть.

— Врешь! Чего врешь понапрасну... — бубнил Пахом. — А так... коротко сказать... вожжи... называется.

* * *

Пахом прожил у сына три дня, три ночи. Не жизнь, а рай: тепло, светло, пища крепкая. На представленье ходил, — называется спектакль — «Смычка». Ох, и добрецкая комедь!

На прощанье молодяжник насовал в мешок Пахому всяких даров: и папирос, и бумаги, и платочков. Кузька сапоги пожертвовал и угодничка на дощечке, в красках расчудесных, от главы сияние.

— Какой же это святитель-то христов?

— А это карломаркский чудотворец, — сказал, улыбаясь, Кузька. — Новоявленный.

Пахом приложился к образочку, бережно завернул в платок и сунул в торбу.

* * *

Дома радостным рассказам не было конца. Собралась полна изба народу. Мишка жевал пряники. Кот обнюхивал новые сапоги и тряс хвостом. От бородатого угодничка шло сияние.

Арина сняла темный лик, а нового угодничка посадила на божницу.

— Завтра надо будет в церкви освятить, — сказала она, крестясь. — Как звать-то его, батюшку? Видать, преподобный старенький.

— Мудрено звать, забыл, грешный человек, — вздохнув, сказал Пахом. — А что вожжи с собою таскал, так это напрасно. Потому — все прилично у них: как вошел, ноги в гору и — смычка!

1928

БАБКА

Солнце хватало горячими клещами без разбору всех и все: красных и белых, валявшуюся вверх копытами мертвую кобылу с развороченным боком, старух и мальчишат, пушки, патронные гильзы по дорогам, траву, букашек. Коровы с телятами стояли по горло в воде, лениво взмыкивая.

Нагретый воздух трепетал и колыхался, словно боясь ожечься о грудь земли, и вместе с ним колыхалось на зеленом пригорке село Ивашкино.

Разведка знала, что село до оврага занято красными, за оврагом же, там, где церковь, — белыми из армии Юденича. Политрук отряда, рабочий-путиловец Телегин, и два его товарища входили в село без страха: белые и красные в открытый бой пока не вступали, та и другая сторона ожидала подкреплений.

— Эх, пожрать бы чего-нибудь... Молочка бы с погреба,— изнемогая от жары, пересохшим ртом сказал Телегин. Пот грязными ручейками стекал по красному лицу в густую бороду, кожаная куртка его раскалилась, как железная печь, и ноги в сапогах — как в кипятке.

— Айда в избушку, — махнул рукой Петров, приземистый рыжеусый молодец. — Только, черти, пожалуй, не дадут: белые их, поди, распропагандировали.

— Даду-у-ут, — устало улыбнулся всем лицом и бородою товарищ Телегин.

— У них, у дьяволов, снегу зимой не выпросишь, — сухо сплюнув, проговорил Степка Галочкин, курносый парень.

— Да-а-дут, — опять улыбнулся Телегин. — Ежели умеючи, у мужика все выпросить можно. Вы, ребята, на меня посматривайте: что я буду делать, то и вы.

В кожаных новых картузах и куртках, в новых сапогах,

одетые так же чисто, как и белые, трое коммунистов вошли в избу. Пахло хлебами, жужжали мухи. У печки, с ухватом, старуха в сарафане и повойнике.

Телегин снял картуз, подмигнул товарищам, истово, по-мужиковски перегибаясь назад, усердно закрестился на иконы. А за ним и те двое.

— Здорово, хозяюшка! — весело крикнул Телегин. — А нет ли у тебя чего покушать?

— Ох, кормильцы наши, ох, батюшки! — засуетилась у печки бабка. — Садитесь, ягодки мои, спаси вас бог, садитесь... Ужо я хлебца свеженького выну, ужо молочка...

Бабка принесла две крынки студеного молока, вытащила из печи хлеб, похлопала его — кажись, готов — и накромсала гору:

— Кушайте, родненькие мои, голубчики... Уж не взыщите. Кушайте во славу, не прогневайтесь...

Голос у нее ласковый, глаза ласковые, с подслеповатым старческим прищуром, морщинистые губы в рубчиках — ввалились. Она держала ухват, как посох, и умильно посматривала от печи на гостей. Кривой котенок сидел среди избы и умывал лапой гноящийся свой глаз.

Кожаные куртки с наслаждением глотали молоко, прикрякивая.

— А где же те-то, окаянные-то? — спросила бабка и скрипуче, со слезой: — Вы смотрите, детушки, с опаской... Они, раздуй их горой, в нашем краю вчерась рыскали...

— Кто, хозяюшка?

— Да краснозадые-то эти самые, чтоб им!.. — крикнула бабка, беззубо зажевав.

Кожаные куртки молча переглянулись, а Степка Галочкин прыснул молоком, как из лейки. Телегин улыбнулся в бороду, спросил:

— А ты, хозяюшка, неужто красным ничего бы не дала?

— Красным?— подпрыгнула старуха.— Гори они огнем!— и стукнула в пол ухватом. — И хлеб-то весь в подпол побросала бы да карасином облила, и крынки-то с молоком об башки бы им расколотила... Тьфу!

Петров подавился хлебом и закашлялся, а голоусик Галочкин надул щеки и опять прыснул смехом в горсть.

— Ужо я вам, ангели мои, сметанки... ужо, ужо...

— За что же ты, бабушка, ненавидишь красных героев?— тенористо спросил Петров.

— Тьфу! — плюнула старуха и сухим кулачком утерла дряблый рот. — Да как же их любить-то, ангели мои господни... Эвот вчерась нашего Гараську они, ироды, вытащили из колодца да уволокли с собой... Гараська у нас, парень... Ну, знамо, билизацию он не принимает, воевать не любит,

залез в колодец, вроде как схоронился там... Ох, и ревел Гараська, аж слезами весь изошел...

Бабка покарабкалась на полку за сметаной и, подпираясь ухватом, сутуло поплелась к столу.

— Ты, хозяюшка, видимо, принимаешь нас за белых, может, за офицеров? — рыгнув, спросил Телегин. — А ведь мы не белые...

— А кто же вы? — влипла в пол старуха, и ухват в ее руке закачался. — Не красные же вы, раз богу помолились...

— Нет, не красные...

— А кто же? — глаза старухи прищурились, и ухват вопросительно застыл.

— Мы черные...

— Чево-о-о? — попятилась старуха.

— Черные...

— Это какие же такие еще черные? — и голова старухи сердито затряслась. — Кого же вы, ребята, бьете-то?

— Кого придется, — сдерживая улыбку, сказал Телегин. — Белые попадут — белых, красные — красных.

Бабка взмотнула локтями, и глаза ее запрыгали; она повернула от стола назад и через плечо бросала:

— Черти вы!.. Вот черти... Что надумали, а? Черные какие-то а?!.. Направо-налево кровь льют, а?!.. Нате вам сметанки, нате!! — издевательски улыбаясь, рывком совала она к столу крынку со сметаной и отдергивала назад. — Нате, окаянные... Нате...— Глаза ее горели яростью.— Ишь ты, черные, ни дна б вам, ни покрышки, подлецам... Замест сметаны-то в три шеи вас, дураков паршивых... Мы че-о-рные... Тьфу!..— и старуха, ударив в пол ухватом, зашоркала к печке. — Нет, ребята, это не по-божецки... Уж вы, ребята, одной стороны держитесь: либо белой, либо красной... — Голос ее стал мягче, и глаза глядели на пришельцев жалостливо. — Эх, ребята, ребята!.. Дуть вас надо, дураков...

— Хозяюшка, — сказал Телегин, — мы хотим дальше итти, а ты разреши нам оставить у тебя кой-какие вещишки...

Но в этот миг открылась дверь, быстрым шагом вошел красноармеец и спросил:

— Палатки-то вносить, товарищ Телегин?

Слово «товарищ» ошарашило старуху как бревном: она вдруг стала маленькой, как девчонка, ухват дрябло заляскал в пол, и сарафан сзади гулко встряхнулся.

— Ой, ребята, — безголосо прошипела она и шлепнулась на лавку. — Ой, ребятушки, товарищи... Дак кто же вы?

Степка Галочкин — ноздри вверх и захохотал в потолок горошком, а Телегин серьезно:

— Красные, хозяюшка, красные...

Старуха разинула рот, несколько мгновений лупоглазо смотрела в лица красноармейцев и вдруг сорвалась с места.

— Ребятушки, голубчики, товарищи наши! — заорала она осипшим басом, как сумасшедшая. — Бейте их, окаянных, белых этих самых! — грохнула она ухватом в пол. — Бейте их хорошень!.. Бейте!.. — Бабка злобно поддела котенка ногой и едва устояла. — Они, подлецы, родного старика моего в баню заперли, хозяина... Вавилой звать... Пошел он вчерась к дочке, — дочка у нас в том конце замуж выдана. А его там и замели — ты, мол, красный, — да в баню, под замок, на старости лет. Вот они, собаки, ваши белые-то что делают... Давите их, подлецов, пожалуйста!!

Бабка — как ведьма: космы растрепались, повойник на затылок сполз, из беззубого хайла летели слюни.

Красноармейцы хохотали. Галочкин уткнулся лбом в столешницу, крутил головой и заливисто визжал; подброшенный котенок лез с перепугу в валеный сапог; темным облаком под потолком шумели мухи.

1924.

РАЗВОД

Существовали на сей земле супруг с супругой, Иван да Марья Природовы, ткач и ткачиха. Десяток лет жили дружно; правда, случались мелкие скандальчики, но это уж обычно, это исстари идет, по всем законам: все в природе зуб за зуб, клык за клык, даже волки лютые грызутся, почему же людям в мире жить, раз они от обезьяны?

Только однажды, совсем недавно, случился грех, и в совершенно трезвом виде. Грех, к огорчению, кончился разводом.

Грех не сразу выпер в их жизни, он, как клубок, накручивался исподволь: сегодня нитка, завтра бечевка, послезавтра — аркан. И стиснул аркан их души.

Разрыв случился из-за двух вер. Одна вера в бога, другая в красном платочке, просто Вера, ткачиха тоже. Марья по природной женской слабости была религиозна. Иван же вольнодумец. Марья на сходке, когда церковь постановили обратить в театр, полезла в драку; Иван, в отместку ей и согласно идеологии, снял дома все иконы, проворчав:

— Да ты Вере-то в подметки не годишься, ежели критически... И как я с тобой, с чортом, жил...

— Тьфу! — плюнула жена.

Остальное все понятно.

* * *

После развода они вошли в комнату как чужие. Муж принес колбаски фунт. Она — баранок и селедку. Пожевали молча, всяк в своем углу. Иван поискал нож, не нашел, а спросить — самолюбие не позволяет. Отгрыз колбасу, подумал: «Вот и свободный я. Куда захочу, туда и пойду»,— и с

остервенением опять отгрыз. Марья озабоченно уписывала селедку, запивала чаем.

«Хорошо бы и мне чайку, — подумал Иван. — Не даст, пожалуй. Обозлившись».

Он почему-то на цыпочках подошел к водопроводу, напился и, как бы устыдившись малодушия, беспечно замурлыкал:

„Выхо-ожу один я на доро-о-ог-у..."

Марья зевнула, взглянула на стенные часы — десять — и стала оправлять кровать.

— Отвернись! — крикнула она Ивану, как нищему, который назойливо выпрашивает денег. — Теперича ты мне — тьфу. Я раздеваться стану. Можешь глаза пялить на Верку на свою.

Иван отвернулся. Марья разделась, перекрестила подушки и легла.

— Можно, что ли, оборачиваться? — спросил Иван, но ответа не получил.

Где же лечь? Дивана нет. На стульях разве?

«Э, чорт... Лягу на полу».

Марья спала крепко, Иван тревожно. Утром опять пришлось Ивану отвернуться.

На работе Иван да Марья спрашивали у товарищей, нет ли, мол, на примете у кого хоть какой-нибудь комнатушки? Куда тут... Нет.

— Это раньше бывало: комнат — сколько хошь... А поди-ка разведись, наплачешься...

Подходила вторая ночь.

— Теперича моя очередь на кровати... Кровать не твоя, а общая, — сказал Иван.

— Отвернись, — сказала Марья, разделась и легла на пол. Иван спал крепко, Марья тревожно: все вертелась на полу — жестко.

Пришла третья ночь. Иван читал газету. Марья достала новую рубашку в кружевах, нарочно перед самым носом Ивана разложила ее на столе и стала продевать в проемы розовые ленточки. Иван покосился на рубашку, крякнул и никак не мог перелезть на другую строчку: голова вдруг отказалась понимать прочитанное, в голове замелькала женская рубашка, тело — бывшей жены или ткачихи Веры — все равно.

— Отвернись, передену рубашку, — сказала Марья.

Ивану показалось, что голос Марьи прозвучал не так, как раньше. Иван отвернулся к зеркалу и протер глаза. В небольшом квадрате зеркала отражалась часть кровати. Марья отпахнула одеяло, и рубашка скользнула с ее плеч. Сердце

Ивана стукнуло, остановилось и — раз-раз-раз — пошло работать без узды. Чтоб не смотреть на отражение крепкого женского тела, Иван, согласно идеологии, зажмурился, но тотчас же открыл глаза.

Ложась на пол, он думал:

«Придется постельник сделать. Чорт его знает, этот развод. Ничего не предусмотрено».

На пятую ночь, когда Ивану опять пришла очередь спать на полу, Иван сказал:

— Слушай. Без постельника немыслимо на полу валяться. Если, так сказать, вдуматься категорично, мы можем, как тот, так и другой, спать вместе на кровати, ведя себя соответственно.

Марья подумала и сказала сердито:

— Ложись! Только чтоб спина к спине.

— Обязательно! — воскликнул Иван. — Соответственно... И тому подобное.

Ах, как приятно! В комнате восемь градусов, а до чего тепло спине. А все-таки надо идеологии держаться.

— Пожалуйста, не шевелись, — сказала Марья, засыпая.

— Я не шевелюсь... Я так, от нечего делать... Приятно очень.

Днем, в воскресенье, у них был такой разговор.

— Когда же ты уберешься от меня, постылый? — сказала Марья.

— А куда же мне, ежели кругом такое уплотнение.

— К Верке к своей, вот куда!

Иван взглянул в глаза Марье: бешеные бесенята, огоньки.

— Она сама при муже, — угрюмо сказал он. — Мы с ней, ты думаешь, как? Мы с ней просто по-хорошему.

— По-хорошему? — закричала Марья. — А пошто мял-то ее на танцульке. В коридоре-то?

— Мял-мял... Эка беда какая... Да ведь как вас, баб, не мять... Ежели вы такие... Ну, это самое... Всякий комбинат. Поневоле будешь мять...

— Поневоле? — еще звонче крикнула она. И сразу тихо, сквозь сдержанные вздохи: — А, впрочем, сказать... Чего это я, дура... Теперича мне тьфу на тебя. Чужой ты мне, вот все равно, как это полено. Мни, кого хошь, тешься.

— А ты?

Марья замигала и быстро в сенцы.

Легли опять спать спина к спине. Ивана подмывало повернуться. Марья, будто угадав, сказала сквозь зубы:

— Ты не вздумай облапить меня. Я тебе не девка гулящая.

— Ну, вот еще... Что я, маленький, что ли?

— Да ведь вы... О, чтоб вам сдохнуть!..

Иван огорченно улыбнулся тьме. И, чтоб укротить себя, пытался направить мысли иным путем:

«Двенадцатый разряд... По какому праву? Да он, этот самый Лукин, без году неделю и служит-то... Неужто за то, что языком трепать умеет? А мне едва одиннадцатый дали... Обида или нет? Да, да... О-о о-обида,— засыпая, думал Иван. — Чего? А хорошо бы этому... как его... ну вот этому в морду дать. А-а-а, Лукин, вот-он, он... Держи его... двенадцатый разряд... А? Разряд? Хватай, бей!»

Иван занес руку, чтоб сгрести обидчика в охапку, и почувствовал, что его рука прикоснулась к чему-то мягкому, как крутое тесто. И вслед за этим обидчик крепко дернул его за бороду, крикнув:

— Пожалуйста, без объятиев своих! Отъезжай на пол... Ежели руки распространяешь.

Иван очнулся и сказал:

— Извиняюсь... Затмение... Комбинат.

И вновь спины вместе, дружба врозь. Лежит Иван, хлопает во тьме глазами, не может разобраться — хнычет Марья или хихикает над ним. Лежали долго.

— Иван! — позвала Марья.

Иван притворился спящим и легонько захрапел.

— Ох, какая канитель мне с ним, — вздохнула Марья и, повернувшись к мужу грудью, опять тихонько позвала: — Иван!

Иван храпел. Тогда Марья слегка прикоснулась губами к ивановой спине и чмокнула, сказав: — Ах, душка мой... Василь Василич...

— Извиняюсь!.. В чем дело? — быстро повернулся к ней Иван. — Какой это Василь Василич у тебя имеется?

— А тебе какое дело? — сказала Марья и повернулась к нему спиной.

— Мое дело, конечно, маленькое, — сказал Иван. — Эх, Маша, Маша!..

— Ты с Верками да бознат с кем путался, а мне зевать? Плевала бы я.

— Вовсе я даже ни с кем не путался... Как честный человек, говорю. Ха! Променял бы я тебя на Верку. Даже смешно.

— А что? Скажешь, меня любил?

— Неужели нет? Э, Маша... — он горестно взмотнул головой, и кончик его носа зарылся в густую косу Марьи.

Марья быстро повернулась к нему грудью, крикнула:

— Ах ты, дурак паршивый, притворщик. Ишь ты, прикинулся, храпел, как конь... Сроду не знавала никого, опричь тебя. А ты и уши распустил. Я просто испытать... Ха! Василь Василич какой-то, провались он.

— Маша! Изюминка!

— Ваня!

А перед утром Иван сказал:

— Просто непонятное бывает на свете. Ведь вот жили мы с тобой, скажем, десяток лет, и ничего такого... все как-то... Даже наскучили друг дружке. А тут, чорт его знает, то есть, как развелись, с того самого моменту я прямо втюрился в тебя, как самый безнадежный влюбленный буржуй. То есть, чорт его... И с каждым моментом гораздо пропорциональнее... Ну, хоть на стену полезай или топись... Вот что значит психология... Развод придется онулировать... Ах, необдуманный комбинат какой... Идиеологически паршиво вышло.

Марья вздохнула и сказала:

— А хорошо бы нам ребеночка.

— Не плохо бы, — сказал Иван. — А что касаемо религиозной почвы, то ее как-нибудь урегулируем. И вдобавок, Маша, надо пружинный матрац купить.

1925

ПОРТРЕТ

Было дело в голодное время. А сам я — мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уж некогда угодников мазать, да и негде: даже попы нуждаться стали.

И вот пришла мне в голову идея:

— А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням, — внушаю сам себе, — будешь с богатых мужиков морды малевать.

В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом — клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый, чорт.

— Ладно, — говорит, — рисуй по очереди всех, меня, Матрену, Акульку, Мишку. Потому — по-благородному желаю жить: чтобы все на стенках висели, форменно, да.

Стали торговаться. Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит: пиши за харч, жрать будешь и — довольно.

— Это грабеж, — говорю ему, — вы, гражданин, искусство не цените. Вы, граждане, не знаете, что знаменитый художник Репин по три тысячи золотом за портрет берет.

— Начхать мне на твоего Репина! Он — Репин, а я — Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай струмент и — дальше.

И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адова, то есть такая жара — шесть собак на деревне очумело. Я посадил его, подлеца, у ворот, на самый солнцепек, и велел волчью шубу с шапкой надеть.

— Пошто! Рисуй в красной рубахе, при часах.

— Нет, — говорю, — в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся. Даже Никола-зимний на иконе и тот в рукавицах.

Он сидит, пот градом с него, а я, конечно в холодок

устроился. Разглядываю его, а он пыхтит: тучный, дьявол, жирный.

— Что же ты, живописец, не малюешь?

— Я физиономию вашу изучаю, очень величественная у вас физиономия, как у воеводы.

Он бороду огладил, приосанился. Я ему:

— Нет, Митрий Титыч, шевелиться нельзя.

— Ну?! Неужто нельзя... А меня клоп кусает.

— И разговаривать нельзя. И мигать нельзя: кривой будете, вроде урода. Замрите, начинаю, — и стал подмалевывать.

А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прямо живьем сожрал бы ее, а нельзя.

Я говорю:

— Пожалуйста, не обращайте на нее внимания: поползает, поползает да улетит. А то портрет испортите, снова придется.

Гляжу — он губы скривил, чуть-чуть подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не любит ветерок, взяла да и поползла на правый глаз. Мужик моргнул, да лапищей как хлопнет. Муха и душу богу отдала.

— Ну вот, — сказал я, — портрет испорчен. Снова.

— Господин живописец, — взмолился он, — нельзя ли в холодок? Шибко жарко, сомлел я весь, и глазам очень трудно на солнышко глядеть.

— Нет, нет, — сказал я, — замрите окончательно.

Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил:

— Мишка, подбирай! — и, не стыдясь баб, оголился да ну, как тюлень, нырять, нырнет да гогочет.

Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем да думаю: «Я те, анафеме, покажу, как сквалыжничать, ты у меня взвоешь».

— А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки? — спросил Огурцов.

— Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется.

— Да ведь ты пуд просил?

— Меньше двух пудов не могу. В шапке ежели — пуд. Не желаете, тогда до свиданья. Я художник самый знаменитый. Меня даже в Москве каждая собака знает.

— Патрет мне шибко нравится, — сказал Огурцов. — А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый. Так и быть, рисуй простоволосым, без шапки.

После обеда хозяин выпил одиннадцать стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел:

— Идем, что ли, чорт тебя задави совсем. Только ты не серчай на меня, голубок...

Жара была еще сильней. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц. Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него: шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный.

— Вот до чего упарился... Аж в сапогах жмыхает.

— Ничего, — говорю, — терпите.

— Да долго ли терпеть-то?.. Аж пар из-за голенища валит... Аж дышать тяжко... фу-у-у...

Через час у него кровь из носу пошла. Через два часа он вдруг побелел, простонал:

— Кваску бы... — и упал.

Я только написал одну голову. Сходство поразительное, даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит:

— Дюже правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень...

— Дорого, — говорю, — пять пудов.

Он ощетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал:

— Рисуй, сволочь!

Я потребовал плату вперед, посадил брюхана в холодок — в красной рубахе он, при часах, с медалью — и стал со всем старанием писать.

Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака два месяца. Мучицы заработал и деньжат.

На прощанье кулак сказал:

— А ты все-таки — жулик... Ловко нагрел меня.

Я ответил:

— Другой раз не жадничайте... Вы — человек богатый.

Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку порядочно-таки песку подсыпал.

1926

ШЕРЛОК ХОЛМС — ИВАН ПУЗИКОВ

I. СЕНЦО

День был душный, жаркий. К вечеру соберется гроза. Недаром деревья так задумчивы, так настороженны.

В ограду бывшего имения господ Павлухиных — ныне совхоз «Красная звезда» — въехал на сивой лошаденке кривобородый, с подвязанной скулой, рыжий мужичок в лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому, — пусто, на работе все.

— Тебе кого? — выглянула из окна курчавая, цыганского типа голова.

— Да мне бы Анисима Федотыча, управляющего,— ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу-грешневик.

— Я самый и есть, — сказала голова.

— Приятно видеть вашу милость. Желательно нам сенца возик... Потому как понаслышались мы...

— Здесь не продается. Это учреждение казенное.

— Да ты чего!.. Да ведь Серьгухе нашему вчерась продал, сельцовскому. Хы, казенное... Вот то и хорошо! Чудак человек!

— Зайди. Шагай сюда.

В ночь действительно собралась гроза. Тьма окутала всю землю, освежающий дождь сразу очистил воздух, небо ежеминутно разевало огненную пасть, чтоб вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа.

Наутро — хвать, батюшки мои! — забегали в совхозе: какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки.

Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет: ведь на-днях комиссия из городу приедет инвентарь ревизовать, да и молотьба недели через три. Что делать?

Сбились с ног, искавши. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили, — конечно, не нашли.

Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, к которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима Федотыча. Он сучку тут же выдрал.

Совхозский писарь Ванчуков сказал:

— Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, мозговитый!

— А ну их к чорту, этих нынешних... — возразил управляющий. — Каторжник бывший какой-нибудь.

— Напрасно, — писарь стал рассказывать о подвигах сыщика.

В конце концов Анисим Федотыч согласился:

— Поезжай.

Писарь оседлал каурку да — на железнодорожную станцию, что за двадцать верст была.

— Ладно, разыщу, денька через три ждите, — только и сказал Иван Пузиков, агент «угрозы», то есть уголовного розыска.

И действительно, в конце третьих суток — уж время ужинать — взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам-друг с товарищем Алехиным.

Посмотреть — юнцы. Особенно Алехин. Правда, Пузиков важность напускает: между строгих бровей глубокая складка; правда, и глаза у него стальные, взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпячен. Вообще Пузиков — парень ого-го. То ли двадцать лет ему, то ли пятьдесят.

Осмотрел, обнюхал их Анисим Федотыч со всех сторон, — да-а, народ занятный.

— Ну, что ж, товарищи, пойдемте-ка. Темнеет.

— Успеем, куда торопиться, — сказал Пузиков. — А вот чайку хорошо бы хлебнуть.

— Ежели ваше усмотренье такое, то чаю можно... — недовольно проговорил управляющий. — А на мой взгляд, надо по горячим следам.

— Ерунда, папаша, — ответил Иван Пузиков. — И не таких дураков лавливали.

Чайку угроза любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами.

За чаем Пузиков завел рассказ. Управляющему и неймется, и послушать хочется — очень интересно угроза говорит.

— А почему я по этой части? Через книжку, через Шерлока Холмса. Тятька меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу — ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно, дьявол те возьми. Все мечтал, как бы это сыщиком стать; мечтал-мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам русский Шерлок Холмс, Иван Пузиков. Только энтот Холмс золотые кубышки охранял, а мы — общественное добро!

— Слышал, слышал, — заулыбался во все цыганское лицо управляющий, и щеки его заблестели. — Я, конечно, вас, товарищ, и винцом бы угостил, да боюсь — время упустим. Уж после вот. По стакашку.

— Ерунда, папаша, злодей не уйдет. А выпить не грех.

— Слышал, слышал, — пуще заулыбался управляющий, налил всем вина, выпили. — Слышал, как самогонщиков ловите.

— Всяких, папаша, всяких, — вдруг нахмурился Иван Пузиков и почему-то дернул себя за льняной чуб. — Да толку мало, вот беда.

— Почему?

— Город мирволит. Мы ловим, а город выпускает, сто чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они! — Иван Пузиков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутнул ими под самым носом управляющего.

— Ха! Вот какие дела! — воскликнул тот. — А по-моему, мазуриков щадить нечего. Иначе пропадем.

— Кто их щадит! У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так чтоб далеко от вас, управляющий самогон приготовляет на продажу. Два завода у него.

— Кто такой?

— Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят. А в третьем — сено.

— Се-е-но! — управляющий уставился в ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз.

— Да, папаша, сено.

— В тюрьму их, подлецов!

— Все там будут, папаша, все. Только не сразу, помаленьку, чтоб дичь не распугать.

— Пейте, товарищи, винцо... Позвольте вам налить.

— Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет. Сам отдаст, вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на пасхе мельника ог-

рабил, латыша? А я знаю: два брата Чесноковых из вашей деревни.

— Не может быть! Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ? — вытаращил глаза управляющий и подумал: «Ну и ловко врет».

— А как же Ивану Пузикову не знать, папаша?

— Надо в тюрьму. Ведь ордер-то есть?

— Ах, папаша! — Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривозубого рта.— Ну, вот, скажем к примеру, арестую я завтра по ордеру вас (управляющий заерзал на стуле и пытался улыбнуться), увезу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж, вы похвалите меня? (Управляющий выдавил на лице улыбку.) А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, он и ахнет пулей из-за куста.

— Да-да-да, — растерянно заподдакивал управляющий, и обвисшие усы его задергались. «Однако с этим чортом Пузиковым ухо востро держать надо».

— Ну, товарищи, еще по стакашку коли так... Для храбрости. Да и пойдем. Полночь. Самая пора.

— Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей. А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши.

Управляющий сердито буркнул:

— Нету, — и опять подумал:

«Ни черта им, молокососам, не сыскать».

Утром Анисим Федотыч встал рано, отдал приказания и вошел в комнату, где ночевала угроза.

Пузиков и Алехин сладко храпели.

— Дрыхнут.

Управляющий сходил на мельницу, распушил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся, — угроза умывалась.

— Чай пить некогда, — сказал Пузиков, — а вот на скорую руку молочка.

Выпил с Алехиным целую крынку и оба заторопились.

— Кого из рабочих подозреваете, папаша?

— Никого.

— Правильно. А из Рукохватовой?

— Андрея Курочкина. А еще, пожалуй, что Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят.

— Ерунда, — нахмурился Пузиков. — Не они. Я всю деревню вашу насквозь знаю. Деревня — тьфу! Все три волости... Как на ладошке.

— Скажите, какие способности неограниченные, — востор-

женно сказал управляющий, а под нос пробурчал: — Хвастун изрядный.

Алехин туго набил махоркой кисет и подал Пузикову портфель.

— Ну, теперь, папаша, за мной в деревню, — сказал Пузиков. — Учись, как жуликов ловит Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс.

Он быстро пересекал двор. Широкоплечий, кривоногий, низенький, куртка нараспашку, из-под козырька сдвинутой на затылок кепки лезет огромный лоб.

— Не сюда, товарищ, не сюда, — кричит едва поспевавший управляющий, — в обратную сторону!

— За мной, папаша!

Он, словно сто лет здесь жил, перелез через изгородь, обогнул беседку и боковой тропинкой подошел к скотному двору, где четверо рабочих накладывали на телеги навоз...

— Здорово, Степан Рябинин! — крикнул он весело и твердо. — Бросай вилы, айда за мной! Понятым будешь. Я — Иван Пузиков, агент угрозы. Понял?

Степан Рябинин — черный и сухой скуластый парень, в ухе серьга — удивленно посмотрел на незнакомца, ткнул в навоз вилы и сказал:

— Ладно.

Повернули назад. Угроза передом. Свернули влево.

— Не сюда, товарищ Пузиков, вправо надо, — опять сказал Анисим Федотыч.

— Не сбивай, папаша. Слушай-ка, Степан! Ты ведь в этой казарме живешь, в номере седьмом, кажется?

— Так точно, — ответил Степан. Голос у него скрипучий, — не говорит, а царапает словами уши.

— Зайди и возьми, пожалуйста, наган. А то, сто чертей, опасно... Может быть, дело будет. Ну, живо!

— Это какой-такой наган? — тряхнул серьгой Рябинин. — Чего-то не понимаю я ваших слов.

— Фу ты! — возмутился Пузиков. — Да револьвер. Револьвер системы «Наган». Понял?

— Нет у меня никакого револьвера.

— Нету? А куда ж ты его дел?

— Не было никогда. С чего вы взяли?

— Не было? Это верно говоришь? Не врешь? А из чего ж ты грозил застрелить председателя волисполкома, помнишь? Пьяный, на гулянке, в Спасов день. Помнишь? Почему ты его во-время не сдал?

Степан Рябинин чувствовал, как весь дрожит, и напрягал силы, чтоб овладеть собой.

— Нет у меня револьвера! Сказано — нету!

— Да ты не волнуйся, — от тенористого резкого голоса

Пузиков вдруг перешел на спокойный ласковый басок.—Чего зубами-то щелкаешь? Ну, нету и нету. Верю вполне, и пойдемте все вперед.

Анисим Федотыч ядовито ухмыльнулся.

Степан Рябинин то шагал как мертвый, то весь вспыхивал и в мыслях радостно молился:

«Слава богу, пронесло».

До деревни с версту. Анисим Федотыч был с брюшком, фукал и отдувался: очень емко шли; прорезиненный дождевик его со свистом шоркал о голенищи.

В деревню вошли с дальнего конца. Пузиков бегом к избе, вскочил в завалинку — и головой в открытое окно:

— Эй, тетя! А Фома Чесноков дома?

— Нету, батюшка. В поле навоз возит.

— А брат его Петр?

«Вот леший! Неужто всех поименно знает?» — подумал управляющий.

— Петруха в кузне. А ты кто сам-то, кормилец, будешь?

— Сахарином торгую. Ну, до свиданья. Увидимся.

Кузнец Петр Чесноков ковал какую-то железину.

— Бросай-ка, Петр Константиныч. Идем скорей с нами. Понятым будешь.

— Каким это понятым? — и Петр грохнул молотом в красное железо. — А кто ты такой, позволь спросить?

Лысая голова его была потна, и все лицо в саже, только белки блестят, как в темных оврагах — весенний снег.

Вдоль деревни шли гурьбой: еще пристали председатель сельсовета и двое милицейских.

Иван Пузиков подвигался медленно: остановится, посмотрит на избу, дальше.

— А в этой, кажись, Миша Кутькин живет? — спросил Пузиков. — Мой знакомый... Надо навестить.

Кутькин, мужичок не старый, возле сарайчика косу на бабке бил. Бороденка у него белая, под усами хитрая улыбка ходит. Взглянешь на усы, на губы — жулик; взглянешь в глаза — нет, хороший человек: взор ясный и открытый.

— Здравствуй, Миша, — ласково сказал Пузиков. — Нешто не признал? А помнишь, вместе на свадьбе-то у Митрохиных гуляли? Я — Ванька Пузиков, из Дедовки.

— А-а-а, так-так-так... Чего-то не припомню, — сказал Кутькин, подымаясь, и стал растерянно грызть свою бороденку.

— Ну, как живешь, Миша? А это у тебя что? — и угроза заглянула в сарайчик. — Мельницу никак ладишь? Очень хорошо! А железо-то не купил еще? Ну, ладно. Вот что, Миша! А можно мне в избу к тебе, бумажонку написать?

Сухопарая тетка Афимья низко поклонилась навстречу вошедшим и суетливо стала прибирать посуду: чашки, ложки разговаривали в трясущихся ее руках. Пузиков вильнул на ее руки глазом.

Все сели, кроме хозяина избы, кузнеца и Степана.

— Ну-ка, милицейский, пиши акт, а я буду говорить тебе. — Пузиков задымил-запыхал трубкой и достал из портфеля письменные принадлежности. — Пиши.

Милицейский, курносый парень, сбросил пиджак и приготовился писать. Лицо Пузикова было спокойно, простодушно: двадцать лет. Он диктовал вяло, уставшим голосом, словно желая отделаться от этой ненужной проволочки и поскорей уйти. Потом голос его внезапно зазвенел:

— Написал? Пиши. «Постановили: Михаила Кутькина, укравшего в совхозе «Красная звезда» принадлежности молотилки, немедленно арестовать». — Глаза его зорко бегали от лица к лицу, — ему сразу стало пятьдесят.

Мишку Кутькина, хозяина избы, точно кто бревном по голове:

— Да ты, товарищ, обалдел!.. Какой я вор?! Что ты?!.

— Миша, да ты не ерепенься, — мягко сказал Иван Пузиков и пыхнул густым дымом. — Раз я делаю, значит — делаю правильно. Ведь я знаю, где у тебя вещи... В подполье, под домом. Верно?

Кузнец Чесноков, крякнув, моргнул тетке Афимье, та схватила ведро и быстро вон. Мишка Кутькин сгреб себя за опояску, но руки его тряслись, — видно было, как плещутся рукава розовой рубахи.

— Шутишь, товарищ, — слезливо сказал он. — Обижаешь ты меня.

— Ничего, Миша, не обижаю. Писарь, пиши! «Во время составления акта кузнец Петр Чесноков подмигнул Афимье Кутькиной, а та поспешно вышла, чтоб перепрятать краденое».

— Во те на! — уронил кузнец, как в воду — клещи.

Мишка Кутькин ерзал взглядом от бельмастых кузнецовых глаз да к двери, и слышно было, как зубы его стучат. Анисим Федотыч удивленно вздыхал.

— Алехин! Где Алехин? — и голова Пузикова завертелась во все стороны. — Тьфу, сто чертей! опять с девками канителится... Степа, будь друг, покличь моего помощника.

Степан Рябинин повернулся и на цыпочках вышел вон.

— Да! Вот что, товарищ Петр Чесноков. Скажи ты мне откровенно, как священнику,— кому ты делал собачку к револьверу?

Кузнец поднял брови, отчего лоб собрался в густые складки, и глупо замигал.

— Никому не делал... Совсем даже не упомню.
— Ах, Чесноков, Чесноков, ах, Петр Константиныч, — застыдил, замотал головой с боку на бок Пузиков, заприщелкивая укорно языком. — А я-то на тебя надеялся, что все покажешь: борода у тебя большая, человек ты лысый, прямо основательный человек, а вдруг — запор. Ая-яй... А я еще за тебя перед городскими властями заступался. Те, ослы, на тебя воротили, что ты с братом ограбил мельника. Ая-яй!
Кузнец попятился, взмахнул локтями:
— Спаси бог, что ты, что ты!..
— Да ты не запирайся.
— Никакого я мельника не воровал.
— Да я не про мельника. Разве в мельнике вопрос факта? Я про револьвер. Степан Рябинин откровенно сознался мне, что револьвер ему ты чинил.
Кузнец засопел, потом прыгающим голосом ответил:
— Извините, запамятовал. Действительно, Степка правильно показал—его был револьвер... Точь-в-точь... Ну, как он просил не говорить...
— Пиши! — резко крикнул Пузиков. — «По показанию Петра Чеснокова, он чинил револьвер, принадлежащий Степану Рябинину, который системы «Наган»...»
Тут скрипнула дверь, и с воем ввалилась баба, за ней Степан и Алехин с мешком.
Баба упала в ноги Пузикову и захлюпала:
— Ой, отец родной... Ой, не загуби...
— Стой, тетка Афимья, не мешай, — ласково сказал Пузиков и еще ласковей к Степану: — Степан, голубчик, не в службу, а в дружбу, будь добр, притащи нам револьвер скорей. Вот ты отпирался давеча, а кузнец, спасибо ему, показал, что твой... И, ради бога, не бойся, Степа. Ничего не будет, до самой смерти... Ну, пожалуйста.
Степан заметался весь, блеснула в ухе серьга, ожег кузнеца взглядом и, пошатываясь, вышел вон.
— Вставай, Афимьюшка, вставай, родная...
— Ой, батюшка ты мой... Сударик милый-цейский...
— Эка беда какая, что хотела перепрятать, — участливо говорил Пузиков. — До кого хошь доведись. Всякий дурак бы так сделал... Даже я. Под овин, что ли?
— Под овин, сударик ты мой, под овин...
Он, не переставая, пыхал трубкой, тугой кисет пустел, и комната тонула в дыму, как в синем тумане. Не торопясь, вытряхнул все на стол из принесенного Алехиным мешка.
— Э-эх, добра-то что. Все ли, нет ли. Папаша, а?
— Чего-с? — у Анисима Федотыча рябило в глазах, и кончики ушей горели, в голове чехарда, он ничего не мог понять, только шептал: «Вот так дьявол!»

— Да, — раздумчиво говорил между тем Пузиков. — Тут нехватает двух веществ: перекидной ручки — это той самой, ты над ней пыхтел, Чесноков, в кузнице, когда мы пришли... А кроме того, двух медных болтов и шайб с гайками. Они тоже у тебя, товарищ Чесноков... Ну, пойдемте.

— Ей-богу, нет!.. Рази меня гром! Отсохни борода! Да чтоб утробу мою червь сосал!.. Знать не знаю!

Пузиков очень внимательно перебирал вещи в двух сундуках кузнеца. Кузнец трясся так, что дрожала вся изба.

— Эка у тебя добра-то сколько, — спокойно говорил Пузиков. — А? Вот буржуй... Ну, это, между прочим, ничего. Похвально. Нищий завсегда нищим будет. Грош ему и цена. А ты, видать, человек хозяйственный.

Жирная баба стояла у скамейки, как огромное изваяние; она обхватила ручищами жирную грудь и охала басом.

— Чего ты охаешь? Грыжа, что ли, у тебя? — сказал Пузиков.

— Да как же мне не охать-то... Ох!..

— Ох, ох... Экая ты трупёрда, деревенщина... А еще такая полная мадам. Стыдись! Ох, ох... Вот тебе и ох... Вот видишь, какая рукавица-то? Знатная рукавичка. При царе три целковых стоила. Кожа-то — прямо бархат... а ты — ох...

— Никаких болтов у меня, товарищ, господин сыщик, нету. Сами изволили усмотреть... — словно по камням, вперевертку, вперекувыр сказал своим голосом кузнец.

— Что? — фукнул Пузиков из трубки в самый нос ему.— И болтов нету, и рукавички другой нету. Болты — чорт с ними, не в болтах факт, болтов у тебя и быть не может никаких. А вот рукавичку мне подай.

— Потерявши рукавичка. Выпивши, из города вез... По... потерявши.

— Ты потерял, а я нашел... Сколько дашь?

— Шу... шутить изволите.

— А это что? Она? — и Пузиков вынул из портфеля другую рукавицу. — А нашел я ее у мельника в избе.

Баба охнула и шлепнулась задом на скамейку.

— И знаешь, товарищ Чесноков, когда? На другой день, как вы его ограбили. А ежели не веришь, дак в обеих рукавицах в серёдке мельникова мета есть. Тебе и невдомек. Нука, понятые, рассмотрите.

Кузнец упал на колени:

— Наш грех, наш грех... Не губи, ради Христа.

Бодро вошел Степан, взглянул — и руки у него сразу опустились.

— Что, револьверчик притащил? Молодчина, Степа. Да-

вай сюда. Вот и все, кажись. — Иван Пузиков обвел компанию торжествующим, улыбчивым, но все же крепким взглядом. — Ну, вот, ребята, мы тихо, смирно, не торопясь, разыграли, как в кинематографе, не хуже чем в «Собаке Баскервилей». Товарищи милицейские, этих трех гусей арестовать! А придет Фомка Чесноков, и его, злодея, в ту же дыру.

Все стояли бледные и тряслись. Больше всех — и неизвестно почему — волновался Анисим Федотыч.

Пузиков, заложив руки в карманы, произносил поучительную речь.

— Есть такой заграничный сыщик, Шерлок Холмс. Он хотя и спец считается, но, будучи по службе у буржуазной власти, хватает без разбору всех мазуриков. Я же, Иван Пузиков, сыщик российский, и кроме того — сын своего народа. Далее, по порядку, участь Чесноковых — тюрьма! Хотя они, допустим, и обокрали мельника, который богатей, однако за них, товарищи, безвинно арестован мужик из бедноты. Второй пункт предложения: Степан Рябинин, как возвративший ревсльвер по своему инициативу, освобождается из-под ареста. Можешь итти, Степан! Что же касается Михаила Кутькина, то я ничего, товарищи, сделать не могу. Ты, Миша, сам посуди: украл ты государственный механизм от молотилки, то есть достояние республики. Это называется — позор! Укради ты не только механизм, а, скажем, всю молотилку у какого-нибудь кулака контрреволюционера — совсем десятая статья. И я, может статься, во время обыска все рыло бы себе своротил об эту самую молотилку, а сделал бы вид, что не нашел. Потому что уравнение имущества социализм не возбраняет. Азбука коммунизма гласит прямо. Ты же, как сказано, украл достояние республики, да еще перед самой страдной порой, а ведь эта самая молотилка предназначалась обслужить целых три деревни. И нет тебе даже оправдания, что ты несознательный элемент — что-что, а это ты, как хозяин и мужик самосильный, должен был сообразить. До свиданья, Миша!

Угроза баловалась у Анисима Федотыча заслуженным чаем и ела пироги.

Анисим Федотыч волновался. От пылающих ушей загорелись щеки, и воловья шея налилась кровью, а глаза — как у попавшей в капкан лисы.

«Все, дьявол, знает. Пожалуй, знает и про сено».

— Товарищ Пузиков, — начал он, ероша курчавые черные, с синью, волосы. — За такое ваше самоотверженное старание я своею властью обязан вас вознаградить, не щадя средств. Что бы вы с товарищем пожелали?

— Что бы пожелали? — Пузиков откромсал долю пирога. — Я бы пожелал вас, папаша, арестовать.

— Ха-ха-ха, — обомлев, захохотал, словно залаял, Анисим Федотыч. — За что?

— За сенцо, папаша, за сенцо.

Управляющий вдруг перестал смеяться, глаза его округлились, и густые брови сразу насели на нос. Он резко стукнул в стол.

— Мальчишки! (Алехин вздрогнул.) Сопляки! Я вам не Мишка Кутькин! Я вам...

И, закусив удила, понесся, не в силах удержаться.

Пузиков набивал трубку, сторожко посматривая, как бы управляющий не смазал его в ухо.

— Постойте, папаша... Да вы не петушитесь... Ведь свидетели есть, — спокойно сказал он.

— Свидетели?.. Я те покажу свидетели!

— Алехин, покличь-ка мужичонку-то... Как его... Тимоху...

— Какого Тимоху? — с сердцем спросил юнец, искренно сердясь и на товарища и на управляющего.

— Фу ты, боже мой!.. Какого, какого! Ну, я сам схожу.— Пузиков схватил портфель и вышел.

Управляющий все время взад-вперед ходил по комнате, поправлял ворот — шее было тесно. Шагнул к шкафу, выпил большой стакан вина.

— Сыщики... Тоже считаются сыщики. Оскорблять порядочных людей... Ответственных работников... Слетите, голубчики!.. Оба слетите, сопляки паршивые... Я вас!

Но вот в дверях показался дядя,— ну, конечно, тот самый: лапти, синяя рубаха, скула подвязана, и рыжая бороденка кривулем. У управляющего лицо стало длинным, и открылся рот. Мужик снял с головы грешневик, перекрестился и прямо в пояс:

— Здорово, Анисим Федотыч... Здорово, милячок. А я опять за сенцом к тебе... До-обрецкое сенцо.

— Что ты мелешь! Кто ты такой? — злобно прохрипел управляющий, а в голове, как молния: «Вот скандал! Турну, пока Пузикова нет». — Пошел вон! Здесь казна... Ступай, ступай, — и кулаки управляющего крепко сжались.

— Это само хорошо, что казна... Ты не гайкай, — чуть попятился мужик. — Бесстыжие твои глаза. Жулик ты казенный!.. Вор!..

— Убирайся вон, рыжий чорт! — и управляющий остервенело сгреб его за шиворот. — Вон!

Мужик захрипел, треснула рубаха.

— Караул, караул!.. Эй, Пузиков!..

— Вон! В тюрьму, подлец!!

Вдруг словно бомба ахнула:

— Ах, ты так, папаша? А ну! — Мужик рванул, и управляющий, взлягнув ногами, грохнулся спиною в пол.

Мужик, тяжко сопя, стал снимать с себя бороденку и парик.

— Пузиков! — простонал управляющий. — Это ты?

— Я самый, — сказал тот и протянул управляющему руку. — Ну, папаша, подымайся.

Алехин во все горло хохотал.

На этот раз все обошлось благополучно. Пузиков так и сказал, прощаясь:

— На этот раз, папаша, ничего... Больно пироги хороши. Только помни!

Вечером, собрав всех рабочих, Анисим Федотыч угостил их самогоном и держал речь:

— Вот, товарищи, жулик сразу и влопался... Мишка Кутькин... А вы как были честные труженики, так и оставайтесь. Да здравствует советская власть!

Анисим Федотыч сена больше ни-ни-ни. А вот когда обмолотили рожь, — урожай в «Красной звезде» нынче отменный, — хлебцем стал помаленьку поторговывать. И то с великой опаской по мешочку, самым знакомым мужикам.

Первым приехал поздним вечером Антон Седов.

— Ради Христа, ржицы продай... Весь хлеб градом порешило.

Антону Седову, как не уступить — закадычный, можно сказать, друг.

Но управляющий был так напуган тем проклятым из угрозы, что долго и подозрительно всматривался в мужика, как индюк в чужого гуся. Потом подвел его вплотную к лампе.

— А что это у тебя, дядя Антон, в бороде как будто что-то ползет, — и сильно рванул его за густые клочья бороды. Борода оказалась природной, собственной.

2. ПУГОВКА

— Ваня, — сказал Алехин своему другу, белокурому молодому человеку с прямым широким ртом, — к тебе пришли.

Тот сделал стариковское лицо и, прихрамывая, вышел в кухню.

— Извиняюсь, товарищ. Вы Иван Пузиков, наверно? Я со станции Павелец, весовщик Мерзляков, из комитета служащих. У нас, изволите ли видеть, систематические хищения из вагонов вот уже полгода. Только протоколы составляем, а поймать не можем...

— Знаю, — сказал белокурый и задымил трубкой. — Там у вас целая шайка работает. Они у меня все наперечет, как

пальцы. И скажите, что Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс, уже давненько на вашей станции сидит... Да он же с вами знаком.

— То есть как? Позвольте... — опешил Мерзляков. — Значит, вы не Пузиков?

— Так я вам и сказал. Ха! Может, Пузиков, а может, не Пузиков. Возможно, что Пузиков-то вот который, — показал он на Алехина, — а может, и я... Это сокрыто мраком тайны. Скажите вашим, что шайка на-днях будет обнаружена самым удивительным способом... Прощайте. Мне больше некогда с вами толковать.

После обедни, в праздник, пришел к своему будущему тестю, торговцу Решетникову, станционный конторщик Бабкин, большой говорун и гитарист. Пили кофе, ели пирог, ну, для праздничка, конечно, клюкнули.

Невеста Варя хотя и рябовата и чуть косила на правый глаз, однако ничего себе, Бабкину годится: приданого порядочно папаша обещал.

— Да, — сказал Бабкин, покручивая большие черные усы. — Эти доморощенные сыщики, вроде Пузикова, ни черта не стоят. А вот настоящего Шерлока Холмса бы сюда: в два счета — раз, раз — и пожалуйте бриться.

— Очень надо, — сказал торговец недружелюбно. — А я бы не желал. Чорт с ними, крадут — и молодцы. Хоть народу в руки перепадает. А то ка-а-азна. Какая, к свиньям, казна! Это не прежние времена!

— Ах, папаша! — воскликнул Бабкин. — Странно даже слушать мне...

— А потому, что молод ты. Например, прикатили мне на прошлой неделе бочонок алеонафту по-тайности и за грош отдали. Так что же, неужто отказываться?

— Ах, папаша... Опасно это. Лучше бы вы не говорили мне.

Вечером того же дня, не дожидаясь прихода сыщика Ивана Пузикова, весовщик Мерзляков, чтоб выдвинуться по службе, организовал свою собственную охрану. Пять человек доброхотов, тайно от казенной охраны, темной ночью залегли под вагон груженого поезда.

Мерзляков чиркнул спичку, чтоб закурить, и при вспыхнувшем свете вдруг обнаружил, что в их пятерке лежит пластом шестой, посторонний.

— Кто это? — оторопело спросил Мерзляков.

— Чшшш... — прошипел шестой и зашептал: — Нельзя курить... вспугнете. Чшш... Идут!

«Ага, это Иван Пузиков, сыщик», — мелькнуло у догадливого Мерзлякова.

Все шестеро впились вытаращенными глазами в лениво прошагавшие вдоль вагона четыре пары ног. Неизвестный, шестой, выполз на брюхе и повернул голову вслед уходящим.

— Четверо, — прошептал он. — Лезут в третий от нас вагон.

Он вдруг вскочил, крикнул:

— За мной! — и, выстрелив в воздух, помчался вдоль поезда.

Среди мрака раздались путаные крики:

— Руки вверх! Караул! Караул!.. Стой, ни с места!..

Куча тел, тузя друг друга, каталась по земле.

Конторщик Бабкин, варечкин жених, отбежав в сторону, кричал:

— Стойте, дьяволы!.. Ведь это мы, свои!.. Мы пломбы проверяем на вагонах. А вы нас... Тьфу!

Запыхавшись, примчалась с винтовками и казенная охрана.

Шли к вокзалу сконфуженные. Глупее всех чувствовал себя Мерзляков.

— Что ж ты, Мерзляков, неужто ослеп, своих бьешь, — весь дрожа, стал пенять ему жирный дорожный мастер Ватрушкин и сморкнулся кровью.

— Извиняюсь, Нил Данилыч, — сочувственно проговорил Мерзляков. — Как это ни прискорбно, но мы приняли вас за жуликов... Очень извиняюсь...

— От твоего извиненья у меня во всей башке звон идет. Этак садануть...

Мерзляков внезапно остановился:

— А где же этот, незнакомый-то?..

Меж тем незнакомый поспешно шагал в ближайшую деревеньку, в которой вчера снял пустую избу старого бобыля.

Вскоре пришел к нему Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. За последнее время Пузиков появлялся у своего помощника Алехина на какой-нибудь час, всегда торопился и, сказав нужное, уходил с мешком подмышкой.

— Ну, как? — спросил он Алехина.

— Плохо, — виноватым голосом ответил тот и рассказал все подробно про недавний бой возле вагонов.

— Дурак, — мрачно и насмешливо произнес Пузиков. Нахмурился, покрутил льняного цвета волосы свои, потом расхохотался. — Здорово наклали?

— Не надо лучше, — улыбнулся Алехин. — Я какого-то раскоряку за машинку сгреб, так он на манер как заяц заверезжал.

Пузиков сдвинул брови:

— А какой из себя Бабкин? — спросил он.

— Черноусый такой, в кожаной куртке. Он сватается за дочь лавочника.

— А, знаю, — сказал Пузиков. — Надо будет за ним последить.

Алехин изумленно уставился в лицо товарища.

— Как, за конторщиком Бабкиным?

— Эх, щенячья лапа! — воскликнул Пузиков. — Неужто не понимаешь ничего?

— Нет, — откровенно сказал Алехин. — А в чем вопрос?

— Ну, ладно. По окончании поймешь.

Утром Мерзлякова подняли в конторе насмех. Особенно ядовито издевался помощник начальника станции Алексей Кузьмич Бревнов, рыжий вислоухий франт.

— Хотел выслужиться, любезнейший. Каждое дело ума требует. Ха-ха! Так накласть своим...

Мерзляков даже рассердился.

Но под конец занятий Алексей Кузьмич потрепал начальственно весовщика Мерзлякова по плечу:

— Не огорчайтесь, дружище... Уж такой язычок у меня дьявольский. Вот что: приходите-ка послезавтра ко мне на вечерок. Выпьем, понимаете... День рождения у меня...

Бабкин вечером пошел к невесте.

«Надо ж, чорт возьми, купить девчонке хоть карамелек», — подумал он и зашел в лавку. Когда входил, заметил прошагавшего человека в белом фартуке и еще тетку. Тетка остановилась и посмотрела ему вслед.

— А, товарищ Бабкин! — приветливо встретил его длинноший, с остренькой бородкой и красными губами торговец. — Ну, когда же ваша свадьба? Купили бы для Варвары Тихоновны часики... Хорошие у меня есть, серебряные, фирмы Мозер...

— Ей отец подарил золотые часы, — сказал Бабкин.

— Что вы говорите!.. Те часы темные. Я отлично знаю происхождение тех часов. Те часы, прямо скажу, краденые... Ой!..

— Каким образом?

— И очень просто. По секрету вам скажу: тут, у вас на станции, работает целая шайка. И представьте, носильщик Носков украдывает ящик с электрическими лампочками, то есть достался в порцию после дележа. И очень хорошо... И он идет и обменивает этот ящик на золотые часы у агента постройки. Так говорят. Я конечно, не могу поручиться за то, что говорят. Не всякой вере давай слух, как говорится

по-русски... И он эти самые часы продал вашему будущему папаше, даже забрал у него вином и самогонкой.

Бабкин растерянно хлопал глазами и весь покраснел от раздражения. Чорт знает, хоть от невесты отказывайся! Он ничего не купил и в самом мрачном настроении направился к тестю.

Был летний мглисто-серый вечер. В лужах квакали лягушки, поздние стрижи острокрыло чертили последний быстрый путь. Посреди улицы, рассуждая сам с собой, деловито шагал человек в белом фартуке. Тетка с замотанной шалью головой шла мужиковской походкой по пятам Бабкина.

— Тебе что, тетушка? — спросил он, остановившись у ворот тестя.

— Ох, кормилец, — загнусила тетка. — Зубами маюсь, хотела какого-нибудь снадобья у торгового купить...

— Нет у него, — всматриваясь в теткино лицо, сказал Бабкин.— Иди в приемный покой на станцию. Там фельдшер даст.

Варя встретила его радостно, но вскоре же сказала:

— Какие вы, право, неласковые, Володичка. Что это с вами приключилося?

— Так,— ответил Бабкин.— Очень уж много подлости на свете, Варя. Ну да бросим об этом говорить. К Алексею Кузьмичу-то на танцульку собираетесь?

Пузиков не застал своего помощника Алехина в избе. Разжег на шестке теплину и вскипятил чай. После третьего стакана вошла в избу тетка, та самая...

— Садись чай пить, — сказал Пузиков. — Где был?

— Бабкина следил, — проговорил Алехин, снимая сарафан.

— Тьфу! — плюнул Пузиков. — Экая башка у тебя свинячья. Что ж мы — двое за одним человеком ходим?

— Как так?

— А вот и так... Мужика-то в белом фартуке заприметил? Ну, дак это я...

Алехин недовольно почесал за ухом, сказал:

— Бабкин у тестя, должно, и ночевать остался... Я ждал-ждал, жрать ужасти как захотелось...

— Ничего подобного. Он задним ходом вышел.

Ложась спать, Пузиков сказал:

— Слушай, Алехин. Я вынюхал, что послезавтра будет вечеринка у помощника начальника станции... Как его фамилия-то?

— Я знаю: Бревнов, звать Алексей Кузьмич, — с гордостью отрапортовал Алехин.

— На этот раз молодчага. Дак вот. Нам с тобой надо на

эту вечеринку попасть. Может, там самую главную птицу схватим. Понял? Ты прямо войдешь и скажешь на ухо хозяину, что ты агент угрозы, что хочешь, мол, остаться на вечере под видом, ну, хоть... чорт его знает... ну, хоть десятника по земляным работам. Понял? А я потом приду. А завтра подговори носильщика Носкова, передай ему вот эту бутылку коньяку, — он здорово вино жрет, — пусть выпьет и по сигналу явится на вечер и скажет вот какие слова... запиши. И адрес его запиши. Записал? Чтоб в точности. Он тоже замешан.

Чуть свет Пузиков исчез.

Алексей Кузьмич Бревнов жил широко, и вечер устроен наславу. Стол ломился закусками, пирогами, выпивкой. Среди гостей лица почетные: инженер-механик Свистунский, начальник станции Петров с супругой, священник. Конечно, был Бабкин с невестой Варечкой и будущим тестем.

Бабкин сегодня весел, прикладывался к рюмочке, играл на гитаре и рассыпался Варе в любезностях.

Хозяин, Алексей Кузьмич, сиял пуговицами на новенькой тужурке и тоже приухлестывал за Варей. Бабкин возбуждал в нем изрядное чувство ревности. Хозяин старался ему дерзить, но Бабкин отгрызался.

— Это из рук вон, — говорил раскатистым басом инженер Свистунский, — сегодня опять обнаружена кража из вагона с грузом мяса.

— Слышали, слышали, — подхватил кто-то.

— И что стража смотрит, ведь под самым носом вагон стоял. Отсюда из окна видать... Позор!

— Увы! Испортился народ наособицу, — воскликнул священник и откромсал добрый кусок пирога.

— Чорт знает, Иван Пузиков не едет. А пообещал, — уныло промямлил Мерзляков, потянувшись к выпивке.

— Плюньте вы на этого Пузикова! — крикнул охмелевший Бабкин.— Чорта ли понимает ваш Пузиков! Сами разберем... Мы ужо опять ночью под вагон залезем. Товарищ Мерзляков, возьмите меня в свою компанию!

Все захохотали. А дорожный мастер Ватрушкин потер подбитый Мерзляковым нос.

В это время вошел молодой парень. Он что-то пошептал хозяину, тот деланно улыбнулся и сказал гостям:

— Это вновь командированный десятник земляных работ. Присаживайтесь с нами, товарищ.

Алехин смирно сел в угол, закурил папиросу и стал наблюдать, нахмурив лоб. Ему подали стакан чаю и кусок пирога.

Бабкин задирчиво кричал:

— Видали мы Пузиковых!! К чорту их!

— Потише, — осадил его хозяин, взглянув на Алехина. — В противном случае попрошу вас удалиться.

— И что ты ко мне вяжешься, — охмелевшим языком сказал Бабкин. — Может, к Варечке ревнуешь? А?

— Прошу меня не тыкать. Невежа! Без году неделя служит, а тоже позволяет себе...

— Ах, вот как... Что?!

Но в это время Алехин, взглянув на часы, распахнул окно. Из окна темнела ночь. По лестнице загрохотали грузные шаги, и в комнату ввалился пьяный носильщик Носков. Покачиваясь, он взглянул на подмигнувшего ему Алехина, помахал картузом и, глупо ухмыляясь, сказал:

— Честь имею поздравить с днем рождения!.. Честь имею объявить, что Иван Пузиков сейчас будут здесь. Хи-хи-хи... До свиданьица,— он было повернул к выходу, но Алехин загородил ему дорогу:

— Товарищ Носков, сядьте и — ни с места!

Гости разинули рты. Хозяин ерошил волосы, пьяный Бабкин лез к нему:

— Плевать я хотел на этих дураков, на сыщиков!.. Нет, ты мне ответь... Ревнуешь? Может, Варечку поддедюлить хочешь? Бери! Бери!

— Убирайтесь к чорту!

— Бери! Я отказываюсь. Сам отказываюсь... Чьи на ней часы? Краденые... Вот этот самый Носков, носильщик, 18 марта ящик с лампочками упер из вагона, да агенту постройки на часы выменял, а часы будущему папаше всучил... Пожалуйста, сиди, Носков, не корчи рожи!.. И вы, папаша, не огорчайтесь.

— Безобразие! — кто-то кричал. — Ишь, нализался... Выведите его вон!

— Кого? За что? — взывал Бабкин. — Меня-то, Бабкина-то? Что он правду-то говорит? А чьи сапоги-то на мне? Краденые, вот и клеймо казенное... Из вагона... Мне подарил их мой будущий папаша. Уж извини, папаша. Раз начистоту, так начистоту... Вот Пузиков придет, все ему открою... Я много кой-чего знаю. Где Пузиков?

Алехин заглядывал в окно, в ночь. Пузиков не появлялся. Гости были как в параличе. Варечка истерически повизгивала. Ее отец весь побагровел и, сжимая кулаки, надвигался на Бабкина. С Носкова сразу соскочил хмель. Бабкин колотил себя в грудь и, кривя рот, кричал сквозь слезы:

— Я за правду умру, сукины дети!.. Да! Умру!!

И вдруг трезвым, спокойным голосом:

— Ваше благородие, а где же пуговка-то у вас?

Алексей Кузьмич Бревнов, хозяин, быстро провел рукой по пуговицам, быстро скосил вниз глаза: блестящей пуговицы на тужурке недоставало.

— Вот она, — сказал Бабкин, протягивая пуговицу. — Я ее вчера в вагоне нашел, в том самом, откуда вы вот эту телятину украли.

Хозяин залился краской, побледнел, выхватил из рук Бабкина пуговицу и швырнул на пол.

— Стервец! — крикнул он и весь затрясся от злобы.

Бабкин поднял пуговицу, посмотрел на нее.

— Да, ошибся... Извиняюсь... — промямлил он. — Действительно, не та: топор и якорь на ней есть, а сукно серое, видите, кусочек болтается. У вас же сукно черное... Извиняюсь.

— Милицию сюда! Протокол! — колотил хозяин в стол кулаком.

— Стой! — крикнул Бабкин. — Милицию я и сам приглашу. Стой! Забыл совсем. Идемте в вагон... Эй, где Пузиков? Идемте в вагон. Иначе все под суд за укрывательство. Отвечаю головой... Мы и без Пузикова обнаружим.

Обрадованные скандальчиком гости повалили за Бабкиным.

При свете фонаря в вагоне на туше мяса лежала блестящая пуговица с клочком сукна, а вместо черноусого пьяного Бабкина, но в его одежде, пред ошалевшей и перепуганной компанией стоял бритый, совершенно трезвый, широколобый человек со строгими глазами и ртом.

— Конторщик Бабкин, которого вы три недели тому назад взяли на испытание, это я самый и есть, Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Алехин, подай-ка пуговку сюда!

Он твердо подошел к Бревнову, примерил пуговку и твердо сказал:

— Ты, Бревнов, арестован. За компанию с тобой — Носков и торговец Решетников. А там распутаем весь клубок. Ну, Алехин, понял ли хоть теперь-то всю мою музыку? Эх ты, ежова голова. Покличь милицию!

Алехин, казалось, был ошарашен больше всех. Он высунулся из вагона и засвистал в свисток с горошинкой, как Соловей-разбойник.

1926

ДУЭЛЬ

В доме отдыха, где были на поправке выздоравливающие военные, главным образом — краснофлотцы, находился и профессор-зоотехник Горбунов. Толстенький, на коротких ножках, он чудесно рассказывал разные забавные случаи из своей жизни.

Вечерний чай кончен. Все — с костылями и без костылей, в халатах и в пижамах — примостились к камину, к уютному огоньку.

— Ну-с, дорогой Павел Петрович... повеселите нас чем-нибудь, — стали просить отдыхающие.

— Извольте, — охотно согласился профессор Горбунов. — Только на сей раз расскажу вам нечто особенное... Это было много лет тому назад. Нас, шестерых молодых зоологов, по окончании университета направили на казенный счет в Берлин совершенствовать там свои познания. Отлично. Поехали мы в немецкую столицу с большой охотой, все-таки, как хотите, приятно свет посмотреть. Пятеро из нас люди средние, обыкновенные, а вот шестой, Варсонофий Капустин, был человек наособицу. Во-первых, — верзила в сажень ростом, тощий, жилистый и слегка сутулый, во-вторых, — тихий, застенчивый, воды не замутит, ну что твой теленок. В-третьих,— любил выпить, и тогда накатывала на него фантазия: то он неаполитанский король, то Бова Королевич... Мы очень любили его, всячески опекали и няньчились с ним, как с ребенком. Впрочем, он того и заслуживал. Он тоже помогал нам, в особенности в усвоении ученой премудрости: он немецкий язык знал в совершенстве, а мы так себе...

И вот подоспела широкая русская масленица. Наш ресторанчик, где мы столовались, помещался в подвале. Туда ходило много русских, но заглядывали и студенты-немцы. Хозяин ресторана, добродушный баварец с двойным подбород-

ком и ласковыми голубыми глазами, всячески старался угодить русским. И можете себе представить: на масленицу — великолепные русские блины. Ура, блины! Вы понимаете? В Берлине — блины!..

Мы все шестеро уселись, как всегда, за отдельный столик и заказали стопку блинов с аршин высотой да ведро пива. Через две минуты мы уже наслаждались горячими блинами. Растопленное масло, сыр, рыба, икра было подано на хрустале и мельхиоре. Все сверкало и звенело. Варсонофий был оживлен, как никогда. Он в темносиней суконной блузе, с белым длинным галстуком, смазных начищенных сапогах, рыжие волосы с пышным чубом, впалые щеки в веснушках. Я забыл упомянуть, что ему было уже за тридцать годков.

Мы дополнительно потребовали четыре бутылки легкого вина и бутылку рома. И всюду, ото всех столов, требовали и требовали. В подвальчике стало весело и шумно, как в ярмарку на площади: гости хохотали, спорили, заводили песни. Где-то графин упал и — вдребезги, где-то свалился под стол пьяный.

От шума, табачного дыма, блинного запаху воздух стал густ и непродышен.

Через три столика от нас сидела немецкая молодежь. Они довольно задирчиво стали вести себя по отношению к нам, русским... И чем больше они пьянели, тем развязнее становились. Оттуда до наших ушей долетали выражения, вроде: «русские хамы, русские варвары, русские медведи, пффе...» А мы на них нуль внимания, думаем, чорт с ними, пускай безобразничают в своем отечестве. Впрочем, я сказал: «Будь это у нас, в Елабуге, я разукрасил бы им морды». Особенно же старался оскорбить нас полулысый студент-белоподкладочник со шрамом на щеке. Он то и дело вскакивал, то и дело взбрасывал в левый глаз монокль и, избоченясь в нашу сторону, начинал вызывающе разглядывать нас, как разглядывают обезьян в зоологическом саду.

Но мы снова нуль внимания... Это их взорвало. Белоподкладочник опять вскочил, опять вскинул монокль, уставился на нас и забормотал: «Толстокожие. Разве их этим проймешь?.. Мужланы, ха-ха-ха!.. У них вместо нервов ржавая проволока, ха-ха-ха!» Мы видим, как у Варсонофия задвигались на скулах желваки. Он выбрал сухонький блинок, проделал в нем отверстие, поднялся, вскинул блин, как монокль, к глазу и, тоже изогнувшись в сторону обидчиков, громко, на весь подвал, крикнул по-немецки: «Эй, ты!.. Облезлый барин!.. А ну повернись, каков ты со спины, я тебе коленкой киселя поддам... Слышь, картофельная колбаса с собачьим салом?»

Тот столик затих. И нам показалось, что на минуту смолк

весь ресторанчик. Только кельнерши четко чекали каблучками по паркету, хорошенькие, чорт их возьми, как херувимы.

Вдруг от того столика подходит к нам вислоухий, низенький студент, отдает нам полупоклон и говорит напыщенно:

— Мой товарищ, барон фон Рихт, считает себя оскорбленным вот этим вашим товарищем, не имею чести знать его фамилии. Мой товарищ, барон фон Рихт, вызывает вашего товарища на дуэль шпагами. Но... так как вы, русские, люди мало цивилизованные и о всяких видах спорта имеете лишь отдаленное понятие, то мой товарищ, исходя из вышеприведенной предпосылки, дает вашему товарищу две недели для подготовки...

— Без всякой подготовки! — задирчиво закричал Варсонофий. — Сейчас... Я готов сейчас драться... Я ему покажу цивилизацию!

Мы, видя, что Варсонофий пьян, что на него опять накатила фантазия, бросились к нему.

— Да ты с ума сошел, дурак! — зашумели мы. — Помелом тебе драться, а не шпагой. Он из тебя, из деревенщины, лучины нащепает...

— Пусть он убьет меня, — закричал Варсонофий, — а я за правду, за товарищество хоть сейчас пострадать готов!

Между тем секундант удалился к своему столику и тотчас вновь подошел к нам:

— Барон фон Рихт, выслушав предложение вашего товарища драться немедленно, нашел его нелепым и, с своей стороны, настаивает на сроке поединка через две недели. Я должен приватно сообщить вашему товарищу, что он будет иметь дело с известнейшим дуэлянтом: барон фон Рихт занимает по шпаге четвертое место в Германской империи.

— Передайте вашему фон-барону, что я готов с ним драться не через две недели, а завтра утром.

— Это ваше последнее слово?

— Самое последнее!

Студент положил перед носом Варсонофия карточку с адресом, где должна состояться дуэль, поклонился и ушел. А мы снова напустились на несчастного нашего друга. Мы готовы были на то, чтобы склонить барона на мировую, мы хотели пристыдить его: не подло ли, мол, искусному рубаке убивать простодушного деревенского парня? Но Варсонофий категорически запретил это делать. И мы все шестеро с горя принялись пить. Как добрались до дому, не помним.

Дома мы отрезвели и погрузились в мрачные думы. А Варсонофий сразу же, не раздеваясь, завалился в длинных сапожищах спать и тотчас захрапел. Мы не знали, как спасти любимого товарища от неминуемой смерти. Чорт его знает,

этого баронишку, и ихние немецкие законы: ухлопает чужестранного человека и — крышка. Может быть, заявить в полицию или попросить защиты у русского посланника?

В восемь часов утра мы подъезжали в омнибусе к месту дуэли. Мы везли как бы на погребальных дрогах своего, еще пока живого, товарища к месту вечного успокоения. Нам было тяжко. А Варсонофий, — чтоб ему! — подсмеивался над нами и шутил. Странно, очень странно... Уж не случилось ли у него со вчерашнего перепою повреждение ума?

Утро было пасмурное, похоронное. Черные деревья в белом инее, как в трауре. И в моем взбаламученном сознании вдруг возник мотив некрасовской песни:

> И пришлось нам нежданно, негаданно
> Хоронить молодого стрелка...

Я тронул друга за руку и каким-то придушенным голосом проговорил:

— Слушай, Варсонофий! Конечно, я уверен, что ничего такого-этакого не произойдет, то есть чего-либо трагического... Но... ведь ты сам должен понимать... И мне хотелось бы...

— Что, адрес моих родителей? Ты его получишь в канцелярии нашего института, — словно угадав мои мысли, ответил Варсонофий и, нахмурившись, сказал: — Да глупости... Вообще чепуха на постном масле.

Однако помрачнел и он: стал хмурить брови, нервно передергивать плечами. Но вот за поворотом улицы, в конце сквера: «Клуб высшей школы фехтования».

Нас встретил знакомый студент с отвислыми ушами и провел в подвальный этаж. Мы вступили туда, как в могильный кладбищенский склеп. Горели масленые фонари, подделанные под старину. На стенах висели боевые щиты, кольчуги, скрещенные копья, карабины, кинжалы, пистолеты и прочие принадлежности разбоя. Было не особенно светло, но и не совсем темно.

Я не стану описывать дальнейших подробностей, да и плохо помню их: я, признаться, дрожал, как озябший, облыселый пес. Нам вычитывали какие-то правила, мы расписывались в книге, предъявляли документы.

Я отвел секунданта в сторону и осведомился: сколько времени может продолжаться поединок?

— Минут пятнадцать — двадцать, — сказал секундант. — Но барон фон Рихт обычно расправляется с соперниками много быстрее.

Прозвучал сигнальный рожок. Оба противника: наш огромный, но тощий верзила Варсонофий Капустин и знаменитый убийца барон фон Рихт крепко пожали друг другу руки,

разошлись и снова стали сходиться к барьеру, как два готовых к драке петуха.

И вот...

Бой был столь внезапен, столь стремителен, что мы не успели закрыть разинутых от удивления ртов.

Поединок гремел не двадцать минут, а ровно три секунды. В воздухе сверкнули три страшных молнии. Первая — рубнула барона в лоб, от удара второй — из его руки вылетела шпага, третья молния обрушилась на спину посунувшегося носом барона. Оглушенный немец упал, потеряв сознание.

Варсонофий с поклоном отдал свою шпагу секунданту.

Доктор быстро привел пострадавшего в чувство и стал бинтовать его голову. Оказывается, наш милейший друг высек из немецкого лба довольно порядочную косточку, величиной с ноготь большого пальца. Впоследствии эту косточку барон оправил в золото и носил как брелок.

Нервная лихорадка преследовала нас всю обратную дорогу, и только дома мы пришли в себя. Мы бросились целовать нашего Варсонофия.

— Варсонофий, камарад, друг, товарищ!.. Да как это тебя, сукин ты кот, угораздило? Сатана, что ли, тебе, этакому увальню, помог? Ведь тут же одной силой...

— Хм, — перебил нас Варсонофий. — Ну и чудаки же вы, братцы... Впрочем, я позабыл вас предупредить.. Ведь я же в Артиллерийской академии преподавателем фехтования состоял.

Мы всплеснули руками и, как помешанные, захохотали.

1942

ПЕЧЕНКА

Нас было шестеро. Мы с Семушкиным — два скромных литератора, еще братья Репейниковы — художники-карикатуристы, еще опереточный артист Коробейник и шестой — профессор-египтолог Пухлов. Мы — люди сугубо штатские, самых мирных профессий. Мы неясно себе представляли разницу между пулеметом и минометом, не знали, что такое термические снаряды, что означает выражение «расчет», и сроду не нюхивали пороху. Словом, с военной точки зрения, мы были по всем статьям — шляпы. Так нас, еще не оперившихся военных корреспондентов и культурных работников, пока что расценивало и начальство. Впрочем, так было в самом начале войны.

Существует крылатое выражение — война родит героев. А я вам скажу, что война, кроме героев, обнаруживает еще трусов и ежечасно рождает всякие бытовые неожиданности, иногда довольно-таки забавные.

И зачастую бывает так, что это забавное становится смешным лишь впоследствии, вначале же оно кажется нелепым, или раздражающим, или даже страшным...

Дело было так...

Воинская часть, к которой нас прикомандировали, с треском и грохотом раскатала фашистов, занимавших деревню, и погнала их дальше. Правда, мы самого боя не видели, мы торчали километрах в двух от военных действий, и некоторые из нас, нечего греха таить, порядочно нервничали, прислушиваясь к гулу сражения: ведь для нас это был первый серьезный бой. Египтолог профессор Пухлов, сидя на поваленном снарядом дереве, даже приготовился разуться, чтобы, сбросив грузные бахилы, иметь возможность переместиться налегке. Вообще он большой чудак... Имя у него тоже заковыристое— Аквилон Акакиевич.

Когда все стихло, мы быстро пошагали в сторону деревни. Оказывается — это большое село. Колокольня слегка разбита. Разрушены избы три и дом на горе — школа.

Вдоль широкой улицы выстроились красноармейцы: тут и стрелки, и пулеметчики, и мотоциклисты в очках.

Командир части, подполковник Моргунов, иронически посматривая на нас, ухмыльнулся: четверо из нашей братии были в шляпах, пятый в кепке и в роговых очках, а египтолог Пухлов шляпу обронил еще на прошлой неделе: он лысую свою голову прикрывал носовым платком, так как немилосердно жгло июльское солнце.

— Ну, вот, товарищи, — сказал подполковник. — Враг бежал. Передовые части гонят его дальше. Враг сюда больше не вернется. Резерв сейчас уходит следом за передовыми бойцами. А вы... — и он на минуту задумался, потом сказал: — Ну что ж мне с вами делать? Пока вы еще не экипированы, в шляпах да в кофточках-разлетайках. Набирайтесь пока впечатлений, и начинайте пока писать статьи, рассказы, делайте зарисовки с натуры и вообще... И вот вам на первый раз боевое задание, — с ухмылкой нажал он на слово «боевое», бросил окурок и тотчас закурил новую папироску; пальцы его дрожали, — видимо, после боя он нервничал. — Обойдите-ка вы все избы и соберите, что забыли там немецкие захватчики, ведь мы на них обрушились неожиданно. Я оставил две подводы, — вы погрузите на телеги немецкое имущество, которое найдете, и отправляйтесь за нами следом. Править-то лошадьми, ха-ха, умеете? И еще две верховых коняги. Они чуть прихрамывают... Ежели поедете в седлах, держитесь за гриву... И, умоляю вас, не садитесь лицом к хвосту. Ха-ха-ха... А то один, вот такой же, в шляпе... вскочил лицом к лошадиному заду, и когда над ним стали издеваться, он обозлился, закричал: «Вы же не знаете, в какую сторону я поеду: чи вперед, чи назад». Ха-ха-ха!

Веселый подполковник подмигнул нам, распрощался с нами, и вся его часть двинулась маршем дальше.

Мы тотчас и с особым рвением принялись за дело. Нам предстояло обойти по крайней мере сто дворов. Жителей в селе никого не было, они ушли в лес с лошадьми и всей живностью.

Сборный пункт наш был в церковной ограде. Мы натащили туда целый ворох всякого немецкого добра.

Сидим под деревьями в тени, возле самой церкви, поджидаем египтолога Пухлова. Наконец видим: вдоль пыльной дороги катится полная фигура на коротких ножках. Но, удивительное дело, профессор возвращается с пустыми руками.

— Что ж вы ничего не принесли, Аквилон Акакиевич? — спрашиваем мы.

Он только отдувается и вытирает пот с рыхлого, щекастого лица. Он, как из бани, красный, от него, будто от печки, пышет зноем.

— Ну, знаете, — говорит он, — вот так жара... Нет, я прямо-таки изнемогаю. Да, каюсь, я ничего не нашел... Впрочем, кой-что видел, только лень было тащить... В сущности не лень, а как это сказать? Ну, например, висит новый жилет из великолепной кожи. Хотел взять, чтоб в музей отвезли, да, признаться, побоялся — а вдруг жилет минирован... — Египтолог смущенно мигал, хмурил хохлатые брови, как-то неестественно почесывал за ухом, должно быть, ему трудно было признаться в своей трусости. — В другой избе что-то вроде гранаты встретил, тоже поостерегся взять, подумал: прикоснешься к ней, да и взлетишь на воздух. А летать вообще я не люблю... Гм... Гм...

Мы густо заулыбались. Профессор Пухлов, чтоб побороть в себе смущение, подбоченился и, вприщур глядя на нас, проговорил:

— А знаете, что я видел? Только, к сожалению, не воспользовался. Услыхал ваши сигналы и поспешил сюда.

— Что же вы видели?

— А вот что... — оживился профессор. — Стоит на столе вот этакая сковородища, в аршин диаметром, и полнехонька жареной печенки с луком... С пылу, с жару, прямо-таки шипит. Шипит, анафема! И печь топится... И никого в избе нет.

У нас сразу накатилась слюна, мы загалдели, как гуси, почуявшие близость воды.

— Друзья! — воскликнули мы. — Так пойдемте скорей. Ужасно есть хочется. Вот только хлеба...

— Хлеб там имеется... И свиной шпик нарезан ломтиками, этакий розовый, аппетитный... — проговорил египтолог и сплюнул на довольно далекое расстояние. — Идем! Кстати тут близко, отсюда пятый дом, против колодца. Идем скорей.

И вдруг мы услыхали басистый членораздельный голос невидимки:

— Граждане! О-па-сно...

Что за чудо?.. Кто это сказал? Уж не ангел ли хранитель воззвал из церкви?

Но в этот миг снова раздался предостерегающий возглас:

— По-вто-ряю: это опасно, печенка может оказаться отравленной.

При этих страшных словах профессор Пухлов вдруг покачнулся и стал на наших глазах бледнеть. А из-за кустов сначала поднялась черноусая голова в пилотке, а затем выбрался на волю и весь человек.

— Я связист, оставлен здесь, — сказал он, — и вы, това-

рищи, будьте осторожны, печенка, несомненно, о-тра-влена. Немцы коварны.

Египтолог выпучил испуганно глаза, схватился за большой живот, губы его стали проделывать жевательные движения, он простонал:

— Боже мой!

Мы бросились к нему:

— Что с вами? Аквилон Акакиевич, голубчик!..

— Товарищи, — весь дрожа, протянул он упавшим голосом. — Я... я съел три куска печенки... Поддержите меня, посадите вон на тот пенек, только предварительно осмотрите, не минирован ли он... А лучше всего положите на землю. Я, кажется, отравился всерьез.

— Да что вы! Да что за ерунда! — с притворной убежденностью закричали мы, стараясь подбодрить милого нашего толстяка, а между тем на душе у нас было неспокойно. — Что вы чувствуете?

— Изрядную боль в желудке, легкую тошноту, — сказал египтолог и судорожно схватился за пульс. — Нет, сердце как будто ничего, — сказал он.

— Ерунда! — опять хором возразили мы, видя, как побледневшее лицо его снова стало розоветь, а глаза наполняться живой силой.

Тут мы принялись, как говорится, разыгрывать его.

— Товарищи, — сказал литератор Семушкин, несколько напоминавший человекоподобную обезьяну, — я, как это ни печально, берусь написать некролог на смерть незабвенного Аквилона Акакиевича.

При этом Семушкин выхватил платок и, потешно кривляясь, всхлипывая, начал утирать слезы.

В глазах египтолога на одно мгновенье мелькнула едва заметная улыбка:

— Аквилон Акакиевич, час вашей смерти близок, — сказал я, — завещайте мне ваше вечное перо.

— Завещаю,— прошептал умирающий,— он все еще нащупывал пульс, и лицо его все еще было в тревоге.

— Дорогой, безвременно погибший Аквилон Акакиевич,— начал опереточный Коробейчик. — Согласны ли вы...

— Согласен, согласен, — перебил его умирающий.

— Нет-с, позвольте... Согласны ли вы, чтоб ваш прах был погребен вот на этом самом месте, под березами?

— А ну вас к чорту! — Умирающий вдруг поднялся с пенышка, опять сплюнул на довольно большое расстояние и, взглянув на ручные часы, отрывисто сказал:

— Прошло полчаса. Никакого отравления.

— Ура! — закричали мы. — Качать, качать покойника! — и бросились к египтологу.

— Стойте! — завопил тот, пятясь от нас. — Я отравлен. Хе-хе... Я минирован... Не прикасайтесь!.. И пойдемте... скорее... есть печенку.

Под предводительством египтолога мы двинулись вдоль улицы.

Вот и колодец, вот и дом под железной крышей. И только собрались мы подняться по ступенькам в этот желанный дом, как навстречу нам из двери вышел черноусый связист. Глаза у него были масленые, блаженные. Размашисто утирая ладонью вправо-влево усы, он проворковал:

— Ну-с... Вот и я! Печенка, доложу вам, превосходная!

Мы оцепенели. Тяжело пыхтя, связист спустился с крыльца, прощально помахал нам рукой и зашагал по дороге. Наши озлобленные взоры, как трассирующие пули, били ему в спину, в спину, в спину!

Египтолог взволнованно сказал:

— Огромная сковородища... Не может быть. Печенки хватило бы на десятерых!

К нашему изумлению вся печенка оказалась съеденной, даже сковородка была почему-то опрокинута вверх дном. Шпик и хлеб также исчезли.

Мы повесили носы.

Выражение наших лиц было хмурое.

Коробейчик, глубоко вздохнув, сказал:

— Это называется военная хитрость. Увы, увы... товарищи!

1942

ПОЛЕТ

Прифронтовой район. Обширная лесная поляна. На ней несколько стогов свежего сена, две грузовых машины и недавно приземлившийся самолет-разведчик. В лесной балке, поросшей елью, рябиной и кустами боярышника, горит костер. Возле костра: старшина, черноглазый Мигунов, два летчика, борт-механик и пулеметчик — все молодежь. Шестой — рослый, очень пожилой мужчина, интендант третьего ранга. Он заведует продуктовым полковым складом, скрытно притаившимся в той же глухой балке. Вот к нему-то и приехал за получением продуктов моряк Мигунов.

Солнце село. Повеяло сыростью. Пред ужином все выпили по чарочке. Погасшие было разговоры возобновились с новой силой: чарочка развязывала языки.

Говорили о знаменитом Чкалове, о его изумительных полетах, о том, как он на самолете нырнул в пролет Троицкого через Неву моста, как пролетел орлом над Северным полюсом.

Летчики, поедая кашу, снова принялись рассказывать о своих недавних боевых делах. Один сшиб пятнадцать неприятельских машин, другой одиннадцать.

И когда разговоры в конце концов иссякли, поднялся интендант. Он был тучен. На его голове большая и (несмотря на летнюю пору) подбитая ватой фуражка — боялся человек простуды. Крупный нос, пучеглазое и дряблое, чуть криворотое лицо.

— Да, товарищи, — начал он хриплым голосом, — я никогда не перестану изумляться сверхчеловеческой отваге и мужеству наших храбрых летчиков. Это искусство для натур избранных. И я более чем уверен, что летчиком надо родиться. Недаром Горький сказал: «Рожденный ползать, летать не может». Вот, например, я, должен признаться, рожден пол-

зать. Хотя однажды в жизни мне и довелось совершить полет. Да еще какой! Прямо сплошной ужас... После этого прекрасного полетика я сразу сбросил в весе пять кило, на висках моих появилась седина, и я две недели заикался. Можете судить!

Он вздохнул, закурил трубку, прошелся взад и вперед и продолжал:

— Дело было лет пятнадцать тому назад. Я служил тогда помощником заведующего военным кооперативом в городе Ветропыльске. Получил служебную командировку, приехал в Москву. Днем дело делаю, вечером культурно развлекаюсь. Вдруг телефонный звонок. Вызывает меня наш краевой город Ветропыльск. Оказывается, говорит со мной мой приятель Фунтиков. «Вот что, Петя, — говорит он. — Ежели хочешь век счастливым в семейной жизни быть, немедленно возвращайся домой: с твоей супругой, Марьей Кузьминишной, не вполне благополучно. Вроде как двойную политику ведет твоя супруга... Одним словом, приухлестывает за ней какой-то летчик».

У меня от ревности зарябило в глазах, и я повесил трубку... Гм, летчик. Недаром моя коварная супруга все с вышки да с вышки прыгает в городском саду, а надо мной посмеивается: «Ты, — говорит, — и самолета-то, как огня, боишься. Эх, почему, — говорит, — Петичка, ничего в тебе нет героического?» Вот она какая, супруга-то моя...

«Что ж, — думаю, — делать? Надо во что бы то ни стало спешить домой... Ежели поездом ехать, слишком долго, жену проворонишь. Нет, надо, — думаю, — воздухом ловчиться, как-нито по ветерку. Хоть сроду не летывал, а надо!» Хорошо-с... Звоню в управление воздушных сообщений. Мне отвечают, что на сегодня и на завтра все места распроданы, никак невозможно, извините...

Боже мой, что мне делать? А ревность во мне ключом кипит, как у Отелло в опере. С горя выпил я стопку водки в пятьдесят шесть градусов и решил позвонить наобум святых, как говорится, в военное ведомство. Звоню, говорю, что я-де ответственный работник Петр Петрович Петухов и что мне по казенным делам дозарезу надо завтра же быть в Ветропыльске. Мне любезно отвечают: «У нас завтра действительно оказия на вылет будет. А летали ль вы когда-нибудь?»

Я, признаться, и самолета-то вблизи не видывал, однако пробасил в трубку: «Как же! Летал, много раз летал. И сердцебиение имею нормальное». — «Очень приятно, — отвечают мне, — только дело в том, что мы в Ветропыльске посадки не делаем. Но, если хотите, можем спустить вас на парашюте... Согласны?»

В голосе говорившего послышался смешок, это мне обид-

ным показалось, я закричал в ответ: «Согласен, согласен! Много раз прыгал. Не волнуйтесь, прыгну!» — «Вот и отлично, — говорят мне. — Тогда пожалуйте сейчас же на аэродром. Будет вам еще одно проверочное испытание с высоты на тысячу метров. Ждем!»

Вот тут у меня, понимаете, поджилки и задрыгали. Но пятиться было поздно. Выпил я еще две стопки водки в пятьдесят шесть градусов, в мыслях стало веселее, и я покатил на аэродром.

Легкий докторский осмотр, опрос, и вот я вблизи очередного самолета. Там уже стояла очередь из шести несчастных. Я встал последним. Гляжу — в некотором отдалении с высоко парящего самолета сбрасывают живых людей... Мне это, признаться, не понравилось... «Чорт возьми, — думаю, — ужас какой! Нет, благодарю покорно... Да будь они все трижды прокляты: и жена моя Марья Кузьминишна с кавалером со своим, да и этот пьянчуга Фунтиков, что звонил мне из Ветропыльска. Не полечу!»

Между тем очередь быстро приближалась ко мне, а позади опять скопилось человек пять. Я стал выборматывать, что у меня, мол, очень слабое сердце и расстройство желудка сильное, разрешите мне занять последнюю очередь. Мне любезно разрешили. Красноармейцы, глядя на меня, улыбаются. Один не вытерпел, сказал: «А ты, папаша, видать, новенький? Да и толстый к тому же. Когда подымут тебя на высоту, так ты сигай вниз головой, а то в штопор попадешь».— «Что значит — в штопор?» — испуганно спросил я. «А так, что примешь ты, папаша, горизонтальное положение, и начнет тебя крутить возле своей оси, как мельницу, со скоростью сорока раз в минуту».

Меня охватила лихорадка, я стал дрожать. «Нет, — думаю, — надо как-нибудь ловчиться, а то живо без покаяния богу душу отдашь». И я, дорогие мои товарищи, придумал такой путь к спасению: как только очередь до меня дойдет, притворюсь буйным сумасшедшим, зареву коровой, ляпнусь на землю и начну кувыркаться через голову. Пускай в карете скорой помощи в психиатрическую везут. Ну, что ж, с ума сошел и сошел, со всяким может случиться.

Очередь быстро приближалась ко мне, а сзади меня, заметьте, уже никто не становился.

Тут подходит ко мне инструктор с доктором. Инструктор, коренастый такой, с любопытством посматривает на меня, ядовито ухмыляется.

Тем временем на мое несчастное туловище напялили спецодежду, на спине укрепили какую-то стремлюндию с ремнями, — должно быть, парашют, на голову нахлобучили, по самые глаза, кожаную шапку. Я словно во сне протягивал ру-

ки, с покорностью давал себя обхомутать в этот смертный саван.

Инструктор говорил: «Вы большой палец держите в этом вот кольце. А когда вас сбросят... » — «Позвольте... То есть как это сбросят?» — «Да очень просто. Когда вас сбросят, считайте до семи, затем дерните пальцем за кольцо. Поняли? Да, впрочем, вы же знаете, вы же опытный. Сами говорили...» — «Опытный-то я опытный, только не совсем. Дело в том, уважаемый товарищ инструктор... — стал я выборматывать. — Тут, знаете, произошло сплошное недоразумение».— «А ежели вам будет во время падения тяжело дышать, — оборвал меня инструктор, — вы как можно громче кричите, кричите изо всех сил... Поняли?» — «Понял... Да что кричать-то?» — «Что хотите. Можете «ура», можете «караул». Ну-с, пожалуйте, Петр Петрович, ваша очередь. Садитесь, садитесь!»

И я, дорогие друзья мои, залез в кабинку.

Загудел пропеллер, и мы взвились. У меня со страху забурлило в животе. «Ну, — думаю, — прощайте, все мои родные...» Передо мной летчик, рядом со мной инструктор в огромных сапожищах. Я повернулся к нему, задвигал бровями, опять стал выборматывать: «Тут сплошное недоразумение, товарищ инструктор. Я раздумал прыгать. Понимаете, ведь во мне без малого семь пудов... Вдруг ремни не выдержат, лопнут, да я ляпнусь на землю, ведь из меня кулебяка с потрохами получится...»

Но инструктор ни звука в ответ, даже не взглянул на меня. А летчик, вираж за виражем, знай набирает высоту.

Тут я почувствовал, что уже по-настоящему начинаю вроде как с ума сходить. Фу ты чорт... Что же мне делать?

Я снова задвигал бровями, тронул инструктора за рукав, уставился в его твердокаменное лицо умоляющими глазами и заговорил: «Дорогой товарищ инструктор, простите, не знаю вашего имени-отчества. Давайте полетаем-полетаем немножко да тихонечко и сядем на земельку. Я окончательно раздумал в Ветропыльск лететь».

Но инструктор распахнул на улицу дверь и зычно подал мне команду: «Вставайте! Сейчас ровно тысяча метров. Бросайтесь вниз головой! Иначе — штопор, и вас закрутит».

Я, как во сне, встал, как во сне, подошел к двери и глянул вниз. Батюшки мои! Высота-то какая, страх-то какой... Мой живот от ужаса сразу ушел под ребра. У меня скоропостижно повредились умственные способности, и я белугой закричал: «Не буду! Я не Герой Советского Союза! Что вы!..» Я был в полном обалдении. И в этот миг, дорогие мои товарищи, я кувырнулся носом вниз. Помню — успел все же крикнуть: «Прощай, Маруся!» и потерял сознание.

Впрочем, впоследствии мне рассказывали, будто я держался геройски и, перед тем как прыгнуть, даже прокричал: «Да здравствует авиация!» Возможно, вполне возможно. Ведь я тогда действовал, как в бреду... Ну-с, возвращаюсь к рассказу. Итак, я, образно выражаясь, окунулся в бездну и лишился сознания.

Вдруг страшный толчок сотряс мое тело, и — я очнулся... Лечу... Лечу, как низверженный с неба сатана! Подо мной белоснежное поле, над головой огромный зонт парашюта, а сам я сижу, как в кресле, на каком-то приспособлении из ремней. Каким это образом я уселся, ничего не помню.

И стало меня ветром раскачивать, как маятник. То есть так качало, так качало... Я порхал сажен на двадцать влево-право и во всю глотку кричал «урра!»

Но вот и земля! Я ударился пятками в землю, упал, вскочил, опять упал, немножко походил на четвереньках и благополучно сел в сугроб. Сижу, подобно старой клуше, и ничего не соображаю.

И вдруг услыхал над собой приветствие: «С благополучным спуском, гражданин! Как себя чувствуете?» — «Пре-прекрасно, — пролепетал я. — Просто пре-пре-пре-прелесть как прогулялся...»

На следующий день в обеденную пору мы подлетали к Ветропыльску. Инструктор, тот же самый, рядом со мной сидит, на меня нуль внимания, дуется. Гляжу — самолет на снижение пошел. Эге, значит он готовится к посадке. Я моментально решил этим воспользоваться, и, чтоб сгладить впечатление от вчерашней моей трусости, я браво подбоченился и закричал: «Товарищ инструктор, забыл, как ваше имя-отчество!.. Давайте мне скорее парашют, обхомутайте меня. Спрыгну!»

Но самолет сделал над городом круг и, выбрав ровную полянку на окраине, приземлился. Я вышел, в руках маленький чемоданчик. Гляжу — народ бежит. И можете себе представить: подбегает ко мне моя милая Маруся. «Здравствуй, Петя! Вот не ожидала, что ты осмелишься на самолете.. — пролепетала она, да прямо мне на шею, чмок-чмок меня. — Здравствуй, герой мой!» — «Да, я герой, а ты... обыкновенная дрянь! — сказал я запальчиво. — Шуры-муры с каким-то молодчиком разводишь, а мне из-за тебя, коварницы, целую версту вниз башкой лететь довелось». — «Какие молодчики, кто это тебе наплел?» — «Фунтиков мне звонил по телефону, вот кто!» — «Дурак твой Фунтиков. Это он меня с моим родным братом дважды видел». — «С Сережей? С летчиком? Так где же он?» — «Да у нас живет, отпуск взял». — «Маруся, ангел мой!» — тут уж я сам бросился жене на шею.

И удивительное дело: на меня вдруг напало состояние

наглейшего хвастовства. И я стал безудержно врать: «Ведь я, Марусенька, несколько прыжков совершил в Москве...» — «Да что ты! С какой же высоты?» — «С высоты две тысячи метров. Раз десять спрыгнул». — «Чудесно! Завтра мы с Сережей с высоты трех тысяч будем прыгать. И ты с нами, Петичка, и ты с нами! Да не тряси головой... Обязательно! Мы с тобой до пяти тысяч дойдем. Я летчицей желаю быть». — «Что? Прыгать? С пяти тысяч метров?» — прохрипел я и с таким, понимаете, отвращением взглянул на свою Марусю, что та аж подалась от меня в сторону. «Петичка! Ты болен?»— «Да! — злобно крикнул я. — Очень даже болен... Московские врачи предписали мне полный и продолжительный покой!»— «Ах, как жаль, — вздохнула жена. — Ну, ничего! Мы с тобой еще наверстаем свое, напрыгаемся!..»

Набравшись силы воли, я в этот раз промолчал, но про себя подумал: «Дудки, Марусенька! Поищи себе другого прыгуна...»

— С тех пор, товарищи, — закончил интендант свой рассказ, — я, представьте, перестал ревновать свою супругу... Как ветром выдуло из меня это подлое чувство... Да-с!

— Значит, все же полет не прошел для вас даром! — заметил один из летчиков и подмигнул своему товарищу. — Слышишь, Николай, как наша профессия действует? А ведь он, товарищ-то интендант, всего разок и прыгнул... Что было бы с ним, доведись ему сотенку прыжков совершить?! Все бы «подлые» чувства из него «ветром выдуло»... Совсем святым стал бы!

— Нет, уж лучше не надо! — откликнулся от котелка с кашей моряк, тот, что прибыл к интенданту за продуктами.— Святые — они на том свете годятся, а нам... побольше бы грешной каши!

— Какой, какой? — давясь смехом, переспросил пулеметчик.

— Грешной... то бишь гречневой!

Все дружно захохотали, не отставал от других и рассказчик-интендант. Было видно, что это — добряк, к тому же неглупый. Во всяком случае взрыв веселья здесь, в какой-нибудь полсотне километров от суровой и грозной обстановки «переднего края», доставлял и ему несомненное чувство удовлетворения.

1942

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ

(Рассказ дяди Михайла о прошлом)

Возле костра, на глухой, среди леса, полянке, сидит народ: несколько красноармейцев, бравый флотский летчик, недавно награжденный орденом, и пятеро пожилых колхозников в овчинных тулупах. Колхозники по первому санному пути доставляли на фронт с железнодорожной станции боевые снаряды.

Пили чай, пекли на угольках картошку, курили, ели с маслом хлеб, внимательно слушали моряка Малыгина, с увлечением говорившего о своих боевых полетах: как он, например, сброшенной удачно бомбой пустил на дно «хлебать водичку» вражеский торпедный катер. Красноармейцы тоже принялись рассказывать о разных любопытных эпизодах военной страды. Наконец наступило молчание. Тогда летчик обратился к колхозникам:

— Вот вы — люди пожилые. Наверное, кое-кто из вас тоже на войне был, тоже мог бы рассказать, что и как...

— Вона! — воскликнул рыжебородый, с проседью, Михайло Рылов, колхозник, и улыбочно прищурил веселые глаза. Нос у него слегка своротен на сторону. — Я и с немцами воевал и на Колчака ходил. И на ероплане летывал. Ежели желательно, отчего не рассказать... С нашим удовольствием.

— Сыпь, сыпь, дядя Михайло, сказывай...

Рыжебородый поскреб пятерней затылок, поправил двумя руками шапку и, поплевывая себе под ноги, повел рассказ.

После замиренья с немцами, когда по России завируха началась, я уехал в Сибирь, к родителям. Там Колчак мобилизовал меня, я белым сделался, потом к красным убежал, а как пошабашили гражданскую войну, домой вернулся. И вот привалил в нашу избу со всей деревни народ меня рассматривать; слых прошел, что у меня рыло на сторону и двух паль-

цев на левой руке недостает. И вот этак же пристали, — расскажи, да расскажи. А народ у нас в Нарымском крае самый темный, тайга кругом, медведи, там пень на колоду брешет, вот какая местность была дикая... Они ероплана-то и во сне не видывали. Много я им кой-чего нарассказывал, они ничему не верят, только ржут. «А ну-ка, — говорят, — Мишка, поври еще». — «Мы, — говорю им, — врать не привышны, а вот расскажу вам насчет воздушного боя, то есть факт, а не врачка. А бой завсегда делается в воздухе, облака ежели есть, можно и на облаках, а нет, так и просто на чистом месте, в небе. Вы думаете, небо — это где бог да рай, — говорю им. — Ничего подобного. Небо просто твердь, одна голубая видимость. А начни вам говорить, вы сейчас — врешь... Буквально... Ну, теперичь слушайте, — говорю своим односельчанам. — Вот отдал Колчак приказ красных бить влет. Побежал я смотреть, как еропланы действуют. Стою возле Вузы, так самолет зовется, — они разные: Нипор номер семнадцатый, Вуза-бомбомет, Фарман, — стою, а мой товарищ, Огурцов Степка, летчик, машину пробует, то есть чтоб не чихала и не кашляла. Как пустил пропеллер, у меня и шапка с башки слетела. Я хотел в сторону, а Огурцов мне: «Садись, — говорит, — Мишуха, полетим в бой». Я говорю: «Боюсь». — «Ни хрена, — говорит. — Вот выпей спирту в свое удовольствие... Будешь сбрасывать бонбы. Я, — говорит, — покажу, как».

Ну, известно, дернул я спирту на размер души, а спирт американский, ядовитый, аж кожа во рту лоскутьями пошла, и такая веселость в естество мне вступила, — не знай, как и шапка очутилась на башке. Гляжу — привязывает меня в лодочку ремнями Степка Огурцов, и в башке у меня, чисто как пропеллер, веселые гулы идут. Потом вдруг, братцы мои, Степка Огурцов кричит: «Отделились, отделились!» А сам в очках, и я в большущих очках, как баран. Глянул я вниз, — мать распречестная, верно! Будто земля из-под нас падает. И взвились мы поверх лесу, к темным облакам... Буквально...

Говорю так, а наши мужики слушают меня да перхают смехом. Втапоры, двадцать-то лет тому назад, они не слыхивали, чтобы можно по воздуху летать, вот какая повсеместная тьма была в крестьянской жизни. Дядя Демьян хохочет да спрашивает меня: «Дак к облакам, — говоришь, — взвились-то?» — «К ним самым», — отвечаю. Сижу это я ни жив, ни мертв, людишки вовся махонькие стали, как мухи по снегу ползают, деревни с рукавицу, вполне шапкой можно прикрыть. — Ну, ладно, — говорю, — слушайте дальше, хотите верьте, хотите нет. Значит, летим под облаками. А Степка Огурцов мне пояснение дает: «Это, — говорит, — руль глу-

бины... Вот ежели взять ручку на себя — нос ероплана подымается кверху. А ежели круто от себя, то ероплан, — говорит, — должен нырнуть вниз. Тут уж не зевай, — говорит, — а то можно сделать мертвое пике, и костей не соберешь». Я взмолился: «Степка, — кричу, — пожалуйста, приспособствуй потише на землю сесть! Я не люблю летать... Вот те Христос, у меня живот схватило». А он заместо того сгреб руль направленья и заорал: «Бой! Неприятель летит! Бонбы приготовь!» Глядь — прет на нас красная неприятельская Вуза. Я запер дух и сразу как-то охрабел: пропадать так пропадать. Степка как вспорхнул вверх — Вуза под нами. Я бонбу швырк! Бонба штопором вниз. Вуза пырх в сторону — да вверх, мертвую петлю сделала, да нам под хвост из пулемета. Степка, не будь дурак, тоже мертвую петлю сделал да Вузе под хвост. А Вуза таким же макарцем опять мертвую петлю, да нам под хвост.

Говорю так, а в избе опять захохотали. Пьяный старик Наумыч просмеялся, спрашивает: «Это что же за мертвая петля за такая? Удавка, что ли?»

Я тут озлился, закричал на него: «Дурак ты, дед! Не понимаешь, так молчи. Мертвая петля — это когда человек вниз башкой летит, а вслед опять башкой кверху: то земля, то небо, то земля, то небо!» — «Неужто вниз башкой летал?» — «Обязательно вниз. Буквально!» — отвечаю мужикам.

Тут вся изба опять хохотала, а моя родная матушка заплакала. Плачет да сквозь слезы приговаривает: «Ой, сыночек желанный... Это нечистики тебя носили, с пьяных глазынек...»

А батька сказал: «Ах ты, дурья голова! Хоть бы врал-то как-нибудь поскладнее».

Обидным мне показалось это, я замолчал, а вся изба кричит: «Сыпь, сыпь, Мишка... Как дело-то было? Жарь!» — «Ну, слушайте, коли так, — сказал я. — И вот стали мы с неприятелем снижаться, с евоной Вузой, значит. Потому как обоюдно были прострелены наши ероплапы из пулеметного огня. И тут случился с нами, — говорю, — сверхобычный факт. Степка Огурцов с перепугу схлюздил, подлая душа. А я, господи благослови, за ручку хвать, да с непривычки не за ту. Ну, наш ероплан, конешно, камнем вниз, этак саженей с десятку. «Капут!» — завопил Степка Огурцов. Ероплан в снег лыжами хрясь, у нас лопнули все ремни, я из седла летом, как лягушка, да что есть маху и воткнулся башкой в сугроб. Вытащили, глядят — у меня и нос, конешно, на сторону и кровь течет. А красный летчик сам аккуратно с Вузой сел, как гусь. Глядь, — батюшки! Да ведь это наш летчик-то, совсем не красный, белый колчаковец, Андронов Митька, товарищ наш. Тьфу, ты! Свой в своего, стало быть, с ероиланов шпарили.

Вот хорошо... Как сошлись мы все трое вместе, я и говорю: «Довольно, ребята, нам дурака валять. Пойдемте-ка, передадимся красным, эвот и расположенье их близехонько. Мы за советскую власть стоим, а Колчак насильно забрал нас...» Вот ладно... Пришли мы к красным. Приняли нас — не надо лучше...

После этих моих слов в избе бросили хохотать. Мужики принялись мне выкрикивать: «Вот и хорошо, Мишка, что к красным перебежал. Стало быть, не зря ты в облаках-то кувыркался».

Колхозник смолк. Красноармейцы посмеялись и стали подживлять прогоравший костер. Летчик Малыгин, раскуривая от огонька матросскую трубку-носогрейку, сказал:

— Ну, спасибо тебе, дядя Михайло... Ты нам вроде лекции прочел. Теперь мы знаем, каковы летчики-то были при Колчаке.

Рыжебородый, с проседью, Михайло Рылов только головой покрутил и виновато заулыбался во все широкое лицо.

— А как же ты в этих краях-то очутился?

— Да ведь родина-то моя здесь. А в Сибирь-то мы еще при царе переселились. А как укрепилась повсеместно советская власть, мы обратно оглобли повернули. — И, обратясь к колхозникам: — Ну, дядьки, попили, поели; айда опять на станцию. Дотемна еще разок оборотим, бойцам снарядов подвезем. А вы, ребятушки военные, не жалейте на немца гостинцев... Плюйте в него, в ирода, почаще!

1942

МУЖИЧОК

Пьеса-шутка

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Панкратыч — пожилой крестьянин.
Матрена — его жена.
Марфинька, **Абрамов** — их дети, работают на фабрике, в Петрограде.
Золин — фабричный рабочий.
Купчик.
Молодой крестьянин.

Картина I

Комната рабочего. Кровать, коленкоровые занавески, этажерка с книгами, гитара, портрет К. Маркса. Абрамов и Золин готовятся к выступлению на вечере. Марфинька, сестра Абрамова, раздувает самовар и готовит стол к чаю. При поднятии занавеса Абрамов декламирует.

Абрамов. Жить в потемках мы устали.
Мы проснулись, мы восстали —
Слишком долго боя ждали,
Жаждем жизни молодой!
Прочь беспомощные страхи,
Глубже взгляды, шире взмахи,
Больше дерзости святой!

(Трет лоб, припоминая, и обращается к Золину.) Как дальше-то?

Золин *(подсказывает по книжке)*. Выше факел подымайте...

Абрамов. Выше факел подымайте,
В душах пламя разжигайте,
Ошибайтесь, но дерзайте:
Пролетит веков гряда.
Будет живо, будет свято,
Будет взято навсегда [1].

Ну, что, ловко?

Золин *(улыбаясь и ероша длинные волосы)*. Здорово. Голос у тебя хорош.

Марфинька. Да и выходка очення приятная. Дюже страшно буркалами ворочаешь. Аж взопреешь, глядя на тебя. *(Смеется.)*

Абрамов. Ну, Марфинька! *(Передразнивая.)* Очення, буркалами, взопреешь... Кель выражанс! Точно сейчас из деревни. Надо привыкать по-городскому говорить.

[1] Стих. Евг. Тарасова. *(Авт.)*.

Марфинька *(сморкаясь в фартук)*. Ну, прости, братец, извини.

Абрамов. Марфинька! Неужели у тебя нет носового платка? Надо покультурней быть.

Марфинька. Как, братец, как? покуль... покуль... Ха-ха-ха, вишь, язык-то у меня быдто бревно. *(Достает из кармана платок.)* А платочек-то эвот. Еще с кружевом.

Абрамов. Не эвот, а «вот».

Золин. Ну, и строг ты, товарищ. Марфинька, плюньте! У вас, кажется, самовар ушел. *(Марфинька бросается к самовару и ставит его на стол.)*

Абрамов *(шагая по комнате)*. Да, не люблю я. Надо учиться говорить. Надо стараться бывать в образованном обществе, прислушиваться к интеллигенции. Наконец с толком хорошие книги читать. А то в деревне чорт знает что за разговор. Припрется какой-нибудь сиволапый дядя из удивительной губернии, раскорячится да и начнет гнусить: «А вот... прибег это к нам вчирашний день Ванькя. Ну и парень чистяк. Хворси-и-истай. В одном-те кармане орехи, в другом-те деньги-ть. А шапка бобрячья, как ришото, шарф напиряхрост, сапоги с прягам, через плячо гармонь — эвот кака! И пошел насвистывать».

Золин и Марфинька смеются. В дверь стучат.

Золин. Ну, будет тебе смешить-то.

Марфинька. Ой, чего-то все смешки у нас да хаханьки. Не к добру это. Ик... Ик... *(Икает.)*

Абрамов. Эк тебя прорвало! Попей воды.

Золин. Когда репетиция-то?

Абрамов. Завтра в восемь. А и люблю ж я сцену! Перерождаешься, творишь. Надо по деревням играть. Там нужнее.

Золин. Обязательно! Непременно, товарищ.

Марфинька. А кто это, братец, стишок выдумал? Ик... ик...

Абрамов. Не стишок, а стихотворение. Сочинял его поэт. Знаешь, кто такой поэт? *(Марфинька отрицательно трясет головой.)* Надо, Марфинька, стараться все знать. Поэт — это...

В дверь стучат громче.

Марфинька *(бросаясь к двери)*. Стучат!

Входит Панкратыч. Коренастый, пучеглазый, большеносый. Борода черная, волосы в скобку, с проседью, взлохмачены. Одет бедно.

Панкратыч. Оглохли, что ль?.. Стучусь, стучусь... *(Ищет иконы, крестится.)* И икон-то нет... Эх, вы, нелюди!

Ну, здорово, сынок. Здорово, дочка. Здорово, приятель али как, товарищ, что ли? Теперича всяк барбос товарищ.

Абрамов. Как это ты, отец? Какими судьбами?

Панкратыч. Я-то? Да проведать вас. Каково живете, ладно ли.

Абрамов. Да ничего, живем хорошо, ожидаем лучшего.

Золин. Ни шатко, ни валко, ни на сторону.

Панкратыч. Да, да, оно и видать. Ловко живут у вас в Питере! Никак опухли все от голодухи-то. Гробов штук пятнадцать встретил, покамест со станции плелся. Вот как у вас живут распрекрасно. Ничего, порядки знатные...

Марфинька *(садится за стол, на котором шумит самовар)*. А матушка-т какова? А сестрица-т?

Панкратыч *(раздеваясь)*. Да что... Воют. Тоись разорили нас совсем. С новыми-то правами. Да-да. Ни дна б им, ни покрышки. Эвот они где, новые-то права. *(Бьет себя по загривку.)* Спасибо вам, молодцы, удумали мудро. Тоись так мудро, что...

Марфинька. Залезай, батюшка, присаживайся.

Абрамов. Марфинька, наливай отцу-то кипяточку.

Марфинька. Уж не взыщи, тятенька, чайку-то нет у нас. Вот клюквенный сок замест того, вот сахаринец. *(Собирается сыпать ему из пакетика.)*

Панкратыч. Стой! Ты чего?.. Пошто лекарство сыпешь! Фина, что ли?

Золин. Какая хина. Это сахарин, Илья Панкратыч, вместо сахару.

Панкратыч. Не нужно мне, я лучше с солью. Сахару-то нет, что ли? Так. Какая ж вы после этого держава. Тоже, власть! Ни сахаров, ни чаев. Ежели, скажем, держава достукалась до того, что сахару ни синь пороха, это тоись не держава, а одна беда! Ну извините на простом мужицком слове. А эфто што, хлеб? Хе-хе. На всю артель? Густо, ребята, густо... али, товарищи, как вас возвеличивать. Ужо-ко я... *(Идет к мешку, что бросил при входе.)*

Золин. У нас паек, на учете все. Для идеи, для общего блага можно и поголодать. *(Он перелистывает книгу, учит роль. Иногда с книгой в руке пройдется по комнате, вновь присядет к столу.)*

Панкратыч. Голодай, брат, голодай... ежели жалаишь.

Абрамов. День потерпишь, век живешь. Так и мы. А ты, отец, думал, что легко на новый лад жизнь-то всю перестраивать?

Панкратыч *(роясь в мешке)*. Ничего я не думал. Да и думать-то по-вашему — званья не возьму. Стар я! Мне не до глупостей.

Золин. Наладим помаленьку. Война все наделала. Главное, транспорт разрушен.

Панкратыч. Тоись какой паспорт?

Золин. Транспорт, говорю. Вагоны, железные дороги...

Панкратыч *(подходит с мешком)*. А-а, ну, ну! То-то, все нарушено. И я об этом же толкую. Тоись ни тебе проходу, ни проезду. Нате-ка вам хлебца. Вот пирожков с картошкой да с грибами. Уж попросту, извините, по-деревенски. Вот курей парочку да маслица. Пять фунтов масла-то вез, да отобрали, два только оставили. Вот черти какие!

Марфинька *(восторженными глазами рассматривая пироги)*. Кто отобрал, где?

Панкратыч *(зло)*. Кто! Знамо, товарищи. Заграбительный отряд какой-то. Кому боле-то? Вот и заграбили все.

Абрамов. Не заграбительный, а заградительный. *(Улыбается.)*

Панкратыч. Все единственно, как ни назови. Пискулянт, говорят, малодер. Это я-то пискулянт! И пироги-то было слопали. К петуху подбирались, да я взмолился: «Что вы, товарищи, делаете! Да у меня в Питере сын с дочкой в полных пролетариях на фабрике служат. Нечестивцы, мол, вы этакие!»

Абрамов. Ну? Так и сказал: в пролетариях?

Панкратыч. Вот тебе Христос! Жулики вы, говорю, крохоборы! *(Все смеются.)* А муку-то под себя, — мучицы вам привез... Словно клуша на яйцах сидел, на муке-то. Так было за бороду сдернули. Вот они какие, товарищи-то, раздуй их горой! *(Пьет кипяток, пирог держит в обеих руках, подносит ко рту, откусывает большие куски и громко чавкает.)*

Золин. Иначе нельзя, Илья Панкратыч. Иначе от мародеров житья не будет.

Марфинька. А карасин-то дома есть, тятенька?

Панкратыч *(сердито кладет на стол пирог)*. Карасин? Да ты что, девка, в уме? Давно лучину жгем. Тоись никакого удовольствия. Бывало, купишь сахарку, чайку, селедок. Все это на рупь-целковый. Ну к празднику крупчатки. И живешь себе, как пан...

Абрамов. А ты, видно, забыл, отец, как народ поденщину по четвертаку на день получал? А, бывало, в морду тебя становой не бил? За бороду не трепал? Забыл ты это?..

Панкратыч. Ха, уравнял ты! Смешной ты человек. Дак то становой, он без малого барин.

Абрамов *(выскакивая из-за стола и бегая по комнате)*. Ведь это ж рабство! Ведь это ж... Отец, как ты не понимаешь?!.

Панкратыч *(не слушая)*. А вот ежели к тебе сопляк придет, какой не то фулиган, весь век по острогам вшей кор-

мил, придет да и скомандывает: «К стенке!.» Корову у меня отобрали, телка, самовар... Это все бедноте нашей, лодырям. А? Ну как тут жить? Вот они какие, комиссары-то, уродились. Пастухов-то ни одного не осталось в волости: либо комиссар, либо товарищ какой, али председатель.

Золин. А за кой прах таких избирали? Опять же, пастух пастуху — рознь.

Панкратыч. Да вить...

Абрамов *(вновь садится к столу)*. Постой, постой, отец. Ведь вам же помещичья земля отходит, карасевская. Тебе прирезка должна быть.

Панкратыч *(раздумчиво)*. Это верно, что отходит. Мужики, что посурьезней, под себя мекают взять землишку-то. А смутьяны, гольтепа-то разная орет: «Коммуния, все собча!»

Золин. Вот в коммуну и идите. Дело мирское, правильное.

Панкратыч *(с азартом)*. Кто, я?! Да ты, товарищ, ошалел? Да будь проклята и коммуния-то ихняя! Да чтоб...

Абрамов. Ого, батька! Ты, я вижу...

Панкратыч. Я сам себе хозяин! Вот каков я есть. Ну-ка, налей, дочка, кипятку-то. А я думал, вот приеду в Питер, чайку настояшенского у деток попью... Хм!.. Ну, устроили жисть, нечего сказать.

Золин *(придвигая стакан)*. Налейте и мне, товарищ.

Марфинька. Чичас.

Панкратыч. Как это — товарищ? Какой же она тебе, к свиньям, товарищ, ежели, допустим, она баба? Хм, чудно!

Марфинька. Товарищ и есть. Чего ж такое.

Пакратыч *(строго глядя на нее)*. А я, признаться, главно за тобой и приехал-то. По домашности шибко нужна.

Марфинька. Держи карман шире!

Панкратыч. Чево-о?

Абрамов. Говори, отец.

Панкратыч. Вот я и толкую. Ране-то, бывало, обмолотишься осенью, придешь в кладовку да и мекаешь: вот эфто на крупу, эфто на посев, то на хлеб, то в городе продам. А теперича норовишь излишки-то куда не то в землю закопать. На паек, вишь, нас приделили. А мне ихний паек—что собаке муха. Эвот, смотри-ка, рубаха-т, ворот-то. Нешто ране-то такой я был? Бык быком. Поди, пуда на два в теле съехал.

Абрамов. Ничего... отъешься, оправишься.

Панкратыч. Нет уж, брат, сынок любезный. Видать, смерти просить надо. Ох, глазыньки бы не смотрели на эфту самую жисть.

Золин. Жизнь хорошая. Настоящая жизнь. Подожди немножко, и у вас наладится.

Панкратыч. Слыхал я эфту песню-то, сто разов слыхал. Поете-то вы славно, где-то сядете.

Золин *(откладывая книгу)*. Мы, Илья Панкратыч, только еще землю пашем. А земля-то, Русь-то, загажена была: пень, крапива, мусор. Теперь все вверх корнями, все долой, новое будем сеять. Ох, и зацветет земля!

Марфинька. И верно. Раньше-то жили мы, бывало, как кроты безглазые...

Панкратыч. Цыть ты! Научилась разговоры-то разговаривать! *(Передразнивая)*. Това-арищ.

Марфинька. Какой ты, тятя... Ей-богу, право...

Панкратыч. Цыть! Знай, помалкивай. Вот я и говорю: фулиганство пошло несусветимое. Эвот до чего достукались: угодничков божьих высматривать стали, а... До бога добрались, до царя небесного. Ну, старого, Николая, нам не жаль, допустим так... пес с им. И обгадь его чорт горячим дегтем. *(Все смеются.)*

Золин. Браво, Панкратыч, браво!

Панкратыч. А чего, и верно. Сковырнули народом и шабаш. Опять же эвот до чего дошли: в каперативе какой-то киянтер ладят делать, комедь ломать.

Абрамов. Театр, это хорошо. Это народ просвещает, та же школа.

Марфинька. Я здесь тоже играю, тятя. Горничную представляла.

Панкратыч. Играй, играй. До делов до хороших, мотри, не доиграйся. Това-арищ!.. А учеба вот как у нас: чтоб, значит, беспременно и девчонок всех учить. Я с Акулькой, с племянницей своей, было поперечил, не хотел пущать в школу-то — куда тут, едва в чижовку не закатали. Вот какие кобели. Хоть сдохни, да учись!

Золин. Вот и хорошо. Учение — свет.

Панкратыч. Тьфу мне этот свет! *(Поднимает кулак.)* У меня ученье — во! Грохну в лоб — вот те и свет!

Абрамов. А ты что это в лаптях, отец? Ну-ка, переобуйся, авось подобрее будешь. Выдали нам на фабрике.

Панкратыч *(весело)*. Ну-у? Вот, брат, удружил. Давай-давай!

Марфинька *(достает новые сапоги)*. На, тятенька, вот эти.

Панкратыч. Совсем, можно сказать, обтрепались мы. *(Переобувается.)* Ни тебе гвоздья, ни обуток, никакого удовольствия. До того достигли — соли и той не стало. А преснятину-то жрать, мотри, не сладко.

Абрамов. Все будет, отец, все. Погоди немного. Важно, что власть в наших руках теперь.

Панкратыч *(насмешливо)*. Вла-асть. Правители! Рылом еще не вышли! *(Потом расцветает в улыбке.)* А ведь, гляди, впору сапоги-то. Фо-рсистые. Поди, дорого платил?

Абрамов. Восемьдесят пять целковых записали.

Золин. А на рынке-то тысяч восемь.

Панкратыч. Так. Ловко девки стряпают! Эх, вы, нелюди. Пра-авители. Да таких правителев-то в три шеи надо... Соленым огурцом да по пузу! *(Ходит, рассматривая сапоги.)* Добры сапоги. Дюже добры. *(Улыбается.)* Ай да так!

Золин достает гитару. Марфинька садится возле него.

Абрамов. Марфинька, покажи ему заодно и ситцы-то свои.

Панкратыч. Разве и ситцы есть? Давай-давай!

Марфинька. Чичас... *(Роется в укладке и подает отцу.)* Это на фабрике выдали.

Панкратыч. Давай-давай! *(Быстро смотрит и сует в мешок.)* В деревне сгодится. Теперича и ситцу рад. А нет ли для матери обутков?

Марфинька. Есть. *(Вынимает из-под лавки полусапожки.)*

Панкратыч *(жадно)*. Давай-давай! Дюже хороши. Давай сюда! Это ладно. *(Сует в мешок.)*

Абрамов. Да, отец. Вот, значит, и живем. Я член комитета, делами ворочаю. Вот сырье добывать поедем. Может, и к тебе заверну домой.

Золин играет на гитаре и мурлычет песню. Марфинька вновь подсаживается к нему. Панкратыч косится на дочь.

Панкратыч. Езжай. Это ничего. Рады будем. А Марфутку я возьму.

Абрамов. Зачем это?

Панкратыч. А уж мое дело. Тебя спрашивать не стану. *(К Золину.)* А ну, распевай, как след. Чего ты, товарищ, мямлишь, быдто слепенький. Только девку баламутишь.

Золин поет, подыгрывая на гитаре, Марфинька подтягивает.

Панкратыч. Нешто это песня? Панафида это, а не песня. И петь-то путем не маракуете. Марфутка, а ты чего рыло-то трубкой выставила? Това-арищ! Вот переночую, а завтра домой. Слышишь?

Марфинька. С какой это радости? Так я и поехала.

Панкратыч *(грозно)*. Чего это? Из отцовской воли выходить?!

Песня смолкает. Панкратыч тяжело приподымается.

Абрамов. Остынь, отец, не горячись. Лучше давай поговорим. Я тебе растолкую, а ты слушай.

Панкратыч. Это с каких пор отец сына должон слухать? А?!. Да вы что... осатанели все здесь, что ли!..

Абрамов. Ты, как бык, отец: уперся и ни с места. Кулацкие в тебе замашки!..

Панкратыч. Чего тако-ое?! Эвота ты как!.. Да после энтих самых слов я и говорить-то с тобой не желаю, ежели ты хочешь знать. Вот что... Марфутка, собирайся!

Марфинька. Куда это?

Панкратыч. Сказано: домой!

Марфинька. Да что ты, тятя, сдурел, что ли? *(Встает.)* Здеся разные оперы задаром смотрю, митинги, подруги. Я здеся грамоте учусь, из темных выбиваюсь... Эвот мне на фабрике три тыщи плотят, да паек, да ситцы. Такой антирес кругом, а ты домой.

Панкратыч. Я тебе покажу антирес! Все твои начесы раскуделю! *(Стуча кулаком по столу.)* Я те...

Абрамов. Ну, вряд ли! Я не позволю! Я не отпущу!

Марфинька *(идет к печке и плачет)*. Эх, тятя...

Панкратыч. Что-о? Не отпустишь? Из моей воли выходить? Ах, ты, порося шелудивое! Я много таких пролетариев видал. *(Натягивает зипун, берет котомку.)*

Абрамов. Погоди-ка, отец, погоди.

Золин. Илья Панкратыч, что ты!

Панкратыч *(встряхивает мешок и направляется к двери)*. Нечего мне годить. Я не годилкин сын. Я сам по себе...

Абрамов. Темный ты человек, заскорузлый.

Панкратыч. В таком разе прощай, светлая твоя башка, дурацкая!

Абрамов. Отец, погоди, постой-ка. Не лайся...

Золин. Илья Панкратыч!..

Панкратыч. Я тебе не отец. Ты мне не сын. Смутьяны вы, прохвосты! Изгаляетесь над нашим братом-простачком...

Абрамов *(вскакивая, тоже кричит)*. Да ведь это ерунда! Ерунду порешь, чушь!

Панкратыч. Ну, и живите в своих правах, а мы уж по старинке! *(У двери задерживается, разводит руками, насмешливо кланяется.)* Спаси-ибо!.. Попил всласть чайку, погостил у деток. *(Швыряет на пол лапти и уходит, хлопнув дверью.)*

Марфинька. Тятя, тятя!

Золин. Ну, и серьезный мужичок.

Абрамов. Ничего, еще вернется. Куда ему! На свежем воздухе прочухается.

Золин. А сапоги-то все-таки унес. Не побрезговал, что они нового режима.

Марьфинька *(сквозь слезы)*. И ситец мой. И полсапо-ож-ки...

Картина II

Изба. Старенькая, но просторная. На черных прокопченных стенах висит большое зеркало в резной дорогой раме, бронзовое бра и двое стенных часов, у стены—пианино. На нем столовые часы, на печке два самовара. На полке самовар поменьше и два никелированных кофейника. На одном окне великолепная портьера, на другом из ситца, старенькая, своя занавесочка. Возле двери барская кровать с бронзовыми украшениями. Хозяйка, рыхлая женщина, прядет шерсть в углу, у печки. Перед ней горит маленькая лампа. Под потолоком другая лампа-молния. Панкратыч, красный, возбужденный, в красной рубахе, выпущенной из-под жилета, в плисовых штанах и сапогах сына, начищенных ваксой. Перед ним молодой человек — городской купеческий сынок, в пенсне, он одет в крестьянскую рвань: пестрядинные штаны, зипун, лапти, на голове потрепанная крестьянская шляпа-грешневик. Он собирается уходить.

Панкратыч. Стыдобушка, вот те Христос... Вроде как обобрали всего...

Купчик. Глупости, Илья Панкратыч, честное слово, глупости. У меня же дома еще два пальта. А ты и так против других дешевле взял.

Панкратыч. Верно... Я за наживой не гонюсь. Да только как же ты в таком, можно сказать, обличьи домой-то покажешься? А? Пугало — не пугало. Хошь очки-то сними... Уехал, как говорится, полным благородным барином, а воротился... Хы!..

Купчик. Разве теперь на это смотрят. Лишь бы сыту быть.

Панкратыч. Вот-вот. Это само главно... Ежели я, допустим, сыт, у меня и в мыслях весело.

Купчик. Так хорош, говоришь, урожай-то нынче?

Панкратыч *(оживленно)*. Урожай-то? Лучше не надо быть. Вот какой урожай.

Купчик. Ну, и слава богу... Готова поклажа-то.

Матрена. Готова, родимый, готова. *(Помогает ему.)* Вот так. Мешки через плечо. Котомку сзади. В этой руке молоко тащи, тут — яйца. А масло-то, сударик, пуще прячь...

Под рубаху норови, али в штаны. Вот у нас Софрониха под подолом шесть куриц могла провезти да поросенка.

Панкратыч. Ври. Еще скажи — корову.

Купчик. Ну, кажется, все.

Матрена. Все, родимый, все. *(Притворно-жалостливо.)* Го-осподи-и... Этакое житьишко-то собачье стало... От сладкой-то жисти, от пирожков, да от пряничков... Накося, навьючился-то как... чисто тряпичник какой, татарская лопатка... Господи-и...

Купчик *(улыбаясь)*. Ни-и-чего... Сойдет. До свиданья, пока.

Панкратыч. Прощай, брат! С богом. По крайности сыт будешь. Ну извини уж.

Матрена. Прощай, прощай... Кланяйся папаше-то с мамашей. Допрешь ли? Не надорвись, мотри.

Купчик уходит.

Панкратыч *(вслед)*. Так тебе и надо, буржуйска морда.

Матрена *(в страхе машет на него)*. Чшш! услышит, что ты!

Панкратыч. А пес с ним. Больно я его боюсь. Мильенщики, черти!.. Покуражились достаточно над нашим братом... Вот пусть-ка теперича сам походит к нам... Да еще картошку заставлю рыть. Коли хочешь жрать — рой, брат!.. И будет. Ха-ха-ха... А я тебе боле не слуга. Сдохнешь без меня, без мужика-то, буржуйска твоя морда!

Матрена. И то сдохнут.

Панкратыч. Все в нашей воле. Раз земля под мужиком — он самый первый елемент. Что дома-то у них в городу каменные — плевок! Их грызть не станешь. Врешь, брат!.. Без мужика ни шагу. Потому, значит, что брюхо всему на свете голова. Эвот вы где, буржуи, черти, у нас сидите, эвот! *(Сжимает кулак и качает им.)* Захочу — все на свете погублю, только сам сыт-здоров буду. А захочу *(делает паузу)* помилую. Вот что означает во всех смыслах мужик, самый главный елемент.

Входит чисто одетый молодой крестьянин.

Панкратыч. Ага! Председатель комитета. Самый главный елемент. Здорово, товарищ Арбузиков! Садись-ка.

Крестьянин. Здорово, товарищ. Здравствуй, тетка Матрена.

Матрена. Здравствуй, Иван Лукич.

Крестьянин. Как насчет заседанья-то? Хочу народ оповещать.

Панкратыч. Когда, сегодня? Ни-ни. Что ты, праздник ведь.

Крестьянин. Ну, ладно. Тогда завтра уж.

Панкратыч. Вот это особь статья... Ну-ка, Матрена, пивка нам. Садись, Арбузиков, садись крепче!

Крестьянин. Нет, я пойду. Надо книги приготовить. Слух есть — ревизия из городу вот-вот нагрянет. Пойду.

Панкратыч *(удивленно)*. О-о? Ревизоры? Ишь ты. *(Садится за стол.)* В случае чего, так... Смотри, брат, товарищ...

Матрена *(ставит на стол жбан и кружки)*. Кушайте-ка во славу божью. Седни праздничек христов.

Панкратыч *(наливает)*. На-ка, опрокинь. С медом, брат, товарищ... Так как же, значит, дела-то у нас, тоись в заседаньи-то?

Крестьянин. В заседаньи-то? *(Подходит к столу и стоя пьет.)* Первый вопрос — о школе.

Панкратыч. Все на казну переложить и шабаш. Как отопленье, ремонт, освещенье, сторожиху — все на казну. Не с нашего же брата драть! Да и за фатеру под школу-то... Полторы тыщи в месяц, больше никаких.

Крестьянин. Сбавить надо. А то реквизируют, шиш получим.

Панкратыч. Тоись как это — шиш?! За свою-то собственность? Тпру-тпру-тпру! Экой ты какой склизкой.

Крестьянин. Теперича собственности нет.

Панкратыч *(отмахиваясь рукой)*. Толкуй! Куда ж она делась? Как была, так и есть. Крепче крепкого. Во веки веков аминь.

Крестьянин. Еще о дезертирах.

Панкратыч. Вот это дело. Эфтих прямо взашей. А то, чего доброго, отряд пришлют. Ну их к псу под хвост. И так девок, которых горой пучит нивесть с чего...

Матрена *(улыбаясь)*. С чего... Душевредным ветром дунет, вот и...

Панкратыч. Сколько у нас эфтих самых, как их... Дизентеров-то?

Крестьянин. Да человек с пяток есть.

Панкратыч. Взашей!.. Чтоб и званья не было. Пущай белых бить идут.

Крестьянин. Вот-вот. Слух есть — опять напирают белогвардейцы-то. Близко где-то.

Панкратыч. Ну?! Ах, стрель их в пятку! Ну да ничего. Бог даст, турнем. Да садись, чего стоишь-то.

Крестьянин. Нет, я пошел. Значит, завтра?

Панкратыч. Дело.

Крестьянин. А пиво доброе у вас.

Панкратыч. Пиво? О-о! С трех стаканов с каблуков слетишь. Как свинья худая захрюкаешь.

Крестьянин. Видать. Прощайте, до свиданья. *(Уходит.)*

Панкратыч *(допивает стакан, крякает и с широкой улыбкой встает)*. Матрен! а Матрен. А ведь ловко, а?

Матрена *(от прялки)*. Чего такое?

Панкратыч. Гляди-ка, Матрена, а? Чего есть-то у нас, а? Нет, ты гляди. Фертупьяны, часы, самовары. А?.. Чем мы с тобой были и чем стали. А? Ну, прямо сон... Вот так вся власть на местах. А ты говоришь — царя да белу гвардию, чорт е не видал. Дура ты, баба! Ума в твоей башке, как в лапте щей. Да ты не серчай, не серчай... Я это так, любя. *(Пауза.)* Матрен, а Матрен. Пивца хошь?

Матрена. Ну, налей уж.

Панкратыч *(подносит ей кружку и сам пьет)*. Харрашо пивцо. Забористо. Аглицкое с кандибобером... Хы!

Матрена. Ощо б те. Оно три месяца в земле зарыто было.

Панкратыч. Теперича и мы, Матрена, не хуже которых протчих. Эвот у меня двое жилетных часов. *(Вынимает из посудного шкафчика и сует в верхний карман жилета.)* Вот одни, под золото, анжинер выменял на картошку. А вот — другие. *(Сует в нижний карман жилета.)* Эфти соборный протопоп нашивал, на телятину сменял, кутья кислая. А цепи-то, а... Матрена, форсисто?

Под окном стучат.

Голос за окном. Эй, хозяева! Нет ли молочка у вас?.. Либо творогу. Я бы на соль сменял.

Матрена. Нету.

Голос. У меня сукнишко есть... Платки. Калоши.

Панкратыч. Не надо нам ничего! До смерти надоели. Уж десятый сегодня.

Голос *(обидчиво)*. Всяк пить-есть хочет.

Матрена. И то надоели... Ну-ка, Панкратыч, примерь пальтишко-то, Сергуньке свезти бы.

Панкратыч. Пошто Сергуньке? Сергунька эфтим добром сыт. Теперича не прежняя пора, фабрика их любит, рабочих-то.

Матрена. Поди, тебе-то узко.

Панкратыч. В случае чего — расставим. Ужо-ко я... *(Надевает пиджак.)* Ишь одежина-то какая, самая барская, ее впору губернатору таскать. Ах, ерш те в карман! Рукава коротки...

Матрена. Выпустим. Беда не велика, лишь бы в крыльцах не лопнуло.

Панкратыч. У-у нас не лопнет... Эх, пальтецо-то! Не пальто, а дом. *(Напяливает пальто, узко, подпрыгивает, раскорячившись.)* Налезай, ерш те в бок, налезай, что ли!

Матрена. Легче, легче!.. Чу, трещит.

Панкратыч. У-у нас не затрещит! Дай-ка шляпу. А тресточка-то где? И тресточку сюда... Ха-ха! Ну-ка в трюму заглянуть. Каков?

Матрена. В какую еще тюрьму?

Панкратыч. В трюму, а не в тюрьму. *(Указывая на зеркало.)* Это называется трюма... Ничего ты не смыслишь, баба. Хе-хе-хе!.. Ужо я те ущемлю сейчас. *(Разглаживая бороду и расставив ноги.)* Ну что такое скажем — исполком, можешь понимать? Ага? Так. То-то и оно-то!.. Ну, а ежели, к примеру, я загну такую канитель... Ну, скажем, «совнархоз»? Тут тебе и смерть.

Матрена. Ой, батюшки! *(Смеется, зажимаясь в фартук.)*

Панкратыч. Всю жизнь продумаешь, так без покаяния и подохнешь, как индюшка, а отгадать — сроду нет.

Матрена. Полно-ко ты, полно! Бахвал... Иди к тюрьме-то к своей, смотрись.

Панкратыч. Эх, бабка, состарились мы. Ну, да ничего, еще помолодеем. От такой жисти всяк дурак помолодеть должон. Ну-ка, Панкратыч, каков! *(Подходит к зеркалу, подбочeнивается, шляпу сдвигает набекрень, помахивает тросточкой и хохочет.)* Ха-ха-ха! Илья Панкратыч, ты ли?! При двух часах, с тресточкой. Матрена, а? Видела, каков Панкратыч-то, трухомет-то, бывший-то твой богоданный супруг? А? Хххы!.. Ерш те в бок! Вот так удружили. Вот так республика всеобщая! Ххы, головой тя кверху! Аж пот прошиб... Фуу! Устал чегой-то. Замаялся. *(Садится за стол, раскидывает руки, опускает голову.)* Пиво крепкое. Да, брат, пиво ого-го. Вот бы товарищам в город в честь благодарности хоша бы бутылки две препоручить. Добро бы. А что? Вот возьму да и свезу. Пшена свезу, свининки, петушков. Нна, товарищи! Кушай! Оченно вы, можно сказать, стараетесь изо всех сил для нас. Ах ты, молодец какой! Ну, молодец! Эфто верно. *(Говорит все тише.)* Да-да. Старайся, братики, старайся. Эфто мужику лафа. Да-аа. И Сергунька наш тоже молодец. Правильно тогда все обозначал. Да... Чего-то голова болит. Соснуть бы часок.

Матрена. Ужо я постелю. Приляг. *(Идет к кровати.)*

Панкратыч. Стой, стой! Ты что, кровать? Пуховики! Цыть! Брось на пол тулуп. Вон к печке.

Матрена. Для праздничка-то можно и на кровати. Кой ляд ей подеется? На што и брал тогда.

Панкратыч. Цыть! Пущай стоит. Для форсу. Как у господ чтобы. Чуешь! *(Потягивается.)* Ву-у-у. Кажись, и сон прошел. Чего бы такое сделать? Который час? Посмотри-кось.

Матрена *(вновь садится к прялке)*. Не знаю. Смотри сам.

Панкратыч *(делая руку козырьком, обходит все ча-*

сы). Десять. И тут десять... И здесь. А ну-ка, тут. И в карманах по десяти. Ловко. И не сосчитать. Вполне прилично. А утро или ночь?

М а т р е н а. Знамо, ночь.

П а н к р а т ы ч *(стоя среди избы.)* Ладно, Матрен! Знаешь, что? Давай чай гонять. Он те сахару-то скольки приволок, купчишка-то?

М а т р е н а. Четыре с четвертью.

П а н к р а т ы ч. Ладно. Вполне прилично. Становь самовар, самый большой, пузастый. Внакладку будем... С форсом... А нам чего! Съедим сахар, ощо привезут. Съедим — ощо. А на ощо-то — ощо, ощо... Эх, ерш те в карман, веселые у меня мысли, Матрен! Ужо-ко я в музыку вдарю. *(Подходит к пианино, подымает крышку, садится и поет, тыкая пальцами в клавиши как попало.)*

В темном лесе, в темном лесе,
В темном лесе, в темном лесе,
Залесью-у-у, за-а-лесью-у-у...

Дрянно. Это нейдет... Вот барыня, да и барин сам, бывало, как брякнут-брякнут. Пальцы так и скачут, словно в судорогах. Фу ты, будь ты проклят, до чего знатно вырабатывали. А вот у меня не выходит, да и на! К чертям ее, эфту самую фертупьяну, в княтерь надо отдать. И так теснота у нас. *(Пауза.)* Ужо-ко я по духовной части вдарю. *(Слегка засучивает рукава, плюет в пригоршни и начинает опять тыкать в клавиши и петь):*

Зрящи тя зря-а-ащи,
Зрящи аще зря-а-ащи...

Отворяется дверь. Входит и с п р а в н и к в форменном пальто и фуражке. В руке портфель. Большие усы и бакенбарды. Вид грозный. Панкратыч повертывает голову и несколько мгновений сидит, как в столбняке, уткнув указательным пальцем в клавишу и открыв рот. У Матрены замерла самоварная труба в руках.

И с п р а в н и к. Крестьянин Илья Абрамов ты? *(Роется в портфеле.)*

П а н к р а т ы ч. Так точно — мы. А вы кто такие будете? Не ревизоры?

И с п р а в н и к. Я уездный исправник.

П а н к р а т ы ч. В исправниках служил? А в коем уезде-то? Ты за картошкой, что ль? Али муку покупаешь? Нет у меня ничего. Сам на пайке.

И с п р а в н и к. Ты дурака-то не строй. Я — исправник. Только что назначен новым губернатором.

У Матрены падает из рук труба. Пауза.

Панкратыч *(протирает глаза и приподымается)*. Что? Как? Как это исправник? Какой новый губернатор?

Исправник *(грозно)*. Это что за маскарад?! Шляпу долой! Не забывайся, перед кем стоишь!

Панкратыч *(снимает шляпу, стаскивает и подает Матрене пальто, пиджак, отстегивает с жилета часы и прячет их в карман штанов)*.

Исправник. Что прячешь? Немедленно показать!

Панкратыч. Ничего это... Так... Пустяковина.

Исправник *(садится на кровать)*. Откуда кровать? Откуда пианино? Помещика Карасева? Да? Я знаю, брат.

Панкратыч. Так точно. Как есть оттуда. Это мы всем, значит, скопом, значит, опчеством.

Исправник. Разграбили? В острог! В тюрьму! На поселенье!

Матрена *(указывая на зеркало, дрожа и заикаясь)*. А трюму эту, ваше высокородье, мы за свои кровные в городу у генеральши у одной...

Панкратыч *(машет на нее)*. Пшла! Чшш! Это, значит, мы всем опчеством... Ситцы... Ну, как это... фу ты... Сицылизовали... У Пафнутьевых, напримерича, шкапы разные, едва в избу вворотили; у Семушкина Митьки — билярда, шары гонять, не влезла в избу-то, в хлеву стоит; у Лапши — из-под спосуды шкап... Да кажинный как есть что не то билизовал.

Исправник. На суде все разберут, голубчик мой! Теперь там шутить не будут.

Панкратыч *(смелее)*. Как же это так? Позвольте вам объяснить вопрос. Вы, не извините, на сам деле исправник будете?

Исправник. Это еще что!

Панкратыч *(прищурившись, смотрит на него в упор и, после некоторой паузы, говорит)*. А мы не доверяем. Тоись в каких смыслах может быть исправник, ежели кругом повсеместный переворот?

Исправник. А вот я переворот тебе загну. *(Вынимает из портфеля бумагу, карандаш и что-то пишет.)* Морда этакая!..

Панкратыч. Не больно-то напужал. Мы вашего брата здесь всех переимали. А ты откуль такой?

Исправник *(пишет)*. А вот увидишь. Поговори еще!..

Панкратыч *(делает Матрене знаки. Вполголоса)*. Живо за Арбузиковым. Чтоб мигом сюда... *(Матрена поспешно уходит. К исправнику.)* Сдается мне, что ты, васкородие, жулик...

Исправник *(срываясь с места)*. Что?! Ах, ты каналья! Да я тебя!.. *(Топает ногами.)*

Панкратыч *(не торопясь надевает шляпу и, сдвинув ее на затылок, подбоченивается)*. А к стенке хошь?!.

Исправник *(несколько мгновений уничтожающе смотрит на Панкратыча)*. Ты еще грозить?!. Да я тебя! В двадцать четыре часа!! Военно-полевым судом!! На первой же осине! *(Надвигается на него и трясет кулаками.)*

Панкратыч *(пятится, снимает шляпу)*. Что за притча. Скажи на милость. А?.. Господи Христе, что же это... Вашескородье! Как же так? Кругом республика, вся власть Советов, и вдруг... Господи Христе... *(Недоуменно разводя руками.)* Вот об эфтом самом месте только что Арбузиков был, председатель исполкома, наш мужичок один, хрестьянин... Товарищ господин исправник, как же это так?

Исправник. Молчать!..

Панкратыч. Молчу, молчу. Ах, ты, боже мой.

Исправник. Завтра же все вернуть помещику Карасеву. В ночь будет произведен в селе повальный обыск. Село окружено казаками. У казаков нагайки, пики... Все восстановлено по-старому. Безобразию конец!..

Панкратыч *(в отчаянии)*. Царь небесный... Где же Матрена-то?.. *(Сложив на груди руки.)* Вашескородье! Казните или милуйте... Ну только... извините на глупом мужицком слове: а документик у вас есть?

Исправник. А вот я покажу тебе документик.

Свистит в свисток с горошинкой. В избу вбегает стражник с бляхой.

Эй, стражник! Позвать сюда трех казаков с нагайками.

Стражник. Слушаюсь. *(Уходит.)*

Панкратыч *(в изнеможеньи опускается на лавку, стонет)*. Ой, светы мои, светы. Батюшки! Благодарим покорно, доигрались...

В это время в сенях веселый шум, входит Матрена с Марфинькой и улыбающийся стражник.

Марфинька *(радостно)*. Здравствуй, батюшка! Вот и мы. *(К исправнику.)* Ты чего, исправник, папашу-то пужаешь? Ужо-ко я... *(Подходит и срывает с него парик с усами и бакенбардами.)*

Панкратыч *(вскочив со скамьи и протирая глаза)*. Сергунька, сын!..

Абрамов. Здорово, отец! Испугался?

Панкратыч. Ох, ты, мать честная! Сергунька, ты ли?.. Поджилки-то ходуном ходят. Ох, и напужал же... Все вши-то у меня, поди, со страху передохли. Во как!.. Ха-ха-ха... Ну, в таком разе, здравствуй! *(Обнимаются.)* Марфутка, здравствуй! А-а, товарищ! *(К стражнику, оказавшемуся Золиным.)* Знакомый! Вот так ловко. Полная комедь...

Абрамов *(улыбаясь)*. Ничего, отец. Молодчага! Как-никак героем себя вел, хвалю.

Панкратыч. Да как же!.. Вдруг он, сволочь такая, мне и говорит: повешу. Ах он гад!

Абрамов. Кто?

Панкратыч. Да исправничишко-т этот самый...

Все громко хохочут.

Панкратыч. Тьфу! Запутляли вы меня на-вовся! Аж округовел. Садись, ребята, за стол, чего вы. Матрена, самовар, жратвы, командывай! Пивка! Праздник нонче... Марфинька, Сергунька, а? Каким это ветром занесло-то вас? Фу-у... До сю пору в полное чувствие не приду. Ну задали мне трезвону, ха-ха-ха...

Все усаживаются. Марфинька с Матреной хлопочут по хозяйству.

Золин. А мы в отпуске сейчас. На фабрике новые машины ставят. А тут кстати праздник подошел. Вот мы и собрались вас проведать, да заодно и в театре вашем поиграть...

Панкратыч. Ловкую штуку придумали, ребята... Ну, Сергунька, молодец, брат. Тоись так замашкеровался — никакому аптекарю не отгадать. До того все правильно. Тоись как это меня кондрашка не хватил, такое круженье в башке стряслось, что ужасти... Вот как ты меня, спасибо, ахнул.

Матрена. С пива это...

Абрамов. Ну, как живешь, отец?

Панкратыч. Благодарим за приятное вниманье. Надо бы лучше, да некуда. При полном антиресе.

Золин. А все ругались тогда, Илья Панкратыч. Новые порядки хаяли.

Панкратыч. Потому дурак был, бородастый чорт, чувырло!

Абрамов. Стало быть, возврата к старому режиму не хочешь?

Панкратыч *(вскакивая и выходя из-за стола)*. Кто, я?! Да пропади он пропадом! Да чтоб глазыньки мои больше не видели!.. *(Он энергично рубит воздух рукой.)* Умру на полной воле! Во как. И вы, ребята, стойте на своем.

Марфинька. Абрамов, Золин, — мы и так стоим.

Панкратыч *(к Марфиньке)*. Ну, ты, помалкивай... това-а-рищ... А впрочем, сказать, вали! Все, братцы, стойте на своем. Мужики и бабы, все!..

Абрамов. Вон как разошелся. Молодца!

Панкратыч *(грозя рукой)*. Нет, врешь!.. Будя! Будя, говорю!.. Поизмывались над нашим братом. Вдруг, братец ты мой, он, дрянь такая, возьми да и скажи мне: повешу. А? Да обгадь его чорт горячим дегтем!..

Все хохочут.

Панкратыч *(машет руками, крутит головой и, приглушенно смеясь, садится за стол).*

Абрамов. Матушка, а ты как? Насчет политики-то? Насчет новых-то правов?

Панкратыч. Куда ей! Где ей... Все об царе скулит.

Матрена *(сквозь смех отмахиваясь руками).* Ой, откачнись он от меня совсем!.. Да после этакого-то страху... Я самовар-от чуть на себя не опрокинула.

Панкратыч. Ха-ха-ха. Спужалась? Вот те саботаж.

Матрена. Да лучше б я медведя в лесу встретила, чем этого проклятого исправничишку. Нет уж, не надо мне ни царьев, ни графьев. Ну их!

Абрамов *(улыбаясь и похлопывая мать по плечу).* Ай да мамка. Значит, наш маскарад не зря прошел.

Панкратыч *(быстро прожевывая и мотая головой).* Не зря, не зря. У меня аж в полной мере животы ослабли... Во как... *(Все смеются.)* Ну-ка, бабка, наливай погорячее. Где мед-то у тебя? *(Берет чашку с чаем.)*

Абрамов. Так. Значит, сестру мою, Феклушу, замуж выдали. Писал мне Арбузиков. Еще что?

Панкратыч. Да мало ли делов. Вот избу новую пятистенок строю. Тут жеребца купил, за тридцать тыщ.

Матрена. Ощо корову.

Панкратыч. Да овец две пары. Да мало ли делов.

Абрамов. Поди, свадьба-то в копеечку вскочила?

Панкратыч. Свадьба-то?

Матрена. А ты что с Марфинькой-то не приезжал?

Панкратыч. А во как. Три дня гуляли. Впрочем, сказать, мы в деньгах не сумлеваемся. Их невпроворот.

Матрена. Кое маслица скопишь, да продашь, кое творожку...

Абрамов. Вот видишь, отец. Жеребца купил, корову, дом строишь новый, дочку выдал. Разве плохо? А раньше только всего и сумел бы — дочку выдать.

Панкратыч. Да, да... Правильны твои речи. *(Крестится на иконы.)* Благодаря создателю, вот как все хорошо, вот до чего прилично... Слава те Христу.

Золин. Тут создатель ни при чем. Сами волю добыли, рабочий люд.

Панкратыч. Много довольны вам. Покорнищи благодарим.

Абрамов. А ты все-таки буржуем стал, отец.

Панкратыч *(весело).* Как есть. Тоись настоящий буржуй теперя. Слава те Христу. *(Крестится.)*

Абрамов. Стой! Как так? Ведь это ж нехорошо, отец!

Панкратыч. Что ты, сынок, сдурел? Да приведи цари-

ца небесная, чтоб все так жили — вот дело будет. Хы, чудак, Сергунька!

Золин. Буржуй не буржуй, а вроде бы как спекулянт!

Панкратыч. Еще чего?! Какой же я, к свиньям, пискулянт, ежели весь век в работе, как последний рестант. Ты погляди-ка, мозоли-то! *(Выставляет руки.)*

Абрамов. Одних самоваров сколько накопил... часов...

Матрена. Да вить тащут. Отбою нет.

Панкратыч. Само плывет в руки. Кажись, норовим не забижать. По-божецки, значит.

Абрамов. Ну, а беднота-то как?

Панкратыч. Беднота? А вот я те что скажу. Которые работяги, те в комунии, барску землю под себя взяли, сыты.

Абрамов. И в комитете орудуете?

Панкратыч *(оживленно)*. Тонсь такие дела вершим! Зачихаешь! Сады разводим, огород, пасеку..

Золин. Вот это молодцы! Если мужик проснулся да за ум взялся — никому за нами не угнаться. Мужик всему основа.

Панкратыч *(восторженно)*. Ах, мила-ай! Первоснова! Правильны твои слова! Матрен, бабка! Сергуньку на кровать, на пуховики! На, владей, Сергунька, золотая твоя башка! *(И вдруг с веселым оживлением.)* Да! постой, постой! Вот я те удивлю, так удивлю. Было забыл совсем... ха-ха! Постой, постой, подожди. *(Встает из-за стола, достает с полки брошюрку. Гости удивленно смотрят на него.)*

Панкратыч *(читает по складам)*. Да-атский способ кормления моло-молочного скота. Видал? Вот, брат, кака оказия, а? Прямо чудеса.

Марфинька. Да как ты это! Да кто тебя?..

Панкратыч. По приказу, брат. По наистрожающему указу. Приехал, значит, член.— Шестидесяти от роду нет? Учись, старый чурбан! — Помилуйте, как это возможно?.. — Без всяких яких, жарь! Иначе и с земли долой... Ах, ты, мать честная! Забегал я туда-сюда... Нет, врешь, учись! Так и закатали часа по два кажинный божий день. Ну, и прел я, братцы мои, хуже каторги. Легче в петлю, вот до чего достиг... Тонсь в ногах валялся, во как... Штоб, значит, ослобонили...

Все смеются.

Панкратыч. Вот вам смешки. А я тогда и старое начальство вспомянул добрым словом: учобой не маяло шибко-то.

Золин. Это правильно. *(Смеется.)*

Матрена. Бывало, как дурак, плачет по ночам. Бубнит в книжку у божницы да сморкается.

Панкратыч. Апосля того сразу, братец ты мой, как

вложило в башку, быдто с зарубки соскочил... В одночасье все сделалось явственно. Ха-ха, думаю, вот так ловко! Теперича любую газетину могу читать. Вот как завоссияли меня, дай бог... И что же бы ты думал: ведь на пользу!

Золин *(насмешливо)*. Ну-у?

Абрамов встает и незаметно садится за пианино.

Панкратыч. Как перед истинным. Вот, скажем, к примеру книжица. *(Трясет брошюрой.)* Лежит, молчит, а почитаешь — все на пользу. Тут тебе пропечатано, и чем коров кормить да подкармливать, и как на прогулку водить, чуть не под ручку, это корову-то, быдто барин гувернанку. И что же бы ты думал, товарищ дорогой? Начали со старухой по книжке поступать — вдвое больше удою стало. Как перед истинным!

Раздается музыка.

О-о, да ты горазд, Сергунька! Где же это тебя обучили-то? Поди, тоже в городу?.. Дело.

Марфинька. Батюшка. Матушка. А это вот мой жених, Павел Иваныч Золин. Объясняю вам.

Панкратыч. Ну-у? Скажи на милость, кака оказия. Благословенья, что ли, просишь?

Матрена. Ну, чего же, дай бог, ежели по нраву. *(Крестится.)*

Панкратыч. А я тебя, дочка, за комиссара ладил. Ну, да ничего, добро. Вполне согласны. Благословляю!

Целуются. Музыка играет.

Панкратыч *(вылезает из-за стола, принимает залихватскую позу и кричит)*. В таком разе, вали, Сергунька, вдвойне! А ну, громче! Громыхни, чтоб в ушах гудело! Вот так! Ну, и добро в вольной Расее жить! Сыпь громчей! А я на старости своих лет плясать пойду. Главнеющий елемент! Эх, ты, но-о! Давай-ка, Матрена, топнем!!. *(Прихлопывая, пляшет.)*

Абрамов *(срывая музыку)*. А все ж, отец, не по душе мне... обстановочка твоя! *(Машет рукою вокруг)*. С чужой дорожки начал.

Панкратыч. Опять... двадцать пять! А ты... не спеши! Найдем, авось, и свою... дорожку, то есть.

ЗАНАВЕС

1920

В. Я. ШИШКОВ

(Вехи жизни и творчества)

1873 4 октября (21 сентября) — рождение В. Я. Шишкова в г. Бежецке, Тверской губ.

1881 Шишков — в частном пансионе (начальная школа).

1882 Начало учебы в городском шестиклассном училище (г. Бежецке).

1886 Отроческая «повесть» из жизни разбойников «Волчье логово».

1887 Первая школьная работа «Деревенское утро», получившая одобрение учителя.— Описание «крестьянских посиделок с песнями и плясками».— Чтение Пушкина, Успенского, Короленко, Толстого.

1888 Окончив городское училище, Шишков поступает в Вышневолоцкое техническое строительное училище.

1892—93 Строительная практика в Новгородской и Вологодской губерниях.

1894 Шишков выехал в Сибирь (Томск) на службу по Округу водных путей сообщения.

1895—99 Работа в Томском округе путей сообщения.— Общение с учащеюся молодежью Томска, студенческий кружок.— Женитьба на А. И. Ашловой.

1900 Развод с А. И. Ашловой.— Работа по нивелировке и съемке р. Обь.— Подготовка и экзамены на право самостоятельного производства инженерных работ.

1903 Первая самостоятельная работа на Обь-Енисейском канале.

1904—5 Работа по исследованию водного пути на рр. Чарыш и Чулым.

1906 Поездка с техническими поручениями на р. Иртыш.

1908 Командировка на исследование порогов р. Енисея, посетил Некрасовский прииск.— 8 ноября на страницах «Сибирской Жизни» опубликована символическая сказка «Кедр».

1909 Поездка в Якутск на работы по исследованию и укреплению берегов р. Лены, посетил р. Витим (в системе Ленских золотых приисков).— Участие в издании томского журнала «Молодая Сибирь».— Рассказ «Бабушка потерялась».— Занятия со взрослыми в воскресной школе.

1910 Работа по исследованию р. Бии (Алтай).— Поездка на отдых в Крым.— На страницах «Сибирской Жизни» опубликованы первые очерки: «На Лене», «Злосчастье», «В кают-компании», «Любителям красот природы».

1911 Вечера у Г. Н. Потанина с участием местных литераторов.— Рассказ «Однажды вечером» («Сибирская Жизнь»).— Экспедиция на Лену и Нижнюю Тунгуску, едва не закончившаяся гибелью всей группы изыскателей.— Записи в «записную книжку», составившие материал для одной из глав будущего романа «Угрюм-река».

1912 Поездка в Петербург, где познакомился с М. М. Пришвиным, М. В. Аверьяновым и В. С. Миролюбовым. На обратном пути в Сибирь был в Бежецке у родителей.— В № 2 журнала «Заветы» опубликована первая повесть «Помолились», написан рассказ «Бисерная рожа». В «Сибирской Жизни» опубликованы — «Человек из города», «Собачья жизнь», «Бичевочка», «На севере» («Холодный край»), «На богомолье» (в Собр. соч., «Зиф» — «Часовня»), «Бродяжня», «Чары весны», статьи — «Пасынки», «К вопросу о театральной школе в Сибири» и в «Жизни Алтая» — «Теща», «Дяденька».

1913 Шишков возглавляет работы по технич. исследованию Чуйского тракта (Алтай). В «Заветах» — «Краля», во «Всемирной Панораме» — «Оборотень».— Начало работы над «Тайгою», закончены очерки «Чуйские были» («Ежемесячный журнал» — 1914 г.).

1914 Продолжение работы на Чуйском тракте.— Зимой в Петрограде — первая встреча с А. М. Горьким.— Смерть матери, Е. И. Шишковой.— Женитьба на К. М. Жихаревой.— В зимние месяцы работа в Президиуме О-ва изучения Сибири, выступления в Обществе попечения о народном образовании.— Рассказы — «Ванька Хлюст» (в «Ежемесячном Журнале»), «Суд скорый». В «Алтайском Альманахе» — очерки «На Бии», в «Минусинском Крае» — «Бабушкино горе», в № 1 «Сибирского Студента» — «Первый блин», в «Сибирской Жизни» — отрывок из «Тайги»: «Праздник». В изд. Иркутского отд. Русск. географ. о-ва — «Песни, собранные на Нижней Тунгуске» (в 1911 г.).

1915 В середине августа переезд в Петроград.— Служба в управлении шоссейных дорог.— Рассказы: «Колдовской цветок» и «Конный разведчик Бородулин» (журн. «Отечество»), «Та сторона», «Веселая штука», «Сибирский дед» (в «Ежемесячном Журнале»), «Варин сон» («Северные Зори» — 1916 г.), «Скала»,

«Мильен тыщ» («Сибирский Студент»), «Море зеленое», «Инвалиды», «Пред рассветом» («Сибирская Жизнь»).

1916 Летом был в Гельсингфорсе (очерки в «Сибирской Жизни»), осенью — в Томске.— Рассказы: «Бобровая шапка» и «Золотая беда» («Шиповник» — 1917 г.), «Стуколка», «Солдатка», «Пурга». (Обработано в 1926 и 1938 г.) «Шквал», «Замечательная история» («Сибирская Жизнь»).— В «Летописи» (№ 7—11) опубликована «Тайга».— Выходит первая книга «Сибирский сказ» в изд. «Огни».

1917 В результате путевых наблюдений рассказы и очерки: «Подножие башни», «Каторжник», «Огонь погас», «Веселый бродяга», «Соловьиная ночь», «Опись моего происшествия», «Лесной житель» («Летопись»), «Чистые сердцем» («Сибирская Жизнь»), «Маевка в снегах», «Под колоколами» («Кладбище»).

1918 Посетил Осташков (очерк «К угоднику»).— Начало работы над «Угрюм-рекой». Рассказы: «Кутерьма», «На травку», «Провокатор», «Отцы-пустынники», «Лунной ночью» («Ежемесячный Журнал»), «Красная рубаха» (сборник «Перед рассветом») и ряд очерков.— Отдельным выпуском в издании «Парус» вышла «Тайга».

1919 Рассказы: «Страшный кам», «Мериканец» («Крылья»), «Золото», «Крокодил», «Падучая», «Коммуния», «Медвежачье царство», «Зеркальце», «Северное сияние».— Первая пьеса «Старый мир».

1920 Ездил в д. Игумново, на р. Шексну.— Рассказ «Бичевочка» (2-я редакция), пьесы — «Мужичок», «Вихрь», «Единение», «Грамотей», «На птичьем положении», «Кормильцы» и «Дурная трава».

1921 Смерть отца — Я. Д. Шишкова.— Рассказы: «Царская птица», «Черный час», «Мертвец», «Азор», «Посельга», «Попутчики».

1922 Поездка в Лужский уезд, Ленинградской области (очерки «С котомкой»).— Рассказы: «Холодный край» («На севере»), «Сужет», «Пароходная теща», «Экзамен», «Ефект», «Луковка», «Свадьба», «Кум», «Валтасар», «Агроном», «Бабы» («Червонец»).

1923 Поездка в Лужский уезд.— Роман «Ватага».— Задумана повесть «Пейпус-озеро».— Рассказы: «Спектакль в селе Огрызове», «Верная примета», «Смерть Тарелкина», «Зубодерка», «Торжество», «Смычка», «Хреновинка», «Конфуз», «Потребиловка», «В парикмахерской», «Шеф» («Федот да не тот»), «Собачья доха», «Сказка про попа», «Переоценка ценностей» («Буржуазный предрассудок»), «Татарский способ», «Платочки», «Крестики», «Подарок», («Воздушный бой»), «Нетель», «Шерлок Холмс — Иван Пузиков», «Тонкая политика» («Ведьма»), «Шайка», «Пома-ахива-а-ай!», «Винолазы», «Приблудыш», «Племянница», «Рябчик», «Встреча», «Кикимора», «Сахарок», «Достояние республики», «Три письма», «Возле носа вьется, в руки не

дается», «Волосянка», «По курсу дня», «Ярмарка», «Масляница», «Проводы», «Лисопед», «Мимоездом», «Чужбина», «Кержаки».

1924 Разрыв с К. М. Жихаревой.— В марте поездка в Смоленск (Очерки «Смоленские письма» в «Правде» и «Красной Нови»).— В июле — в Костромской губ. (Очерки «Приволжский край»), октябрь — декабрь в Крыму.— Работа над повестью «Пейпус-озеро».— Рассказы: «Свежий ветер», «Журавли», «Гроб», «Диво-дивное», «Бабка», «Шишка», «Сад», «Просвещение», «Эшелон», «Заграничные рассказы матроса Тюхина», «Батрачка», «Весна», «Подвох», «Мистер Веретенкин», «Чудо», «Бритый», «Зеленый островок», «Лукавый» — шутка в 1-м действии.

1925 Октябрь — декабрь в Сухуми.— Рассказы: «Алые сугробы», «Весенний сон», «Отец Макарий», «Комар», «Лайка», «Развод», «Кольцо», «Земля и лес», «Нечистая сила», «Ненормальность», «Петух», «Трагический случай», «Радио-сатана», «Темный лес», «Публичная казнь», «Гром», «Сатира», «Грех», «Квартет», «Змея», «Тетка Матрена», «Дружба», «Гумага», «Шутка», «Мертвая петля», «Два пузыря», «Фрукты», «В деревне Крайней» («Настюха»), «Самоубийца», «Самоследствие», «По пьяной лавочке», «В лесу».— В сборнике «Наши дни» печатается «Пейпус-озеро».— Выходят повести «Ватага» (Госиздат) и «Пейпус-озеро» (изд. «Книга»).— Подготовительная работа к изданию в «Зиф» собрания сочинений.

1926 Июль — поездка в Псков, октябрь — ноябрь в Кисловодске, перед тем — в Бежецке.— Выходит ряд книг в издании собр. сочинений «Зиф».— Рассказы: «Бакланов — таежный волк», «Кот Васька», «Роковой выстрел», «Усекновение», «Плотник», «Бракосочетание», «Трубка», «Мельница», «Выигрыш», «Пловцы», «Режим экономии», «Птичка», «Целитель», «Блинки», «Диктатура», «Редактор», «Светлый грех», «Веселый разговор» — пьеса.

1927 Январь — переезд в Детское Село.— Июль — женитьба на К. М. Шведовой. В августе — сентябре поездка в Вышний Волочок, Москву, Нижний, Пермь, Рыбинск и Бежецк.— Осенью — Кавказ.— Рассказы: «Дикольче», «Цветки и ягодки», «Алчность», «Холодный душ», «Сочувствующий».— Издательство «Зиф» заканчивает печатание собрания сочинений (1-е издание).

1928 Поездка в Старую Руссу, село Велебицы, Новгород.— Начало работы над повестью «Странники» (1-я часть).— Воспоминания о М. Горьком «Встречи» и рассказы: «Научный рыбовод», «Клетчатые брюки», «Жара».— Избирается председателем правления Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей.

1929 Август—сентябрь—поездка в Ростов, Ярославль, Рыбинск, Бежецк.— Работа над 2-й частью повести «Странники» и рассказами: «Бродячий цирк», «Пятерка», «Сдвиги», «Товарищ Митрофанов».—Издательство «Зиф» печатает вторым изданием полное

собрание сочинений.— Вновь переизбирается председателем Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей.

1930 Поездка с Ал. Толстым по маршруту: Рыбинск, Нижний-Новгород, Сталинград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Темрюк, Азов, Тамань, Керчь, Феодосия, Судак. В пути знакомство с жизнью совхозов и строительством крупных индустриальных заводов.— Окончание повести «Странники», первая часть которой «Филька и Амелька» печатается в «Красной Нови».

1931 Август — сентябрь — поездка с целью осмотра строительства в Пермь, Свердловск, Нижний Тагил, Соликамск, Усолье, на обратном пути — в Бежецк.— Окончание романа «Угрюм-река».— Издательство «Недра» печатает собр. сочинений (3-е издание).

1932 Сентябрь — октябрь — отдых в Крыму.— Работа над отделкой «Угрюм-реки».— Выход книги «Странники» (Ленгихл).

1933 Поездка в Кандалакшу (на работы ЭПРОН'а), Хибиногорск, Беломорский канал (Очерк «Садко — гость советский») и рассказы «Пепел», «Дивное море». Роман «Угрюм-река» выходит в двух томах, изд. ОГИЗ, Ленгихл.

1934 Август — поездка в Москву на Первый съезд советских писателей. Сентябрь — октябрь в Крыму и на Кавказе.— Рассказы: «Полет», «Вспомнил».— Начало работы над «Емельяном Пугачевым».

1935 В октябре осмотр баз ЭПРОН'а в Одессе, Севастополе, Балаклаве.— Ноябрь — отдых в Сухуми.— Работа над «Емельяном Пугачевым», сценарием «Золото», пьесой «Угрюм-река». Выходит 2-м изданием «Угрюм-река», с исправлениями автора (Гос. изд. худож. литературы. Ленинград).

1936 В феврале поездка в Минск на пленум Союза писателей.— В июне на похоронах М. Горького в Москве.— Осень — Одесса, Хоста, Сухуми.— Работа над «Емельяном Пугачевым», сценарием «Золото».— Выходит «Угрюм-река» (Иркутск, 3-е изд.) и повесть «Странники», 3-е изд. (Гос. изд. худож. литературы).

1937 В августе навещает брата А. Я. Шишкова в Вышнем Волочке.— Осенью — на Кавказе.— Написан рассказ «Чертознай».— Избирается председателем правления Ленинград. отделения Литфонда.

1938 Осенью в санатории «Синоп» (Сухуми).— Окончание 1-го тома «Емельяна Пугачева», печатается в журнале «Литературный Современник». — Работа над либретто оперы «Угрюм-река».

1939 Февраль — награждение орденом «Знак Почета».— В мае поездка на пленум ССП СССР в Киев.— Осенью — в Крыму.— Работа над дополнительными главами к 1-й книге «Емельян Пугачев» и начало работы над 2-й книгою.— Выступления в госпиталях и частях Красной Армии.

1940 Весной пребывание в Ялте.— Начало работы над либретто «Иван Грозный», рассказ «Воинственная девушка».

1941 Весной — в Крыму. В сентябре переезд из Пушкина в Ленинград.— Осень и зима — в условиях блокады Ленинграда.— Продолжая работы над «Емельяном Пугачевым», пишет очерки: «Слава русского оружия», «Партизан Денис Давыдов», «Партизаны Отечественной войны 1812 года», сценка «Удар-кроше».— Статьи для ленинградских фронтовых газет.— Выходит 1-й том «Емельяна Пугачева» (1-е изд.).

1942 1 апреля выезд из зоны блокады.— 12 апреля приезд в Москву.— В мае посетил Ясную Поляну.— 24 мая смерть сестры — Е. Я. Шишковой.— Написаны рассказы: «Сусанины Советской земли», «Люстра», «Печенка», «Гордая фамилия», «Гость из Сибири», «Прокормим!», «Старуха», «Дуэль», «Полет» (2-я редакция), «Воздушный бой», «Сережа», «Клятва на горе», а также статьи и очерки на военные темы.

1943 4 октября награждение орденом Ленина.— Юбилей семидесятилетия жизни.— Медаль «За оборону Ленинграда».— С 15 сентября месячный отдых в санатории «Архангельское».— Работа по подготовке к переизданию «Емельяна Пугачева» (1-го тома) и «Угрюм-реки».— Рассказы: «Да здравствует жизнь», «Щедрая жертва», «Дед Андрей», «Любопытный случай», «Кешка-зверолов», «Русские всегда били прусских», окончание повести «Прохиндей».— В журнале «Октябрь» печатается 2-й том «Емельяна Пугачева».— Работа в Совете Литфонда и в групповом комитете профсоюза работников печати.

1944 Летом на даче в Переделкино.— Смерть брата Д. Я. Шишкова в Сибири.— Работа над 3-й книгой «Емельяна Пугачева».— Рассказ «Буря».— Выход 1-го тома «Емельяна Пугачева», 2-е изд. (Гослитиздат), а также повести «Прохиндей» (изд-во «Советский Писатель»).

1945 Работа над «Емельяном Пугачевым», в рукописи последняя дата работы — 19 февраля.— В ночь с 5 на 6 марта кончина писателя.

1946 26 января посмертное присуждение премии имени И. В. Сталина 1-й степени за историческое повествование «Емельян Пугачев».

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *А. Н. Воинов*
Художник *Н. В. Ильин*
Технический редактор *Р. В. Цыппо*
Корректоры *Л. М. Попова* и *В. Н. Знаменская*

*

Сдано в набор 2/VIII 1947 г. Подп. к печати 16/III 1948 г. А-00836 Формат бумаги 60×92[1]/16. 45 печ. л. +7 вклеек 43,8 уч.-авт. л. Тираж 30000. Заказ 4193

*

6-я типография треста „Полиграфкнига“ ОГИЗа при Совете Министров СССР. Москва, 1-й Самотечный, 17

ОПЕЧАТКИ

Страница	*строка*	*напечатано:*	*следует читать:*
4	—	М. В. Бахметьева	В. М. Бахметьева
49	6 св.	В. М. Ставского	В. П. Ставского
194	12 св.	крестянского	крестьянского
593	4 св.	Коробейник	Коробейчик

В. Я. Шишков. Избранные сочинения, том 1, 1948 г.

